



ЖАУМЕ КАБРЕ

Я и с п о в е д у ю с ь

С этим шедевром Кабре достигает высот литературы.
Брюно Корти. *Le Figaro littéraire*

Annotation

Впервые на русском языке роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Я исповедуюсь». Книга переведена на двенадцать языков, а ее суммарный тираж приближается к полумиллиону экземпляров. Герой романа Адриа Ардевол, музыкант, знаток искусства, полиглот, пересматривает свою жизнь, прежде чем незримая метла одно за другим сметет из его памяти все события. Он вспоминает детство и любовную заботу няни Лолы, холодную и прагматичную мать, эрудита-отца с его загадочной судьбой. Наиболее ценным сокровищем принадлежавшего отцу антикварного магазина была старинная скрипка Сториони, на которой лежала тень давнего преступления. Однако оказывается, что история жизни Адриа несводима к нескольким десятилетиям, все началось много веков назад, в каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки фантастически совершенной скрипки, созданной кремонским мастером, магически преобразуют людские судьбы. В итоге мир героя романа наводняют мрачные тайны и мистические загадки, на решение которых потребуются годы.

- [Жауме Кабре](#)
 -
 -
 - [I. A capite\[1\]](#)
 - [II. De pueritia\[45\]](#)
 - [III. Et in Arcadia ego\[139\]](#)
 - [IV. Palimpsestus\[192\]](#)
 - [V. Vita condita\[316\]](#)
 - [VI. Stabat mater\[388\]](#)
 - [VII. ...usque ad calcem\[412\]](#)
 - [Действующие лица](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)

- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)

- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)

- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)

- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)

- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)

- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)

- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)

- [397](#)
 - [398](#)
 - [399](#)
 - [400](#)
 - [401](#)
 - [402](#)
 - [403](#)
 - [404](#)
 - [405](#)
 - [406](#)
 - [407](#)
 - [408](#)
 - [409](#)
 - [410](#)
 - [411](#)
 - [412](#)
 - [413](#)
 - [414](#)
 - [415](#)
 - [416](#)
 - [417](#)
 - [418](#)
 - [419](#)
 - [420](#)
 - [421](#)
 - [422](#)
 - [423](#)
 - [424](#)
 - [425](#)
 - [426](#)
 - [427](#)
 - [428](#)
 - [429](#)
 - [430](#)
 - [431](#)
 - [432](#)
 - [433](#)
-

Жауме Кабре

Я исповедуюсь

Jaume Cabre

JO CONFESSO

Copyright © Jaume Cabre, 2011

All rights reserved

First published in Catalan by Raval Edicions, SLU, Proa, 2011

Published by arrangement with Cristina Mora Literary & Film Agency
(Barcelona, Spain)

The translation of this work was supported by a grant from the Institut
Ramon Llull.

© Е. Гущина, перевод (главы 1–19), 2015

© А. Уржумцева, перевод (главы 20–38), 2015

© М. Абрамова, перевод (главы 39–59), 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Маргарите

I. A capite^[1]

Я станет ничем.

Карлес Кампс Мундо

1

Только вчерашней ночью, шагая по влажным улицам Валькарки^[2], я понял, что родиться в этой семье было непростительной ошибкой. Внезапно мне открылось, что я всегда был одинок, что никогда не мог рассчитывать ни на родителей, ни на Бога, чтобы переложить на их плечи ответственность за свои проблемы. С возрастом, размышляя о жизни или принимая решения, я привык опираться, словно на костыли, на смутные представления, почерпнутые из разных книг. Однако вчера – во вторник, ночью, – переживая дождь по дороге от Далмау, я пришел к выводу, что эта ноша только моя. И все успехи, равно как и ошибки, мои, и только мои. И отвечаю за них – я. Мне потребовалось шестьдесят лет, чтобы осознать это. Надеюсь, ты поймешь меня. Как поймешь и то, насколько беспомощным и одиноким я чувствовал себя и как тосковал по тебе. Несмотря на расстояние, разделяющее нас, ты всегда служишь мне примером. Хотя меня и охватила паника, я не ищу спасательный круг. Несмотря ни на что, я держусь на плаву без веры, без священников, без готовых решений, которые облегчили бы мне путь неведомо куда. Я чувствую себя старым, и Дама с косой зовет меня за собой. Вижу, как она переставляет черного слона и учтивым жестом предлагает продолжить партию. Я знаю, что у меня осталось мало пешек. Тем не менее еще не конец, и я размышляю, какой фигурой сыграть. Я один на один с листом бумаги, и это мой последний шанс.

Не слишком мне доверяй. В жанре, столь склонном ко лжи, как воспоминания, написанные для единственного читателя, я знаю, что не смогу не приврать, но буду стараться не очень присочинять. Все было именно так, и даже хуже. Я понимаю, что должен был рассказать тебе об этом давно, но это трудно, и даже теперь не знаю, с чего начать.

Все началось, по сути, больше пятисот лет тому назад, когда этот измученный человек попросился в монастырь Сан-Пере дел Бургал.

Если бы он этого не сделал или если бы отец настоятель дом^[3] Жузеп де Сан-БартOMEу отказался его принять, я бы не рассказывал тебе всего того, что хочу рассказать. Но нет, я не в силах перенестись так далеко. Начну гораздо ближе.

– Папа... Видишь ли, сын... папа...

Нет-нет. Не хочу и с этого начинать, нет. Лучше начну с кабинета, в котором я пишу перед твоим – таким живым – автопортретом. Кабинет – это мой мир, моя жизнь, моя вселенная; в нем собрано все... кроме любви. Когда я бегал по дому в коротких штанишках, с цыпками на руках от холода осенью и зимой, входить туда мне было запрещено, кроме особых моментов. Но я делал это тайком. Мне были знакомы все углы; в течение нескольких лет у меня там, за диваном, было тайное укрытие, которое приходилось тщательно маскировать после каждого незаконного вторжения, чтобы Лола Маленькая не нашла моих следов, подметая пол. Однако, попадая в кабинет на законных основаниях, я всегда должен был вести себя как в гостях: стоять спрятав руки за спину, пока отец показывает мне последний манускрипт, который нашел в лавке старьевщика в Берлине. Посмотри-ка! И следи за руками. Я не хочу тебя ругать. Адриа, заинтригованный, склонился над страницей:

– Это ведь по-немецки? – Он невольно протянул руку.

– Эй, следи за руками! – Отец ударил его по пальцам. – Что ты говоришь?

– Ведь это по-немецки, да? – Он трет ушибленную руку.

– Да.

– Я хочу выучить немецкий.

Феликс Ардевол с гордостью смотрит на сына и говорит: весьма скоро ты сможешь начать его учить, мальчик мой.

На самом деле это не манускрипт, конечно, а просто пачка бурых листов: на первой странице старинным шрифтом напечатано Der begrabene Leuchter. Eine Legende^[4].

– Кто такой Стефан Цвейг?

Отец, с лупой в руках, рассеянно изучает какую-то пометку на полях возле первого абзаца и, вместо того чтобы рассказать мне о писателе, бормочет: ну... один тип, покончивший с собой в Бразилии лет десять или двенадцать назад. Долгое время единственное, что я знал про Стефана Цвейга: этот субъект покончил с собой десять или двенадцать лет тому назад... потом – тринадцать, четырнадцать и пятнадцать – до тех пор, пока сам не прочитал книгу и не узнал о ее авторе.

Тем временем посещение кабинета закончено, и Адриа вышел, сопровождаемый просьбой не шуметь: дома не разрешалось ни бегать, ни кричать, ни цокать языком, поскольку отец если не изучал манускрипты с лупой в руках, то просматривал каталожные карточки с описью средневековых географических карт или размышлял, как найти новые места, где можно достать предметы, заставлявшие его трепетать. Единственный шум, который мне позволялось издавать – в своей комнате, – извлекать звуки из скрипки, на которой учился играть. Но и тогда нельзя было проводить весь день, снова и снова повторяя арпеджио номер XXIII из *O livro dos exercicios da velocidade*^[5], из-за которого я так возненавидел Трульолс, однако продолжал любить скрипку. Хотя нет, Трульолс я не ненавидел. Но она была невыносимой занудой, а уж когда речь шла об упражнении XXIII...

– Может быть, что-то другое поиграть? Для разнообразия?

– Здесь, – она тыкала в партитуру колодкой смычка, – все технически сложные моменты собраны в одном месте. Это абсолютно гениальное упражнение!

– Но я...

– В пятницу я хочу услышать безупречное исполнение упражнения двадцать три. Особое внимание – на такт двадцать седьмой.

Иногда Трульолс упряма как ослица. Но в целом она вполне терпима. А иногда даже больше чем терпима.

Бернат того же мнения. Когда я приступил к *O livro dos exercicios da velocidade*, то еще не был знаком с Бернатом. Однако в том, что касается Трульолс, мы сходимся. Она, должно быть, замечательный педагог, хотя и не вошла в историю, насколько мне известно. Кажется, нужно объяснить, что к чему, а то я все запутываю. Да, будут вещи, которые ты наверняка знаешь, особенно когда речь пойдет о тебе. Но есть и такие уголки души, которые, думаю, тебе неизвестны, потому что невозможно ведь познать человека до конца.

Магазин хотя и поражал воображение, но все-таки нравился мне меньше, чем кабинет. Возможно, потому, что когда я приходил туда – очень редко, – то не мог отделаться от чувства, что за мной следят. У магазина было одно явное преимущество: там я мог смотреть на красавицу Сесилию, в которую был всей душой влюблен. У нее были сияющие золотые волосы, всегда тщательно уложенные, и полные ярко-алые губы. Она вечно или хлопотала над своими каталогами и прејскурантами, или подписывала ценники. Немногих клиентов, заходивших в магазин, она приветствовала улыбкой, открывавшей прекрасные зубы.

– У вас есть музыкальные инструменты?

Мужчина даже не потрудился снять шляпу. Он стоял перед Сесилией, оглядывая все вокруг: лампы, канделябры, стулья вишневого дерева с тончайшей инкрустацией, козетки начала девятнадцатого века, вазы всех размеров и эпох... Меня он не заметил.

– Не слишком много. Но если вам будет угодно пройти за мной...

«Не слишком много» – это пара скрипок и одна виола с не очень хорошим звуком, но зато со струнами из чудом сохранившихся натуральных жил. А еще – помятая труба, два великолепных флюгельгорна и горн, который в отчаянии кричал людям из соседних долин, что лес в Паневеджио горит и Пардак просит помощи у Сирора, Сан-Мартино и особенно у Велшнофена, который пострадает чуть позже; у Моэны и Сораги, до которых, возможно, уже долетел тревожный запах этой беды, разразившейся в год 1690-й от Рождества Господа нашего, когда Земля была круглой почти для всех, и если неведомые болезни, безбожные дикари, чудища морские и земные, град, бури, бурные ливни не мешали кораблям, то они, отправляясь на запад, возвращались с востока, привозя обратно моряков, чьи тела были истощены, взгляд потеряны, а ночи полны кошмаров. В лето от Рождества Господа нашего 1690-е в Пардаке, Моэне, Сироре, Сан-Мартино все жители, кроме прикованных к постели, бежали, полуослепшие от дыма, посмотреть на бедствие, разрушившее их жизни – чью-то в большей степени, чью-то в меньшей. Страшный пожар, который они наблюдали, не в силах что-либо предпринять, пожирал гектары прекрасного леса. Когда благословенные дожди погасили адский огонь, Иаким, четвертый – самый бойкий – сын Муреды из Пардака, тщательно обследовал весь лес в поисках мест, нетронутых пожаром, и деревьев, годных для дела. На середине спуска к оврагу Ос он присел справить нужду возле небольшой обугленной ели. Но то, что он увидел, заставило его забыть обо всем: несколько обернутых тряпками факелов из сосновых ветвей, источавших запах камфары или еще чего-то незнакомого. Очень осторожно сын Муреды из Пардака развернул тряпки, которые еще тлели, храня огонь адского пожара, уничтожившего его будущее. От увиденного его замутило: грязно-зеленая ткань, обшитая по краю желтым, не менее грязным шнуром, была не чем иным, как куском куртки Булхани Брочи, толстяка из Моэны. Найдя еще несколько обрывков той же ткани, правда сильно обгоревших, Иаким понял, что это чудовище – Булхани – выполнил свою угрозу уничтожить семейство Муреды и всю деревню Пардак вместе с ним.

– Булхани!

– Я с псами не разговариваю!

– Булхани!

Тон, которым было произнесено имя, заставил его обернуться с недовольной гримасой. Булхани из Моэны обладал внушительным брюхом, на котором – поживи он подольше да поешь получше – стало бы очень удобно складывать руки.

– Какого дьявола тебе нужно?

– Где твоя куртка?

– Тебе-то что до моей куртки?

– Что ж ты ее не надел? Ну-ка, покажи мне ее!

– Поди прочь! Ты думаешь, раз сейчас для Моэны плохие времена, мы должны плясать под твою дуду? А? – Его глаза потемнели от злобы. – И не подумаю тебе ничего показывать! Катись к чертовой матери!

Иаким, четвертый сын Муреды, ослепленный холодной яростью, вытащил короткий нож, который всегда носил за поясом, и воткнул его в брюхо Булхани Брочи, толстяка из Моэны, словно в кленовый ствол, с которого нужно снять кору. Булхани открыл рот и выпучил глаза – скорее от удивления, чем от боли: как это какое-то ничтожество из Пардака посмело тронуть его. Когда Иаким Муредка выдернул нож, раздался отвратительный хлюпающий звук. Лезвие было красно от крови. Булхани осел, будто из него выпустили воздух.

Иаким огляделся: на улице никого. Стараясь сохранять спокойный вид, он почти бегом бросился в сторону Пардака. Вот за спиной остался последний дом Моэны. Муредка заметил краем глаза, что горбунья с мельницы, держа охапку мокрого белья, смотрит на него, открыв рот... Может, она все видела. Вместо того чтобы прирезать и ее, он только прибавил шаг. Для него – лучшего знатока поющего древа, всего-то двадцати лет от роду, – жизнь только что разлетелась в куски.

Дома все поняли мгновенно и тут же послали в Сан-Мартино и Сирор людей, чтобы те в красках рассказали, как Булхани, понукаемый ненавистью и злобой, поджег лес; да только обитателям Моэны до правосудия не было дела, они желали поймать – немедленно – злодея Иакима Муреду.

– Сынок, – сказал старый Муредка, глядя еще более печально, чем обычно, – ты должен бежать отсюда.

И протянул ему мешочек, в котором лежала половина всего золота, скопленного семьей за тридцать лет работы в Паневеджио. Никто из сыновей не возразил, видя это. Глава семьи торжественно продолжил: хоть ты и лучший знаток поющей древесины и настоящий мастер, Иаким,

сын сердца моего, четвертый отпрыск этого несчастного рода, твоя жизнь стоит много больше драгоценного дерева, которое мы никогда уже не сможем продавать. Только покинув эти места, ты избежишь разорения, каковое постигнет нас теперь, когда Булхани из Моэны оставил нас без леса.

– Отец, я...

– Давай беги, не мешкай! Беги через Велшнофен, потому что я уверен: в Сироре тебя будут искать. Мы пустим слух, что ты прячешься в Сироре или Тонадике. Оставаться в долине очень опасно. Ты должен бежать далеко отсюда, как можно дальше от Пардака. Беги, сынок, и да хранит тебя Господь!

– Но, отец, я не хочу уезжать. Я хочу работать в лесу.

– Леса больше нет. Что ты будешь здесь делать, дитя мое?

– Не знаю... Но если я покину долину, то умру!

– А если ты не покинешь долину сегодня же ночью, я сам тебя убью!

Ты понял меня?

– Отец...

– Никому из Моэны я не позволю поднять руку на моего сына!

Иаким Муред из Пардака попрощался с отцом и поцеловал одного за другим всех братьев и сестер: Агно, Йенна, Макса с их женами; Гермеса, Йозефа, Теодора и Микура; Ильзу, Эрику с их мужьями; Катарину, Матильду, Гретхен и Беттину. Затем в полной тишине сказал: «Прощайте!» – и уже в дверях услышал голос младшей, Беттины: «Иаким!» Он обернулся и увидел, что девочка протягивает ему медальон с Пресвятой Девой Марией Пардакской – образок, который мать дала ей перед смертью. Иаким молча обвел взглядом братьев, посмотрел на отца. Тот согласно кивнул. Тогда беглец подошел к младшей сестре, взял медальон и сказал: Беттина, сестренка, я буду носить его как драгоценность до самой смерти. Он не знал тогда, что говорит истинную правду. Беттина прикоснулась к его щекам ладошками, но не плакала.

Иаким вышел из дому, ничего не видя перед собой, пробормотал короткую молитву над могилой матери и растворился в снежной ночи, чтобы переменить жизнь, историю и воспоминания.

– У вас только это есть?

– У нас магазин антиквариата, – ответила Сесилия с тем ледяным выражением лица, которое вгоняло мужчин в краску. И прибавила, не скрывая иронии: – Отчего бы вам не наведаться в лавку музыкальных инструментов?

Мне нравится, когда Сесилия сердится. От этого она становится еще

красивее. Даже красивее, чем мама. Чем мама, какой она была тогда.

С моего места виден кабинет сеньора Беренгера. Я услышал, как Сесилия провожает разочарованного клиента, так и не снявшего шляпу. Как только звякнул колокольчик и раздалось «Всего хорошего!» Сесилии, сеньор Беренгер поднял голову и подмигнул мне:

– Адриа!

– А?

– Когда за тобой придут? – говорит он громче.

Я пожимаю плечами. Я никогда толком не знал, где и когда мне следует быть. Родители не хотели, чтобы я оставался дома один, и отводили в магазин, если оба уходили по делам. Меня это устраивало: мне нравилось проводить время, рассматривая самые невероятные предметы, прожившие жизнь, а теперь ждали случая начать новую в новом месте. Я воображал себе их в разных домах – это было увлекательное занятие.

Заканчивалось все всегда одинаково: за мной приходила Лола Маленькая. Она вечно торопилась, потому что ей нужно было готовить ужин, а потом еще мыть посуду. И я пожал плечами в ответ на вопрос сеньора Беренгера: когда за мной придут.

– Иди сюда, – сказал он, доставая лист белой бумаги. – Сядь за тот тюдоровский стол и порисуй немножко.

Мне никогда не нравилось рисовать, потому что я не умею, совсем не умею. Оттого меня всегда восхищало твое умение, оно кажется мне чудесным. Сеньор Беренгер говорил мне «порисуй немножко», поскольку ему жаль было видеть, как я бездельничаю, хотя это было не так. Я не бездельничал, я – размышлял. Но с сеньором Беренгером спорить бесполезно. Так что, сидя за тюдоровским столом, я соображал, как бы сделать так, чтобы он оставил меня в покое. Вынул Черного Орла из кармана и попробовал нарисовать его. Бедняга Черный Орел, если б он увидел свой портрет... Кстати, Черный Орел все еще не нашел времени познакомиться с шерифом Карсоном, так как я только сегодня утром выменял его у Рамона Колля на губную гармошку Вейса. Если отец узнает об этом, он точно меня убьет.

Сеньор Беренгер не был похож на других; от его смеха мне становилось немного не по себе, а еще он обращался с Сесилией так, словно она никчемная служанка, и этого я ему так и не простил. Однако этот человек много знал о моем отце, который для меня был великой тайной.

«Санта-Мария» прибыла в Остию туманным утром второго четверга сентября. Плавание из Барселоны было значительно хуже, чем любое из путешествий Энея, предпринятых им в поисках своей судьбы и вечной славы. На борту «Санта-Марии» Нептун ему не благоволил: то и дело приходилось свешиваться над водой и кормить рыб, так что к концу путешествия цвет лица у него изменился с яркого и здорового, какой присущ крестьянам из долины Плана, на бледный, словно у загробного видения.

Монсеньор Жузеп Торрас-и-Бажес лично принял решение, что, учитывая превосходные качества этого семинариста – ум, старательность в учебе, благочестие, душевную чистоту и искреннюю веру, которыми, несмотря на юный еще возраст, обладает этот семинарист, – сей прекрасный цветок нуждается в более пышном цветнике, чем скромный огород семинарии в Вике, где он завянет и понапрасну растратит те сокровенные дары, которыми наделил его Господь.

– Но я не хочу ехать в Рим, монсеньор! Я хочу посвятить себя учебе...

– Именно по этой причине я и отправляю тебя в Рим, возлюбленный сын мой. Я хорошо знаю нашу семинарию и то, что такой ум, как твой, лишь понапрасну тратит здесь время.

– Но монсеньор...

– Господь создал тебя для высоких свершений. Твои преподаватели просто требуют от меня такого решения, – сказал он, несколько театральным жестом поднимая вверх бумагу, которую держал в руке.

«Рожденный в усадьбе Жес близ города Тона, сын достойных Андреу и Розалии; уже в возрасте шести лет обнаружил стремление к церковному служению и начал посещать вводный курс латыни под руководством моссена^[6] Жасинта Гарригоса. Был столь успешен в учении, что, осваивая курс риторики, написал сочинение *Oratio Latina*^[7] и был допущен к его защите, чем – как знает монсеньор по собственному опыту, ибо мы имели честь учить Вас в этих стенах, – учителя поощряют лишь наиболее достойных учеников, добившихся значительных успехов в изучении сего наипрекраснейшего языка. Сие событие произошло, когда юноше исполнилось только одиннадцать лет, что свидетельствует о его исключительном развитии. Таким образом, все получили возможность услышать блестящую ораторскую речь Феликса Ардевола, произнесенную на языке Вергилия в присутствии весьма впечатленной публики, равно

как его родителей и брата. Дабы почтенная аудитория могла как следует видеть и слышать маленького оратора, ему пришлось встать на специальную подставку. Так Феликс Ардевол-и-Гитерес начал свое триумфальное восхождение в области философии, теологии, математики, чтобы сравняться с такими просветленными учениками этой семинарии, как отцы Жауме Балмес-и-Урпиа, Антони Мария Кларет-и-Клара, Жасинт Вердагер-и-Сантало, Жауме Коллеу-и-Бансельс^[8], профессор Андреу Дуран и Вы сами, Ваше преосвященство, коего мы удостоились в качестве епископа нашего возлюбленного диоцеза. Мы желали бы выразить благодарность всем славным предшественникам. Ибо сказал Господь наш: „*Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua*“ (Eccli., 44, 1)^[9]. Суммируя все вышеизложенное, мы от всей души просим Вас направить в Папский Григорианский университет студента Феликса Ардевола-и-Гитереса, дабы он там изучал теологию».

– У тебя нет выбора, сын мой!

Феликс Ардевол не осмелился признаться, что ненавидит корабли, поскольку родился и всегда жил на твердой земле, очень далеко от моря. И теперь, из-за того что он не смог быть откровенным с епископом, ему пришлось предпринять это невыносимое путешествие. На задворках порта Остии, заваленных какими-то полусгнившими ящиками и кишачными крысами, он исторг из себя свою беспомощность и почти все воспоминания о прошлом. А за следующие несколько минут – пока пытался разогнуться и восстановить дыхание, пока отирал рот платком – он решительно облекся в сутану странствий и обратил взор к открывавшимся перед ним блестящим перспективам. Подобно Энею, когда тот прибыл в Рим.

– Это лучшая комната в общежитии.

Феликс Ардевол остановился и обернулся, удивленный. В дверном проеме, с приветливой улыбкой, стоял невысокий полный студент, истекающий потом в шерстяном доминиканском хабите.

– Феликс Морлен, из Льежа, – представился незнакомец, делая шаг вперед.

– Феликс Ардевол. Из Вика.

– А, тезка! – воскликнул тот, смеясь и протягивая руку.

С этого дня они сдружились. Морлен по секрету рассказал, что эта комната – самая желанная в общежитии, и спросил, кто составил ему протекцию. Ардевол ответил, что никто, просто толстый плешивый

комендант посмотрел в свои бумаги и сказал: Ардевол? Cinquantaquattro^[10] – и не глядя сунул ему в руки ключ. Морлен не поверил, но с готовностью рассмеялся.

В ту же неделю, до начала учебы, Морлен представил его восьми или девяти студентам второго курса – тем, кого знал сам, и порекомендовал не тратить понапрасну времени на общение с теми, кто учится не в Григорианском университете и не в Библейском институте, подсказал способ, как незаметно проскользнуть мимо привратника-цербера, посоветовал приобрести какую-нибудь мирскую одежду на случай отлучки в город, показал новичкам-первокурсникам, как быстрее всего дойти от общежития до других зданий Папского Григорианского университета. По-итальянски он говорил с французским акцентом, но это не мешало. А еще Морлен прочел лекцию, как важно держаться подальше от иезуитов из Григорианского университета, потому что, коли не побережешься, они тебе мозг взорвут. Вот так – бабах!

Накануне начала занятий всех студентов – и новых, и старых, приехавших из тысячи разных мест, – собрали в огромном актовом зале палаццо Габриэлли-Борромео, и отец декан Папского Григорианского университета (он же – Римская коллегия) Даниэль д’Анжело, S. J.^[11], на безупречной латыни сообщил: вы должны ощущать то великое счастье, то великое преимущество, которые обретаєте, получив возможность учиться на одном из факультетов Папского Григорианского университета и т. д. и т. д. и т. д. Здесь мы имеем честь собирать блестящих студентов, среди коих было немало Святых Отцов, последним из которых является достойнейший папа Лев XIII^[12]. Мы от вас не требуем ничего, кроме прилежания, прилежания и прилежания. Сюда приходят, чтобы учиться, учиться, учиться и приобщаться к знаниям под руководством лучших профессоров в области теологии, канонического права, духовности, истории Церкви и т. д. и т. д. и т. д.

– Отец д’Анжело известен как д’Анжело-анжело-анжело, – шепнул ему на ухо Морлен с очень серьезным видом.

Закончив учебу, вы разъедетесь по всему миру, вернетесь в свои страны, в родные семинарии, в школы родных орденов. Те из вас, кто еще не рукоположен, обретут священнический сан и смогут собрать достойную жатву с того, что вам только еще предстоит познать в этих стенах. И т. д. и т. д. и т. д. Еще минут пятнадцать столь же полезных в каждодневной жизни рассуждений (увы, не таких полезных, как советы Морлена). Феликс Ардевол думал, что могло быть и гораздо хуже, ибо латинские речи в Вике

бывали зачастую значительно более тоскливыми, чем этот набор простых и вполне осмысленных наставлений.

Первые месяцы учебы – до Рождества – прошли без потрясений. Феликс Ардевол восхищался просветленной мудростью отца Фалубы – иезуита, наполовину словака, наполовину венгра, великолепного знатока библеистики; педантичной сухостью рассуждений сурового в общении со студентами отца Пьера Блана, рассказывавшего им об Откровении Божьем и о передаче его Церкви, который, хоть и был тоже родом из Льежа, поставил на экзамене Морлену «неудовлетворительно», когда тот отвечал ему введение в мариологию^[13]. Ардевол сблизился с Драго Градником, своим соседом по парте на занятиях. Это был словенец из Люблянской семинарии, огромного роста, с красным лицом и мощной, как у быка, шеей на которой, казалось, вот-вот лопнет белый воротничок. Говорили они мало, несмотря на то что латынь оба знали хорошо. Оба были застенчивы и стремились направить всю энергию на занятия. Пока Морлен жаловался на учебу и старательно обзаводился разными знакомыми и приятелями, Ардевол, запершись в келье номер пятьдесят четыре – лучшей в общежитии, – читал на демотическом египетском^[14], коптском, греческом или арамейском папирусы и прочие библейские рукописи, которые приносил ему отец Фалуба, обучая студентов искусству любви к вещам. Манускрипт, изъеденный временем, бесполезен для науки, говорил он. Если берешься реставрировать, то уж нужно отреставрировать, чего бы это ни стоило. У реставратора роль не меньше, чем у ученого, который будет потом толковать документ. Он никогда не вставлял «и т. д. и т. д. и т. д.», потому что всегда знал, о чем говорит.

– Идиотизм, – вынес приговор Морлен, выслушав его. – Эти типы счастливы, только если на столе перед ними лежат древние бумажки, изъеденные мышами.

– Счастливы, как и я.

– Да кому нужны эти мертвые языки? – спросил Морлен на изысканной латыни.

– Отец Фалуба говорил нам, что люди живут не в стране, а в языке. И что, оживляя мертвые языки...

– Sciocchezze!^[15] Глупости! Единственный мертвый язык, который еще жив, – это латынь.

Они шли по виа ди Сант-Игназио. Ардевол, защищенный от мира своей сутаной, Морлен – хабитом. Впервые Ардевол посмотрел на друга с удивлением. Он остановился и озадаченно спросил, во что же тот верит?

Морлен тоже остановился и ответил, что решил стать монахом-доминиканцем, руководствуясь огромным желанием помогать другим и служить Церкви. И ничто не отвратит его с этого пути. Однако служить Церкви для него значит заниматься реальным делом, а не корпеть над истлевшими бумажками, значит влиять на людей и через них – на жизнь... Он перевел дух и добавил: ну и т. д. и т. д. и т. д. Оба друга расхохотались. В этот момент Каролина первый раз прошла около них, но ни тот ни другой не обратили на нее никакого внимания.

Когда я возвращался домой с Лолой Маленькой, то должен был упражняться на скрипке, пока она готовила ужин. Квартира была погружена в темноту. Мне это не нравилось, потому что во тьме за любой дверью мог притаиться злодей. Поэтому я всегда носил в кармане Черного Орла, ведь в доме – по давнишнему решению отца – не было ни образов святых, ни освященных предметов, ни молитвенников. А бедняга Адриа Ардевол отчаянно нуждался в незримой защите. Однажды вместо того, чтобы разучивать упражнения на скрипке, я застыл в столовой, наблюдая, как на картине над буфетом солнце прячется за вершины Треспуя, освещая волшебным светом монастырь Санта-Мария де Жерри. Этот магический свет неизменно завораживал меня и рождал в голове фантастические истории... Я не слышал, как хлопнула входная дверь. Голос отца громыхнул у меня за спиной, испугав до полусмерти:

– Та-а-ак... Позволь узнать, с какой стати ты тут прохлаждаешься? Тебе разве нечем заняться? У тебя нет домашнего задания по скрипке? Ты уже все сделал?

И Адриа идет в свою комнату. Сердце все еще бултыхается в грудной клетке и испуганно делает тук-тук-тук. Я не завидовал детям, которых родители обнимают и целуют, – думал, что такого не бывает.

– Карсон, позволь представить тебе: Черный Орел из славного племени арапахо^[16].

– Привет!

– Хау!

Черный Орел целует шерифа Карсона (то, чего никогда не делает отец), и Адриа ставит их обоих, вместе с лошадьми, на ночной столик, чтобы они лучше познакомились.

– Я вижу, тебя что-то мучает.

– После трех лет изучения теологии, – задумчиво говорит Ардевол, – я все никак не могу понять, что тебя на самом деле интересует? Доктрина милости Божьей?

– Ты не ответил на мой вопрос, – напомнил Морлен.
– Это был не вопрос. Или надежность доктрины Откровения Божьего? Морлен молчал, и Феликс Ардевол продолжал настаивать:
– Зачем ты учишься в Григорианском университете, если теология тебя не?..

Они отстали от остальных студентов, вихрем несшихся от учебного корпуса к общежитию. За два года христологии и сотериологии^[17], первой и второй части курса метафизики, Божественного Откровения и диатриб самых требовательных наставников – особенно Левински, преподававшего Божественное Откровение и полагавшего, что Феликс Ардевол не оправдывает возложенных на него надежд, – за два эти года Рим не слишком изменился. Несмотря на то что Европа билась в военных конвульсиях, город не стал кровоточащей раной, скорее – просто выглядел теперь беднее. Тем временем студенты Папского университета переживали свои собственные драмы и конфликты. Почти все. И разрешали их с мудростью и достоинством. Почти все.

– Ну а тебе что интересно?

– Теодицея^[18] и первородный грех меня больше не интересуют. Я не желаю никаких оправданий. Мне тяжело думать, что Господь допускает зло.

– Я подозревал это уже довольно давно.

– И ты тоже?

– Нет, ты не так понял: я подозревал, что ты слишком запутался. Попробуй смотреть на мир, как я. Меня устраивает факультет канонического права. Юридические отношения между Церковью и гражданским обществом, церковные санкции, имущество Церкви, харизма институтов посвященной Богу жизни, *la Consuetudine canonica*...^[19]

– Да что ты такое говоришь?

– Отвлеченные ученые штудии – пустая трата времени, все эти крючкотворы заняты совершенной ерундой.

– Нет, нет! – воскликнул Ардевол. – Мне нравится арамейский, меня восхищают манускрипты, я наслаждаюсь, когда понимаю разницу в морфологии между восточным и северо-восточным новоарамейскими языками или, например, отличия халдейско-арамейского диалекта от диалекта млахсо.

– Слушай, я вообще не понимаю, о чем ты толкуешь. Мы в одном университете учимся, а? На одном факультете? Мы с тобой в Риме находимся или где?

– Не имеет значения! Пока мне преподает отец Левински, я хотел бы узнать все, что известно о халдейском, вавилонском, самаритянском и...

– И чем тебе это поможет в жизни?

– А чем тебе поможет знание тончайших отличий «брака законного» от «брака, осуществленного в полной мере» согласно каноническому праву?

Оба начали хохотать, стоя прямо посреди виа дел Семинарио. Глядя на этих молодых священнослужителей, так откровенно и бесстыдно проявляющих неуместное жизнелюбие, какая-то почтенная дама, одетая во все черное, казалось, была готова упасть в обморок.

– Так что же тебя гнетет, Ардевол? Вот это вопрос.

– Сначала скажи: а тебя-то что интересует по-настоящему? Если говорить начистоту?

– Все!

– И теология?

– Как часть всего, – ответил Морлен, воздевая руки, словно хотел благословить фасад библиотеки Казанате^[20] и человек двадцать прохожих, спешащих по своим делам.

Наконец они тронулись с места, продолжая разговор на ходу. Феликсу Ардеволу было непросто понять ход мысли друга.

– Возьмем войну в Европе, – говорил Морлен, энергично кивая куда-то в сторону Африки. Он понизил голос, словно опасался шпионов.

– Италия должна сохранять нейтралитет, потому что Тройственный союз^[21] – это только договор о взаимопомощи при обороне, – сказала Италия.

– В союзе мы выиграем войну, – ответила Антанта.

– Я не изменяю ради других интересов данному слову, – с достоинством заявила Италия.

– Мы обещаем отдать тебе спорные Трентино, Истрию и Далмацию.

– Повторяю, – говорит Италия величественно, глядя в никуда, – что нам приличествует сохранять нейтралитет.

– Хорошо. Но если ты подпишешь сегодня – не завтра, понимаешь? – если ты подпишешь сегодня, то получишь желаемое: и Альто-Адидже, и Трентино, и Венецию-Джулию, и Истрию, и Фиуме, и Ниццу, и Корсику, и Мальту, и Далмацию^[22].

– Где я должна подписать? – ответила Италия. И воскликнула с горящими глазами: – Да здравствует Антанта! Пусть рухнут старые европейские империи! Вот и все, Феликс, политика – такое

дело. Сначала ты договариваешься с одними, а потом – с другими.

– А как же высокие идеалы?

Теперь Феликс Морлен остановился и посмотрел в небо, намереваясь изречь афоризм:

– Мировая политика – вовсе не высокие идеалы, а высокие международные интересы. И Италия это хорошо поняла: стоило ей встать на сторону добра, то есть на нашу, и тут же оборона в Трентино, контратака, битва при Капоретто^[23], триста тысяч убитых, Пьява, прорыв фронта возле Витторио-Венето^[24], перемирие в Падуе, создание Королевства сербов, хорватов и словенцев^[25] – фантома, не просуществовавшего и пары месяцев и превратившегося в то, что называется Югославией. Думаю, спорные регионы – это приманка, которую союзники заберут себе. В общем, тривиальная борьба союзников за вожделенные куски пирога. А Италия в ней останется с носом^[26]. Покуда все заняты дележкой территорий, война не закончится. Надо ждать, когда на сцене появится настоящий враг – тот, что еще не проснулся.

– Какой?

– Большевистский коммунизм. Поверь, через пару лет ты поймешь, что я был прав.

– Откуда тебе все это известно?

– Из газет, из разговоров с умными людьми. Надо уметь грамотно пользоваться связями. Если бы ты знал, какую незавидную роль играет Ватикан во всех этих событиях...

– Когда же ты успеваешь изучать сакральное влияние таинств на душу или доктрину милости Божьей?

– То, чем я занимаюсь, – тоже учеба, дорогой Феликс. Это позволит мне стать хорошим слугой Церкви. Церкви нужны и богословы, и политики, и такие, как ты, – просветленные, изучающие мир сквозь стекло лупы. Отчего же ты унываешь?

Некоторое время они шли молча, опустив голову, каждый погруженный в свои мысли. Внезапно Морлен остановился и воскликнул: ну конечно!

– Что?

– Я знаю, что с тобой происходит! Знаю, отчего ты впал в уныние!

– Да неужели?

– Ты – влюбился!

Феликс Ардевол-и-Гитерес, студент четвертого курса Папского Григорианского университета в Риме, обладатель наград за выдающиеся

успехи в учебе по итогам первых двух курсов, открыл рот, чтобы что-то возразить, и тут же закрыл. Они встретились в пасхальный понедельник. Страстная неделя закончилась, ему решительно нечем было заняться после того, как он написал работу о Вико: его *el verum et factum reciprocantur seu convertuntur*^[27] и о невозможности понять все (тогда как Феликс Морлен был, наоборот, настроен против идей Вико и производил впечатление человека, понимающего все странные процессы в обществе). Они переходили через *Piazza di Pietra*^[28], и тут он увидел ее в третий раз. Ослепительная. Их отделяло друг от друга несколько десятков голубей. Он приблизился, а она – в руке кулек с кормом для птиц – улыбнулась ему. И в тот же миг мир стал чудесным, прекрасным, сияющим. И это было совершенно логично: красота, *такая* красота, не может быть делом дьявольских рук. Красота – божественна, и ангельская улыбка тому подтверждение. Он вспомнил, как видел ее во второй раз, тогда Каролина помогала отцу разгружать повозку у дверей лавочки. Такая нежная спина должна была принимать на себя тяжесть грубых деревянных ящиков с яблоками? Этого он не мог вынести и бросился помогать девушке. Они вдвоем, молча, при ироничном одобрении мула, жующего сено из торбы, сгрузили три ящика. Он тонул в глубине ее глаз, не испытывая ни малейшего желания опустить взгляд в ложбинку между грудями, а все, кто был в лавочке Саверио Амато, молчали, потому что никто не знал, что делать, когда студент Папского университета, будущий священник, духовное лицо, подтыкает подол святой сутаны и, как грузчик, таскает тяжести, при этом так странно глядя на их дочь. Три ящика яблок – настоящий дар Божий в военное время; три мгновения наслаждения возле красоты – а затем очнуться, оглядеться вокруг, увидеть людей внутри лавочки синьора Амато, сказать *buona sera*^[29] – и пойти прочь, не смея обернуться и еще раз посмотреть на нее... а жена синьора Амато догоняет его и сует в руки пару румяных красных яблок... и невозможно отказаться... и он краснеет, потому что в голове вдруг проносится мысль, что так же в его ладонях могли бы лежать восхитительные груди Каролины... Он вспомнил, как увидел ее в первый раз. Каролина, Каролина, Каролина – самое прекрасное имя на свете. Но тогда еще безымянная девушка, что шла перед ним по улице, оступилась, подвернула ногу и вскрикнула от боли, бедняжка. А он шел с Драго Градником, который за два года учебы на факультете теологии вырос на добрых полпяди, да и в весе прибавил шесть или семь фунтов. Последние три дня тот был озабочен доказательством бытия Божия святого Ансельма^[30].

Как будто на свете не было никаких других тому доказательств, например красоты этого нежнейшего существа. Драго Градник не обратил внимания на то, что девушка, должно быть, чувствует нестерпимую боль. А Феликс Ардевол нежно прикоснулся к ноге прекрасной Адалаизы^[31], Беатриче, Лауры, чтобы помочь ей встать, и в тот момент, когда он дотронулся до ее щиколотки, электрический разряд в сто раз сильнее, чем вольтова дуга, которую демонстрировали на Всемирной выставке, прошел по его позвоночнику. И, спрашивая, больно ли синьорине, на самом деле хотел одного – как можно быстрее сжать ее в объятиях. Первый раз в жизни Ардевол почувствовал желание такой силы – острое, безжалостное, страшное, требующее немедленного удовлетворения. А Драго Градник тем временем смотрел в другую сторону, размышляя о святом Ансельме и о других возможных аргументах, более рациональных, в пользу доказательства бытия Божия.

– Ti fa male?^[32]

– Grazie, grazie mille, padre...^[33] – ответила она нежно, глядя на него бездонными глазами.

– Если Бог наделил нас разумностью, то, я считаю, вера может идти рука об руку с рациональным. Как думаешь, Ардевол?

– Come ti chiami (прекрасная моя нимфа)?^[34]

– Carolina, padre. Grazie^[35].

Каролина, какое прекрасное имя! Так, и только так должно звать тебя, любовь.

– Ti fa ancora male, Carolina^[36] (сама Красота, без сомнения)? – повторил он обеспокоенно.

– Разум. Через разум к вере. Это ересь, а? Что скажешь, Ардевол?

Он был вынужден оставить ее сидеть на скамейке, потому что нимфа, покраснев от смущения, уверила, что за ней сейчас придет мать. Они двинулись дальше, и, слушая рискованные размышления Драго Градника на гундосой латыни о том, что, возможно, святой Бернارد не всегда был святым, а эссе Тейяра де Шардена^[37], кажется, заслуживает внимания, Феликс внезапно обнаружил, что подносит к лицу руку и пытается уловить тонкий аромат кожи божественной Каролины.

– Влюбился? Я?! – Он в изумлении посмотрел на Морлена.

– У тебя налицо все симптомы.

– Ты-то откуда знаешь?

– Я уже через такое проходил.

– И как тебе удалось выбраться? – с тоской в голосе спросил Ардевол.

– Я и не выбирался, а, наоборот, с головой погрузился. До тех пор, пока влюбленность не прошла. А потом – долой!

– Но это же ужасно!

– Это жизнь. Я грешен, каюсь.

– Влюбленность – бесконечна, она не заканчивается никогда. Я не смог бы...

– Боже мой, как ты живешь, Феликс Ардевол!

Ардевол не ответил. Перед ним – три десятка голубей, в тот пасхальный понедельник на *Piazza di Pietra*. Непреодолимая страсть гнала его через толчею птиц, пока он не подошел к Каролине вплотную и та не протянула ему маленький сверток.

– Il gioiello dell’Africa^[38], – сказала нимфа.

– Откуда ты знаешь, что я...

– Вы каждый день проходите здесь. Каждый день.

И вот, как сказано у Матфея (25: 51), завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли.

Тайна Бога и Слова Божия, ставшего плотью.

Тайна Пресвятой Девы и Матери Божьей.

Тайна христианской веры.

Тайна Церкви – человеческой и несовершенной, Божественной и вечной.

Тайна любви к девушке, вручившей мне сверток, который два дня лежит у меня на столе в комнате пятьдесят четыре и который только на третий день я решаюсь развернуть. Оберточная бумага скрывала небольшую коробочку. Господь Всемогуший! Я стою на краю пропасти.

Я ждал субботы. Большинство студентов сидели по своим комнатам. Некоторые вышли прогуляться, другие засели в многочисленных римских библиотеках, где погрузились, проклиная все на свете, в рассуждения о природе зла и о том, отчего Господь попускает его, о существовании злокозненных демонов, о правильном прочтении Священного Писания и о появлении невм^[39] в григорианских распевах и в распевах Амвросия Медиоланского. Феликс Ардевол был один в комнате пятьдесят четыре: пустой стол без единой книги, каждая вещь на своем месте, потому что если не соблюдать порядок, то воцарится безобразный хаос, за который будет цепляться взгляд и... Он подумал, что становится одержим порядком. Я думаю, что именно тогда это и началось: отец был помешан на порядке

в доме. Зато беспорядок в голове не слишком его беспокоил. А вот книга, лежащая на столе, вместо того чтобы стоять на полке, или бумажка, забытая на подоконнике, – это абсолютно непозволительно и непростительно. Ничто не должно было оскорблять его взгляд, и все усердно соблюдали установленный порядок, особенно я, поскольку был обязан каждый день расставлять по местам все свои игрушки. Избегали этого только шериф Карсон и Черный Орел: они тайком отправлялись спать со мной, отец так никогда об этом и не узнал.

Комната пятьдесят четыре чиста и практически стерильна. Феликс Ардевол стоит и смотрит в окно. На мельтешение сутан, снующих у входа в общежитие. На лошадь, везущую кабриолет по виа дель Корсо, скрывающий за задернутым пологом постыдные и возмутительные секреты. На мальчишку – тот от нечего делать пинает металлическое ведро, и оно оглушительно грохочет. Он так скован страхом, что абсолютно все бьет по его натянутым нервам. На столе лежит вещь, которая появилась неожиданно и у которой здесь нет места. Зеленая коробочка, подаренная Каролиной, с сокровищем из Африки внутри. Его судьба. Он дал себе слово, что, прежде чем колокола церкви Святой Марии пробьют полдень, он либо выбросит коробочку, либо откроет ее. Либо наложит на себя руки. Одно из трех.

Потому что одно дело – жить ради научных исследований, посвятить себя восхитительному миру палеографии, вселенной древних манускриптов, изучать мертвые языки, потому что веками они были законсервированы в ветхих папирусах, листы которых только и донесли их до потомков, разбираться в древней и средневековой палеографии, радоваться, что мир рукописей так огромен, что, коли надоест, всегда можно переключиться на санскрит и азиатские языки, и если однажды у меня будет сын, то я хотел бы, чтобы он...

С какой стати я пустился в размышления, что хотел бы иметь сына? – он возмутился, нет, рассердился на себя. И вернулся к созерцанию коробочки, нарушавшей своим присутствием чистоту стола в комнате пятьдесят четыре. Феликс Ардевол смахнул невидимую нитку, якобы приставшую к сутане, провел пальцем по раздраженной коже, натертой воротничком, и сел к столу. До того момента, когда колокола церкви Святой Марии начнут бить полдень, оставалось три минуты. Он глубоко вдохнул и принял решение: с самоубийством можно подождать. Феликс взял коробочку очень осторожно, словно ребенок, несущий в руках птичье гнездо, которое снял с дерева, чтобы показать маме лежащие там зеленые яйца или беззащитных птенцов; мама, я их покормлю, не волнуйся, я дам

им много муравьев... Как лань, страждущая у потоков вод, Господи. Как бы он ни поступил – так или иначе, почему-то Ардевол знал, что его поступок оставит ощущение необратимости в душе. Две минуты. Дрожащими пальцами он попытался развязать красную ленту, но вместо этого узел затянулся еще крепче. В том не было вины бедняжки Каролины, во всем были виноваты его нервы. Он вскочил в нетерпении. Полторы минуты. Феликс подошел к умывальнику и взял опасную бритву. Торопливо раскрыл. Минута и пятнадцать секунд. Он безжалостно разрезал красную ленту, прекраснее которой не видел за свою долгую жизнь, поскольку в двадцать пять лет чувствовал себя старым и усталым и хотел, чтобы подобные вещи происходили не с ним, а с каким-нибудь другим Феликсом, который бы с легкостью мог отмахнуться от всего этого и... Минута! Во рту пересохло, руки стали влажными, капля пота скатилась по шее – и это дня не прошло с... Осталось две секунды, потому что колокола церкви на виа Лата бьют «Ангелус» точно в полдень. И в то время как в Версале компания весельчаков сообщала, что война закончилась, и, высунув от усердия язык, подписывала мирный договор, приведя в действие механизмы, сделавшие возможной новую блистательную войну несколько лет спустя – еще более кровавую и разрушительную (чего Господь не должен был бы допускать никогда), Феликс Ардевол-и-Гитерес открыл зеленую коробочку. Очень осторожно он приподнял ватку розового цвета и с первым ударом колокола – *Angelus Domini nuntiavit Mariae*^[40] – заплакал.

Потихоньку выскользнуть из общежития довольно просто. Мы – Морлен, Градник и еще пара-тройка проверенных друзей – проделывали это не один раз, и это всегда сходило нам с рук. Если ты одет в обычную одежду, Рим открывает для тебя множество дверей. В том числе те, что закрыты перед тобой, если на тебе сутана. Одетый как все, ты можешь пойти в музеи, куда вход духовным лицам запрещен. Или сидеть с чашкой кофе на пьядца Колонна, разглядывая идущих мимо людей. Несколько раз Морлен водил меня, «возлюбленного ученика», знакомиться с теми, с кем, по его уверениям, полезно быть знакомым, и представлял там как Феликса Ардевола, ученого, знающего восемь языков, перед которым древние манускрипты раскрывают свои тайны. И передо мной открывали надежные футляры и позволяли взглянуть на оригинал *La mandragora*^[41] – невероятная прелесть! – или почти истлевшие папирусы эпохи Маккавеев. Однако сегодня, в день, когда Европа подписала мирный договор, мудрец-ученый Феликс Ардевол впервые вышел тайком из общежития, прячась

не только от начальства, но и от своих друзей. Одетый в куртку и кепку, скрывающие его принадлежность к Церкви, он напрямик направился к фруктовой лавке синьора Амато, затаился неподалеку от нее и стал ждать, сжимая в кармане зеленую коробочку. Мимо него сновали беззаботные и счастливые люди, которых, в отличие от него, не трясло в лихорадке. И мать Каролины, и ее младшая сестра. Кто угодно, только не его возлюбленная. Сокровище – грубо сделанный медальон с вырезанной в романском стиле фигурой Пресвятой Девы возле огромного дерева, похожего на ель. А на обратной стороне выгравировано слово «Пардак». Из Африки? Может быть, коптский? Почему я произнес «моя любовь», если у меня нет никакого права на... Воздух сгустился так, что невозможно стало дышать. Начали звонить колокола, и Феликс, не знавший, по какой причине они звонят, решил, что все церкви в Риме звонят в честь его любви – тайной, скрытой от людских глаз и греховной. Люди останавливались в изумлении, быть может ища Абельяра, но вместо того, чтобы показывать на него пальцем, спрашивали, что произошло, почему бьют все городские колокола, хотя только три часа пополудни и не время для звона. Господи Боже, может, война закончилась?

Наконец появилась Каролина Амато. Она вышла из дому и пошла по улице прямо к тому месту, где ждал Феликс, хотя ему казалось, что он спрятался хорошо. Ее короткие волосы растрепались. Она молча остановилась перед ним – лицо лучилось улыбкой. Он сглотнул слюну, нащупал в кармане коробочку, открыл рот и... ничего не сказал.

– Я тоже, – ответила она. И, дождавшись паузы в звоне колоколов, прибавила: – Тебе понравилось?

– Не уверен, что могу принять такой подарок.

– Это сокровище – мое. Мне его подарил дядя Сандро, когда я родилась. Он привез его из Египта. Теперь оно твое.

– А дома что скажут?

– Оно мое, а теперь – твое. Ничего не скажут. Это мой залог.

И она взяла его за руку. В этот момент небо упало на землю и Абельяр не ощущал больше ничего, кроме кожи Элоизы. Он шел куда-то, пока не оказался в каком-то тупике, загаженном нечистотами, но чувствовал только аромат роз любви. И вошел в дом, двери которого были нараспашку и внутри никого не было, а колокола все звонили и звонили, и соседка кричала в окно: *nuntio vobis gaudium magnum*^[42], *Elisabetta*^[43], *la guerra è finita!*^[44] Но двое влюбленных были на пороге иного сражения и не слышали ничего.

II. De pueritia^[45]

Хороший воин не может быть постоянно влюблен во всех бледнолицых скво^[46], которых встречает на пути, как бы они ни раскрашивали лица в цвета войны.

Черный Орел

3

Не смотри на меня так. Я знаю, что могу и придумать кое-что, но не оставляю попыток говорить правду. Например, про мою первую комнату (где сейчас стоят книги по истории и географии). Мне кажется, что самое раннее мое воспоминание – как я лежу под кроватью, где устроил себе домик. Мне было там довольно удобно, и к тому же это забавно – видеть ноги входящих, которые ищут меня со словами Адриа, сынок, ты где? или Адриа, пора полдничать! Куда же он делся? Это было весело. Увы, мне часто бывало скучно, потому что наш дом не был предназначен для детей, равно как и моя семья. Мама как бы не существовало, а отец интересовался только своими торговыми операциями, и меня терзала ревность, когда он восхищенно касался кончиками пальцев какой-нибудь гравюры или вазы тонкого фарфора. А мама... Мама, казалось, всегда начеку, всегда настороже, и в этом ей помогала Лола Маленькая. Сейчас я понимаю, что из-за отца она чувствовала себя дома не в своей тарелке. Это был дом отца, в котором он милостиво позволял ей жить. После смерти папы мама смогла вздохнуть спокойно и ее взгляд стал менее напряженным. Впрочем, она избегала смотреть на меня. Мама изменилась. Я задаюсь вопросом: почему? И еще: зачем они вообще поженились, мои родители? Не думаю, что они вообще любили друг друга. В нашем доме не ощущалось любви. И я появился в результате какого-то случайного пересечения родительских жизней.

В самом деле, забавно: мне столько всего нужно тебе рассказать, а я отвлекаюсь и трачу время на какие-то фрейдистские размышления. Наверное, дело в том, что все сложилось именно так из-за моих отношений с отцом. И возможно, умер он по моей вине.

Однажды (не знаю, сколько лет мне было, но я уже тайком вселился в кабинет отца – в то место между диваном и стеной, которое превратил в убежище для моих индейцев и ковбоев) отец вошел с кем-то в комнату: голос знакомый – вежливый и тем не менее вселяющий дрожь. Я тогда впервые услышал, как сеньор Беренгер разговаривает вне магазина: его манеры разительно переменились. С того момента мне перестал нравиться его голос что в магазине, что за его пределами. Я замер в своем укрытии, осторожно опустив на пол шерифа Карсона. Но тут гнедая лошадь Черного Орла, обычно такая тихая, упала со стуком и напугала меня – как бы враг нас не засек. Однако отец продолжал говорить: я не обязан давать никаких объяснений.

– А я думаю, должны.

Сеньор Беренгер сел на диван, отчего тот немного придвинулся к стене. У меня промелькнула геройская мысль: пусть уж лучше меня раздавят, чем обнаружат. Я услышал, как сеньор Беренгер чем-то щелкает и папа ледяным тоном произносит: в этом доме запрещено курить. А сеньор Беренгер говорит, что по-прежнему требует объяснений.

– Вы работаете на меня. – И продолжил иронично: – Или я ошибаюсь?

– Я достал десять гравюр, я сделал так, чтобы потерпевшие не слишком протестовали. Я провез эти гравюры через три границы, я сделал экспертизу за свой счет, а теперь вы мне сообщаете, что продали их. Не посоветовавшись со мной. А автор одной из них – Рембрандт, знаете ли!

– Мы покупаем и продаем, чтобы заработать на эту ссучью жизнь.

Выражение «ссучья жизнь» я услышал впервые, и оно мне понравилось. Отец его так и произнес с двойным «с» – «ссучью жизнь». Думаю, оттого, что был очень раздражен. Я понял, что сеньор Беренгер улыбнулся, – я тогда отлично умел разбираться в самых разных типах молчания и был уверен, что сеньор Беренгер улыбается.

– О, добрый день, сеньор Беренгер! – это голос мамы. – Ты не видел мальчика, Феликс?

– Нет.

Надвигалась катастрофа. Что я мог предпринять, чтобы исчезнуть из своего убежища за диваном и объявиться в другой части дома, сделал вид, что ничего не слышал? Я спросил совета у шерифа Карсона и Черного Орла, но они, увы, не могли мне помочь. Тем временем мужчины сидели молча, очевидно ожидая, когда мама выйдет из кабинета и закроет дверь.

– Всего доброго.

– Всего доброго, сеньора. – И он вновь заговорил, едва сдерживая раздражение: – Да вы меня попросту обокрали! Я требую заплатить мне достойные комиссионные. – Молчание. – Слышите? Настаиваю!

Разговор про комиссионные меня совершенно не интересовал. Чтобы успокоиться, я начал в уме переводить разговор на французский; конечно, это был весьма несовершенный французский, ведь мне было всего семь лет. Я периодически прибегал к этому способу, когда нужно было подавить внутреннее беспокойство, внезапные приступы тревоги. В тишине кабинета, замерев в своем убежище, я слышал каждое слово. *Moi, j'exige ma comission. C'est mon droit. Vous travaillez pour moi, monsieur Berenguer. Oui, bien sûr, mais j'ai de la dignité, moi!*^[47]

Где-то в глубине дома мама звала: Адриа, малыш! Лола, ты не видела его? *Dieu sait où est mon petit Hadrien!*^[48]

Не помню точно, но мне кажется, что сеньор Беренгер, разъяренный, ушел довольно скоро и что отец выпроводил его со словами: любите кататься – любите и саночки возить, сеньор Беренгер, я не знал, как это перевести. К тому же гораздо больше мне хотелось, чтобы мама никогда не называла меня *mon petit Hadrien*.

Наконец у меня появился шанс выбраться из своего убежища. Пока отец провожал гостя к выходу, я успел уничтожить следы своего присутствия: партизанская жизнь дома наделила меня невероятной способностью к камуфляжу и даже, можно сказать, вездесущности.

– Вот ты где! – Мама вышла на балкон, откуда я наблюдал за машинами, которые уже включили фары (по моим воспоминаниям, в то время были вечные сумерки). – Ты разве не слышишь, что я тебя зову?

– Что? – У меня в руках были шериф и гнедая лошадь, и я сделал вид, что только пришел из сада.

– Нужно примерить школьную форму. Как ты мог меня не слышать?

– Форму?

– Сеньора Анжелета переделала рукава. – И тоном, не терпящим возражений, прибавила: – Идем!

В комнате для шитья сеньора Анжелета, зажав булавки во рту, оценивающим взглядом смотрела на новые рукава:

– Ты слишком быстро растешь, парень!

Мама вышла из комнаты, чтобы попрощаться с сеньором Беренгером, Лола Маленькая пошла в гладильню за чистыми рубашками, а я стоял в куртке без рукавов, как это не раз бывало в моем детстве.

– И слишком быстро протираешь рукава, – припечатала сеньора

Анжелета, которой, наверное, было не меньше тысячи лет.

Хлопнула входная дверь. Шаги отца удалились в сторону кабинета, и сеньора Анжелета подняла седую голову:

– В последнее время у него много посетителей.

Лола Маленькая промолчала, сделав вид, что ничего не слышала. Сеньора Анжелета пришпилила булавками рукава к халату и сказала:

– Временами я слышу, они прямо-таки кричат...

Лола Маленькая молча взяла сорочки. Сеньора Анжелета не унималась:

– Поди знай, о чем они говорят...

– О ссучьей жизни! – сообщил я, не подумав.

Сорочки выпали из рук Лолы Маленькой на пол, сеньора Анжелета уколола мне руку булавкой, а Черный Орел отвернулся и начал всматриваться в сухой горизонт сквозь полуприкрытые веки. Он учуял облака пыли раньше, чем кто бы то ни было. Даже раньше, чем Быстрый Кролик.

– Приближаются три человека, – сказал он. Ему никто не ответил. В пещере в это нещадно знойное лето жара была не так мучительна, но никто: ни одна скво, ни один ребенок – и не думал интересоваться ни неожиданными гостями, ни их намерениями. Черный Орел едва заметно опустил веки – и три воина направились к лошадям. Сам он не переставал следить за облаками пыли. Они двигались прямо к пещере, никакого сомнения. Словно птица, отвлекающая внимание птицелова и различными уловками отводящая его от гнезда, Черный Орел с тремя воинами поскакал на запад. Обе группы встретились возле пяти дубов. Пришельцы оказались тремя белыми мужчинами: один совсем светлый, с белыми волосами, а двое других – смуглые. Мужчина с внушительными усами проворно спрыгнул с коня и усмехнулся.

– Ты – Черный Орел, – утвердительно сказал он, держа руки на виду в знак мирных намерений.

Великий вождь племени арапахо из Южных Земель, что недалеко от Уошито, едва заметно согласно наклонил голову, оставаясь в седле, при этом у него не шелохнулся ни один волос. А затем спросил: чем мы обязаны вашему визиту? Черноусый вновь усмехнулся, после чего отвесил изящный полупоклон: я – шериф Карсон из Рокленда, что в двух днях пути от ваших земель.

– Мне известно, где находится Рокленд, – сухо ответил великий вождь. – На территории пауни^[49]. – И плюнул на землю в знак презрения.

– Это мои помощники, – продолжил Карсон, не обращая внимания

на плевков. – Мы ищем беглого преступника. – И тоже сплюнул.

– Что он сделал, что вы зовете его преступником?

– Ты знаешь его? Видел?

– Я спросил, что он сделал, что вы называете его преступником?

– Убил кобылицу.

– И обесчестил двух женщин, – добавил светловолосый.

– Да, конечно, и это тоже, – подтвердил шериф Карсон.

– Почему вы ищите его здесь?

– Он – арапахо.

– Мой народ рассеян на много дней к западу и на много дней к востоку, к холоду и к жаре. Отчего ты пришел его искать именно сюда?

– Ты знаешь, кто это. Мы хотим, чтобы он предстал перед судом.

– Ты ошибаешься, шериф Карсон. Твой убийца – не из арапахо.

– Вот как? Откуда тебе это известно?

Тем временем зажгли свет, и Лола Маленькая сделала ему знак выйти из кладовки. Перед Адриа – мама, в боевой раскраске на лице, не глядя на него, не сплюнув на землю, говорит: Лола, проследи, чтобы рот у него был как следует вымыт. С мылом. А если понадобится – добавь еще пару капель хлорки.

Черный Орел мужественно вынес эту пытку, не испустив ни единого стога. Как только Лола Маленькая закончила процедуру и уже вытирала его полотенцем, он посмотрел на нее и спросил: Лола, ты знаешь, что в точности значит «обесчестить женщину»?

Когда мне было семь или восемь лет, я думал, что сам решаю, как мне жить. Одним из лучших моих решений было доверить свое образование маме. Но, как видно, в нашей семье все происходило иначе. Я узнал об этом в тот вечер, когда меня больше всего волновало, как отец отреагирует на мою оплошность, и я установил подслушивающее устройство в столовой. Это не составило особого труда, поскольку между моей комнатой и столовой стена была тонкая. Официально я отправился в кровать рано, поэтому, когда отец вернулся, я уже якобы спал. Это было лучшим способом избежать нравоучений и опасных вопросов, потому что если бы я все же сказал ему в свою защиту, что выражение «ссучья жизнь» я услышал от него, то тогда бы тема беседы перешла от «у тебя такой грязный рот, что я его тебе сейчас вымою специальным мылом для плутов» к «откуда, черт побери! ты знаешь, что я сказал „ссучья жизнь“, бесстыжий лжец! А? А? Может, ты шпионишь за мной?». А я ни за что не должен был раскрывать, что подслушиваю, потому как благодаря этому я потихоньку

стал единственным обитателем дома, кто знал тайну каждого угла, каждого разговора, каждого обсуждения и необъяснимых слез. Как в ту неделю, которую Лола Маленькая провела в слезах и, выходя из своей комнаты, скрывала свое горе, которое, видимо, было огромно. Я лишь через много лет выяснил, почему она плакала, а тогда просто узнал, что бывают страдания, которые длятся целую неделю, и это внушило мне некоторый страх перед жизнью.

Итак, я присутствовал при разговоре родителей, приложив ухо к доньшку стакана, приставленного к стене. Поскольку, судя по голосу, папа устал, мама просто сообщила, что я достаточно наказан, и он не стал вникать в детали. Отец сказал, что все решено.

- Решено что? – тревожно спросила мама.
- Я запишу его в иезуитскую школу на улице Касп.
- Но, Феликс... ведь...

В тот день я узнал, что в нашей семье все решает только отец. И что мое образование зависит только от него. Я также отметил про себя, что потом надо посмотреть в Британской энциклопедии, кто такие иезуиты. Отец молча выдержал взгляд мамы. Наконец она решилась спросить:

- Почему именно иезуиты? Ты – неверующий и...

– Потому что это образование высочайшего уровня. Нам это по карману, у нас только один сын, так что нельзя упустить шанс.

Итак, у них был только один ребенок. Или нет. Впрочем, не это в данном случае важно. Ясно было, что они не хотели просчитаться. Поэтому отец решил сделать ставку на языки, которые, как он знал, мне нравились.

- Что ты сказал?
- Десять языков.
- Ты хочешь сделать из нашего сына монстра.
- Он может их выучить.
- Хорошо, а почему – десять?

– Потому что патер Левински из Григорианского университета знал девять. Наш сын должен превзойти его.

- С какой стати?

– С той, что он называл меня бестолочью перед другими учениками. Бестолковым – только потому, что мой арамейский был недостаточно беглым, хоть я и прослушал весь курс падре Фалубы.

- Не смей меня. Мы сейчас говорим об образовании нашего сына.
- Я вовсе не шучу. И говорю об образовании моего сына.

Я знал, что мама всегда очень переживала, когда отец говорил обо мне

только как о своем сыне. Но сейчас ее мысли были заняты, как видно, другим, потому что она начала говорить, что не желает превращать меня в какое-то чудовище. С настойчивостью, которой я в ней и не подозревал, она говорила: слышишь, я не хочу, чтобы мой сын чувствовал себя ярмарочным уродцем только ради того, чтобы превзойти патера Лувовски.

– Левински.

– Монстр Левински.

– Он – авторитетный теолог и библеист. И монстр эрудиции.

– Послушай, нам нужно поговорить спокойно.

Этого я не понял: разве они и так не говорили спокойно о моем будущем? Я тоже не волновался: главное, что не обсуждалась история с «ссучьей жизнью».

– Каталанский, испанский, французский, немецкий, итальянский, английский, латынь, греческий, арамейский и русский.

– Что это такое?

– Десять языков, которые он должен выучить. Три первых он уже знает.

– Нет, французский еще только начал.

– Но выучит, это понятно. Мой сын со всем справится. С языками все очень просто: он должен их выучить. Десять.

– А когда он будет играть?

– Он уже большой мальчик. И когда придет время выбирать ему занятие, он уже должен знать языки. – Отец устало вздохнул. – Об этом мы поговорим в другой раз.

– Ради всего святого, ему же только семь лет!

– Я не настаиваю на том, чтобы он сейчас начинал учить арамейский. – Отец, подводя итог, хлопнул ладонью по столу. – Начнет с немецкого.

Мне эта идея пришлась по душе, поскольку Британскую энциклопедию я понимал самостоятельно, а со словарем – так и вообще без труда, а вот немецкий представлялся мне очень загадочным. Меня очаровывал мир склонений, мир языков, где слова меняют окончание в зависимости от своей функции в предложении. Я, конечно, не формулировал это именно так, но почти что так: немецкий требовал усилий.

– Нет, Феликс! Мы не можем совершить такую ошибку.

Я услышал, как кто-то сплюнул на землю.

– Да?

– Что это за арамейский? – спросил басом шериф Карсон.

– Я толком не знаю, нужно посмотреть.

Я был уникальным ребенком и знал это. А сейчас, вспоминая, как слушал разговоры о своем будущем, сжимая в руках шерифа Карсона и храброго вождя арапахо и стараясь не выдать себя, я понимаю, что был не просто уникальным, а совершенно уникальным.

– Нет тут никакой ошибки. В первый день занятий придет учитель, которого я нанял преподавать мальчику немецкий.

– Нет.

– Его зовут Ромеу, и этот юноша дорогого стоит.

Это известие меня очень взволновало. Преподаватель у нас дома? Мой дом – это мой дом. И я тот, кто знает обо всем, что здесь происходит, мне не нужны тут лишние глаза. Нет, мне совершенно не нравился этот Ромеу, который будет повсюду совать свой нос и приговаривать: о, как мило, личная библиотека в семь лет. Но, фу, что за глупые книги – как говорят все взрослые, приходящие к нам домой. Нет уж, спасибо!

– Он будет учиться на трех факультетах.

– Что?

– Юридический и исторический. – Молчание. – Третий выберет по собственному желанию. Но главное – право. Оно просто необходимо, чтобы преуспеть в этом мире, живущем по законам крысиной стаи.

Тук, тук, тук, тук, тук. Моя нога начала непроизвольно дергаться: тук, тук, тук, тук. Я ненавижу право. Вообразить нельзя, как я его ненавижу. Сам не зная, что это такое, я ненавижу его смертельно.

– Je n'en doute pas, – disait ma mère. – Mais est-ce qu'il est un bon pédagogue, le tel Gomeu?^[50]

– Bien sûr, j'ai reçu des informations confidentielles qui montrent qu'il est un individu parfaitement capable en langue allemande^[51]. Allemande?^[52] Tedesque?^[53] Et en la pédagogie de cette langue. Je crois que...^[54]

Я начал успокаиваться. Нога перестала дергаться, и я услышал, как мама поднялась и спросила: а что делать со скрипкой? Перестать брать уроки?

– Нет. Но она отойдет на второй план.

– Я не согласна с этим.

– Спокойной ночи, дорогая! – сказал отец, разворачивая газету. Он всегда в это время читал газету.

Итак, предстоит сменить школу. Ну и дела! Как страшно! Хорошо еще, что у меня есть шериф Карсон и Черный Орел. Скрипку на второй план? И почему арамейский следует учить потом? В ту ночь я долго не мог

уснуть.

Уверен, что путаю события. Не знаю – было мне тогда семь, восемь или девять лет. Но способности к языкам у меня были, и родители, видя это, не хотели, чтобы они пропали впустую. Французский я начал учить, поскольку провел одно лето в Перпиньяне, в доме тети Авроры, и там очень быстро, к некоторому их смущению, перешел с горлового каталанского на французский. Поэтому, когда сейчас я говорю на французском, то говорю на диалектном *Midi*^[55], что составляет предмет моей особой гордости. Не помню, сколько мне было лет. Немецкий я начал учить позже, английский – не знаю точно когда. Потом, кажется. Не то чтобы я хотел их изучать. Просто меня учили.

Теперь, когда я размышляю над всем этим, чтобы рассказать тебе, то вижу свое детство как длинный и тоскливый вечер воскресенья, когда я уныло брожу, изыскивая возможность проскользнуть в кабинет, и думаю, что было бы здорово иметь брата, что в какой-то момент читать надоедает, что Энид Блайтон^[56] в меня уже больше не лезет, а еще – что завтра надо отправляться в школу, и это самое ужасное. Не потому, что я боюсь школы, преподавателей и отцов-иезуитов, а из-за других детей. Меня в школе пугали ребята – они смотрели на меня как на диковину.

– Лола!

– Что?

– Чем мне заняться?

Лола Маленькая перестает вытирать руки или красить губы и смотрит на меня.

– Можно мне пойти с тобой? – с надеждой спрашивает Адриа.

– Нет-нет, тебе будет скучно!

– Но если я останусь тут, то точно умру со скуки.

– Включи радио!

– Надоело.

Тогда Лола Маленькая берет пальто и выходит из комнаты, где всегда пахнет особым – ее – запахом, и тихонько, чтобы никто не услышал, шепчет мне: попроси маму сводить тебя в кино. А потом громко говорит: всего хорошего, до встречи! – открывает входную дверь, подмигивает мне и выходит на улицу. Она-то знает, как сделать вечера воскресенья интересными, не знаю уж, каким образом, а я остаюсь дома, словно приговоренная проклятая душа.

– Мама!

– Что?

– Нет, ничего.

Мама поднимает голову от журнала, делает глоток кофе и, почти не глядя на меня, продолжает:

– Говори, сын.

Мне страшно просить ее сводить меня в кино.

Очень страшно – не знаю почему. Они такие серьезные, мои родители.

– Мне скучно.

– Так почитай. Если хочешь – повторим французский.

– Пойдем на Тибидабо!^[57]

– Господи, об этом нужно было просить утром.

Мы никогда не пойдем туда, на Тибидабо, ни утром, ни вечером в воскресенье. Я бывал там в мечтах, представляя это место по рассказам приятелей – полное хитрых механических аппаратов, таинственных аттракционов и... не знаю точно, чего еще. Главное, что это место, куда родители водят детей. Мои родители не водили меня ни в зоопарк, ни погулять по волнорезу. Они были холодными людьми. И не любили меня. Так мне кажется. Хотя в глубине души я все еще спрашиваю себя: зачем я был им нужен?

– А я все равно хочу на Тибидабо!

– Это что еще за крики? – раздраженно спрашивает отец из кабинета. – Хочешь, чтобы тебя наказали?

– Не хочу повторять французский!

– Я сказал: ты хочешь, чтобы тебя наказали?

Черный Орел пришел к заключению, что, в общем, это было очень несправедливо. И это знали и он, и шериф Карсон, и я. И чтобы уж совсем не скиснуть от скуки и, главное, чтобы избежать наказания, я принимаюсь за скрипичные упражнения, которые рассчитаны на продвинутых учеников, а потому сложны для исполнения. И еще, их тяжело выполнить так, чтобы это звучало хорошо. Скрипка у меня звучала ужасно, пока я не познакомился с Бернатом. Я бросал упражнения, так толком и не разучив.

– Папа, можно будет поиграть на Сториони?

Отец поднял голову. Он рассматривает, как всегда с лупой в руках, какой-то листок странного вида.

– Нет, – ответил он. И указал на то, что лежало перед ним на столе. – Смотри, какая прелесть!

Это очень старый документ, в нем что-то написано незнакомыми мне буквами.

- Что это?
- Фрагмент из Евангелия от Марка.
- А на каком это языке?
- На арамейском.

Слышишь, Черный Орел? На арамейском! Арамейский – это очень древний язык. Язык папирусов и пергаментов.

- Я смогу его выучить?
- Когда придет время.

Он говорит с чувством удовлетворения. И не скрывает этого. Когда я веду себя как надо, он думает: ну ладно, побалую смышленного ребенка. Я решил ковать железо, пока горячо.

- Можно мне поиграть на Сториони?

Феликс Ардевол молча смотрит на меня, отложив в сторону лупу. Адриа топает ногой:

- Только один разок! Ну, папа...

Взгляд отца, когда тот рассердился, пугает. Адриа может его выдержать не больше пары секунд, а потом приходится опустить голову.

– Ты не знаешь, что значит «нет»? Niet, nein, no, ez, non, ei, nem. Слышишь?

- «Ei» и «nem»?
- Это финский и венгерский.

Выходя из кабинета, Адриа обернулся и, кипя от злости, бросил страшную угрозу:

- Что ж... Тогда я не стану учить арамейский!
- Ты будешь делать то, что я тебе скажу, – заметил отец очень холодно и спокойно, потому что знал, кто здесь указывает, что делать. Он. После чего вернулся к своему манускрипту, арамейскому и лупе.

С того дня Адриа твердо решил, что будет вести двойную жизнь. У него уже были свои секреты, но отныне тайный мир расширит свои границы. Он поставил перед собой великую цель: разведать код от сейфа и, когда отца не будет дома, поиграть на Сториони. Никто и не заметит. А потом вернуть скрипку в футляр и в сейф, спокойно уничтожив все следы преступления. Пока же, поскольку никто не обращал на него внимания, он пошел разучивать арпеджио и ничего не рассказал ни шерифу, ни вождю арапахо, отдыхавшим на ночном столике.

Я помню отца только пожилым. А мама всегда была мамой. Жаль, что она меня не любила. Адриа знал, что его дедушка воспитал ее так, как мог это сделать человек, в очень молодом возрасте ставший вдовцом и оставшийся с ребенком на руках. Который растерянно озирается, ожидая, что кто-нибудь вручит ему пошаговую инструкцию «Как встроить ребенка в свою жизнь». Бабушка Висента умерла рано, когда маме было всего шесть лет. У нее сохранились какие-то смутные воспоминания о раннем детстве, а вот я о нем мог судить лишь по двум фотографиям: одна снята в день свадьбы дедушки и бабушки в фотоателье на улице Кариа – на ней молодожены выглядят юной привлекательной парой, одетой специально «для портрета», а на другой бабушка держит маму на руках и натужно улыбается, словно знает, что не увидит ее первого причастия, и спрашивает: почему я должна умереть такой молодой и оставить внуку лишь одну выцветшую фотографию? Я ведь предвижу, что у меня будет чудесный внук, но мне не суждено познакомиться с ним. Мама росла одна. Никто не водил ее на Тибидабо, и, возможно, поэтому и она не водила туда меня, а я так хотел узнать, что это за живые автоматы, которые, если бросить в них монету, начинают волшебным образом двигаться и становятся похожи на людей.

Мама росла одна. В двадцатые годы, когда убивали на улицах, Барселона была цвета сепии, а диктатура Примо де Риверы^[58] наполняла глаза барселонцев горечью. Дедушка Адриа понимал, что его дочь выросла и пришло время объяснять ей вещи, в которых он ничего не смыслит, ибо они не имеют отношения к палеографии. Тут-то в доме появилась дочь Лолы – экономки бабушки Висенты, которая продолжала вести все домашнее хозяйство, с восьми утра до восьми вечера, словно ее хозяйка была жива. Двухлетнюю дочку Лолы тоже звали Лола, поэтому Лолу-маму стали называть Большая. Бедная женщина умерла, так и не узнав о провозглашении Республики. На смертном одре она завещала дочери заботиться о Карме, как о самой себе. И Лола Маленькая навсегда осталась с моей матерью. До самой маминой смерти. Лолы появлялись и исчезали в нашей семье, когда кто-то умирал.

С возникновением республиканских надежд и бегством короля, с провозглашением Каталонской республики^[59] и последующими интригами мадридского правительства Барселона из сепии перекрасилась в серый цвет. Люди ходили по улицам, пряча от холода руки в карманы, но при этом приветствовали друг друга, угощали сигаретами и смеялись, потому что появилась надежда. Никто толком не знал на что, но она была.

Феликс Ардевол, равнодушный и к сепии, и к серому, совершал вояжи и заключал выгодные сделки с одной-единственной целью: увеличить свою коллекцию, удовлетворить сжигающую его жажду – даже не коллекционера, а собирателя. Ему было все равно – сепия или серый. Он замечал лишь то, что могло помочь расширить коллекцию. Поэтому он обратил внимание на доктора Адриа Боска, знаменитого палеографа из Барселонского университета, который, как утверждала молва, был настоящим знатоком и мог безошибочно датировать любую вещь. Ардевол завязал с ним взаимовыгодные отношения и стал так часто бывать в его кабинете в университете, что кое-кто из ассистентов профессора Боска начал косо смотреть на частого посетителя. Тогда Феликс предпочел навещать профессора Боска дома, а не в университете. Особых причин не ходить в старое здание у него не было. И все же там он мог встретить бывшего товарища по учебе в Григорианском университете, к тому же там преподавали философию два каноника, знавшие его по семинарии в Вике, и могли бы удивиться его частым визитам к знаменитому профессору и в святой простоте спросить: а чем, собственно, ты, Ардевол, занимаешься? Или: а правда, что ты все бросил ради женщины? Правда, что променял блестящее будущее с санскритом и теологией на женскую юбку? Правда? Об этом тогда столько говорили! Если бы ты только знал, что про тебя рассказывали! Куда же пропала твоя знаменитая итальянка?

Когда Феликс Ардевол сказал профессору Боску «я хочу поговорить о твоей дочери», прошло шесть лет с того момента, как она обратила на него внимание. И когда Ардевол приходил с визитом к дедушке Адриа, она всегда спешила открыть ему дверь. Вскоре после начала Гражданской войны^[60] (ей к тому времени исполнилось семнадцать) девушка заметила, что ей нравится манера сеньора Ардевола снимать шляпу при встрече с ней. И то, что он всегда при этом спрашивал: как поживаешь, красавица? Это ей особенно нравилось. Как поживаешь, красавица? И еще – цвет глаз сеньора Ардевола. Насыщенно-каштановый. И запах английской лаванды, который оставался после него.

Но он пришел в плохие времена: три года войны, Барселона была не цвета пастели, не серой, а просто цвета огня, тоски, голода, бомбежек и смерти. Феликс Ардевол отсутствовал целыми неделями, уезжая по своим таинственным делам. Университет же оставался открытым, однако тревога сгущалась под сводами его аудиторий. Потом все успокоилось, но это было тяжелое спокойствие: тех преподавателей, что не покинули страну, Франко вычистил из университета, заменив

профессурой, говорящей по-испански и без стеснения демонстрирующей свое невежество. Однако сохранялись островки – такие, как кафедра палеографии, – которые победители не сочли заслуживающими внимания. Сеньор Феликс Ардевол возобновил свои визиты, принося еще больше интересных вещей. Они с профессором Боском классифицировали, датировали, подтверждали подлинность, а потом Феликс торговал этими сокровищами по всему миру, а прибыль делил с профессором пополам, что было спасением в эти годы нужды. И те преподаватели, что выжили во франкистской мясорубке, снова косо смотрели на этого коммерсанта, который с хозяйским видом ходил по кафедре. По кафедре и по дому профессора Боска.

Пока шла война, Карме Боск видела его не слишком часто. Однако это время закончилось, и сеньор Ардевол вновь стал наносить визиты ее отцу. Мужчины запирались в кабинете, а Карме возвращалась к своим делам и говорила Лоле Маленькой: сегодня я не хочу идти покупать сандалии, и Лола знала, что причина тому – приход сеньора Ардевола, засевшего с хозяином в кабинете над древними бумагами, и потому отвечала, пряча улыбку: как скажешь, Карме. После войны отец, практически не посоветовавшись, записал ее во вновь открытую Библиотечную школу. Те три года, которые она там провела, почти что возле дома, поскольку они жили на улице Делс-Анжелс, стали самыми счастливыми в ее жизни. В школе она нашла подруг, с которыми обменялась обещаниями видаться и после окончания учебы, даже когда все выйдут замуж и т. д., и с которыми больше никогда не виделась, даже с Пепитой Масриерой. Карме устроили работать в университетскую библиотеку – возить тележки с книгами, и девушка безуспешно пыталась выглядеть так же сурово, как сеньора Каньямерес. Иногда она встречала сеньора Ардевола, тот отчего-то стал чаще заходить в библиотеку и всегда спрашивал: как поживаешь, красавица? Но Карме все же скучала по своим подругам из школы, особенно по Пепите Масриере.

– Нет такого цвета – насыщенно-каштановый.

Лола Маленькая смотрела на Карме с иронией, ожидая ответа.

– Ладно. Красивый каштановый. Как темный мед. Эвкалиптовый.

– Он ровесник твоему отцу.

– Вот и нет! На семь с половиной лет моложе.

– Все, я молчу.

Сеньор Ардевол, несмотря на «чистку», все равно не доверял новой профессуре. Как и старой. Эти, конечно, уже не могли обсуждать его прошлое, потому что не знали о нем, но наверняка подумают: ты

карабкаешься вверх по скользким камням, друг мой.

Феликс Ардевол желал бы избежать любых объяснений с теми, кто смотрел на него с вежливой иронией и молча ждал. Пока в один прекрасный день он не сказал самому себе: ну все, хватит! я не могу жить под дамокловым мечом! – и отправился на виа Лаэтана^[61], где выдохнул: профессор Мунтельс с кафедры палеографии.

– Как вы говорите?

– Профессор Мунтельс с кафедры палеографии.

– Мунтельс с кафедры палеографии, – медленно выводил буквы комиссар. – А зовут его?

– Элой. А вторая фамилия...^[62]

– Элой Мунтельс с кафедры палеографии, та-а-ак.

Кабинет комиссара Пласенсии выкрашен в буро-оливковый цвет, шкаф с картотекой проржавел, а на потрескавшейся стене висят портреты Франко и Хосе Антонио^[63]. Через грязное оконное стекло можно было увидеть кусок виа Лаэтана. Но сеньору Феликсу Ардеволу некогда было разглядывать обстановку. Он писал полное имя доктора Элоя Мунтельса, чья вторая фамилия была Сиурана, – сотрудника кафедры палеографии, также когда-то учившегося в Григорианском университете и очень косо смотревшего на Ардевола, когда тот приходил к профессору Боску по своим таинственным делам.

– И как вы его охарактеризуете?

– Каталонист. Коммунист.

Комиссар присвистнул и сказал: ну-ну, ну-ну... И как это его до сих пор не сцапали?

Сеньор Ардевол ничего не ответил, поскольку вопрос был явно риторический и было бы нетактично говорить, что виной тому – плохая работа полиции.

– А ведь это второй преподаватель, о котором вы нам сообщаете. Не правда ли, странно? – Он постукивал карандашом по столу, словно посылал кому-то сообщение морзянкой. – Притом что вы сами – не сотрудник университета. Почему вы так поступаете?

– Потому что я – патриот. Да здравствует Франко!

Их будет больше. Трое или четверо. И все они были каталонисты и коммунисты. И все они приводили неопровержимые доказательства лояльности режиму и восклицали: коммунист? я? Но их «даздравствуетфранко», выкрикиваемое перед комиссаром, было абсолютно бесполезно, потому что тюрьма Модел работает без выходных

и в нее без устали отправляют отщепенцев, не ценящих тех благ, что несет отечеству Каудильо, и упорствующих в своих заблуждениях. Своевременные доносы расчистили пространство вокруг профессора Боска, а тот ничего не замечал и служил источником информации для этого ловкого человека, которого так любил.

Вскоре после арестов профессоров кафедры Феликс Ардевол на всякий случай стал посещать профессора Боска не в его университетском кабинете, а дома, чему Карме Боск очень радовалась.

– Как поживаешь, красавица?

Девушка, чья красота расцветала день ото дня, отвечала улыбкой и опускала глаза, неизменно делая это так очаровательно, что ее взгляды стали для Феликса Ардевола самой захватывающей тайной, суть которой хотелось немедленно постичь. Почти так же страстно, как заполучить рукопись Гёте, не имевшую владельца.

– Сегодня я принес вам работу посложнее и лучше оплачиваемую, – сказал он, входя в кабинет профессора Боска.

И дедушка Адриа оценивал, подтверждал подлинность, получал гонорар и никогда не спрашивал: слушай, Феликс, откуда ты тащишь все это? Как, черт возьми, достаешь?

Вместо этого, пока тот доставал из портфеля очередные раритеты, дедушка Адриа протирал пенсне. Потом рукопись оказывалась перед ним на столе и начиналось действие.

– Готический канцелярский курсив, – сказал профессор Боск, водрузив пенсне на нос и жадно глядя на страницы, выложенные Феликсом перед ним. Он взял их в руки и начал осматривать со всех сторон.

– Она не целая, – наконец произнес профессор.

– Четырнадцатый век?

– Да. Вижу, ты научился.

К тому времени Феликс Ардевол организовал целую сеть поиска разнообразных рукописей, папирусов, пергаментов – разрозненных и переплетенных, тех, что обычно пылятся в забвении на полках архивов, библиотек, институтов, мэрий и церковных приходов в различных уголках Европы. Молодой сеньор Беренгер – ловкий и пронырливый лазутчик – объезжал эти забытые богом уголки, оценивал – в первом приближении – возможную добычу и докладывал результаты по телефону (хоть это в те времена и было непросто). Получив добро, он платил сущие гроши владельцам документов, если нельзя было этого избежать, и передавал находку Ардеволу, который исследовал ее совместно с профессором

Боском. Все оказывались в выигрыше – и документы, извлеченные из забвения, тоже. Однако лучше не говорить об этом. Никому. За эти десять лет было найдено немало ничего не стоящего мусора. Целая куча. Но иногда попадались и настоящие жемчужины, как, например, издание 1876 года *L'après-midi d'un faune*^[64] с иллюстрациями Мане, а среди страниц книги лежали листки, исписанные рукой самого Малларме – последнее созданное им – спавшее мертвым сном на чердаке ничтожной городской библиотеки в Вальвене. Или три целых пергамента и часть документов из канцелярии Иоанна II^[65], чудесным образом обнаруженные на аукционе в Гётеборге. Каждый год находилось три-четыре таких жемчужины. Ради них-то и трудился Ардевол день и ночь. Постепенно в тишине огромной квартиры, которую он снимал в Эшампле^[66], у него созрела идея открыть антикварный магазин, куда можно будет отдавать то, что истинной жемчужиной не является. Вслед за этим решением пришло и другое: скупать у наследников не только манускрипты. Стекло, фарфор, мебель, оружие, зонты, разную мелочовку – словом, все, чему много лет и что практически бесполезно. Вот так к нему в дом попал первый музыкальный инструмент.

Шли годы. Сеньор Ардевол, мой отец, продолжал приходить в дом профессора Боска, моего дедушки, которого я еще застаю в младенчестве. Карме, моей маме, исполнилось двадцать два года. И однажды сеньор Феликс Ардевол сказал своему коллеге: я хочу поговорить о твоей дочери.

– А что с ней? – Профессор Боск, несколько встревоженный, снял пенсне и посмотрел на своего друга.

– Я хочу на ней жениться. Если у тебя нет возражений.

Профессор Боск поднялся и вышел в темную прихожую в полной растерянности, размахивая пенсне. Ардевол пошел за ним, отстав на несколько шагов. Профессор некоторое время нервно шагал вперед, потом повернулся и посмотрел на Ардевола, совершенно не замечая, что глаза у него насыщенно-каштанового цвета.

– Сколько тебе лет?

– Сорок четыре.

– А Карме должно быть восемнадцать или девятнадцать, самое большее.

– Двадцать два с половиной. Твоей дочери исполнилось двадцать два.

– Ты уверен?

Молчание. Профессор Боск нацепил на нос пенсне, словно хотел тщательно изучить возраст дочери. Он посмотрел на Ардевола, открыл рот,

снял очки и с потерянным видом, словно обнаружив, что держит в руках папирус эпохи Птолемеев, сказал восхищенно: Карме двадцать два года...

– Да, исполнилось несколько месяцев назад.

В этот момент открылась входная дверь и вошли Карме с Лолой Маленькой. Дочь профессора удивленно посмотрела на двух мужчин, молча стоявших посреди прихожей. Лола Маленькая исчезла, унеся корзину с покупками, а Карме, пристально глядя на отца с гостем, сняла пальто и спросила:

– Что-то случилось?

5

Довольно долго я восхищался отцом, несмотря на его ужасный характер, и старался делать все, чтобы ему угодить. Особенно мне хотелось заслужить его одобрение. Он был груб, чрезвычайно талантлив и совсем меня не любил. Но я обожал его. Потому мне так тяжело говорить о нем. Тяжело не судить его. И не осуждать.

Один из тех редчайших случаев – если вообще не единственный, – когда отец сказал «очень хорошо, в твоих словах есть смысл». Я храню его в памяти, словно шкатулку с сокровищем. Потому что в остальных случаях мы все всегда были не правы. Я понимаю маму, которая наблюдала жизнь с балкона. Но я был маленьким и хотел быть в центре событий. Когда отец ставил передо мной невозможные задачи, то поначалу они казались мне исполнимыми. И тем не менее, строго говоря, я не выполнил ничего. Не стал юристом. Вместо того чтобы сделать карьеру, провел всю жизнь за учебой. Выучил десять или двенадцать языков, но не для того, чтобы бросить вызов падре Левински из Григорианского университета: учение давалось мне довольно легко и потому нравилось. У меня перед отцом остались невыполненные долги, так что я не жду, что он будет гордиться мной там, где сейчас пребывает (где – не знаю, поскольку унаследовал от него неверие в вечную жизнь). Пожелания мамы, они всегда учитывались во вторую очередь, я тоже не выполнил. Точнее, не так. Я очень долго понятия не имел, что у нее были на меня какие-то планы, которые она вынашивала втайне от отца. Похоже, поскольку я был единственным ребенком в семье, родители желали вырастить из меня нечто необыкновенное. Так что мое детство можно описать так: высокая планка. Высокая планка во всем, включая требование есть с закрытым ртом и не класть локти на стол, а также не вмешиваться в разговоры взрослых.

Правда, бывали дни, когда я не выдерживал, и ни шериф Карсон, ни Черный Орел не могли успокоить меня. Так что мне очень нравилось, если выдавалась возможность пойти с Лолой Маленькой по каким-нибудь делам в Готический квартал и ждать ее в магазине, глядя по сторонам во все глаза.

По мере того как я рос, меня все больше притягивал магазин: там я ощущал какую-то тревожную тайну. Дома мы для простоты говорим «магазин», хотя на самом деле это не просто магазин, а целый мир, уводящий далеко за стены дома. Дверь в него находится на улице Палья, перед фасадом заброшенной церкви, до которой нет дела ни канцелярии епископа, ни мэрии. Когда открываешь дверь, то звонит колокольчик, предупреждая о посетителе, – я и сейчас слышу этот звон. Тыходишь – и тут начинается праздник зрения и обоняния. Но, увы, не осязания. Адриа было строгойше запрещено прикасаться к чему-либо (и это – тебе, с твоими «зрячими» пальцами, тебе, бедняге, нельзя ничего трогать). Ничего не трогать, ничего! – ты понял меня, Адриа? Что ж – он бродил по узким проходам, засунув руки в карманы, и рассматривал изъеденного жучком разноцветного ангела, стоящего возле позолоченного тазика Марии-Антуанетты. И гонг эпохи династии Мин, стоивший целое состояние, в который до смерти хотелось ударить.

– А это для чего?

Сеньор Беренгер посмотрел на японский кинжал, перевел взгляд на Адриа и улыбнулся:

– Это самурайский кинжал кайкен.

Адриа замирает с открытым ртом. Сеньор Беренгер оглядывается на Сесилию, протиравшую бронзовые сосуды, и говорит вполголоса, наклонившись к мальчику так, что тот ощущает его нечистое дыхание на своем лице:

– Этим кинжалом японские женщины-самураи совершали самоубийство. – Он делает паузу, чтобы посмотреть на реакцию Адриа, но тот просто стоит. Поэтому сеньор Беренгер сухо заканчивает: – Эпоха Эдо, шестнадцатый век.

Естественно, Адриа был чрезвычайно поражен этим рассказом, но в восемь лет – должно быть, мне было именно столько – я уже умел скрывать эмоции, как это делала мама, когда отец запирался в кабинете и рассматривал в лупу свои раритеты. И никто в доме не имел права шуметь, потому что отец читал, и поди знай, когда он выйдет к ужину.

– Нет. Пока он не подаст признаков жизни, не ставь овощи на огонь.

И Лола Маленькая уходила на кухню и бормотала под нос: хорошо

устроился этот тип, весь дом от его лупы зависит. А если я был возле этого типа, то слышал, как он читал:

A un vassalh aragones. / Be sabetz lo vassalh qui es, / El a nom. N'Amfos de Barbastre. / Ar aujatz, senher, cal desastre / Li avenç per sa gilozia^[67].

– Что это?

– *La reprensió dels gelosos*^[68]. Одна новелла.

– На старокаталанском?

– Нет. Это окситанский.

– Они похожи.

– Очень.

– А что значит *gelós*?^[69]

– Ее написал Рамон Видал де Безалу. В тринадцатом веке.

– Ничего себе, как давно! Что значит *gelós*?

– *Foli 132 del cançoner provençal de Karlsruhe*^[70]. Еще один экземпляр есть в Национальной библиотеке в Париже. А этот – мой. И твой.

Адриа понял его слова как предложение и протянул руку. Отец немедленно ударил по ней – и очень больно. Даже не предупредил сначала: не трогай! Он смотрит сквозь лупу и говорит: как же мне сейчас удивительно везет.

Японский кинжал, которым женщины убивали себя, чрезвычайно впечатлил Адриа. Он продолжил бродить по магазину, пока не дошел до керамических горшков. Манускрипты и гравюры мальчик оставил напоследок, потому что особенно восхищался ими.

– Ну, когда ты придешь помогать? У нас тут много работы!

Адриа оглядел пустой магазин и улыбнулся Сесилии:

– Как только папа разрешит.

Она хотела что-то сказать, но передумала и несколько секунд стояла с приоткрытым ртом. Потом ее глаза заблестели, и Сесилия произнесла: ну-ка, поцелуй меня!

Пришлось ее поцеловать, чтобы не привлекать внимания. В прошлом году я был очень сильно в нее влюблен, но сейчас меня не интересовали поцелуи. Хоть было мне всего восемь, но я уже торжественно вошел в тот период, наступающий обычно лет в двенадцать-тринадцать, когда противны все эти нежности. Я всегда был ребенком, талантливым во второстепенных вещах. По моим прикидкам, мне тогда было лет восемь-девять. И длилась эта «антипоцелуйная лихорадка» у меня до... ну, ты и сама знаешь. Или, может, еще не знаешь. Кстати, что значит фраза «я начну свою жизнь с чистого листа», которую ты сказала продавцу

энциклопедий?

Несколько минут Адриа и Сесилия смотрели на людей, проходивших по улице, не обращая никакого внимания на витрину.

– Здесь всегда есть работа, – сказала Сесилия, словно угадав мои мысли. – Завтра разбираем библиотеку в одной квартире – то-то хлопот будет. – И снова принялась чистить бронзу.

Запах «Нетола» въедался Адриа до мозга костей, так что он счел за благо отойти. Отчего японские женщины совершали самоубийство – вот над чем он размышлял.

Теперь, из сегодняшнего дня, я понимаю, что не часто возился в магазине. Возился – это просто фигура речи. Особенно жаль, что я редко бывал в углу с музыкальными инструментами. Однажды, будучи уже постарше, я рискнул попробовать сыграть на скрипке, выставленной там. Но наткнулся на безмолвный взгляд сеньора Беренгера, и, клянусь, мне стало страшно. Никогда больше я не пытался сделать что-нибудь подобное. В том углу – помню, как сейчас, – лежали фискорны^[71], трубы и горны, дюжина скрипок, штук шесть виолончелей, пара виол и три спинета^[72], а еще гонг династии Мин, эфиопский барабан и нечто похожее на огромную застывшую змею, которая не издавала никаких звуков (как я потом узнал, это был серпент^[73]). Наверное, инструменты иногда продавались и покупались, поскольку их состав менялся. Однако я помню вот такой набор. В магазин заходили скрипачи из театра Лисеу, чтобы полюбоваться на инструменты. Они заводили разговоры о покупке, но тщетно. Отец не желал видеть среди своих клиентов музыкантов с вечно пустыми карманами: я рассчитываю на коллекционеров, они по-настоящему желают обладать предметами. И если не могут купить, то готовы украсть. Вот мои истинные клиенты!

– Почему?

– Потому что они платят ту цену, которую я назначаю, и довольны этим. А потом в один прекрасный день прибегают, высунув язык, потому что хотят еще.

Отец хорошо разбирался в таких вещах.

– Музыкант хочет иметь инструмент, чтобы играть на нем. Есть инструмент – он играет. Коллекционер не имеет, а обладает. У него может быть десять инструментов. Он держит их в руках. Или просто смотрит на них. И – счастлив. Коллекционеру нет нужды играть.

Отец был очень умен.

– Музыкант-коллекционер? Редкостная удача, да только я не знаю

ни одного такого.

И тогда я доверительно сказал ему, что герр Ромеу невыносимо тоскливо, как вечер воскресенья. Отец посмотрел на меня так, словно дырку хотел просверлить. Даже сейчас, шестьдесят лет спустя, я, вспоминая об этом, чувствую себя не в своей тарелке.

– Что ты сказал?

– Что герр Ромеу...

– Нет. Невыносим как?

– Не знаю.

– Отлично знаешь!

– Как вечер воскресенья.

– Очень хорошо.

У отца всегда свои соображения. Он молчит, и мне кажется, что он спрятал мои слова в карман, словно экспонат своей коллекции. Внезапно отец возвращается к беседе.

– Чем же ты недоволен?

– Он все занятие требует повторять исключения в спряжениях и склонениях, которые я уже знаю, и заставляет говорить: этот коровий сыр очень хорош, где ты его купил? Или: я живу в Ганновере, и меня зовут Курт. А ты где живешь? Тебе нравится Берлин?

– Что ты хочешь этим сказать?

– Не знаю... Я хотел бы читать какую-нибудь занимательную историю... Хочу читать Карла Мая^[74] по-немецки.

– Хорошо, в том, что ты говоришь, есть смысл.

Повторю: хорошо, в том, что ты говоришь, есть смысл. И еще уточню: это был единственный раз в жизни, когда он признал, что в моих словах есть смысл. Был бы я фетишистом, написал бы эту фразу, пометил дату и время и сфотографировал.

На следующий день у меня не было урока немецкого, потому что герр Ромеу получил расчет. Адриа почувствовал себя очень важной персоной, раз мог вершить судьбы людей. Это был час триумфа. Тогда меня обрадовало, что отец обращается со всеми с позиции силы. Мне в то время было лет девять-десять, но у меня было очень развито чувство собственного достоинства. И чувство смешного. Из сегодняшнего дня Адриа Ардевол видит, что в детском возрасте ребенком он не был. Он отмечает все признаки преждевременного взросления, как обычно отмечают симптомы простуды и прочих болезней. Мне просто жаль – и все. А ведь я не знал тех деталей, которые сейчас могу сопоставить. Например, что к отцу, после того как он открыл свой магазин «с претензией»,

с красоткой Сесилией, явился некий клиент, желавший обсудить одно дело. А когда отец вошел в кабинет, то незнакомец сказал: сеньор Ардевол, я не собираюсь ничего у вас покупать. Отец посмотрел ему в глаза и насторожился:

– Могу я спросить, ради чего тогда вы пришли?

– Предупредить. Что ваша жизнь в опасности.

– Неужели? – Отец недобро улыбнулся.

– Да.

– А могу я спросить, с какой стати?

– Ну, например, потому, что профессор Мунтельс вышел из тюрьмы.

– Не понимаю, о чем вы говорите.

– И кое-что нам рассказал.

– Кому это «нам»?

– И мы весьма вами недовольны, поскольку вы ославили его как каталониста и коммуниста.

– Я?

– Именно вы.

– Это все пустая болтовня. У вас все? – сказал он, поднимаясь.

Посетитель и не подумал встать со стула. Напротив, он устроился поудобнее и с неожиданной ловкостью скрутил папиросу. И закурил.

– Тут не курят. Никто.

– А я – курю. – Посетитель указал сигаретой на отца. – Мы знаем также, что вы оговорили еще трех человек. Все они шлют вам привет – из дома или из тюрьмы. Так что теперь советую вам ходить по улице осторожно: там небезопасно.

Он затушил папиросу о столешницу, словно это была огромная пепельница, выдохнул дым в лицо сеньору Ардеволу, встал и вышел из кабинета. Феликс Ардевол смотрел на обугленное пятно на столешнице и не двигался. Будто его постигла кара.

Вечером дома, возможно, чтобы отвлечься от дурных новостей, отец разрешил мне войти в кабинет и, желая наградить меня (особенно за то, что ты впервые начал выбирать себе учителей, так и должен поступать мой сын), показал мне свернутый пергамент, исписанный с двух сторон. Это был акт об основании монастыря Сан-Пере дел Бургал. И сказал: смотри, сын (я хотел бы, чтобы вслед за этим «сын» он добавил «на которого я возлагаю надежды» – ведь теперь между нами крепкая связь), этот документ был написан более тысячи лет тому назад, а сейчас мы держим его в руках... Ну-ка, спокойно, его держу я. Правда, он прекрасен? Он посвящен основанию монастыря.

– А где этот монастырь находится?
– В Пальярсе. Помнишь картину в столовой?
– Где монастырь Санта-Мария де Жерри?
– Да, да. Бургал недалеко, еще выше. Километрах в двадцати выше в горах. – Смотрит на пергамент. – Акт о закладке Сан-Пере дел Бургал. Аббат Делигат просит графа Рамона Тулузского освободить от налогов и повинностей этот маленький монастырь, который потом успешно просуществовал не одну сотню лет. Потрясающее ощущение – держать в руках такую древнюю историю.

Я представляю все, о чем рассказывает отец. Мне это не сложно. День был слишком яркий, слишком весенний для Рождества. Они предали земле тело преподобного отца настоятеля Жузепа де Сан-БартOMEУ на маленьком и скромном кладбище в Сан-Пере. Та бурная жизнь, которую весна выталкивала и рассыпала тысячью разноцветных бутонов поверх влажной и мягкой травы, сейчас лежала мертвая, скованная льдом. Мы похоронили отца настоятеля, а вместе с ним – всякую возможность продолжать существовать обители. Раньше, когда еще снег падал в изобилии, Сан-Пере дел Бургал был свободным монастырем. С далеких времен аббата Делигата обитель познала разные времена. И расцвет, когда три десятка монахов созерцали величественный вид, открывавшийся на воды Ногеры и лес Позес вдаль, восхваляя величие Божие, и благодаря за дела Его, и кляня дьявола за холод, пронизывающий до костей и ослабляющий души насельников этой скромной общины. Знал Сан-Пере дел Бургал и злые времена, когда не было зерна, чтобы снести на мельницу, а трудились в нем лишь шесть или семь дряхлых и больных монахов, как и подобает инокам, с момента поступления в монастырь и до гробовой доски. Вот и отец настоятель завершил свой путь. И теперь только один человек хранил память обо всем этом.

Короткая и бесстрастная молитва, торопливое благословение убогого гроба – и священник волею обстоятельств, брат Жулиа де Сау, дал знак пяти крестьянам из Эскало, поднявшимся в монастырь, чтобы помочь совершить эту печальную церемонию. Монахи из аббатства Санта-Мария де Жерри так и не объявились засвидетельствовать закрытие монастыря. Они, как всегда, опаздывают. Особенно когда нужны.

Брат Жулиа де Сау вернулся в монастырь Сан-Пере. Совсем маленький. Он вошел в церковь. Со слезами на глазах взял молоток и долото, чтобы пробить отверстие в камне главного алтаря и вынуть небольшой деревянный ковчежец с частицами мощей. Его охватила тоска: первый раз в жизни он остался один. Один. Ни одного брата рядом. Шаги

отдавались гулким эхом в узком коридоре. Он заглянул в крохотную трапезную. Одна из скамей придвинута к стене так, что царапает грязную побелку. Поправлять ее нет смысла. По щеке брата Жулиа скатилась слеза. Он пошел в свою келью и погрузился в созерцание пейзажа, любимого всем сердцем, знакомого до каждого дерева. На топчане стояла дарохранительница, которая берегла в себе акт о закладке монастыря, а теперь и ковчежец с мощами безвестных святых, что веками незримо присутствовали здесь во время месс и богослужений. А еще – чаша и патена. И два ключа: от церкви и от братского корпуса. Столько лет хвалебных гимнов во славу Господа свелись к крепкому деревянному ящичку из можжевельника, ставшему отныне единственным свидетельством существования монастыря. На мешке с соломой, служившем матрасом, лежал кусок полотна, а в нем две смены белья, короткий шарф и часослов. И мешочек с семенами ели и клена, напоминавшие ему о другой, прежней жизни, по которой он совсем не тосковал. Тогда его звали фра^[75] Микел и он подвизался в ордене доминиканцев. Когда во дворце его преосвященства жена Косого из Салта остановила его около кухни и сказала: держите, фра Микел, тут семена ели и клена.

– Почему именно это?

– Потому что мне больше нечего вам дать.

– А зачем тебе что-то мне давать? – удивился фра Микел.

Женщина опустила голову и едва слышно сказала: его преосвященство обесчестил меня, и я хочу наложить на себя руки, чтобы муж ничего не узнал. Потому что иначе меня убьет он.

Оглушенный, фра Микел сделал несколько шагов и опустился на самшитовую скамью.

– Что ты такое говоришь? – обратился он к стоявшей перед ним женщине.

Та ничего не ответила, потому что уже сказала все, что хотела.

– Я тебе не верю, гнусная лгунья! Ты просто хочешь...

– А когда увидите меня подвешенной к потолочной балке – поверите? – Она посмотрела на него так, что стало страшно.

– Но дитя...

– Исповедуйте мои грехи, я хочу покончить с собой...

– Я не священник.

– Но вы ведь можете. У меня нет другого выхода. Только смерть. А раз моей вины тут нет, думаю, Господь простит меня. А, фра Микел?

– Самоубийство – грех. Вон отсюда! Сгинь!

– И куда же податься одинокой женщине? А?

Фра Микелу захотелось оказаться как можно дальше от этого места, на краю света, как бы страшно там ни было.

В келье Сан-Пере дел Бургал брат Жулиа смотрел на семена на своей ладони. Подарок от женщины, которой он не захотел даровать утешение. На другой день ее нашли повесившейся в большом сарае. На веревочных четках, которыми подпоясывал хабит его преосвященство, но пару дней назад потерял. По приказу его преосвященства самоубийцу запретили хоронить в освященной земле, а Косого из Салта выгнали из епископского дворца, ибо не уследил за женой, повинной в преступлении против Неба. Ее обнаружил сам Косой и попытался разорвать четки в безумной надежде, что она еще дышит. Когда фра Микелу рассказали об этом, он горько заплакал и стал молиться – вопреки запрету – за спасение души этой несчастной. Тогда же он поклялся перед лицом Господа, что навсегда сохранит эти семена, чтобы они напоминали о его трусливом молчании. И вот сейчас, двадцать лет спустя, он вновь держит их на ладони, когда его жизнь снова сделала поворот и он превратился в монаха монастыря Санта-Мария де Жерри. Жулиа де Сау спрятал мешочек в карман бенедиктинского хабита. Он смотрел в окно. Возможно, братья из Жерри уже близко, но глаза у него уже не те, чтобы различить движение на таком расстоянии. С этой ночи в монастыре Бургал больше не будет монахов.

Взяв поудобнее дарохранильницу, Жулиа де Сау прошел по всем кельям – фра Марсела, фра Марти, фра Адриа, отца Рамона, отца Базили, отца Жузепа де Сан-БартOMEY, своей собственной, – потом по коридору в келью возле крохотного внутреннего дворика, которая ближе всего к монастырским воротам (ему было назначено послушание привратника, когда он пришел сюда). Затем мимо бассейна с водой для хозяйственных нужд, через скромный зал капитула и кухню – снова в трапезную, где скамья так и стояла криво. Его охватило чувство вины, он вышел во двор и сотрясся от беззвучного рыдания, ибо не мог он принять, что это все есть воля Божия. Тогда, чтобы успокоиться и проститься должным образом с годами жизни монаха-бенедиктинца, Жулиа де Сау вошел в капеллу. Он преклонил колени перед алтарем, покрепче сжав дарохранильницу. Последний раз в жизни обвел взглядом роспись апсиды. Пророки и архангелы. Святые Петр и Павел, святой Иоанн и остальные апостолы, Богоматерь, воздающие славу суровому Спасу Вседержителю. И почувствовал себя виноватым, повинным в гибели маленького монастыря Сан-Пере дел Бургал. Свободной рукой он стукнул себя в грудь и произнес: confiteor, Domine. Confiteor, mea culpa^[76]. Он поставил дарохранильницу и поцеловал пол, по которому ступало

столько поколений монахов, восславлявших Господа Всемогущего, бесстрастно глядящего на них.

Жулиа де Сау встал с колен, взял дарохранильницу и попятился к двери, последний раз любуясь алтарными росписями. Выйдя наружу, монах захлопнул створки дверей, сжал ключ в кулаке, подержал – и опустил в дарохранильницу. Эти удивительные фрески в церковной апсиде предстали человеческому взору, лишь когда Иаким из Пардака открыл изъеденные жучком двери простым ударом руки. Почти через триста лет.

А брат Жулиа де Сау вспоминал тот день, когда он, усталый, голодный и напуганный, пришел к дверям Сан-Пере и постучал в калитку. Тогда в монастыре жили пятнадцать монахов. Господи Боже, Царь Славы, как же он тосковал по тому времени, хоть и не имел права печалиться о том, что больше не вернется. Тогда тут было дело для каждого и каждый был при деле. Когда он постучал в калитку в надежде найти здесь убежище, он уже несколько лет жил в беспокойстве и страхе, которые вечно сопутствуют беглецам. А еще – мучился, что мог ошибиться, потому что Иисус говорил о любви и добре, а я не исполнил Его заповедей. Хотя нет, исполнил, ведь отец Николау Эймерик^[77], Великий инквизитор, его приор, все делал во имя Господа и блага Святой Церкви и истинной веры, а я не смог, не смог, ибо Иисус оставил меня. Да кто вы такой, фра Микел, дурак и недоучка, чтобы спрашивать, где Иисус? Господь Бог наш – в слепом безусловном послушании. Бог – со мной, фра Микел. А кто не со мной, тот против меня. Смотрите мне в глаза, когда я говорю! Кто не со мной, тот против меня! И фра Микел предпочел нечистой совести – бегство, предпочел выбрать неопределенность и, быть может, адское пламя вместо спасения души. Так он и поступил: снял хабит доминиканца, ступил в царство страха и блуждал по Святой земле в надежде замолить свои грехи, если им можно обрести прощение – в этом или том мире. Ибо он грешен. Надев рубище пилигрима, фра Микел видел много несчастий, скитался, побуждаемый раскаянием, давал трудноисполнимые обеты, но не мог обрести покоя, ибо коли не послушаешься гласа спасения, то душа твоя не познает никогда отдохновения.

– Ради всего святого, ты можешь не хватать все руками?

– Но папа... Я только прикоснусь разок. Ты ведь сказал, что он и мой тоже.

– Только одним пальцем! И очень осторожно!

Адриа, затаив дыхание, тронул пергамент. Ему показалось, что он

перенесся в монастырь.

– Все, довольно! Убери руки!

– Ну пожалуйста, еще чуть-чуть!

– Ты не понимаешь? Тебе ясно сказали: довольно! – повысил голос отец.

Я отдергиваю руку, словно пергамент ударил меня током. И потому, вернувшись из странствия по Святой земле – с состарившейся душой, ссохшимся телом, почерневшим лицом и взглядом тверже алмаза, бывший доминиканский монах все еще носил ад. Он не нашел в себе смелости вернуться в родительский дом и решил скитаться по дорогам в одежде пилигрима, прося милостыню и растрачивая ее по придорожным кабакам на самое дешевое и ядовитое пойло, чтобы поскорее сгинуть и утратить память. Словно одержимый, он впал в плотские грехи, ища в них забвения и искупления, которых не давало покаяние. Стал проклятой душой. Пока доброжелательная улыбка брата Жулиа из Каркассона, привратника аббатства бенедиктинцев в Лаграсе, где он попросился на ночевку в одну особенно холодную зиму, неожиданно не осветила ему путь. Одна ночь внезапно превратилась в десять дней поста и молитвы в церкви аббатства, на коленях у самой дальней стены, в стороне от братии. В Санта-Марии де Лаграс^[78] он впервые услышал о Бургале, крохотном монастыре, настолько далеко от всего, что, говорят, даже дождь с трудом добирается до него и, обессилев, роняет лишь пару капель. Фра Микел сохранил, как потаенное сокровище, в своем сердце улыбку брата Жулиа, обещавшую, что счастье возможно. С тем и отправился в первый раз в Санта-Марию де Жерри, следуя совету монахов из Лаграса. С мешком провизии за плечами, собранной для него бенедиктинцами, и счастливой потаенной улыбкой в сердце он пошел туда, где горы покрыты снегом круглый год, в мир безграничного безмолвия, где, возможно, если повезет, сможет обрести искупление. Он пересекал равнины, взбирался на холмы, шагал рваными сандалиями по ледяной воде рек, берущих начало в снегах. Когда он добрался до аббатства Санта-Мария де Жерри, его уверили, что приорат Сан-Пере дел Бургал так труднодоступен и удален от мира, что никто не поручится, что путник сможет туда добраться. И что решит насчет его отец настоятель там, то здесь аббат подтвердит.

Итак, после долгого-долгого странствия, превратившего его в старика (а ведь ему еще не было и сорока), он громко постучал в ворота монастыря Сан-Пере. Был холодный и темный вечер. Монахи отслужили вечерню и сели за трапезу, если миску горячей воды можно считать едой. Его впустили и спросили, чего он хочет. Он сказал, что просит принять его

в общину. Он не стал объяснять, что с ним произошло, лишь сообщил, что желает служить Святой матери-Церкви как простой безвестный работник. Подобно самому незначительному слуге в доме, который виден лишь оку Господа Бога нашего. Отец Жузеп де Сан-БартOMEу, уже в то время бывший настоятелем, испытующе посмотрел ему в глаза и узрел секрет его души. Тридцать дней и ночей провел бывший фра Микел у дверей монастыря в самодельном шалаше. Он просил об убежище, а это означало – хабит и жизнь по монашескому правилу святого Бенедикта, которое меняет людей, его принявших, и дарует душевный мир. Двадцать девять раз умолял он разрешить ему стать монахом и двадцать девять раз отец настоятель, глядя ему в глаза, говорил «нет». Пока в одну дождливую и счастливую пятницу не попросил об этом же снова. Тридцатый раз.

– Не стучись сюда, сучье отродье, убери руки!

Терпение отца настоятеля было на исходе.

– Но я всего лишь хочу...

– Хочешь-перехочешь! А подзатыльник не желаешь, а?

С той пятницы немало воды утекло. Его приняли в Бургал послушником. Три ледяных зимы он выполнял работу простого послушника. И стал с того времени Жулиа – в память об улыбке, которая изменила его жизнь. Он начал учиться тому, как принять мир в душу, успокоить дух и полюбить жизнь. Временами люди герцога де Кардоны или графа Уго Роже проносились по долине и разрушали все, что им не принадлежало, но монастырь был от всего этого далеко, Господь и Его мир были в стороне. Жулиа твердо и непоколебимо делал свои первые шаги к мудрости. Ощущение счастья к нему не пришло, но появилось чувство покоя, оно приблизило его к внутреннему равновесию и научило улыбаться. Потому часть братии пришла к мысли, что смиренный брат Жулиа встал на путь святости.

Солнце поднялось высоко, но не грело. Братья из Санта-Марии де Жерри так и не появились: видимо, решили заночевать в Солере. Солнце здесь было слишком слабо, казалось, Бургал вобрал в себя весь холод мира. Крестьяне из Эскало давно ушли и даже не попросили денег за работу. Он запер ворота большим ключом, с которым столько лет не расставался, будучи братом-привратником, и который теперь должен был передать в аббатство. Non sum dignus^[79], повторил он, пряча ключ – свидетель пяти столетий жизни монастыря Бургал. Он остался снаружи и присел под ореховым деревом – один, с дарохранильницей в руках, ожидая братьев из Жерри. А если они захотят провести ночь в монастыре? Бенедиктинский устав однозначно предписывает, что никто из монахов

не может жить в монастыре один. Потому отец настоятель, почувствовав, что заболел, послал в аббатство Жерри, дабы там приняли меры, подходящие случаю. Вот уже восемнадцать месяцев они были единственными монахами в Сан-Пере дел Бургал. Отец настоятель служил мессу. Он усердно молился, оба читали часы, но уже не пели, потому что чириканье воробьев заглушало их слабые и немзыкальные голоса. Прошлым днем после двух суток сильнейшей лихорадки достопочтенный отец настоятель скончался, он вновь остался один. Non sum dignus. Кто-то поднимался по узкой тропке от Эскало. По другой тропинке – от Эстарона – зимой идти было нельзя. Наконец-то. Он встал, отряхнул хабит и сделал несколько шагов навстречу, покрепче обхватив дарохранильницу. Остановился: может, следует отпереть монастырские ворота в знак гостеприимства? Он, хотя и получил наставления от отца настоятеля перед смертью, толком не знал, что нужно делать, когда закрываешь обитель после стольких лет ее жизни. Братья из Жерри поднимались медленно, у них был усталый вид. Три монаха. Он обернулся, чтобы со слезами на глазах попрощаться с монастырем, и начал спускаться, дабы встретить братьев в конце тропинки. Двадцать два года в Бургале, вдали от воспоминаний, умерли в этом символическом повороте головы. Прощай, Сан-Пере; прощайте, овраги с поющей водой ледяных ручьев; прощайте, горы, покрытые снегом, дарившие мне покой; прощайте, братия монастыря и века славословий и молитв.

- Братья, да пребудет с вами мир в сей день Рождества Господня!
- Мир Господа нашего да будет и с тобой!
- Мы уже предали тело земле.

Один из братьев откинул с лица капюшон. Благородной лепки лоб библейского пророка – быть может, отец эконома или наставник новициев^[80]. Монах улыбнулся ему той улыбкой, которая в свое время перевернула его жизнь в Лаграсе. Однако под плащом у незнакомца оказался не монашеский хабит, а рыцарская кольчуга. Его спутниками были фра Матеу и фра Маур из Жерри.

- Кто умер? – спросил рыцарь.
- Отец настоятель. Усопший – отец настоятель. Разве вас не предупредили, что...
- Как его звали? Кто это?
- Жузеп де Сан-БартOMEY.
- Слава Богу! Вы, должно быть, фра Микел из Сускеды?
- Брат Жулиа. Так меня зовут. Брат Жулиа.
- Фра Микел. Еретик-доминиканец.

– Ужин на столе.

Лола Маленькая стояла на пороге кабинета. Отец поморщился и, не обращая внимания на сообщение, продолжил читать высоким голосом статьи акта об основании монастыря. Словно это был ответ на слова Лолы Маленькой:

– Теперь читай то, что осталось.

– Но это такой сложный текст...

– Читай! – повторил отец, раздосадованный и разочарованный тем, что у него не сын, а размазня.

И Адриа продолжил читать – на хорошей средневековой латыни – творение аббата Делигата. Читал, не понимая смысла и не переставая размышлять об истории, разворачивающейся в его голове.

– Хорошо. Имя фра Микел я носил в иной жизни. Орден Святого Доминика уже давно весьма далек от моих мыслей. Я – другой человек, новый. – Он смотрел им в глаза так же испытующе, как когда-то отец настоятель. – Чего вы хотите, братья?

Незнакомец с благородным лбом упал на колени и в короткой молитве вознес благодарность Господу, после чего истово перекрестился. Трое монахов тоже сотворили крестное знамение. Мужчина поднялся с земли:

– Мне стоило большого труда найти вас. Святой отец инквизитор поручил мне привести в исполнение приговор по обвинению вас в ереси.

– Вы что-то путаете.

– Сеньоры, братья, – подал голос один из монахов (возможно, фра Матеу), теряя терпение, – мы пришли, чтобы забрать ключи от обители и монастырскую дарохранительницу, а также чтобы проводить брата Жулиа в Жерри.

Брат Жулиа, спохватившись, передал ему дарохранительницу, которую все еще сжимал в руках.

– Вам нет нужды сопровождать его, – сухо сказал незнакомец. И повернулся к брату Жулиа. – Я ничего не путаю, вы прекрасно знаете, кто и за что вас приговорил.

– Меня зовут Жулиа де Сау, и, как видите, я монах-бенедиктинец.

– Фра Николау Эймерик вынес вам приговор. Он повелел мне назвать вам его имя.

– Вы ошибаетесь.

– Фра Николау Эймерик уже давно мертв. Но я пока еще жив. И наконец могу дать отдых своей душе, лишенной покоя. Во имя Господа.

И на глазах перепуганных братьев из Жерри в свете слабого зимнего солнца последний монах Сан-Пере дел Бургал, другой человек, новый,

потративший столько лет на обретение душевного покоя, получил от человека с благородным лбом удар кинжалом в грудь. Тот вложил в этот удар всю накопленную ненависть. И, следуя предписанию святой инквизиции, тем же самым кинжалом благородный рыцарь отсек ему язык и положил в шкатулку слоновой кости, которая сразу окрасилась красным. Затем, вытирая сталь листьями ореха, объявил двум испуганным монахам:

– Этот человек не имеет права лежать в освященной земле.

Он обвел окрестность холодным взглядом. И кивком показал в другую сторону от обители:

– Там. И никакого креста! Такова воля Божия!

Видя, что монахи так и стоят, скованные ужасом, человек с благородным лбом встал перед ними, едва не наступив на неподвижное тело фра Жулиа, и презрительно бросил:

– Заройте эту падаль!

Дочитав до конца – до подписи аббата Делигата, отец бережно сложил документ и сказал:

– Прикасаясь к таким пергаментам, словно прикасаешься к самой эпохе, тебе не кажется?

И я дотронулся до пергамента. Теперь у меня ныли от боли все пять пальцев. Удар, полученный от отца, был очень болезненный и унижительный. Пока я пытался справиться с подступившими слезами, отец совершенно невозмутимо отложил лупу и спрятал древний документ в сейф.

– Ужинать! Шевелись! – скомандовал он. Вот и все, никакого дружеского союза с сыном, научившимся читать на средневековой латыни.

Прежде чем мы дошли до столовой, я успел утереть пару предательских слезинок.

Родиться в этой семье было непростительной ошибкой, да. А ведь еще не случилось ничего действительно серьезного.

– Ну а мне нравился герр Ромеу.

Думая, что я сплю, они говорили, не понижая голоса.

– Ты не знаешь, о чем говоришь!

– Конечно! Я же вообще ничего не знаю. Знаю только, как тащить на себе весь дом.

– Я всем жертвую ради Адриа!

– Неужели? А что делаю я? – ироничный, холодный голос мамы. И, несколько сбавив тон: – Будь так любезен – не кричи!

– Это ты кричишь!

– Я ничем не жертвую ради сына, да?

Тяжелая, плотная тишина. Отец напряженно думает.

– Ты тоже, конечно.

– Спасибо, что признал это.

– Это само собой разумеется, к чему еще говорить?

Я взял шерифа Карсона, подозревая, что мне понадобится надежная психологическая поддержка. А еще позвал Черного Орла – на всякий случай. Рассерженные голоса стихли, и я приоткрыл дверь своей комнаты. Похоже, совершать опасное путешествие на кухню за пустым стаканом не придется. Теперь стало слышно лучше. Черный Орел поздравил меня с удачной идеей. Шериф Карсон молча жевал то, что я считал жевательной резинкой (но это был табак, конечно).

– Это неплохо, что он учится играть на скрипке, весьма неплохо.

– Ты что, ищешь оправдания для моей жизни?

– Что ты такое говоришь, женщина?

– Это неплохо, что он учится играть на скрипке, весьма неплохо. – Мама, передразнивая отца, подчеркнуто преувеличивала. Но мне это нравилось.

– Ладно, раз так, то долой скрипку и пусть займется серьезными вещами.

– Если ты отнимешь у мальчика скрипку, будешь иметь дело со мной.

– Не смей угрожать мне!

– А ты – мне!

Тишина. Карсон сплюнул на землю, и я молча погрозил ему.

– Мальчик должен учиться по-настоящему важным вещам.

– Да? И что же это за вещи?

– Латынь, греческий, история, немецкий и французский. Для начала.

– Мальчику всего одиннадцать лет, Феликс!

Одиннадцать лет. Мне кажется, что раньше я тебе говорил, что мне было восемь или девять. Время скользит в моих воспоминаниях. Хорошо, что мама ведет ему счет. Знаешь, в чем дело? У меня нет ни времени, ни желания исправлять такие ошибки. Я пишу быстро, будто снова молод; в молодости я всегда писал очень быстро. Однако причина моей торопливости теперь иная. Что вовсе не значит, будто я пишу второпях. И мама повторила:

– Мальчику только одиннадцать лет, и он учит французский в школе.

– J’ai perdu la plume dans le jardin de ma tante^[81] – это не французский.
– А какой? Еврейский?
– Он должен читать Расина.
– Господи боже мой!
– Бога не существует. Да и латынь он мог бы знать лучше. Чему его учат у иезуитов, черт возьми!

Это меня встревожило, поскольку касалось напрямую. Ни Черный Орел, ни шериф Карсон не произнесли ни звука. Они-то никогда не ходили в школу отцов иезуитов на улице Касп. Я не знал, плохо это или хорошо. Однако из слов отца выходило, что латынь там преподают неважно. В чем-то он был прав: мы застряли на втором склонении, от которого уже всех тошнило, потому что в школьном возрасте не понимаешь глубокого смысла ни родительного, ни дательного падежа.

– И что ты теперь хочешь предложить?
– Что ты думаешь про Liceu Francès?^[82]
– Нет, мальчик не уйдет из школы. Феликс, он всего лишь ребенок! Мы не можем растить его, словно породистое животное, как твой брат растит скот у себя в деревне.

– Хорошо, считай, я ничего не говорил. Ты всегда все поворачиваешь по-своему! – солгал отец.

– А спорт?
– Это да. У иезуитов достаточно спортивных площадок, так?
– И музыка.
– Ладно-ладно. Но то, что действительно важно, должно быть на первом месте. Адриа должен быть лучшим учеником и получить высший итоговый балл. Я поищу замену Казалсу.

С другим преподавателем, заменившим уволенного герра Ромеу, пять невыносимых занятий мы буксовали в сложнейшем немецком синтаксисе и никак не могли из него выбраться.

– Не нужно. Дай ему вздохнуть спокойно!
Через пару дней мама сидела в кабинете на диване, за которым было мое секретное укрытие, а отец поставил меня навтыжку возле своего стула и подробно рассказал, какое будущее меня ожидает. Слушай меня как следует, потому что я не буду повторять два раза: поскольку я – способный мальчик, то нужно максимально полно использовать то, что мне дано. И если школьные Эйнштейны не видят моих способностей, то он пойдет и лично объяснит им, что к чему.

– Меня удивляет, что ты не стал еще более невыносимым, – сказала ты

мне однажды.

– Почему? Потому что меня называли умным? Я знаю, какой я. Это все равно как если ты высокий, или толстый, или брюнет. Меня это никогда не волновало. Так же как мессы и прочие религиозные церемонии, которые я выносил с терпением святого. А вот на Берната они производили впечатление. Мне кажется, я еще тебе о нем не рассказывал.

И вот отец вытащил кролика из шляпы:

– Теперь ты начнешь серьезно, как следует учить немецкий с настоящим преподавателем. Никаких Ромеу, Казалсов и прочей ерунды.

– Но я...

– Также всерьез начнешь изучать французский.

– Но, папа, я бы хотел...

– Ты ничего не хочешь! И я предупреждаю тебя, – он наставил на меня указательный палец, словно пистолет, – затем будет арамейский.

В поисках поддержки я посмотрел на маму, но та сидела опустив взгляд, словно ее больше всего на свете интересовал рисунок плитки на полу. Оставалось только одно – защищаться в одиночку. Я крикнул:

– Но я не хочу учить арамейский! – Это было неправдой. Но если бы я сказал, что хочу, то отец придумал бы мне еще больше заданий.

– Еще как хочешь! – Голос тихий, холодный, непреклонный.

– Нет.

– Это не обсуждается.

– Я не хочу учить арамейский. И никакой другой!

Отец положил ладонь на лоб, словно его мучила невыносимая мигрень, и сказал, глядя в стол, почти шепотом: я пожертвовал всем ради тебя, чтобы ты стал самым блестящим учеником, равного которому еще не было в Барселоне, а ты как меня благодаришь? – Тут его голос взлетел до крика: – Вот этим «я не хочу учить арамейский»??? – И снова шепотом: – А?

– Я хочу учить...

Молчание. Мама подняла голову. Все ждали. Карсон, раздираемый любопытством, зашевелился в кармане. Я не знал, что хочу учить. Я знал одно – не хочу, чтобы мне часами что-то вдалбливали в голову. Несколько секунд я мучительно размышлял и в конце концов сказал наобум:

– В общем, я хочу быть врачом.

Молчание. Родители растерянно переглядываются.

– Врачом?

Отец мысленно представляет мою будущую карьеру врача. Мама, сдается мне, тоже. Я, вспомнив, что от одного вида крови меня тошнит,

понимаю, что совершил большую ошибку. Отец после некоторого размышления приставил стул к столу и продолжил свою нотацию:

– Нет и еще раз нет. Ни врачом, ни монахом. Ты станешь выдающимся знатоком классической филологии. И точка.

– Отец!

– Давай, сын, у меня много работы. Иди пошуми немного своей скрипкой.

А мама так и смотрела в пол, усердно разглядывая цветные керамические плитки на полу. Предательница.

Адвокат, врач, архитектор, химик, инженер-строитель, стоматолог, промышленный инженер, инженер-оптик, фармацевт, фабрикант, банкир – вот те профессии, которые, по мысли всех родителей, подходят их детям.

– Ты несколько раз говорил, что хочешь быть адвокатом.

– Потому что это единственная приемлемая карьера из тех, что как-то связаны с гуманитарными науками. Но дети мечтают чаще о профессии угольщика, маляра, столяра, фонарщика, плотника, авиатора, пастуха, футболиста, ночного сторожа, альпиниста, садовника, машиниста, парашютиста, водителя трамвая, пожарного и папы римского.

– Но мой отец никогда не говорил: сын мой, когда вырастешь, ты станешь выдающимся ученым-эрудитом.

– Никогда. Однако у меня дома все вели себя странно, как, впрочем, и у тебя.

– Н-да. – Он произнес это так, будто рассказал о каком-то непростительном дефекте и ему не хотелось вдаваться в детали.

Шли дни, и мама молчала, словно затаилась и ждала чего-то. А у меня появился новый – уже третий – преподаватель немецкого, герр Оливерес: молодой человек преподавал в иезуитской школе, но не отказывался от возможности подработать. С герром Оливересом, который вел занятия со старшими, я познакомился сразу же, потому что он дежурил (подозреваю, за пару песет) по четвергам вечером в классе для наказанных за опоздание. И пока мы отбывали повинность, проводил время за книгами. У него была своя, основательная, методика преподавания языка.

– Eins.

– Ains.

– Zwei.

– Sbai.

– Drei.

- Draì.
- Vier.
- Fia.
- Fünf.
- Funf.
- Nein: fünf.
- Finf.
- Nein: füüüünf.
- Fööüünf.
- Sehr gut!

Он немедленно заставил меня забыть о времени, напрасно потраченном с герром Ромеу и герром Казалсом, выявив самую суть немецкого языка. Меня очаровывали две вещи: что лексика в немецком совсем не походила на романскую и потому была для меня чем-то совершенно новым и что здесь, как в латыни, есть склонения. Герр Оливереса радовал мой интерес. Я просил его давать мне домашние задания по синтаксису. Мне всегда было интересно вникать в сущность языка. Спросить, который час, можно и так, и так, и так – разными способами. И да, мне нравилось учить языки.

– Как прошел урок немецкого? – нетерпеливо спросил меня отец после первого занятия с герром Оливересом.

– Aaaalso, eigentlich gut^[83]. – Я сказал это с таким видом, будто мне все равно. Я краем глаза посмотрел на отца и увидел, что он улыбается. И почувствовал себя вознагражденным, потому что не помню, чтобы в этом возрасте мне удавалось чем-то удивить отца.

– Тебе почти никогда это не удавалось.

– Мне не хватало времени.

Герр Оливерес оказался человеком интеллигентным, скромным, говорил очень тихо, вечно был плохо выбрит, втайне от всех писал стихи, а еще курил вонючие папиросы, но язык знал как родной. Уже на втором уроке мы учили schwache Verben^[84]. А на пятом проходили (с необходимыми предосторожностями, подобно тому как тайком предлагают посмотреть порнографические открытки) один из Hymnen^[85] Гёльдерлина. Отец хотел, чтобы герр Оливерес устроил мне экзамен по французскому, дабы проверить меня как следует. Герр Оливерес так и сделал, после чего сказал, что нагружать меня еще больше французским не надо, потому что у меня и так хороший школьный уровень. И я

от радости заскакал... А английский вы знаете, мистер Оливерес?

Да, родиться в этом семействе было ошибкой по многим причинам. Меня очень расстраивало, что отец помнил обо мне лишь то, что я его сын. Хорошо еще, что он заметил, что я – мальчик. А когда мы с отцом о чем-то спорили, мать молча рассматривала кафельные плитки на полу. По крайней мере, так мне казалось. Спасибо, что у меня были Карсон и Черный Орел. Они всегда были на моей стороне.

7

Было уже довольно поздно. Трульолс все возилась с группой учеников, и казалось, не закончит никогда. А я ждал. Рядом со мной сел какой-то мальчик. Он был выше меня, а еще у него уже наметился пушок над верхней губой и на ногах появились отдельные волоски. Ого, значит, здорово старше меня. Мальчик держал скрипку так, словно хотел обнять, и смотрел в другую сторону, отвернувшись от меня. Адриа сказал: привет!

– Привет, – ответил Бернат, по-прежнему глядя в другую сторону.

– Ты к Трульолс?

– Ага.

– Первый год?

– Третий.

– Я тоже. Пойдем вместе. Можно взглянуть на твою скрипку?

В то время благодаря отцу мне большее удовольствие доставлял скорее сам инструмент, чем музыка, из него извлекаемая. Но Бернат посмотрел на меня с недоверием. На несколько секунд я было решил, что у него в футляре – Гварнери и он не хочет его показывать. Я открыл футляр, где лежала моя скрипка: темного, почти коричневого цвета. А вот звук у нее был самый обычный. Тогда он раскрыл свой футляр. Я сказал, подражая сеньору Беренгеру:

– Франция, начало века, – и, глядя ему в глаза: – Из тех, что посвящены мадам д'Ангулем.

– Откуда ты знаешь? – выдохнул пораженный Бернат, вытаращив глаза.

С того дня Бернат начал искренне восхищаться мной. По самой глупой причине: потому что я легко запоминал предметы и мог их оценивать и классифицировать. Да, твой отец помешан на таких вещах. Но ты-то как все это знаешь?

– По лаку, форме, виду...
– Брось, все скрипки одинаковые!
– Да что ты говоришь? У каждой скрипки своя история. Эта скрипка – не твоя.

– Еще как моя!
– Вовсе нет. Она принадлежит миру. Вот увидишь.

Мне сказал об этом однажды отец, держа в руках Сториони. Он протянул мне ее с явным сожалением и произнес, не отдавая себе отчета в удивительности слов: смотри – осторожно! Эта вещь – единственная в мире! Сториони лежала у меня в руках, словно живая. Мне показалось, что я чувствую, как едва заметно бьется у нее пульс. Отец, блестя глазами, произнес: подумай только – мы понятия не имеем, при каких обстоятельствах родилась эта скрипка, в каких залах и домах звучала, какие радости и горести помогала выразить скрипачам, прикасавшимся к ней смычками. И о разговорах, ею слышанных. О музыке, на которую вдохновляла... Я уверен, она могла бы поведать массу замечательнейших историй, – закончил отец с той долей цинизма, чье присутствие я еще не научился воспринимать.

– Разреши мне поиграть на ней, папа.
– Нет. Пока не закончишь восьмой класс. Тогда она станет твоей. Слышишь меня? Твоей.

Клянусь, что у Сториони, когда прозвучали эти слова, участился пульс. Я не мог определить – от радости или от страха.

– Знаешь что... как я тебе уже сказал... знаешь, она – живое существо, у которого есть свое собственное имя... как у тебя или у меня.

Адриа смотрел на отца с несколько отсутствующим видом, словно решал внутри себя, насколько тот серьезно говорит.

– Свое собственное имя?
– Да.
– И как ее зовут?
– Виал.
– Что это значит – Виал?
– А что значит – Адриа?
– Ну... Адриани – это фамилия римской семьи, родом из Адрии, что на побережье Адриатики^[86].
– Я не об этом!
– Но ты спросил, что зна...
– Да, да, да... Короче, ее зовут Виал. И точка.
– Но почему ее так зовут?

– Знаешь, что я понял, сын мой?

Адриа смотрел на отца удивленно, почти испуганно: он не знал ответа и не хотел его получить. Он был слаб и тщательно скрывал это.

– Что ты понял?

– Что эта скрипка не принадлежит мне. Это я принадлежу ей. Я – один из многих в ее жизни. За свою длинную жизнь Сториони обладала множеством различных музыкантов, служивших ей. Сейчас она моя, но я могу лишь созерцать ее. Именно поэтому я так хочу, чтобы ты научился играть на скрипке и стал новым звеном в длинной жизни этого инструмента. Лишь поэтому ты берешь уроки музыки. Лишь поэтому, Адриа. И не важно, нравится ли тебе музыка.

Вот так просто отец вывернул все наизнанку и показал, что я учусь играть на скрипке по его воле, а не потому, что этого хотела мама. Вот так просто отец распоряжался чужими судьбами. Но меня в тот момент переполняли эмоции и я не очень вслушивался в эти рассуждения, завершающиеся ужасным «и не важно, нравится ли тебе музыка».

– А какого она года? – спросил я.

Отец показал мне на правую эфу. *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit 1764*^[87].

– Позволь мне ее поддержать!

– Нет. Ты можешь думать об историях, связанных с этой скрипкой. Но не трогать ее.

Иаким Муредда пропустил две повозки и людей, которые двигались к Лаграсу под предводительством Блонда из Казильяка. Он отошел от дороги, чтобы облегчиться. Несколько мгновений покоя. Вдалеке виднелись медленно движущиеся повозки с древесиной, силуэт монастыря и стена, разрушенная ударом молнии. Три лета он прятался в Каркассоне, скрываясь от злобы жителей Моэны. А теперь его судьба была готова сделать очередной поворот. Он привык говорить на певучем окситанском наречии. Привык не есть сыр каждый день. Но к чему ему никак не привыкнуть – так это к отсутствию лесов и гор; то есть они были, но где-то в отдалении, так далеко, что казались ненастоящими. Муредда делал свое дело под кустом и внезапно понял, что соскучился не столько по пейзажам Пардака, сколько по отцу и всей семье: Агно, Йенну, Максу, Гермесу, Йозефу, Теодору, Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и маленькой Беттине, подарившей ему свой медальон с Божьей Матерью, покровительницей дровосеков Пардака, – чтобы он не чувствовал себя одиноким. По щекам Муреды потекли слезы – так сильно он затосковал по своим. Он вытащил медальон из ворота рубахи

и принялся рассматривать: Пресвятая Божья Матерь с Младенцем под сенью ели, напоминавшей ему о таком же дереве над потоком Травиньола в родном Пардаке.

Ремонт стены был сложным делом, поскольку сначала следовало разобрать большой кусок явно ненадежной кладки. За несколько дней он построил внушительные деревянные леса. Ему прислали в помощь плотника, брата Габриэля, чьи руки походили на медвежьи лапы, когда нужно было разрушать и колотить, но становились легче пера, когда дело касалось тонкой работы по дереву. Они поняли друг друга с полуслова. Говорливый монах сказал: как это ты понимаешь дерево, если ты не плотник, а Иахим, впервые за все это время перестав опасаться за свою жизнь, ответил: потому что, брат Габриэль, я не плотник, но – рубщик дерева, я – знаток поющей древесины. Мое дело – заставить дерево петь, выбрать то дерево и ту часть ствола, из которых мастер-лютье^[88] сделает хороший музыкальный инструмент – скрипку, виолончель или что-то еще.

– А что ты сделал, работая на настоящего мастера, дитя Божье?

– Ничего. Это сложно.

– Ты сбежал, чего-то страшаешься.

– Ладно, я не знаю.

– Я не тот, кто должен указывать тебе на это, но все же берегись, если бежишь от самого себя.

– Нет. Думаю, нет. С чего бы?

– Потому что того, кто бежит от себя самого, всегда преследует тень врага и нет ему покоя до самой смерти.

– Твой отец – скрипач? – спросил меня Бернат.

– Нет.

– Хорошо, я... Но эта скрипка – моя, – подвел он итог.

– А я и не говорю, что не твоя. Я только сказал, что ты принадлежишь скрипке.

– Ты говоришь странные вещи.

Мы замолчали. Слышно, как Трульолс повышает голос, заставляя умолкнуть сфальшивившего ученика.

– Какой кошмар, – сказал Бернат.

– Ага. – Молчание. – Как тебя зовут?

– Бернат Пленса. А тебя?

– Адриа Ардевол.

– Ты за «Барсу»^[89] или за «Эспаньол»?^[90]

– За «Барсу». А ты?

- Тоже.
- Ты собираешь вкладыши?
- С машинами.
- Вот черт! У тебя есть серия с «феррари»?
- Нет. Ее ни у кого нет.
- Хочешь сказать, что такой не существует?
- Отец говорит, что нет.
- Вот ведь черт! – Расстроено. – Скажи?

Оба мальчика замолчали, размышляя о серии из трех вкладышей с «феррари» Фанхио^[91]. Которых, может, и не существовало вовсе. И от этого сосало под ложечкой. А двое мужчин – тоже молча – смотрели, как стена монастыря в Лагресе поднималась вверх благодаря надежным лесам, сооруженным Иакимом. Спустя какое-то время монах спросил:

– И из какого же дерева ты делаешь инструменты?

– Я их не делаю. И не делал. Я только выбирал самое лучшее дерево. Всегда – самое-самое. За ним ко мне приезжали мастера из Кремоны и выбирали из того, что мы с отцом готовили. Мы продавали им древесину, спиленную в январское новолуние (если они не хотели смолистое дерево) или, наоборот, в разгар лета (если они хотели дерево более гармоничное и благородное). Отец научил меня, как выбрать самое поющее дерево среди сотни других. Да, мне объяснил это отец, а ему – его отец, который работал на семью Аматти^[92].

– Я не знаю, кто это такие.

Иаким из Пардака рассказал ему о своих родителях, братьях и сестрах, о лесах тирольских Альп. И о Пардаке, который жители высокогорья называют Предаццо. И почувствовал такую легкость, будто исповедался. Словно доверил этому монаху секрет своего бегства и постоянного ощущения опасности. Но не чувствовал вины за убийство, потому что Булхани из Моэны был мерзкой свиньей, уничтожившей их будущее просто из зависти. Он бы воткнул ему в брюхо нож еще тысячу раз, будь у него такая возможность. Нет, Иаким ни в чем не раскаивался.

- О чем ты думаешь, Иаким? Я вижу ненависть на твоем лице.
- Ни о чем. Просто грущу. От воспоминаний. О братьях и сестрах.
- Ты говорил, у тебя их много.
- Да. Сначала родилось восемь мальчиков. И когда уже отчаялись дожидаться хоть одну девочку, тут их родилось шесть.
- А сколько выжило?
- Все.

– Настоящее чудо!

– Как сказать. Теодор не может ходить, у Гермеса голова не в порядке, зато большое и доброе сердце, а Беттина, младшенькая, моя любимая Беттина – слепая.

– Несчастливая мать!

– Она умерла. Умерла родами. И ребенок тоже не выжил.

Брат Габриэль помолчал, словно желая почтить память этой женщины-мученицы. А потом сменил тему:

– Ты говорил о древесине для инструментов. А что за древесина?

– Хорошие инструменты мастера из Кремоны делают, сочетая разные породы дерева в одном инструменте.

– Не хочешь говорить.

– Нет.

– Ну и не надо – сам разберусь.

– Как?

Брат Габриэль подмигнул ему и вернулся в монастырь, пока плотники и их подмастерья после тяжелого рабочего дня, в течение которого они ворочали камни, поднимали их вверх, подкладывая бревна, спускались с лесов незадолго до темноты, чтобы наскоро поесть и лечь отдыхать, провалившись в сон без сновидений.

– Как-нибудь я принесу Сториони в класс.

– Тем хуже для тебя! После ты узнаешь, что такое настоящая порка!

– Тогда зачем она нам нужна?

Отец положил скрипку на стол и посмотрел на меня, уперев руки в боки.

– Зачем она нам... зачем она нам! – передразнил он меня.

– Да. – Я был сыт по горло. – Зачем она нам нужна, если всегда лежит в футляре, в сейфе под замком и на нее даже взглянуть нельзя?

– Она нам нужна, чтобы она у нас была. Понял?

– Нет.

– Черное дерево, ель и клен.

– Кто вам сказал об этом? – восхитился Иахим из Пардака.

Брат Габриэль привел его в монастырскую ризницу. Надежно спрятанная в сундук, там лежала виола да гамба светлого дерева.

– Что она тут делает?

– Отдыхает.

– В монастыре?

Брат Габриэль махнул рукой, показывая, что ему лень вдаваться в детали.

– Но как вы об этом догадались?

– Я никогда не спрашивал, как они делают инструменты, – ответил он, восхищенный собственным равнодушием.

– Как же вы об этом догадались?

– По запаху дерева.

– Невозможно! Оно очень сухое, да еще и лаком покрыто.

В тот день, закрывшись в ризнице, Иаким Муредда научился распознавать древесину по запаху и подумал – какое мучение, какое ужасное мучение, что он не может рассказать об этом дома. Сначала – отцу, который, должно быть, уже умер от тоски после всего. Потом – Агно, Йенну и Максу, которые уже несколько лет живут отдельно, Гермесу, который тугο соображает, Йозефу, хромоногому Теодору, Микура, Ильзе и Эрике, которые уже вышли замуж, Катарине, Матильде, Гретхен и маленькой Беттине, моей любимой слепой малышке, которая дала мне кусочек Пардака – мамин медальон, который я всегда ношу с собой.

Месяца через полтора, когда уже начали разбирать леса, брат Габриэль сказал, что знает одну вещь, которая точно понравится Иакому.

– Какую?

Они отошли в сторону, подальше от рабочих, и монах прошептал, наклонившись к самому уху Муредды, что знает один очень старый монастырь – заброшенный и всеми забытый, – возле которого растет еловый лес: там та самая ель, что идет на изготовление скрипок.

– Лес?

– Ну, ельник. Штук двадцать елей и прекрасный, могучий клен. И у них нет хозяина. По крайней мере, еще пять лет назад это добро было ничейным.

– Почему?

– Это лес вокруг заброшенного монастыря. – И совсем шепотом: – Ни в Лаграсе, ни в Санта-Марии де Жерри никто не хватится пары деревьев.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Ты разве не хочешь вернуться к своим?

– Конечно хочу! Хочу возвратиться к отцу, – надеюсь, он еще жив. И хочу увидеть Агно, Йенна, Макса, у которых уже свои дома, и Гермеса-дурачка...

– Да, да, да, я знаю. И про Йозефа, и про всех остальных. Одна повозка с древесиной – и это можно будет осуществить.

Иаким из Пардака не вернулся в Каркассон. Из Лаграса он вместе

с Блондом из Казильяка и еще парой людей и пятеркой мулов, впряженных в повозку, с котомкой, в которой были спрятаны все заработанные за время изгнания деньги, отправился через Арейджу и порт Салау за своей мечтой.

Они прибыли в Сан-Пере дел Бургал семь или восемь дней спустя, на излете лета. Поднялись по ущелью от Эскало той же тропой, которой далеким зимним днем поднялся к монастырю посланник смерти. Стены монастыря обветшали. Обойдя вокруг них, Иаким остолбенел. Перед ним раскинулся лес, похожий на прекрасный уголок Паневеджио, каким он был до пожара. Десяток (а может, даже и полтора) великолепных мощных елей, а посредине, словно король, прекрасный крепкий клен. Пока спутники отдыхали после трудного пути, Иаким, мысленно благодаря брата Габриэля из Лаграса, бродил от дерева к дереву, прикасался к их стволам, заставляя, как учил отец, древесину петь. И вдыхал запах – так, как учил брат Габриэль. Иаким Муреда был счастлив. Потом через запустелый двор он дошел до закрытых дверей церкви. Толкнул створки ладонью – и древесина, изъеденная жучком, рассыпалась от удара. Внутри церкви было темно, и, заглянув туда, Муреда решил не входить внутрь, а вернуться и тоже прилечь отдохнуть.

Они разбили лагерь в стенах монастыря, под полусгнившим навесом. Провизию закупили у крестьян из Эскало и Эстарона, те никак не могли взять в толк, что понадобилось этим людям среди руин Бургала. Почти месяц у них ушло на то, чтобы соорудить приспособления, которые позволят спустить стволы к реке, откуда дорога шла более полого. Иаким обнимал каждое дерево, прежде чем рубить нижние ветви. Простукивал древесину ладонью и слушал звук. Его спутники молча, скептически и недоверчиво наблюдали за ним. Когда повозки были готовы, Иаким из Пардака должен был решить, какие деревья, помимо клена, рубить. Он был убежден, что там растут действительно особенные деревья, и хотя уже давно не практиковал свое ремесло, но чувствовал – перед ним поющие деревья. Он провел много часов, разглядывая таинственные фрески в апсиде монастырской церкви. Они должны были рассказать ему истории, которых он не знал. Пророки и ангелы, святой Петр – его покровитель, святой Павел, святой Иоанн, другие апостолы, Божья Матерь, возносящие мольбы к престолу Господа Вседержителя. Угрызения совести его не мучили.

Потом они приступили к рубке выбранной ели. Это было ровное сухое дерево, выросшее в холоде – сильном и, что особенно важно, постоянном. С плотной древесиной, равномерно нараставшей год от года. Боже мой,

какая древесина! Когда дерево было срублено, он вновь – опять под скептическими взглядами помощников – стал простукивать, нюхать, делать срезы, чтобы понять, какая часть ствола лучше всего. И отметил мелом два куска: один в двенадцать футов, другой – в десять. Там, где дерево пело звонче всего. Там и начал пилить, хоть и не в январское новолуние (старые мастера говорили, что именно тогда следует выбирать дерево для хорошего инструмента). Дело не только в том, что времени было мало. Он был уверен, что смола увлажнит древесину и поможет выдержать длинную дорогу.

– Мне кажется, ты меня дуришь, – сказал Бернат.

– Думай как хочешь.

Они замолчали. Но ученик, который фальшивил, фальшивил настолько ужасно, что сидеть тихо было невыносимо. Через пару минут Адриа продолжил:

– Думай что хочешь. Но это очень занятно – знать, что тобой повелевает скрипка, потому что она – живая.

Отдохнув пару дней, они приступили к клену. Он был огромный, может, двухсотлетний. Листья его уже тронула желтизна в предчувствии первых морозов. Муред знал, что лучшая древесина находится ближе к корням, потому дал указание пилить почти возле земли, хотя люди и ворчали, что это только лишняя работа. Иаким был вынужден пообещать еще два дня отдыха, прежде чем они тронутся в обратный путь. Что ж, они спилили у самой земли. Так низко, что Блонд из Казильяка из любопытства расковырял дырку между корнями.

– Пойдем, ты должен это увидеть, – сказал он Муреду, прервав его уже привычные размышления перед загадочными фресками в церковной апсиде.

Рабочие выкорчевали почти весь пенёк. В яме, среди корней, виднелись череп с клочьями волос и человеческие кости, прикрытые истлевшими кусками ткани.

– Поди знай, что тут под деревом кто-то похоронен! – воскликнул один из рабочих.

– Это было сделано очень давно.

– Нет, его не похоронили под деревом, – сказал Блонд из Казильяка.

– Как – нет? – удивился Иаким.

– Ты разве не видишь? Дерево проросло сквозь человека, словно вышло из него. Он питал дерево своей кровью и плотью.

Да. Дерево словно рождалось из чрева скелета. Адриа умоляюще

посмотрел на отца, приблизив к нему лицо:

– Папа, я хотел бы только дотронуться смычком... чтобы узнать, как она звучит! Всего пару нот! Совсем чуть-чуть! Ну, папа!

– Нет. Нет – это значит нет. И хватит об этом! – ответил Феликс Ардевол, отводя взгляд.

Знаешь, что я думаю? Что этот кабинет, ставший моим миром, подобен скрипке, которая за свою долгую жизнь видела разных людей: моего отца, меня... тебя, ибо ты была там по праву, и бог знает кого еще, этого уже не узнать... Нет – это значит нет, Адриа.

– Ты не понимаешь, что он просто не хочет соглашаться? – говорил мне, разозлившись, Бернат спустя много лет.

– Видишь? – Отец сменил тон. Он повернул инструмент и показывает мне его «со спины».

Указывает на какое-то место, но не касается его:

– Вот эта тонкая линия... Кто ее сделал? Каким образом? Случайно? Намеренно? Когда? Где?

Он держит инструмент очень осторожно. И говорит: когда я думаю об этом, я счастлив. Затем кивком указывает на кабинет, на все чудеса, которые тот хранит. Потом аккуратно кладет Виал в футляр, захлопывает его и запирает в темницу-сейф.

В этот момент открылась дверь класса Трульолс. Бернат шепотом, чтобы не услышала учительница, сказал:

– Что за ерунда! Я вовсе не принадлежу скрипке. Она – моя. Мне купил ее отец в магазине фирмы «Паррамон». За сто семьдесят пять песет. – И захлопнул футляр.

Этот тип показался мне очень противным. Такой юный, а уже боится тайны. Нет, дружба между нами невозможна. Нет и нет. Капут. Потом оказалось, что он тоже ходит в иезуитскую школу и учится на класс старше меня. Что зовут его Бернат Пленса-и-Пунсода. Может, я уже это говорил. Он был таким натянутым, словно его окунули в лак для волос и он так и засох. Спустя каких-то четверть часа я узнал, что этот несимпатичный тип, не верящий в тайны, дружба с которым совершенно невозможна, по имени Бернат Пленса-и-Пунсода, извлекает из своей скрипки за тридцать пять ду^[93] такие нежные и певучие звуки, о которых я и мечтать не мог. И Трульолс одобрительно смотрела на него, а я думал, что за дерьмо моя скрипка. Тогда я поклялся, что заставлю замолчать этого искусственного натянутого типа: и его, и мадам д'Ангулем. Конечно, теперь я понимаю, что лучше бы я так не думал. Но тогда я потихоньку вынашивал эту мысль. Невероятно, как самые невинные вещи могут

положить начало страшным трагедиям.

Бернат, стоя посреди лестницы, нащупал карман и вытащил вибрирующий мобильный телефон. Это Текла. Он колебался – отвечать или нет. Ему пришлось посторониться, чтобы пропустить соседку, торопливо спускавшуюся вниз. Бернат бездумно уставился на светившийся экран, будто мог увидеть там рассерженную Теклу. Этот образ доставил ему большое удовольствие. Так что он сунул мобильный в карман и через пару секунд отметил, что вибрация прекратилась. А Текла, может, попыталась обсудить интересующую ее тему с автоответчиком. Он представил, как она говорит: домом в Льянсе пользуемся по очереди – по полгода каждый. А автоответчик в ответ: ну что вы такое придумали? Вы же там почти не появлялись, а если и приезжали, то ходили с кислой миной на лице, которую вам так нравится корчить, чтобы отравлять жизнь бедному Бернату! А?

Браво автоответчику, думал Бернат. Он постоял на лестничной площадке, восстанавливая дыхание. И слушал дребезжание дверного звонка:

– Дзззззззыыынннь!

Он так долго ждал хоть какой-то ответной реакции внутри квартиры, что успел подумать о Текле, о Льюренсе и о неприятном разговоре прошлой ночью. Вот послышались шаги. Щелкнул замок, и дверь начала медленно открываться. Перед ним стоял Адриа, глядя поверх очков для чтения с узкими стеклами. Наконец он полностью открыл дверь и включил свет в прихожей. Свет лампочки отразился в его лысине.

– Лампочка на площадке снова перегорела, – сказал Бернат вместо приветствия.

Бернат обнял друга, но тот не ответил на объятие. Адриа снял очки и, приглашая войти в квартиру, сказал: спасибо, что пришел.

– Как ты?

– Плохо. А ты?

– Тоже не очень.

– Выпьешь чего-нибудь?

– Нет. Да. Я больше не пью.

– Мы уже не пьем, не занимаемся любовью, не едим всласть, не ходим в кино, не получаем удовольствия от книг, все женщины для нас слишком молоды и даже веры в обещания спасти страну больше нет.

– Хорошая программа!

– Как Текла?

Он вошел в кабинет. Как всегда, войдя туда, Бернат не мог скрыть восхищения. На несколько мгновений он остановил взгляд на автопортрете, но воздержался от комментариев.

– Что ты спросил?

– Как Текла?

– Очень хорошо. Просто отлично.

– Я рад.

– Адриа!

– Что?

– Не прикидывайся дураком!

– О чем ты?

– О том, что я два дня назад сказал тебе, что мы разводимся и грыземся не на жизнь, а на смерть...

– Вот черт!

– Ты не помнишь?

– Нет. Я очень сосредоточен и...

– Ты – рассеянный мудрец.

Адриа промолчал. Чтобы не молчать, Бернат произнес: мы разводимся... в нашем возрасте – и разводимся.

– Сочувствую. Но вы правильно делаете.

– По правде говоря, меня все достало.

Пока Бернат садился, у него стрельнуло в коленях, и он неестественно бодро сказал: вот куда мы вечно так спешим?

Адриа пристально смотрел на него. Казалось, целую вечность. Бернат старался выдержать этот взгляд, пока не заметил, что на самом деле друг мыслями очень далеко.

– Эй, ты где? – Пауза и такой же отсутствующий взгляд. – Адриа? – Ему стало страшно. – Что случилось?

Адриа сглотнул и тоскливо посмотрел на друга. Потом отвел глаза:

– Я болен.

– Что ты говоришь!

Молчание. Вся жизнь, все наши жизни, подумал Бернат, проходят перед глазами, когда кто-то, кого любишь, говорит, что болен. Сейчас – Адриа, сидящий с отсутствующим видом. Бернат мгновенно забыл о Текле, которая проедала ему мозг весь день, всю неделю, весь месяц, чертова баба, и сказал: что... что с тобой?

– Истек срок годности.

Молчание. Вновь эта нескончаемая тишина.

– Но что за болезнь? Какого хрена? Ты умираешь? Это серьезно?

Я чем-то могу помочь? Скажи нормально, блин!

Если бы не этот чертов развод с Теклой, он никогда бы так не отреагировал. Бернат пожалел о своей несдержанности, но, как он видел, Адриа почти не обратил внимания на этот эмоциональный взрыв и продолжал улыбаться с отсутствующим видом.

– Конечно, ты можешь кое-что сделать. Одну вещь.

– Конечно. Но... Как ты? Что у тебя?

– Мне сложно объяснить. Меня кладут в медицинский центр. Или что-то вроде этого.

– Черт, да ты выглядишь совершенно здоровым!

– Окажи мне одну услугу.

Он поднялся и исчез в глубине квартиры. Сколько же нужно терпения, думал Бернат, когда находишься между Теклой, с одной стороны, и Адриа, с его вечными загадками и ипохондрией, – с другой.

Адриа вернулся со своей ипохондрией и загадкой – на этот раз одной. В форме увесистой кипы бумаг. Он положил ее на журнальный столик перед Бернатом:

– Проследи, чтобы это никуда не потерялось.

– Но погоди! Послушай! Как давно ты болен?

– Я же сказал: уже какое-то время.

– А я ничего не знал!

– А я ничего не знал про твой развод с Теклой. Конечно, я сам часто советовал тебе это сделать. Но каждый раз думал, что вы как-то решили проблему. Я могу продолжать?

Близкие друзья умеют ссориться и мириться и знают, что не надо говорить друг другу все до конца. Возможно, потому, что твой друг может в ответ дать тебе затрепину. Так говорил Адриа тридцать пять лет назад, и Бернат прекрасно помнил это до сих пор. Будь проклята эта жизнь, которая преподносит нам столько смертей.

– Извини, но я... Конечно, ты можешь продолжать!

– Несколько месяцев назад мне диагностировали дегенеративные процессы в мозге. И болезнь прогрессирует.

– Вот дерьмо!

– Да.

– Ты мог бы мне сказать.

– И что? Ты бы меня излечил?

– Я твой друг!

– Потому я к тебе и обратился.

– Ты можешь жить один?

– Ко мне каждый день приходит Лола Маленькая.
– Катерина.
– Ну да. И остается довольно долго. Оставляет мне готовый ужин.
Адриа показал на стопку бумаг и сказал: кроме того, мой друг – писатель.
– Несостоявшийся, – сухо заметил Бернат.
– Это ты так говоришь.
– Еще бы я так не говорил! Ты же все время это подразумевал, черт возьми!
– Я всегда тебя критиковал, ты знаешь, но никогда не называл несостоявшимся.
– Но ты так думал.
– Ты понятия не имеешь, что у меня внутри, – сказал Адриа, внезапно рассердившись и хлопнув себя по лбу ладонью.
– Я уже давно не публикуюсь.
– Но писать не перестал, да?
Тишина. Адриа настойчиво продолжал:
– Не так давно ты объявил, что пишешь роман. Так или нет?
– Еще один провал. Я его бросил. – Он глубоко вдохнул, выравнивая дыхание. – Ладно. Чего ты хочешь?
Адриа взял бумаги со столика и какое-то время рассматривал, словно впервые. Потом посмотрел на Берната и протянул их ему. Это была толстая стопка листов, исписанных с двух сторон.
– Нужно только то, что с этой стороны.
– То, что написано зелеными чернилами?
– Да.
– А с другой? – Он прочел заголовок: – «Проблема зла».
– А, это ничего. Так, баловство. Полная ерунда, – неловко улыбнулся Адриа.
Бернат рассеянно провел пальцем по стопке, словно перелистывая. И пытаясь взглянуть в сложную вязь почерка друга.
– Что это? – спросил он, наконец поднимая голову.
– Не знаю. Моя жизнь. Моя жизнь и прочие придумки.
– Так ты... Я и не знал, что ты пишешь.
– Теперь знаешь. И больше никто.
– Хочешь, чтобы я сказал свое мнение?
– Нет. Хорошо, если ты мне скажешь свое мнение. Но... Я прошу... я умоляю тебя набрать этот текст на компьютере.
– Ты так и не освоил тот, что я тебе дал.

Адриа сделал извиняющийся жест:

– Я занимался с Льюренсом.

– И это тебе ничуть не помогло. – Он перевел взгляд на стопку листов. – То, что зелеными чернилами, без названия, как вижу.

– Потому что я не знаю, как назвать. Может, ты мог бы мне помочь?

– Тебе нравится? – Бернат приподнял рукопись.

– В данном случае не имеет значения, нравится мне или нет. Кроме того, это первый раз, когда...

– Ты меня удивляешь.

– Я сам удивлен. Но я должен был это сделать.

Адриа откинулся в кресле. Бернат еще раз провел пальцем по краю стопки и оставил лежать на столике.

– Расскажи, как ты? Я могу что-то сделать...

– Нет, спасибо.

– А как ты себя чувствуешь?

– Сейчас – ничего. Но процесс пойдет дальше. Может случиться, что...

Адриа, размышляя – говорить или нет, смотрел поверх головы Берната на стену, где висела фотография двух друзей с рюкзаками за спиной, из тех времен, когда на голове у них были волосы, зато в животе – пусто. Они снялись в Бебенхаузене: молодые и еще не разучившиеся улыбаться в камеру. А наверху, на самом почетном месте, как в алтаре, висел автопортрет Сары. Адриа сказал шепотом:

– Очень может быть, что через пару месяцев я перестану тебя узнавать...

– Не может быть.

– Может.

– Дерьмово.

– Да.

– И как ты собираешься все устроить?

– Я тебе все скажу, спокойно!

– Хорошо. – Бернат ткнул пальцем в рукопись. – Об этом не беспокойся. С твоим почерком я разберусь. Ты уже решил, что с этим будешь делать?

Адриа сидел с отсутствующим видом. Бернат подумал, что он похож на кающегося во время исповеди. Когда он закончил говорить, повисло молчание. Может быть, они вспоминали свои жизни, которые не назовешь

спокойными. И размышляли о вещах, о которых не принято говорить. О стычках и ссорах, неизбежно происходивших время от времени, об ошибках, которые они совершали и жили, не замечая их. И почему-то жизнь всегда заканчивается смертью неожиданно. А еще Бернат думал: я сделаю для тебя все, о чем попросишь. Адриа так и не понял, о чем он думал. В кармане у Берната зажужжал мобильный телефон. Этот звук показался ему абсолютно неуместным.

– Что это?

– Не обращай внимания. Мобильный. Знаешь, люди пользуются компьютерами, которые им дарят друзья. А еще у нас есть мобильные телефоны.

– Черт, ну так ответь! Телефон нужен для того, чтобы отвечать на звонки.

– Нет. Это наверняка Текла. Подождет.

И они снова погрузились в молчание, ожидая, когда прекратится жужжание, а оно все нарастало и нарастало, непрошеным гостем вторгаясь в эту беззвучную беседу. И Бернат думал: это точно Текла. Кто еще может так настойчиво названивать? Наконец телефон умолк, и мысли постепенно вновь заполнили пространство вокруг двух друзей.

8

– Но у нас нет ни одного манускрипта! – воскликнул Бернат, когда они стояли на углу улиц Брук и Валенсия, перед консерваторией. Они ходили от дома одного к дому другого, а это было как раз посередине пути.

– Ну так и что?

– И квартира маленькая, если сравнивать с твоей.

– Да. Зато терраса красивая, а?

– Я бы хотел, чтобы у меня был брат.

– Я тоже.

Они замолчали и снова двинулись – в сторону дома Адриа, оттягивая момент прощания. В тишине они скучали по брату, которого у них не было, и размышляли над загадкой: отчего у Роча, Руля, Сулера и Памиеса было по три, пять, шесть братьев, а у них – ни одного.

– Да, но дома у Руля – просто кошмар. Четверо в одной комнате, чуть не на голове друг у друга. Они вечно ругаются.

– Хорошо, хорошо, согласен. Но так интереснее.

– Ну не знаю. Вечно кто-то из младших болтается под ногами.

- Ну да.
- Или из старших.
- Н-да.

А еще Адриа пытался объяснить, что у Берната родители... ну не знаю, не стоят у тебя над душой целыми днями.

– Еще как стоят! «Ты сегодня не занимался на скрипке, Бернат. А школьные задания? Как – не задали уроков? Ты посмотри, во что ты превратил сандалии? Это же просто лошадь какая-то, а не ребенок!» И так – каждый божий день.

- Это ты не видел, что у меня дома творится.
- И что там?

Во время третьей прогулки от дома к дому они пришли к заключению, что невозможно определить, кто из них более несчастлив. Но я уже знал, что, когда мы зайдем к Бернату, дверь откроет его мама, с улыбкой скажет: привет, Адриа! – и потреплет по волосам. А моя мама никогда не говорила даже «Как дела, Адриа?», потому что дверь мне всегда открывала Лола Маленькая, которая лишь слегка щипала меня за щеку, а в доме стояла мертвая тишина.

- Видишь, твоя мама поет, когда штопает носки.
- И что?
- А моя – нет. У нас дома запрещено петь.
- Ничего себе!
- Я несчастный человек.
- Я тоже. Но у тебя всегда отличные оценки.
- Также мне достижение! Да и уроки легкие.
- И дурацкие.
- Кроме скрипки.
- Да я не про скрипку. Я про школу: грамматика, география, физика-химия, математика, естествознание, занудная латынь... Вся эта тягомотина – вот я о чем. Скрипка-то – легко.

Я могу ошибаться в датах, но ты понимаешь, о чем речь, когда я говорю, что мы были несчастны. Думаю, это скорее подростковая меланхолия, а не детские обиды. Может, я неточен в датах, но ясно помню этот разговор с Бернатом, пока мы бродили между его домом и моим, наматывая круги по улицам Валенсия, Льюрия, Брук, Жирона и Майорка – самой сердцевине Эшампле, моему миру, родившемуся в ходе этих прогулок. А еще у Берната была электрическая железная дорога, а у меня – нет. И родители спрашивали Берната: а чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь? А тот мог ответить: еще не знаю.

– Надо бы начать думать об этом, – спокойно говорит сеньор Пленса.

– Конечно, папа.

Всего лишь только это ему и говорят, представляешь? Ему говорят, что он может стать кем хочет, а мне отец однажды объявил: слушай меня внимательно, повторять я не буду, сейчас я скажу тебе, кем ты станешь, когда вырастешь. Отец подробно размечал мне дорогу по жизни – каждый этап, каждый поворот. А когда за это взялась мама, стало только хуже. Я не жалуясь, просто пишу тебе. А тогда я жил в таком напряжении, что не мог обсудить это даже с Бернатом. В самом деле, честно! У меня было столько немецкого, что я не мог сделать все задания, а Трульолс требовала заниматься по полтора часа, если я хочу хотя бы в первом приближении справиться с двойными нотами. Я ненавидел двойные ноты, потому что, когда от тебя хотят, чтобы звучала одна струна, вместо этого у тебя звучит сразу три, а когда хочешь, чтобы две, то получается только одна и приходит момент, когда мечтаешь разбить скрипку о стену. Потому что тебе не справиться с аппликатурой, а у тебя есть пластинка с записями Иосифа Робертовича Хейфеца, чья техника безупречна. Мне хотелось быть Хейфецем по трем причинам. Первая: потому что его преподавательница уж точно не говорила ему: нет, Яша, третий палец должен скользить вместе с рукой, не оставляй его на грифе, ради всего святого, Яша Ардевол! Вторая: потому что он всегда играл хорошо. Третья: потому что у него наверняка не было такого отца, как у меня. И четвертая: я пришел к выводу, что быть талантливым ребенком – сродни тяжелой болезни, которую он смог пережить по разным причинам и которую я тоже пережил, но только оттого, что не был по-настоящему талантливым ребенком, как бы это ни печалило отца.

– Хау!

– Говори, Черный Орел!

– Ты говорил – три.

– Что «три»?

– Три причины хотеть быть Яшей Хейфецем.

Это потому, что я временами теряю нить. И сейчас, пока я все это пишу, с каждым днем запутываюсь все больше. Не уверен, что смогу добраться до конца.

Совершенно ясно, что мое мрачное детство было результатом педагогической деятельности отца, который однажды, когда Лола Маленькая хотела мне помочь, сказал: да что за чертовщина тут творится? У него немецкий, скрипка, и поэтому он не может учить английский?

Вот как? Он что, сахарный, мой сын? А? Кроме того, ты – никто, у тебя нет права голоса... С какой стати я вообще должен это обсуждать с тобой?

Лола Маленькая вышла из кабинета еще более разъяренная, чем вошла. Все началось, когда отец объявил, что я должен освободить понедельник, чтобы начать заниматься английским с мистером Пратсом, весьма ценным молодым человеком. Я застыл с открытым ртом, потому что не знал, что сказать, поскольку очень хотел учить английский, но не хотел, чтобы отец... Я смотрел на маму, пока она доедала отварные овощи и Лола Маленькая уносила пустое блюдо на кухню. Но мама не произнесла ни звука, я остался один... и сказал тогда, что мне нужно время для скрипки, потому что двойные ноты...

– Отговорки! Двойные ноты... Посмотри, как играет любой приличный скрипач, и не говори мне, что не можешь стать таким.

– Мне не хватает времени.

– Ну так найди его, ты же ничем не обременен. Или оставь скрипку, я тебе уже говорил.

Назавтра между мамой и Лолой Маленькой вышел спор, который я не мог подслушать, потому что у меня не было устроено никакой шпионской базы в гладильной комнате. После этого – спустя пару дней – Лола Маленькая повздорила с отцом. Это когда она вышла из кабинета еще более разъяренная, чем вошла. Но она была единственным человеком в доме, который не боялся отца и смел ему возражать. В понедельник перед началом рождественских каникул я не смог встретиться с Бернатом, чтобы погулять.

– One.

– Uan.

– Two.

– Tu.

– Three.

– Thrrii.

– Four.

– Foa.

– Four.

– Fuoaa...

– Fffoouur.

– Fffooooa.

– It's all right!

В английском меня очаровало произношение – всегда чудесным образом не совпадавшее с тем, как пишется слово. И еще меня радовала

простота морфологии. И перекличка с немецким в плане лексики. Мистер Пратс был чрезвычайно застенчив – настолько, что не поднимал на меня глаз, пока читал мне первый текст на английском языке, который я тут не буду приводить из соображений хорошего вкуса. Чтобы ты могла себе представить: сюжет заключался в том, на столе лежит карандаш или под столом. Логически непредсказуемая развязка подводила к ответу, что он в кармане.

– Как идут занятия английским? – нетерпеливо спросил меня отец спустя десять минут после окончания первого же урока, за ужином.

– It's all right^[94], – ответил я, изобразив на лице безразличие. Но внутри я бесился, потому что, вообще-то, несмотря на отца, сгорал от желания узнать, как будет «раз, два, три, четыре» по-арамейски.

– Можно две? – спросил Бернат, всегда настаивавший на своем.

– Конечно.

Лола Маленькая дала ему две шоколадки. Потом поколебалась долю секунды и протянула вторую мне. Первый раз в этой ссучьей жизни мне не нужно было добывать их тайком.

– Только не крошите!

Мальчики отправились в комнату, и по дороге Бернат спросил: скажи, что там?

– Большой секрет.

В комнате я открыл альбом с вкладышами с гоночными машинами на главной странице и, не глядя в него, стал смотреть в лицо друга. Тот, к счастью, опустил глаза.

– Нет!

– Да!

– Они таки существуют!

– Да.

Это был тройной вкладыш с Фанхио возле «феррари». Да-да, ты не ослышалась, любимая: тройной вкладыш с Фанхио.

– Можно потрогать?

– Эй, только осторожно!

Таков уж Бернат: если какая-то вещь ему нравится, обязательно нужно ее потрогать. Как я. Так было всю жизнь. И сейчас так. Как я. Адриа, чрезвычайно довольный, наблюдал, как завидует друг, прикасаясь кончиками пальцев к изображению Фанхио и красной «феррари» – самой быстрой машины всех времен (кроме будущего).

– Мы же решили, что ее не существует. Как ты это достал?

– Связи.

Когда я был маленьким, то часто вел себя так. Наверное, подражал отцу. Или, может быть, сеньору Беренгеру. В данном случае «связи» – это одно чрезвычайно удачное воскресное утро на блошином рынке Сан-Антони. Там можно найти что угодно, потерянное во времени. От концертных платьев Жозефины Бейкер до посвященного Жерони Занне сборника стихов Жузепа Марии Лопеса-Пико. И тройной вкладыш «феррари» тоже, которого, как говорили, не было ни у одного мальчика в Барселоне. Изредка отец брал меня с собой на рынок, старался меня чем-нибудь занять, а сам беседовал с загадочными людьми с вечной сигареткой в углу рта, руками в карманах и беспокойным взглядом. Он записывал что-то таинственное в тетрадку, которая потом исчезала в каком-нибудь секретном кармане.

Тяжело вздохнув, они захлопнули альбом. Они должны были терпеливо ждать, сидя в комнате, как в засаде. Нужно было о чем-нибудь говорить, чтобы не сидеть молча. Поэтому Бернат решил спросить о том, что давно не давало ему покоя, но о чем лучше было не спрашивать, потому что дома ему сказали: лучше не поднимай эту тему, Бернат. Но он решился спросить:

– Как это так, что ты не ходишь на мессу?

– У меня есть разрешение.

– От кого? От Бога?

– Нет, от падре Англады.

– Ни фиги себе! А почему все-таки ты не ходишь на мессу?

– Я не христианин.

– Вот черт! – Растерянное молчание. – А разве можно не быть христианином?

– Наверное. Я же не христианин.

– Но что ты тогда? Буддист? Японец? Коммунист? А?

– Я ничто.

– Разве можно быть ничем?

Я никогда не знал ответа на этот вопрос, вставший передо мной в детстве и наводивший на меня тоску. Разве можно быть ничем? Я стану ничем. Стану подобным нолю, который не является ни натуральным числом, ни целым, ни рациональным, ни вещественным, ни комплексным? Подобным нейтральному элементу среди целых чисел? Я полагаю, что и того хуже: когда меня не станет, я перестану быть необходимым, если я вообще необходим.

– Хау! Я совсем запутался.

- Слушай, не усложняй!
- Нет, что до меня...
- Помолчи, Черный Орел!
- Я верю, что Великий Дух Маниту защищает всех: и бизонов от опасностей в прериях, и людей от дождя и снега, – и выводит на небо солнце, которое нас греет и уходит за горизонт, когда пора спать, и направляет дуновение ветра и течение рек, и нацеливает зрачок орла на его жертву, и побуждает воинственный дух героя умереть за свой народ.
- Эй, Адриа, где ты витаешь?
- Адриа мигнул и ответил: да тут я, тут.
- Иногда ты ускользаешь куда-то.
- Я?
- Дома говорят, это потому, что ты – мудрец.
- Из меня мудрец, как из дерьма – пуля. Хотел бы я иметь...
- Вот только не начинай!
- Тебя дома любят.
- А тебя – нет?
- Нет. Меня просчитывают. Высчитывают коэффициент интеллекта и говорят: надо послать его в Швейцарию, в специальную школу, надо, чтобы он мог пройти три класса за год.
- Ого! Разве это не здорово? – Он подозрительно посмотрел на меня. – Нет?
- Нет. Они спорят на мой счет. Но не любят.
- Да ну... По мне, так все эти поцелуи...

Когда мама сказала Лоле Маленькой «сходи в лавку Розиты», я понял, что наш час пробил. Как два вора, как те, кто говорит в сердце своем: не скоро придет Господин мой, мы вошли туда, куда вход нам был воспрещен. В полной тишине мы проскользнули в кабинет отца, чутко прислушиваясь к звукам в глубине дома, где мама и сеньора Анжелета разбирали одежду. Пару минут мы привыкали к темноте и насыщенной атмосфере комнаты.

- Тут странно пахнет, – сказал Бернат.
- Ш-ш-ш! – прошептал я, немножко мелодраматично, чтобы произвести впечатление на Берната сейчас, когда мы только начали дружить. Я сказал ему, что это не просто запах – так пахнет сама история, которую составляют предметы из папиной коллекции. Я не очень понимал, что говорю, и, если честно, не совсем в это верил.

Когда глаза привыкли к темноте, первое, что увидел с удовольствием

Адриа, – изумленное лицо Берната. Тот уже почувствовал не странный запах, но дух самой истории, который испускали предметы коллекции. Два стола, заваленные манускриптами, над ними странная лампа... Что это? А, лупа. Фу, вот черт... И гора старых книг. В глубине – шкафы, заполненные еще более древними книгами, слева – стена, увешанная небольшими картинами.

– Они ценные?

– Ух!

– Ух – что?

– Вот эта – кисти Вайреды^[95], – гордо пояснил Адриа, показывая на набросок.

– А-а.

– Знаешь, кто такой Вайреда?

– Нет. Дорого стоит?

– Ужас сколько. А это – гравюра Рембрандта. Она не уникальна, но...

– А-а.

– Знаешь, кто такой Рембрандт?

– Не-а.

– А эта вот маленькая...

– Она очень красивая.

– Да. Эта самая ценная.

Бернат приблизился к бледно-желтым гардениям Абрахама Миньона^[96], словно хотел ощутить их запах. Точнее, словно хотел унюхать запах денег.

– И сколько стоит?

– Тысячи песет.

– Ого! – Он словно погрузился в транс на какое-то время. – А сколько тысяч?

– Не знаю точно, но очень много.

Лучше оставить его в неопределенности. Это было хорошее начало, а теперь нужно нанести решающий удар. Поэтому я подвел его к стеклянной витрине. Он замер, а потом воскликнул: вот черт, что это?

– Кинжал кайкен, самурайский, – гордо ответил Адриа.

Бернат открыл дверцу витрины – я нервничал и посматривал на дверь кабинета, – взял кинжал (такой же самурайский кайкен, как и в нашем магазине), заинтригованный, подошел к окну, чтобы рассмотреть его получше, и вытащил из ножен.

– Осторожно! – сказал я таинственным голосом – мне показалось,

что он недостаточно впечатлен.

– Что значит «самурайский кинжал кайкен»?

– Это кинжал, которым японские женщины-самураи совершали самоубийство. – И повторил, понизив голос: – Орудие самоубийства!

– А зачем они убивали себя? – без всякого удивления, без сочувствия, как-то тупо спросил Бернат.

– Ну... – Я напряг воображение. – Если дела складывались не очень хорошо, чтобы покончить со всем.

И добавил, чтобы подвести черту:

– Эпоха Эдо, шестнадцатый век.

– Ух ты!

Он внимательно рассматривал кинжал, наверное представляя самоубийство японских женщин-самураев. Адриа забрал у него кайкен, вернул в ножны и, стараясь не шуметь, положил обратно в витрину. Тихо закрыл дверцу. Теперь он понял, что должен все-таки сразить друга наповал. До этого момента мальчик колебался, но сейчас принял решение: нужно заставить Берната забыть о сдержанности, заставить того выпустить наружу настоящие эмоции. Адриа приложил палец к губам, призывая к абсолютной тишине, включил свет в углу и начал вращать ручку сейфа: шестерка единица пятерка четверка двойка восьмерка. Отец никогда не закрывал его ключом, только на кодовый замок. Итак, я открыл тайную комнату сокровищницы Тутанхамона. Несколько связок древних бумаг, две закрытые коробочки, куча папок с документами, три пачки ассигнаций в углу и на верхней полочке скрипичный футляр с размытым пятном на крышке. Я вынул его не дыша. Затем открыл футляр, и перед нами возникла сияющая Сториони. Сияющая ярче обычного. Я перенес ее ближе к свету и показал Бернату на прорезь эфы.

– Читай, что там написано! – скомандовал я.

– *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit.* – Он поднял голову, зачарованный. – Что это значит?

– Прочти до конца, – проворчал я, еле сдерживаясь.

Бернат снова начал вглядываться в полумрак скрипичного нутра. Я повернул скрипку так, чтобы было легче увидеть цифры: один семь шесть четыре.

– Тысяча семьсот шестьдесят четвертый, – не выдержал Адриа.

– Вот это да! Дай сыграть на ней что-нибудь. Чтобы услышать, как она звучит.

– Ну да. И отец сошлет нас на галеры. Ты можешь только прикоснуться к ней.

- Почему?
- Самый ценный предмет в доме, понял?
- Даже больше, чем желтые цветы... не помню как его?
- Больше. Гораздо больше.

Бернат дотронулся до скрипки пальцем, а потом, вопреки запрету, щипнул струну «ре». Она пропела нежно, мягко.

- Звучит низковато.
- У тебя абсолютный слух, что ли?
- Что?
- Откуда ты знаешь, что она звучит ниже, чем нужно?
- Потому что *ре* должно звучать чуть выше, самую чуточку.

– Черт, как же я тебе завидую! – Сегодняшний вечер должен был поразить Берната, а вышло наоборот.

- Почему?
- Потому что у тебя абсолютный слух.
- Что ты хочешь сказать?

– Ладно, об этом потом. – И я возвращаюсь к началу: – Тысяча семьсот шестьдесят четвертый, слышал, да?

– Тысяча семьсот шестьдесят четвертый... – Бернат произносит это с безыскусным восторгом, что мне очень нравится. Он снова нежно погладил ее и сказал: я закончил ее, Мария. И она прошептала ему: я так тобой горжусь. Лоренцо провел по ее коже, и инструмент как будто вздрогнул в его руках, а Мария невольно почувствовала укол ревности. Его пальцы восхищались плавными изгибами линий. Он положил скрипку на верстак в мастерской и стал отходить, пока не перестал ощущать тонкий восхитительный запах ели и клена. Теперь, полный гордости, он с расстояния продолжал любоваться своим детищем. Маэстро Зосимо учил, что хорошая скрипка должна не только прекрасно звучать, но и доставлять удовольствие своим видом и изящными пропорциями, в которых заключена ее ценность. Что ж, он чувствовал удовлетворение. Правда, слегка омраченное, ибо пока не представлял, сколько придется заплатить за материал. И все-таки удовлетворение. Это была первая скрипка, которую он от начала до конца сделал сам. И она была очень хороша.

По губам Лоренцо Сториони скользнула улыбка. Он знал, что после нанесения лака звук у скрипки приобретет необходимые оттенки. Лоренцо колебался: стоит ли ее показать сначала маэстро Зосимо или сразу предложить месье Ла Гиту, который, устав от Кремоны и ее обитателей, собирался скоро вернуться в Париж. Своего рода верность учителю

заставила Сториони прийти в мастерскую Зосимо Бергонци с инструментом, еще бледным, подобно покойнику в гробу. Три головы поднялись, отрываясь от работы, когда он вошел. Маэстро тотчас понял, отчего на губах его полуученика играет улыбка, оставил деталь виолончели, которую полировал, и отвел Лоренцо к окну, выходящему на улицу, ибо оно давало наилучший свет. Лоренцо молча достал скрипку из соснового футляра и показал учителю. Первое, что сделал Зосимо Бергонци, – ласкающим движением пальцев прошелся по верхней и нижней деке. Маэстро сразу понял, что все сделано так, как он и предполагал, когда несколько месяцев тому назад тайно передал ученику прекрасное дерево, чтобы тот попробовал самостоятельно воплотить в жизнь все, чему научился.

– Вы в самом деле мне его дарите? – изумленно сказал Лоренцо Сториони.

– Более или менее.

– Но это же дерево из...

– Да. Из той партии, которую привез Иаким из Пардака. Сейчас самое время пустить его в дело.

– Я бы хотел знать его цену.

– Говорю тебе – не бери в голову. Сделаешь первый инструмент, тогда и скажу.

Никто не дарит такой материал. Много лет назад, в год Господень 1705-й – задолго до рождения на свет Сториони, – когда Земля была круглее, а трава зеленее, так и не раскаявшийся Иаким Муред из Пардака прибыл в Кремону с Блондом из Казильяка и привез с собой повозку, полную бесценной древесины. Это событие запомнилось надолго. Иакому перевалило за тридцать, прожитые годы превратили его в крепкого и хмурого человека. Муред оставил Блонда из Казильяка с грузом довольно далеко от города, а сам торопливо пошел в Кремону. Дойдя до дубовой рощи, он решил облегчиться. Иаким устроился в укромном месте и присел, но тут увидел перед собой какие-то тряпки. Это немедленно перенесло его в тот день, когда он вот так же обнаружил куртку мерзавца Булхани Брочи из Моэны, ко всем несчастьям, которые затем обрушились на его голову, и к мыслям о том, что, возможно, судьба ему улыбнулась и все теперь закончится. И слезы потекли по его лицу от нахлынувших переживаний. Облегчившись и приведя себя в порядок, Муред пришел в город и направился прямо в мастерскую Страдивари, где бывал несколько раз до этого. Его провели к маэстро. Иаким сказал ему, что знает о тех проблемах с древесиной, которые возникли после пожара

в Паневеджио пятнадцать лет назад.

– Я беру дерево в других местах.

– Знаю. Из лесов Словении. Но из этого дерева выходят инструменты, дающие глухой звук.

– Другого материала нет.

– Еще как есть! У меня.

Для Страдивари этот визит стал полной неожиданностью. Взяв с собой самого молчаливого сына, Омобон, и своего ученика, звавшегося Бергонци, он тихо покинул город и пришел к месту, где была спрятана повозка. Они, все трое, подвергли древесину самому тщательному осмотру: отпиливали маленькие кусочки, пробовали на зуб, рассматривали, а Иаким, сын Муреды, с удовлетворением наблюдал за ними, пока те внимательно рассматривали образцы. Уже стемнело, когда маэстро Антонио начал серьезный разговор:

– Где ты взял это дерево?

– Очень далеко отсюда. На западе, в очень холодном месте.

– Откуда я знаю, что ты его не украл?

– Вы можете доверять мне. Вся моя жизнь связана с деревом: я знаю, как оно должно петь, как должно пахнуть. И умею выбирать.

– Дерево отличное и правильно спиленное. Где ты этому научился?

– Я сын Муреды из Пардака. Можете спросить моего отца.

– Пардак?

– Здесь вы его называете Предаццо.

– Муред из Предаццо умер.

Из глаз Иакима потекли непрошеные слезы. Как же это больно – отец мертв... и не увидит, как я вернусь домой с мешками, полными золота, которые позволят больше не работать ни ему, ни моим братьям и сестрам: Агно, Йенну, Макс, Гермесу-дурачку, Йозефу, хромоногому Теодору, Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и малышке Беттине, моей любимой незрячей сестренке, что подарила мне медальон с Пресвятой Девой, покровительницей Пардака, врученный ей матерью перед смертью.

– Умер? Мой отец?

– Да, от переживаний после пожара. И от переживаний после смерти сына.

– Какого сына?

– Иакима, самого любимого.

– Но я – Иаким!

– Иаким умер: утонул в озере Форте-Бузо, спасаясь от пожара. –

Маэстро с иронией посмотрел на него. – Если ты сын Муреды, то не можешь об этом не знать.

– Иаким, сын Муреды из Пардака, – это я, – повторил Иаким, сын Муреды из Пардака, а Блонд из Казильяка слушал их разговор со все возрастающим интересом, хотя не все успевал разобрать, потому что они говорили слишком быстро для него.

– Ты меня обманываешь.

– Нет. Смотрите, маэстро!

– Что это?

– Пресвятая Дева, покровительница лесорубов из Пардака. Покровительница семейства Муреды. Медальон, принадлежавший моей матери.

Страдивари взял медальон и внимательно осмотрел. Символическое изображение Божьей Матери и дерево.

– Это ель, маэстро.

– Ель на заднем плане. – Он вернул образок. – Это и есть доказательство?

– Доказательство – та древесина, которую я вам предлагаю, маэстро Антонио. Если она вам не нужна, я предложу ее Гварнери или кому-нибудь еще. Я устал. Я хочу вернуться домой и посмотреть, все ли мои братья и сестры живы. Я хочу увидеть, живы ли Агно, Йенн, Макс, Гермес-дурачок, Йозеф, хромой Теодор, Микура, Ильза, Эрика, Катарина, Матильда, Гретхен и малышка Беттина, подарившая мне медальон.

Антонио Страдивари, не желая, чтобы его опередил Гварнери, был щедр и очень хорошо заплатил за древесину, которая сберегла маэстро силы и время и позволила спокойно стареть в своей мастерской. Теперь он обеспечил себе будущее. Отныне скрипки, сделанные им в следующие двадцать лет, не будут иметь себе равных. Однако он еще этого не знал. Но Омобоно и Франческо – знали, когда после смерти отца рачительно использовали бóльшую часть этого загадочного дерева, прибывшего с запада. Когда и они умерли, то мастерская, в углу коей лежала древесина «с секретом», перешла к Карло Бергонци. А затем этот секретный источник Бергонци передал своим двум сыновьям. Сейчас младший Бергонци, давно ставший маэстро Зосимо, внимательно изучал первый инструмент юного Лоренцо, подставив под свет, льющийся из окна. Он смотрел внутрь скрипки:

– *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit, тысяча семьсот шестьдесят четвертый.*

– Отчего ты написал «Кремонец»?

– Потому что горжусь этим.
– Это – твоя подпись. Ты должен будешь одинаково подписывать все свои скрипки.

– Я всегда буду гордиться тем, что родился в Кремоне, маэстро Зосимо.

Старик, удовлетворенный, отдал инструмент автору, чтобы тот убрал его в футляр.

– Никому не говори, откуда у тебя эта древесина. И купи ее с запасом, чтобы хватило на несколько лет. По достойной цене, если хочешь иметь будущее.

– Да, маэстро.

– И не оплошай с лаком.

– Я знаю, как работать с лаком, маэстро.

– Знаю, что знаешь. И тем не менее – не оплошай.

– Сколько я должен вам за древесину, маэстро?

– Ничего. Сделай мне только одно одолжение.

– Я полностью в вашем распоряжении...

– Держись подальше от моей дочери. Она еще совсем девочка.

– Что?

– Что слышал. Не заставляй меня повторять. – Зосимо ткнул рукой в сторону футляра. – Или верни мне скрипку и древесину, которую не потратил.

– Хорошо, я...

Лоренцо побледнел и сравнялся цветом со своей первой скрипкой. Юноша не осмелился встретиться взглядом с маэстро и вышел. В мастерской Зосимо Бергонци стояла тишина. Лоренцо Сториони провел несколько недель, с головой погрузившись в процесс нанесения лака. После чего начал новую скрипку. Все это время он размышлял над ценой, запрошенной Зосимо. Когда скрипка зазвучала как должно, месье Ла Гит, который все еще торчал в Кремоне, получил возможность любоваться легким каштановым оттенком лака – того, что отличал инструменты Сториони. Потом он передал скрипку молчаливому художавому юноше, тот взял смычок и дотронулся до струн. На глаза Лоренцо Сториони навернулись слезы: от звука скрипки и из-за Марии. Это был самый прекрасный звук, который только мог быть. Мария, я люблю тебя. Столько непредвиденных слез и флоринов прибавилось к начальной цене...

– Тысяча флоринов, месье Ла Гит.

Несколько весьма неловких мгновений Ла Гит смотрел ему в глаза. Затем мигнул и перевел взгляд на художавого молчаливого юношу.

Мальчик опустил веки в знак согласия. Сториони подумал, что мог бы потребовать и больше, но этому еще предстоит научиться.

– Мы не сможем больше встречаться, Мария, любимая.

– Это слишком много, – сказал Ла Гит, скривив лицо.

– Ваша милость знает, что инструмент того стоит. – Лоренцо решительно взял скрипку. – Если не хотите, я подожду других покупателей. Они приедут на следующей неделе.

– Но почему, Лоренцо, любовь моя?

– Мои клиенты желают Страдивари или Гварнери... Вас же никто не знает. Сториони! Connais pas^[97].

– Через десять лет все захотят иметь дóма Сториони. – Он поместил инструмент в футляр.

– Твой отец запретил нам видеться. Поэтому и подарил мне древесину.

– Восемь сотен, – услышал он по-французски.

– Нет! Я люблю тебя! Мы любим друг друга!

– Девятьсот пятьдесят.

– Да, мы любим друг друга. Но если твой отец не хочет, чтобы... я не могу...

– Девятьсот. И только потому, что я тороплюсь.

– Убежим, Лоренцо!

– Договорились. Девять сотен.

– Убежим? Как ты можешь предлагать такое, если в Кремоне у меня мастерская?

Он торопился, это точно. Месье Ла Гиту не терпелось уехать с новоприобретенными инструментами, его почти ничего не держало в Кремоне, кроме ласк смуглой и страстной Карины. Торговец размышлял, что эта скрипка отлично подойдет месье Леклеру.

– Перенесем мастерскую в другой город.

– Вдали от Кремоны? Никогда!

– Ты предатель! Трус! Ты не любишь меня!

– Если в будущем году я вернусь с новыми заказами, то мы пересмотрим цену в мою пользу, – предупредил Ла Гит.

– Конечно я люблю тебя, Мария! Всем сердцем! Но ты не хочешь понять...

– Договорились, месье Ла Гит.

– У тебя есть другая женщина? Предатель!

– Нет, конечно нет! Но ты знаешь своего отца. Он связал меня по рукам и ногам.

– Трус!

Ла Гит заплатил, больше не торгуясь. Он прикинул, что тот же Леклер в Париже заплатит в пять раз больше без раздумий, и почувствовал себя счастливым. Жаль только, что это последняя неделя, когда он спит в сладких объятиях Карины.

Сториони тоже чувствовал себя счастливым, завершив свою работу. Но и грусть одновременно, поскольку еще не свыкся с тем, что после продажи больше не увидит свое детище. А кроме скрипки, он потерял еще и любовь. Сіао, Мария. Трус. Сіао, любимая. У тебя нет оправданий. Сіао: я буду помнить тебя всегда. Ты променял меня на какое-то дерево, Лоренцо: да чтоб ты сдох! Сіао, Мария: ты даже представить не можешь, как мне жаль. Чтоб твои деревяшки сгнили. Или сгорели! Но еще хуже дело обстояло с месье Жаном-Мари Леклером из Парижа (или Леклером Старшим, или дядюшкой Жаном – кто как к нему обращался), потому что он заплатил непомерную цену за скрипку, за ее бархатистое нежное *ре*, которое случайно извлек из нее Бернат и которое едва успел услышать.

Потом много раз в жизни мне придется стойко выдерживать чужие капризы, но в тот момент я решил, что должен извлечь выгоду из превосходства Берната в музыке и обратить его в свою пользу. Однако для этого мне необходим эффектный ход. Наблюдая за тем, как мой новый друг подушечками пальцев гладит деку Сториони, я сказал: если научишь меня, как исполнять вибрато, сможешь взять ее на день домой.

– Да иди ты!

Бернат улыбнулся, но спустя пару секунд посерьезнел и вздохнул с сожалением:

– Это невозможно: вибрато не учат, его просто чувствуют.

– Учат.

– Чувствуют.

– Тогда не получишь Сториони.

– Хорошо, я научу тебя, как вибрировать на струне.

– Сейчас.

– Договорились, сейчас. Но потом ты мне дашь скрипку.

– Сегодня нельзя. Нужно все подготовить. Потом.

Молчание. Он просчитывает все в голове, не глядя мне в глаза, и думает о волшебном звуке Сториони, боясь прогадать.

– «Потом» – пустое обещание. Когда именно?

– На следующей неделе. Клянусь!

В моей комнате, перед пюпитром с раскрытым на проклятом упражнении XXXIX Шевчиком^[98] (том, что являет собой, по словам

Трульолс, гениальную квинтэссенцию всего и через которое я должен познать жизнь), мы стояли не меньше получаса. Бернат превращал простые звуки в глубокие при помощи нежной и легкой вибрации пальцев, а Адриа смотрел на него, наблюдая, как Бернат закрывает глаза, концентрируясь на звуке, и думал: чтобы вибрировать, надо закрывать глаза... попробую так, закрыв глаза... но звук все равно получался грубым и резким, как кряканье утки. И он вновь закрывал глаза, крепко зажмурировал веки... Однако звук ускользал.

– Знаешь что? Ты слишком нервничаешь.

– Это ты нервничаешь.

– Я? Почему ты так считаешь?

– Конечно. Потому что, если ты не сможешь меня научить, не видать тебе Сториони. Ни на следующей неделе, никогда.

Это называется моральный шантаж. Но Бернату не остается ничего другого, кроме как забыть о том, что вибрато чувствуют, а не разучивают. Он смотрит на положение руки, на последовательность движений:

– Слушай, ты же не соус струнами взбиваешь! Расслабься уже!

Адриа понятия не имел, что значит расслабляться. Но он расслабился: закрыл глаза и нащупал вибрато в финале долгой до на второй струне. Ардевол запомнил этот момент на всю жизнь, потому что ему показалось, что он начал понимать, что значит заставить звук смеяться или плакать. Мне хотелось кричать от радости, но было стыдно так явно проявлять свои чувства при Бернате. Да и дома такое не поощрялось.

Несмотря на это Богоявление, которое я помню до сих пор, несмотря на чувство бесконечной радости от общения с моим другом, я не стал рассказывать ему ни о вожде арапахо, ни о Карсоне, жующем табак, поскольку не был уверен, что он не посчитает меня инфантильным дурачком, который в десять или двенадцать лет, когда борода вот-вот начнет расти, растрчивает свои интеллектуальные способности на игру с вождем индейцев и шерифом. Я был потрясен тем звуком, что смог извлечь из своей простенькой скрипки. Я поставил палец в первую позицию на второй струне: зазвучала нота до, и Адриа заставил ее вибрировать вторым пальцем. Было семь вечера не знаю какого числа осени или зимы тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в Барселоне, в нашей квартире на улице Валенсия, в самом сердце квартала Эшампле, в центре мира. Я думал, что прикоснулся к небесам, и не подозревал, что ад совсем рядом.

В то воскресенье, запомнившееся мне потому, что отец был в хорошем настроении, родители принимали у себя профессора Прунеса – согласно мнению отца, лучшего в мире палеографа среди ныне живущих, с супругой (лучшей в мире супругой лучшего в мире палеографа среди ныне живущих). Отец подмигнул мне, но я ничего не понял, хотя и знал, что он намекает на некий важный подтекст. Я не мог расшифровать этот намек как раз потому, что контекстом не владел. Кажется, я тебе уже говорил, что был занудой. Они беседовали за кофе: о том, что такой прозрачный фарфор делает кофе особенно вкусным, о манускриптах... Временами в беседе наступали неловкие паузы. В какой-то момент отец решил покончить с этим. Громким голосом, чтобы я услышал из своей комнаты, он отдал приказ:

– Сын, иди сюда! Слышишь меня?

Еще бы Адриа не слышал! Но он боялся, что разразится катастрофа.

– Сыыын!

– Да? – словно издалека откликаюсь я.

– Иди сюда!

Выхода нет, нужно идти. У отца блестят глаза от коньяка, чета Прунес смотрит на меня с симпатией. Мама разливает кофе и делает вид, что ее тут вовсе нет.

– Да? Добрый день!

Гости откликнулись «добрый день» и перевели заинтригованные взгляды на сеньора Ардевола. Отец наставил на меня палец и скомандовал:

– Посчитай по-немецки.

– Отец...

– Делай, что я тебе говорю! – Глаза отца горели от коньяка.

Мама разливала кофе, пристально глядя в чашки тонкого фарфора, которые делают кофе еще вкуснее.

– Eins, zwei, drei.

– Не бормочи, говори внятно, – остановил меня отец. – Начни заново!

– Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. – Я запнулся.

– Дальше? – рывкает отец.

– Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn.

– И так далее и так далее и так далее. – Отец говорит, как падре д'Анжело. Потом сухо приказывает: – Теперь по-английски.

– Уже достаточно, Феликс, – подает наконец голос мама.

– Он говорит по-английски. – И маме резко: – Не так ли?

Я подождал пару секунд, но мама промолчала.

– One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

– Очень хорошо, мальчик! – сказал с энтузиазмом лучший в мире палеограф из ныне живущих. А его супруга молча аплодировала, пока отец не оборвал их: подождите, подождите – и повернулся ко мне:

– Теперь на латыни.

– Но... – восхищенно запротестовал лучший в мире палеограф из ныне живущих.

Я посмотрел на отца, потом на маму, которая чувствовала себя так же неловко, как и я, но не отрывалась от кофе. Я начал:

– Unus una unum, duo duae duo, tres tria, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. – И умоляюще: – Папа...

– Закрой рот! – сухо оборвал отец. И посмотрел на профессора Прунеса, который бормотал: черт возьми, просто восхитительно!

– Какая прелесть! – сказала супруга доктора Прунеса.

– Феликс... – открыла рот мама.

– Помолчи! – бросил отец. И, обращаясь к гостям: – Это еще не все!

Он тычет в мою сторону пальцем:

– Теперь на греческом.

– Heis mia hen, duo, treis tria, tettares tessares, pente, hex, hepta, octo, ennea, deka.

– Восхитительно! – Теперь чета Прунес аплодирует, словно сидят в театре.

– Хау!

– Не сейчас, Черный Орел.

Отец указал на меня, сделал жест сверху вниз, словно ловил морского окуня, и с гордостью произнес:

– Двенадцать лет. – И мне, не глядя в мою сторону: – Теперь можешь идти.

Я закрылся в комнате, уязвленный тем, что мама даже пальцем не пошевелила, чтобы спасти меня из дурацкого положения. Я с головой погрузился в Карла Мая, дабы забыть о своих горестях. Ранний вечер воскресенья медленно перетек в поздний, а затем и в ночь. Ни Черный Орел, ни достойный Карсон не осмелились отвлечь меня от моего горя.

В один прекрасный день я узнал настоящее лицо Сесилии. Я долго старался рассмотреть его. Зазвонил колокольчик на двери в магазине. Адриа, сказав маме, что идет на тренировку школьной команды по гандболу, а сеньору Беренгеру – что делает уроки, сидел в углу и тайком

рассматривал пергаментные страницы латинского манускрипта тринадцатого века. Он практически ничего не понимал, однако манускрипт вызывал в нем сильные эмоции. Колокольчик. Адриа решил, что это неожиданно вернулся отец из Германии и сейчас устроит ему выволочку. Тем более что он всем наврал. Я посмотрел в сторону двери: сеньор Беренгер, надевая пальто, что-то торопливо говорит Сесилии – это пришла она. После чего, держа шляпу в руке, выскакивает вон с недовольным лицом, даже не попрощавшись. Сесилия осталась стоять у двери, напряженно о чем-то думая. Я не знал, поздороваться с ней или подождать, пока она сама меня не заметит. Лучше, наверное, поздороваться... или промолчать? Но тогда она удивится, когда увидит меня... а что делать с манускриптом... лучше сказать... нет, спрятать и потом... или подождать, пока увидит... Пора мысленно переходить на французский.

Я решил не обнаруживать себя. Сесилия тяжело вздохнула и прошла в кабинет, на ходу снимая пальто. Не знаю почему, но в тот день атмосфера была давящей. Сесилия не выходила в магазин. Вдруг я услышал, что кто-то плачет. Сесилия плачет в кабинете. Мне захотелось сквозь землю провалиться, потому что совершенно невозможно, чтобы она поняла, что я слышал, как она плачет. Взрослые люди плачут время от времени. А если пойти утешить ее? Мне было ужасно жаль Сесилию, потому что она всегда так хорошо держалась, и даже мама, которая с презрением смотрела на всех женщин около отца, отзывалась о ней хорошо. Кроме того, когда взрослый плачет, а ты ребенок – это производит большое впечатление. Поэтому Адриа хотелось исчезнуть. Женщина начала ожесточенно крутить диск телефонного аппарата. Я представлял ее – расстроенную, рассерженную, не понимая, что на самом деле в опасности был я: Сесилия в любой момент могла закрыть магазин и уйти, а я бы остался, запертый в четырех стенах.

– Ты – трус! Нет, дай мне сказать! Ты – трус! Пять лет ты поешь мне песню – ах, Сесилия, в следующем месяце я все ей объясню, я тебе обещаю. Трусы! Пять лет кормишь меня пустыми обещаниями. Пять лет! Я уже не девочка, слышишь!

С последним я был полностью согласен. Про остальное не понял ничего. И, как назло, Черный Орел остался дома и мирно дремал на ночном столике.

– Нет, нет и нет! Сейчас говорю я! Мы никогда не будем жить вместе, потому что ты меня не любишь. Нет, помолчи! Сейчас я говорю. Я сказала тебе – помолчи! Можешь засунуть себе в задницу все свои красивые слова. Все кончено. Слышишь? Что?

Адриа за своим столом с книгами гадал: что кончено? Он вообще не мог понять, отчего взрослые вечно так озабочены этим «ты меня не любишь», если любовь – это жуткая гадость с поцелуями и всем таким.

– Нет. Не надо мне ничего говорить. Что? Потому что я повешу трубку, когда мне приспичит. Нет, дорогой, когда мне на то будет охота.

Первый раз я слышал такие слова – «приспичит», «охота». Было забавно слышать такое из уст самого хорошо воспитанного человека из моего окружения.

Сесилия бросила трубку на рычаг с такой силой, словно хотела разбить телефон. И принялась наклеивать этикетки на новые предметы, а потом делать записи в приходно-расходной книге: сосредоточенная и спокойная, словно тут не бушевала буря несколько минут назад. Мне не составило труда выскользнуть наружу через боковую дверь, а потом снова войти, уже с улицы, и сказать «привет!». И убедиться, что на лице Сесилии, всегда тщательно ухоженном, не осталось ни следа от слез.

– Как дела, красавчик? – улыбнулась она.

А я замер, потому что передо мной вдруг оказался другой человек.

– Что ты попросил у волхвов? – поинтересовалась она.

Я пожал плечами, потому что дома у нас никогда не праздновали День волхвов^[99], ведь подарки детям дарят родители, и нечего потворствовать глупым предрассудкам. Как только я узнал про волхвов, я узнал и то, что ожидание даров в моем случае сводится к ожиданию, какое решение примет отец: что на этот раз должно стать моим подарком (или подарками). Выбор подарка никак не зависел ни от моих успехов в учебе, ни от моего поведения (они должны быть образцовыми, это не обсуждалось). Но мне дарили что-нибудь подчеркнуто «детское», ярко контрастировавшее с общей серьезной атмосферой нашего дома.

– Я попросил... – Я вспомнил, как отец говорил, что подарит мне машину с сиреной, но горе мне, если я буду играть с ней в доме и шуметь.

– Ну-ка, поцелуй меня! – сказала Сесилия, притягивая меня к себе и приобнимая.

Через неделю отец вернулся из Бремена с микенской вазой, которая потом много лет стояла в магазине, и, как я понял, с целой кучей бумажных находок. Там было несколько настоящих жемчужин – первые издания, авторские рукописи – и манускрипт четырнадцатого века, который, по словам отца, станет украшением его коллекции. И дома, и в магазине ему сообщили, что за время его отсутствия было несколько странных телефонных звонков. Звонившие просили сеньора Ардевола. А ему будто

было наплевать на то, что должно было произойти через несколько дней, он сказал мне: смотри, смотри, какая прелесть – и показал какие-то тетрадки. Это были наброски, сделанные Прустом незадолго до смерти. Мелкая вязь скорописи, заметки на полях, отдельные предложения, стрелки, бумажки, скрепленные скрепками... Ну-ка, прочти вот это.

– Я не понимаю.

– Да боже мой, ну же! Это финал. Последние страницы, последняя фраза. И не говори мне, что не знаешь, как заканчивается «В поисках утраченного времени».

Я ничего не ответил. Отец, поняв, что переборщил, решил скрыть неловкость хорошо знакомым мне приемом:

– Только не говори, что ты все еще не понимаешь французский текст!

– Oui, bien sûr^[100], но мне не разобрать почерк!

Отец, видимо, не нашел что сказать. Он молча захлопнул тетрадку и спрятал ее в сейф, бормоча себе под нос: нужно наконец принять решение – слишком много ценных вещей теперь в этом доме. А мне слышалось, что слишком много мертвых людей в этом доме.

10

– Папа... Видишь ли, сын... Папа...

– Что? Что с ним случилось?

– Он теперь на небесах.

– Нет никаких небес!

– Папа умер.

Меня больше поразила мертвенная бледность маминого лица, чем ее слова. Казалось, это она умерла. Она была бледна, как скрипка юного Лоренцо Сториони до того, как ее покрыли лаком. И – глаза. Полные тоски. Я никогда не слышал, чтобы мама говорила таким голосом. Избегая глядеть на меня, она не отрывала взгляда от пятна на стене возле кровати и шептала: я не поцеловала его, когда он уходил из дому. Может быть, этот поцелуй спас бы его. А потом еле слышно добавила: если он того заслуживал. Но это мне, наверное, только показалось.

Все это было невозможно понять, поэтому я закрылся в неубранной комнате со своей машиной «скорой помощи» – подарком волхвов. Сел на кровать и тихо заплакал. У нас всегда дома было тихо, потому что если отец не изучал манускрипты, то он либо читал, либо... умирал.

Я не выяснял подробности у мамы. И не видел мертвого отца.

Мне сказали, что произошел несчастный случай: его сбил грузовик на улице Аррабассада, которая находится далеко от Атенеу^[101], и что, в общем, тебе никак нельзя его увидеть. Меня захлестнула паника: нужно срочно найти Берната, прежде чем мир рухнет и меня посадят в тюрьму.

– Малыш, зачем он взял твою скрипку?

– А? Что?

– Зачем папа взял твою скрипку? – повторила Лола Маленькая.

Сейчас все откроется и я умру от страха. Но пока мне еще хватило сил собраться духом и соврать:

– Он просто забрал ее. Не знаю зачем, он не сказал. – И прибавил в отчаянии: – Он в последнее время был очень странным, папа.

Когда я вру, что случается частенько, я уверен, что всем это очень заметно. Кровь бросается мне в лицо, у меня чувство, что я становлюсь красным как рак, я судорожно ищу незамеченные несообразности, которые могут обрушить здание возведенной мною лжи, думаю, что меня сейчас разоблачат, – и каждый раз удивительным образом мне все сходит с рук. То есть мама просто ничего не замечает, а вот Лола Маленькая, я уверен, все замечает, но притворяется, что нет. Загадочная вещь – ложь. Сейчас, став взрослым человеком, я все еще краснею, если вру, и слышу голос сеньоры Анжелеты, которая однажды, когда я уверял, что не брал шоколадку, просто взяла меня за руку, раскрыла мне пальцы и продемонстрировала маме и Лоле Маленькой позорные шоколадные пятна на ладони. Потом согнула мои пальцы, закрыв ладонь, словно книгу, и сказала: все тайное становится явным, помни об этом, Адриа. Я помню, сеньора Анжелета. До сих пор, хотя мне уже стукнуло шестьдесят. Мои воспоминания высечены в мраморе, сеньора Анжелета, и мрамором станут. Но сейчас дело не в украденной плитке шоколада. Я делаю грустное лицо, что совсем не трудно, потому что чувствую себя страшно виноватым и очень боюсь. Я начинаю плакать, потому что отец умер и...

Лола Маленькая вышла из комнаты, и мне слышно, как она с кем-то разговаривает. С кем-то незнакомым, от кого крепко пахнет табаком. Он говорит не по-каталански, а по-испански. Он не разделся в прихожей, шляпу держит в руках. Он вошел в мою комнату и спросил, как меня зовут.

– Адриа.

– Почему папа забрал у тебя скрипку? – Эта настойчивость утомляет.

– Не знаю, клянусь!

Человек показывает обломки моей скрипки для занятий:

– Узнаешь?

– Пф... Это моя скрипка. Была моя скрипка.

- Он попросил ее у тебя?
- Да, – вру я.
- И ничего не объяснил?
- Да.
- Он играл на скрипке?
- Кто?
- Твой отец.
- Нет, что вы!

Я прячу ехидную улыбку: отец, играющий на скрипке! Человек в пальто, со шляпой в руке, воняющий табаком, смотрит на маму и Лолу Маленькую. Те молча слушают наш разговор. Тычет шляпой в сторону «скорой помощи», которую я держу в руках: очень красивая машинка. И выходит из комнаты. Я остался наедине со своей ложью и ничего не понимал. Изнутри «скорой» на меня с жалостью смотрит Черный Орел: он презирает тех, кто лжет.

Похороны были мрачными, множество серьезных мужчин со шляпами в руках и женщин, чьи лица прикрывали черные вуалетки. Приехали двоюродные братья из Тоны и какие-то очень дальние родственники из Боск-д'Ампоста. Первый раз в жизни я оказался в центре внимания, одетый в черное, причесанный на косой пробор, с зализанными волосами; Лола Маленькая намазала мне на голову двойную дозу фиксатора и сказала, что я просто красавчик. И поцеловала в лоб, чего никогда не делала мама. Говорили, что отец лежит в закрытом гробу, но проверить это я не мог. Лола Маленькая сказала, что тело очень изувечено и лучше его не видеть. Бедный отец, целые дни проводить за изучением книги и всяких редкостей, а потом раз – и ты уже умер, а тело твое изувечено. Что за идиотская штука – жизнь! А что, если эти раны, про которые говорит Лола Маленькая, – от кинжала кайкен из магазина? Хотя нет: сказали же, что его сбила машина.

Какое-то время мы жили с опущенными шторами, а вокруг меня все шептались. Лола не оставляла меня одного, а мама проводила часы, сидя в кресле, в котором обычно пила кофе, перед пустым креслом отца. Но она не пила кофе, потому что было не время. Все это так сложно. Я не знал – может, сесть в пустое кресло? Но мама меня не видела, а когда я ее окликал, брала меня за руку и при этом молча смотрела на рисунок обоев. А я думал – ну и ладно, и не садился в отцовское кресло, полагая, что это все от тоски. Мне тоже было грустно, но я, наоборот, смотрел по сторонам. Это были очень печальные дни, я перестал существовать для мамы. Потом пришлось к этому привыкнуть. Кажется, с того дня мама вообще меня

больше не замечала. Должно быть, она чувствовала, что во всем виноват я, и потому не желала больше знать обо мне. Иногда она смотрела на меня, но лишь для того, чтобы дать мне какие-нибудь указания. Забота обо мне целиком перешла в руки Лолы Маленькой. До какого-то момента.

Однажды мама без предупреждения принесла домой новую скрипку – изящную, красивую и с отличным звучанием. И отдала молча и не глядя на меня. Словно находясь в какой-то прострации. Словно думала о прошлом или о будущем, но только не о том, что делала сейчас. Я изо всех сил старался понять ее. И возобновил занятия скрипкой, которые уже много дней как забросил.

Как-то, занимаясь у себя в комнате, я настраивал скрипку и натянул струну так сильно, что она лопнула. Потом лопнули еще две. Я вышел в гостиную и сказал: мама, мне нужно сходить в «Бетховен». У меня кончились запасные струны. Она посмотрела на меня. Да, она посмотрела в мою сторону, хотя ничего не сказала. Я повторил: мне нужно купить новые струны, и тогда из-за портьеры вышла Лола Маленькая и сказала: пойдем вместе, покажешь, какие тебе нужны: мне кажется, они все одинаковые.

Мы спустились в метро. Лола Маленькая рассказала, что родилась в Барселонете^[102] и что ее подруги часто звали погулять в город. Они собирались и уже через десять минут были в нижней части Рамблы^[103]. И шатались по бульвару вверх-вниз как дурочки, хихикая в ладошку, чтобы мальчики не видели. По словам Лолы Маленькой, это было даже интереснее, чем ходить в кино. А еще она сказала, что в жизни не подумала бы, что в таком тесном и темном магазинчике могут продаваться струны для скрипки. Я попросил одну «соль», две «ми» и одну – фирмы «Пирастро»^[104]. Лола Маленькая заметила: а это, оказывается, просто, можно было написать мне на бумажке и я бы сама купила. Нет-нет, возразил я, мама всегда брала меня с собой на всякий случай. Лола Маленькая расплатилась, мы вышли из «Бетховена». Она наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку, и посмотрела на Рамблу с сожалением, но рот ладонью не прикрыла и не захихикала как дурочка. В тот момент мне пришло в голову, что я, кажется, остаюсь и без мамы тоже.

Спустя пару недель после похорон в дом снова пришли какие-то господа, говорившие по-испански, и мама снова побледнела как мел, и вновь они с Лолой Маленькой стали перешептываться, а я почувствовал себя посторонним. И тогда я набрался смелости и спросил: мама,

что случилось? Впервые за много дней она посмотрела на меня по-настоящему. И сказала: это очень серьезно, сын, очень серьезно. Лучше не... Но тут подошла Лола Маленькая и повела меня в школу. Я заметил, что один мальчик странно на меня смотрит, не так, как обычно. А Риера подошел ко мне на перемене во дворе и спросил: а ее тоже похоронили? А я: кого? Он: ну, ее тоже похоронили, да? Я: похоронили кого? Риера только самодовольно усмехнулся: страшно небось видеть одну только голову? И настойчиво повторил: ее тоже похоронили, да? Я ничего не понял и на всякий случай отошел в залитый солнцем угол, где шел обмен вкладышами. С тех пор я стал избегать Риеры.

Мне всегда стоило труда быть как все. Потому что я таким не был. Моя проблема – серьезная и, по мнению Пужола, неразрешимая – состояла в том, что мне нравилось учиться. Мне нравилось учить историю, латынь, французский, ходить в консерваторию; нравилось, когда Трульолс заставляла меня отрабатывать технику игры, и я разучивал гаммы, воображая, будто выступаю перед переполненным партером. Тогда эти упражнения выходили у меня чуть лучше. Ведь весь секрет – в звуке. Руки после многочасовых упражнений двигаются сами. И временами импровизируют. Мне очень нравилось брать энциклопедию издательства «Эспаза»^[105] и путешествовать по ее страницам. И потому в школе, когда сеньор Бадиа задавал какой-нибудь вопрос, Пужол показывал на меня и говорил, что на все вопросы уполномочен отвечать я. А мне становится стыдно отвечать, я чувствую себя дрессированной обезьяной. А они – словно мой отец. Эстебан же – настоящий ублюдок, который сидит за мной, – обзывает меня девчонкой каждый раз, когда я даю правильный ответ. Однажды я сказал сеньору Бадиа, что нет, я не помню квадратный корень из ста сорока четырех, и выбежал из класса, потому что меня затошнило. Пока меня выворачивало в туалете, туда зашел Эстебан и сказал: гляди-ка, ты у нас настоящая девчонка! Но когда отец умер, он начал смотреть на меня как-то иначе, словно я вырос в его глазах. Несмотря на то что учиться мне нравилось, думаю, я завидовал ребятам, которые плевали на учебу и периодически получали плохие оценки. В консерватории все было иначе. Там ты остаешься со скрипкой в руках и стараешься извлечь из нее чистый звук. Нет, нет, это похоже на простуженную утку, послушай вот это. Трульолс берет мою скрипку и извлекает звук такой красоты, что даже притом что она довольно старая и ужасно худая, я готов в нее влюбиться. Этот звук кажется бархатным, от него веет тонким ароматом какого-то цветка – я помню его до сих пор.

– Я никогда не научусь извлекать такие звуки! Хотя у меня

и получается вибрато.

– Умение приходит со временем.

– Да, но я никогда...

– Никогда не говори никогда, Ардевол.

Хотя этот музыкальный и интеллектуальный совет был и коряво сформулирован, но именно он вдохновил меня больше всех других, полученных за мою долгую жизнь и в Барселоне, и в Германии. К концу месяца качество звука у меня ощутимо улучшилось. Этот звук еще не имел аромата, но уже приобрел бархатистость. Хотя сейчас, когда я думаю о тех днях, то вспоминаю, что не вернулся сразу ни в школу, ни в консерваторию. Какое-то время я провел в Тоне, у двоюродных братьев. А вернувшись, попытался понять, как все произошло.

Седьмого января доктор Феликс Ардевол вышел из дому, потому что у него была назначена встреча с португальским коллегой, бывшим проездом в городе.

– Где?

Сеньор Ардевол сказал Адриа, что, когда вернется, хочет видеть его комнату прибранной, потому что завтра каникулы заканчиваются. Потом перевел взгляд на жену.

– Что ты сказала? – уже надевая шляпу, спросил он резко.

Она сглотнула слюну, словно провинившаяся ученица. Но все-таки повторила:

– Где ты встречаешься с Пинейру?

Лола Маленькая, войдя в столовую, почувствовала напряжение в воздухе, и вернулась на кухню. Феликс Ардевол подождал пару секунд, давая маме время опомниться. Адриа переводил взгляд с мамы на отца.

– Зачем тебе это знать?

– Хорошо. Можешь ничего не говорить.

И мама пошла вглубь квартиры, не поцеловав его на прощание, как собиралась. Прежде чем скрыться во владениях сеньоры Анжелеты, она услышала: мы договорились встретиться в Атенеу, – и с напором: – если не возражаешь. И, словно желая наказать ее за необычное любопытство, бросил перед уходом:

– Не знаю, во сколько вернусь.

Он зашел в кабинет и сразу же вышел. Мы услышали, как он открывает входную дверь и как захлопнул ее за собой – может, чуть сильнее, чем обычно. Потом – тишина. Адриа трясло: отец унес, Господи Боже мой, отец унес скрипку. Футляр от Сториони с учебной скрипкой

внутри. Как автомат, на ватных ногах, он проник в кабинет, дождавшись удобного момента. Как тать, как день Господень, войду я в дом твой^[106]. Я молился Богу, которого не существует, чтобы мама не зашла в этот момент в комнату, и, бормоча «шесть, один, пять, четыре, два, восемь», открыл дверцу сейфа. Скрипки там не было. Мне захотелось немедленно умереть. Я закрылся в своей комнате и начал ждать возвращения отца, когда он ворвется, разъяренный, с криком: кто решил сделать из меня дурака? Кто знал шифр от сейфа? А? Лола Маленькая?

– Но ведь я...

– Карме?

– Ради всего святого, Феликс!

А потом посмотрит на меня и скажет: Адриа? И мне, как всегда, придется врать, но отец обо всем догадается. И хотя я и буду в двух шагах от него, начнет кричать так, словно стоит в конце улицы Брук. Кричать: иди сюда. И поскольку я не шевельнусь, закричит еще громче: я сказал – иди сюда! И бедный Адриа, опустив голову и стараясь выглядеть невиновным, пойдет, чтобы узнать плохие новости, очень плохие... Но вместо этого зазвонил телефон и мама, войдя в комнату, сказала: знаешь... сын... Папа... И он: что? что с ним? Она: в общем, он ушел на небеса. А ему взбрело в голову сказать, что небес не существует.

– Папа умер.

Сперва я почувствовал облегчение, потому что раз отец мертв, то не устроит мне головомойку. Потом понял, что грех так думать. И еще: что хотя Неба и не существует, но я чувствую себя презренным грешником, потому что ни секунды не сомневался – отец умер по моей вине.

Сеньоре Карме Боск д'Ардевол пришлось пройти через процедуру официального опознания, мучительную и тоскливую, обезглавленного тела, принадлежавшего Феликсу: родимое пятно на... да, вот это. Да, и еще две родинки. Это холодное тело – он. Он уже не сможет никого бранить, и все-таки это он, никакого сомнения, да, это мой муж, сеньор Феликс Ардевол-и-Гитерес, да.

– Как его зовут?

– Пинейру. Из Коимбры. Профессор из Коимбры, да. Орасиу Пинейру.

– Вы с ним знакомы, сеньора?

– Видела его пару раз. Когда он приезжал в Барселону, то останавливался в отеле «Колумб».

Комиссар Пласенсия сделал знак человеку с усиками, и тот молча вышел. Он смотрел на эту внезапно овдовевшую женщину, еще не одетую

в траур, потому что всего полчаса назад к ней пришли и сказали: вам необходимо пройти с нами. Она спросила: но что случилось? А эти двое: сожалею, сеньора, мы не уполномочены ничего сообщать вам. Она элегантно движением надела красное пальто и сказала Лоле Маленькой: ты накорми мальчика полдником, я скоро вернусь. А теперь она сидела в своем красном пальто и смотрела невидящим взглядом на трещинки в столе комиссара и думала: это невозможно. И высоким умоляющим голосом сказала: вы можете мне объяснить, что произошло?

– Ни следа, комиссар, – сказал человек с тонкими усиками.

Ни в Атенеу, ни в отеле «Колумб», ни где-либо еще в Барселоне не нашлось ни следа профессора Пинейру. А когда они позвонили в Коимбру, то услышали испуганный голос Орасиу да Кошта Пинейру, который только и мог выговорить: к-к-к-как может быть, что-что-что... ведь доктор Ардевол, ведь он... О, какой ужас! Да, сеньор, да, если... вы уверены, что тут нет никакой ошибки? Обезглавлен? А как вы узнали, что... То есть вы хотите сказать, что... Это совершенно невозможно!

– Папа... папа ушел на небеса.

Я понимал, что отец умер по моей вине. Поэтому не мог ничего никому рассказать. И пока Лола Маленькая, мама и сеньора Анжелета искали подходящую одежду для похорон, периодически разражаясь слезами, я чувствовал себя презренным, трусливым убийцей. И много еще чего, о чем сейчас уже не помню.

На следующий день после похорон мама, нервно потирая руки, внезапно очнулась и сказала: Лола Маленькая, дай мне визитку комиссара Пласенсии. Адриа слышал, как она говорила по телефону: у нас дома есть очень ценная скрипка. Комиссар пришел к нам, а мама позвала сеньора Беренгера, чтобы тот помог ей.

– Никто не знает кодовый шифр сейфа?

Комиссар обернулся и обвел взглядом сеньора Беренгера, Лолу Маленькую и меня, стоявшего в коридоре у двери.

Сеньор Беренгер начал спрашивать наши даты рождения и по очереди попробовал их набрать.

– Ничего, – сказал он нервно.

А я, стоя в коридоре, чуть было не сказал «шесть один пять четыре два восемь». Но делать это было нельзя – ведь я тут же превратился бы в главного подозреваемого. А я не был подозреваемым. Я просто был виноват. И молчал. Мне очень трудно было промолчать. Комиссар прямо

из кабинета куда-то позвонил, и через некоторое время мы уже наблюдали за тем, как толстый человек, который обильно потел, потому что стоял на коленях и очень устал, это было видно, в полной тишине прослушивал сейф стетоскопом, нежно прикоснулся к нему, подбирая комбинацию и записывая ее на бумажке. Затем он с удовлетворенным видом распахнул сейф и не без труда поднялся, чтобы пропустить остальных. Внутри сейфа лежала Сториони, обнаженная, без футляра, и иронично смотрела на меня. Теперь настала очередь сеньора Беренгера. Помощник отца взял ее руками в перчатках, внимательно изучил под светом настольной лампы, потом поднял голову и правую бровь. И торжественно обратился к маме, к комиссару, к толстяку, утиравшему пот со лба, к шерифу Карсону, к Черному Орлу, вождю арапахо, и ко мне, стоявшему в дверях:

– Могу вас заверить, что это скрипка, известная под именем Виал, созданная Лоренцо Сториони. Без всякого сомнения.

– Без футляра? Она всегда хранилась без футляра? – спросил комиссар, дохнув табаком.

– Мне кажется, нет, – ответила мама. – Мне кажется, она хранилась в сейфе в футляре.

– Какой смысл взять футляр, открыть, оставить скрипку в сейфе, закрыть его, попросить учебную скрипку у сына и убрать ее в пустой футляр? А? – И комиссар обвел взглядом всех присутствующих.

Он задержал взгляд на мне: я стоял возле двери и старался скрыть, что меня трясет от страха. *Le tremblement de la panique*^[107]. Несколько секунд он смотрел на меня, и в этом взгляде мне почудилось: он догадывается. Я подумал, что буду обречен говорить по-французски всю свою ссучью жизнь. Не знаю, что произошло. Не знаю, чего хотел папа. Не знаю, почему он собирался идти в Атенеу, а оказался на улице Аррабассада. Знаю только, что это я подтолкнул его к гибели, и сегодня, пятьдесят лет спустя, продолжаю так думать.

В конце концов настал день, когда мама вынырнула из колодца тоски и начала смотреть на мир. Я заметил это, когда во время ужина – за столом сидели мама, Лола Маленькая и я – она пристально посмотрела на меня, как будто хотела что-то сказать. Я задрожал, потому что был уверен, что мама сейчас скажет: я все знаю, знаю, что отец умер по твоей вине, и теперь расскажу полиции, убийца! А я: но, мама, если я и виноват, то я

не хотел, я не... Лола Маленькая успокаивающе посмотрела на меня, потому что такая у нее была миссия в доме – успокаивать, и делала она это скупыми словами и жестами, Лола Маленькая, ты должна быть рядом со мной всю мою жизнь.

А мама продолжала смотреть на меня, и я не знал, что делать. Мне кажется, что после смерти отца мама возненавидела меня. Да и до его смерти мы не были особенно близки. Любопытно: отчего мы дома были так холодны друг к другу? Я думаю, все, что происходит сейчас, уходит корнями в то, как отец устроил нашу жизнь. Тот ужин, когда мама молча смотрела на меня, был, вероятно, в апреле или мае. Не знаю, что хуже: мама, которая тебя не замечает, или мама, которая тебя обвиняет. Наконец она обрушила на меня свое ужасное обвинение:

– Как твои занятия скрипкой?

А я не знал, что ответить. Помню, меня от этого вопроса прошиб пот.

– Хорошо. Как всегда.

– Это меня радует. – Она не сводила с меня взгляда. – Ты доволен сеньоретой Трульолс?

– Да. Очень.

– А новой скрипкой?

– Ну.

– Что значит «ну»? Ты доволен или нет?

– Н-да.

– Н-да или да?

– Да.

Молчание. Я опускаю глаза. Лола Маленькая пользуется возникшей паузой, чтобы унести пустое блюдо из-под вареных бобов, и всем своим видом дает понять, что у нее очень много дел на кухне. Малодушная!

– Адриа.

Я смотрю на нее ничего не выражающим взглядом. Она смотрит на меня – как раньше. И спрашивает: как ты?

– Ну...

– Ты печален.

– Ну...

А теперь добить мальчишку, пальцем указав на его темную душу:

– Я мало уделяла тебе внимания в последнее время.

– Ничего.

– Нет, не ничего.

Лола Маленькая вернулась с блюдом жареной скумбрии. Эту еду я ненавидел больше всего. Мама, посмотрев на тарелку, скупно улыбнулась

и сказала: прекрасно – скумбрия.

На этом разговор и мои мучения закончились. Тем вечером я съел всю скумбрию, которую положили мне на тарелку, а потом выпил стакан молока. Когда пришло время ложиться спать, я увидел, что мама наводит порядок в кабинете. По-моему, впервые после смерти отца. Для меня это не было пустым любопытством – я использовал любой предлог, чтобы заглянуть туда. На всякий случай я взял с собой Карсона. Мама сидела перед открытым сейфом – теперь мы знали шифр. Вилал лежала снаружи. Мама вынимала бумаги, быстро просматривала их и складывала аккуратной стопкой на полу.

– Что ты ищешь?

– Документы. На магазин. На Тону.

– Я помогу тебе, если хочешь.

– Не надо, я и сама не знаю, что ищу.

Я был очень доволен: нас с мамой связала беседа, пусть короткая, но все же. У меня даже мелькнула мысль, что хорошо, что отец умер, – теперь мы с мамой можем разговаривать. Я не хотел так думать, оно как-то само подумалось. Одно могу сказать совершенно точно: с этого дня у мамы заблестели глаза.

Потом она вынула три или четыре коробочки и положила на стол. Я подошел. Она открыла одну: там лежала золотая авторучка с золотым пером.

– Ничего себе! – сказал я восхищенно.

Мама захлопнула коробочку.

– Оно золотое?

– Не знаю. Наверно.

– Я никогда его не видел.

– Я тоже. – И тут же замолчала.

Она закрыла коробочку с золотым пером, о существовании которого не имела понятия, и открыла другую – поменьше размером, зеленого цвета. Дрожащими пальцами она приподняла ватку розового цвета.

Спустя годы я понял, что жизнь у мамы была нелегкой. И что было не очень хорошей идеей выйти замуж за отца, даже учитывая, как элегантно он приподнимал шляпу, приветствуя ее, и говорил «как поживаешь, красавица?». Она была бы гораздо счастливее с другим мужчиной – тем, что поступал бы не всегда рационально, совершал бы ошибки и смеялся просто так. В нашем доме все было подчинено суровой серьезности, сдобренной ноткой горечи, свойственной отцу. Я проводил

дни в наблюдениях и был довольно умным ребенком, но, надо признать, только слышал звон, не зная, где он. Поэтому тот вечер стал для меня памятным: мне показалось, что мама вернулась ко мне. И потому я отважился спросить: можно мне заниматься на Виале, мама? Мама замерла. Она молча смотрела в стену, и я уже было подумал, что все кончено и она больше никогда не посмотрит на меня. Но она слабо улыбнулась и сказала: дай мне время подумать. У меня мелькнула мысль, что, похоже, наша жизнь начала меняться. И она изменилась, да, но вовсе не так, как мне хотелось бы. Однако, если бы все было иначе, я никогда не познакомился бы с тобой.

Ты замечала, что жизнь – одна сплошная непредсказуемая случайность? Из миллионов сперматозоидов отца лишь один достиг яйцеклетки и проник в нее. Так родилась ты, так родился я, все это огромная случайность. Могли бы родиться миллионы других существ, которые не были бы ни тобой, ни мной. То, что нам обоим нравится Брамс, тоже случайность. Что твоя семья пережила столько смертей и так мало родственников выжило – тоже случайность. Если бы наши гены (а затем и наши жизни) пошли бы по иному пути на миллионах разных перекрестков, невозможно было бы написать все, что тут написано и что бог весть кто прочтет. Ужасная глупость!

С того вечера наша жизнь начала меняться. Мама проводила долгие часы, закрывшись в кабинете, словно заменив собой отца, только без лупы. Она навела порядок, перебрала все бумаги в сейфе – благодаря тому, что цифры шесть один пять четыре два восемь перестали быть тайной. Она так презирала стиль жизни отца, что даже не взяла на себя труд изменить шифр сейфа, за что я ей был очень благодарен, не зная толком почему. Мама часами разбирала бумаги или вела разговоры с какими-то незнакомыми людьми – то надевая очки для чтения, то снимая их. Все говорили очень тихо, очень серьезно, так что ни Карсон, ни даже молчаливый Черный Орел не могли расслышать ничего важного. Спустя несколько недель перешептываний, советов «на ухо», рекомендаций, вздергивания бровей, коротких комментариев и убедительных аргументов мама убрала всю эту кучу бумаг в сейф (шесть один пять четыре два восемь) и положила несколько документов в темную папку. И сменила комбинацию шифра. Она надела поверх черного платья черное же пальто, вдохнула поглубже, взяла эту темную папку и отправилась в магазин, где ее явно не ждали. Сесилия сказала: добрый день, сеньора Ардевол. А она прошла сразу в кабинет сеньора Ардевола. Без стука распахнула дверь

и мягко положила руку на рычаги телефона, оборвав разговор сеньора Беренгера.

– Какого черта? – воскликнул он в изумлении.

Сеньора Ардевол улыбнулась и опустилась перед рассерженным сеньором Беренгером, сидевшим в сером кресле Феликса. Она положила на стол темную папку:

– Добрый день, сеньор Беренгер.

– Я разговаривал с Франкфуртом. – Он с досадой хлопнул ладонью по столешнице. – Мне такого труда стоило дозвониться туда!

– Я вынуждена была помешать вам. Нам нужно поговорить – вам и мне.

И они поговорили обо всем. Мама знала гораздо больше, чем, как предполагалось, должна была знать.

– Таким образом, половина вещей из магазина принадлежит мне.

– Вам?

– Лично мне. Наследство моего отца. Профессора Адриа Боска.

– Я понятия об этом не имел.

– Я до недавнего времени тоже. Мой муж не считал нужным посвящать меня в такие детали. У меня имеются документы, подтверждающие мои слова.

– А если вещи уже проданы?

– Что ж, мне полагаются комиссионные.

– Но это бизнес, так что...

– Вот об этом я и пришла поговорить. С этого момента управлять магазином буду я.

Сеньор Беренгер смотрел на нее с открытым ртом. Она вежливо улыбнулась и сказала: хотелось бы посмотреть приходно-расходные книги. И немедленно.

Сеньор Беренгер промешкал минуту, затем встал и вышел в зал, где коротко и сухо переговорил с Сесилией, а вернувшись с кипой тетрадей в руках, обнаружил, что сеньора Ардевол сидит в сером кресле Феликса и делает жест, разрешающий ему войти.

Мама вернулась домой, вся дрожа. Она закрыла за собой дверь, сняла черное пальто, но сил повесить его не нашла. Оставив пальто на скамейке у входа, она ушла в свою комнату. Я слышал, как она плачет, и чувствовал, что нет смысла пытаться вникнуть в то, чего мне не понять. Потом мама недолго говорила о чем-то с Лолой Маленькой на кухне. Я видел, как та взяла ее за руку и сжала, словно желая приободрить. Мне понадобились

годы, чтобы все встало на свои места в той картине, что и сейчас у меня перед глазами, словно полотно Хоппера^[108]. Все мое детство запечатлено у меня в голове, будто на диапозитивах с работами Хоппера, пронизанными ощущением одиночества. Я вижу себя персонажем одной из его картин: мальчик на неубранной кровати (забытая книга лежит на пустом стуле) смотрит в окно или разглядывает голую стену, сидя за пустым столом. У нас дома все было погружено в тишину, и если разговаривали, то только вполголоса, я не слышал звуков громче моей скрипки. Разве что стук каблуков, когда мама надевала туфли перед выходом на улицу. И если Хоппер говорил, что рисует, потому что не может выразить этого словами, то я пишу, потому что не могу нарисовать. Я всегда смотрю его глазами – в окно или через неплотно прикрытые двери. Я теперь знаю то, чего тогда не знал. Кое-что додумал сам, это правда. Я уверен, ты поймешь и простишь меня.

Спустя два дня сеньор Беренгер был вынужден перенести свои вещи обратно в каморку возле японских кинжалов. Сесилия, пряча довольную улыбку, делала вид, что страшно занята работой и не обращает внимания на всякие мелочи. С Франкфуртом по телефону говорила теперь мама. Принудив сеньора Беренгера освободить кабинет, она поставила ему мат ладьей и ферзем – так мне кажется. Его это яростное и неожиданное нападение заставило срочно искать пути выхода из ситуации. В антикварном магазине на улице Палья схватились гиганты и началась война, в которой все средства хороши.

Мама всегда выглядела тихой, кроткой, покорной, она никогда не повышала ни на кого голос, кроме меня. Но после смерти мужа сеньора Ардевол преобразилась и превратилась в женщину с нестигаемой волей и превосходного организатора – таких качеств я в ней даже заподозрить не мог. Магазин изменил политику и начал торговать не только антиквариатом, но и добротными вещами не старше ста лет, что позволяло быстрее получить прибыль. Сеньор Беренгер был вынужден проглотить новое унижение от своей противницы: ему пришлось благодарить ее за повышение жалованья. Тем не менее разговаривали с ним очень холодно и пообещали обстоятельный разговор в самом ближайшем будущем. Мама трудилась в магазине целыми днями, и когда смотрела в мою сторону, то опять молчала. Я понял, что в моей жизни наступают трудные времена.

Тогда я ничего не знал о делах мамы. Мне стоило больших усилий узнать о них хоть что-то. Дома что-то объясняли, только когда уже не было другого выхода, предпочитая все доверять бумаге, лишь бы избежать

прямого разговора. Я не сразу понял, что мама вообразила себя новой Магдаленой Жиралт^[109]. Правда, ей не пришлось требовать голову мужа – ее отдали сразу, как только нашли.

Что она требовала, так это голову убийцы своего мужа. Каждую среду, оставив дела и одевшись во все черное, она шла в комиссариат, занимавшийся этим делом, спрашивала комиссара Пласенсию, и ее провожали в насквозь пропахший табаком кабинет, где она требовала ответа за смерть мужа, который никогда ее не любил. Она здоровалась и неизменно задавала один и тот же вопрос: какие новости в деле Ардевола? А комиссар неизменно, не предложив ей сесть, отвечал: пока новостей нет, сеньора. Я уже говорил, что мы известим вас, если что-то изменится.

- Нельзя же обезглавить человека и не оставить никаких следов.
- Вы обвиняете нас в некомпетентности?
- Я обращаюсь за справедливостью в вышестоящие инстанции.
- Вы мне угрожаете?
- Всего доброго, комиссар.
- Всего доброго, сеньора. И помните, что мы известим вас, как только будут новости.

Черная вдова выходила из кабинета, и комиссар начинал со злостью выдвигать и задвигать верхний ящик стола. А инспектор Оканья заходил, не спросив разрешения, и спрашивал: опять являлась эта липучка? Комиссар не удостоивал его ответа, а лишь периодически усмехался, вспоминая, как странно звучит испанский столярный язык эlegantной дамы. И так – из среды в среду, неделя за неделей. Каждую среду, в то время, когда каудильо^[110] давал аудиенции во дворце Прадо, а папа Пий XII давал свои в Ватикане, комиссар Пласенсия принимал черную вдову, выслушивал ее, а когда она уходила – вымещал свою злость, с силой выдвигая и задвигая верхний ящик стола.

Когда сеньоре Ардевол это надоело, она заключила договор с лучшим детективом в мире, как следовало из плаката, висящего в его приемной – такой крошечной, что вызывала клаустрофобию. Лучший детектив в мире потребовал плату за месяц вперед и пока что прекратить ходить в комиссариат. Сеньора Ардевол заплатила, набралась терпения и воздержалась от визитов к комиссару. Месяц спустя, просидев некоторое время в тоскливой приемной, она во второй раз встретилась с лучшим детективом в мире.

- Присаживайтесь, сеньора Ардевол!

Лучший детектив в мире не встал, однако подождал, пока клиентка сядет в кресло. И так, они оба сидели по разные стороны стола.

– Ну что мы имеем? – спросила она нетерпеливо.

Лучший детектив в мире вместо ответа минуту барабанил пальцами по столу – видимо, в такт работе своего мозга, а может, и нет, ибо мыслительный процесс лучших детективов в мире не поддается расшифровке.

– Так все-таки? Что мы имеем? – повторила мама, начиная выходить из себя.

Но на той стороне стола продолжали отстукивать пальцами ритм. Мама прочистила горло, кашлянула и ледяным тоном, словно перед ней сидел сеньор Беренгер, спросила: зачем вы вызвали меня, сеньор Рамис?

Рамис. Лучшего детектива в мире звали Рамис. До этой минуты я и не помнил, как его звали. Детектив Рамис поднял глаза на свою клиентку и наконец ответил: я отказываюсь от дела.

– Что?

– Вы слышали. Я отказываюсь от дела.

– Но вы взяли его несколько дней назад.

– Прошел уже месяц.

– Я не позволю вам так все бросить. Я заплатила и имею право на...

– Если вы прочтете контракт, – сухо оборвал он ее, – то увидите, что в разделе двенадцать приложения прописана возможность его расторжения по обоюдному согласию.

– И в чем причина вашего отказа?

– Я очень загружен.

Тишина в кабинете. Тишина во всей конторе. Не стучит ни одна пишущая машинка.

– Я вам не верю.

– Простите?

– Вы мне врете. Почему вы отказываетесь от дела?

Лучший детектив в мире поднялся, достал из ящика конверт и положил на стол перед мамой:

– Я возвращаю вам гонорар.

Сеньора Ардевол встала, презрительно посмотрела на конверт и, не тронув его, вышла из кабинета, громко стуча каблуками. Она с силой захлопнула за собой дверь – так, что центральное стекло вылетело из рамы и осыпалось осколками.

Все это – с деталями, которые сейчас не приходят мне на ум, – я узнал

много позже. Вместо этого я помню, что тогда уже читал достаточно сложные тексты на немецком и английском. Мне это всегда казалось совершенно естественным, однако позже, наблюдая за другими, я понял, что языки мне даются легче. Французский – без проблем. Итальянский я выучил сам, пусть и говорил с акцентом. На латыни читал *De bello Gallico*^[111], не говоря уже об испанском и каталанском. Мне хотелось начать учить русский или арамейский, но мама вошла в комнату и сказала: даже не заикайся об этом. Достаточно и тех языков, которые ты уже знаешь, а в жизни нужно заниматься чем-то еще, а не только учить языки, словно попугай.

– Мама, но попугаи...

– Ты слышал, что я сказала. И ты меня понял.

– Нет, не понял.

– Ну так постарайся.

Я постарался. Мне было страшно оттого, что мама хотела поменять течение моей жизни. Очевидно, она бы с радостью стерла все следы отца в моем образовании. Поэтому она вынула из сейфа (у замка был новый код, его знала только мама – семь два восемь ноль шесть пять) Сториони и вручила мне со словами: с начала месяца ты больше не будешь ходить в консерваторию к сеньорете Трульолс и станешь учеником Жуана Манлеу.

– Что?

– Ты слышал, что я сказала.

– Кто это – Жуан Манлеу?

– Лучший преподаватель по классу скрипки. Ты станешь виртуозом.

– Я не хочу становиться виртуозом.

– Ты сам не знаешь, чего хочешь.

Вот тут мама ошибалась. Я знал, что хотел бы быть... Согласен, планы отца на мой счет не совсем меня устраивали: целыми днями изучать то, что написали другие, анализировать различные культурные материи... Нет, на самом деле меня это не устраивало. Но мне нравилось читать и учить новые языки и... Хорошо, согласен. Я сам не знаю, чего хочу.

– Я не хочу становиться виртуозом.

– Маэстро Манлеу сказал, что хочешь.

– И как он об этом узнал? Он ясновидящий?

– Он несколько раз слышал, как ты играешь.

Оказалось, мама тщательно спланировала, как убедить Жуана Манлеу стать моим учителем. Она пригласила его на скромный чай во время моего урока скрипки. Тогда они мало говорили, но много слушали. Маэстро Манлеу быстро сообразил, что может просить за уроки сколько хочет,

и не замедлил сделать это. Мама не стала торговаться и немедленно заключила с ним договор. Все произошло так быстро, что никому и в голову не пришло спросить мнение Адриа.

– А что я скажу Трульолс?

– Сеньорета Трульолс уже знает.

– Вот как? И что она сказала?

– Что ты – алмаз, нуждающийся в огранке.

– Не хочу. Я не знаю. Я не согласен. Нет. Однозначно и определенно – нет, нет, нет. – Это был тот редкий случай, когда я начал кричать. – Ты меня поняла, мама? Нет!

Со следующего месяца я стал заниматься у маэстро Манлеу.

– Ты станешь великим скрипачом, и точка, – сказала мама, когда я убеждал ее оставить Сториони на всякий случай дома, и я пошел в новую жизнь, неся в футляре Паррамон^[112].

Адриа послушно принял реформу своего образования. Но иногда мечтал сбежать из дома.

12

То одно, то другое – после смерти отца я долго не ходил в школу. Несколько недель – очень странных – я провел в Тоне, с двоюродными братьями. Они вели себя тише воды и исподтишка поглядывали на меня, когда думали, что я их не вижу. Однажды я услышал, как Щеви и Кико вполголоса обсуждают обезглавливание, но делали это так увлеченно, что их шепот был слышен отовсюду. А Роза за завтраком протягивала мне самый толстый ломоть хлеба, чтобы его не схватил кто-нибудь из ее братьев. Тетя Лео все время гладила меня по голове, и я думал, ну почему нельзя жить в Тоне рядом с тетушкой, где жизнь похожа на летние каникулы, где можно пачкать колени в грязи и никто тебя за это не ругает. А дядя Синто возвращался домой, перепачканный пылью или навозом, все время ходил опустив голову, потому что мужчины не должны плакать, но было видно, что он потрясен смертью брата. Смертью и ее обстоятельствами.

В Барселоне, прежде чем в мою жизнь вошел великий Жуан Манлеу, я вернулся в школу, где обрел новый статус – статус ребенка, потерявшего отца. Брат Климен проводил меня в класс, больно схватив за плечо желтыми от табака пальцами. Таким образом, он выражал мне соболезнования и утешение. Перед дверью он сделал широкий жест

и сказал, чтобы я не боялся входить, потому что учитель обо всем предупрежден. Я шагнул в комнату, и сорок три пары глаз уставились на меня с любопытством, а сеньор Бадиа, объяснявший тонкое различие между подлежащим и прямым дополнением, остановился на полуслове и сказал: проходи, Ардевол, садись. На доске выведена мелом фраза: «Хуан пишет письмо Педро». Чтобы сесть за парту, нужно было пересечь весь класс. Пока я шел, меня захлестнуло жгучее чувство стыда. Как бы мне хотелось, чтобы здесь был Бернат, но это невозможно, ведь он на класс старше. Как же мне надоело слушать все эти глупости про прямое и косвенное дополнение, которые нам вдалбливали еще и на латыни и которые, как ни удивительно, некоторые так и не могли усвоить. Где здесь прямое дополнение, Руль?

– Хуан? – Молчание. Сеньор Бадиа настойчив. Руль, заподозрив в вопросе подвох, глубоко задумался, опустив голову. – Педро?

– Нет. Это бесполезно. Ты ничего не понимаешь.

– А нет! Дополнение – пишет!

– Садись, ужасно.

– Я понял! Учитель, я понял – это письмо. Разве нет?

Когда назначение прямого дополнения объяснено со всех сторон и мы погружаемся во мрак косвенного дополнения, я замечаю, что несколько человек пристально смотрят на меня. Это Массана, Эстебан, Риера, Торрес, Эскайола, Пужол и, если судить по покалыванию в затылке, Буррель. И кажется, это взгляды... восхищенные. Странное чувство.

– Слушай, парень... – сказал мне Буррель на перемене. – Пойдем играть с нами. – И, предчувствуя ужасное: – Только вставай в центр, чтобы мешать пройти к воротам, ладно?

– Ну, мне, вообще-то, не нравится футбол.

– Видишь? – немедленно вклинился Эстебан, стоявший рядом. – Ардевол только на скрипке играет. Я же говорил, что он – *marica*^[113]. – И он торопливо убежал, потому что игра уже началась.

Буррель хлопнул меня по спине и молча ушел. Я кинулся искать Берната посреди мельтешения перво-, второ- и третьеклассников, которые заполнили весь двор и, поделив его на куски, играли в футбол, стараясь не перепутать мячи. *Marica*... Что такое *marica*? Русские говорят Марика тем девушкам, которых зовут Мария. Но я совершенно уверен, что Эстебан не знает русского.

– *Marica*? – Бернат уставился вдаль, размышляя под дикие крики футболистов. – Нет. Русские говорят Мариша, обращаясь к Мариям.

– Это я знаю.

– В общем, загляни в словарь. Посмотрим, найдешь ли ты там объяснение всего, что...

– Ты знаешь или не знаешь?

Дни стояли очень холодные, и у всех в той или иной степени руки и ноги были покрыты цыпками, кроме нас с Бернатом. Мы всегда носили перчатки, выполняя указание Трульолс, потому что для потрескавшихся рук скрипка превращалась в орудие жестокой пытки. А вот струпья, появлявшиеся от холода на ногах, играть совсем не мешают.

Первые дни в школе после смерти отца были особенными. После того как Риера открыто сказал о голове моего отца, стало ясно, что я поднялся в глазах одноклассников чрезвычайно высоко. Мне простили мои «странности», и я стал таким же, как все. Когда учителя задавали вопрос классу, Пужол уже не говорил, что отвечать буду я, все просто сидели с отсутствующим видом. Наконец однажды падре Валеро, чтобы прервать тягостную тишину, сказал: ну же, Ардевол, и я сказал правильный ответ. Но это было не так, как раньше.

Да, Бернат слукавил и так и не признался, что не знает, что это за слово такое – *marica*. Однако он был моей опорой, особенно со дня смерти отца. Он составлял мне компанию и помогал чувствовать себя не так странно. Это потому, что он тоже был не совсем обычным мальчиком, непохожим на остальных в школе – обычных, которые ссорились, мирились, а те, что учились в четвертом и пятом классах (по крайней мере, некоторые из них), тайком курили. Он был из другого класса, и мы не слишком часто виделись в школе, предпочитая держать нашу дружбу в секрете. В тот день, сидя на моей кровати, совершенно ошеломленный, мой друг был готов заплакать, потому что новость оказалась слишком серьезной. Он посмотрел на меня с ненавистью и сказал, что это предательство. А я ответил, что нет, Бернат, это решение моей мамы.

– Ты что, не можешь устроить бунт, а? Не можешь сказать, что будешь ходить к Трульолс, потому что иначе...

Потому что иначе мы не будем ходить на занятия вместе, хотел он сказать. Но не стал, чтобы не показаться маленьким мальчиком. И злые слезы в его глазах все сказали лучше слов. Это так сложно – быть мальчиком и при этом изображать из себя сурового мужчину, которому наплевать на все, на что плюют настоящие мужчины. И хотя на самом деле тебе вовсе не наплевать, ты должен изображать безразличие, иначе тебя засмеют и скажут: Бернат, Адриа – маленькие мальчики. А если это

Эстебан, то: девчонка! девчонка из девчонок! Хотя нет, он скажет: *marica*, самый настоящий *marica*! Вместе с первыми усиками начинает расти уверенность, что жизнь – чрезвычайно сложная штука. Но пока все еще не так сложно, как будет потом.

Полдничали мы молча. Лола Маленькая дала нам по две плитки шоколада каждому. И мы сидели молча: жевали хлеб, сидя на кровати, и думали про свое сложное будущее. А потом начали делать упражнения на арпеджио: мы играли канонем. Так делать упражнения веселее. Но самим нам было очень грустно.

– Гляди, гляди, гляди!

Бернат, ошарашенный, положил смычок на пюпитр и подошел к окну комнаты Адриа. В мире все переменялось, вина уже была не такой огромной, друг мог как угодно поступать со своим преподавателем скрипки, кровь вновь побежала по жилам. Через форточку Бернату была видна комната напротив – освещенная и с незадернутой занавеской. А там – грудь раздетой женщины. Раздетая? Кто это? А? Это Лола Маленькая. Комната Лолы Маленькой. Голая Лола Маленькая! Ничего себе. Там, в глубине. Она переодевается. Должно быть, собирается на улицу. Голая? Адриа показалось, что... видно не очень хорошо, но отдернутая занавеска подстегивала воображение.

– Это квартира соседей. Я с ней не знаком, – ответил я скучным голосом, начиная с одной восьмой затакта, теперь звучать эхом был должен Бернат. – Посмотрим, как получится теперь.

Бернат не возвращался к пюпитру до тех пор, пока Лола Маленькая полностью не оделась. Упражнения пошли довольно хорошо, но Адриа был расстроен интересом Берната к женщине в окне и еще тем, что самому ему не понравилось смотреть на Лолу... Женская грудь была... Он впервые ее видел, потому что занавеска...

– Ты когда-нибудь видел голую женщину? – спросил Бернат, когда они закончили заниматься.

– Ну, теперь видел, нет?

– Это не считается – плохо было видно. А чтоб по-настоящему? И целиком.

– Представляешь себе голую Трульолс?

Я сказал это, просто чтобы отвлечь внимание от Лолы Маленькой.

– Не говори глупостей!

Я представлял ее много раз не потому, что она была красавица. Она была уже в возрасте, очень худая, с длинными пальцами. У нее был красивый голос, а еще она смотрела на тебя, когда говорила. А вот когда

она играла на скрипке – да, тогда я представлял ее голой. Но виноваты были звуки, которые она извлекала смычком, – такие прекрасные, такие... Вся моя жизнь – какая-то смесь всего. Я не горжусь этим, скорее признаю со смирением. До того как ты мне это предложила, я и не думал раскладывать все по полочкам и все было перемешано, как перемешано сейчас, когда я пишу и слезы служат мне чернилами.

– Не переживай, Адриа, – сказала мне Трульолс. – Манлеу – прекрасный скрипач. – И потрепала меня по волосам.

Я на прощание сыграл ей первую сонату Брамса, а когда закончил, она поцеловала меня в лоб. Трульолс – она такая. Я не слышал, что она говорит о том, что Манлеу – прекрасный скрипач и что мне не нужно волноваться: Адриа, не переживай, Манлеу – прекрасный педагог. И Бернат, двуличный, сделал вид, что ему все равно и он не собирается плакать. А у меня вот потекли по щекам слезы. Господи боже мой! Он чувствовал такую вину, что, когда они пришли к дому Берната, Адриа сказал: я дарю тебе Сториони. Бернат: взаправду? А Адриа: конечно, на память обо мне. Взаправду? – снова спросил Бернат, не веря своим ушам. Зуб даю. А твоя мама что скажет? Ей не до того. Она целые дни проводит в магазине. Назавтра Бернат пришел домой, и сердце его стучало бум-бум-бум, словно колокола во время торжественной мессы праздника Рождества Божией Матери. Он подошел к маме и сказал: мама, у меня сюрприз. И открыл футляр. Сеньора Пленса ощутила дух несомненно антикварной вещи и, с оборвавшимся сердцем, спросила: где ты взял эту скрипку, сынок? А он, сразу потеряв запал, ответил, как Кэсседи Джеймс, когда Дороти поинтересовалась, откуда у него эта лошадь:

– Это очень долгая история.

И был прав. Европа пахла гарью пожарищ и пылью разрушенных стен. Рим тоже. Он пропустил американский джип, несущийся на большой скорости по пустынным улицам, не тормозя перед перекрестками, и быстрыми шагами дошел до базилики Святой Сабины^[114]. Там Морлен сказал ему: Ufficio della Giustizia e della Pace^[115]. Консьерж – некий синьор Фаленьями. И будь начеку: может быть опасно.

– Почему опасно?

– Потому что он не из тех, кто «светится». У него проблемы.

Феликс Ардевол не стал тянуть и нашел это бюро, расположенное в самом центре района Борго. Дверь открыл тучный, высокий человек, с большим носом и беспокойным взглядом. Он спросил: кого вы ищете?

– Боюсь, что вас, синьор Фаленьями.

– Почему вы так говорите? Чего вы боитесь?

– Ничего, это просто фигура речи. – Феликс Ардевол попробовал улыбнуться. – Я так понимаю, что у вас есть интересная вещь для меня.

– В шесть вечера я закрою бюро. – Он кивнул в сторону стеклянной двери, через которую сочился печальный свет. – Ждите снаружи, на улице.

В шесть на улицу вышли три человека, один из них был в сутане. Феликс почувствовал себя словно на тайном любовном свидании. Как много лет назад, когда у него еще были иллюзии и мечты и яблоки из римской лавки синьора Амато напоминали ему о земном рае. Затем появился тот человек с беспокойным взглядом и сделал ему знак войти.

– Мы не пойдем к вам домой?

– Я живу тут.

Они поднялись по почти совершенно темной главной лестнице. Их шаги гулко отдавались во тьме этого странного здания, а синьор Фаленьями еще и тяжело дышал. На третьем этаже они прошли по длинному коридору, и вдруг его спутник открыл какую-то дверь и зажег тусклую лампочку. В нос ударил тяжелый запах.

– Проходите, – сказал консьерж.

Узкая койка, шкаф из темного дерева, заложенное окно, раковина в углу. Толстяк открыл шкаф и из его недр извлек скрипичный футляр. Положил его на кровать, которая заменяла ему стол, и открыл. Тогда Феликс Ардевол впервые увидел ее.

– Это Сториони, – сказал человек с беспокойным взглядом.

Сториони. Феликсу Ардеволу это ни о чем не говорило. Он понятия не имел, что Лоренцо Сториони, закончив работу, нежно погладил ее кожу и ему показалось, что инструмент дрожит от прикосновений. И что в тот момент он решил показать ее доброму мастеру Зосимо.

Толстяк с беспокойным взглядом зажег лампу на тумбочке и пригласил Феликса приблизиться к инструменту. *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit*, прочел он вслух.

– Откуда мне знать, что она настоящая?

– Я прошу за нее пятьдесят тысяч американских долларов.

– Это не доказательство.

– Это цена. У меня проблемы и...

Он видел столько людей в затруднительных обстоятельствах. Но трудности конца войны – совсем не те, что в тридцать восьмом или тридцать девятом году. Он вернул скрипку толстяку и почувствовал в сердце невероятную пустоту. Такую же, как шесть или семь лет тому назад, когда держал в руках скрипку Николо Гальяно^[116]. С каждым разом

он все больше убеждался, что эти инструменты словно сами говорят о своей ценности и пульсируют в руках как живые. Вот это – да, это настоящая проверка на подлинность. Но сеньор Ардевол, когда на кон поставлены такие деньги, не мог доверять лишь интуиции и какой-то поэтической пульсации. Поэтому он постарался сохранить холодность и быстро произвел в уме трезвый расчет. А затем улыбнулся:

– Я вернусь завтра с ответом.

Это было скорее объявление войны, чем ответ. Ночью он переговорил в комнате Браманте с отцом Морленом и многообещающим молодым человеком по имени Беренгер. Это был высокий худой юноша, дотошный и, как видно, сведущий во многих областях.

– Берегись, Ардевол, – настаивал отец Морлен.

– Я знаю правила игры в этой жизни, дорогой.

– Одно дело – что кажется, а другое – что в реальности. Заклучи с ним сделку, получи свою выгоду, но не унижай его. Он – опасен.

– Я знаю, что делаю. Уверяю тебя!

Отец Морлен больше не настаивал, но остальную часть встречи просидел молча. Беренгер – юноша, подающий большие надежды, – знал трех скрипичных мастеров в Риме, но доверия, по его мнению, заслуживал только один, Саверио Носеке. Двое других...

– Приведи мне его завтра.

– Обращайтесь ко мне на «вы», сеньор Ардевол.

Назавтра сеньор Беренгер, Феликс Ардевол и Саверио Носеке стучали в комнату толстяка с беспокойными глазами. Они вошли, лучась коллективной улыбкой, стойко перетерпев тяжелый запах, царящий в комнате. Синьор Саверио Носеке провел полчаса, изучая скрипку: рассматривал ее в лупу и проводил с ней еще какие-то сложные манипуляции при помощи инструментов, которые принес с собой во врачебном саквояже. Потом слушал, как она звучит.

– Падре Морлен сказал мне, что вам можно доверять, – сказал Фаленьями, охваченный беспокойством.

– Можно. Но я не хочу, чтобы меня ободрали как липку.

– Цена не чрезмерная. Она стоит этих денег.

– Я заплачу столько, сколько посчитаю нужным, а не то, сколько вы называете.

Синьор Фаленьями взял записную книжку и что-то пометил. Затем закрыл ее и беспокойно уставился на Ардевола. Поскольку в комнате не было окна, они смотрели на *dottore*^[117] Носеке. Тот легонько постукивал по дереву инструмента, прослушивая его фонендоскопом.

Они покинули эту убогую комнатенку уже вечером. Носеке шел торопливо, глядя прямо перед собой и что-то бормоча под нос. Феликс Ардевол искоса поглядывал на сеньора Беренгера, который делал вид, что все происходящее его абсолютно не интересует. Подходя к виа Кресченсио, сеньор Беренгер вдруг отрицательно мотнул головой и остановился. Его спутники тоже невольно остановились.

– Что случилось?

– Нет, это слишком опасно.

– Это подлинный Сториони. – Саверио Носеке выделил голосом «подлинный». – И я вам больше скажу...

– Почему вы говорите, что это опасно, сеньор Беренгер? – Феликсу Ардеволу начинал нравиться этот человек, пусть и слегка высокомерный.

– Когда волка обносят красными флажками, он делает все, чтобы спастись. Но потом может укусить.

– Что вы еще хотели сказать, синьор Носеке? – Феликс, с холодеющим сердцем, повернулся к скрипичному мастеру.

– Кое-что еще.

– Ну так говорите!

– У этой скрипки есть имя. Ее зовут Виал.

– Простите?

– Это – Виал.

– Вот теперь я точно ничего не понимаю.

– Это ее имя. Ее так зовут. Существуют инструменты, у которых есть собственное имя.

– Это придает им дополнительную ценность?

– Речь не об этом, синьор Ардевол.

– Еще как об этом! Итак, она более ценная?

– Это первая скрипка, которую он создал. Еще бы она не была ценной!

– Кто создал?

– Лоренцо Сториони.

– Откуда у нее такое имя? – с интересом спросил сеньор Беренгер.

– В честь Гийома-Франсуа Виала, убийцы Жана-Мари Леклера^[118].

Синьор Носеке сделал жест, который напомнил Феликсу святого Доминика, возвещающего с кафедры о бесконечности доброты Божией. И Гийом-Франсуа Виал выступил из тени, чтобы его увидел человек, сидевший в карете. Кучер остановил лошадей прямо перед ним. Дверца открылась, и месье Виал сел в карету.

– Добрый вечер, – поздоровался Ла Гит.

– Можете отдать мне ее, месье Ла Гит. Мой дядя согласен с вашей

ценой.

Ла Гит рассмеялся в глубине салона, гордый своей прозорливостью. Но уточнил на всякий случай:

– Мы с вами говорим о пяти тысячах флоринов.

– Мы с вами говорим о пяти тысячах флоринов, – подтвердил месье Виал.

– Завтра скрипка знаменитого Сториони будет у вас в руках.

– Не надо морочить мне голову, месье Ла Гит: Сториони вовсе не знаменит.

– В Италии – в Неаполе, во Флоренции только о нем и говорят.

– А в Кремоне?

– Бергонци и его окружение не слишком довольны появлением нового мастера. Все говорят, что Сториони – это новый Страдивари.

Они поговорили еще немного. О том, что, быть может, появление нового мастера несколько снизит цены на инструменты, а то они стали просто заоблачными. Да, заоблачными – точнее не скажешь. Они попрощались. Виал вышел из экипажа, оставив Ла Гита в уверенности, что в этот раз все удалось.

– Mon cher tonton!..^[119] – с энтузиазмом воскликнул Гийом-Франсуа на следующий день, рано утром входя в комнату. Жан-Мари Леклер не соизволил даже голову поднять, продолжая наблюдать за игрой пламени в камине. – Mon cher tonton! – повторил Виал, уже не так бодро.

Леклер обернулся. Не глядя племяннику в глаза, он спросил, принес ли тот скрипку. Виал положил ее на стол. Леклер тут же протянул руки к инструменту. От стены отделилась тень носатого слуги со смычком. Леклер несколько минут пробовал на Сториони разные варианты звучания, исполняя фрагменты из своих сонат.

– Очень хорошо, – сказал он удовлетворенно. – Сколько ты заплатил?

– Десять тысяч флоринов плюс вознаграждение в пятьсот монет, которое вы мне обещали за то, что я нашел для вас это сокровище.

Властным жестом Леклер отослал слуг. Потом положил руку племяннику на плечо и улыбнулся:

– Ты – сукин сын. Не знаю, в кого ты пошел, шелудивый щенок. В свою матушку или, может, к несчастью, в своего папашу. Вор, жулик!

– За что? Я ведь... – Их взгляды встретились. – Ну хорошо, я могу отказаться от вознаграждения.

– Ты действительно думаешь, что можно годами надувать меня и я буду слепо верить тебе?

– Но тогда зачем вы поручили...

– Чтобы испытать тебя, тупой ублюдок блохастой суки. На этот раз тебе не избежать тюрьмы. – Он сделал многозначительную паузу. – Ты даже не представляешь, как я ждал этого момента.

– Вы всегда жаждали моего падения, дядюшка Жан. Вы завидуете мне.

Леклер удивленно посмотрел на племянника. И после долгого молчания произнес:

– Я завидую тебе, шелудивому щенку?

Виал покраснел как рак. В голове у него помутилось, парировать выпады дядюшки он не мог.

– Будет лучше, если мы не станем вникать в детали, – произнес он, только чтобы хоть что-то сказать.

Леклер посмотрел на него с презрением:

– А по мне, так самое время вникнуть в детали. Чему я завидую? Внешности? Сложению? Влиянию в обществе? Обаянию? Таланту? Моральным качествам?

– Разговор окончен, дядюшка Жан.

– Он закончится, когда я сочту нужным! Ну, чему же я завидую? Уму? Образованию? Богатству? Здоровью?

Леклер взял скрипку и сымпровизировал пиццикато. С уважением посмотрел на инструмент:

– Скрипка необычайно хороша, но это не имеет значения, понятно? Я хочу одного – отправить тебя в тюрьму.

– Значит, плохой из вас родственник!

– А ты – мерзавец, которого я наконец вывел на чистую воду. Знаешь что? – Он широко улыбнулся, приблизив лицо почти вплотную к лицу племянника. – Скрипка достанется мне, но за ту цену, которую назначил Ла Гит.

Леклер дернул за шнурок звонка. В комнату из дальней двери вошел носатый слуга.

– Ступай к комиссару, пусть придет поскорее.

И бросил племяннику:

– Сядь, подождем месье Бежара.

Но они не сели. Гийом-Франсуа Виал, направляясь к креслу, прошел мимо камина, схватил кочергу и ударил по голове любимого дядюшку. Жан-Мари Леклер Старший не сказал больше ничего. Без единого стоны он рухнул на пол, кочерга так и осталась торчать у него в черепе. Капля крови упала на деревянный футляр со скрипкой. Виал, тяжело дыша, отер руки о камзол и произнес: ты не представляешь, как я ждал этого момента, дядюшка Жан. Затем огляделся, схватил скрипку, уложил в испачканный

кровью футляр и вышел на террасу. Несясь через сад средь бела дня, Виал подумал, что стоит нанести визит – отнюдь не дружеский – Ла Гиту.

– Насколько мне известно, – продолжал синьор Носеке, стоя посреди улицы, – на этом инструменте не играли хоть сколько-нибудь регулярно. Как и на Мессии Страдивари^[120]. Вы понимаете меня?

– Нет, – ответил Ардевол нетерпеливо.

– Я говорю вам о том, что эти обстоятельства придают ей еще большую ценность. След этого инструмента теряется сразу после создания, когда она попала в руки Гийома-Франсуа Виала. Возможно, на нем кто-то и играл, но сказать об этом с уверенностью не могу. А теперь он вдруг появляется здесь. Эта скрипка бесценна.

– Это я и хотел от вас услышать, caro dottore^[121].

– В самом деле она появилась впервые? – с любопытством спросил сеньор Беренгер.

– Да.

– И все-таки я должен предупредить вас, сеньор Ардевол. Это большие деньги.

– Она того стоит? – спросил Феликс Ардевол, глядя на Носеке.

– Я бы заплатил не глядя. Если бы такие деньги у меня были. У нее восхитительный звук.

– Мне плевать, какой у нее звук.

– Да, но еще и исключительная символическая ценность!

– Вот это действительно имеет значение.

– Мы сейчас же вернем ее хозяину.

– Но он мне ее подарил! Клянусь, папа!

Сеньор Пленса надел пальто, сделал незаметный знак глазами жене, взял футляр и энергичным кивком приказал Бернату идти за ним.

Бернат чувствовал себя так, словно в траурном молчании шел за гробом на похоронах. Он проклинал тот миг, когда решил похвастаться перед мамой и показать ей настоящий инструмент Сториони. А та сразу же позвала: иди-ка сюда, Жуан, посмотри, что принес наш сын. Сеньор Пленса помолчал несколько минут, рассматривая скрипку, после чего воскликнул: чтоб мне провалиться, где ты ее взял?

– У нее волшебный звук, папа!

– Да, но я спрашиваю, где ты ее взял?

– Жуан, пожалуйста!

– Давай, Бернат! Это все не шутки. – И нетерпеливо повторил: – Где ты ее взял?

- Нигде. То есть мне ее дали. Ее владелец мне ее отдал.
- И как же зовут этого идиота?
- Адриа Ардевол.
- Это скрипка Ардеволов?

Молчание. Родители переглянулись. Папа вздохнул, взял скрипку, спрятал ее в футляр и сказал: мы сейчас же вернем ее хозяину.

13

Дверь открыл я. На пороге стояла женщина моложе мамы. Очень высокая, с красивыми накрашенными глазами – она вызывала симпатию и понравилась мне. Нет, на самом деле – больше чем понравилась, я влюбился в нее сразу и навсегда. И тотчас захотел увидеть ее раздетой.

– Ты – Адриа?

Откуда она знает мое имя? И еще этот акцент... удивительно.

– Кто там? – крикнула Лола Маленькая из глубины квартиры.

– Не знаю, – ответил я, с улыбкой глядя на это явление.

Гостья улыбнулась мне в ответ, подмигнула и спросила, дома ли мама.

Лола Маленькая вошла в прихожую. Прекрасная незнакомка, как мне показалось, решила, что это и есть мама.

– Это Лола Маленькая, – пояснил я.

– Синьора Ардевол дома? – спросила женщина ангельским голосом.

– Вы – итальянка! – предположил я.

– Прекрасно! Мне говорили, что ты очень способный мальчик.

– Кто говорил?

Мама с утра пораньше разбиралась с делами в магазине, но прекрасная незнакомка сказала, что ей не составит труда подождать. Лола Маленькая сухо указала ей на банкетку и ушла. Гостья села, глядя на меня. Я заметил маленький, очень красивый золотой крестик у нее на шее. Женщина спросила: come stai?^[122] Я ответил с радостной улыбкой: bene!^[123] В руках у меня был футляр со скрипкой, потому что я шел на урок к Манлеу. Чего маэстро совершенно не терпел в других, так это непунктуальности.

– Ciao!^[124] – тихо сказал я, открывая дверь на лестницу.

Моя ангелоподобная незнакомка осталась сидеть на банкетке. Но послала мне воздушный поцелуй, от которого сердце мое оборвалось и бешено заколотилось. Ее красные губы произнесли ciao, которого я не расслышал. Но такие вещи слышишь сердцем. Я закрыл за собой дверь

тихо-тихо, чтобы от хлопка прекрасное видение не исчезло.

– Не затягивай, дитя мое! Ты воспроизводишь ритмы негроидные, эпилептические, присущие духовым инструментам.

– Что?

– Смотри, смотри, смотри!

Маэстро Манлеу берет скрипку и страшно утрированно исполняет портаменто, как я никогда не делал. И, не опуская инструмента, говорит: это – отвратительно. Понимаешь? Безобразие, грязь и гадость.

Я уже тоскую по Трульолс, а ведь прошло всего десять минут от третьего урока у Манлеу. Потом он – явно чтобы подчеркнуть свою значимость – начинает рассказывать, что в своем возрасте, ой, в твоём возрасте: вот я был очень одаренным ребенком. И в твоём возрасте играл Макса Бруха^[125], хотя меня никто этому не учил.

А потом снова хватается скрипку и принимается выводить *соооль-си-ре-соль-сии-ля-диез-фааа-соооооль. Си-ре-соль-сии* – и так далее, как прекрасно.

– Вот это – концерт, а не та учебная тягомотина, которую ты играешь.

– А можно мне начать учить Макса Бруха?

– Как ты собираешься учить Макса Бруха, если ты сам даже высморкаться как следует не умеешь, деточка? – Он возвращает мне скрипку и подходит почти вплотную, чтобы я лучше слышал. – Если б ты был как я – да. Но я – неповторим! – И сухо бросает: – Упражнение двадцать два. И не думай, Ардевол: Брух – посредственность, случайно попавшая в «десятку». – И он сокрушенно качает головой, расстроенный несправедливостью жизни: если бы я мог больше времени посвящать композиции...

Упражнение двадцать два, *dei portamenti*^[126], было нацелено на тренировку портаменто, но маэстро Манлеу, услышав первое портаменто, вновь был возмущен и пустился в рассуждения о своей необычайной одаренности. На сей раз – на примере концерта Бартока^[127], в котором он, пятнадцатилетний, солировал и был, без сомнения, звездой.

– Ты должен знать, что хороший исполнитель к обычной памяти прибавляет особую память, которая позволяет держать в голове не только партию солиста, но и всю партитуру оркестра. Если у тебя ее нет – ты ни на что не годен. И твой удел – колоть лед или зажигать фонари на улицах. А потом не забыть погасить.

В общем, я делал упражнение на портаменто без исполнения самого

портамента. На этом мы закончили: портаменто ведь можно тренировать и дома. А Брух – посредственность. Чтобы я понял это как следует, три последние минуты третьего урока с маэстро Манлеу я провел в прихожей – с шарфом, замотанным вокруг шеи, переминаясь с ноги на ногу, – пока он отводил душу и критиковал бродячих скрипачей, которые играют в барах да кабаре и наносят вред подрастающему поколению, увлекаясь неумеренными ненужными портаментами. Ты сразу поймешь, что они так играют, просто чтобы понравиться женщинам. Их портаменто приемлемы лишь для *mariques*. До следующей пятницы, деточка.

– До свидания, маэстро!

– И запомни хорошенько: пусть у тебя, как каленым железом, на лбу отпечатается все, что я тебе говорю на уроках и буду говорить потом. Не всякому выпадает счастье заниматься у меня.

Что ж, как минимум я узнал, что таинственное понятие *marica* как-то связано со скрипкой. Однако поиск в словаре ничем мне не помог: этого слова я там не нашел. Брух, видимо, был посредственным *marica*. Я так думаю.

В то время Адриа Ардевол был поистине ангелом бесконечного терпения. Поэтому тогда уроки у маэстро Манлеу не казались ему столь ужасными, как кажутся мне сейчас, когда я рассказываю о них тебе. Я вынес их все и помню – минута за минутой – годы, которые я провел, таща на себе это ярмо. Помню, что после нескольких занятий меня озадачил вопрос, на который я так и не нашел ответ: как так получается, что для исполнения необходимо лишь техническое совершенство? Можно быть ничтожеством и одновременно – виртуозом. Как маэстро Манлеу, который, по-моему, обладал всеми мыслимыми недостатками, но на скрипке играл великолепно.

Дело в том, что достаточно сравнить игру Манлеу и Берната, как сразу слышишь разницу между техничностью первого и подлинностью второго. Меня интриговало вот что: я не понимал, почему Бернат недоволен своими способностями к музыке и упрямо, словно одержимый, все пишет книгу за книгой, которые терпят провал. Оба мы были большие мастера по обнаружению причин быть недовольными жизнью.

– Но ведь ты не делаешь ошибок! – говорит он мне, шокированный, пятьдесят лет спустя, крайне удивленный моими сомнениями.

– Но важно знать, что я могу их совершить. – Озадаченное молчание. – Не понимаешь?

По этой причине я и забросил скрипку. Но это уже другая история... По дороге в школу я подробно рассказываю Бернату про урок у Манлеу.

И мы никак не дойдем до места, потому что Бернат прямо посреди улицы Араго, где от выхлопных газов машин чернеют фасады, изображает – без скрипки – все, что мне говорил Манлеу, а прохожие с интересом смотрят на нас. Потом дома он снова все повторил, и, честное слово, такое ощущение, что теперь по средам и пятницам у великого Манлеу двое учеников.

– В четверг вечером остаетесь после уроков. У вас третье опоздание за две недели, господа! – Дежурный, усатый блондин, улыбается на входе: он доволен, что поймал нас.

– Но...

– Никаких «но». – Он достает ненавистную записную книжку и вытаскивает карандаш. – Имя и класс.

И теперь в четверг вечером, вместо того чтобы дома тайком изучать бумаги отца – царствие ему небесное, – вместо того чтобы дома у Берната или у меня делать домашние задания, мы обязаны торчать над раскрытыми учебниками в классе 2 «Б» в компании двенадцати или пятнадцати таких же несчастных, наказанных за опоздания. А герр Оливерес или профессор Родриго будет надзирать за нами с кислой миной.

Когда я возвращался домой, мама с пристрастием расспрашивала меня про уроки у маэстро Манлеу, допытываясь: могу ли я сыграть какой-нибудь известный концерт – слышишь, Адриа? – из тех, что считаются первоклассными, как ей обещал Манлеу?

– Какой, например?

– «Крейцерову сонату». Что-нибудь из Брамса, – сказала она однажды.

– Это невозможно, мама!

– Не существует ничего невозможного, – ответила она, почти как Трульолс, которая сказала «никогда не говори никогда, Ардевол». Но хоть этот совет и был очень похож, он не произвел на меня никакого эффекта.

– Я играю не так хорошо, как ты думаешь, мама.

– Ты будешь играть превосходно. – И, воспользовавшись отцовским приемом, который позволял ему избегать любых возражений, вышла из комнаты.

У меня не было возможности сказать ей, как я ненавижу эту виртуозность, которая требуется от исполнителя, и прочие бла-бла-бла... Мама ушла в дальние комнаты к сеньоре Анжелете, а я загрустил, потому что мама, как раньше, говорила, почти не глядя на меня, и интересовалась только тем, становлюсь ли я виртуозом. А меня терзало неотвязное желание смотреть на голых женщин, и на простыне появились какие-то непонятные

пятна... Хотя, конечно, я совершенно не желал, чтобы это стало темой для разговора. Но как я разучу портамента дома, если меня ему не учат?

Дома или ушла? Подойдя к лестнице, я мысленно вернулся к своему ангелу, оставленному на произвол судьбы из-за урока музыки с негроидными ритмами маэстро Манлеу. Я поднимался, перескакивая через две ступеньки, думая, что ангел, должно быть, уже улетел, что я опоздал и никогда не прощу себе этого. Я нервно давил на кнопку звонка. Дверь открыла Лола. Я обогнул ее и посмотрел в сторону балкона. Там меня встретила алая улыбка и сладчайшее *сiao*, и я почувствовал себя самым счастливым скрипачом в мире.

Через три часа после появления чудесного ангела пришла мама. Лицо у нее стало озабоченным, когда она увидела незнакомку на банкетке. Мама вопросительно посмотрела на Лолу Маленькую, вышедшую ее встречать. Потом в ее глазах появилось понимание, и, не дожидаясь объяснений, она прошла в кабинет отца. Спустя три минуты оттуда послышались крики.

Одно дело – четко слышать разговор, а совсем другое – понимать, о чем речь. Адриа использовал сложную систему подслушивания, чтобы быть в курсе происходящего в отцовском кабинете. Но другого способа у него не было, потому что он вырос и больше не мог прятаться за диваном в углу. Услышав первые крики, я понял, что хоть как-то должен защитить моего ангела от маминого гнева. Из кладовки дверь вела на галерею и в прачечную, где я вставал возле окошка с матовым стеклом, которое никогда не открывалось. Оно выходило в кабинет отца, через него туда проникало немного дневного света. Устроившись под этим окошком, можно было слышать разговоры внутри. Очень ясно. Я всюду совал свой нос у нас дома. Почти. Мама, очень бледная, закончила читать письмо и смотрела в стену.

– Откуда мне знать, что это правда?

– Потому что я наследую дом в Тоне.

– Простите?

Мой ангел вместо ответа протянула ей другой документ, согласно которому нотариус Гаролета из Вика подтверждал дарение всего имущества – дома, амбара, гумна, водоема и трех участков земли – усадьбы Казик Даниэле Амато, рожденной в Риме 25 декабря 1919 года, дочери Каролины Амато и неизвестного отца.

– Усадьбу Казик в Тоне? Но она не принадлежала ему, – парировала мама.

– Принадлежала. А теперь принадлежит мне.

Мама попыталась унять дрожь в руке, держащей документ, и с презрительной улыбкой вернула его владелице:

– И как далеко распространяются ваши аппетиты? Чего вы еще хотите?

– Магазин. У меня есть на него право.

По тону я понял, что мой ангел произнесла это с нежной улыбкой, которую мне захотелось покрыть поцелуями. На месте мамы я бы отдал ей не только магазин, а все, что она захочет, лишь бы всегда видеть эту улыбку. Но мама вместо этого рассмеялась. Она делала вид, что ей смешно, но это был искусственный смех, недавно появившийся в ее репертуаре. Я испугался, потому что не знал об этой стороне маминой личности: безжалостной, антиангельской. Я видел маму либо тихо опускающей взгляд рядом с отцом, либо отсутствующей и холодной, когда она стала вдовой и принялась планировать мое будущее. Но никогда – ломающей пальцы, лихорадочно изучающей снова и снова дарственную на усадьбу в Тоне и произносящей потом: ни черта не значит эта ваша ссучья бумажка.

– Это официальная бумага. И у меня есть право на часть магазина. Поэтому я и приехала.

– Мой адвокат ответит отказом на любое ваше предложение. На любое.

– Я дочь вашего мужа.

– Да? С тем же успехом вы можете назваться дочерью папы римского. Пустые выдумки.

Мой ангел ответила: нет, сеньора Ардевол, это никакая не выдумка. Она внимательно осмотрелась вокруг и повторила: никакая не выдумка. Пятнадцать лет назад я была в этом кабинете. И тогда мне тоже не предложили сесть.

– Какой сюрприз, Каролина! – Феликс Ардевол смотрел потерянно, открыв рот. Голос его охрип от испуга. Он пригласил двух женщин войти и провел их в кабинет, до того как Лола Маленькая, занятая разбором приданого Карме, заметит незваных гостей.

Все трое стояли в кабинете, а в остальной квартире царил беспорядок, связанный с переездом: грузчики поднимали по лестнице мамину мебель, бабушкин комод, зеркало из прихожей, которое Феликс распорядился поставить в гардеробную. Люди заходили и выходили, а Лола Маленькая хоть и была тут всего пару часов, но уже изучила каждую кафельную плитку в доме сеньора Ардевола: боже мой, какая шикарная квартира будет у девочки! За дверью кабинета скрылись какие-то люди, чей визит не обрадовал сеньора Ардевола, но кто она такая, чтобы совать нос в его дела.

– Ты занят? – спросила старшая из женщин.

– Весьма. – Он развел руками. – Мы в разгаре переезда. – Затем сухо спросил: – Чего ты хочешь?

Она улыбнулась открытой улыбкой. Он не знал, куда деть глаза. Чтобы хоть немного снять напряжение, Феликс кивнул в сторону молодой женщины и, хотя и знал ответ, спросил: кто эта прелестная сеньорета?

– Твоя дочь, Феликс.

– Каролина, я...

Каролина была почти такой же, как и в тот день, когда ее семинарист с ясным взглядом порядочного человека трусливо разлюбил свою избранницу. После того, как она попросила положить ладонь на живот.

– Мы же спали с тобой всего три или четыре раза! – пробормотал он, испуганный, бледный, трясущийся, потный.

– Двенадцать раз, – ответила она серьезно. – Хотя могло хватить и одного.

Молчание. Спрятать испуг. Думать о будущем. Бросить взгляд на входную дверь. Посмотреть девушке в лицо и слушать, как она говорит с блестящими от эмоций глазами: правда, замечательно, Феликс?

– О, еще как!

– У нас будет ребенок, Феликс!

– Как здорово! Какая радостная новость!

А на завтра он сбежал из Рима, бросив все. И более всего сожалел о том, что не смог дослушать курс отца Фалубы.

– Феликс Ардевол? – изумленно воскликнул епископ Муньос. – Феликс Ардевол-и-Гитерес? – Он покачал головой. – Не может быть!

Епископ сидел за столом в своем кабинете, а моссен Айатс стоял перед ним с папкой в руках, содержимое которой так изумило его преосвященство. Через окна епископского дворца в комнату проникал скрип тяжело груженной повозки и сердитый голос женщины, бранившей ребенка.

– Увы, может. – Секретарь епископа не смог скрыть удовлетворения. – К несчастью, именно в этом он повинен. Женщина забеременела и...

– Избавьте меня от подробностей, – оборвал его епископ.

Чтобы справиться с внезапно обрушившейся на него информацией столь интимного свойства, монсеньор Муньос удалился помолиться, потому что его душа была в смятении. Хорошо еще, что монсеньор Торрас-и-Бажес смог скрыть это постыдное деяние того, кого многие считали жемчужиной епископата. А моссен Айатс скромно опустил взгляд, уж он-то давно знал, что собой представляет эта «жемчужина» – Ардевол. Очень

способный, знаток философии и все такое – да. Но законченный мерзавец.

– Как ты узнала, что я завтра женюсь?

Каролина ничего не ответила. Ее дочь не сводила глаз с лица сеньора, который был ее отцом, и почти не участвовала в разговоре. Каролина посмотрела на Феликса – пополневшего, лишившегося своего обаяния, постаревшего, с потемневшей кожей и морщинами вокруг глаз – и спрятала улыбку.

– Твою дочь зовут Даниэла.

Даниэла. В честь ее матери.

– В тот день, вот прямо здесь, – сказала мой ангел, – ваш муж подписал и юридически оформил дарственную на мое имя на дом в Тоне. А когда вы вернулись с Майорки, то уточнил ее.

Поездка на Майорку с мужем, который уже не снимал шляпу, когда встречался с ней, потому что они целые дни были вместе, и уже не мог сказать: как дела, красавица? Или – мог, но просто не хотел. Очень внимательный вначале, постепенно муж все больше погружался в свои молчаливые размышления. Я никогда не знала, что делает, о чем молчит и думает целыми днями твой отец, сын. Все время молчит и думает. Лишь иногда раздражаясь криками или отвешивая подзатыльник тому, кто подвернется под руку. А все потому, что ему приходит на ум эта проклятая итальянка. По которой он, оказывается, скучал и которой подарил дом в Тоне.

– Как вы узнали, что мой муж умер?

Мой ангел подняла глаза на маму и сказала, будто не слышала вопроса:

– Он обещал. Нет, он поклялся, что у меня будет доля в наследстве.

– Ну так вы должны знать, что завещания нет.

– Он не думал умереть так скоро.

– Всего хорошего! Передайте привет вашей матушке.

– Она тоже умерла.

Мама не сказала «соболезную» или что-то подобное. Она открыла дверь кабинета. Мой ангел повернулась к ней и, прежде чем выйти, произнесла:

– Мне принадлежит доля в магазине, и я буду бороться за нее столько, сколько будет нужно, пока...

– Всего хорошего.

Входная дверь громко хлопнула, как и в тот день, когда отец вышел из дому в последний раз перед смертью. Я, по правде говоря, понял не очень много. От подслушанного разговора во мне лишь укрепились какие-то смутные подозрения. В те времена латинская грамматика была

проще простого, а вот жизнь казалась загадкой. Мама вернулась в кабинет, плотно закрыла дверь. Она какое-то время что-то перебирала в сейфе, а потом вытащила зеленую коробочку. Раскрыла ее, подняла розовую ватку и вынула золотую цепочку, на которой висел очень красивый золотой медальон. Потом положила все обратно в коробочку и выбросила в мусорную корзину. Затем опустилась на диван и заплакала – так, как не плакала со дня свадьбы. Теми горько-сладкими жгучими слезами, которые рождаются из сочетания злости и вины.

Я был ловким мальчиком. В компании хитроумного Черного Орла (да, это было поступком малолетки, а не подростка, но иногда моральная поддержка просто необходима), когда все заснуло, я пробрался в отцовский кабинет и на ощупь перебрал в темноте все содержимое мусорной корзины, пока не нашел квадратную коробочку. Я схватил ее, благородный вождь арапахо жестом призвал меня быть очень осторожным. Следуя его указаниям, я зажег свет возле лупы, открыл коробочку и вытащил медальон. Потом закрыл коробочку и аккуратно положил обратно вглубь корзины. Адриа погасил свет и на цыпочках вернулся к себе в комнату. Он плотно закрыл за собой дверь. В доме двери никогда не закрывали, их обычно держали прикрытыми. Ардевол включил лампу на прикроватном столике, жестом поблагодарил Черного Орла и с колотящимся сердцем принялся рассматривать медальон. На нем в примитивной манере была выгравирована Дева Мария. Похоже, изображение какой-то романской статуи. Что-то вроде Муренеты^[128]. С крошечным Иисусом на руках. Любопытно, что рядом с Девой было изображено огромное дерево с пышной кроной. Обратная сторона медальона, где я надеялся найти разгадку, оказалась гладкой. И только одно слово «Пардак», грубо выгравированное внизу. И больше ничего. Я понюхал медальон, надеясь обнаружить аромат моего ангела. Не знаю почему, но я был твердо уверен, что эта вещь глубоко внутренне связана с моей большой, единственной и вечной итальянской любовью.

Мама каждое утро проводила в магазине. Входя туда, она раскрывала глаза пошире и уже не ослабляла внимания до ухода. Она чувствовала себя там как на войне и никому не доверяла. И это оказалось хорошим решением. Она неожиданно атаковала сеньора Беренгера, когда тот был

совсем не готов к нападению и не нашел способа уйти от ответа. Позже, совсем состарившись, он сам рассказывал мне, что временами невольно восхищался своей противницей. Никогда и подумать не мог, что твоя мама знает, что такое счета или чем эбеновое дерево отличается от вишневого. Но она знала и это, и о серых торговых операциях твоего отца.

– Серых операциях?

– Даже, скорее, о черных.

То есть она взяла управление магазином в свои руки и начала распоряжаться: ты сделаешь вот это, а вы – вот это, не глядя никому в глаза.

– Сеньора Ардевол! – сказал сеньор Беренгер однажды, входя в кабинет сеньора Ардевола (он так навсегда и остался кабинетом сеньора Ардевола). Он произнес: сеньора Ардевол, и голос его звенел от негодования.

Она молча и настороженно посмотрела на него.

– Мне кажется, что у меня после стольких лет есть право рассчитывать на другое обращение. Я хорошо разбираюсь в делах, я езжу, я покупаю и знаю цены покупки и продажи. Я умею торговаться. Я! Ваш муж всегда доверял мне. И несправедливо сейчас так со мной обходиться. Я знаю свою работу!

– Ну так и выполняйте ее. Но теперь задания вам даю я. В частности, что касается тех трех туринских консолей. Купите две, если третью нам не подарят.

– Но лучше все три! Так цена будет...

– Две! Я сказала Оттавиани, что вы приедете завтра.

– Завтра?

Не то чтобы ему не нравилось путешествовать, наоборот – очень нравилось. Но уехать на несколько дней в Турин значило оставить магазин в руках этой ведьмы.

– Да, завтра. Сегодня вечером Сесилия купит билеты. А вернетесь послезавтра. Если будет необходимо принять какое-то решение, которое мы с вами не обсудили, позвоните мне.

Да, в магазине все изменилось. Сеньор Беренгер несколько недель так и жил – с раскрытым от удивления ртом. А Сесилия эти несколько недель прожила, старательно пряча от него улыбку: в кои-то веки для нее все сложилось удачно и бутерброд маслом вниз упал не у нее. Какая сладкая вещь – месть!

Но сеньор Беренгер все видел. И тем утром, перед тем как сеньора Ардевол пришла в магазин и перевернула там все с ног на голову, он встал перед Сесилией, уперев руки в стол и наклонившись к ней всем корпусом:

чему же ты радуешься, а?

– Да так... Просто радуюсь, что наконец-то кто-то наведет здесь порядок, а вас возьмет на короткий поводок.

Сеньор Беренгер заколебался: влечь ей пощечину или задушить. А она посмотрела ему в глаза и добавила: этому и радуюсь.

Сеньор Беренгер редко терял контроль над собой. Он обогнул стол и схватил Сесилию за руки с такой силой, что казалось, сейчас сломает ей кости. Она вскрикнула от боли. Когда сеньора Ардевол ровно в десять часов вошла в магазин, то тишина там стояла такая, что ее можно было резать бритвой. Тут кто угодно заподозрил бы неладное.

– Добрый день, сеньора Ардевол.

Сесилия не могла дать объяснения хозяйке, поскольку в магазин вошла клиентка, желавшая купить два стула, которые бы составили гарнитур с комодом на этом фото, видите, вот с точно такими же ножками, посмотрите!

– Пройдите ко мне в кабинет, сеньор Беренгер.

Они все решили про поездку в Турин за пять минут. Затем сеньора Ардевол открыла каталожный шкаф сеньора Ардевола, достала оттуда ящик, поставила на стол и, не глядя на свою жертву, сказала: а теперь потрудитесь дать мне объяснения, почему это, это, это и вот это не сходится. Покупатель заплатил нам двадцать, а в банк поступило только пятнадцать.

Сеньора Ардевол начала постукивать по столу пальцами так, как это делал лучший в мире детектив. Потом посмотрела на сеньора Беренгера: вот здесь, здесь и здесь – больше сотни сделок в ущерб нам. Сеньор Беренгер посмотрел, скривив лицо, на первое «здесь» и понял, что она знает. Как ей это удалось, черт побери...

– Мне помогла Сесилия, – сказала мама, словно догадавшись о мыслях в голове сеньора Беренгера. – Одна я бы не разобралась.

Вот чертовы шлюхи – что одна, что другая! Что значит работать с женщинами!

– И как давно вы проделываете такое в ущерб интересам нашей семьи? Он с достоинством молчал. Словно Иисус перед Пилатом.

– С самого начала?

Он продолжал молчать – с еще бóльшим достоинством, чем Иисус.

– Я буду вынуждена сообщить в полицию.

– Я делал это с разрешения сеньора Ардевола.

– Так я и поверила!

– Вы ставите под сомнение мою порядочность?

– Еще бы! С какой стати моему мужу позволять вам обкрадывать нас?
– Я никого не обкрадывал! Это моя доля по справедливости.
– Из каких же соображений мой муж позволял вам такие комиссионные?

– Потому что он знал, что мое жалованье слишком маленькое по сравнению с тем, что я делаю для вашей семьи.

– Отчего бы ему просто не повысить вам жалованье?
– Это надо спросить у него! Извините. Но так и есть.
– У вас есть документ, подтверждающий ваши слова?
– Нет. Это была устная договоренность.
– Стало быть, придется сообщить в полицию.
– Знаете, зачем Сесилия подсунула вам эти квитанции?
– Нет.
– Потому что хочет свести со мной счеты.
– Зачем? – Мама, заинтригованная, оперлась на кресло в вопросительной позе.

– Тут надо начинать издаleка...
– Сядьте! У нас есть время – ваш самолет улетает вечером.
Сеньор Беренгер сел. Сеньора Ардевол поставила локти на стол и оперлась подбородком на руки. Потом посмотрела ему в глаза, приглашая начать рассказ.

– Идем, Сесилия, у нас мало времени.
Сесилия похотливо улыбнулась, как делала это, когда их никто не видел, и позволила сеньору Ардеволу взять себя за руку и отвести в кабинет.

– Где Беренгер?
– В Сарриа. Поехал за вещами из дома Перикас-Сала.
– А Кортес туда не поехал?
– Он не доверяет наследникам. Они хотят спрятать вещи.
– Вот крысы! Раздевайся!
– Дверь открыта.
– Это возбуждает. Раздевайся!

Сесилия стоит голая посреди кабинета, опутив взгляд и улыбаясь так невинно, будто ни разу такого не делала. Но я не поехал в дом Перикас-Сала, потому что я составил такую подробную опись, что мог послать туда кого угодно. Эта шлюха, сидя на столе, услаждала вашего мужа.

– Ты с каждым днем делаешь это все лучше.
– Кто-нибудь может войти в магазин.
– Занимайся своим делом. Если кто-нибудь войдет, я к нему выйду

в зал.

Представляешь? Они принялись смеяться как сумасшедшие, так что в конце концов уронили на пол чернильницу. До сих пор заметно пятно, видите?

– Я люблю тебя!

– А я – тебя. Поехали со мной в Бордо.

– А магазин?

– Оставим на сеньора Беренгера.

– Но он ничего в этом не смыслит.

– Ты думай о себе. Поедем в Бордо, и у нас будет праздник каждую ночь.

Тут зазвонил колокольчик входной двери и в магазин вошел клиент, желавший купить японский кинжал, который присмотрел еще на прошлой неделе. Сесилия срочно начала приводить себя в порядок.

– Обслужишь его, Сесилия?

– Одну минуту, сеньор Ардевол!

Раскрасневшаяся, без нижнего белья, торопливо стирая неровные следы от помады, Сесилия вышла из кабинета к клиенту, а Феликс рассеянно смотрел ей в спину.

– Зачем вы все это мне рассказываете, сеньор Беренгер?

– Чтобы вы все знали. Это длилось несколько лет.

– Я не верю ни одному вашему слову.

– Ну так это не все. Это еще не вся история.

– Что ж, рассказывайте. Я же сказала – у нас есть время.

– Ты – трус. Нет-нет, дай мне сказать: трус! Пять лет я слышу эту песню: да, Сесилия, в следующем месяце я все ей расскажу, обещаю тебе! Трус! Пять лет водишь меня за нос. Пять лет! Я не наивная девочка! (...) Нет, нет, нет. Сейчас говорю я: мы никогда не будем жить вместе, потому что ты меня не любишь. Нет, это ты помолчи, моя очередь говорить. Я сказала тебе, чтобы ты замолчал! Можешь засунуть себе в задницу все свои красивые слова! Все кончено. Слышишь меня? Что? (...) Нет. Не говори мне ничего! Что? Потому что я повешу трубку, когда захочу. (...) Нет, дорогой, когда мне приспичит.

– Я уже сказала, что не верю ни единому слову. Я знаю, что говорю.

– Ваше право. Думаю, мне следует поискать другую работу.

– Нет. Ежемесячно вы будете возмещать украденное – и можете продолжать работать.

– Я предпочитаю уволиться.

– Что ж, тогда я заявлю на вас в полицию, сеньор Беренгер.

Мама вынула из папки листок, на котором были написаны какие-то цифры.

– Ваше жалованье с сегодняшнего дня. Вот сумма, которую я буду удерживать. Я хочу, чтобы вы вернули мне все до последнего дура. А сидя в тюрьме, вы не сможете мне вернуть деньги. Итак, что вы выбираете, сеньор Беренгер?

Сеньор Беренгер открывал и закрывал рот, словно рыба на берегу. И тут он почувствовал дыхание сеньоры Ардевол на своей коже – она поднялась, обогнула стол и приблизила к нему лицо, чтобы тихо и нежно сказать: а если со мной вдруг случится что-нибудь странное, то имейте в виду, что все сведения для полиции и необходимые инструкции к ним хранятся в сейфе одного нотариуса в Барселоне, двадцать первое марта тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, подписано Карме Боск д'Ардевол. Я – такой-то и такой-то, нотариус, заверяю. И после паузы повторила: так что вы выбираете, сеньор Беренгер?

Словно кто-то ее толкал, заставляя забыть всякий стыд и подчиниться порыву, она требовала аудиенции у гражданского губернатора Барселоны, отвратительного Аседо Колунги. В своей роли вдовы генерала Морагеса сеньора Карме Боск д'Ардевол предстала перед личным секретарем губернатора с прошением о правосудии.

– Правосудии для кого, сеньора?

– Для убийцы моего мужа.

– Мне необходимо больше информации, чтобы понять, о ком вы говорите.

– Я изложила все обстоятельства в бумаге, обосновывающей мое прошение об аудиенции. Детально. – Пауза. – Вы ее читали?

Секретарь губернатора посмотрел в бумаги, лежащие перед ним. Внимательно прочел. Черная вдова старалась выровнять дыхание и думала, что стоит тут, теряя нервы и здоровье, ради человека, который с самого начала ее игнорировал и никогда не любил в своей «ссучьей жизни».

– Очень хорошо, – сказал секретарь. – И чего вы желаете?

– Говорить с его превосходительством сеньором гражданским губернатором.

– Вы уже говорите со мной, это одно и то же.

– Я хочу говорить с губернатором лично.

– Невозможно, выбросьте это из головы.

– Но...

– Вы не можете этого сделать.

Она не могла этого сделать. Выйдя из резиденции губернатора

на трясущихся от злости ногах, она приняла решение оставить эти попытки. Быть может, чудесное явление моего итальянского ангела подтолкнуло ее к этому даже больше, чем презрительное отношение франкистских властей. А также настойчивое желание некоторых людей представить Феликса человеком, неразборчивым в связях и одержимым сексом. А может, что-то еще стало причиной того, что она пришла к заключению, что больше не хочет требовать справедливости ради человека, который был так несправедлив к ней самой. Да. Или нет. Самым загадочным человеком в моей жизни был отец, а потом – до нашей встречи с тобой – мама. Через несколько дней все переменялось, и она изменила свое решение. Об этом я могу рассказать как свидетель, ничего не придумывая.

– Дззззззыннннннь!

Дверь открыл я. Мама недавно вернулась из магазина и, кажется, была в ванной. Табачная вонь, сопровождавшая комиссара Пласенсию, ворвалась в дом первой.

– Сеньора Ардевол? – Его лицо исказила гримаса, которая должна была изображать улыбку. – Мы ведь знакомы?

Мама повела оставлявшего за собой табачный шлейф комиссара в кабинет. У нее сердце стучало – бум, бум, бум, а у меня – бам, бум, бом, потому что я созвал на срочный совет Черного Орла и Карсона – пешими, без лошадей, чтобы не шуметь. Галерея с окном была занята Лолой Маленькой, поэтому мне пришлось совершить безумный поступок: я, словно вор, проскользнул за диван, пока мама и полицейский двигали стулья и усаживались. Я в последний раз использовал диван как укрытие: у меня слишком выросли ноги. Мама вышла на минуту в коридор, чтобы сказать Лоле: меня не беспокоить, даже если в магазине случится пожар, ясно? Затем вернулась и плотно закрыла дверь. А мы – пятеро – остались внутри.

– Говорите, комиссар.

– Как я понимаю, вы дискредитировали меня перед его превосходительством губернатором.

– Я никого не дискредитирую и не критикую. Лишь требую информацию, на которую имею право.

– Что ж, сейчас вы ее получите. И уж постарайтесь понять ситуацию.

– Уж постараюсь, – ответила она иронично. Я молча аплодировал ей, как когда-то аплодировала мне лучшая в мире супруга лучшего в мире палеографа.

– С сожалением вынужден сообщить вам, что если мы копнем глубже

жизнь вашего мужа, то обнаружим весьма неприятные вещи. Хотите услышать?

– Еще как!

Думаю, что маму после появления моего итальянского ангела (я любовно глажу медальон, который тайком ношу на шее) уже сложно удивить. Поэтому она прибавляет: начинайте, комиссар.

– Предупреждаю, вы потом скажете, что я все выдумал и вы не верите.

– И все-таки попробуйте.

– Очень хорошо.

Комиссар сделал паузу и начал говорить правду и ничего, кроме правды. Он рассказал, что сеньор Феликс Ардевол был преступником, содержал в Барселоне два публичных дома и был причастен к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией. Вы понимаете, о чем я, сеньора?

– Продолжайте.

– Il fait déjà beaucoup de temps que son mari mène une double vie, madame Ardevol. Deux prostíbuls (prostiboules?) amb l'agreuja (agreuja?) de faire, de... de... d'utiliser des filles de quinze ou seize ans. Je suis désolé d'être obligé de parler de tout ça^[129].

Нога, к счастью, перестала трястись, а то сегодня французский не лез в голову. Так что я смог вновь сосредоточиться на неудобоваримом испанском комиссара. Мне показалось, что Карсон бросил взгляд на мою ногу, чтобы удостовериться, что я больше ею не дергаю.

– Желаете, чтобы я продолжал, сеньора?

– Будьте добры.

– Я думаю, что преступление против вашего мужа совершил отец одной из девочек, которых покойный заставил заниматься проституцией. Видите ли, перед тем как отправить их в публичный дом, он испытывал их лично. Вы меня понимаете? – И уточнил с нажимом: – Лишал их девственности.

– Даже так?

– Да.

– То есть двойное преступление.

– Да, содержание публичного дома и изнасилование несовершеннолетних. Трудно поверить в этот ужас. Мурашки по коже от мысли об этих девочках. Или их родителях. Не возражаете, если я закурю?

– Даже не думайте курить тут, комиссар!

– Если хотите, мы можем продолжать расследование и найти

отчаявшегося отца, который, совершив правосудие на свой манер, исчез. Но любое наше действие выставит на всеобщее обозрение грязное белье вашего мужа.

Тишина. Нога угрожала начать *de bouger encore une fois*^[130]. Какие-то звуки. Возможно, разочарованный комиссар убирал свою сигару. Внезапно мамин голос:

– Знаете что, комиссар?

– Да?

– Вы были правы. Я не верю ни единому вашему слову. Все это вы выдумали. Только надо понять – зачем?

– Видите? Видите? Я вас предупреждал, что так будет. – Повысив голос: – Предупреждал или нет? А?

– Это не аргумент.

– Если вы не боитесь последствий, я могу размотать клубок до конца. Какие мерзости при этом могут всплыть на поверхность... об этом знает только ваш муж.

– Всего доброго, комиссар. Это была хорошая попытка.

Мама говорила, как Олд Шаттерхенд, немного выпендриваясь. Мне это понравилось. Карсон и Черный Орел были под впечатлением. Настолько, что Черный Орел вечером попросил меня звать его Виннету^[131], но я не согласился. Мама сказала комиссару всего доброго и даже не шелохнулась. Набравшись опыта, наводя порядок в делах магазина, она приобрела вкус к хорошо продуманным мизансценам. Полицейскому не оставалось ничего иного, как подняться со стула, – согласен он или нет. А мне надо было обдумать теперь все рассказанное комиссаром об отце (пусть я не все до конца понял) и решить: верить или нет.

– Хау!

– Да? Публичный дом... и что за второе слово?

– Плаституния? – попробовал вспомнить Карсон.

– Не знаю... Что-то вроде этого...

– Тогда сначала посмотрим «публичный дом». В словаре «Эспаз», да.

– «Публичный дом: дом терпимости, лупанарий, бордель».

– Черт... Нужно смотреть том на «Д». Вот.

– «Дом терпимости: публичный дом, лупанарий, дом с продажными женщинами».

Молчание. Все трое несколько растерялись.

– А «лупанарий»?

– «Лупанарий: дом терпимости, бордель, публичный дом». Вот блин!

Lugar o casa que sirve de guarida a gente de mal vivir^[132].

– Теперь «бордель».

– «Бордель: дом терпимости, лупанарий».

– Черт.

– Эй, подожди. Casa o lugar en que se falta al decoro con ruido y confusión^[133].

Получается, что отец владел домами терпимости, то есть домами, где шумели и был беспорядок. И за это его убили?

– А если посмотрим «пластитунью»?

– А как это будет по-испански?

Мы помолчали. Адриа был растерян.

– Хау!

– Да?

– Это все не из-за шума. Это из-за секса.

– Уверен?

– Уверен. Когда воин достигает возраста и становится мужчиной, шаман объясняет ему секреты секса.

– Когда я достигну возраста, мне никто не объяснит секреты секса.

Молчание – с оттенком горечи. Потом я слышу, как кто-то коротко сплюнул.

– Говори, Карсон!

– Я бы сказал...

– Ну так говори!

– Нет. Ты еще не в том возрасте.

Шериф Карсон был прав. Я вечно не в том возрасте. То слишком молод, то слишком стар.

– Положи руки в горячую воду. Вытаскивай, вытаскивай, чтобы они не слишком размякли. Пройдись. Не нервничай. Успокойся. Ходи. Дыши глубоко. Теперь остановись. Вот так. Очень хорошо. Думай о начале. Посмотри на вход в зал и поприветствуй. Хорошо. Теперь поприветствуй. Нет, парень, не так, боже ты мой! Ты должен поклониться, должен сдаться публике. Не изнемогать, нет. А так, чтобы публика решила, что ты сдался на ее милость. Но когда ты поднимешься до моего уровня, то узнаешь, что ты – лучший и что другие должны преклонять колени перед тобой.

Говорю тебе – не нервничай. Вытри руки, ты же не хочешь подхватить насморк? Возьми скрипку. Ласкай ее, властвуй, думай, что ты велишь ей делать то, что хочешь. Думай о первых тактах. Вот так, без смычка, изобрази, будто касаешься струн. Очень хорошо. Теперь можешь вернуться к гаммам.

Маэстро Манлеу, пылая восторгом, вышел из гримерки, и я смог нормально дышать. Я успокаивался, играя гаммы, легко извлекая звуки, избегая фальши, скользя смычком, бережно расходуя канифоль и дыша. И тогда Адриа Ардевол сказал, что никогда больше, что это одно мучение, что он не готов выходить на сцену и раскладывать на прилавке товар – вдруг кто купит за горстку аплодисментов. Из зала доносились звуки прелюдии Шопена, очень хорошо исполненной. Я представил себе руку прекрасной барышни, ласкающей клавиши пианино... Я больше не мог: оставил скрипку в раскрытом футляре и бросился к занавесу – посмотреть. Это была невероятно прекрасная девушка. И я влюбился в нее немедленно и без памяти. Я хотел бы быть тем пианино, к клавишам которого она прикасалась. Когда эта невероятная красавица закончила играть и очаровательно раскланялась, Адриа неистово заплодировал. Тут кто-то жестко ухватил его за плечо:

– Какого черта ты тут делаешь? Тебе сейчас выступать.

По пути в гримерку маэстро Манлеу бранил безответственного мальчишку двенадцати или тринадцати лет, которому лень выступать, хоть это его первый выход на сцену, словно это нужно только твоей маме и мне, как непрофессионально – стоит тут, раскрыв рот. После выговора я опять утратил всякое спокойствие. Я поздоровался с профессором Мари, которая уже стояла у выхода на сцену (видишь? вот она – профессионал). Она подмигнула мне и сказала: не волнуйся, ты замечательно играешь, а будешь еще лучше. И не обгоняй меня во вступлении: ты – ведешь, я лишь подхватываю, не торопись. Как на последней репетиции. Тут Адриа почувствовал дыхание маэстро Манлеу на своем затылке.

– Дыши. Не смотри на публику. Приветствуй ее элегантно. Ноги слегка расставлены. Смотри вглубь зала и начинай играть, даже если аккомпаниатор еще не совсем готова. Сейчас ты – ее повелитель.

Я хотел знать, кто та девочка, что выступала передо мной, чтобы поприветствовать ее, или поцеловать, или обнять, или вдохнуть запах ее волос. Но видимо, выходили со сцены с другой стороны. Я услышал, как объявляют выступление Адриа Ардевола-и-Боска с аккомпаниатором Антонией Мари. Это значит – мы должны выходить. И тут я увидел, что Бернат, который клялся: да не переживай ты, в самом деле, Адриа,

спокойно, я не приду, клянусь, сидит в первом ряду, подлый *marica*, и прячет, как мне показалось, глумливую улыбку. А рядом его родители, вот гад. И моя мама с двумя сеньорами, которых я никогда раньше не видел. И маэстро Манлеу пристроился к ним и что-то шепчет маме на ухо. И больше половины зала незнакомых мне людей. Меня скрутило непреодолимое желание немедленно пописать. Я прошептал аккомпаниатору Мари, что мне нужно в туалет. Она ответила: не волнуйся, никто не уйдет, не послушав твоей игры.

Адриа Ардевол не пошел в туалет. Он забежал в гримерку, спрятал скрипку в футляр и оставил там. Несясь к выходу, он наткнулся на Берната, который испуганно посмотрел на него и сказал: куда ты рванул, осел? Он ответил: домой. А Бернат: да ты совсем псих! Адриа сказал: ты должен мне помочь! Скажи, что меня увезли в больницу, или еще что-нибудь. И выскочил из Казал-дел-Метже^[134] на шумную вечернюю виа Лаэтана. На улице я понял, что вспотел как мышь. Повернулся и пошел домой. Я шел больше часа и не знал, что Бернат поступил как настоящий друг: вернулся в зал и сказал маме, что я плохо себя почувствовал и меня отвезли в больницу.

– В какую больницу, дитя мое?

– Откуда я знаю! Таксист увез.

Стоя посреди коридора, маэстро Манлеу раздавал противоречивые указания. Он был совершенно выведен из себя, поскольку его окружили абсолютно незнакомые люди, которые почти не сдерживали смех, а Бернат ничего не желал пояснять, стараясь таким образом помешать выскочить на улицу и увидеть, как я удираю по виа Лаэтана.

Спустя час я был дома. Лола Маленькая, увидев, что я пришел, совершила ужасное: позвонила в Казал-дел-Метже, глупая (у взрослых всегда круговая порука). Так что очень скоро мама ввела меня в кабинет, куда вошел также маэстро Манлеу, и закрыла дверь. Дальше начался кошмар. Мама: о чем, о чем ты думал? Я: я не хотел выступать. Мама: о чем, о чем ты думал? Маэстро Манлеу, воздевая руки: уму непостижимо! уму непостижимо! Я: я сыт по горло, мне нужно свободное время для чтения. Мама: нет, ты будешь заниматься скрипкой, а когда вырастешь, тогда и будешь принимать решения. Я: ну так я его уже принял. Мама: в тринадцать лет у тебя нет права принимать решения. Я оскорбленно: в тринадцать с половиной! Маэстро Манлеу, воздевая руки: уму непостижимо! уму непостижимо! Мама: о чем, о чем ты думал? – и так еще несколько раз. А потом: эти уроки мне обошлись в целое состояние, а ты... Маэстро Манлеу, услышав в ее словах намек, решил уточнить: нет,

не целое состояние. Я беру дорого, но мои уроки на самом деле стоят еще дороже, примите это во внимание. Мама: а я говорю, вы берете очень дорого, просто зверски дорого. Маэстро Манлеу: что ж, если я вам не по карману, то давайте расстанемся, ваш сын отнюдь не Ойстрах. А мама отбрила: даже не думайте – вы сказали, что мальчик стоящий и вы сделаете из него скрипача. Тем временем я начал успокаиваться, потому что теперь мяч перешел на их половину поля и мне не нужно было переводить разговор на французский. Лола Маленькая, проклятая предательница, просунула голову в дверь и сказала, что срочно звонят из Казал-дел-Метже. Мама, прежде чем выйти, обронила: разговор не окончен, я сейчас вернусь. А маэстро Манлеу приблизил свое лицо к моему и произнес: ах ты, сукин трус, у тебя же разучена эта соната! Я ответил ему: ну и что? Я не хочу выступать на публике. Он: а что об этом подумает Бетховен? Я: Бетховен уже умер и ничего не узнает. Он: упрямый осел! Я: *marica*. В кабинете повисло тяжелое молчание.

– Что ты сказал?

Мы замерли друг против друга. Тут вернулась мама. Маэстро Манлеу – с вздернутыми руками и отвалившейся челюстью – еще не вышел из ступора. Мама сказала: ты наказан. Будешь сидеть дома под замком и выходить только в школу и на уроки музыки. А сейчас отправляйся в свою комнату. Я еще подумаю, будешь ты сегодня ужинать или останешься голодным. Иди! Маэстро Манлеу так и стоял с вздернутыми руками и отвалившейся челюстью.

В качестве протеста я плотно закрыл дверь в свою комнату. Пусть мама возмущается, если хочет. Я открыл свою коробку с сокровищами, где хранил все ценное, кроме Черного Орла и Карсона, которые жили снаружи. Насколько я помню, там лежали двойной вкладыш с «мазерати», несколько стеклянных шариков и медальон моего ангела, когда я не носил его, – память о ее улыбке и алых губах, произнесших: *ciao*, *Adriano*! А Адриа представлял, как произносит в ответ: *ciao, angelo mio*!

Его вызвали в пыльный класс, где у младших проходили уроки сольфеджио, – в другое здание. Темень и пыль приглушили крики ребят, гонявших мяч во дворе. Свет горел в конце коридора, там, где был класс.

– Входи, артист.

Отец Бартрина был весь какой-то угловатый, высокий и сухопарый. Сутана ему была коротка, и из-под нее торчали брючины. Он сутулился, и оттого казалось, что он вот-вот обнимет своего собеседника. Он был приветлив и спокойно принимал тот факт, что ученики совершенно

не интересовались сольфеджио. Но поскольку отец Бартрина был учителем музыки, то преподавал сольфеджио *sanseacabó*^[135]. Проблема была только в том, как сохранить авторитет учителя, если все без исключения ученики абсолютно не интересуются музыкой и понятия не имеют, где нужно рисовать ноту *фа*. От такой жизни он сильно сутулился. Дни проходили за днями, одни ученики сменялись другими, а он так и стоял перед огромной грифельной доской, расчерченной четырьмя нотными станами красного цвета, с помощью которых абсурдным образом объяснял разницу между черной нотой (штрихуя ее белым мелом) и белой (рисую пустой кружок на черной доске).

– Здравствуйте.

– Мне сказали, что ты играешь на скрипке.

– Да.

– И что ты отказался играть в Казал-дел-Метже.

– Да.

– Почему?

И Адриа объяснил ему свою теорию технического совершенства, являющегося основным требованием в профессии исполнителя.

– Дело не в техническом совершенстве. Просто у тебя *trac*^[136].

– Что?

И отец Бартрина объяснил ему свою теорию о страхе артиста перед публикой, вычитанную им в одном английском музыкальном журнале. Нет. Это совсем не то, думал я. Но сложно заставить его понять это. Это не то что я боюсь: я просто не хочу идти по пути технического совершенства. Я не хочу делать работу, в которой нет места ошибкам или колебаниям.

– В исполнительском мастерстве есть место и ошибкам, и колебаниям. Но все они остаются за сценой, в учебном классе. Когда исполнитель стоит на сцене перед публикой, он выше всех колебаний. И *sanseacabó*.

– Неправда!

– Что?

– Простите. Я с вами не согласен. Я слишком люблю музыку, чтобы ставить ее в зависимость от одного неудачно поставленного пальца.

– Сколько тебе лет?

– Тринадцать с половиной.

– Тогда не говори, как ребенок.

Он мне выговаривал? Я испытующе посмотрел ему в глаза, но не увидел в них никакого тайного умысла.

– Почему ты никогда не ходишь к причастию?

– Я не крещен.
– Господи Боже!
– Я не католик.
– А кто ты? – И уточнил осторожно, пока я размышлял: – Протестант? Иудей?

– Я никто. Мы все дома – никто.
– Нужно об этом поговорить более спокойно.
– Руководство школы обещало родителям, что со мной не будут говорить на эту тему.

– Господи Боже! – И себе самому: – Нужно изучить этот вопрос. – А потом продолжил обвиняющим тоном: – Мне сказали, что ты записан на изучение всех предметов.

– Да. Но это не моя заслуга, – защищался я.
– Почему?
– Потому что это легко. У меня хорошая память.
– Правда?
– Да. Я помню все.
– И можешь играть без партитуры?
– Конечно. Если прочел ее один раз.
– Невероятно! Невероятно!
– Вовсе нет. Потому что у меня нет абсолютного слуха. А у Пленсы – есть.

– У кого?
– Пленса из четвертого «С». Он играет на скрипке вместе со мной.
– Пленса? Такой довольно высокий и светлый?
– Да.
– Он играет на скрипке?

Что ему нужно, а? Зачем этот человек устроил мне этот допрос? Закончит он когда-нибудь? Я утвердительно кивнул, а сам подумал, что, возможно, виноват перед Бернатом за эти разлагольствования.

– Мне сказали, что ты знаешь языки.
– Нет.
– Нет?
– Ну... французский... мы его здесь учим.
– С начала года. Но говорят, что ты уже неплохо его знал.
– Это потому... – Что я ему мог сказать?
– И немецкий.
– Ну, я...
– И английский.

Он говорил это, как будто вкладывая пальцы в рану после того, как поймал меня на месте преступления. Адриа не оставалось ничего другого, как защищаться. Ардевол подтвердил – да, и английский.

– Который ты учил сам.

– Нет, – возразил я. – Это неправда. Я занимался с учителем.

– Но мне сказали...

– Нет, это итальянский. Вот его я учил сам.

– Невероятно!

– Да нет, это очень просто. Романские языки. Если знаешь каталанский, испанский и французский, это возможно. Я хочу сказать – это очень легко тогда.

Отец Бартрина оглядел его сверху вниз, словно пытался понять, не издевается ли над ним этот подросток. Адриа прибавил в качестве извинения:

– Но я уверен, что итальянское произношение у меня ужасное.

– Неужели?

– Да. Они ставят ударение туда, куда я бы никогда не поставил.

Повисло долгое молчание. Потом отец Бартрина спросил:

– Чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь?

– Не знаю. Читать. Изучать что-нибудь. Не знаю.

Молчание. Отец Бартрина сделал несколько шагов к балкону. Вынул откуда-то из складок сутаны белейший платок и промокнул губы в задумчивости. Движение по улице Льюрия было оживленным, иногда даже очень. Отец Бартрина повернулся к мальчику, стоявшему посреди класса. И тут спохватился:

– Садись, садись.

Я сел за парту, по-прежнему не понимая, чего хочет этот человек. Он приблизился и сел за соседнюю парту. Посмотрел мне в глаза:

– Я играю на пианино.

Молчание. Я так и думал, потому что на уроке он брал то один аккорд, то другой, пока мы, полусонные, делали упражнения на сольфеджио. Я ждал, что будет дальше. Но ему, казалось, было сложно продолжать. Наконец он решился:

– Мы можем сыграть «Крейцерову сонату» на празднике в честь конца учебного года. Как ты думаешь? В Палау-де-ла-Музика^[137]. Тебе нравится эта идея – сыграть в Палау-де-ла-Музика?

Я молчал. Представил, как все меня дразнят *marica*, а я стараюсь быть безукоризненным на сцене... Врата ада разверзлись предо мной.

– Ты ведь должен был играть в Казал-дел-Метже. Ты же помнишь

об этом?

Он впервые улыбнулся, желая ободрить меня. Желая уговорить меня. Чтобы я ответил: да. Я молчал, потому что мне в голову пришла замечательная мысль. Я подумал, что это и здесь мне может помочь. И я спросил: отец Бартрина, а вас тоже называют *marica*?

Адриа Ардевол-и-Боск из 3 «А» класса был исключен из школы на три дня по неясным причинам, которые он отказался прояснить маме. Для одноклассников он был болен ангиной. Что касается Берната... Когда Адриа сказал ему: а что, если ты такой же *marica*, как и я, тот просто взвился до потолка.

– Ты – *marica*?

– Откуда я знаю? Эстебан говорит, что да, потому что я играю на скрипке. Значит, и ты тоже. И отец Бартрина, хоть он играет на пианино, но думаю, это не принципиально.

– И Яша Хейфец.

– Думаю, да. И Пау Казалс [\[138\]](#).

– Ага. Но меня никто так не называл.

– Потому что никто не знает, что ты играешь на скрипке. Бартрина вот не знал.

Вместо того чтобы войти в здание консерватории, оба друга замерли, не обращая внимания на оживленное движение по улице Брук. Бернат высказал идею:

– А почему ты не спросишь у мамы?

– А почему ты не спросишь у своей? Или у отца, благо он у тебя есть.

– Но меня-то не исключили из школы, я никого не называл *marica*!

– А если мы спросим у Трульолс?

В тот день Адриа решил сходить на урок к Трульолс, чтобы посмотреть, взбесится ли маэстро Манлеу. Учительница была рада его видеть, отметила прогресс в его игре и никак не прокомментировала инцидент в Казал-дел-Метже, о котором, конечно, знала. Они не спросили ее о загадочном слове *marica*. Трульолс жаловалась, что сегодня мы нарочно оба фальшивим, чтобы быстрее ей надоест, но это была неправда. Просто, помимо прочего, прежде чем зайти в класс, мы слышали, как мальчик младше нас (мне кажется, его звали Кларет) играл на скрипке, как двадцатилетний. От этого я завелся и почувствовал себя маленьким.

– Ха, а у меня не так. Я злюсь и занимаюсь больше.

– Ты станешь великим скрипачом, Бернат.

– Ты тоже.

Странно, когда такие разговоры ведут подростки возраста Берната и Адриа. Но скрипка в руках меняет людей. Вечером Адриа солгал маме. Сказал, что его выгнали из школы из-за того, что он смеялся над учителем, который кое-чего не знал. Мама, голова которой была занята магазином и махинациями Даниэлы, моего итальянского ангела, прочла Адриа нотацию – хоть и полезную, но в которую сама мало верила. Она сказала: ты должен знать, что Господь наделил тебя исключительными способностями. Но помни, что это не твоя заслуга, а подарок природы. Адриа подумал, что сейчас, после смерти отца, мама вновь заговорила о Боге, то и дело путая его с природой. Того и гляди выяснится, что Бог существует, а я тут ушами хлопаю.

– Я понял, мама. Я больше так не буду. Прости.

– Нет, прощения ты должен просить у учителя.

– Да, мама.

Она не спросила ни что за учитель, ни что именно Адриа ему сказал, ни что тот ему ответил. Все это осталось тайной. После ужина она ушла в кабинет отца, где на столе для инкунабул лежали раскрытые приходно-расходные книги.

Пока Лола Маленькая убирала со стола и приводила в порядок кухню, Адриа слонялся вокруг, делая вид, что помогает. Убедившись, что мама занята в кабинете, он проскользнул в кухню, прикрыл дверь и, пока смущение не помешало ему, выпалил: Лола, ты можешь мне объяснить, почему меня в школе называют *marica*?

Я никак не мог уснуть, думая, как ткну Берната носом в его невежество. Берната, который всегда знал те вещи, которые мы не должны были знать. Это лишило меня сна. Я слышал, как колокола на церкви Консепсьо бьют одиннадцать, а ночной сторож стучит палкой в металлические ворота дома Сула и грохот раздается на весь квартал – в те времена, когда правил Франко и Земля нам казалась плоской; в те времена, когда я был ребенком и мы не были знакомы; в те времена, когда Барселона погружалась в сон, как только на город спускалась ночь.

III. Et in Arcadia ego [\[139\]](#)

*В молодости я боролся за то, чтобы быть собой;
а теперь смирился с тем, что я есть.*

Жузен Мария Мурререс

Адриа Ардевол очень повзрослел. Время шло не напрасно. Он уже узнал, что значит *marica*, и даже раскопал, что значит «теодицея». Черный Орел, вождь арапахо, и благородный шериф Карсон пылились на полке рядом с Сальгари, Карлом Маем, Зейном Греем и Жюлем Верном. Но от неотступной маминой опеки я так и не избавился. Покорность позволила сделать из меня техничного скрипача, играющего механически, без души. Эпигона Берната. Маэстро Манлеу счел мое позорное бегство со сцены признаком гениальности. Отношения между нами не изменились, только после того вечера он решил, что имеет право иногда отчитывать меня в воспитательных целях. Мы с маэстро Манлеу никогда не говорили о музыке, только обсуждали репертуар других скрипачей, таких как Венявский, Нардини, Виотти, Эрнст, Сарасате, Паганини и, главное, Манлеу, Манлеу, Манлеу. Так что временами меня охватывало нестерпимое желание спросить: маэстро, а когда мы займемся настоящей музыкой? Но я знал, что этим лишь вызову бурю, из которой выйду сильно потрепанным. Поэтому мы обсуждали только репертуар, его репертуар. Положение руки и пальцев. Постановку ног. Какая одежда удобнее во время репетиций. И какое положение ног выбрать: Сарасате – Соре? Венявского – Вильгельми? Изаи – Иоахима? Или – для избранных – Паганини – Манлеу? Ты должен попробовать позицию Паганини – Манлеу, потому что я хочу, чтобы ты был избранным, хотя, к несчастью, ты не стал вундеркиндом, поскольку я слишком поздно появился в твоей жизни.

Возобновление уроков музыки после бегства Адриа шло очень тяжело, потому что сеньора Ардевол существенно укрепила свои позиции, а вот гонорар маэстро Манлеу значительно снизился. С самого начала это были уроки, где гений демонстрировал, как он оскорблен в своих лучших чувствах мальчишкой, который по слабости своего характера не знает, чего

хочет, и из которого пытаются сделать полугения. Постепенно рутина обучения взяла свое и уроки вошли в обычное русло – вплоть до того дня, когда маэстро велел: принеси свою Сториони.

– Зачем, маэстро?

– Хочу послушать, как она звучит.

– Мне нужно получить разрешение от мамы. – После стольких неприятностей Адриа научился осмотрительности.

– Уверен, ты его получишь, когда скажешь, что это моя просьба.

Мама сказала ему: да ты с ума сошел? что ты себе вообразил? у тебя есть Паррамон, и довольно. Адриа какое-то время продолжал настаивать, но она отрезала: если я сказала «нет», это значит – «нет». Тогда, прежде чем выйти, он выдавил, что это личная просьба и желание маэстро Манлеу.

– Вот с этого и следовало начинать разговор, – сказала она серьезно. Очень серьезно, потому что мать и сын уже несколько лет находились в состоянии войны. Все было нормально, пока однажды Адриа не сказал: когда я вырасту, уйду из дома. Она: на что ты рассчитываешь? Он: на свои руки, на наследство отца, не знаю. Она: потрудись узнать, прежде чем уходить.

В следующую пятницу я пришел на урок со Сториони. Гораздо больше, чем послушать, как она звучит, маэстро хотел сравнить. Он сыграл тарантеллу Венявского на Сториони – она звучала просто прекрасно. А потом, блестя глазами и проверяя мою реакцию, продемонстрировал мне Гварнери 1702 года, некогда принадлежавшую самому Феликсу Мендельсону. И сыграл на ней ту же самую тарантеллу. Это тоже звучало просто прекрасно. Тут он с триумфальным выражением лица сообщил, что его Гварнери звучит в десять раз лучше, чем моя Сториони. И вернул мне ее, не скрывая удовлетворения.

– Маэстро, я не хочу быть скрипачом.

– Замолчи и играй.

– Маэстро, но я не хочу.

– А что скажут твои соперники?

– У меня нет соперников!

– Мальчик мой, – ответил он, усаживаясь в кресло, – все, кто сейчас изучает скрипку на продвинутом уровне, – суть твои соперники. И они ищут способ победить тебя.

И я вернулся к вибрато – вибрато с трелью – в поисках гармонии, к мартеле и тремоло. И с каждым днем все грустнел и грустнел.

– Мама, я не хочу быть скрипачом.

- Но ты уже скрипач!
- Я хочу прекратить занятия.

В качестве ответа мне организовали выступление в Париже. Чтобы ты увидел, какая блестящая музыкальная карьера ожидает тебя, сын.

– Мое первое выступление, – пустился в воспоминания маэстро Манлеу, – состоялось, когда мне было восемь лет. А ты дождался этого лишь к семнадцати. Ты никогда меня не догонишь. Но у тебя есть шанс приблизиться к моей славе. Я помогу тебе преодолеть страх сцены.

– Я просто не хочу быть скрипачом. Я хочу читать. А сцены я не боюсь.

– Бернат, я не хочу быть скрипачом.

– Хватит об этом, надоело уже. Ты отлично играешь, и тебе это ничего не стоит. Ты просто боишься сцены.

– Да, я хорошо играю. Но я не хочу быть скрипачом. Не хочу этим заниматься. И нет у меня никакого страха сцены.

– Делай что делаешь, только не бросай занятий.

Не то чтобы Бернату было наплевать на мое психическое здоровье или мое будущее. Но Бернат как бы тоже занимался у Манлеу – через меня. И успешно совершенствовал свою технику, не испытывая при этом тошноты ни от занятий, ни от инструмента. Ему не скручивало от боли желудок, потому что благодаря мне он был избавлен от самого Манлеу. А теперь Трульолс дала ему рекомендации к самому Массиа^[140].

Много лет спустя Адриа Ардевол понял, что его отвращение к карьере музыканта-виртуоза было единственно доступным способом сопротивления матери и маэстро Манлеу. И когда ему стало уже совсем невмоготу, он сказал маэстро Манлеу: я хочу заниматься музыкой.

– Что?

– Хочу играть Брамса, Бартока, Шумана. Ненавижу Сарасате.

Маэстро Манлеу несколько недель молчал, давая во время уроков указания исключительно жестами, а потом, в какую-то пятницу, положил на пианино пачку партитур толщиной с две ладони и сказал: давай выберем репертуар. Это был единственный раз в жизни, когда маэстро Манлеу признал его правоту. Один раз это сделал отец, а теперь вот маэстро Манлеу. Давай выберем репертуар. И словно мстя за то, что был вынужден признать мою правоту, он стряхнул чешуйку перхоти со своих темных брюк и предложил: двадцатого числа следующего месяца – в зале Дебюсси в Париже. «Крейцера соната», Сезар Франк, Третья симфония Брамса и что-нибудь из Венявского и Паганини на бис. Доволен?

Призрак страха перед сценой – да, я ужасно, невероятно боялся, хотя

обычно маскировал его такой симпатичной теорией о любви к настоящей музыке, которая мне не позволяет и т. д., – снова всколыхнулся во мне. Адриа покрылся испариной:

- А кто будет играть на пианино?
- Какой-нибудь аккомпаниатор. Я тебе найду.
- Но... Кто-нибудь, кто... Кто угодно не подойдет.
- Что за капризы? Ты – хозяин на сцене. Да или нет? Я найду тебе подходящего аккомпаниатора. Три сессии репетиций. А сейчас – читаем. Начнем с Брамса.

Адриа начал осознавать, что, возможно, игра на скрипке – своего рода способ познания жизни, с ее загадкой одиночества, с очевидной истиной, что желаемое никогда не совпадает с действительным, со стремлением выяснить, что же все-таки по его вине случилось с отцом.

Подходящего пианиста звали маэстро Кастельс. Хороший пианист, скромный, способный укрыться за клавишами от любых претензий маэстро Манлеу и, как немедленно вычислил Адриа, впутанный в сеть обширных экономических операций сеньоры Ардевол, которая потратила уйму денег, чтобы отправить сына выступать в Париж. В Париж, в концертный зал Плейель вместимостью сто мест, из которых будет заполнено меньше половины. Музыканты отправились в поездку без сопровождающих, чтобы сконцентрироваться на выступлении. Сеньор Кастельс с Адриа – третьим классом, а маэстро Манлеу, который должен был сосредоточиться на многочисленных заботах, свалившихся на его плечи, – первым. Музыканты боролись с бессонницей, читая партитуры концерта Адриа. Ардеволу было забавно смотреть на маэстро Кастельса, который напевал и давал ему вступать, а он делал вид, что начинает играть. Это оказалось гениальной системой, чтобы отрепетировать моменты, когда Адриа должен вступать. Так что проводник, стеливший им белье, ушел в полной уверенности, что тут филиал сумасшедшего дома. Когда они проехали Лион, было уже темно. Маэстро Кастельс доверительно сообщил Адриа, что маэстро Манлеу держит его на коротком поводке и что он просит меня об одолжении... чтобы я попросил у того разрешения перед концертом побыть одному, пройтись... мне нужно увидеться с сестрой, но маэстро Манлеу не хочет, чтобы мы смешивали дела и личные заботы, понимаешь?

Концерт в Париже был хитрым материнским трюком, придуманный, чтобы заставить меня продолжать заниматься на скрипке. Но она и представить не могла, как эта поездка переменит мою жизнь. В Париже я познакомился с тобой. Спасибо маминой хитрости. Все случилось

не в концертном зале, а до него, во время нашего полусекретного бегства с сеньором Кастельсом. В кафе «Конде». Ему нужно было встретиться со своей сестрой. А та пришла с племянницей. То есть с тобой.

– Сага Волтес-Эпштейн.

– Адриа Ардевол-и-Боск.

– Я рисую.

– А я – читаю.

– Разве ты не скрипач?

– Нет.

Она рассмеялась – и небесные врата распахнулись в кафе «Конде». Твоя родня увлеченно беседовала о своих делах и не обращала на нас никакого внимания.

– Только не приходи на концерт, пожалуйста! – умолял я.

И впервые я был искренен, когда шепотом добавил: я просто умираю от страха. И что мне больше всего понравилось в тебе – ты не пришла на концерт. После этого я не мог не влюбиться в тебя. Кажется, я никогда не говорил тебе об этом.

Концерт прошел хорошо. Адриа играл спокойно, не нервничал, потому что знал, что никого из сидящих в зале людей больше никогда в жизни не увидит. Маэстро Кастельс оказался превосходным партнером – несколько раз, когда я начинал сбиваться, он деликатнейшим образом выводил меня из затруднений. Адриа даже подумал, что с ним можно играть настоящую музыку.

Уже лет тридцать или сорок, как мы знакомы с тобой. С человеком, который осветил всю мою жизнь. И которого я оплакиваю самыми горькими слезами. Девочка с двумя темными косичками, которая говорила по-каталански с французским акцентом, словно я не покидал Русильон. Сара Волтес-Эпштейн, которая внезапно вошла в мою жизнь и по которой я теперь всегда тоскую. Двадцатого сентября тысяча девятьсот шестьдесят какого-то года. После короткой нашей встречи в кафе «Конде» прошло еще два года, прежде чем мы встретились снова. И вновь случайно. На концерте.

Итак, Ксения стояла перед ним и сказала: с удовольствием.

Бернат смотрел в ее темные глаза. Так гармонирующие с темнотой ночи. В качестве ответа он произнес: хорошо, поднимемся в квартиру. Там можно спокойно поговорить. Ксения. Вот уже несколько месяцев Бернат и Текла вели бракоразводный процесс – трудоемкий и отнимавший много сил у обеих сторон. И все ради того, чтобы оформить их разрыв –

шумный, травматичный, бессмысленный, болезненный, полный злости и жадности (даже в мелочах). Особенно с ее стороны. Как я только мог заинтересоваться такой стервой. А уж тем более жить. А Текла рассказывала, что последние месяцы их совместной жизни были настоящим адом, потому что Бернат целыми днями занимался только своей персоной, нет-нет, поймите меня: все всегда только для него, лишь его дела важны, все зависит от того, как прошел концерт, от критиков, которые с каждым днем становятся все глупее, посмотри, они ничего не написали про наше прекрасное исполнение; от того, надежно ли заперта скрипка или не стоит ли поменять сейф, потому что скрипка – самое дорогое в этом доме, слышишь, Текла? запомни это как следует! но больше всего меня ранило его отношение к Льюренсу – без тени любви и понимания. Вот этого я уже совсем не могла вынести. Тут и произошел окончательный разрыв. Вплоть до того сокрушительного удара и решения суда через несколько месяцев. Ужасный эгоист, вообразивший себя великим артистом, а на самом деле – нищий идиот, который только пикирует на скрипке да бьет баклуши, потому что мнит себя лучшим писателем в мире. Болван, совавший мне свою писанину со словами: прочти и скажи, что ты об этом думаешь. И горе мне, если скажу что-то против шерсти, потому что я, конечно, абсолютно не права и единственный, кто его понимает, – он сам.

– Я не знала, что он пишет.

– А никто не знал. Даже его издатель. Дерьмо он, а не писатель. Тошнотворный, претенциозный. Сама не пойму, как могла заинтересоваться таким типом, как он. И жить с ним.

– А почему ты перестала играть на фортепиано?

– Я и сама не заметила, как это вышло. Отчасти...

– Бернат же не бросил скрипку.

– Я бросила фортепиано, потому что главной в нашем доме была карьера Берната. С самого начала. Еще до рождения Льюренса.

– Обычное дело.

– Не лезь ко мне со своим феминизмом, я говорю с тобой как с подругой. Не подкалывай меня, договорились?

– Но ты не думаешь, что в вашем возрасте развод – это...

– Ну а что? Если ты слишком молод, то ты слишком молод. Если ты слишком старый, то – слишком старый. Да и не старые мы вовсе. У меня целая жизнь впереди. По крайней мере, полжизни, так?

– Ты слишком взвинчена.

Это объяснимо: в этом процессе развода и раздела, где все было

заранее просчитано, Бернат среди прочего потребовал, чтобы квартиру она оставила ему. Вместо ответа она взяла его скрипку и выбросила в окно. Уже спустя пару часов она получила заявление мужа о нанесении серьезного вреда имуществу и побежала к своему адвокату, а тот выбрал ее, словно ребенка: это не игрушки, сеньора Пленса. Все очень серьезно. Если вы хотите, я возьмусь за это дело, но вы должны будете следовать моим рекомендациям.

– Да если я еще раз увижу эту долбаную скрипку, то снова выброшу в окно – и пусть меня сажают.

– Так мы не договоримся. Вы хотите, чтобы я вел ваше дело?

– Естественно, за этим я и пришла!

– Что ж, вы можете ругаться с ним, ненавидеть его и даже бросать тарелки в его голову. Тарелки – но не скрипку! Это очень серьезная ошибка!

– Я хотела сделать ему больно.

– И вам это удалось. Причем самым идиотским образом, извините за прямоту.

И он изложил стратегию защиты, которой она должна была следовать.

– А сейчас я рассказываю о всех своих бедах, потому что ты моя лучшая подруга.

– Плачь, не стесняйся, дорогая. И тебе станет легче. Я знаю.

– Судья – женщина – приняла во внимание все ее доводы. Только подумай: как несправедливо бывает правосудие! Ей всего лишь вчинили штраф за повреждение скрипки. Она его не заплатила и платить не собирается. А инструмент четыре месяца лечили на улице Баге, но, мне кажется, он все равно звучит не так, как прежде.

– Хороший инструмент?

– Еще бы! Французская скрипка конца девятнадцатого века из Мирекура. Тувенель!^[141]

– Почему ты не потребуешь, чтобы она выплатила тебе штраф?

– Не хочу больше ничего слышать о Текле. Сейчас я ненавижу ее каждой клеткой. К тому же она настроила против меня сына. Это почти так же непростительно, как уничтожение скрипки.

Молчание.

– Я хотел сказать наоборот.

– Я тебя понимаю.

Иногда в больших городах попадают улички, на которых в ночной тишине шаги отдаются гулким эхом. И тогда кажется, что вернулись прежние времена, когда нас было немного, все друг друга знали

и приветствовали при встрече. В ту эпоху, когда Барселона ночью тоже засыпала. Бернат и Ксения шли по переулку Перманьер – пустынному, словно из другого мира. Они слышали лишь свои шаги. Ксения была на каблуках. И вообще при всем параде. Разодетая, хотя встретились они почти случайно. Стук каблуков отдавался в ночи ее глаз. Она красива без всяких причин.

– Я понимаю твою боль, – сказала Ксения, когда они вышли к улице Льюрия и погрузились в шум торопливых такси. – Но надо перестать об этом думать. Лучше не рассказывай никому.

– Ты сама спросила.

– Откуда мне было знать...

Открыв двери в квартиру, Бернат пробормотал: земля – круглая, вот и снова Борн ^[142]. Он объяснил, что жил в этом районе, когда был маленьким, и теперь, по воле случая, после развода снова оказался здесь. И я рад этому – у меня столько воспоминаний связано со здешними улицами. Хочешь виски или чего-нибудь еще?

– Я не пью.

– Я тоже. Но держу алкоголь для гостей.

– Тогда воды, пожалуйста.

– Эта стерва не дала мне остаться в собственном доме. Пришлось начинать жизнь заново. – Он распахнул руки, словно хотел разом обхватить всю квартиру. – Но я рад, что вернулся в свой квартал. Проходи!

Он показал, куда идти. И сам прошел вперед, чтобы зажечь свет.

– Я думаю, люди движутся вперед, но потом обязательно возвращаются к началу. Человек всегда возвращается к истокам. Если только смерть не помешает.

Это была большая комната, задумывавшаяся как столовая. В ней стояли диван, кресло, круглый стол, два пюпитра с нотами, шкаф с тремя инструментами внутри и заваленный бумагами стол с компьютером. А у стены – стеллаж, забитый книгами и партитурами. Комната словно собрала в себе итог всей жизни Берната.

Ксения открыла сумку, вынула оттуда диктофон и положила перед Бернатом.

– Видишь? Я еще не навел тут порядок, но это должна быть гостиная.

– Очень симпатичная.

– Стерва Текла не оставила мне ничего, ни единого стула.

Все пришлось покупать в ИкеА. В моем возрасте – в ИкеА! Черт, ты что, записываешь?

Ксения выключила диктофон. И сказала тоном, который он за этот вечер от нее не слышал:

– Ты хочешь поговорить о сволочном характере своей жены или о твоих книгах? Я спрашиваю, чтобы знать: мне убрать диктофон или все-таки включить?

В наступившей тишине были слышны их собственные шаги. Но они ведь больше не шли по ночной улице. Бернат понял, что слышит удары своего сердца, и нашел это чрезвычайно забавным. С улицы донесся рев мотора мотоцикла, поднимавшегося по улице Льюрия.

– *Touche*^[143].

– Я не знаю французского.

Бернат, смутившись, исчез. И вернулся, неся бутылку с водой незнакомой марки. И два стакана из ИкеА.

– Вода из облаков Тасмании. Тебе понравится.

Следующие полчаса они говорили о рассказах и принципе их отбора для сборника. И что третий и четвертый сборники были лучше. Роман? Нет, предпочитаю забеги на короткую дистанцию. Говоря, он все больше успокаивался. Ему стало стыдно за тот спектакль, который он устроил, рассказывая о своей чертовой бывшей, которую никак не мог выбросить из головы. Бернат не понимал, почему, заплатив кучу денег адвокату, он остался с пустыми руками. Эта ситуация постоянно крутится у меня в голове. Мне жаль, что я вывалил на тебя все это, но теперь ты поймешь, что писатели и артисты тоже люди.

– Я никогда в этом не сомневалась.

– *Touché pour la seconde fois*^[144].

– Я уже сказала, что не говорю по-французски. Можешь рассказать, как рождаются твои рассказы?

Они еще долго разговаривали. Бернат рассказывал, как начал писать много лет тому назад. Без спешки. Я долго тяну, прежде чем дать «добро» книге. «Плазма» писалась три года.

– Ого!

– Да. Я написал ее очень легко. Ну... как тебе объяснить...

Молчание. Они сидели уже несколько часов, вода из облаков Тасмании давно закончилась. Ксения внимательно слушала. Какая-нибудь припозднившаяся машина временами проезжала по улице Льюрия. Дома было хорошо. Первый раз за много месяцев Бернат чувствовал себя

хорошо дома – с кем-то, кто его слушал, а не критиковал, как это всю жизнь делал бедняга Адриа.

Внезапно на него навалилась усталость. Неужели это возраст? Ксения удобно устроилась в кресле из ИкеА. Она протянула руку, словно собираясь выключить диктофон, но передумала на полпути.

– Мне хотелось бы затронуть такую тему... про двойную идентичность: музыкант и писатель.

– Ты не устала?

– Устала. Но мне уже так давно не удавалось сделать интервью – такое... такое, как это.

– О, спасибо! Но можно отложить на завтра. Я...

Он понимал, что разрушает магию момента, но ничего не мог поделать. Несколько минут они сидели молча. Она убирала вещи в сумку. И оба мысленно прикидывали: настал момент двигаться дальше или нужно еще остаться в существующих рамках. Наконец Бернат сказал: мне очень жаль, что я предложил тебе только воду.

– Она была превосходна.

Как бы я хотел оказаться с тобой в кровати.

– Хочешь, продолжим завтра?

– Завтра у меня все занято. Послезавтра?

В кровати, и немедленно.

– Очень хорошо. Давай здесь?

– Договорились!

– И обговорим все, что тебе еще нужно для интервью.

– Да, обговорим.

Они замолчали. Он улыбнулся. Она тоже.

– Подожди, я вызову тебе такси.

Они стояли у тонкой черты. У нее в глазах плескалась спокойная ночь. У него – грусть невысказанных секретов. Но, несмотря ни на что, Ксения уехала на проклятом такси, которое вечно все портит. А перед этим быстро поцеловала его в щеку, где-то возле губ. Два долгих года он не улыбался...

Вторая встреча прошла легче. Ксения, не спрашивая разрешения, сняла пальто, положила диктофон на столик и спокойно ждала, пока Бернат, отойдя в другую часть квартиры с мобильным, заканчивал бесконечный разговор с кем-то... похоже, с адвокатом. Он говорил очень тихо и явно раздраженно.

Ксения рассматривала книги Берната. В одном углу стояло пять уже опубликованных сборников Берната Пленсы. Два первых она не читала. Журналистка взяла самый старый. На первой странице было посвящение: *моей музе, моей дорогой Текле, которая помогла мне собрать эти истории, Барселона, 12 февраля 1977 года*. Ксения не смогла сдержать улыбку. Она вернула томик на место, в компанию полного собрания сочинений Берната Пленсы. Компьютер на столе включен, но экран был темным. Она пошевелила мышку, и дисплей засветился. Документ на семьдесят страниц. Бернат писал роман, но ничего ей не сказал. Наоборот, уверил, что это не его жанр. Она посмотрела в сторону коридора. Оттуда доносился голос Берната, все еще разговаривавшего по мобильному. Она села к компьютеру и начала читать.

Купив билеты, Бернат спрятал их в карман. Постоял, рассматривая афишу концерта. Рядом с ним какой-то закутанный в шарф молодой парень, в надвинутой на глаза кепке, притопывая ногами, чтобы согреться, внимательно изучал программу сегодняшнего вечера. Другой человек – толстяк в длиннополом пальто – требовал, чтобы ему вернули деньги за билеты. Они повернули на улицу Сан-Пере-мез-Альт, а когда вернулись к Палау-де-ла-Музика, там уже все произошло. Афиша, сообщавшая о Концерте для скрипки с оркестром № 2 соль минор Прокофьева в исполнении Яши Хейфеца и Барселонского муниципального оркестра под управлением Эдуарда Толдра, была перечеркнута жирной черной надписью «**judíos raus**»^[145], а рядом намалевана свастика. Атмосфера сгустилась, люди избегали смотреть в глаза друг другу. Потом нам сказали, что это был отряд фалангистов, а полицейский патруль, шедший с виа Лаэтана, как раз решил выпить по чашечке кофе и ушел от концертного зала. В этот момент Адриа почувствовал острое желание поехать путешествовать по Европе, подальше отсюда, где, говорят, люди живут чисто, культурно, свободно, открыто и бодро. И иметь родителей, которые тебя любят и не умирают по твоей вине. Что за дрянь та страна, в которой нас угораздило жить, с отвращением процедил он. Тем временем появились люди в сером: *venga, circulen, y nada de formar grupos, venga, disuélvanse*^[146], и Адриа с Бернатом, как и остальные зеваки, предпочли исчезнуть – мало ли что.

Зал Палау-де-ла-Музика был полон, но все подавленно молчали. Они подошли к своим местам в партере, почти в середине.

– Привет!

– Привет, – сказал смущенно Адриа, садясь рядом с очаровательной

девушкой, которая с улыбкой смотрела на него.

– Адриа? Адриа Не-помню-как-дальше?

И тут он ее узнал. Теперь у нее не было косичек и выглядела она взрослой.

– Сара Волтес-Эпштейн? – выдохнул он восхищенно. – Ты здесь?

– А ты думал где?

– Да нет, я хочу сказать...

– Да, – ответила она, смеясь и беззаботно кладя руку мне на рукав, при этом смертельно смущая меня. – Я теперь живу в Барселоне.

– Позвольте представить, – сказал я, смотря то направо, то налево. – Бернат, мой друг. Сара.

Бернат и Сара вежливо кивнули друг другу.

– Что за дела с этой афишей... – произнес Адриа, обладавший удивительной способностью ляпнуть что-нибудь не к месту.

Сара сделала неопределенный жест и уткнулась в программку. Сказала, не поднимая взгляда:

– Как прошел твой концерт?

– Тот, в Париже? – И, немного стыдясь, ответил: – Хорошо. Нормально прошел.

– Ты все еще читаешь?

– Да. А ты? Все еще рисуешь?

– Да. У меня будет выставка.

– Где?

– В приходе церк... – Она улыбнулась. – Нет-нет. Не хочу, чтобы ты приходил.

Не знаю, сказала она это искренне или пошутила. Адриа был так напряжен, что не осмелился на нее посмотреть – ограничился лишь робкой улыбкой. В зале начал гаснуть свет, зрители зааплодировали, и маэстро Толдра вышел на сцену.

Услышав приближающиеся шаги, Ксения быстро перевела компьютер в режим сна, поднялась со стула и отошла к книжным полкам. И когда Бернат вошел в комнату, журналистка со скучающим видом рассматривала книжные полки.

– Прошу прощения, – сказал он, убирая мобильный.

– Что-то случилось?

Он сделал кислую мину – стало понятно, что обсуждать это он не хочет. Они сели и несколько секунд сидели молча, чувствуя какую-то неловкость. Возможно, из-за нее они просто улыбались, не глядя друг на друга.

– И как же себя чувствует музыкант, пишущий прозу? – спросила Ксения, кладя на круглый столик крошечный диктофон.

Он смотрел на нее, но не видел, думая о быстром поцелуе прошлой ночью, так близко к губам.

– Не знаю. Все приходит само собой, неожиданно.

Это была большая ложь. Все происходило медленно и мучительно, подчиняясь капризу вдохновения. Хочется, чтобы все было быстро и сразу, но вот уже тридцать лет Бернат пишет, а Адриа тридцать лет говорит ему, что пишет он скучно, серо, предсказуемо, ни о чем. Нет, в самом деле это совершенно несущественные тексты, понимаешь? А если не хочешь меня понимать, то и черт с тобой.

– И это все? – спросила Ксения, немного задетая. – Все приходит постепенно, естественно, само собой? И точка? Мне выключать диктофон?

– Прости?

– Где ты витаешь?

– Я здесь, с тобой.

– Нет.

– Хорошо. Это постконцертная травма.

– То есть?

– Мне уже за шестьдесят, я скрипач-профессионал. Я знаю, что у меня хорошо получается, но играть в оркестре – значит быть пустым местом. Вот почему я хотел бы быть писателем.

– Ты уже писатель.

– Не такой, каким хотел бы быть.

– Ты пишешь какую-нибудь новую вещь?

– Нет.

– Нет?

– Нет.

– А что?

– Да так, ничего.

– Что ты хочешь сказать этим «не такой, каким хотел бы быть»?

– Что хотел бы, чтобы меня любили.

– Но с твоей скрипкой...

– Нас пятьдесят музыкантов на сцене. Я – не солист.

– Но у тебя бывают и камерные концерты.

– Иногда.

– Почему ты не стал солистом?

– Не все, кто хочет, могут ими стать. У меня не хватило

ни дарования, ни сил, чтобы пробиться в солисты. А писатель – всегда солист.

– Значит, дело в твоём эго?

Бернат Пленса взял со стола диктофон, повертел в руках и, найдя кнопку, выключил его. Потом положил обратно на столешницу: я – полная посредственность.

– Не верь идиотам, которые...

– Эти идиоты любезно напоминают мне об этом через прессу.

– Критики – сам знаешь кто...

– Кто?

– Педики.

– Я серьезно говорю.

– Теперь я понимаю, отчего ты психуешь по любому поводу.

– О, ты переходишь в наступление?

– Ты – перфекционист. А если ты не лучше всех, то впадаешь в уныние. Или требуешь от окружающих, чтобы они были совершенными.

– Тебя Текла наняла?

– Текла – запретная тема.

– Что с тобой сегодня?

– Хочу посмотреть на твою реакцию, – ответила Ксения. – Чтобы ты ответил на вопрос.

– Какой вопрос?

Бернат наблюдал, как Ксения вновь включает диктофон и аккуратно кладет на стол.

– Так как себя ощущает музыкант, который занимается литературой? – повторила она.

– Не знаю. Все приходит потихоньку. Но неизбежно.

– Это ты уже говорил.

Да, потому что все действительно происходит в час по чайной ложке. А желание писать – острое и мучительное. Бернат столько лет пишет, и столько лет Адриа говорит ему, что его писанина никому не интересна, она скучная, предсказуемая, пустая. На самом деле во всем виноват Адриа.

– Знаешь, сейчас я очень близка к тому, чтобы прервать не только интервью, но и вообще любые отношения с тобой. Мне не нравятся невыносимые типы. Это первое и последнее предупреждение!

Первый раз с момента их знакомства Бернат увидел в этих ясных глазах темную бурю.

– Не выношу, когда веду себя так. Извини меня.

- Мы можем работать?
- Давай. И спасибо за предупреждение.
- Первое и последнее.

Я тебя люблю. И хочу быть самым лучшим – лишь бы иметь возможность видеть твои прекрасные глаза еще несколько часов. Я тебя люблю, повторил он.

– Так как себя ощущает музыкант, который занимается литературой?

Я влюблен в твое упрямство.

– Он себя чувствует... Я себя чувствую... сразу в двух мирах. И мне сложно определить, к какому из них я принадлежу в большей степени.

– А для тебя это имеет значение?

– Не знаю... Дело в том...

В тот вечер они не вызывали такси. Но спустя два дня Бернат Пленса собрался с духом и отправился с визитом к своему другу. Катерина, уже одетая, чтобы уходить, открыла ему дверь и, не дав ему опомниться, прошептала: он не в духе!

– Что такое?

– Я спрятала от него вчерашние газеты.

– Почему?

– Потому что, если я не позабочусь, он способен читать по три раза одну и ту же газету.

– Вот как...

– Он такой трудяга! И мне жалко, когда он растрчивает время, читая одно и то же по несколько раз, понятно?

– Конечно.

– О чем вы там шепчетесь?

Они повернулись. Адриа стоял на пороге кабинета и все видел.

Дзззззыннннн!

Катерина, ничего не ответив, пошла открывать дверь Пласиде, а Адриа провел Берната в кабинет. Женщины о чем-то поговорили вполголоса в прихожей, после чего Катерина громко сказала: до завтра, Адриа!

– Как дела? – спросил Адриа.

– Набираю твой текст, когда есть время. Медленно идет.

– Ты там все понимаешь?

– Уф... Мне очень нравится.

– Тогда почему – «уф»?

– Потому что почерк у тебя как у врача. Да еще и мелкий.

Перечитываю по несколько раз каждый абзац, чтобы не ошибиться.

– Вот черт! Мне так жаль...

– Нет, нет, нет. Я это делаю с большим удовольствием. Но к сожалению, не могу этим заниматься каждый день, понятное дело.

– Задал я тебе работку, да?

– Вовсе нет. Даже не думай.

– Добрый вечер, Адриа! – На пороге стояла и улыбалась молодая незнакомая женщина.

– Привет, добрый вечер!

– Кто это? – удивленно прошептал Бернат, когда женщина вышла.

– Она из этого, как там... Теперь меня не оставляют одного ни днем ни ночью.

– Вот как...

– Вот так вот, да. Не квартира, а бульвар Рамбла.

– Это хорошо, что тебе не приходится сидеть в одиночестве.

– Да. Счастье, что есть Лола Маленькая, она все организует.

– Катерина!..

– Что?

– Да так, ничего.

Они помолчали. Потом Бернат спросил его, что тот читает. Адриа огляделся вокруг, увидел томик на журнальном столике и сделал неопределенный жест, который Бернат не знал, как понимать. Он встал и взял книгу:

– О, поэзия?

– Что?

Бернат пролистал томик:

– Стихи читаешь, говорю.

– Я всегда любил стихи.

– Ты – да. А я – нет.

– Что с тебя взять!

Бернат рассмеялся, потому что невозможно обижаться на Адриа сейчас, когда он болен. Потом вернулся к разговору: к сожалению, я не могу быстрее управляться с твоей рукописью.

– Конечно.

– Хочешь, я отдам ее набирать профессионалу?

– Нет! – Сейчас к Адриа вернулась жизнь: глаза заблестели, голос окреп. – Ни в коем случае! Это можно доверить только близкому человеку. Я не хочу... Откуда я знаю... Это очень личное и... Я еще не решил, стоит ли это вообще издавать.

– Разве ты не собирался отдать это Баусе?

– Когда придет время, тогда и поговорим.

Они снова замолчали. В глубине квартиры были слышны звуки, видимо с кухни.

– Пласида, вот! Эту девушку зовут Пласида! – Адриа был доволен. – Видишь! Что бы там ни говорили, а у меня еще хорошая память!

– Кстати, – вспомнил Бернат, – там на оборотной стороне твоих мемуаров есть еще рукопись. Черными чернилами, помнишь? Тоже очень интересная.

Несколько мгновений Адриа смотрел перед собой.

– О чем там? – спросил он немного испуганно.

– Это размышления о зле. В общем, это исследование о категории зла, как-то так. Оно озаглавлено «Проблема зла».

– Ой нет. Я уже не помню. Нет, эта работа очень... не знаю... без души.

– Вовсе нет. Я думаю, ее тоже нужно опубликовать. Если хочешь, я и ее наберу.

– Бедняга! Это мой провал как философа. – Он замолчал на несколько долгих минут. – Я не смог выразить и половины того, что есть в моей голове.

Он взял в руки томик стихов. Открыл и закрыл, словно не зная, что с ним делать. Положил обратно на стол и закончил мысль:

– Потому я стал писать на оборотной стороне, чтобы от этого избавиться.

– А почему не выбросил?

– Я не выбрасываю бумаги. Никакие.

Тишина вечера воскресенья, ленивая и тягучая, заполнила кабинет, в котором сидели друзья. Тишина, которая сродни пустоте.

Окончание школы стало большим облегчением. Бернат выпустился годом раньше и всецело остался верен скрипке, хотя и пошел учиться на филологический факультет. Адриа поступил в университет, думая, что теперь-то все будет проще. Однако там его поджидали свои трудности и тернии. Сокурсники, которых пугал Вергилий и доводил до паники Овидий. Полицейские – в коридорах и революция – в аудиториях. Я свел дружбу с неким Женсаной, который очень интересовался литературой

и просто открыл рот от удивления, когда в ответ на его вопрос: «а чем ты собираешься заниматься?» – я ответил, что историей идей и культуры.

– Эй, Ардевол, никто не занимается историей идей и культуры.

– А я – занимаюсь.

– Впервые такое слышу. Вот черт! История идей и культуры... – Он посмотрел на меня с недоверием. – Ты шутишь, да?

– Вовсе нет. Я хочу знать все: что происходит сейчас и что было раньше. Что нам известно и чего мы еще не знаем. Понимаешь?

– Нет.

– Ну а ты чем хочешь заниматься?

– Понятия не имею, – ответил Женсана. Он сделал неопределенный жест возле лба. – У меня еще ветер в голове. Но что-нибудь да образуется, найду чем заняться, вот увидишь.

Три хорошенькие смешливые девчонки прошли мимо них на занятия греческим. Адриа посмотрел на часы и распрощался с Женсаной, который все еще не мог переварить: как это – заниматься историей идей и культуры... Я пошел за девушками. У двери в аудиторию обернулся: Женсана по-прежнему размышлял о будущем Ардевола. Спустя несколько месяцев, холодным осенним днем, Бернат, учившийся уже в восьмом классе по скрипке, спросил Адриа, не хочет ли он сходить в Палауде-ла-Музика послушать Яшу Хейфеца. Это уникальная возможность: маэстро Массиа рассказал, что Хейфец согласился выступить в стране с фашистским режимом, только уступив уговорам маэстро Толдра. Адриа, во многих жизненных вопросах бывший еще совершенно невинным, в конце тяготного занятия рассказал о приглашении маэстро Манлеу. Тот, помолчав, сказал, что не знает ни одного более холодного, высокомерного, омерзительного, тупого, жесткого, отталкивающего, отвратительного и надменного скрипача, чем Яша Хейфец.

– Но он хорошо играет, маэстро?

Маэстро Манлеу смотрел в партитуру невидящим взглядом. Потом в задумчивости сыграл на своей скрипке, которую держал в руке, пиццикато и поднял голову. Наконец он произнес:

– Он – совершенен.

Тут маэстро Манлеу понял, что это прозвучало слишком искренне, и добавил:

– После меня он лучший из ныне живущих скрипачей. – И ударил смычком по пюпитру. – Давай за работу.

Концертный зал наполнили аплодисменты. Они были сегодня

сердечнее, чем обычно. Это очень ясно ощущалось, ведь люди, живущие при диктатуре, привыкли читать между строк и аплодисментов. Привыкли посматривать в сторону господина с усиками и в плаще, который очень может быть из секретной службы, – осторожно, видишь, он только делает вид, что хлопает. Люди научились понимать этот тайный язык, появившийся несмотря на страх, чтобы со страхом бороться. Я пока улавливал все это интуитивно: отца у меня не было, мама с утра до вечера проводила в магазине, и интересовало ее только одно – под лупой рассматривать мои успехи на пути скрипача-виртуоза, Лола Маленькая не желала говорить о таком, потому что во время Гражданской войны убили ее двоюродного брата-анархиста и она не хотела ступать на скользкую почву политики. Свет начал гаснуть, люди продолжали аплодировать. Маэстро Толдра вышел на сцену и, не торопясь, прошел к своему пюпитру. Почти уже в темноте я увидел, как Сара что-то написала в своей программке, а потом передала ее мне. Я отдал ей свою, чтобы она не осталась без всего. Какие-то цифры. Номер телефона! А я, идиот, не догадался записать ей свой. Аплодисменты стихли. Я обратил внимание, что Бернат внимательно следит за всеми нашими движениями. Установилась тишина. Толдра начал с «Кориолана»^[147], которого я слышал в первый раз и который мне очень понравился. Затем он ушел и вернулся с Яшей Хейфецем, шепча ему что-то успокаивающее. Хейфец так держался на сцене, что сразу было ясно: он – холодный, высокомерный, омерзительный, тупой, жесткий, отталкивающий, отвратительный и надменный. Он даже не пытался скрыть свое усталое недовольство. Хейфец просто стоял на сцене долгие три минуты, а маэстро Толдра спокойно ждал, пока тот даст знак начинать. Наконец они начали. Помню, я не мог прийти в себя от изумления весь концерт. А во время *Andante assai*^[148] заплакал и не стеснялся этих слез – настолько острым было физическое наслаждение от слаженной игры скрипки и оркестра. Основную тему вел оркестр, а в финале – валторна и нежное пиццикато. Неповторимо. А Хейфец – живой, нежный, близкий, привлекательный, несущий красоту. И он меня покорила. Адриа показалось, что глаза Хейфеца подозрительно блестя. Бернат с трудом сдержал рыдание. Он встал и сказал: нужно пойти поприветствовать его.

– Тебя не пропустят.

– Я все-таки попробую.

– погоди, – остановила она.

Сара сделала знак идти за ней. Мы с Бернатом переглянулись.

Поднявшись по неприметной лестнице, мы постучали. Служащий открыл дверь и сделал нам знак вроде *vade retro*^[149], но Сара с улыбкой кивнула на маэстро Толдра, разговаривавшего с кем-то из музыкантов в коридоре. Тот, словно почувствовав кивок Сары, обернулся, увидел ее и сказал: привет, принцесса! как дела? как мама?

Он подошел к ней, чтобы поцеловать в щеку. Нас он не замечал. Маэстро Толдра сказал, что Хейфец глубоко оскорблен надписями, намалеванными по всему периметру Дворца музыки, отменил свое завтрашнее выступление и уезжает из Испании. Сейчас не лучший момент подходить к нему, понимаешь?

Выйдя на улицу, я увидел, что – да, всюду намалевано по-испански «Евреи – вон!».

– Я бы на его месте не стал отменять завтрашний концерт, – сказал Адриа, будущий историк идей без знания истории человечества.

Сара прошептала ему на ухо, что очень торопится. И еще: позвони мне. Адриа почти не отреагировал, потому что все еще был под впечатлением от игры Хейфеца. Только пробормотал: да, да и спасибо.

– Я прекращаю заниматься скрипкой, – поклялся я перед опоганенной афишей, перед недоверчиво глядящим Бернатом, перед самим собой, столько раз уже обещавшим бросить занятия музыкой.

– Но ведь... ведь... – Бернат кивнул в сторону Палау-де-ла-Музика, словно это был самый неопровержимый аргумент.

– Бросаю. Я никогда не смогу так играть!

– Так учись!

– И что? Все равно выйдет дерьмо. Это невозможно. Окончу седьмой класс, сдам экзамены – и все. Хватит. *Assez. Schluss. Basta*^[150].

– Кто это? Та девушка?

– Какая?

– Эта! Та, что, как Ариадна, провела нас к маэстро Толдра, блин. Которая назвала тебя «Адриа Не-помню-как-дальше». Которая сказала: позвони мне!

Адриа посмотрел на своего друга с изумлением:

– Что я тебе сделал, что ты так бесишься?

– Что ты мне сделал? Всего лишь угрожаешь бросить скрипку.

– Да. Это решено. Но ведь не назло тебе!

Закончив концерт Прокофьева, Хейфец словно преобразился: стал выше, значительнее. А потом сыграл – словно презрительно бросил в зал –

три еврейские танцевальные мелодии. И стал как бы еще выше и еще значительнее. Наконец он подарил публике чакону из *Partita en re menor*^[151], которую я раньше слышал только в исполнении Изаи на старой пластинке. Это были минуты немыслимого совершенства. Я бывал на многих концертах, но этот стал для меня прикосновением к первоосновам, в которых мне открылась истинная красота. И он же закрыл для меня тему скрипки, завершив мою короткую карьеру исполнителя.

– Ты – идиот вшивый! – высказал свое мнение Бернат, как только осознал, что теперь ему придется в одиночку учиться весь год, без меня рядом. Совершенно одному перед маэстро Массиа. – Вшивый идиот!

– Нет, я ведь учусь быть счастливым. Мне открылась истина: хватит мучений, буду наслаждаться музыкой, которую для меня играют другие.

– Вшивый идиот и к тому же трус!

– Да. Возможно. Зато теперь я смогу спокойно заняться учебой, ничего меня не будет грызть.

Мы стояли посреди тротуара, и нас толкали прохожие, спешившие по улице Жонкерес. Все они стали свидетелями того, как Бернат вышел из себя и дал волю эмоциям. Таким своего друга я видел всего три раза. Это было ужасно. Он кричал, загибая пальцы: немецкий, английский, каталанский, испанский, французский, итальянский, греческий, латинский. В девятнадцать лет ты знаешь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь языков. И боишься перейти в следующий класс по скрипке, идиот? Если б у меня была твоя голова, чертов придурок!

Тем временем пошел снег. Я никогда не видел снега в Барселоне. И никогда еще не видел Берната настолько возмущенным. И таким беспомощным. Не знаю – снег пошел для него или для меня.

– Смотри! – сказал я.

– Плевать я хотел на этот снег! Ты глубоко ошибаешься!

– Ты просто боишься оказаться один на один с Массиа.

– Да, и что?

– Ты – скрипач до мозга костей. А я – нет.

Бернат перестал кричать и сказал нормальным голосом: не настолько, как ты думаешь. Я всегда вижу над собой потолок. Я улыбаюсь, когда играю, но не оттого, что счастлив, а чтобы подавить панику. Скрипка – такая же предательница, как и валторна: фальшивая нота может слететь когда угодно. Но при этом я не бросаю занятия, как ты. Я хочу дойти до десятого, а там будет видно – продолжу или нет.

– Придет день, когда ты будешь улыбаться от удовольствия, Бернат.

Я чувствовал себя Иисусом Христом с этим пророчеством... посмотрим, как пойдут дела... в общем, не знаю, что сказать.

– Бросишь, окончив десятый.

– Нет. После экзаменов в июне. Из-за эстетики. Но если ты будешь меня доставать, то брошу прямо сейчас и плевать на эстетику.

А снег все падал. Мы молча дошли до моего дома. И расстались возле входной двери темного дерева – не сказав друг другу ни слова, ни единым жестом не выразив своей дружбы.

С Бернатом я ссорился несколько раз в жизни. Но это была первая серьезная ссора, такая, что оставляет шрамы навсегда. Рождественские каникулы прошли в обрамлении пустынного снежного пейзажа – дома, где мама молчала, Лола Маленькая хлопотала по хозяйству, а я каждый день проводил все больше времени в кабинете отца (я завоевал это право, блестяще сдав сессию), поскольку это место неудержимо меня влекло. На следующий день после праздника святого Эстева^[152] я вышел пройтись по заснеженному городу и увидел в начале улицы Брук Берната, быстро скользящего на лыжах со скрипкой за спиной. Он меня заметил, но даже виду не подал. Признаюсь, что в этот момент на меня накатил острый приступ ревности, я сразу стал думать – а к кому, собственно, он тут приходил, ничего мне не сказав. В девятнадцать или двадцать лет (должно быть, столько тогда было Адриа) он испытал абсолютно детскую ревность, такую, что бросился вслед за другом, но нагнать лыжника, конечно, не мог: тот очень скоро превратился в маленькую фигурку, как из рождественского вертепа, где-то около Гран-Виа. Смешной, пыхтящий, с развешивающимися, словно крылья, концами шарфа – я смотрел на удаляющегося друга. Я так никогда и не узнал, к кому он в тот день ходил, и отдал бы... следует сказать «половину жизни», но сейчас это выражение уже не имеет никакого смысла. Но, черт возьми, я бы полжизни отдал за возможность узнать, в чью дверь он стучал в тот зимний каникулярный день в Барселоне, укрытой толстым слоем нежданного снега.

Ночью, маясь бессонницей, я вывернул карманы пальто, кофты и брюк, ругая себя на чем свет стоит, потому что не мог найти программку с концерта.

– Сара Волтес-Эпштейн? Нет. Не знаю. Посмотри в приходе Вифлеема, они там устраивают всякие выставки.

Я обошел штук двадцать приходов, топча все более грязный снег, пока не нашел ее в квартале Побле-Сек, в небольшом скромном приходе. В маленьком пустом зале на трех стенах были развешены потрясающие угольные наброски. Шесть или семь портретов и один пейзаж. Меня

потрясла грусть в глазах человека на портрете, подписанном «Дядя Хаим». И еще пес – просто чудо. И дом возле моря – «Морской берег в Портлигате». Сколько раз я любовался этими рисунками, Сара. Эта девочка была невероятно талантлива, Сара. Около получаса я ходил, изумленный, по залу, Сара. Пока не почувствовал затылком ее присутствие и не услышал сердитое: я же просила тебя не приходить.

Я обернулся, собираясь извиниться, но смог только выдавить: я мимо проходил и... Она с улыбкой приняла такое извинение. И шепотом робко спросила:

– И как тебе?

18

– Мама...

– Что? – Она даже не подняла головы от документов, лежащих на столе для рукописей и манускриптов.

– Ты слышишь меня?

Она была поглощена чтением бухгалтерских отчетов Катурла – человека, нанятого ею, чтобы навести порядок в делах магазина. Я знал, что мыслями она не здесь. Но либо сейчас, либо никогда.

– Я бросаю занятия скрипкой.

– Очень хорошо. – И продолжила чтение отчетов Катурла, которые, очевидно, были весьма увлекательны.

Выходя из кабинета, Адриа, которого била холодная дрожь, услышал, как щелкнули дужки очков. Их складывали, и раздался звук клац-клац. Значит, мать смотрит на него. Адриа обернулся. Да, мама смотрела на него, держа очки в одной руке, а другую положив на стопку документов.

– Что ты сказал?

– Что я бросаю занятия скрипкой. Закончу седьмой класс – и все.

– Даже не думай!

– Я уже решил.

– Ты еще не в том возрасте, чтобы решать такие вещи.

– И тем не менее.

Мама оставила отчеты Катурла и поднялась. Я уверен, что в тот момент она размышляла, а как бы отец справился с таким бунтом? Для начала она выбрала тон тихий, вкрадчивый и угрожающий:

– Ты сдашь экзамены за седьмой класс, затем – за восьмой, потом еще пару лет поучишься виртуозной игре, а когда придет время, поступишь

в Julliard School^[153] или еще куда-нибудь – как мы решим с маэстро Манлеу.

– Мама, я не хочу быть профессиональным скрипачом-виртуозом.

– Почему?

– Это не делает меня счастливым.

– Люди живут не для счастья.

– А я живу для него.

– Маэстро Манлеу говорит, что у тебя хорошие способности.

– Маэстро Манлеу меня презирает.

– Маэстро Манлеу просто встряхивает тебя, потому что временами кажется, что у тебя вместо крови течет вода.

– Ты слышала мое решение. И тебе придется смириться, – осмелился сказать я.

Это было объявлением войны. Но, увы, обставить это иначе было невозможно. Я вышел из кабинета отца не оглядываясь.

– Хау!

– Да?

– Теперь можно нанести на лицо боевую раскраску, с которой воин идет на битву. Черную и белую ото рта к ушам и две желтых полосы сверху вниз.

– Не говори ерунды, я весь дрожу.

Адриа закрылся в своей комнате, не собираясь уступить ни единой пяди. Раз война, значит война.

Много дней я слышал дома только голос Лолы Маленькой, которая одна пыталась делать вид, что все нормально. Мама целые дни проводила в магазине, я – в университете. Встречались мы только за ужином и ели молча, уставившись в тарелки, а Лола смотрела то на одного из нас, то на другого. Все это было так жестоко и глупо, что какое-то время радость оттого, что я вновь встретил тебя, была приглушена этим «скрипичным кризисом».

Гроза разразилась в день, когда у меня было занятие с маэстро Манлеу. Тем утром, прежде чем уйти в магазин, мама обратилась ко мне – первый раз за всю неделю. Не глядя на меня, как и в день смерти отца, она сказала:

– Возьми на занятие Сториони.

Я пришел к маэстро Манлеу с Виал. Пока мы шли по коридору в класс, я слушал его медовый голос: можем подобрать тебе другой репертуар, который тебе будет больше по вкусу. А?

– Я закончу этот год и скрипкой заниматься больше не буду. Вы все меня хорошо поняли? У меня другие приоритеты в жизни.

– Ты всю жизнь будешь страдать из-за своего ошибочного решения.
(мама)

– Трус. (Манлеу)

– Не бросай меня одного, парень! (Бернат)

– Черномазый. (Манлеу)

– Ты же играешь лучше меня! (Бернат)

– *Marica*. (Манлеу)

– А все те часы, которые ты потратил на учебу? Просто выкинешь их в помойку? (мама)

– Капризный скрипач из бара! (Манлеу)

– И что ты теперь собираешься делать? (мама)

– Учиться. (я)

– Ты можешь сочетать учебу и скрипку. (Бернат)

– Что учить? (мама)

– Ублюдок. (Манлеу)

– *Marica*. (я)

– Смотри поставлю в угол! (Манлеу)

– И ты действительно знаешь, что именно хочешь изучать? (мама)

– Хау! (Черный Орел, храбрый вождь арапахо)

– Я спросила, что ты хочешь изучать? Медицину? (мама)

– Неблагодарный. (Манлеу)

– Черт, Адриа, давай же! (Бернат)

– Историю. (я)

– Ха! (мама)

– Что? (я)

– Ты сдохнешь от голода. И от скуки. (мама)

– Историю?! (Манлеу)

– Да. (мама)

– Но ведь история... (Манлеу)

– Вот-вот... Именно это он мне сказал (мама)

– Предатель! (Манлеу)

– А еще я хочу изучать философию. (я)

– Философию? (мама)

– Философию? (Манлеу)

– Философию? (Бернат)

– Еще хуже. (мама)

– Почему еще хуже? (я)

– Ладно, из двух зол выберем меньшее – изучай юриспруденцию. Станешь адвокатом. (мама)

- Нет. Я ненавижу запихивать жизнь в рамки регламентов и правил. (я)
- Бунтарь. (Бернат)
- Ты бунтуешь ради бунта. Так ведь? (Манлеу)
- Я хочу понять ход развития человечества и эволюцию культуры. (я)
- Бунтарь, я тебе уже сказал. Пойдем в кино? (Бернат)
- Да, давай! Куда? (я)
- В «Публи». (Бернат)
- Я не понимаю тебя, сын. (мама)
- Безмозглый. (Манлеу)
- История, философия... Разве ты не видишь, что эти вещи бесполезны в жизни? (мама)
- Мама, не говори так! Это возмутительно! (я)
- История, философия... С ними на жизнь не зарабатываешь. (Манлеу)
- Да что вы понимаете? (я)
- Гордец! (Манлеу)
- А музыка? Она для чего пригодна в жизни? (я)
- С ней ты зарабатываешь много денег, вот увидишь. (Манлеу)
- История, философия... Разве ты не видишь, что эти вещи бесполезны в жизни? (Бернат)
- *Tu quoque?*^[154] (я)
- Что? (Бернат)
- Да так, ничего. (я)
- Тебе понравился фильм? (Бернат)
- Пф. (я)
- Пф или уф? (Бернат)
- Пф. (я)
- Абсолютно бесполезные вещи! (мама)
- А мне нравится их изучать. (я)
- Ну а магазин? Им ты собираешься заниматься? (мама)
- Об этом мы поговорим потом. (я)
- Хау! (Черный Орел, храбрый вождь арапахо)
- Черт! Не сейчас, зануда. (я)
- Кроме того, я хочу учить языки. (я)
- Английского – больше чем достаточно! (Манлеу)
- Какие еще языки? (мама)
- Совершенствовать латынь и греческий. Начать древнееврейский, арамейский и санскрит. (я)
- Вот как... отвратительно... (мама)
- Латынь, греческий и что еще? (Манлеу)

– Древнееврейский, арамейский и санскрит. (я)
– Да ты не от мира сего, парень! (Манлеу)
– Это как посмотреть. (я)
– Стюардессы в самолетах говорят по-английски. (Манлеу)
– Что? (я)
– Чтобы полететь на концерт в Нью-Йорк, не нужно знать арамейский, уверяю тебя! (Манлеу)
– Мы говорим на разных языках, маэстро Манлеу. (я)
– Мерзавец! (Манлеу)
– Может, хватит уже меня обзывать? (я)
– Я все понял! Я для тебя слишком сложен! (Манлеу)
– Нет, вот еще! (я)
– Что ты хочешь этим сказать? А? Что? (Манлеу)
– Сказал то, что сказал. (я)
– Бесчувственный, спесивый, омерзительный, тупой, нудный, отталкивающий, гадкий, высокомерный тип! (Манлеу)
– Очень хорошо, как вам будет угодно. (я)
– Я сказал то, что сказал. (Манлеу)
– Бернат! (я)
– Что? (Бернат)
– Пойдем прогуляемся по волнорезу? (я)
– Давай! (Бернат)
– Если бы только твой отец мог поднять голову! (мама)
Мне очень жаль, но в тот день, когда мама в пылу битвы произнесла это, я не смог сдержать громкий и неестественный смех. Знаю точно, что Лола Маленькая, слушавшая нас с кухни, тоже сдавленно хихикнула. Мама, бледная от гнева, слишком поздно поняла, что именно сказала и как это прозвучало. Больше сказать было уже нечего. И мы остановились на этом. Это был седьмой день нашего военного конфликта.
– Хау! (Черный Орел, храбрый вождь арапахо)
– Слушай, я устал. (я)
– Хорошо. Но знай, что вы начали войну на износ. Это мясорубка вроде Первой мировой войны. Имей в виду, что придется сражаться на трех фронтах сразу. (Черный Орел, храбрый вождь арапахо)
– Ты прав. Но ты ведь знаешь, что я не стремлюсь стать исполнителем-виртуозом. (я)
– Кроме того, не путай тактику со стратегией. (Черный Орел, храбрый вождь арапахо)
Шериф Карсон сплюнул табак на землю и сказал: черт, ты выдержишь.

Все, чего ты хочешь, – это провести жизнь за чтением: только ты и твои книги. А остальные пусть идут к черту. Верь мне!

– Спасибо, Карсон. (я)

– Не за что. (шериф)

Это был седьмой день, и все мы отправились спать, утомленные таким напряжением и с одним желанием: чтобы наступило перемирие. Эта ночь была первой из многих, когда мне снилась Сара.

С точки зрения стратегии было очень хорошо, что войска Тройственного союза начали воевать друг с другом: Турция пошла против Германии в доме маэстро Манлеу. Для Антанты это была отличная новость: коалиция получила время, чтобы зализать раны и начать думать про Сару. Хроники отмечают, что битва между прежними союзниками была кровавой и жестокой, а крики были слышны даже на улице. Мать высказала все, о чем молчала столько лет, и обвинила маэстро в неспособности обуздать мальчика, у которого пусть и ветер в голове, но при этом также совершенно исключительные интеллектуальные способности.

– Не надо преувеличивать!

– Мой сын исключительно одарен. Вы что, не знали? Разве мы недостаточно это обсуждали?

– В этом доме есть только один исключительно одаренный человек, сеньора Ардевол.

– Мой сын нуждается в твердой руке. Но ваше эго, сеньор Манлеу...

– Маэстро Манлеу!

– Вот видите? Ваше эго не позволяет вам видеть реальность. Мы должны пересмотреть экономические условия нашего сотрудничества.

– Это несправедливо. Вся вина исключительно только на вашем одаренном сыне.

– Не умничайте, ради бога!

Тут они перешли непосредственно к оскорблениям (черномазая, цыганка, трусливая, *marica*, бесчувственная, спесивая, омерзительная, тупая, зануда, отталкивающая, отвратительная, высокомерная, с одной стороны. С другой – только одно: фигляр).

– Что? Как вы меня назвали?

– Фигляр. – И, приблизив лицо к его лицу: – Фиг-ляр!

– Не хватало только, чтобы вы меня оскорбляли. Я на вас в суд подам!

– И приобретете удовольствие оплатить еще и услуги адвокатов. С сегодняшнего дня я вам не заплачу больше ни единой песеты! А сама... я могу... я... Я поговорю с Иегуди Менухином^[155].

«Менухин – ходячее ничтожество, и занятия с ним выйдут вам в десять раз дороже», – бросил оскорбленный маэстро в спину сеньоре Ардевол, пока та шла к двери. И продолжал: да вы вообще знаете, как он проводит занятия, этот Менухин? знаете, как он это делает?

Когда Карме Боск в ярости захлопнула за собой дверь дома Манлеу, она уже точно знала, что с мечтой сделать из Адриа лучшего скрипача в мире покончено навсегда. За что мне такое наказание, Лола Маленькая? Бернату я сказал, что он привыкнет, тем более мы можем продолжать играть вместе – у меня дома или у него, как он хочет. Тогда я начал свободно дышать и смог беспрепятственно думать о тебе.

Et in Arcadia ego. Пуссен писал свою картину, думая, что произносит эти слова сама вездесущая Смерть, которая добирается даже до таких райских уголков. Я же всегда трактовал эту фразу применительно к себе самому: это я жил в Аркадии. У Адриа была своя Аркадия. Адриа – печальный, лысый, отрастивший брюшко, отверженный, трусливый – тоже жил в Аркадии, ибо она многолика. Аркадией было твое присутствие. Эту Аркадию я потерял навсегда. Меня изгнал из нее ангел с огненным мечом. И тогда Адриа был вынужден, прикрыв свою наготу, зарабатывать на жизнь – одинокий, лишенный тебя, моя Сара. Если же говорить об Аркадии как о конкретном месте, то для меня это Тона, самая уродливая и самая прекрасная деревня в мире, где я провел пятнадцать летних сезонов, пасясь на нивах усадьбы Казик. Там я в колючих недрах скирд сена прятался от Щеви, Кико или Розы, которые становились моими неразлучными друзьями на все те восемь недель, что я проводил вдали от Барселоны. Вдали от колоколов церкви Консепсьо, от желто-черных такси, от мыслей о школе, вдали от отца, во-первых, и от мамы, во-вторых, и вдали от книг, которые Адриа не смог взять с собой. Почти бегом подняться к замку и смотреть оттуда на усадьбу Жес: на главный дом, на двор, на хозяйственные постройки, на скирды сена. А рядом – маленький дом усадьбы Казик, крытый старой подгнившей соломой. Словно рассматриваешь рождественский вертеп. Вдали – горы Кольсакабра на северо-востоке и Мунсень на востоке. И мы начинаем кричать и чувствуем себя хозяевами мира, особенно Щеви, который на шесть лет старше меня и который всегда во всем меня побеждает. Потом он начнет помогать отцу с коровами и больше уже не будет с нами играть. Кико тоже

меня побеждает, но однажды, когда мы бежали наперегонки до белой стены, все-таки победил я. Ну хорошо, согласен: он споткнулся в тот раз, но я-то выиграл законно! Роза была очень хорошенькой и тоже меня всегда обыгрывала... В доме тети Лео жили по другим правилам. Тут не поджимали губы, не цедили слова сквозь зубы. Здесь всегда было шумно, и когда говорили, то смотрели друг другу в лицо. Это был огромный дом, в котором правила тетя Лео в своем вечном не слишком чистом переднике неясного цвета. Усадьба Жес – родной дом семьи Ардевол – была просторна (больше тринадцати жилых комнат), открыта освежающим сквознякам летом и по-городскому удобна зимой. Хозяйственная часть – стояла с коровами, загон с лошадьми – благоразумно удалена от жилых помещений. С фасада к дому пристроена галерея, на которой в полдень прохладно, и потому там было очень приятно читать или заниматься на скрипке. Тогда кузены с независимым видом приходили послушать меня, а я, вместо того чтобы разучивать упражнения, устраивал им концерт, что, конечно, было значительно интересней. Однажды дрозд уселся на перила галереи, возле горшка с геранью, и внимательно смотрел на меня, пока я играл сонату номер два из *Second livre de sonates*^[156] Леклера, в которой много музыкальных трелей, – они-то, наверное, и понравились дрозду. Эту вещь Трульолс хотела дать мне играть на открытии учебного года в консерватории на Брук^[157]. Дядюшка Леклер, написав последнюю ноту, подул на рукопись, чтобы убрать налетевшие пылинки. Затем встал, довольный, взял в руки скрипку и начал играть, не глядя в ноты. Да, вещь закончена. Он прищелкнул языком. Потом снова сел к столу. И на последней странице рукописи, оставшейся белой, вывел своим церемонным каллиграфическим почерком: «Посвящаю эту сонату моему любимому племяннику Гийому-Франсуа, сыну моей возлюбленной сестры Аннетт, в день его рождения. Пусть дорога сквозь эту юдоль слез будет легка». Перечитал и принялся бранить слуг, которые не способны содержать наготове чернильный прибор. В усадьбе Жес все знали, чем должны заниматься. Там всех – как меня сейчас – гостеприимно принимали, с какими бы сложностями это ни было сопряжено. У меня там не было никаких обязанностей, кроме одной: как следует есть, потому что эти городские дети такие тощие, ты только посмотри, какой он бледный, бедняжка. Двоюродные братья были оба старше меня, и их младшая сестра Роза тоже – на три года. Так что меня там баловали, поили парным молоком из-под настоящей коровы и кормили настоящей деревенской колбасой. И хлебом с оливковым маслом. И копченой грудинкой. А на сладкое –

хлебом с сахаром и вином. Дядю Синто беспокоила только привычка Адриа замыкаться в себе и с головой погружаться в чтение. И это в семь, десять, двенадцать лет! Такое не может не беспокоить. Но тетя Лео клала влажную руку дяде на плечо, и тот менял тему разговора. Говорил: Щеви, сегодня вечером пойдешь со мной – придет Пруденси смотреть коров.

– Я тоже хочу пойти! – кричит Роза.

– Нет.

– А мне можно?

– Да.

Роза отходит обиженная, потому что Адриа, хотя он и младше, может пойти, а она – нет.

– Это не очень приятное зрелище, дочка, – утешает ее тетя Лео.

А я пошел смотреть, как Пруденси засовывает сначала кулак, а потом и всю руку внутрь коровы по имени Бланка и говорит что-то, а дядя с Щеви записывают это на бумажку. Бланка при этом стоит с совершенно безучастным видом.

– Смотрите, смотрите, смотрите, она сейчас пописает! – возбужденно кричит Адриа.

Мужчины отодвигаются, не переставая говорить о своем, а я внимательно смотрю, потому что наблюдать из партера за тем, как корова опорожняет кишечник или мочевой пузырь, – это одно из наибольших удовольствий, которые доставляла мне Тона. И еще смотреть, как пускает струю Паррот – мул из усадьбы Казик. Это очень здорово – входить в контакт с жизнью напрямую, поэтому я считаю, что дядя поступает с бедняжкой Розой несправедливо. А еще здорово – ловить головастиков в речке, на берегу Клот-де-Матамонжес. И вернуться с уловом из восьми или десяти жертв в стеклянной банке.

– Бедные животинки!

– Нет, тетя, я буду их кормить каждый день.

– Бедняжки!

– Буду давать им хлеб, честное слово.

– Бедные животинки!

Я хотел посмотреть, как они превратятся в лягушек, но они превратились, конечно же, в мертвых головастиков, потому что мне и в голову не приходило менять им воду в банке и я не знал, чем их кормить. А еще птичьи гнезда под крышей дома. И внезапные грозы. И самое впечатляющее событие – молотьба в усадьбе Казик: тогда уже использовали не цепи, а специальные машины, отделявшие зерно от соломы. Я помню, как летела соломенная труха. И я, Адриа Ардевол,

был в Аркадии. Никто не может отнять у меня эти воспоминания. Сейчас я думаю, что тетя Лео и дядя Синто были очень хорошими людьми, доброй закваски, потому что ссора между братьями почти ничего не изменила. С той ссоры прошло много времени. Адриа еще не родился. Я знаю, что тогда произошло, потому что, когда мне исполнилось двадцать лет, я, чтобы не торчать летом в обществе мамы в Барселоне, решил три-четыре недели погостить в Тоне. К тому же я грустил, потому что Сара, с которой мы встречались втайне от наших семей, уезжала с родителями в Кадакес^[158]. И мне было совсем одиноко.

– Что значит «если позволите»? Никогда больше так не говори! – отругала меня тетя Лео по телефону. – Когда ты приедешь?

– Завтра.

– Твоих братьев сейчас нет. Точнее, Щеви есть, но он целыми днями на ферме.

– Представляю.

– Жузеп и Мария из усадьбы Казик умерли этой зимой.

– Ох!

– И Виола умерла от тоски. – Тишина на том конце провода. И, словно утешая, тетя прибавила: – Они были уже очень старые, оба. Жузеп ходил согнувшись в три погибели, бедняга. И собака тоже была очень старая.

– Мне так жаль...

– Привози скрипку.

В общем, я сказал маме, что тетя Лео пригласила меня и я не могу отказаться. Мама не сказала мне ни «нет», ни «да». Мы держались друг от друга на расстоянии и почти не разговаривали. Я проводил дни, учась и читая, она – в магазине. А когда была дома, то в ее взгляде было ясно видно обвинение – что из-за дурацких капризов я оставил блестящую карьеру скрипача-виртуоза.

– Мама, ты слышишь меня?

Было понятно, что в магазине, как всегда, какие-то проблемы, о которых мама не хочет говорить. Поэтому, не глядя на меня, она лишь обронила: привези им что-нибудь.

– Что именно?

– Не знаю. Что-нибудь, сообрази сам.

В первый же день в Тоне, засунув руки в карманы, я отправился в деревню – искать это «что-нибудь» в магазине Бердагера. И увидел ее на главной площади за столиком в заведении Рако. Она пила орчату^[159] и с улыбкой смотрела на меня – словно ждала. Господи, как я испугался!

В первые секунды я не узнал ее, но потом – оп! – и вспомнил, кто это. Узнал эту улыбку.

– *Ciao!* – сказала она мне.

Тут уж не узнать ее было нельзя. Она уже не была ангелом, но сохранила ту же ангельскую улыбку. Сейчас передо мной была зрелая и очень красивая женщина. Она сделала мне знак присаживаться рядом, что я и сделал.

– Мой каталанский все еще *lacunoso*^[160].

Я ответил ей, что мы можем говорить по-итальянски. Тогда она спросила: *caro Adrià, sai chi sono, vero?*^[161]

В тот день я не пошел в магазин Бердагера и ничего не купил тете Лео. Сначала мы сидели за столиком – она пила орчату, а Адриа сглатывал слюну. Она без остановки болтала и рассказывала то, чего Адриа не знал или делал вид, что не знает. Мне было что послушать: дома об этом никогда не говорили. Это она на главной площади в Тоне рассказала, что мой ангел и я – брат и сестра.

Я смотрел на нее в замешательстве. Впервые мне сказали это прямо. Она догадалась о моих чувствах.

– *È vero*^[162], – подтвердила она.

– Прямо как в фильме каком-то. – Я хотел скрыть смущение.

Я не испугался, нет. Я прикинул, что по возрасту она могла бы быть мне матерью, однако была моей единокровной сестрой. Она показала мне свидетельство о рождении (или что-то подобное), где мой отец признавал отцовство некой Даниэлы Амато. То есть ее (согласно паспорту – она и его мне показала). В общем, она меня поджидала со всеми необходимыми документами. Обо всем этом я догадывался, но не знал наверняка, ведь никто мне ничего не говорил. Я, единственный сын по определению, внезапно обрел взрослую сестру, очень взрослую. Я чувствовал себя обманутым – отцом, мамой, Лолой Маленькой с их секретами. И мне было очень жаль, что шериф Карсон ни разу не намекнул мне. Сестра. Я снова принялся ее рассматривать. Она была такая же красавица, как и в тот день, когда предстала передо мной в образе ангела, но теперь это была дама сорока шести лет и моя сестра. Мы не играли с ней длинными тоскливыми воскресными вечерами. Она не ходила с Лолой Маленькой и ее подружками на Рамблу, чтобы хихикать, прикрывая рот ладошкой, каждый раз, когда на них посмотрит какой-нибудь мальчишка.

– Но если тебе столько же, сколько моей маме... – сказал я.

– Немного меньше. – Я заметил, что в ответе просквозила нота

раздражения.

Ее звали Даниэла. И она сказала, что ее мама... она рассказала мне прекрасную историю любви. Я не мог представить себе влюбленного отца. Я молчал и только слушал, слушал. Слушал и пытался представить все это. Не помню, как рассказ вышел на отношения двух братьев. Отец, прежде чем поступить в семинарию в Вике, научился как следует и сеять зерно, и обмолачивать, и осматривать мулицу Эстрелью, чтобы знать – забеременела ли она наконец. Дедушка Ардевол учил сыновей правильно запрягать мула и понимать, что если облака темные, но идут от Кольсуспина, то дождя точно не будет долго. Дядя Синто, старший брат и будущий наследник, с большим удовольствием занимался хозяйственными делами по усадьбе. Напротив, наш отец вечно витал где-то в облаках да читал, устроившись где-нибудь в углу, прямо как ты. Родители, несколько разочарованные, отправили его учиться в Вик в семинарию, хотя им, вопреки его явной незаинтересованности, все-таки удалось сделать из сына наполовину крестьянина. Но он рвался учить латынь, греческий и все, что ему преподавали учителя. В семинарии витал дух Вердагера^[163], и каждые два из трех семинаристов пытались писать стихи. Но наш отец – нет, он хотел посвятить себя изучению философии и теологии.

– Откуда ты все это знаешь?

– Мне рассказывала мама. Наш отец в молодости был большим болтуном. Это уже потом он закрылся, как сложенный зонтик, превратился мумию.

– А что дальше?

– Его послали учиться в Рим, потому что видели, что он очень способный. Там мама от него забеременела, он сбежал, и родилась я.

– Черт возьми! Просто фильм какой-то!

Даниэла, вместо того чтобы обидеться, широко улыбнулась и продолжила рассказ: потом твой отец поругался со своим братом.

– С дядей Синто?

– Иди ты в зад с этой идеей! Не женюсь я на этой девке! – со злобой сказал Феликс, возвращая фотографию.

– Тебе даже делать ничего не придется. У них на ферме все как само идет. Я все разузнал. Так что женись, и ты сможешь и дальше копаться в своих книгах. Какого рожна тебе еще нужно?

– С чего это ты так хочешь видеть меня женатым?

– Меня просили поговорить с тобой родители. Раз ты не стал принимать сан... тогда женись, как все люди.

– Но ты-то сам не женат! Вот и...
– Но я это сделаю. У меня есть на примете...
– словно речь идет о корове!
– Ты все равно меня не обидишь. Мама знала, что тебя сложно будет убедить.

– Я женюсь тогда, когда мне приспичит. Если вообще женюсь.
– Можно подыскать тебе другую девушку, покрасивее, – сказал Синто, пряча черно-белую фотографию девицы из семейства Пуч.

Тогда наш отец очень сухо сказал, что хочет получить деньгами свою долю наследства, потому что собирается обосноваться в Барселоне. Вот тут и начались крики, оскорбления, обмен ранящими, как камни, словами. Братья смотрели друг на друга с ненавистью, но до рукоприкладства дело не дошло. Феликс Ардевол получил свою долю деньгами, и потом они не общались несколько лет. По настоянию Лео наш отец приехал на ее и Синто свадьбу. Но и после этого они жили каждый сам по себе. Один – покупал землю в кредит и выращивал скот, другой – растрчивал полученные деньги на таинственные вояжи по Европе.

– Что ты имеешь в виду под «таинственными вояжами»?

Даниэла громко втянула последние капли орчаты и ничего не ответила. Адриа пошел к стойке – расплатиться. Вернувшись, он сказал: почему бы нам не прогуляться немножко? А Тори Рако, вытирая тряпкой стол, скорчил физиономию вроде: аппетитная штучка эта француженка, мать ее...

Даниэла стояла перед ним в черных солнцезащитных очках, которые придавали ей вид очень современный и неизбежно иностранный. Так, словно между ними уже установились доверительные отношения, она приблизилась к нему и расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке.

– *Scusa*^[164], – сказала Даниэла.

А Тори Рако думал: и как это, черт возьми, такой желторотый балбес смог подцепить такую француженку, а? Куда катится мир? Даниэла перевела взгляд на цепочку с медальоном:

– Не знала, что ты верующий.
– Тут ничего религиозного.
– Но тут у тебя Божья Матерь Пардакская.
– Это просто память.
– О ком?
– Сам толком не знаю.

Даниэла сдержала улыбку. Повертела медальон между пальцами и уронила на грудь Адриа. Он быстро спрятал его, рассерженный таким грубым вторжением в свою личную жизнь. И сказал: это тебя не касается.

– Это как посмотреть.

Он не понял ее. Они шли молча.

– Очень красивый медальон.

Иаким снял его с шеи, показал ювелиру и сказал: золотой. И цепочка тоже.

– Краденые?

– Нет! Мне его подарила малышка Беттина, моя слепая сестра, чтобы я никогда не чувствовал себя одиноким.

– Тогда зачем ты его продаешь?

– Вы удивлены?

– Конечно. Память о семье...

– Семья... Как же я скучаю по дому, по всем живым и мертвым. По маме, отцу и всем Муреда: Агно, Йенну, Максу, Гермесу, Йозефу, Теодору, Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и слепой малышке Беттине. Скучаю по природе Пардака...

– Что ж ты не вернешься?

– Потому что еще живы те люди, которые желают мне зла, и семья дала мне знать, что это неблагоприятно...

– А... – сказал ювелир, наклоняя голову, чтобы лучше рассмотреть медальон. Его совершенно не интересовали подробности жизни семейства Муреда из Пардака.

– Я заработал много денег, чтобы помочь братьям.

– Угу.

Ювелир изучал медальон еще некоторое время. Потом вернул его владельцу.

– Пардак – это Предаццо? – спросил он, глядя в глаза Иакому. Казалось, он внезапно принял какое-то решение.

– Да, люди с равнины называют его Предаццо. Но это Пардак... Вы будете покупать?

Ювелир отрицательно покачал головой.

– Мне нужны деньги.

– Если останешься на зиму у меня, я научу тебя основам ремесла, а как сойдет снег – иди куда хочешь. Только не продавай медальон.

Так Иаким изучил ювелирное дело в доме этого доброго человека. Он узнал, как превращать металл в кольца, медальоны, серьги. На несколько месяцев его тоска утихла. Пока однажды ювелир не спросил его, словно продолжая прерванный разговор:

– Кому ты поручил деньги?

– Какие деньги?

- Которые послал своей семье.
- Одному доверенному человеку.
- Он окситанец?
- Да, а что?
- Нет-нет, ничего...
- Почему вы спрашиваете?
- Просто я слышал, что... ничего.
- Что вы слышали?
- Как зовут того человека?
- Его зовут Блонд из Казильяка. Потому что он блондин.
- Боюсь, ему не удалось дойти...
- Что?
- Его убили. И ограбили.
- Кто?
- Люди с гор.
- Из Моэны?
- Думаю, да.

Тем же утром Иаким попросил благословения у ювелира и с платой за зиму в кармане отправился в дорогу – выяснять, что случилось с деньгами и с бедным Блондом. Он шел очень быстро, подгоняемый яростью и утратив всякое благоразумие. На пятый день он добрался до Моэны, встал на главной площади и заревел: Броча, выходите! Один из семейства Броча услышал этот вопль и послал за двоюродным братом, тот – еще за одним. Так на площади собралось человек десять. Они схватили Иакима и поволокли к реке. В Пардаке криков не слышали. Медальон с Божьей Матерью, покровительницей лесорубов, достался тому Броче, кто первым его сорвал.

– Пардак – это в Трентино, – сказал Адриа.

– Не знаю, – ответила задумчиво Даниэла, – у нас дома говорили, что его привез из Африки мой дядя-моряк. Я никогда его не видела.

Они молча дошли до кладбища и Лурдской часовни. Это была приятная вечерняя прогулка. Они полчаса просидели молча на каменных скамьях в садике возле часовни, а потом Адриа, проникшись доверием к Даниэле, показал себе на грудь и спросил: хочешь забрать?

– Нет. Он твой. Не теряй его!

Заходящее солнце погрузило садик в причудливые тени. Адриа вновь спросил: что ты имела в виду под «таинственными вояжами» моего отца?

Он остановился в небольшом отеле в районе Борго, в пяти минутах ходьбы от собора Святого Петра, возле Пасетто. Это был скромный

дешевый отельчик под названием «Браманте». Им управляла железной рукой римская матрона, такая древняя, будто современница императора Августа. Устроившись в скромной комнате на виколе делле Паллине, первым делом он отправился навестить отца Морлена. Завидя его фигуру у входа в галерею монастыря Святой Сабины, отец Морлен несколько секунд внимательно всматривался, пытаясь понять, кто этот человек... неужели...

– Феликс Ардевол! – закричал он наконец. – *Il mio omonimo! Vero?*^[165]

Феликс Ардевол утвердительно кивнул и, изобразив почтение, облобызал влажную руку священника, жарящегося в своем толстом хабите. Морлен, посмотрев ему в глаза, несколько мгновений колебался, а потом повел его внутрь. Но не в келью и не в галерею вокруг монастырского двора, а в пустынный коридор с белыми стенами и какими-то неинтересными картинами кое-где. Длинный-предлинный коридор с несколькими дверями. По привычке понизив голос, как в старые времена, Морлен спросил: чего ты хочешь? Феликс Ардевол ответил: контакты, всего лишь контакты. Хочу открыть антикварный магазин и думаю, что ты можешь помочь мне достать первоклассные вещи для него. Они прошли несколько метров молча. Забавно: хотя коридор и был абсолютно пуст, ни шаги, ни речь не отдавались эхом от стен. Отец Морлен, видимо, знал об особых свойствах этого места. Наконец он остановился возле скромной картины, изображавшей Благовещение, промокнул лоб и посмотрел Ардеволу прямо в глаза:

– Сейчас, в разгар войны у вас, как тебе удалось пересечь границу?

– Я могу въезжать и выезжать без особых проблем. У меня свои способы и связи.

Отец Морлен сделал жест, которым показал, что не желает вникать в детали. Говорили они долго. Идея Феликса Ардевола была чрезвычайно проста: все больше граждан Германии, Австрии, Польши чувствуют исходящую от Гитлера опасность и ищут способы быстрее сменить обстановку.

– Так, значит, ты ищешь богатых евреев.

– Беглецы – всегда золотое дно для антиквара. Ты даешь мне информацию о тех, кто собирается уезжать в Америку. Остальное – моя забота.

Они дошли до конца коридора. Небольшое окошко выходило в маленький пустынный дворик, украшенный кроваво-красными геранями в горшках. Феликс представил монаха-доминиканца, поливающего эту шеренгу гераней. На противоположной стороне дворика простое

квадратное окно, совершенное в своей простоте, выходило на возвышающийся вдалеке купол собора Святого Петра. Феликс смотрел на него и размышлял о том, что ему чрезвычайно нравится и само окно, и вид из него. Потом вернулся к реальности, подумав, что Морлен специально привел его сюда, чтобы показать этот дворик.

– Мне нужно всего три-четыре адреса с необходимой информацией по ним.

– А с чего ты взял, дорогой Ардевол, что у меня есть эта необходимая тебе информация?

– У меня есть источники: я посвящаю своей работе много времени и знаю, кто может помочь с контактами.

Отцу Морлену это не понравилось, но он не подал виду.

– Откуда взялся этот интерес к чужим вещам?

Ардевол чуть было не ответил: моя работа – это моя страсть, потому что, когда я нахожу какую-нибудь интересную вещь, весь мир для меня сужается до этой вещи – будь то статуэтка, рисунок, документ или холст. И в мире полно вещей, которые, если они не окажутся в правильных руках, так и не будут оценены по достоинству. Есть вещи, которые...

– Я стал коллекционером. – И повторил: – Да, я – коллекционер.

– Коллекционер чего?

– Просто коллекционер. – Он распахнул руки, словно святой Доминик на проповеди. – Я ищу прекрасные вещи.

Отец Морлен имел нужную информацию, о да! Если и был в мире человек, который был способен знать все, не покидая стен монастыря Святой Сабины, то это отец Феликс Морлен – друг для друзей и, как говорили, опасный человек для врагов. Ардевол был его другом, и потому им было легко договориться. Сначала Феликс Ардевол мужественно выслушал целую проповедь про тяжелые времена, которые помимо их воли затронули всех и даже, можно сказать, расплющили. Со стороны могло показаться, что они читают литанию^[166] с четками в руках. Такие времена, постигшие Европу, вынуждают многих смотреть в сторону Америки, и благодаря отцу Морлену Феликс Ардевол получил возможность ездить по предвоенной Европе, спасая от возможных «землетрясений» войны мебель и обстановку. Первым контактом был дом на улице Тифер-Грабен в центре Вены. Это был очень красивый дом: не слишком большой, но вместительный. Ардевол нажал кнопку дверного звонка и обаятельно улыбнулся даме, которая открыла дверь с гримасой недоверия на лице. В тот раз он купил всю обстановку и продал ее вдвое дороже, оставив себе пять самых ценных предметов, причем проделал это,

даже не уезжая из Вены, не покидая даже центра города. Такой блестящий результат мог бы вскружить голову, но Феликс Ардевол был человеком хитрым и умным. Поэтому работал он очень осторожно. В Нюрнберге купил коллекцию живописи XVII–XVIII веков: двух Фрагонаров, одного Ватто в неважном состоянии и трех Риго. Думаю, что и наш Миньон с желтыми гардениями – оттуда. В Понтеграделле, возле Феррары, он впервые держал в руках по-настоящему ценный музыкальный инструмент. Это был альт работы Николо Гальяно из Неаполя. Пока шли переговоры о сделке, Ардевол очень жалел, что не может сам сыграть на инструменте. Он хранил молчание, пока продавец – альтист по имени Давид Фьордализо (по полученным из надежных источников сведениям, игравший раньше в Венской филармонии, но вынужденный оставить ее из-за новых законов о чистоте расы и ныне пробавлявшийся игрой в кофейнях Феррары), – сильно нервничая и едва ли не шепотом называл цену: *due milioni*^[167]. Ардевол посмотрел на синьора Аррау, который вот уже час с лупой в руках изучал инструмент, и тот утвердительно опустил веки – да. Феликс Ардевол знал, что сейчас он с недовольным видом вернет альт владельцу и назовет другую цену – абсурдно низкую. Так он и сделал, но опасение потерять этот инструмент было столь велико, что ему пришлось хорошенько подумать, как вести себя дальше. Одно дело – хладнокровно торговаться, а другое – открыть собственный магазин, если он его вообще сможет открыть. В конце концов он купил альт за двести тысяч лир. И отклонил приглашение продавца, у которого тряслись руки, выпить кофе, потому что война учит не смотреть в глаза своим жертвам. Итак, Гальяно. Синьор Аррау сказал ему, что, хотя музыкальные инструменты и не его специализация, эту вещь можно продать в три раза дороже, если быть сдержанным и действовать не торопясь. И если хотите, я познакомлю вас с вашим соотечественником синьором Беренгером – молодым и очень даровитым человеком, который потрясающе точно определяет стоимость вещей. Тем более что, когда закончится война в Испании (а она ведь когда-нибудь должна закончиться), он собирается вернуться обратно.

Следуя прозорливым советам отца Морлена, Феликс Ардевол снял склад в одной деревне недалеко от Цюриха, куда и поместил диваны, канапе, консоли, стулья Чиппендейла, картины Фрагонара и Ватто. И альт Гальяно. Тогда он и подумать не мог, что однажды струнный инструмент, подобный этому, разрушит его жизнь. Но зато он уже ясно понимал, что одно дело – владеть антикварным магазином и совершенно другое – собственной частной коллекцией, составленной из самых лучших вещей,

попавших к нему в руки.

Время от времени он возвращался в Рим, в гостиницу «Браманте», и встречался с Морленом. Они говорили о потенциальных клиентах, обсуждали будущее, и Морлен объяснял, что война в Испании не закончится никогда, потому что Европа стоит на пороге страшных потрясений, а потрясения неизбежно связаны с большими неудобствами. Карта мира должна измениться, а самый верный и быстрый способ для этого – бомбы и окопы, говорил он, безмятежно глядя на собеседника.

– Откуда ты все это знаешь?

Ничего лучше я придумать не мог. Мы с Даниэлой поднимались от Барри^[168] к замку той дорогой, которой ходили только тогда, когда нужно было идти вместе с пожилыми людьми, избегавшими подъема по крутой тропинке.

– Какой невероятный вид! – сказала она.

Они стояли и наслаждались панорамой долины Вик^[169]. У Адриа мелькнула мысль об Аркадии.

– Откуда ты знаешь столько про моего отца?

– Потому что это и мой отец. Как называется та гора вдалеке?

– Мунсень.

– Правда, это похоже на *presepe*?^[170]

Откуда тебе знать, что у нас дома никогда не бывало вертепа, подумал я. Однако Даниэла была права: Тона походила на рождественский вертеп, как никогда. Адриа кивнул:

– Вон усадьба Жес.

– Да. И усадьба Казик.

Они дошли до Башни мавров^[171]. Внутри – запустение и разруха. Снаружи – ветер и красота пейзажа. Адриа сел на краю обрыва, чтобы насладиться видом. И задал вопрос иначе:

– Почему ты мне все это рассказываешь?

Она села рядом и ответила, не глядя на него: потому что мы брат и сестра, потому что нам нужно понимать друг друга, потому что я теперь хозяйка усадьбы Казик.

– Я знаю, мама мне говорила.

– Я думаю снести дом: всю эту застарелую грязь, навоз, запах гнилой соломы. И построить новый.

– Ужас.

– Ты привыкнешь.

– Виола умерла от тоски.

– Кто это – Виола?

– Собака из усадьбы Казик. Бурая такая, с черной мордой и вислыми ушами.

Наверняка Даниэла не поняла, о чем я, но ничего не сказала. Адриа некоторое время молча на нее смотрел.

– Зачем ты мне все это рассказываешь?

– Чтобы ты знал, кем был наш отец.

– Ты его ненавидишь.

– Наш отец мертв, Адриа.

– Но ты его все равно ненавидишь. Зачем ты приехала в Тону?

– Чтобы поговорить с тобой спокойно, подальше от твоей матери. В частности, поговорить про магазин. Когда он станет твоим, мне бы хотелось войти в долю.

– А со мной-то что толку говорить? Обсуждай это с мамой...

– С твоей матерью невозможно ничего обсуждать. Ты это отлично знаешь.

Солнце вот-вот должно было зайти за Кольсуспин. Я чувствовал внутри себя огромную пустоту. Луна уже появилась на небе. Кажется, начали петь цикады. Бледная луна повисла над Кольсакаброй. Когда магазин станет моим, говоришь?

– По законам жизни он будет твоим. Рано или поздно.

– Иди к черту...

Последнюю фразу я сказал по-каталански. Судя по ее улыбке, она прекрасно поняла – поняла, хоть и не изменилась в лице.

– Я еще много чего должна тебе рассказать. Кстати, какую скрипку ты привез с собой?

– Я не собираюсь много играть. На самом деле я бросил занятия. Привез инструмент только ради тети Лео.

Поскольку подступали сумерки, брат с сестрой начали спускаться. На этот раз они шли по узкой и крутой тропинке: он – широкими шагами, не обращая внимания на крутизну склона, она, хотя и в узкой юбке, попевала за ним без видимых трудностей. Луна поднялась выше, когда они дошли до роции возле кладбища.

– Так с какой скрипкой ты приехал?

– С той, что для занятий. А что?

– Насколько я знаю, – продолжал синьор Носеке, стоя посреди улицы, – на этом инструменте не играли сколько-нибудь регулярно. Как и на Мессии Страдивари, понимаете?

– Нет, – ответил Ардевол нетерпеливо.

– Я говорю вам о том, что это придает ей еще большую ценность. Ее след теряется сразу, в год создания, как только она попала в руки Гийома-Франсуа Виала. Возможно, на ней кто-то и играл, но достоверных сведений об этом нет. А теперь она вдруг появляется. Эта скрипка бесценна.

– Вот это я и хотел от вас услышать, *caro dottore*.

– В самом деле она появилась впервые? – с любопытством спросил сеньор Беренгер.

– Да.

– Я бы не купил ее, сеньор Ардевол. Это очень большие деньги.

– Но она их стоит? – спросил Феликс Ардевол, глядя на Носеке.

– Я бы заплатил не колеблясь. Если б такие деньги у меня были. У нее великолепный звук!

– Мне плевать, какой у нее звук.

– И исключительная символическая ценность.

– А вот это действительно имеет значение.

Они распрощались: начинался дождь. Синьор Носеке получил свой гонорар прямо на улице. Ужасы войны, миллионы погибших и целые города, сметенные с лица земли, научили людей не рассыпаться в любезностях, а принимать решения на месте, даже такие, которые могут повлиять не на одну человеческую жизнь. Перед тем как расстаться, Феликс Ардевол сказал: я последую вашему совету, сеньор Беренгер. Пятьдесят тысяч долларов – действительно огромные деньги. Большое спасибо вам обоим. Увидимся, если сведет судьба. Сеньор Беренгер, прежде чем свернуть за угол, повернулся и посмотрел на сеньора Ардевола. Притворился, что прикуривает сигарету, чтобы лучше его разглядеть. Феликс Ардевол затылком почувствовал его взгляд, но оборачиваться не стал.

– Кто такой синьор Фаленьями?

Он снова был в монастыре Святой Сабины. Снова в коридоре, где можно говорить, не опасаясь эха. Отец Морлен бросил взгляд на часы и энергично начал выставлять Ардевола на улицу.

– Но там же дождь идет, Морлен, черт тебя дери!

Отец Морлен раскрыл здоровый крестьянский зонт, взял Ардевола под руку, и они начали прохаживаться вдоль монастырской стены. Со стороны казалось, что отец-доминиканец утешает и наставляет тоскующего мирянина. Они шагали взад-вперед вдоль фасада монастыря – словно говорили о неверности, о приступах неводержанности, о таких

греховных чувствах, как зависть и гнев; я столько лет не исповедовался, святой отец... прохожие, видевшие их, были впечатлены.

– Консьерж *Ufficio della Giustizia e della Pace*.

– Это и я так знаю. – Два хлюпающих шага вперед. – Кто он? Ну же! Откуда у него скрипка такой ценности?

– Да, она действительно ценная.

– Ты получишь свой процент за посредничество.

– Я знаю, сколько он просит.

– Не сомневаюсь. Но не знаешь, сколько я ему заплачу.

– Его настоящее имя не Фаленьями. Его фамилия – Циммерманн.

Отец Морлен искоса посмотрел на собеседника. Пройдя еще немного, он не выдержал:

– Ты понятия не имеешь, кто это, да?

– Ясно только, что его настоящее имя и не Циммерманн.

– Будет лучше, если ты по-прежнему будешь называть его Фаленьями.

Можешь дать ему четверть от того, что он запросил. Но не вздумай давить на него, потому что...

– Потому что он опасен.

– Да.

По виа дель Корсо пронесся американский джип и обдал их брызгами.

– Вашу мать... – выругался Ардевол, не повышая голоса.

Морлен осуждающе покачал головой.

– Дорогой друг, – сказал он с отстраненной улыбкой, словно разглядывая будущее, – такой характер сослужит тебе дурную службу.

– Что ты хочешь сказать?

– Что тебе придется признать, что ты вовсе не так несгибаем, как думаешь. Тем более в наступающие времена.

– Кто такой этот Циммерманн?

Феликс Морлен взял своего друга под руку. Стук капель, долбящих купол зонтика, не мешал внимательно слушать.

Снаружи, на берегу, стоял жуткий холод. Обильный снегопад все засыпал и погрузил в молчание. Внутри, глядя на то, как радужно переливается вино в поднятом бокале, он сказал хозяину: «Да, я родился в состоятельной и очень набожной семье, и моральные принципы, в соответствии с которыми я был воспитан, помогают вашему покорному слуге принять на себя ту ношу, которую возлагает на него фюрер через конкретные инструкции рейхсфюрера Гимmlера, и справляться с нелегкой задачей служить родине надежным щитом против внутреннего врага. Это превосходное вино, доктор».

– Благодарю, – ответил доктор Фойгт, которому уже несколько наскучила эта напыщенная болтовня. – Для меня большая честь разделить его с вами в этом импровизированном жилище, – сказал он первое, что пришло в голову. С каждым днем ему все больше надоедали все эти гротескные и совершенно необразованные персонажи.

– Импровизированное, но уютное, – возразил начальник лагеря.

Еще глоток. Снаружи снег уже прикрыл срам земли холодной белой простыней.

Рудольф Хёсс продолжал:

– Для меня приказы священны, как бы они ни были тяжелы. Мы, в СС, должны быть готовы принести себя в жертву ради исполнения долга перед родиной.

Бла-бла-бла...

– Безусловно, оберштурмбаннфюрер Хёсс.

И тогда Хёсс рассказал ему ту патетическую историю про солдата Бруно Не-помню-как-его и, распалившись, принялся кричать, словно Дитмар Кельманн из *Berlinertheater*^[172], а закончил знаменитым «унесите эту падаль!». Насколько доктор Фойгт знал, эту байку уже слышали пара дюжин человек и она всегда заканчивалась таким ором.

– Мои родители – ревностные католики в стране лютеран (если не сказать – кальвинистов) – мечтали вырастить из меня священника. Я провел много времени, размышляя над этой возможностью.

Несчастный завистник.

– Из вас бы получился хороший священник, оберштурмбаннфюрер Хёсс.

– Я думаю, да.

Надутый индюк.

– Я уверен в этом, потому что все, что вы делаете, вы делаете хорошо.

– То, что вы обрисовали сейчас как мою сильную сторону, может и погубить меня. Особенно сейчас, когда нас должен посетить рейхсфюрер Гиммлер.

– Почему же?

– Потому что, как начальник лагеря, я отвечаю за все недостатки системы. Например, последней партии баллонов с газом «Циклон» хватит только на два или максимум три раза. А интенданту в голову не приходит ни сообщить об этом мне, ни заказать новую поставку. И вот я должен просить об одолжениях, выискивать машины, которые, может быть, нужны в другом месте, и стараться не ссориться с интендантом, потому что мы все

здесь, в Аушвице^[173], живем на грани срыва.

– Я полагаю, опыт Дахау...

– С психологической точки зрения разница тут огромна. В Дахау сидят заключенные.

– Но они умирают, и умирают в большом количестве.

Этот доктор – просто идиот, думал Хёсс. Придется назвать вещи своими именами.

– Да, штурмбаннфюрер Фойгт, но Дахау – лагерь для заключенных. А Аушвиц-Биркенау задуман, спланирован и приспособлен для полного и окончательного уничтожения крыс. Если бы евреи были людьми, я подумал бы, что мы живем в аду, откуда есть всего одна дверь – в газовую камеру и одна судьба – огонь крематориев или рвы возле леса, где мы сжигаем лишние единицы, потому что не справляемся с объемами материала, которые нам присылают. Я еще не говорил об этом никому за пределами лагеря, доктор.

Да что он себе вообразил, этот идиот?

– Хорошо, что вы больше не держите это в себе, оберлагерфюрер Хёсс.

Хорошо бы сблевать, но не перед этим же надутым индюком-доктором, думал Хёсс.

– Я рассчитываю, что это профессиональная тайна, поскольку рейхсфюрер...

– Разумеется. Ведь вы христианин... А психиатр подобен исповеднику, которым вы могли стать.

– Мои люди должны быть очень сильными, чтобы исполнять доверенную им работу. Не так давно один солдат тридцати лет – не мальчик, понимаете? – расплакался прямо в казарме перед своими товарищами.

– И что же?

– Бруно, Бруно, проснись!

Трудно поверить, но начальник лагеря оберштурмбаннфюрер Рудольф Хёсс за вторым бокалом вина был расположен снова рассказать всю эту историю с начала до конца. После четвертого или пятого бокала взгляд у него остекленел. Он начал молоть какую-то ерунду, а потом сболтнул, что увлечен одной молоденькой еврейкой. Доктор сделал вид, что совершенно не удивлен, однако подумал, что это признание может сослужить ему хорошую службу в трудные дни. Поэтому на следующий день он переговорил с ефрейтором Хеншем, пытаясь узнать, про кого именно вчера обмолвился оберштурмбаннфюрер. Все оказалось просто: про свою служанку. Полученную информацию доктор занес в записную

книжку – на всякий случай.

Спустя несколько дней он снова был вынужден копаться в дерьме – заниматься сортировкой товара. Доктор Фойгт, прячась от ветра, наблюдал, как солдаты с механической тупостью отделяют женщин от детей. Вот доктор Будден отобрал десять девочек и мальчиков, как он ему и велел. И тут доктор Фойгт обратил внимание на кашляющую старуху, по лицу которой текли слезы. Он подошел к ней:

– Это что такое?

Он положил руку на футляр для скрипки, но старая ведьма сделала шаг назад и выдернула его у Фойгта. Что вообразила о себе эта мерзавка? Поскольку она вцепилась в футляр мертвой хваткой, Фойгт вынул пистолет. Он приставил дуло к седому затылку и нажал на курок. Посреди всеобщего плача слабого щелчка почти не было слышно. Старая сволочь забрызгала футляр. Доктор приказал Эммануэлю почистить его и немедленно отнести к нему в кабинет. И, убирая пистолет, ушел, провожаемый взглядами людей, напуганных такой жестокостью.

– Вот он, – доложил Эммануэль спустя пару минут, кладя футляр на стол. Это был красивый футляр. Поэтому-то на него и обратил внимание доктор Фойгт. Красивый футляр не может хранить в себе плохой инструмент. А коли инструмент хороший, то ради него можно и Аушвиц перетерпеть.

– Открой замок.

– Каким образом, командир?

– Сам пошевели мозгами. – И внезапно испугался. – Только не сломай!

Эммануэль вскрыл замок при помощи ножа, который явно не входил в список табельного оружия. Фойгт записал это в свою записную книжку – на всякий случай. Потом дал знак оставить его одного и, замерев, открыл крышку. Да, внутри лежала скрипка. С первого же взгляда было понятно, что это, безусловно... так, спокойно. Он взял инструмент и прочел клеймо внутри: *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit 1764*. Кто бы мог подумать!

Эта деревенщина Хёсс заявился к нему около трех, наморщил нос и посмел заявить: вы тут, в лагере, – никто, доктор Фойгт, временный консультант со стороны, кто вы такой, чтобы устраивать публичную экзекуцию в зоне приема и сортировки?

– Она отказывалась подчиниться.

– Что у нее было?

– Скрипка.

- Можно взглянуть?
- Она не имеет никакой ценности, оберштурмбаннфюрер.
- Не важно, я хочу посмотреть.
- Поверьте, она не представляет интереса.
- Это приказ.

Доктор Фойгт открыл дверцу шкафчика с медикаментами и тихо сказал со льстивой улыбкой:

- Пожалуйста, оберштурмбаннфюрер.

Рудольф Хёсс внимательно изучил инструмент, а потом сказал: я, конечно, не музыкант, но даже мне понятно, что это ценная скрипка.

– Мне нужно напомнить вам, что обнаружил ее я, оберштурмбаннфюрер?

Рудольф Хёсс поднял голову, удивленный чрезвычайно сухим тоном доктора Фойгта. Прошло несколько напряженных секунд, полных внутренней борьбы.

- Разве вы не сказали мне, что у нее нет никакой ценности?

- Да, нет. Но она мне нравится.

– Знаете что, доктор Фойгт? Я, пожалуй, ее заберу. В качестве компенсации за...

За что – он не знал. Поэтому дал себе время подумать, пока укладывал инструмент обратно в футляр и закрывал крышку.

– Какая досада! – Хёсс рассматривал футляр на вытянутых руках. – Это кровь, не так ли?

И прислонил его к стене.

- Видимо, придется поменять футляр.

- Я обязательно это сделаю. Потому что инструмент останется у меня.

- Ошибаетесь, друг мой, – у меня!

- Нет, не у вас, оберштурмбаннфюрер.

Рудольф Хёсс протянул руки к футляру, словно собираясь его забрать. Теперь стало совершенно очевидно, что это весьма ценный инструмент. Раз доктор осмелился вести себя так нагло, значит весьма и весьма ценный. Он улыбнулся, однако улыбка сползла с его лица, когда он услышал слова Фойгта, приблизившего к его лицу свой нос картошкой и выдохнувшего:

- Вы ее не заберете, иначе я донесу на вас.

- О чем же? – озадаченно спросил Хёсс.

- О номере шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь.

- Что?

- Елизавета Мейрева.

- Что?

– Номер шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь. Шесть, один, пять, четыре, два, восемь. Елизавета Мейрева. Ваша служанка. Рейхсфюрер Гиммлер приговорит вас к смертной казни, когда узнает, что вы имели сексуальную связь с еврейкой.

Красный как рак, Хёсс с сухим стуком положил скрипку на стол:

– Вы не можете нарушить тайну исповеди, мерзавец!

– Я не священник.

Скрипка осталась у доктора Фойгта, приехавшего в Аушвиц лишь на время, чтобы контролировать ход экспериментов доктора Буддена – этого надменного оберштурмфюрера, который, казалось, однажды проглотил палку от швабры и она так в нем и осталась. И работу еще трех врачей. Эксперименты эти Фойгт рассматривал как наиболее глубокое исследование пределов болевой чувствительности (из тех, что когда-либо проводили или еще проведут). В свою очередь, Хёсс просидел несколько дней в кабинете, пытаясь просчитать, насколько вероятно, что этот ничтожный воришка и педик Ариберт Фойгт, кроме того, еще и стукач.

– Пять тысяч долларов, синьор Фаленьями.

Человек с беспокойным взглядом уставился своими стеклянными глазами на Феликса Ардевола:

– Вы надо мной издеваетесь?

– Нет. Знаете что? Пожалуй, я остановлюсь на трех тысячах, герр Циммерманн.

– Вы сошли с ума!

– Вовсе нет. Либо вы отдаете ее мне за эту цену, либо... Думаю, властям будет интересно узнать, что доктор Ариберт Фойгт, штурмбаннфюрер Фойгт, жив и прячется всего в километре от Ватикана, укрываемый кем-то имеющим в Ватикане достаточно возможностей для этого. Да еще и пытается продать скрипку, украденную в Аушвице.

Синьор Фаленьями вынул маленький дамский пистолет и наставил на гостя. Феликс Ардевол не шевельнулся. Он сделал вид, что подавляет улыбку, и покачал головой, словно очень сильно разочарован:

– Вы тут один. И как вы собираетесь избавиться от моего тела?

– Я буду рад, если мне представится возможность решать эту проблему.

– У вас будут гораздо более серьезные проблемы: если я не спущусь вниз собственными ногами, люди, ждущие меня на улице, знают, что нужно делать. – Он указал на пистолет. – Учитывая это, я снижаю цену до двух тысяч. Вы же знаете, что входите в первую десятку лиц, наиболее

разыскиваемых союзниками? – добавил он таким тоном, которым отчитывают непослушного ребенка.

Доктор Фойгт видел, как Ардевол вынул пачку банкнот и положил на стол. Он опустил пистолет и, глядя широко раскрытыми глазами, недоверчиво сказал:

– Тут всего полторы тысячи!

– Не вынуждайте меня терять терпение, штурмбаннфюрер Фойгт!

Так Феликс Ардевол защитил докторскую по части торговых операций. Уже через полчаса они со скрипкой были на улице. Он быстро шел по городу, чувствуя биение сердца и глубокое удовлетворение от хорошо проделанной работы.

– Ты нарушил священные правила в дипломатических отношениях.

– Что, прости?

– Ты повел себя как слон в лавке богемского стекла.

– Не понимаю, о чем ты.

Отец Феликс Морлен с негодованием и на лице, и в голосе процедил:

– Я – никто, чтобы судить людей. И синьор Фаленьями был под моей защитой.

– Да он та еще сволочь!

– Он находился под моей защитой!

– А почему ты защищаешь убийц?

Феликс Морлен захлопнул дверь перед носом у Феликса Ардевола, который так и не понял, отчего тот взбесился.

Феликс Ардевол вышел из Святой Сабины, натянул берет и поднял воротник пальто. Он не подозревал, что больше никогда не увидит этого удивительного доминиканца.

– Не знаю, что и сказать на это.

– Я еще многое могу рассказать о нашем отце.

Стемнело. Они шли по неосвещенным улицам, внимательно глядя под ноги. Возле усадьбы Жес Даниэла поцеловала его в лоб, и Адриа тут же увидел того ангела, которым она была для него когда-то, – только теперь без крыльев и неземного свечения. Потом он пришел в себя и понял, что все лавки уже закрыты, а тете Лео он так ничего и не купил.

Лицо, изборожденное трагическими морщинами. Меня поразили взгляд – ясный, прямой, – казалось, он обвиняет меня. Или, быть может, умоляет о прощении. Я угадал в этом взгляде множество пережитых несчастий еще до того, как Сара успела мне что-то рассказать. Все и так было сказано несколькими угольными штрихами на плотной белой бумаге.

– Потрясающий рисунок, – сказал я. – Мне хотелось бы познакомиться с этим человеком.

Я отметил про себя, что Сара ничего не ответила, а только положила сверху нарисованный углем вид Кадакеса. Мы смотрели на него и молчали. Весь дом молчал. Огромная квартира Сары, в которую мы вошли почти тайком, когда дома не было родителей, да и вообще никого не было. Богатый дом. Как и мой. Как тать, как день Господень, войду я в твоё жилище.

Я не осмелился спросить, почему мы пришли, когда никого нет. Адриа было приятно увидеть мир, в котором жила девушка, чья задумчивая улыбка и мягкие жесты, каких он больше ни у кого не встречал, с каждым днем все глубже и глубже проникали во всё его существо. Комната Сары была больше моей раза в два. Очень красивая комната: на обоях гуси и крестьянский дом, не такой, как усадьба Жес в Тоне, а чище, наряднее, без мух и навоза, похожий на картинку в детской книжке, – детские обои, которые остались до сих пор, хотя сейчас ей уже... Я не знаю, сколько тебе лет, Сара.

– Девятнадцать. А тебе двадцать три.

– Откуда ты знаешь, что мне двадцать три?

– На столько ты выглядишь.

И она накрыла лист с видом Кадакеса новым листом.

– Ты очень хорошо рисуешь. Дай-ка ещё посмотреть на тот портрет.

Она снова положила портрет дяди Хаима сверху. Взгляд, морщины, дымка печали.

– Это твой дядя, говоришь?

– Да. Он умер.

– Когда?

– На самом деле это мамин дядя. Я его не знала. Ну то есть я была очень маленькая, когда...

– И как же...

– По фотографии.

– А почему ты решила его нарисовать?

– Чтобы сохранить его историю.

Они стояли в очереди в душевую. Гаврилов, тот самый, который всю

дорогу в скотном вагоне пытался согреть двух девочек, оставшихся без родных, повернулся к доктору Эпштейну и сказал: нас ведут на смерть, и доктор Эпштейн тихо, чтобы другие не услышали, прошептал в ответ: это невозможно, вы сошли с ума.

– Нет, доктор, это они сошли с ума! Неужели вы этого не понимаете!

– Всем внутрь. Так, мужчины сюда. Дети могут идти с женщинами, конечно!

– Нет-нет. Аккуратно сложите одежду и запомните номер вешалки, чтобы когда выйдете... Понятно?

– Откуда ты? – спросил дядя Хаим, глядя в глаза дававшему указания.

– Вам запрещается с нами разговаривать.

– Кто вы? Вы ведь тоже евреи?

– Запрещается разговаривать, чтоб тебя! Не усложняй мне жизнь! – И снова всем: – Запомните номер вешалки!

Когда раздетые мужчины медленно потянулись в душевую, где уже толпились голые женщины, офицер СС с тонкими усиками вошел в раздевалку и, сухо кашляя, спросил: среди вас есть врач? Доктор Хаим Эпштейн сделал еще один шаг в сторону душевой, но Гаврилов, стоявший рядом, сказал: доктор, не валяйте дурака, это ваш шанс.

– Помолчи.

Тогда Гаврилов повернулся и показал пальцем на бледную спину Хаима Эпштейна и сказал: er ist ein Arzt, mein Oberleutnant^[174]; и герр Эпштейн выругал про себя товарища по несчастью, который продолжал двигаться в сторону душевой с немного повеселевшими глазами и насвистывая себе под нос чардаш Рожавелди^[175].

– Ты врач? – спросил офицер, подходя к Эпштейну.

– Да, – ответил тот, смирившись со всем, а скорее от всего устав. А ведь ему исполнилось всего пятьдесят.

– Одевайся.

Эпштейн медленно оделся, пока остальные мужчины входили в душевую, направляемые, как пастухами, другими узниками с серыми износившимися взглядами.

Пока этот еврей одевался, офицер нервно расхаживал туда-сюда. Вдруг он закашлялся – может быть, чтобы заглушить сдавленные крики ужаса, доносившиеся из душевой.

– Что такое? Что там творится?

– Всё, пошли, – нетерпеливо сказал офицер, увидев, что Хаим, еще не успевший застегнуть рубаху, натягивает штаны.

Офицер вывел его на улицу, на безжалостный холод Освенцима, и завел в караульную, выгнав оттуда двоих скучавших часовых.

– Послушай меня, – приказал он, сунув Эпштейну в руки стетоскоп.

Эпштейн не сразу понял, чего хочет офицер, уже расстегивавший рубаху. Он не спеша вставил стетоскоп в уши и впервые после Дранси^[176] почувствовал себя наделенным какой-то властью.

– Садитесь, – приказал он, снова став врачом.

Офицер сел на лавку караульной. Хаим внимательно выслушал его и, слушая, представлял себе распадающиеся легкие. Потом велел повернуться, выслушал грудь и спину. Затем сказал снова встать, просто чтобы дать еще одно указание офицеру СС. Несколько секунд Хаим думал о том, что, пока он занят с пациентом, его не отправят в эту страшную душевую, откуда доносились крики. Гаврилов был прав.

Он не мог скрыть удовлетворения, когда, глядя больному в глаза, сообщил, что необходим более полный осмотр.

– То есть?

– Осмотр гениталий, пальпация поясничной области.

– Хорошо, хорошо...

– Здесь больно? – спросил он, надавив на почку своими железными пальцами.

– Аккуратнее, черт возьми!

Доктор Эпштейн покачал головой, давая понять, что озабочен.

– Что?

– У вас туберкулез.

– Ты уверен?

– Совершенно. Болезнь зашла довольно далеко.

– А здесь на это всем плевать. Это серьезно?

– Очень.

– И что мне делать? – спросил офицер, вырывая у Хаима стетоскоп.

– Я поместил бы вас в санаторий. Это единственное, что можно сделать.

И, указывая на его пожелтевшие пальцы, добавил:

– И бросьте курить, ради бога.

Офицер позвал часовых и приказал отвести Хаима в душевую, но один из них махнул рукой – в том смысле, что уже все, это была последняя партия. Тогда офицер запахнул шинель и стал спускаться к комендатуре. На полпути он крикнул, заходясь кашлем:

– Отведите его в двадцать шестой барак!

Так он и выжил. Но часто повторял, что это было наказание

пострашнее смерти.

– Я даже представить себе не мог такого ужаса.

– Это ты еще не все знаешь.

– Расскажи.

– Нет. Не могу.

– Ну вот!

– Пойдем покажу картины в гостиной.

Сара показала ему картины в гостиной, затем семейные фотографии; она терпеливо объясняла, кто есть кто на этих снимках, но, когда пришло время уходить, потому что кто-нибудь из домашних мог вернуться, она сказала: тебе пора. Но знаешь что? Я тебя немного провожу.

И так состоялось мое знакомство с твоей семьей.

21

Софисты ни над чем не работали так систематически и усердно, как над развитием ораторского искусства. Сара. В ораторском искусстве софисты видели идеальный инструмент управления людьми. Сара, как вышло, что ты не захотела иметь детей? Благодаря софистам и их риторике публичные речи превратились в литературу, потому что люди начали относиться к ним как к произведениям искусства, достойным записи и хранения. Сара. С этого момента обучение ораторскому искусству становится необходимым для политической деятельности, но надо иметь в виду, что в сферу риторики включалась вся проза, особенно историографическая. Сара, ты для меня загадка. Таким образом, следует понимать, что в четвертом веке в литературе доминировала проза, а не поэзия. Любопытно. Но логично.

– Послушай, дружище, куда ты запропастился? Я тебя везде ищу!

Адриа поднял голову от Нестле^[177], открытого на пятнадцатой главе, на Исократе и новом типе образования. Он полностью погрузился в чтение и, как человек, которому трудно сфокусировать взгляд, не сразу сообразил, чье это лицо показалось в конусе света зеленой лампы в университетской библиотеке. Кто-то шикнул на них, и Бернату пришлось понизить голос. Усаживаясь на стул напротив Адриа, он говорил: вообще-то, Адриа уже месяц здесь не показывается; его нет, он вышел; я не знаю, куда он пошел; Адриа? Он целый день где-то ходит. Слушай, дружище... Даже у тебя дома не знают, где тебя носит!..

– Ты же видишь. Я занимаюсь.

– Ну да! Я сам тут часами сижу.

– Ты?

– Да. Знакомлюсь с красивыми девушками.

Адриа непросто было вынырнуть из четвертого века до Рождества Христова, тем более что Бернат требовал его внимания, чтобы высказывать упрёки.

– Как дела?

– Что это за девица к тебе прицепилась?

– Кто тебе сказал?

– Да все! Женсана мне ее даже описал: темные прямые волосы, худая, карие глаза, учится в Высшей школе искусств.

– Ну, если ты все уже знаешь...

– Это та, что была в Палау-де-ла-Музика, правда? Которая еще назвала тебя Адриа Не-помню-как-дальше?

– Тебя это должно бы радовать, нет?

– Ха, и оказывается, ты в нее влюбился.

– Потихе, пожалуйста!

– Простите.

Бернату:

– Давай выйдем.

Они прошли по галерее внутреннего двора библиотеки, и Адриа впервые рассказал кому-то, что он окончательно, бесповоротно, безнадежно, безусловно влюблен в тебя, Сара. Ты только моим ничего не говори.

– Ага, то есть эту тайну даже Лола Маленькая не знает.

– Надеюсь.

– Но ведь рано или поздно...

– Вот когда это «рано или поздно» наступит, тогда и разберемся.

– В сложившихся обстоятельствах я с трудом могу представить, что ты в состоянии поддержать того, кто до сих пор был твоим лучшим другом, а теперь на наших глазах превращается в просто знакомого, потому что свет клином сошелся на этой прелестной девушке по имени... Как ее зовут?

– Мирейя.

– Врешь. Ее зовут Сага Волтес-Эпштейн.

– Тогда зачем спрашивать? И зовут ее Сара.

– А зачем было врать? Что ты от меня скрываешь, а? Разве я не твой друг Бернат, чтоб тебя!

– Слушай, да что с тобой?

– Со мной то, что для тебя, похоже, вся жизнь до Сары не в счет.

Бернат протянул Адриа руку, и тот, слегка удивившись, пожал ее.

– Очень приятно, сеньор Ардевол. Меня зовут Бернат Пленса-и-Пунсода, и еще пару месяцев назад я был твоим лучшим другом. Можно попросить тебя об аудиенции?

– Вот это да!

– Что?

– Да ты не в себе.

– Нет. Я просто возмущен. Друзья – прежде всего. И точка.

– Одно другому не мешает.

– Ошибаешься.

Не стоит искать у Исократа философскую систему. Исократ берет то, что кажется ему правильным, везде, где находит. Чистый синкретизм и никакой философской системы. Сара. Бернат поглядел на Адриа и встал перед ним, не давая идти вперед:

– О чем ты думаешь?

– Не знаю. В голове так много...

– На влюбленного типа аж смотреть противно.

– Не знаю, влюблен ли я.

– Ты же сам сказал, что окончательно, бесповоротно, безнадежно, безусловно влюблен! Минуту назад это объявил!

– Но на самом деле я не знаю, что чувствую. Я никогда не чувствовал... э-э... Не знаю, как сказать.

– Ну, я ж тебе говорю.

– Что говоришь?

– Что ты влюбился.

– Да ты же сам никогда не влюблялся.

– Ты откуда знаешь?

Они сели на скамейку в углу галереи, и Адриа подумал, что софисты, конечно, интересовали Исократа, но только в связи с конкретными вопросами – например, Ксенофан и его идея культурного прогресса (нужно прочитать Ксенофана). А интерес к Филиппу Македонскому возник у философа в результате того, что он открыл важность роли личности в истории. Любопытно.

– Бернат.

Бернат отвернулся, делая вид, что не слышит. Адриа повторил:

– Бернат.

– Что?

– Что с тобой?

– Мне паршиво.
– Почему?
– У меня в июне экзамен, а я совсем, совсем, совсем, совсем не готов...

- Я приду тебя послушать.
- То есть ты не будешь занят этой пленительной особой?
- А хочешь, приходи ко мне, или я к тебе, и поиграем вместе.
- Не хочу отвлекать тебя от ухаживаний за Мирейей твоей мечты.

Словом, афинская школа Исократы предлагала не философию, а, скорее, то, что в Риме назовут *humanitas* и что мы сейчас могли бы назвать культурой вообще, – все то, на что Платон в своей Академии не обращал внимания. Вот ведь. Вот бы подсмотреть за ними в замочную скважину. И увидеть Сару и ее семью.

- Обещаю, я приду послушать тебя. И если хочешь, она тоже придет.
- Нет. Только друзья.
- Ну ты и свинья!
- Хау.
- Что?
- Сразу видно.
- Что видно?
- Что ты влюбился.
- А ты откуда знаешь?

Вождь арапахо с достоинством промолчал. Может быть, этот молокосос думает, что он сейчас расскажет о своих чувствах и переживаниях?

Карсон сплюнул и выступил вперед:

- Да дураку понятно. Даже твоя мать, скорее всего, догадалась.
- Мать думает только о магазине.
- Ну-ну.

Исократ. Ксенофан. Сара. Бернат. Синкретизм. Экзамен по скрипке. Сара. Филипп Македонский. Сара. Сара. Сара.

Сара. Дни, недели, месяцы мы были рядом, и я уважал древнее молчание, которым ты часто укутывалась, как покрывалом. У тебя был печальный, но удивительно ясный взгляд. Чем дальше, тем больше сил для учебы мне придавала мысль, что после занятий я увижу тебя и растворюсь в твоих глазах. Мы всегда встречались на улице: ели хот-доги на площади Сан-Жауме или гуляли по садам Цитадели^[178], наслаждаясь нашим тайным счастьем; но никогда не встречались у тебя или у меня, если только не были уверены, что дома никого нет: наша тайна должна была

оставаться тайной для наших семей. Я точно не знал почему, а ты знала. И я отдавался течению дней этого непрерывного счастья, не задавая вопросов.

Адриа размышлял о том, что ему хотелось бы написать что-нибудь наподобие *Griechische Geistesgeschichte*^[179]. Ему это казалось возможным будущим: думать и писать, как Нестле. И даже больше того, потому что это были месяцы инициации – живые, наполненные, героические, неповторимые, эпические, дивные, великолепные. Он думал о Саре и жил ею, и это увеличивало его жажду познания и придавало сил учиться и снова учиться, забывая о ставших уже привычными полицейских гонениях на все, что связано со студентами, которые казались властям поголовно коммунистами, масонами, каталонскими националистами и евреями – то есть представителями четырех великих язв, которые франкизм стремился извести дубинками и пистолетами. Весь этот мрак не существовал ни для тебя, ни для меня: мы учились целыми днями, смотрели в будущее, я смотрел в глубину твоих глаз и говорил: я люблю тебя, Сара, я люблю тебя, Сара, я люблю тебя, Сара.

– Хау!

– Что?

– Ты повторяешься.

– Я люблю тебя, Сара.

– Я тоже, Адриа.

Nunc et semper^[180]. Адриа легко вздохнул. Был ли он счастлив? Я часто спрашивал себя, счастлив ли я. В те месяцы, ежедневно поджидая Сару на трамвайной остановке, я признавался себе, что да, я счастлив, мне нравится жить, потому что через пару минут из-за угла кондитерской выйдет худенькая девушка с темными прямыми волосами и карими глазами, студентка Высшей школы искусств, в шотландской юбке, которая так ей идет, с улыбкой, от которой теплеет на сердце, и скажет мне: привет, Адриа, и мы не сразу отважimsя поцеловаться, ведь прямо посреди улицы, я знаю, все будут смотреть на меня, все будут смотреть на нас, будут показывать на нас и говорить: как вылетевшие из гнезда птенцы, так и вы, тайные влюбленные... День был облачным и серым, но мне он казался сияющим. Десять минут девятого, ничего себе. Мы с ней одинаково

пунктуальны. А я жду уже десять минут. Она заболела. Ангина. Ее сбило такси и уехало. Ей на голову с шестого этажа упал цветочный горшок – боже мой, нужно обежать все больницы Барселоны! Вот она наконец! Нет, это какая-то худая женщина с темными прямыми волосами, светлыми глазами и накрашенными губами, на двадцать лет старше, она прошла мимо остановки, и наверняка ее даже зовут не Сара. Он попытался сосредоточиться и думать о другом. Задрал голову. Платаны на проспекте Гран-Виа зеленели свежими листочками, но проезжающим машинам было все равно. А мне – нет! Цикл жизни! Весна... *Follas novas*^[181]. Он снова посмотрел на часы. Невероятно: она опаздывает на двадцать минут! Проехало еще три или четыре трамвая, и он не мог больше противиться странному предчувствию. Сара. ¿Qué pasa ó redor de min? ¿Qué me pasa que eu non sei?^[182] Несмотря на предчувствие, Адриа Ардевол прождал два часа на каменной скамье на Гран-Виа, рядом с остановкой трамвая, не отводя глаз от кондитерской на углу, не думая о *Griechische Geistesgeschichte*, думая только о тысячах несчастий, которые случились с Сарой. Я не знал, что делать. Лежит в постели Сара, лежит дочь короля; врачи приходят к ней, лекарства приносят^[183]. Ждать дольше не было никакого смысла. Но он не знал, что делать. Он не знал, зачем ему жить теперь, когда Сара не пришла. Ноги сами привели его к дому Сары, несмотря на строжайший запрет возлюбленной, но он ведь должен быть там, когда ее будет увозить «скорая помощь». Дверь подъезда была закрыта, внутри консьерж раскладывал письма по почтовым ящикам. Невысокая женщина пылесосила лежащий посередине ковер. Консьерж закончил свое дело и открыл дверь. Донесся недовольный шум пылесоса. Консьерж, в своем смешном фартуке, посмотрел на небо, чтобы понять, соберется ли дождь, или тучу пока пронесет. А может быть, он ждал «скорую помощь»... Ах, дочка моя, дочка, скажи, чем ты больна? Ах, матушка родная, не вам ли лучше знать^[184]. Я не был уверен, какой именно балкон... Консьерж заметил праздного молодого человека, который уже несколько минут рассматривал дом, и окинул его подозрительным взглядом. Адриа сделал вид, что ждет такси – может быть, то самое такси, которое ее сбило. Он сделал несколько шагов вниз по улице. *Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo á desgracia traidora que ven, e que nunca se sabe ónde ven*^[185]. *Sara, ónde estás*^[186].

– Сара Волтес?

– А кто ее спрашивает? – Голос элегантный, нарядный, уверенный,

благородный.

– Это... Из церкви... Рисунки, с выставки рисунков...

Да что ж такое! Когда собираешься соврать, прежде чем начать, надо все продумать. Нельзя же начать, а потом застыть с открытым ртом, не зная, что сказать, идиот! Из церкви. Рисунки. Просто смешно! Смешно до неприличия. Поэтому естественно, что элегантный, уверенный, благородный голос сказал: я полагаю, вы ошибаетесь, – и трубку повесили – тактично, вежливо, мягко, – а я дал маху, потому что не сумел соответствовать обстоятельствам. Наверняка это была ее мать. Ах, матушка, вы дали мне яд, чтоб отравить. Ах, дочка моя, дочка, грешно так говорить ^[187]. Адриа повесил трубку, чувствуя себя посмешищем. В глубине квартиры Лола Маленькая копалась в шкафах, доставая белье, чтобы перестелить постели. На большом столе в отцовском кабинете были разложены книги, но Адриа думал только о бесполезном телефоне, неспособном рассказать ему, где Сара.

Высшая школа искусств! Я никогда там не был. Не знал, где она находится и существует ли вообще. Мы всегда встречались на нейтральной территории, ты на этом настаивала, – в ожидании, когда на нашем горизонте взойдет солнце. Когда я вышел из метро на станции «Жауме Первый», начался дождь, а у меня не было с собой зонта, потому что в Барселоне я никогда не ношу зонта, и мне пришлось по-дурацки поднять ворот пиджака. Я дошел до площади Вероники и встал перед странным неоклассическим зданием, о существовании которого до этого дня даже не подозревал. Я не обнаружил ни следа Сары ни внутри, ни снаружи; ни в коридорах, ни в аудиториях, ни в мастерских. Я дошел до здания Морской биржи, но там ничего не знали ни о школе, ни об искусстве ^[188]. К этому времени я уже насквозь промок, но мне пришло в голову дойти до школы дизайна Массана, и там у входа я увидел ее: она стояла спиной ко мне под темным зонтом и, смеясь, болтала с каким-то парнем. На ней был рыжий платок, который так ей к лицу. Неожиданно она поцеловала этого парня в щеку – для этого ей пришлось встать на носочки, – и Адриа впервые в жизни яростно пронзила ревность, и он почувствовал, что задыхается. Потом тот парень вошел в здание школы, а она повернулась и пошла в мою сторону. Сердце было готово выпрыгнуть у меня из груди, потому что счастье, переполнявшее меня всего несколько часов назад, превратилось в слезы отчаяния. Она не поздоровалась со мной, она не взглянула на меня – это была не Сара. Это была худая девушка с прямыми темными волосами, но глаза у нее были светлые, а главное – это

была не Сара. Я мок под дождем и снова был самым счастливым человеком в мире.

– Нет, это... Я ее однокурсник и...

– Ее нет.

– Простите?

– Ее нет.

Ее отец? Я не знаю, есть ли у нее братья, а может быть, с ними, кроме воспоминаний о дяде Хаиме, живет еще какой-нибудь дядюшка.

– То есть... Что вы хотите сказать?

– Она переехала в Париж.

Самый счастливый человек в мире повесил трубку и почувствовал, что у него из глаз сами собой ручьем катятся слезы. Он ничего не понимал; как может быть, чтобы Сара... она же ничего мне не говорила. Так неожиданно, Сара. Ведь еще в пятницу, когда мы в последний раз виделись, мы договорились встретиться на остановке трамвая! Сорок седьмого, да, как всегда с тех пор, как... Что она забыла в Париже? А? Почему она сбежала? Что я ей сделал?

В течение десяти дней кряду, каждое утро ровно в восемь, в дождь и в солнце, Адриа приходил на встречу на трамвайной остановке и желал, чтобы произошло чудо и Сара не уехала в Париж – и чтобы, одним словом, вот и я; или, например, я хотела проверить, правда ли ты меня любишь; или, не знаю, что угодно, может быть, она придет после четвертого трамвая. На одиннадцатый день, придя на остановку, он сказал себе, что сыт по горло трамваями, на которые они никогда не сядут вдвоем. И больше никогда я не был на этой остановке, Сара. Больше никогда.

В консерватории, придумав тысячу небылиц, я сумел добыть домашний адрес маэстро Кастельса, который когда-то давно там преподавал. Я вообразил, что, раз они родственники, он знает парижский адрес Сары. Если она в Париже. Если она жива. Звонок в квартиру маэстро Кастельса звучал *до-фа*. В нетерпении я сыграл *до-фа, до-фа, до-фа* и снял палец со звонка, сам испугавшись того, как плохо контролирую свои чувства. Или нет: скорее, я не хотел, чтобы маэстро Кастельс рассердился на меня и сказал: ах так, я ничего тебе не скажу, ты плохо воспитан. Никто не открывал мне двери, чтобы дать адрес Сары и пожелать удачи.

– *До-фа, до-фа, до-фа.*

Тишина. Адриа звонил еще несколько минут, потом огляделся, не зная, что делать. Тогда он позвонил соседям по площадке – их звонок звучал

безлико и некрасиво, как у меня дома. И сразу же, как будто этого только и ждала, толстая тетка в небесно-голубом халате и кухонном фартуке в цветочек распахнула дверь. Не жди ничего хорошего. Подбоченясь, женщина недоверчиво посмотрела на него и сказала:

– Ну?

– Вы не знаете... – И он махнул рукой назад, в сторону двери маэстро Кастельса.

– Пианист?

– Да.

– Помер, слава богу, эдак...

Обернувшись в квартиру, она крикнула:

– Когда он помер, Тайо?

– Шесть месяцев двенадцать дней и три часа назад! – послышался хриплый голос.

– Шесть месяцев двенадцать дней и...

В квартиру:

– Сколько часов?

– Три! – хриплый голос.

– И три часа назад, – повторила она, на этот раз обращаясь к Адриа. – Слава богу, теперь стало тихо и можно спокойно слушать радио. Вы себе даже не представляете, он целый день играл на пианино, целый день, днем и ночью.

Спохватившись:

– Что вам нужно?

– А не было у него...

– Семьи?

– Ага.

– Нет, он жил один.

В квартиру:

– У него же не было родственников?

– Нет! Только это проклятое пианино, будь оно неладно! – хриплый голос Тайо.

– А в Париже?

– В Париже?

– Да. Парижские родственники...

– Понятия не имею.

И с недоверием:

– У этого родственники в Париже?

– Да.

– Нет.

И в качестве заключения:

– Для нас он умер, и все тут.

Снова оставшись один на лестничной площадке в свете подслеповатой лампочки, Адриа понял, что для него закрылись многие двери. Он вернулся домой, и начались его тридцать дней пустыни и покаяния. Ночами ему снилось, что он едет в Париж и зовет ее, стоя посреди улицы, но шум машин заглушает его голос, и он просыпался в поту, в слезах, не понимая мира, который еще недавно казался таким дружелюбным. Несколько недель он не выходил из дому. Он играл на своей Сториони и даже умудрялся извлекать из инструмента грустные звуки, но пальцы были не те. Он хотел было перечитать Нестле, но не мог. И хотя переход Еврипида от риторики к правде произвел на него большое впечатление при первом прочтении, сейчас это казалось ему совершенно неинтересным. Еврипид – это тоже Сара. Кое в чем Еврипид был прав: человеческий разум не может совладать с иррациональными силами эмоций души. Я не могу учиться, я не могу думать. Я хочу плакать. Бернат!

Никогда еще Бернат не видел своего друга в таком состоянии. Его потрясло, что сердечная рана может быть такой глубокой. Он хотел помочь, хоть и не разбирался в сердечных недугах, и сказал: смотри, Адриа.

– Ну?

– Ну, если она взяла и сбежала, ничего не объяснив...

– То что?

– А то, что она просто...

– Только не вздумай оскорблять ее. Ладно?

– Хорошо, как хочешь. – Он огляделся в кабинете, разводя руками. – Но разве ты не видишь, как она все бросила? Не оставила даже клочка бумаги со словами – Адриа, дорогой, я встретила другого парня, покрасивее тебя, – а? Разве ты не понимаешь, что так не делается?

– Покрасивее меня и поумнее, да, я уже тоже об этом подумал.

– Покрасивее тебя толпами ходят, а вот поумнее...

Они замолчали. Время от времени Адриа встряхивал головой в знак протеста, в знак полного непонимания.

– Пойдем к ее родителям и скажем: господа Волтес-Эпштейны, что тут, в конце концов, происходит? Что вы от меня скрываете? Где Сага и так далее. Как тебе?

Мы сидели вдвоем в отцовском кабинете, который теперь был моим. Адриа встал и подошел к стене, на которой годы спустя будет висеть твой

автопортрет. Он прислонился к ней, словно взывая к будущему, и отрицательно покачал головой: идея Берната была не слишком хороша.

– Хочешь, я сыграю для тебя чакону? – предложил Бернат.

– Да. Сыграй на Виал.

Бернат играл очень хорошо. Несмотря на боль и тоску, Адриа внимательно слушал версию своего друга и пришел к выводу, что пьеса сыграна правильно, но иногда у Берната возникает одна проблема: он не проникает в душу вещей. Что-то мешает ему быть убедительным. А я раздавлен горем, но не могу перестать анализировать эстетические объекты.

– Тебе лучше? – спросил он, закончив играть.

– Да.

– Понравилось?

– Нет.

Я должен был промолчать, знаю. Но не смог. В этом я в мать.

– Что значит «нет»? – У него даже голос изменился, стал резче, напряженнее, настороженнее.

– Не важно, оставь.

– Нет, я хочу знать.

– Хорошо, согласен.

Лола Маленькая хозяйничала в глубине квартиры. Мать была в магазине. Адриа без сил упал на диван. Бернат перед ним – со скрипкой в руке, сам как натянутая струна – ждал вердикта, и Адриа сказал: ну-у-у, технически это совершенно или почти совершенно, но ты не проникаешь в душу вещей; мне кажется, ты боишься истины.

– Ты не в себе. Что́ есть истина?

И Иисус вместо ответа промолчал, а Пилат в беспокойстве вышел. Но поскольку я не знаю, что́ есть истина, мне пришлось ответить:

– Я не знаю. Я узнаю ее, когда слышу. А в тебе я ее не узнаю. Я узнаю ее в музыке и в поэзии. И в прозе. И в живописи. Но встречаю ее лишь изредка.

– Ссучья зависть!

– Да. Признаю: я завидую тому, что ты можешь это сыграть.

– Ну да. Давай исправляйся.

– Но я не завидую тому, как ты это играешь.

– Ха, да ты просто сочишься ядом.

– Твоя задача – суметь уловить и выразить истину.

– Вот как.

– По крайней мере, тебе есть к чему стремиться. Мне – нет.

В общем, дружеский вечер, во время которого один друг пытался утешить в горе другого, закончился глухой ссорой из-за эстетической истины и – да пошел ты куда подальше, понял, да пошел ты. Теперь я понимаю, почему сбежала Сага Волтес-Эпштейн. И Бернат вышел, хлопнув дверью. Через несколько секунд Лола Маленькая заглянула в кабинет и спросила: что случилось?

– Да ничего, просто Бернат спешит, ты его знаешь.

Лола Маленькая посмотрела на Адриа, который внимательно изучал скрипку, чтобы не сидеть с остановившимся от горя взглядом. Лола Маленькая хотела что-то сказать, но сдержалась. Тогда Адриа заметил, что она еще стоит в дверях, словно собираясь заговорить.

– Что? – спросил он, хотя по лицу его было видно, что он не в настроении разговаривать.

– Ничего. Знаешь, пойду готовить ужин: твоя мать должна скоро прийти.

Она вышла, а я принялся стирать со струн канифоль, полностью погрузившись в свою печаль.

23

– Сын, да ты не в себе.

Мать села в кресло, в котором обычно пила кофе. Адриа начал разговор хуже не придумаешь. Иногда я думаю, почему меня чаще не посылали куда подальше. Потому что вместо того, чтобы сказать ей: мама, я решил продолжить образование в Тюбингене, а она спросила бы: в Германии? А здесь тебе не нравится, сын? – вместо этого я начал с того, что сказал: мама, я должен тебе кое-что сказать.

– Что?

Она удивилась и села в кресло, в котором обычно пила кофе, – удивилась потому, что мы давно уже жили под одной крышей, не испытывая необходимости разговаривать друг с другом и уж тем более необходимости говорить: мама, я должен тебе кое-что сказать.

– Я недавно говорил с Даниэлой Амато.

– С кем ты говорил?

– Со своей единокровной сестрой.

Мать вскочила как ужаленная. Я уже настроил ее против себя, и не важно, что собирался сказать дальше. Осел, просто осел, ничего не умеешь сделать.

– У тебя нет никаких единокровных сестер.
– То, что вы скрывали ее от меня, не означает, что ее нет. Даниэла Амато, из Рима. У меня есть ее адрес и телефон.
– Плетешь интриги?
– Почему? С чего бы?
– Не верь этой пройдохе.
– Она сказала, что хочет быть совладелицей магазина.
– Ты знаешь, что она украла у тебя усадьбу Казик?
– Если я правильно понимаю, усадьба досталась ей от отца, она ничего не украла.
– Она как вампир. Хочет присвоить себе магазин.
– Нет. Она хочет быть совладелицей.
– И как ты думаешь, зачем ей это нужно?
– Я не знаю. Потому что он принадлежал отцу?
– А сейчас он мой, и мой ответ на все притязания этой накрашенной суки – нет.

Да уж, хорошо мы начали. Она не сказала «ссуки», потому что в данном случае это было существительное, а не прилагательное, как в прошлый раз, когда она ругалась. Мне понравилось языковое чутье матери. Она молча мерила шагами комнату, размышляя, стоит ли продолжать ругаться или нет. И решила, что нет:

– Это все, что ты хотел мне сказать?
– Нет. Я еще хотел сказать, что уезжаю из дома.
Мать снова села в кресло, в котором обычно пила кофе:
– Сын, да ты не в себе.
Она помолчала. Руки ее дрожали.
– Чего тебе не хватает? Что я тебе сделала?
– Ничего. Почему ты думаешь, что что-то мне сделала?
Мать нервно сцепила руки. Наконец она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и положила ладони на колени.
– А магазин? Ты не собираешься когда-нибудь взять его в свои руки?
– Мне это неинтересно.
– Неправда. Это твое любимое место.
– Нет. Мне нравятся вещи. Но связанные с магазином дела...
Мне показалось, она посмотрела на меня с затаенной злостью.
– Ты просто поступаешь мне назло. Как всегда.
Почему мы с матерью никогда не любили друг друга? Это загадка для меня. Всю жизнь я завидовал детям, которые могли сказать, ай, мамочка, моя коленка! – и мама прогоняла боль поцелуем. Моя мать этого

не умела. Когда я набирался храбрости сказать ей, что разбил колени, вместо того чтобы совершить чудо, она отправляла меня к Лоле Маленькой, а сама нетерпеливо ждала, чтобы моя интеллектуальная сверходаренность начала приносить плоды.

– Здесь тебе плохо?

– Я решил продолжить обучение в Тюбингене.

– В Германии? Здесь тебе плохо?

– Я хочу слушать лекции Вильгельма Нестле.

Если честно, я понятия не имел, преподает ли еще Нестле в Тюбингене. Точнее, я даже не знал, жив ли он еще. На самом деле к моменту нашего разговора он уже восемь лет как скончался. Но да: он когда-то преподавал в Тюбингене, и поэтому я решил, что хочу учиться в Тюбингене.

– Кто это?

– Историк философии. А еще я хочу познакомиться с Косериу^[189].

На этот раз я не лукавил. Говорили, что он невыносим, но гениален.

– Кто это?

– Лингвист. Один из великих филологов современности.

– Эта учеба не сделает тебя счастливым, сын.

Разберемся: если смотреть в перспективе, я вынужден признать ее правоту. Ничто не сделало меня счастливым, кроме тебя, Сара, хотя ты больше всех заставила меня страдать. Несколько раз мне было рукой подать до той или иной формы счастья, порой я испытывал радость. Я познал минуты сладостного спокойствия и безмерной благодарности миру или другим людям. Я был близок к прекрасным творениям и идеям. И иногда я чувствую зуд желания обладать красивыми вещами, что позволяет мне понять слабость моего отца. Словом, поскольку мне было столько лет, сколько было тогда, я самоуверенно улыбнулся и сказал: никто не обязан быть счастливым. И удовлетворенно замолчал.

– Ну ты и дурак!

Я был обезоружен и посмотрел на мать. Всего четыре слова, а я почувствовал себя совершенным идиотом. Я был уязвлен и перешел в нападение:

– Это вы сделали меня таким. Я хочу учиться, и не важно, буду я счастлив или нет.

Каким колючим был Адриа Ардевол! Если бы сейчас я мог заново начать свою жизнь, первое, к чему я стал бы стремиться, – это территория счастья: я попытался бы укрепить и защитить ее, чтобы сохранить на всю жизнь. И если бы мой сын ответил мне, как я ответил матери, я вlepил бы

ему затрещину. Но у меня нет детей. Всю жизнь я сам был только сыном. Сара, почему ты никогда не хотела иметь детей?

– Ты просто хочешь быть подальше от меня.

– Нет, – соврал я. – Зачем мне это?

– Ты просто хочешь сбежать.

– Да нет же! – снова соврал я. – Зачем мне сбежать?

– Почему ты не говоришь мне правду?

Но я не сошел с ума, чтобы рассказать ей о Саре – о своем желании раствориться, начать все сначала, перевернуть весь Париж в поисках Сары – или о том, что я дважды пытался нанести визит семейству Волтес-Эпштейн, пока на третий раз отец и мать Сары не приняли меня и не сообщили очень вежливо, что их дочь по собственной воле уехала в Париж, потому что, по ее собственным словам, она хотела быть подальше от вас, вы причинили ей много горя. То есть вам должно быть понятно, что вы не особенно желанный гость в нашем доме.

– Но я...

– Молодой человек, не настаивайте. Мы ничего не имеем против вас, – соврал сеньор Волтес, – но поймите, мы должны защитить свою дочь.

Я был в отчаянии и ничего не понимал. Сеньор Волтес встал и знаком показал, что мне тоже следует встать. Я медленно повиновался. Я тот еще плакса и не мог сдержать слез – они жгли мои красные от унижения щеки, словно капли серной кислоты.

– Это какое-то недопонимание.

– Нам так не показалось, – сказала на своем гортанном каталанском мать Сары (высокая, с некогда темными, а теперь несколько выбеленными сединой волосами и карими глазами, похожая на фотографию Сары через тридцать лет). – Сара ничего, ничего, ничего не хочет знать о вас.

Я уже выходил из гостиной, повинуюсь жесту сеньора Волтеса. Но вдруг остановился:

– Она ничего не просила передать мне? Может быть, письмо или записку?

– Нет.

Я вышел из дома, где тайно бывал, когда Сара меня любила, не попрощавшись с ее родителями – такими вежливыми и такими непреклонными. Вышел, пытаясь сдержать слезы. Дверь тихо закрылась за мной, и я несколько секунд простоял на площадке, как будто бы от этого был ближе к Саре. Потом я безутешно разрыдался.

– Я не пытаюсь сбежать, у меня нет для этого никаких причин. – Я выдержал паузу, чтобы подчеркнуть сказанное. – Ты поняла меня, мама?

В третий раз я соврал матери и клянусь, что услышал, как вдруг запел петух.

– Я прекрасно тебя поняла.

Она посмотрела мне в глаза:

– Послушай, Адриа...

Впервые она назвала меня не «сын», а «Адриа». Впервые в жизни. Двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят какого-то или семидесятого года.

– Да?

– Если не хочешь, можешь не работать. Занимайся скрипкой, читай свои книги. А когда я умру, возьмешь управляющего в магазин.

– Не говори о смерти. И со скрипкой покончено.

– Куда, ты говоришь, хочешь поехать?

– В Тюбинген.

– Где это?

– В Германии.

– И что ты там забыл?

– Косериу.

– Кто это?

– Разве ты не гоняешься всю жизнь за девушками на факультете? Система, норма, речь.

– Ладно тебе, кто это?

– Румынский лингвист, у которого я хочу учиться.

– Теперь, когда ты сказал, мне кажется, я что-то про него слышал.

Он замолчал, хотя был раздражен. Но потом не выдержал:

– Разве ты здесь не учишься? Разве ты не отучился уже половину курсов, к тому же на отлично?

Я не сказал ему, что хочу ходить на лекции Нестле, потому что, когда мы с Бернатом встретились в шумном и тесном кафе на факультете, где все глотали на ходу кофе с молоком, я уже знал, что Вильгельм Нестле несколько лет как скончался. Упомянуть его было бы все равно что поставить заведомо ложную ссылку в статье.

Два дня мы не виделись, и я ничего о нем не знал, а потом он пришел ко мне домой готовиться к экзамену, как если бы я был его преподавателем. Адриа открыл дверь, и Бернат вместо приветствия ткнул в него пальцем и торжествующе сказал:

– А ты не подумал, что в Тюбингене все занятия проходят на немецком?

– Wenn du willst, kannst du mit dem Storioni spielen^[190], – с холодной улыбкой ответил Адриа, пропуская его в квартиру.

– Я не понял, что ты сказал, но согласен.

Канифоля смычок – слегка, чтобы не испортить звук, – он процедил: некрасиво, что ты мне этого раньше не сказал.

– Почему?

– Ну, предположим, я твой друг.

– Поэтому я тебе сейчас все рассказал.

– Настоящий друг, идиот! Ты мог бы сказать: мне тут пришла в голову безумная мысль уехать на несколько недель в Тюбинген, – тебе не кажется, настоящий ты мой друг? Ты не мог так сказать?

– Ты посоветовал бы мне выбросить это из головы. А на эту тему мы уже разговаривали.

– Ну не дословно так.

– Ты хочешь, чтобы я всегда был под рукой.

Вместо ответа Бернат положил партитуры на стол и стал играть первую часть бетховенского концерта. Я, пренебрегая вступлением, присоединился к нему с оркестровой партией в переложении для фортепиано, стараясь имитировать даже тембр отдельных инструментов. Закончив играть, я был изможден, но взволнован и счастлив, потому что Бернат сыграл безупречно, не просто совершенно. Как будто хотел показать мне, что ему не понравилось мое последнее замечание. Когда он закончил, мне не хотелось нарушать воцарившуюся в комнате тишину.

– Ну?

– Хорошо.

– И только?

– Очень хорошо. Совсем иначе.

– Иначе?

– Иначе. Если я правильно услышал, ты был внутри музыки.

Мы помолчали. Бернат сел и отер пот. Он посмотрел мне в глаза:

– На самом деле ты хочешь сбежать. Не знаю от кого, но сбежать. Надеюсь, не от меня.

Я посмотрел другие партитуры, которые он принес:

– Здорово, что ты играешь все четыре пьесы Массиа. Кто тебе аккомпанирует на фортепиано?

– Ты не подумал, что тебе может надоесть изучать все эти идеи и прочее, что ты собрался изучать?

– Массиа этого заслуживает. Очень красивые пьесы. Больше всего мне

нравится *Allegro spiritoso*.

– И потом, зачем тебе ходить слушать лингвиста, если ты собрался изучать историю культуры?

– И внимательно с чакондой – она очень коварна.

– Да чтоб тебя! Не уезжай.

– Да, – сказал он. – Из Высшей школы искусств.

– А в чем дело?

От ледяной недоверчивости сеньоры Волтес-Эпштейн он оробел. Но сглотнул и сказал: необходимо выполнить кое-какие формальности в связи с переводом в другое учебное заведение, для этого нам нужен адрес.

– Ничего вам не нужно.

– Нет, нужно. Обязательство поручителя о возврате.

– А это еще что? – В ее словах сквозило искреннее любопытство.

– Ничего. Так. Но его должна подписать заинтересованная сторона.

Он взглянул в бумаги и беззаботно добавил:

– Заинтересованная особа.

– Оставьте мне документы и...

– Нет-нет. Не имею права. Может быть, если вы назовете мне учебное заведение, в которое она перевелась в Париже...

– Нет.

– Там у них в Школе искусств не знают... Мы не знаем, – поправился он.

– Кто вы?

– Простите?

– Моя дочь никуда не переводилась. Кто вы?

– И она захлопнула дверь прямо у меня перед носом, бац!

– Она тебя заподозрила.

– Да.

– Дело дрянь.

– Да.

– Спасибо, Бернат.

– Мне... Наверняка я мог сделать все намного лучше.

– Нет-нет. Ты сделал все, что мог.

– Вот это меня и бесит.

На несколько секунд повисло тяжелое молчание, потом Адриа сказал: прости, мне нужно выплакаться.

Экзамен Берната завершился нашей чаконей из Второй сюиты. Я столько раз ее слышал в его исполнении... И мне всегда было что сказать ему, как если бы я был виртуозом, а он моим учеником. Он начал разучивать ее, когда мы услышали исполнение Хейфеца в Палауде-ла-Музика. Хорошо. Технически совершенно. Но опять бездушно – может быть, из-за волнения во время экзамена. Бездушно, как если бы наша домашняя репетиция, с которой не минуло еще и суток, нам привиделась. Когда Бернат играл на публике, он сдувался, не мог взлететь, ему не хватало Божественного озарения, отсутствие которого он пытался восполнить усердными занятиями, и результат был хорош, но слишком предсказуем. Да, мой друг был конченной предсказуемостью, даже в своих порывах.

К концу экзамена он совершенно взмок и наверняка думал, что справился. Трое экзаменаторов, просидевших все два часа, что он играл, с кислыми минами, посоветовались несколько секунд и решили поставить ему отлично единогласно и удостоить личного поздравления каждого экзаменатора. И к Трульолс, которая пришла послушать Берната, подошла его мама и обняла и вела себя так, как ведут себя все мамы, кроме моей, а Трульолс, взволнованная, как волнуются некоторые учителя, поцеловала Берната в щеку и сказала с уверенностью пророка: Бернат, ты лучший из моих учеников. Тебя ждет блестящее будущее.

– Необыкновенно, – сказал ему Адриа.

Бернат, ослаблявший смычок, застыл и посмотрел на друга. Затем он молча спрятал смычок и закрыл футляр. Адриа настаивал превосходно, дружище, поздравляю тебя.

– Вчера я сказал тебе, что я твой друг. А ты мой друг.

– Да, недавно ты даже сказал, настоящий друг.

– Совершенно верно. Настоящих друзей не обманывают.

– Что?

– Я справился, и ладно.

– Сегодня ты хорошо сыграл.

– Ты сыграл бы лучше.

– Да ты что! Я два года не брал в руки скрипку.

– Если мой настоящий друг, будь он неладен, не способен сказать мне правду и предпочитает вести себя как все...

– Да что с тобой?

– Никогда больше не ври мне, Адриа. – Он отер пот со лба. – Твои слова больно ранят меня и выводят из себя.

– Я только...

- Но я знаю, что ты единственный говоришь мне правду.
Бернат подмигнул ему:
– Auf Wiedersehen^[191].

Купив билет на поезд, я понял, что учеба в Тюбингене не просто забота о будущем – она означала конец детства, отъезд из Аркадии. Да, да, я был одинокий и несчастный ребенок, чьи родители знать ничего не хотели, кроме моей одаренности, и не догадывались спросить, не хочется ли мне поехать в парк Тибидабо посмотреть роботов, которые, если бросить монетку, двигаются как живые. Но быть ребенком означает также способность улавливать аромат цветка, выросшего из ядовитой грязи. А еще – умение радоваться грузовику, сделанному из шляпной коробки. Покупая билет в Штутгарт, я понимал, что эпоха невинности закончилась.

IV. Palimpsestus^[192]

*Ни один механизм не застрахован от попадания
какой-нибудь ничтожной песчинки.*

Мишель Турнье^[193]

Давным-давно, когда Земля была плоской и безрассудные путники, доходя до ее края, наталкивались на холодный туман или срывались с темной кручи, жил-был святой человек, который решил посвятить свою жизнь Господу нашему Богу. Звали его Николау Эймерик^[194], был он каталонцем, принадлежал к ордену братьев-проповедников, жил в монастыре в Жироне и слыл знатоком богословия. Исполненный религиозного рвения, он сумел возглавить инквизицию и твердой рукой искоренял зловерные ереси в каталонских землях и в Валенсийском королевстве. Николау Эймерик родился 25 ноября 1900 года в Баден-Бадене, довольно быстро получил звание оберштурмбаннфюрера и, прекрасно проявив себя в качестве оберлагерфюрера Аушвица, в 1944 году принял участие в решении венгерской проблемы. В специальном послании он объявлял еретической книгу *Philosophica amoris*^[195] упрямого Рамона Льюля, каталонца родом из Королевства Майорка, и равным образом провозглашал еретиками всех, кто в Валенсии, Алкое, Барселоне или Сарагосе, Алканьесе, Монпелье или в любом другом месте будет читать, распространять, преподавать, переписывать и обдумывать зловерную еретическую доктрину Рамона Льюля, вдохновенную не Христом, но дьяволом. И в доказательство истинности сказанного я скрепляю сей документ подписью ныне, 13 июля 1367 года.

– Продолжайте. У меня начинается жар, но я не лягу отдохнуть, пока не...

– Вы можете спокойно идти, ваше преосвященство.

Фра Николау отер со лба пот, выступивший частично от жары, а частично от жара, посмотрел, как фра Микел де Сускеда, его молодой секретарь, заканчивает переписывать аккуратным почерком приговор,

вышел на улицу, раскаленную адски палящим солнцем, и почти тут же погрузился в чуть менее душную темноту капеллы Святой Агеды. Там он смиренно преклонил колени и голову перед Божественным присутствием в дарохранительнице и сказал: Господи, Господи, дай мне сил, не дай мне ослабнуть по моей человеческой немощи, не дай клевете, слухам, зависти и лжи ослабить мою решимость. Сам король чинит мне сейчас препятствия в деле защиты единственной и истинной веры, Господи. Дай мне твердости никогда не оставлять служения, стоя на страже истины. Фра Николау почти неслышно произнес «аминь» и остался стоять на коленях, пока необычно жаркое солнце не позолотило вершины гор на западе; он стоял в молитвенной позе без единой мысли в голове и напрямую беседовал с Господом Правды.

Когда свет, проникавший сквозь узкое окно, стал угасать, фра Николау вышел из капеллы таким же бодрым, каким вошел. Снаружи он жадно вдохнул запах тимьяна и сена, шедший от разогретых за день полей, – старики не могли упомнить дня жарче. Он снова вытер пот с пылающего лба и направился к строению из серого камня в конце переулка. У входа ему пришлось смирить свое нарастающее рвение, потому что внутри как раз эта женщина, опять эта женщина, вместе с Косым из Салта, бывшим при ней мужем, тащила мешок турнепса больше ее самой.

– Им обязательно ходить через эту дверь? – в раздражении спросил он фра Микела, вышедшего навстречу.

– Вход с огорода затопило, ваше преосвященство.

Фра Николау Эймерик сухо осведомился, все ли готово, и, пересекая зал огромными шагами, подумал: Господи, все мои усилия направлены на служение Твоей Правде, днем и ночью. Дай мне сил, ведь в конце мира Ты будешь судить меня, а не люди.

Я погиб, подумал Жузеп Щаром. Он не мог выдержать черного взгляда дьявольского инквизитора, который стремительно вошел в зал, выкрикнул свой вопрос и теперь в нетерпении ждал ответа.

– Какие гостии?^[196] – выдавил наконец доктор Щаром глухим от ужаса голосом.

Инквизитор встал и уже в третий раз с того момента, как он вошел в зал допросов, отер со лба пот и повторил вопрос: сколько ты заплатил Жауме Малье за освященные гостии, которые он дал тебе?

– Я ничего об этом не знаю. Я не знаком с Жауме Мальей. Я не знаю, что такое гостии.

– То есть ты признаешь себя иудеем.

– Я... я иудей, да, ваше превосходительство. Вы это знаете. Моя семья, как и все семьи, проживающие в квартале, находится под защитой короля.

– В этих стенах единственная защита – Господь. Запомни это.

Адонай^[197] Вышний, где Ты, где Ты? – подумал почтенный доктор Жузеп Щаром, понимая, что грешит против Него неверием.

В течение целого часа, который показался ему вечностью, фра Николау, проявляя ангельское терпение, преодолевая головную боль и чувствуя перегрев всех своих внутренних гуморов, пытался проникнуть в тайну ужасного святотатства, совершенного этим презренным созданием над освященными гостиями, о которых шла речь в подробном и промыслительном доносе, но Жузеп Щаром только повторял сказанное – что его зовут Жузеп Щаром, что он родился и проживал до сих пор в еврейском квартале, что обучился медицинскому искусству, что помогал младенцам появляться на свет как в квартале, так и за его пределами и что всю свою жизнь он занимался только исполнением своей профессии, и ничем более.

– А также ты ходил в синагогу в ваш субботний день.

– Король запретил это совсем недавно.

– Король никто, когда речь идет о душе. Ты обвиняешься в совершении ужасного святотатства над освященными гостиями. Что ты скажешь в свое оправдание?

– Кто меня обвиняет?

– Тебе не обязательно это знать.

– Нет, мне необходимо это знать. Это клевета, и в зависимости от того, кто клеветает, я могу указать, по какой причине...

– Ты хочешь сказать, что добрый христианин может солгать? – Фра Николау был потрясен, возмущен.

– Да, ваше превосходительство. Еще как!

– Это усугубляет твое положение, потому что, оскорбляя христианина, ты оскорбляешь Господа Бога Иисуса Христа, которого распял своими руками.

Господи, Господи Вышний и Милостивый, единый Бог мой, Адонай.

Даже не глядя на него – столь велико было его презрение, – Великий инквизитор Николау Эймерик провел ладонью по омраченному челу и сказал двум стражникам: примените к упрямцу пытки и приведите его ко мне через час с подписанным признанием.

– Какие пытки, ваше превосходительство? – спросил фра Микел.

– Дыбу, пока единожды читается *Credo in unum Deum*^[198]. А если понадобятся крюки, то пока дважды читается *Pater noster*^[199].

– Ваше превосходительство...

– А если не вспомнит, повторите сколько понадобится.

Он подошел к фра Микелу де Сускеде, который стоял опустив глаза, и едва слышным шепотом приказал передать этому Жауме Малье, что, если он еще раз продаст или отдаст гостии еврею, мы с ним повидаемся.

– Мы не знаем, кто такой Жауме Малья.

И, вдохнув поглубже:

– Может быть, его не существует.

Но святой человек не услышал его, поглощенный своей головной болью, которую он приносил Господу нашему Богу как покаяние.

На дыбе и крючьях мясника, которые пронзили его плоть и разорвали связки, врач Жузеп Щаром из Жироны признал, что да, да, да, ради Всевышнего, я это сделал, я купил их у этого человека, как его, да, да, перестаньте, ради бога.

– И что ты с ними сделал? – Фра Микел де Сускеда сидел напротив дыбы, стараясь не смотреть на стекающую с нее кровь.

– Не знаю. Что хотите, умоляю вас, хватит!..

– Осторожно: если он потеряет сознание, мы не дождемся признания.

– И что? Ведь он уже признался.

– Хорошо, тогда ты, рыжий, сам поговоришь с фра Николау и расскажешь ему, что преступник не подписал признание, потому что уснул во время пытки, и я уверяю, что он вздернет вас на этой же дыбе за то, что вы вставляете палки в колеса Божественной справедливости. Вас обоих.

И в гневе:

– Вы что, не знаете его преосвященство?

– Но мы только...

– Да. А когда вас будут пытать, я буду секретарем и наблюдателем, как обычно. Давайте живее.

– Так, бери его за волосы... Ну, что ты сделал с освященными гостиями? Ты меня слышишь, а? Эй, Щаром, черт бы тебя побрал!

– Я не потерплю сквернословия в стенах святой инквизиции! – возмутился фра Микел. – Ведите себя как добрые христиане.

Поскольку дневной свет окончательно померк, зал освещался факелом,

чье пламя трепетало, как душа Щарома, который, теряя сознание, слушал звучный голос Николау Эймерика, оглашавшего приговор высочайшего трибунала, в соответствии с которым он в присутствии свидетелей осуждался на смерть в очистительном огне в канун Дня святого Иакова-апостола, так как отказался покаяться и принять крещение, что спасло бы от смерти если не его тело, то душу. Подписав приговор красными чернилами, фра Николау обратился к фра Микелу:

- Помните, перед казнью преступникам следует отрезать язык.
- Нельзя ли просто завязать рот, ваше преосвященство?
- Перед казнью преступникам следует отрезать язык, – с ангельским терпением повторил фра Николау, – и я не допущу никакого небрежения.
- Но ваше преосвященство...
- Они очень хитрые, закусывают повязку... А я хочу, чтобы еретики были немые, когда их везут на костер. Если у них будет возможность говорить, то своими проклятиями и богохульствами они могут оскорбить чувства собравшихся.
- Но здесь никогда не случалось...
- А в Лейде случалось. И пока я исполняю свою должность, никогда этого не позволю.

Он посмотрел на него своим жутким черным взглядом и добавил глуше:

- Никогда. Я никогда этого не позволю.
- И снова повысил голос:
- Смотрите мне в глаза, фра Микел, когда я с вами разговариваю! Никогда!

Он встал и быстро вышел из зала, не взглянув ни на секретарей, ни на преступника, ни на остальных, поскольку был приглашен на ужин во дворец епископа, опаздывал и его мучили жар, жара и головная боль.

На улице ударил мороз и ливень сменился обильным и бесшумным снегопадом. Рассматривая на свет вино в бокале, он сказал хозяину: да, я родился в состоятельной и очень набожной семье, и моральные принципы, в соответствии с которыми меня воспитали, помогают вашему покорному слуге нести ту ношу, которую посредством четких указаний рейхсфюрера Гиммлера возлагает на него сам фюрер, и справляться с нелегкой задачей служить родине надежным щитом против внутреннего врага. Это превосходное вино, доктор.

- Благодарю. Для меня большая честь разделить его с вами в этом импровизированном жилище.
- Импровизированном, но уютном.

Еще глоток. Снаружи снег уже прикрыл срам земли холодной белой простыней. Вино разливает тепло по жилам. Оберштурмбаннфюрер Рудольф Хёсс, родившийся в Жироне дождливой осенью 1320 года, в те далекие времена, когда Земля была плоской, а у распаляемых любопытством и фантазиями безрассудных путников, которые осмеливались заглянуть за край света, лопались глаза, был особенно горд распить это вино вдвоем с заслуженным и влиятельным доктором Фойгтом, и ему не терпелось как бы случайно упомянуть об этом с кем-нибудь в разговоре. А жизнь прекрасна. Особенно теперь, когда Земля снова стала плоской и они, ведомые ясным взглядом фюрера, показывают человечеству, что такое сила, мощь, правда и будущее, и учат, что достижение идеала несовместимо с какими-либо проявлениями сочувствия. Мощь рейха была уже безгранична, и по сравнению с ней дела всех Эймериков всех времен казались детскими играми. Вино настроило его на возвышенный лад:

– Для меня приказы, даже самые трудные для исполнения, – священные. Как офицер СС, я должен быть готов к полному самопожертвованию во исполнение долга перед родиной. Поэтому в тысяча триста тридцать четвертом году, когда мне было четырнадцать лет, я вступил в монастырь доминиканских братьев-проповедников в Жироне, моем родном городе, и посвятил свою жизнь защите Истины. Меня называют жестоким, король Петр меня ненавидит, завидует мне и хочет меня уничтожить, но это не беспокоит меня, потому что, когда речь идет о вере, я не потворствую ни королю, ни родному отцу, не признаю матери и не принимаю во внимание происхождение, – все это не волнует меня, я служу только Истине. Из моих уст вы услышите только Истину, монсеньор епископ.

Епископ собственноручно наполнил бокал фра Николау, тот машинально отпил, продолжая свой яростный монолог, он говорил: меня выслали, меня лишили звания инквизитора приказом короля Петра... Позже меня избрали генеральным викарием ордена доминиканцев здесь, в Жироне, но вы не знаете, что проклятый король Петр надавил на святейшего папу Урбана, чтобы тот не принял моего назначения.

– Я не знал этого.

Епископ, хотя и сидел в удобном кресле, держал спину прямо и был начеку. Молча наблюдая, как Великий инквизитор оттирает со лба пот рукавом сутаны, он успел дважды мысленно прочитать *Pater noster* и наконец спросил:

– Вам плохо, ваше преосвященство?

– Нет.

Епископ помолчал. Оба отпили из бокалов.

– Тем не менее, ваше преосвященство, сейчас вы снова стали генеральным викарием.

– Мое постоянство и вера в Господа и Его святое милосердие позволили мне вернуть и должность, и обязанности Великого инквизитора.

– Да будет это ко благу.

– Да, но сейчас король угрожает мне новой ссылкой, а кое-кто из друзей предупреждает, что монарх хочет меня убить.

Епископ задумался. Наконец он нерешительно поднял палец и сказал: король Петр полагает, что ваше упорство в преследовании трудов Льюля...

– Льюля? – воскликнул Эймерик. – Вы читали Льюля, монсеньор епископ?

– Ну, я... В общем... Д-да.

– И?..

Черный взгляд Эймерика буравил душу. Епископ сглотнул:

– Не знаю, что сказать. По мне... Я читал... Словом, я не знал, что... – Наконец он сдался:

– В общем, я не богослов.

– Я тоже не инженер, но мне удалось добиться бесперебойной работы крематориев Аушвица двадцать четыре часа в сутки. И мне удалось сделать так, чтобы мои люди, надзирающие за крысами из зондеркоманды, не сходили с ума.

– Как же вам это удалось, уважаемый оберлагерфюрер Хёсс?

– Не знаю. Я проповедую Истину. Показываю всем страждущим душам, что евангелическая доктрина только одна и моя священная миссия состоит в том, чтобы не дать ошибке или злонамеренности подточить основы Церкви. Потому я тружусь над искоренением всех ересей, а самая действенная мера для этого – искоренить всех еретиков, как возвратившихся к ереси, так и новых.

– Тем не менее король...

– Великий инквизитор и викарий ордена, прибывший из Рима, хорошо это понял. Он знал, что король Петр ко мне не расположен, но расценил, что я, несмотря ни на что, должен продолжать осуждать все произведения, книгу за книгой, презренного и вредоносного Рамона Льюля. Он не подверг сомнению ни одного процесса, начатого нами в прошлые годы, а после святой мессы в проповеди упомянул вашего покорного слугу в качестве примера, которому должны следовать все – от первого до последнего оберлагерфюрера. Что бы там ни говорил король Валенсии, Каталонии, Арагона и Майорки. И тогда я почувствовал себя счастливым, потому что

был верен самому священному из своих и вообще из всех обетов. Единственной проблемой была та женщина.

– Есть еще кое-что... – после некоторых сомнений епископ предостерегающе поднял палец, – внимание, я не говорю, что они не заслуживают смерти. – Он посмотрел на вино в своем бокале, и оно показалось ему красным, как пламя. – Нельзя ли их...

– Нельзя ли их что? – нетерпеливо перебил Эймерик.

– Они непременно должны умирать на костре?

– Общая практика всей Христовой Церкви подтверждает, что они должны умирать на костре, да, монсеньор епископ.

– Это ужасная смерть.

– Сейчас меня гложет жар, но я не жалуясь и не перестаю трудиться во благо Святой матери-Церкви.

– Я настаиваю, смерть на костре ужасна!

– Но заслуженна! – взорвался его преосвященство. – Ужаснее – богохульства и упрямство в заблуждении! Разве не так, монсеньор епископ?

Тем временем я смотрел на пустой монастырский двор, погружившись в раздумья. Вдруг я заметил, что остался один. Я осмотрелся. Куда же подевалась Корнелия?

В углу двора Бебенхаузена терпеливые и дисциплинированные туристы ждали начала экскурсии, Корнелии среди них не было... Вот она где: задумчиво прохаживается в одиночестве по центру двора, непредсказуемая, как всегда. Я стал наблюдать за ней с некоторой жадностью, и мне показалось, она это заметила. Она остановилась, спиной ко мне, и повернулась к туристам, которые ждали нас, чтобы составила достаточная для экскурсии группа. Я помахал Корнелии рукой, но она меня не заметила или сделала вид, что не заметила. На фонтан передо мной прилетел зяблик, опустил клюв в воду, а затем издал восхитительную трель. Адриа вздрогнул.

В канун Дня святого Иакова, ближе к вечеру, единственным облегчением для Жузепа Щарома было избавление от взгляда фра Николау, защитника Церкви, который теперь лежал в своей постели, мучимый жестокой лихорадкой. Относительная мягкость фра Микела де Сускеды, секретаря и помощника Великого инквизитора, не избавила, однако, Жузепа ни от боли, ни от страданий, ни от ужаса. День святого Иакова не торопился светать, и в не остывшей за ночь после стольких дней немилосердного солнца темноте две женщины и мужчина, погоняя трех мулов, навьюченных кладью воспоминаний, на которой дремали пятеро детей, покидали еврейский квартал и устремлялись в бегство вдоль берега

Тера^[200] вслед за двумя семьями, отправившимися в путь накануне. Позади оставался благородный и неблагодарный город Жирона, отрада сердца, где жили шестнадцать поколений Щаромов и Мейров. Дым еще поднимался медленным столбом к небу с места, где несправедливость поглотила несчастного Жузепа, жертву анонимного завистника. Долса Щаром, единственная из детей, кто проснулся вовремя, чтобы в последний раз увидеть горделиво высящиеся на фоне звездного неба стены собора, под убаюкивающую поступь мула бесшумно оплакала чаяния, рухнувшие в одну ночь. У беглецов теплилась искра надежды на спасение: в Эстартите их ждал корабль, нанятый несчастным Жузепом Щаромом и Массотом Бонсеньором несколькими днями ранее, когда они уже предвидели беду, предчувствовали ее, не зная точно, где, когда и каким образом она их настигнет.

Теплый западный ветер погнал корабль прочь от кошмара. Вечером следующего дня они пристали к Сьюдаделе на Менорке, где на борт поднялись еще шесть семей, а через три дня прибыли в сицилийский Палермо, где несколько дней отдыхали от высоких волн и морской болезни, которыми встретило их Тирренское море. Восстановив силы и воспользовавшись попутным ветром, они пересекли Ионическое море и бросили якорь в албанском порту Дуррес, где сошли на берег все пассажиры, бежавшие от горя и слез куда-нибудь, где никто не оскорбит их за тихое бормотание в субботний день. А поскольку еврейская община Дурреса приняла их с распростертыми объятиями, там они и осели.

У Долсы Щаром, девочки-беглянки, там родились дети, внуки и правнуки, но и в восемьдесят лет она упрямо возвращалась в памяти к тиши улочек еврейского квартала Жироны и к громаде ее христианского собора, высящейся на фоне звездного неба и затуманенной слезами. Несмотря на ностальгию, еще двенадцать поколений семьи Щаромов – Мейров жили и процветали в Дурресе, и со временем воспоминание о предке, сожженном неблагочестивыми гоями, поблекло и почти полностью изгладилось из памяти сыновей сыновей его сыновей, равно как и далекое имя любимой Жироны. В один прекрасный день года 5420-го от Сотворения мира, в христианском же летосчислении недоброй памяти года 1660-го, Эммануила Мейра поманила безмятежность торговли на Черном море. Эммануил Мейр, праправнук Долсы-беглянки в восьмом поколении, переехал в шумную болгарскую Варну во времена, когда Блистательная Порта^[201] диктовала там свои законы. Мои родители, ревностные католики в преимущественно лютеранской Германии, страстно

желали, чтобы я стал священником. И некоторое время я раздумывал над этим.

– Из вас получился бы хороший священник, оберштурмбаннфюрер Хёсс.

– Я думаю, да.

– Я уверен в этом, потому что все, что вы делаете, вы делаете хорошо.

Оберштурмбаннфюрер Хёсс надулся от заслуженной похвалы. Ему захотелось развить тему в более торжественном ключе:

– То, что вы обрисовали сейчас как мою сильную сторону, может и погубить меня. Особенно сейчас, когда нас должен посетить рейхсфюрер Гиммлер.

– Почему же?

– Потому что, как начальник лагеря, я отвечаю за все недостатки системы. Например, последней партии баллонов с газом «Циклон» хватит только на два или максимум три раза, а интенданту в голову не приходит ни сообщить об этом мне, ни заказать новую поставку. И вот я должен просить об одолжениях, выискивать машины, которые, может быть, нужны в другом месте, и стараться не ссориться с интендантом, потому что здесь, в Освенциме, все живут на грани срыва. То есть в Аушвице, конечно.

– Я полагаю, опыт Дахау...

– С психологической точки зрения разница тут огромна. В Дахау сидят заключенные.

– Но они умирают, и умирают в большом количестве.

– Да, доктор Фойгт, но Дахау – лагерь для заключенных. А Аушвиц-Биркенау задуман, спланирован и приспособлен для полного и окончательного уничтожения крыс. Если бы евреи были людьми, я подумал бы, что мы живем в аду, откуда есть всего одна дверь – в газовую камеру и одна судьба – огонь крематориев или рвы возле леса, где мы сжигаем лишние единицы, потому что не справляемся с объемами материала, которые нам присылают. Я еще не говорил об этом никому за пределами лагеря, доктор.

– Хорошо, что вы больше не держите это в себе, оберштурмбаннфюрер Хёсс.

– Я рассчитываю, что это профессиональная тайна, поскольку рейхсфюрер...

– Разумеется. Ведь вы христианин... А психиатр подобен исповеднику, которым вы могли стать.

И раз уж пошли такие откровенности, оберлагерфюрер Хёсс несколько секунд раздумывал, не рассказать ли об этой женщине, но, несмотря

на сильный соблазн, все-таки сумел сдержаться. Ему показалось, что он чуть не проговорился. Нужно быть осторожнее с вином. Он стал распространяться о том, что мои люди должны быть очень сильными, чтобы исполнять доверенную им работу. Не так давно один солдат тридцати лет – не мальчик, понимаете? – расплакался в казарме прямо перед своими товарищами.

Доктор Фойгт быстро взглянул на гостя и изобразил на лице удивление. Он подождал, пока тот почти залпом осушит очередной бокал, и выждал еще несколько секунд, прежде чем задать вопрос, который тот жаждал услышать:

– И что же?

– Бруно, Бруно, проснись!

Но Бруно не хотел просыпаться, он ревел как зверь, изрыгая боль изо рта и глаз, и роттенфюрер Матхойс доложил об этом командованию, потому что не знал, что делать, и через три минуты появился сам начальник лагеря оберштурмбаннфюрер Рудольф Хёсс, как раз в тот момент, когда солдат Бруно Любке достал пистолет и, не переставая реветь, сунул дуло себе в рот. Солдат СС, эсэсовец!

– Солдат, смирно! – крикнул оберштурмбаннфюрер Хёсс.

Но поскольку солдат ревел не переставая и судорожно засовывал дуло в рот, роттенфюрер попытался выбить пистолет у него из рук, и тут Бруно Любке выстрелил в надежде отправиться прямо в ад и навсегда забыть Биркенау и пепел, которым их заставляли дышать, и девочку, точь-в-точь его малышку Урсулу, которую он в тот самый вечер втолкнул в газовую камеру и увидел снова, когда какая-то еврейская крыса из зондеркоманды уже сбивала ее локоны и бросала в кучу перед крематорием.

Хёсс с презрением посмотрел на лежащего на полу солдата и на лужу поганой крови этого трусливого шакала, и воспользовался моментом, чтобы произнести речь перед остолбеневшими солдатами, и сказал им: нет большего удовлетворения и большей радости, чем быть уверенным, что твои дела совершаются во славу Господа и с намерением защитить святую католическую и апостольскую веру от ее многочисленных недругов, которые не успокоятся, пока не уничтожат ее, фра Микел. И если вы еще раз усомнитесь и станете прилюдно спорить со мной о целесообразности отрезания языка сознавшимся преступникам, будьте уверены, что, несмотря на ваши заслуги, я донесу на вас начальству за слабость и попустительство, недостойные члена суда святой инквизиции.

– Я думал проявить милосердие, ваше преосвященство.

– Вы путаете милосердие со слабостью. – Фра Николау Эймерик

дрожал от едва сдерживаемого бешенства. – Если вы будете настаивать, будете обвинены в тяжком непослушании.

Фра Микел склонил голову, трепеща от страха. Он похолодел, когда фра Николау добавил: я начинаю подозревать вас в попустительстве, но не столько по слабости, сколько из потворства еретикам.

– Ради Бога, ваше преосвященство!

– Не произносите имени Господа всуе. И знайте, что ваша слабость сделает вас предателем и врагом Истины.

Фра Николау закрыл лицо руками и на несколько минут погрузился в молитву. Из глубины его раздумий поднялся глухой голос – мы единственное око, надзирающее за грехом, мы хранители истинной веры, фра Микел, мы обладаем истиной, и мы и есть истина, и, каким бы жестоким ни казалось вам наказание, применяемое к еретикам – как к их телу, так и к их книгам, как в случае с презренным Льюлем, которого мне, к сожалению, не привелось отправить на костер, – подумайте, что мы вершим закон и справедливость, и это не только не достойно порицания, но, напротив, вменится в большую заслугу. Кроме того, напоминаю вам, что мы ответственны не перед людьми, но перед Богом. Если блаженны алчущие и жаждущие правды, фра Микел, сколь же более блаженны вершащие справедливость, особенно если вы припомните, что наша миссия была четко сформулирована нашим дорогим фюрером, который, как вам известно, полностью доверяет единству, патриотизму и крепости духа своего СС. Или кто-то из вас сомневается в идеях фюрера? Он властно и с вызовом посмотрел на них и принялся молча мерить шагами казарму. Или кто-то из вас сомневается в решениях нашего рейхсфюрера Гиммлера? Что вы скажете, когда послезавтра он будет здесь? А? И после театральной, почти пятисекундной паузы – унесите эту пададь!

Они выпили еще пару бокалов, а может быть, четыре или пять, и он рассказывал еще что-то – он уже толком не помнил, что именно, – поддавшись эйфории, вызванной воспоминанием об этой героической сцене.

Рудольф Хёсс покинул дом доктора Фойгта в сильном воодушевлении и со слегка затуманенной головой. Его волновал не ад Биркенау, а человеческая слабость. Сколько бы торжественных клятв ни приносили эти мужчины и женщины, они были не в состоянии выносить столь близкое присутствие смерти. Их сердца не были железными и вследствие этого часто ошибались, а хуже всего делать что-то, когда ты принужден постоянно снова... Словом, мерзость. Хорошо, что он даже не заикнулся

об этой женщине. Я вдруг поймал себя на том, что краем глаза наблюдаю за Корнелией и пытаюсь угадать, не улыбается ли она какому-нибудь туристу или... Я подумал, что мне не хотелось бы играть роль ревнивца. Но это такая девушка, что... Наконец-то! Наконец собралось десять человек и экскурсия может начаться. Экскурсовод вышел к нам во двор и сказал: монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом Первым Тюбингенским в тысяча сто восьмидесятом году и секуляризирован в тысяча восемьсот шестом году. Я поискал глазами Корнелию: она стояла рядом с видным парнем, который ей улыбался. Наконец она тоже на меня посмотрела, и в Бебенхаузене было холодно. Что значит «секуляризован», спросил невысокий лысый мужчина.

В ту ночь Рудольф и Хедвиг Хёсс не осуществляли супружеских отношений. В голове царил сумбур, и постоянно вспоминался разговор с доктором Фойгтом. А что, если он был слишком болтлив? А что, если после третьего, или четвертого, или седьмого бокала он сказал что-то такое, чего не стоило говорить никогда? Все дело в том, что его одержимость идеальной организацией потерпела крах, столкнувшись с грубейшими нарушениями, которые допускали в последние недели его подчиненные, а он никак не мог позволить – никак, – чтобы сам рейхсфюрер Гиммлер подумал, что он не оправдывает оказанного ему доверия, ведь все началось, когда я вступил в орден братьев-проповедников, ведомый абсолютной верой в правоту фюрера. Руководимые добрейшим фра Ансельмом Купонсом, мы научились закалять сердце новicia перед лицом человеческих скорбей, потому что любой эсэсовец должен быть готов полностью отречься от себя ради всемерного служения фюреру. Мы, братья-проповедники, всегда играли особую роль там, где нужно искоренять внутренних врагов. Ведь для истинной веры еретики в тысячу раз опаснее, чем неверующие. Еретик впитал наставления Церкви и живет ими, но в то же время всем своим ядовитым и вредоносным существом разлагает священные основы этой святой организации. В 1941 году было принято решение, направленное на окончательное устранение этой проблемы: святая инквизиция должна перестать играть в игрушки и спланировать полное истребление всех евреев без исключения. И если где-то должен воцариться ужас, пусть он будет бескрайним. И если где-то должна быть проявлена жестокость, пусть она будет абсолютной. Разумеется, такая труднодостижимая цель, такое выдающееся предприятие могло быть осуществлено только истинными героями с железным сердцем и стальной волей. И я, как верный и дисциплинированный брат-проповедник, принялся за работу. До 1944 года только я и несколько врачей

знали, каковы окончательные распоряжения рейхсфюрера: начать с больных и детей, до поры до времени продолжая использовать тех, кто может работать, исключительно из экономических соображений. Я взялся за это дело, исполненный решимости быть верным клятве эсэсовца. Поэтому Церковь считает, что евреи не неверующие, а еретики, живущие среди нас и упорствующие в своей ереси, которая началась, когда они распяли Господа нашего Иисуса Христа, и с тех пор эта ересь повсеместно подпитывается их упрямым нежеланием отречься от своих ложных убеждений, отказаться от принесения в жертву христианских младенцев и толкает их на выдумки жутких преступлений против святынь, как, например, в известном случае с освященными гостиями, которые осквернил злодей Жузеп Щаром. Поэтому я отдал суровые приказания всем начальникам лагерей, находящимся в подчинении Аушвицу, ведь наша дорога была узка, мы зависели от мощностей крематориев, урожай был слишком обилен, тысячи и тысячи крыс, и решение этой проблемы оставалось на наше усмотрение. Реальность, далекая от идеала, такова, что крематории I и II могут перерабатывать по две тысячи единиц в сутки, и во избежание поломок я не могу превышать эту цифру.

– А другие два? – спросил его доктор Фойгт, наливая четвертый бокал.

– Крематории III и IV – это мой крест. Они не достигают объемов даже в полторы тысячи единиц в день. Я глубоко разочарован выбранными моделями. Если бы начальство прислушивалось к людям, которые в этом разбираются... Но не думайте, доктор, что я критикую наше командование, – сказал он во время ужина, а может быть, за пятым бокалом вина. – В обстоятельствах, когда на нас валилось столько работы, любое чувство, похожее на жалость, должно было не только искореняться из умов эсэсовцев, но и сурово наказываться во благо родины.

– А что вы делаете с... отходами?

– Мы грузим пепел на грузовики и сбрасываем в Вислу. Каждый день река уносит тонны пепла в море, которое есть смерть, как нас учили латинские классики на незабываемых уроках для новичков фра Ансельма Купонса в Жироне.

– Что?

– Я всего лишь временно заменяю секретаря, ваше преосвященство.
Я...

– Что ты только что прочитал, несчастный?

– Что... что Жузеп Щаром проклял вас перед тем, как пламя...

– Разве ему не отрезали язык?

– Фра Микел не позволил. Своей властью...

– Фра Микел? Фра Микел де Сускеда? – Эффектная пауза продолжительностью в половину *Ave Maria*. – Приведите ко мне эту пададь.

Прибывший из Берлина рейхсфюрер Генрих Гиммлер был снисходителен. Этот мудрый человек принял во внимание условия, в которых приходилось работать людям Рудольфа Хёсса, и элегантно – как же элегантно! – сделал вид, что не замечает недочетов, которые так меня мучат. Он остался доволен ежедневными цифрами по истреблению, хотя я заметил, что благородное его чело несколько омрачилось, поскольку очевидно, что решение еврейской проблемы не терпит отлагательств, а мы еще только на полпути. Он не подверг критике ни одной моей инициативы и во время волнительного мероприятия на главном плацу лагеря привел вашего покорного слугу в качестве примера для всех, от первого до последнего, служителей инквизиции. Я чувствовал себя совершенно счастливым, поскольку был верен самым священным обетам, которые принес в своей жизни. Единственной проблемой была та женщина.

В среду, когда фрау Хедвиг Хёсс отправилась с другими женщинами в деревню за продуктами, оберштурмбаннфюрер Хёсс дождался, пока надзирательница приведет ее, – о, эти глаза, это нежное лицо, эти прекрасные руки! – будто настоящее человеческое существо. Он сделал вид, что у него много работы за письменным столом, и наблюдал за ней, пока она мела пол, покрытый тончайшим слоем пепла, несмотря на уборку два раза в день.

– Ваше преосвященство... Я не знала, что вы здесь.

– Это не важно, продолжай.

Наконец после стольких дней напряжения, взглядов искоса, неотступных дьявольских наваждений, все более навязчивых и неодолимых, демон плотских удовольствий овладел железной волей фра Николау Эймерика, который, несмотря на свое священное облачение, сказал себе: довольно, кончено, и обнял эту женщину сзади, сжав руками соблазнительные груди и зарывшись почтенной бородой в затылок, обещавший тысячу наслаждений. Женщина уронила в испуге связку дров и напряженно застыла как вкопанная, не зная, что делать, глядя в стену темного коридора, не понимая, кричать ли ей, вырываться и убежать или, наоборот, оказать Церкви неоценимую услугу.

– Подними юбку, – приказал Эймерик, развязывая четки из пятнадцати десятков бусин, перепоясывавшие его сутану.

Заклученная номер 615428 из партии А-27, прибывшей из Болгарии

в январе 1944 года, в последний момент избежавшая газовой камеры, поскольку кто-то решил, что она сгодится для домашней работы, в ужасе не осмелилась взглянуть нацистскому офицеру в глаза и подумала: Господи, нет, только не снова это, Боже Вышний и Милосердный. Оберштурмбаннфюрер Хёсс понимающе, без раздражения, повторил приказ. Поскольку она не шелохнулась, он скорее нетерпеливо, чем грубо подтолкнул ее к креслу, рванул на ней одежду и ласково погладил ее лицо, глаза – какой же нежный взгляд! Когда он вошел в нее, опьяненный непокоренной красотой, пробившейся сквозь слабость и унижение, то понял, что заключенная номер 615428 навсегда въелась ему под кожу. Номер 615428 будет самым большим секретом его жизни. Он поспешно встал, вновь овладев собой, оправил сутану, сказал женщине: одевайся, номер шесть один пять четыре два восемь. Быстро. Затем объяснил, что ничего не произошло, и пообещал, что, если она кому-нибудь что-нибудь расскажет, он заключит в темницу Косого из Салта – ее мужа, а также их сына и ее мать, а ее саму обвинит в колдовстве, потому что ты не что иное, как ведьма, которая попыталась соблазнить меня при помощи своего богопротивного искусства.

В следующие несколько дней эта операция повторялась. Заключенной номер 615428 приходилось раздеваться и вставать на колени, и оберштурмбаннфюрер Хёсс входил в нее, и его преосвященство Николау Эймерик, сопя, напоминал ей, что если ты что-нибудь скажешь Косому из Салта, отправишься на костер за колдовство, потому что ты меня заколдовала, а номер 615428 не могла сказать ни да ни нет и только плакала от страха.

– Ты не видела моих поясных четок? – спросил его преосвященство. – Если ты украла их, тебе не поздоровится.

Все шло хорошо до тех пор, пока доктор Фойгт не забрал его скрипку, перейдя таким образом границу, которую ни один великий инквизитор никому не позволял перейти. Тем не менее Фойгт выиграл партию, и оберлагерфюреру Эймерiku пришлось сухим жестом положить скрипку на стол.

– Может быть, расскажете еще что-нибудь о тайне исповеди? Подлец.

– Я не священник.

Штурмбаннфюрер Фойгт жадно взял в руки скрипку, а Рудольф Хёсс, уходя, что есть силы хлопнул дверью и поспешил в капеллу штаб-квартиры инквизиции и два часа простоял на коленях, оплакивая свою слабость перед плотскими соблазнами, пока новый старший секретарь, обеспокоенный его отсутствием на первом предварительном заседании,

не нашел его в достойном подражания состоянии, выражавшем благочестие и религиозное рвение. Фра Николау встал, сказал секретарю, чтобы его не ждали раньше завтрашнего дня, и направился в регистрационное бюро.

– Заключенная шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь.

– Секундочку, оберштурмбаннфюрер. Да. Партия «А» – двадцать семь из Болгарии от тринадцатого января сего года.

– Как ее зовут?

– Елизавета Мейрева. Да, она из тех немногих, на кого есть анкета.

– Что о ней известно?

Ефрейтор Хенш пролистал каталог, вынул из него карточку и сказал: Елизавета Мейрева, восемнадцать лет, дочь Лазаря Мейрева и Сары Мейревой из Варны. Это все. Что-то случилось, оберштурмбаннфюрер?

Елизавета, милая, волшебный взгляд, колдовской взгляд; губы, подобные спелым ягодам; жаль, что ты такая худая.

– У вас есть жалобы, оберштурмбаннфюрер?

– Нет-нет... Сегодня же перевести ее в другой отряд и отправить на обработку.

– Ей осталось шестнадцать дней в отряде домашней прислуги...

– Это приказ, ефрейтор.

– Я не могу...

– Вы знаете, что такое приказ старшего по званию, ефрейтор? И встать, когда я с вами разговариваю!

– Да, оберштурмбаннфюрер!

– Тогда исполняйте!

– Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti^[202], оберштурмбаннфюрер.

– Amen^[203], – ответил фра Николау, смиренно целуя вышитый золотом крест на сто́ле^[204] почтенного отца исповедника и ощущая блаженную легкость на душе после таинства исповеди.

– Вам, католикам, хорошо с этой исповедью, – сказала вдруг Корнелия посреди двора, раскинув руки и подставив лицо весеннему солнцу.

– Я не католик. Я не верю в Бога. А ты?

Корнелия пожала плечами. Когда она не знала, что ответить, она пожимала плечами и замолкала. Адриа понял, что эта тема ей неприятна.

– Если посмотреть со стороны, – сказал я, – то мне больше нравятся лютеране, как вы: грехи отпускаются милостью Божьей, без посредников.

– Не люблю говорить на такие темы, – сказала Корнелия напряженно.
– Почему?
– Начинаю думать о смерти... Откуда мне знать! – Она взяла его под руку, и они вышли из монастыря Бебенхаузена. – Идем, а то опоздаем на автобус.

В автобусе Адриа, глядя на пейзаж за окном, но не видя его, стал думать о Саре, как всегда, стоило ослабить бдительность. Его оскорбляла мысль, что ее черты уже начинали размываться в памяти. Глаза были темные, но были они черные или темно-карие? Сара, какого цвета были твои глаза? Сара, почему ты уехала? Корнелия взяла его за руку, и он печально улыбнулся. А вечером в Тюбингене они будут переходить из одного кафе в другое, сначала чтобы выпить пива, а потом, когда уже больше не лезет, заказать горячий чай и поужинать в «Дойчес-хаус», потому что, не считая концертов и учебы, Адриа не знал, что еще можно делать в Тюбингене. Читать Гёльдерлина. Слушать, как Косериу ругает этого дурака Хомского^[205], генеративную грамматику и мать, которая всех их родила.

Когда они вышли напротив Брехтбау^[206], Корнелия прошептала ему на ухо: не приходи сегодня вечером.

– Почему?
– Потому что я занята.

Она ушла, не поцеловав его на прощание, и Адриа почувствовал что-то вроде головокружения. И все это по твоей вине, потому что ты бросила меня и мне стало незачем жить, а ведь мы встречались всего несколько месяцев, Сара, но с тобой я парил в небесах, ты была лучшим из всего в моей жизни, пока не сбежала, – и Адриа, оказавшись в Тюбингене, вдали от мучительных воспоминаний, четыре месяца отчаянно учился, безуспешно пытаясь записаться на какой-нибудь курс Косериу, тайком приходя на его занятия и посещая всевозможные лекции, семинары, беседы и встречи, которые предлагались в Брехтбау, только что построенном корпусе, или в любом другом месте, чаще всего в здании Бурзе^[207], и потом вдруг наступила зима, и электрообогревателя в его комнате часто бывало недостаточно, но Адриа продолжал учиться, чтобы не думать – Сара, Сара, почему ты ушла, ничего не сказав? – а когда грусть была слишком велика, он выходил прогуляться по берегу Некара, нос леденел от холода, Адриа доходил до башни Гёльдерлина^[208], и однажды ему пришло в голову, что, если что-нибудь не придумать, он сойдет с ума от любви. И в один прекрасный день снег начал таять, пейзаж постепенно зазеленел, и Адриа

с удовольствием перестал бы грустить и поразмышлял бы о различных оттенках зеленого. А поскольку у него не было ни малейшего желания возвращаться на лето домой к далекой матери, он решил изменить свою жизнь, начать смеяться, пить пиво с соседями по пансиону, заходить в факультетский клуб, смеяться просто так и бывать в кино на неинтересных и неправдоподобных фильмах, а главное – не умирать от любви, и он с какой-то незнакомой дрожью, другими глазами стал смотреть на студенток – они как раз начинали снимать куртки и шапки, – и он понял, что эти девушки ему очень нравятся, и это слегка размывало воспоминания о чертах Сары-беглянки, хотя не снимало вопросов, которые я задавал себе всю жизнь, как, например, что ты имела в виду, когда сказала мне: я бежала в слезах, говоря нет, только не опять, не может быть. Тем не менее на истории эстетики (первая часть курса) Адриа сел за девушкой с черными локонами – от ее взгляда слегка кружилась голова, ее звали Корнелия Брендель, и она была из Оффенбаха. Он обратил на нее внимание, потому что она казалась недоступной. И он улыбнулся ей, а она улыбнулась в ответ, и они тут же пошли пить кофе в факультетском кафе, и она никак не могла поверить: у тебя совсем нет акцента, я, правда, подумала, что ты немец, честно.

От кофе они перешли к прогулкам по парку, в который рвалась весна, и Корнелия стала первой женщиной, с которой я лег в постель, Сара, и я обнимал ее, делая вид, что... *Mea culpa*^[209], Сара. И я полюбил ее, хотя иногда она говорила вещи, которые я не понимал. И я мог выдерживать ее взгляд. Корнелия мне нравилась. Так продолжалось несколько месяцев. Я отчаянно цеплялся за нее. Поэтому я забеспокоился, когда перед началом второй зимы мы возвращались с экскурсии из Бебенхаузена и она сказала: не приходи сегодня вечером.

– Почему?

– Потому что я буду занята.

Она ушла, даже не поцеловав его на прощание, и Адриа почувствовал что-то вроде головокружения, потому что не знал, можно ли сказать женщине: эй, постой-ка, что значит «я буду занята»? Или нужно проявить благоразумие и счесть, что она уже достаточно большая и не должна давать тебе никаких объяснений. Или должна? Она ведь твоя девушка? Корнелия Брендель, согласна ли ты назвать Адриа Ардевола-и-Боска своим парнем? Могут ли быть секреты у Корнелии Брендель?

Адриа дал Корнелии уйти по Вильгельмштрассе, не спросив объяснений, потому что в глубине души у него самого были от нее секреты: он еще ничего не говорил ей о Саре, например. Ладно. Но через две

минуты он уже раскаялся, что позволил ей уйти просто так. Он не видел ее ни на греческом, ни на философии опыта. Ни на открытом семинаре по философии морали, который она раньше ни за что не хотела пропускать. И, стыдясь самого себя, я пошел в Якобсгассе и встал, прячась и еще больше стыдясь самого себя, на углу Шмидторштрассе, как будто бы ждал двенадцатый. Мимо проехало десять или двенадцать двенадцатых, у меня замерзли ноги, а я все стоял там, пытаюсь проникнуть в секрет Корнелии.

В пять часов вечера, когда я насквозь промерз, появилась Корнелия со своим секретом. Она была в своем всегдашнем пальто, такая красивая, такая похожая на себя. Секретом оказался высокий парень, блондин, красавец, весельчак, с которым она познакомилась во дворе Бебенхаузена и который сейчас целовал ее у подъезда. Он целовал ее гораздо лучше, чем я. И вот здесь возникли проблемы. Не потому, что я шпионил за ней, а потому, что она заметила это, когда закрывала занавеску в гостиной: Адриа стоит на углу перед домом, замерзший, смотрит на нее во все глаза и не верит и ждет двенадцатый. В тот вечер я плакал на улице, а когда пришел домой, обнаружил письмо от Берната, о котором уже несколько месяцев ничего не знал и который уверял меня в письме, что его переполняет счастье, что ее зовут Текла и что он приедет ко мне в гости, хочу я этого или нет.

С тех пор как я уехал в Тюбинген, отношения с Бернатом охладели. Я не пишу писем, ну то есть в молодости не писал. Первым написал он – прислал безумную, невозможную открытку из Пальмы, в которой прямо на виду у франкистской военной цензуры писал: я играю на горне по приказу командира полка, на кожаной флейте, когда не отпускают в увольнительную, и на нервах товарищей, когда занимаюсь на скрипке. Ненавижу жизнь, военных и режим, мать их. А ты как? Обратного адреса не было, и Адриа ответил на адрес родителей Берната. Кажется, я тогда упомянул о Корнелии, но мимоходом. А летом я доехал до Барселоны и из денег, которые мать положила мне на счет, выдал немалую сумму Тоти Далмау, который уже стал врачом, – он отправил меня на пару осмотров в военный госпиталь, откуда я вышел со справкой о серьезных кардиореспираторных заболеваниях, каковые препятствуют мне служить родине. Ради цели, которую считал справедливой, Адриа тронул паутину коррупции. И я в этом не раскаиваюсь. Никакая диктатура не имеет права требовать у тебя полтора или два года жизни, аминь.

Он хотел приехать вместе с Теклой. Я сказал ему, что у меня только одна кровать и все такое, что было, конечно, глупостью, потому что они могли преспокойно остановиться в недорогой гостинице. А потом оказалось, что Текла не может приехать, потому что на нее свалилась какая-то работа, а на самом деле, как он потом мне признался, родители просто не отпустили ее так далеко с таким высоким парнем, с такими длинными волосами и таким печальным взглядом. Я обрадовался, что он приедет один, потому что иначе мы не смогли бы по-настоящему поговорить, – а на самом деле Адриа настолько переполняла зависть, что он стал бы задыхаться и сказал бы: почему с тобой женщина, если друзья всегда должны быть прежде всего? Понимаешь, о чем я? Друзья! И он сказал бы: это просто из ссучьей зависти и от отчаяния, понимая, что мои сердечные дела с Корнелией идут той же дорогой, что и наши с тобой, любимая. С одним лишь преимуществом: я узнал секрет Корнелии. Секреты. А твои... Я все еще спрашивал себя, почему ты сбежала в Париж. В общем, он приехал один, с учебной скрипкой и разговорами. Мне показалось, что он еще немного вырос. Он был уже на полголовы выше меня. И он начинал спокойнее смотреть на мир. Иногда на его лице даже появлялась улыбка без причины – просто так, радость жизни.

– Ты что, влюбился?

Тогда улыбка стала шире. Да, влюбился. Влюбился окончательно. Не то что я – я был окончательно сбит с толку Корнелией, которая, стоило мне отвлечься, уходила с другим, потому что сейчас такой возраст, что надо экспериментировать. Я завидовал спокойной улыбке Берната. Но было и кое-что, что меня беспокоило. Когда он обустроился в моей комнате, где я поставил для него раскладушку, он открыл футляр со скрипкой. Более-менее профессиональные скрипачи носят в футляре не только скрипку – они носят там половину своей жизни: два-три смычка, канифоль, какие-нибудь фотографии, партитуры в боковом кармане, комплекты струн и ту единственную рецензию, которая вышла в местной газете. У Берната в футляре была только учебная скрипка, смычок, и ничего больше. Да, и папка. И первым делом он открыл папку. Там лежали неаккуратно скрепленные листы, которые он протянул мне. Возьми, прочитай.

– Что это?

– Рассказ. Я писатель.

Интонация, с которой он произнес «я писатель», задела меня. На самом деле она задевала меня всю жизнь. Бестактно, как обычно, он требовал, чтобы я читал его рассказ прямо сейчас. Я взял его, посмотрел на заголовок, оценил количество листов и сказал: слушай, я должен

прочитать это спокойно.

– Конечно, конечно. Я пойду прогуляюсь.

– Нет. Я прочитаю вечером, перед сном. Расскажи мне про Теклу.

Он сказал, что она такая-то и такая-то, у нее восхитительные ямочки на щеках, они познакомились в консерватории Лисеу, она играла на рояле, а он – первую скрипку в квинтете Шумана.

– Представь, ее зовут Текла^[210] и она играет на рояле.

– Она это переживет. Хорошо играет?

Поскольку сам он никогда бы не встал со стула, я взял куртку и сказал: пошли, и отвел его в «Дойчес-хаус», забитый до отказа, как всегда, и я искоса поглядывал, нет ли где Корнелии в компании какого-нибудь очередного эксперимента, а потому не слишком внимательно слушал Берната, который, заказав на всякий случай то же, что и я, стал говорить: мне тебя недостает, потому что я не хочу уезжать учиться в Европу и...

– Ты ошибаешься.

– Я предпочитаю внутренние путешествия. Поэтому я стал писать.

– Чепуха. Тебе надо путешествовать. Найти учителей, которые стряхнут с тебя пыль.

– Что за гадость!

– Это Sauerkraut.

– Что?

– Квашеная капуста. Если пожить здесь, привыкаешь.

Корнелии и следа нет. Доедая сосиску, я немного успокоился и почти перестал думать о ней.

– Я хочу бросить скрипку, – сказал Бернат, как мне показалось, желая подразнить меня.

– Я тебе запрещаю.

– Ты кого-то ждешь?

– Нет, а что?

– Ну, ты... В общем, ты как будто кого-то ждешь.

– Почему ты говоришь, что хочешь бросить скрипку?

– А почему ты бросил?

– Ты же знаешь. Я не умею играть.

– И я не умею. Не знаю, помнишь ли ты: мне не хватает души.

– Если поедешь учиться за границу, ты ее найдешь. Походи на занятия к Кремеру или к этому парню, Перлману. Или постарайся устроить так, чтобы тебя услышал Стерн^[211]. Да что ты, в конце концов: в Европе полно отличных учителей, которых мы даже не знаем. Будь поживее. Музыкай

надо гореть. Или поезжай в Америку.

– У меня нет будущего как у солиста.

– Бред.

– Помолчи, ты ничего не понимаешь. Я не способен на большее.

– Ну хорошо. Значит, ты можешь быть хорошим скрипачом в оркестре.

– Но я еще хочу покорить мир.

– Решай сам: рисковать или не рисковать. И ты можешь покорить мир, сидя за своим пюпитром.

– Нет. Я почти потерял надежду.

– А камерный оркестр? Тебе же нравится?

Здесь Бернат ненадолго задумался и замолчал, глядя на стену. Я не отвлекал его, потому что в эту секунду вошла Корнелия под руку с новым экспериментом, и мне захотелось раствориться в воздухе, я не мог оторвать от нее взгляд. Она сделала вид, что ничего не замечает, и они сели позади меня. Я почувствовал спиной страшную пустоту.

– Может быть.

– Что?

Бернат посмотрел на меня с удивлением. И терпеливо повторил:

– Может быть, да: играть в камерном оркестре мне, скорее, нравится.

Мне в тот вечер было наплевать на всю камерную музыку Берната. Главными были пустота и жжение, которые я чувствовал спиной. Я обернулся, как будто хотел подозвать белокурую официантку. Корнелия смеялась, склонившись над заламинированным меню, предлагавшим сосиски. У эксперимента были жутчайшие, противные и неуместные усы. Полная противоположность высокому блондину – эксперименту недельной давности.

– Что с тобой?

– Со мной? А что со мной?

– Не знаю. Ты как...

Тут Адриа улыбнулся официантке, которая как раз проходила мимо, и попросил принести еще пару кусочков хлеба, затем посмотрел на Берната и сказал: да-да, я слушаю, извини, я просто...

– Ну так вот, когда я играю в камерном оркестре, мне, может быть...

– Вот видишь? А если вы с Теклой на пару сыграете Бетховена?

Жжение в спине было таким сильным, что я не заботился о том, не полную ли чушь несу.

– Да, можно. А потом что? Кто позовет нас сыграть концерт? Или записать дюжину пластинок? А?

– Ну, знаешь... Даже если вы просто это сделаете... Извини,

я на минутку.

Я встал и пошел к туалету. Я прошел прямо перед Корнелией и ее экспериментом – я посмотрел на нее, она подняла голову, увидела меня, сказала «привет» и снова погрузилась в меню. Привет. Как будто так и должно быть: сначала она клянется тебе в вечной или почти вечной любви, спит с тобой, а потом находит себе новый эксперимент, и, когда встречается тебя, говорит «привет» и продолжает изучать сосиски. Я чуть не сказал ей: могу посоветовать вам свою жареную колбаску, фройляйн. Подходя к туалету, я услышал, как эксперимент спросил с жутким баварским акцентом: что это за тип с жареной колбаской? Ответ Корнелии я не услышал, потому что официантки с полными подносами оттеснили меня к туалету.

Нам пришлось перелезть через зубчатую ограду, чтобы прогуляться по кладбищу ночью. Было очень холодно, но нам обоим это было кстати, потому что мы выпили, казалось, все пиво на свете, он – рассуждая о камерной музыке, а я – изучая новые эксперименты Корнелии. Я рассказал ему об уроках иврита и философских дисциплинах, которыми перемежал филологические, и о своем решении посвятить жизнь учебе, а если я смогу еще вести занятия в университете – лучше не придумашь, а если нет – буду просто ученым.

– А как ты будешь зарабатывать на жизнь? Если тебе, конечно, нужно на нее зарабатывать.

– Я всегда могу приходить ужинать к тебе.

– Сколько языков ты знаешь?

– Не бросай скрипку.

– Уже почти бросил.

– А зачем тогда ты ее привез?

– Чтобы разрабатывать пальцы. В воскресенье я играю у Теклы.

– Это же хорошо?

– Ой да. Это здорово. Мне нужно произвести впечатление на ее родителей.

– Что будете играть?

– Сезара Франка^[212].

Мы на минуту замолчали, потому что оба, я уверен, вспоминали начало сонаты Франка, этот изысканный диалог двух инструментов – сулящую наслаждения прелюдию.

– Я жалею, что бросил скрипку, – сказал я.

– Вовремя ты спохватился, старик.

– Я говорю об этом, потому что не хочу, чтобы через пару месяцев ты стал раскаиваться и обвинять меня в том, что я не отговорил тебя.

– Мне кажется, я хочу быть писателем.

– Ну и хорошо, что ты пишешь. Но не стоит отказываться от...

– Может наконец перестанешь меня учить?

– Да пошел ты!

– Ты узнал что-нибудь про Сару?

Мы молча дошли до конца аллеи, до могилы Франца Грюббе. Я подумал, что правильно сделал, не сказав ему ничего о Корнелии и своих муках. Уже тогда я старался учитывать, какое впечатление произвожу на других.

Бернат молча, взглядом, повторил свой вопрос и больше не настаивал. Было очень холодно, и у меня слезились глаза.

– Пойдем? – спросил я.

– А кто этот Грюббе?

Адриа задумчиво посмотрел на массивный крест. Франц Грюббе, 1918–1943. Лотар Грюббе дрожащей от возмущения рукой убрал ветку ежевики, которую кто-то положил, желая оскорбить могилу. Ежевика царапнула его, а он не подумал о «Дикой розе» Шуберта^[213], потому что все его мысли уже давно были похищены невзгодами. Он любовно положил на могилу букет роз – белых, как душа его сына.

– Ты ищешь свою погибель, – сказала Герта, которая тем не менее вызвалась идти с ним. – Эти цветы говорят сами за себя.

– Мне нечего терять. – Он выпрямился. – Я, напротив, в выигрыше: мой сын – герой, храбрец и мученик.

Он оглянулся. Дыхание мгновенно превращалось в плотные облачка белого пара. Он знал, что к вечеру белые розы – крик протеста – замерзнут. Но месяц назад, когда Франца, если можно так выразиться, похоронили, он обещал Анне, что будет приносить на его могилу цветы шестнадцатого числа каждого месяца, пока ноги ходят. Хотя бы это он мог сделать для своего сына – героя, храбреца, мученика.

– Это кто-то великий, этот Грюббе?

– А?

– Чего мы встали?

– Франц Грюббе, тысяча девятьсот восемнадцатый – тысяча девятьсот сорок третий.

– Кто это?

– Понятия не имею.

– Господи, как же холодно! У вас здесь всегда так?

С момента прихода к власти Гитлера Лотар Грюббе стал раздражителен и молчалив, и он выказывал свое молчаливое раздражение соседям, которые делали вид, что ничего не замечают, и говорили: ищет человек проблем на свою голову, а он в раздражении гулял по безлюдному парку и разговаривал со своей Анной – он говорил ей: не может быть, чтобы никто не восстал, не может быть. И когда Франц вернулся из университета, где он терял время, изучая законы, которые должны были быть отменены Новым Порядком, мир Лотара обрушился, потому что его Франц, с блестящими от волнения глазами, сказал: папа, следуя указаниям и желанию нашего фюрера, я решил поступить в СС, и очень возможно, что меня примут, потому что мне удалось доказать чистоту нашей крови до пятого или шестого колена. И Лотар, ошеломленный, растерянный, сказал: что с тобой сделали, сынок, как же ты...

– Папа, Мы Вступаем в Новую Эру Силы, Мощи, Света, Будущего. И Так Далее, Папа. Ты должен быть рад.

Лотар расплакался, а воодушевленный сын упрекнул его в слабости. Ночью он рассказал об этом своей Анне и сказал ей: прости, Анна, это моя вина, зачем я позволил ему учиться вдали от дома, нам его заразили фашизмом, Анна, дорогая. Потом у Лотара Грюббе было много времени плакать, потому что в один недоброй памяти день молодой Франц, который снова был вдали от дома, не захотел взглянуть в полные упреков глаза отца и ограничился тем, что отправил бодрую телеграмму, в которой сообщал: Третья Рота Ваффен СС Не Пойми Какого Не Пойми Чего Папа Направлена На Южный Фронт тчк Наконец Смогу Отдать Жизнь За Фюрера тчк Не Плачь По Мне Если Это Случится тчк Я Буду Вечно Жить В Валгалле тчк. И Лотар заплакал и решил, что это должно остаться в тайне, и ночью ничего не сказал Анне о Телеграмме Франца, В Которой Сплошь Одни Ненавистные Заглавные Буквы.

Драго Граднику пришлось наклонить свое огромное тело, чтобы расслышать вялый голос почтового служащего из Есенице, что на берегу реки Сава Долинска, вздвнувшейся от весеннего половодья.

– Что?

– Это письмо не дойдет.

– Почему? – громовым голосом.

Старик-почтальон нацепил очки и прочитал вслух: Fèlix Ardèvol, 283 València ulica, Barcelona, Španija^[214]. И снова протянул письмо великану:

– Оно потеряется в пути, капитан. Наши письма доходят самое дальнее до Любляны.

– Я сержант.

– Не важно. Оно потеряется. Идет война. Или вы забыли?

Градник, против обыкновения, погрозил кулаком и сказал самым звучным и неприятным своим голосом: вы сейчас же оближете марку за пятьдесят парь^[215], приклеите ее на конверт, промокнете, положите в мешок, который я должен доставить, и забудете об этом. Понятно?

Хотя с улицы его звали, Градник подождал, пока обиженно замолчавший старик не выполнит приказ этого ненормального партизана. И не положит конверт в тощий мешок с корреспонденцией в Люблян. Сержант-великан взял мешок и вышел на залитую солнцем улицу. Грузовик сразу же затарахтел мотором, и человек десять нетерпеливо окликнули его с кузова, где уже стояло шесть или семь таких же мешков, а кутивший леж Влодо Влодич посмолрел на часы и сказал: твою мать, просто забрать мешок, сержант.

Грузовик с почтой и дюжиной партизан не тронулся с места. Перед ним неожиданно затормозил «ситроен», из которого вышли еще три партизана с новостями: в тот день, в Вербное воскресенье, когда в Хорватии и Словении вспоминали триумфальный въезд Христа в Иерусалим на молодом осле, три роты дивизии СС «Рейх» решили, в подражание Сыну Божьему, триумфально войти в Словению – правда, не на ослах, а на танках, – в то время как люфтваффе превращало в щебень центр Белграда, а королевское правительство во главе с королем бежало, сверкая пятками, товарищи. Пробил час отдать жизнь за свободу. Вы отправитесь в Краньска-Гору и остановите дивизию Ваффен-СС. И Драго Градник подумал: пришло время умереть, да славится Господь. Я погибну в Краньска-Горе, пытаясь остановить неудержимую дивизию Ваффен-СС. И, как и всегда, он не возроптал. С тех пор как он снял сутану и пришел к командиру действовавших в его районе партизан, чтобы предложить свою жизнь стране, он знал, что ошибается, но ничего не мог поделать, потому что, когда он встречался со злом – не важно, с устахами Павелича^[216] или эсэсовцами, этими исчадиями ада, – богословие поневоле отступало перед более насущными проблемами. Они прибыли в Краньска-Гору без приключений, и каждый – кто больше, кто меньше – думал, что, может быть, информация не слишком достоверна, но в конце Боровшкoй улицы командир без погон, с трехнедельной бородой и сильным хорватским акцентом, сказал: пробил час истины, мы будем бороться с фашизмом не на жизнь, а на смерть, мы – партизанская армия и сражаемся за свободу и против фашизма. Будем безжалостны к врагу,

как он безжалостен к своим врагам и как он будет безжалостен к нам. Драго Граднику захотелось добавить: и во веки веков, аминь. Но он сдержался, потому что командир без звезд как раз давал указания, как действовать каждой ячейке обороны. Градник успел подумать, что впервые в жизни, теперь уж наверняка, ему придется убивать.

– Бегом, мать вашу, занять позиции! Удачи!

Ядро отряда с пулеметами, гранатами и минометами расположилось в укрытии. Дюжина стрелков, как орлы, заняли высоты. Они легко, кроме отца Драго, который пыхтел как паровоз, рассеялись по оборонительным позициям, у каждого – винтовка и всего тринадцать магазинов. И если у вас закончатся патроны, берите камни, а если подойдут вплотную, душите голыми руками, но они не должны войти в деревню. Меткие стрелки получили винтовки системы Л. Нагана с телескопическим прицелом. А значит, ты на расстоянии вытянутой руки увидишь того, кого тебе предстоит убить, будешь наблюдать за ним, следить за каждым шагом – словом, установишь с ним связь.

Когда Градник почувствовал, что вот-вот задохнется от напряжения, кто-то протянул ему руку и помог преодолеть последний уступ. Это был Владо Владич, который уже залег, держа на прицеле пустынный поворот шоссе, и сказал: сержант, нам нужно быть в форме. Над холмом летали растревоженные иволги, как будто хотели выдать их немцам. Пару минут оба молчали, чтобы Градник мог отдышаться.

– Чем вы занимались до войны, сержант? – спросил партизан-серб на жутком словенском.

– Я был пекарем.

– Ну да! Вы священник.

– Если знаешь, зачем спрашивать?

– Я хочу исповедаться, отче.

– Мы на войне. Я не священник.

– Священник.

– Нет. Я погрешил отчаянием. Мне самому нужно исповедаться. Я снял облачение...

Внезапно он замолчал: на повороте шоссе показался танк, за ним еще один – два, четыре, восемь, десять, двенадцать, мать их, Господи. Двадцать, или тридцать, или тысяча бронемашин с солдатами. И в хвосте три или четыре роты пехотинцев. Иволги продолжали свистеть и перепархивать, не ведая ни ненависти, ни страха.

– Когда начнется заварушка, отче, ваш лейтенант справа, а мой слева. Не теряйте своего из виду.

– Тот худой, повыше?

– Ага. Делайте как я.

Вот это и называется «смерть ходит рядом», подумал Градник, и сердце у него сжалось.

За последней бронемашинной во главе своего взвода шагал молодой оберштурмфюрер СС Франц Грюббе и смотрел на высившиеся по левую руку холмы, над которыми летали неизвестные ему птицы. Он смотрел вверх, но не высматривал врага, а представлял Славную Минуту, Когда Всю Европу Возглавит Наш Прозорливый Фюрер И Германия Явит Образец Идеального Общества, Перед Которым Должны Будут Преклониться Низшие Народы. И как раз на холме слева, почти на уровне первых домов Краньска-Горы, сотня рассеянных по укрытиям партизан ждала сигнала своего хорватского командира. Сигналом была первая пулеметная очередь по машинам. И Драго Градник, родившийся в Любляне 30 августа 1895 года, учившийся в иезуитской школе своего родного города, решивший посвятить свою жизнь Господу и поступивший, исполненный религиозного пыла, в Венскую семинарию, избранный среди однокурсников благодаря своему острому уму и направленный изучать богословие в Папском Григорианском университете и экзегетику^[217] в Папском библийском институте, поскольку ему очевидно было предначертано вершить великие дела во благо Святой матери-Церкви, в течение бесконечной минуты смотрел в прицел своей винтовки на отвратительного юнца, офицера СС, глядевшего вверх с гордостью победителя и ведшего за собой роту? взвод? отряд? который нужно было остановить.

И началась заварушка. Показалось, что немцы на несколько минут растерялись, не ожидая встретить сопротивление так далеко от Любляны. Градник хладнокровно следил в телескопический прицел за своей жертвой и думал: если ты нажмешь курок, Драго, то уже не попадешь в рай. Ты проживаешь целую жизнь с человеком, которого должен в конце концов убить. Пот стекал градом со лба и мог бы замутить ему взгляд, но Драго усилием воли не допустил этого. Он уже принял решение и должен был следить за своей жертвой в телескопический прицел. Все солдаты наконец зарядили оружие, но не понимали, куда целиться. Пока потери несли бронемашины и их экипажи.

– Пора, отче!

Оба выстрелили одновременно. Лейтенант Градника стоял к нему лицом, с винтовкой наизготове, и озибался, не зная еще, куда стрелять.

Эсэсовца отбросило назад на каменную стену, и он вдруг выронил винтовку, недвижимый, равнодушный ко всему происходящему, с внезапно залитым кровью лицом. Молодой оберштурмфюрер СС Франц Грюббе не успел подумать ни о Славной Битве, ни о Новом Порядке, ни о Блистательном Завтра, которое он приближает для живых своей смертью, потому что ему снесло полголовы и он уже не мог думать ни о неизвестных птицах, ни о том, откуда в него стреляли. И тогда Градник признал, что ему все равно, попадет ли он в рай, потому что он делал то, что должен был делать. Он зарядил винтовку и прочесал вражеские ряды сквозь телескопический прицел. Сержант СС криками созывал и реорганизовывал солдат. Градник прицелился ему в шею, чтобы тот перестал кричать, и выстрелил. Потом хладнокровно, не теряя самообладания, перезарядил винтовку и уложил еще нескольких унтер-офицеров.

Еще до захода солнца колонна Ваффен-СС отступила, бросив погибших и подбитые машины. Партизаны слетелись как коршуны обшаривать убитых. Время от времени слышался сухой щелчок пистолета беспогонного командира, который, сурово нахмурившись, добивал раненых.

Повинуясь приказу, оставшиеся в живых партизаны должны были обшарить трупы и забрать оружие, патроны, сапоги и кожаные куртки. Драго Градник, словно его кто подталкивал, нашел своего первого убитого. Это был мальчик с мягкими чертами, обвисший на каменной стене, в раздробленной каске; его остановившиеся, залитые кровью глаза смотрели вперед. Градник не оставил ему шансов. Прости, сынок, сказал он. И тогда он заметил, что Владо Владич и еще двое товарищей обрывают солдатские медальоны, – они всегда так делали, чтобы затруднить врагу работу по установлению личности погибших. Владич подошел к его убитому и не глядя сорвал медальон. Градник очнулся:

– Постой, дай-ка его мне.

– Отче, нам сейчас нужно...

– Дай, я сказал!

Владич пожал плечами и протянул ему медальон:

– Это ведь ваш первый убитый? – И вернулся к своему занятию.

Драго Градник посмотрел на медальон. Франц Грюббе. Его первого убитого звали Франц Грюббе, он был молодым оберштурмфюрером СС; вероятно, у него были голубые глаза и светлые волосы. На секунду он представил себе, что приходит к вдове или родителям убитого, чтобы утешить их и сказать, встав на колени: это я сделал, это был я, каюсь.

И положил медальон в карман.

Мы еще стояли у могилы, и я пожал плечами и повторил: слушай, пойдем, такой колотун. И Бернат ответил: как хочешь, тебе решать. Ты всегда все решаешь за меня.

– Да пошел ты!

Поскольку мы одеревенели от холода, то, когда мы возвращались к миру, перелезая через кладбищенский забор, я разодрал штаны. И мы оставили мертвых в одиночестве, в холоде и темноте, наедине с их вечными историями.

Я не прочитал текст Берната. Он уснул, едва опустив голову на подушку, – наверняка вымотался за день в дороге. А я, ожидая, пока меня сморит сон, предпочел поразмышлять о столкновении культур на закате Римской империи и о том, возможно ли подобное в современной Европе. Но вдруг в мои умиротворенные размышления вторглись Корнелия и Сара, и я внезапно и сильно загрустил. И у тебя кишка тонка поделиться своими переживаниями с лучшим другом.

В конце концов победил вариант поехать в Бебенхаузен, потому что у Адриа выдался исторический день и...

– Нет, у тебя вся жизнь историческая. Для тебя всё – история.

– Скорее, история любой вещи объясняет современное состояние любой вещи. И у меня сегодня исторический день, и мы поедem в Бебенхаузен, потому что, как ты говоришь, я всегда все решаю за тебя.

Было невероятно холодно. Деревья перед факультетом на Вильгельмштрассе – несчастные, голые – стойко и терпеливо переносили невзгоды, зная, что наступят лучшие времена.

– Я не смог бы здесь жить. У меня бы отмерзли руки, и я не смог бы играть...

– Значит, если ты решил бросить скрипку, можешь оставаться тут.

– Я рассказывал тебе о Текле?

– Да. – И он рванул с места. – Бегом, наш автобус!

В автобусе было так же холодно, как на улице, но люди расстегивали ворот пальто. Бернат стал рассказывать: у нее на щеках ямочки, похожие на...

– Похожие на два пупочка – да, ты говорил.

– Слушай, если ты не хочешь, я могу не...

– У тебя нет ее фото?

– Вот ведь! Нет. Я не подумал.

На самом деле у Берната не было ни одной фотографии Теклы потому,

что он еще ни разу ее не сфотографировал, потому, что у него еще не было фотоаппарата, и потому, что у Теклы не было ни одной фотографии, чтобы подарить ему, но мне это все равно, потому что я не устаю говорить о ней.

– А я устаю.

– Свинья. Сам не понимаю, почему еще с тобой разговариваю.

Адриа открыл портфель, который был для него практически частью тела, достал кипу листов и показал ему:

– Потому что я читаю твой бред.

– Ты что, уже прочитал?

– Нет еще.

Адриа прочитал название и не перевернул страницу. Бернат искоса наблюдал за другом. Ни один из них не заметил, что прямое шоссе нырнуло в долину, где его обступили припорошенные снегом ели. Прошли две бесконечные минуты, за которые Бернат подумал, что если ему требуется столько времени, чтобы прочитать заглавие, то... Может быть, оно наводит его на размышления; может быть, оно уносит его в такие же дали, как и меня, когда я написал его на первой странице. Но Адриа смотрел на пять слов заглавия и думал – не знаю, почему я не могу пойти и сказать ей: Корнелия, давай-ка забудем об этом, и кончено. Ты повела себя по-свински, понятно? И начиная с этой минуты я сосредоточусь на тоске по Саре, и он знал, что все эти мысли – ложь, потому что, увидев Корнелию, он растает, раскроет рот и будет делать, что она скажет, даже если она велит ему уйти, потому что у нее свидание с новым экспериментом, – господи, ну почему я такой тюфяк?

– Нравится? Хорошо, правда?

Адриа очнулся от мыслей. Он вскочил:

– Эй, выходим!

Они вышли на остановке на шоссе. Впереди раскинулась заледеневшая деревня Бебенхаузен. Вместе с ними из автобуса вышла седая женщина. Она улыбнулась им, и Адриа вдруг осенило, он спросил: вы не могли бы нас сфотографировать, смотрите, вот так? Она поставила корзину на землю, взяла фотоаппарат и сказала: конечно, куда нажимать?

– Сюда. Спасибо большое.

Друзья встали так, чтобы была видна деревня, вся покрытая тонким слоем льда и оттого выглядевшая негостеприимно. Женщина нажала на кнопку и сказала: готово. Адриа убрал фотоаппарат и взял корзину, пропуская женщину вперед и показывая жестом, что донесет ее ношу. Они стали подниматься втроем по дороге, ведущей в деревню.

– Осторожно, – сказала женщина, – обледеневший асфальт очень

коварен.

– Что она говорит? – спросил Бернат, который напрасно прислушивался.

В это же мгновение он поскользнулся, потерял равновесие и с размаху сел на дорогу.

– Да вот это самое и говорит, – ответил Адриа и рассмеялся.

Бернат встал, чувствуя себя униженным, выругался себе под нос и постарался снова придать лицу приятное выражение. Когда они преодолели подъем, Адриа вернул женщине корзину.

– Туристы?

– Студенты.

Он протянул ей руку: Адриа Ардевол. Приятно познакомиться.

– Герта, – ответила женщина.

И удалилась со своей корзиной, ступая так уверенно, как будто бы у нее под ногами не был сплошной лед.

В деревне было еще холоднее, чем в Тюбингене. Просто неприлично холодно. Монастырский двор был безлюден и молчалив. Экскурсия начнется ровно в десять. Другие посетители ждали в вестибюле, прячась от мороза. Друзья ступили на девственный пока ледок, которым двор покрылся за ночь.

– Как красиво! – сказал Бернат в восхищении.

– Мне здесь очень нравится. Я был здесь шесть или семь раз – весной, летом, осенью... Здесь спокойно.

Бернат удовлетворенно вздохнул и сказал: как можно оставаться неверующим, видя покой и красоту этого монастыря?

– Люди, жившие здесь, почитали мстительного и злопамятного Бога.

– Прояви хоть каплю уважения.

– Я говорю это с болью, Бернат, и не шучу.

Когда они замолкали, слышалось только похрустывание льда под ногами. Птицы не покидали своих гнезд. Бернат глубоко вздохнул и выпустил плотное облако пара, как паровоз. Адриа возобновил разговор:

– Христианский Бог мстителен и злопамятен. Если ты ошибаешься и не раскаиваешься, Он наказывает тебя вечным адом. Мне это кажется настолько чрезмерной карой, что я не хочу иметь с таким Богом ничего общего.

– Но...

– Что – но?

– Ведь это любящий Бог.

– Да уж. Будешь вечно поджариваться за то, что не ходил в церковь или обокрал соседа. Не вижу никакой любви.

– Ты необъективен.

– А я и не говорю, что объективен: я в этом не специалист. – Он вдруг остановился. – Есть вещи, которые больше меня мучат.

– Например?

– Зло.

– Что?

– Зло. Почему твой Бог его допускает? Он не искореняет зло, Он ограничивается тем, что наказывает злодея вечными муками. Почему Он не искореняет зло? Ты можешь ответить?

– Ну... Он... Бог уважает свободу воли человека.

– Это тебе внушили хитрые священники, потому что сами не могут объяснить Его попустительство злу.

– Злодей будет наказан.

– Очень здорово, а сначала совершит все свои злодеяния.

– Я не знаю, Адриа. Да чтоб тебя, не могу я с тобой об этом разговаривать. Я не могу доказать, ты знаешь... Я просто верю, и все.

– Прости, я не хотел тебя... Но ты первый завел этот разговор.

Дверь открылась, и небольшая группа энтузиастов, возглавляемая гидом, приготовилась начать экскурсию.

– Монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом Первым Тюбингенским в тысяча сто восьмидесятом году и секуляризирован в тысяча восемьсот шестом.

– Что значит «секуляризирован»? – Женщина в дорогих очках с толстыми стеклами и в бордовом пальто.

– Скажем так, он перестал использоваться как монастырь.

Затем экскурсовод элегантно польстил им: перед ним образованные люди, предпочитающие архитектуру двенадцатого и тринадцатого веков стопке шнапса или кружке пива. И продолжил, говоря, что в разные периоды двадцатого века здесь заседали различные органы местной власти, но сейчас, благодаря недавнему решению федерального правительства, планируется полная реконструкция, чтобы посетители могли увидеть, как в точности выглядел монастырь в те времена, когда здесь жила многочисленная община цистерцианских монахов. Работы начнутся этим летом. А сейчас мы пройдем в бывшую монастырскую церковь, следуйте за мной. Здесь ступеньки, осторожно. Держитесь за перила, фрау, потому что если вы упадете и сломаете себе ногу, то не дослушаете мою

замечательную экскурсию. И девяносто процентов группы улыбнулось.

Замерзшие экскурсанты вошли в церковь, преодолевая ступеньки с большой осторожностью. Уже внутри Бернат заметил, что среди девяти замерзших посетителей нет Адриа. Пока светловолосый экскурсовод говорил, что в этой церкви сохранились многие черты поздней готики, как, например, эта арка у нас над головой, Бернат вышел и вернулся во двор. Адриа сидел к нему спиной на белом от инея камне и читал... Да, он читал его рассказ! Бернат жадно посмотрел на него. Он пожалел, что у него нет фотоаппарата, потому что он, не сомневаясь ни секунды, увековечил бы момент, когда Адриа, его интеллектуальный и духовный наставник, человек, которому он больше всех доверял и больше всех не доверял в жизни, погрузился в историю, которую он создал из ничего. На несколько секунд он почувствовал себя очень значительным и даже забыл о холоде. Он снова вошел в церковь. Группа уже стояла под окном, рассматривая, он не понял по каким причинам возникшие повреждения, и тогда один из замерзших экскурсантов спросил, сколько монахов жило здесь во времена расцвета обители.

– В пятнадцатом веке – около ста, – ответил экскурсовод.

Столько, сколько страниц в моем рассказе, подумал Бернат. И прикинул, что его друг уже в районе шестнадцатой страницы, когда Элиза говорит, что единственный выход – бежать из дома.

– Но куда ты пойдешь, малышка? – ужаснулся Амадеу.

– Не называй меня малышкой, – с достоинством сказала Элиза, резким движением отбрасывая назад свои роскошные волосы.

Когда Элиза сердилась, у нее на щеках проступали ямочки, похожие на два маленьких пупочка, и Амадеу при виде их терял дар речи и забывал, где находится.

– Простите?

– Здесь нельзя находиться одному. Вы должны следовать за группой.

– Конечно-конечно, – сказал Бернат, всплеснув руками, и оставил своих героев на милость внимательно читавшего Адриа. Он догнал группу, которая уже спускалась по ступеням – осторожно на лестнице, при таких температурах она очень коварна. Адриа все еще сидел во дворе, углубившись в чтение, не замечая пронизывающего холода, и на несколько мгновений Бернат почувствовал себя самым счастливым человеком в мире.

Он решил купить еще один билет и повторить экскурсию с новой группой замерзших туристов. Адриа неподвижно сидел во дворе и читал, не поднимая головы. А если он замерз насмерть? – ужаснулся Бернат.

И ему не пришло в голову, что если бы Адриа действительно замерз насмерть, расстроило бы его не это, а то, что тогда он не дочитает его рассказ. Бернат искоса посмотрел на друга, пока экскурсовод, на этот раз по-немецки, говорил: монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом Первым Тюбингенским в тысяча сто восьмидесятом году и секуляризирован в тысяча восемьсот шестом.

– Что значит «секуляризирован»? – Высокий и худой парень, поживающийся в куртке василькового цвета.

– Скажем так, он перестал использоваться как монастырь.

Затем экскурсовод элегантно польстил им: перед ним образованные люди, предпочитающие архитектуру двенадцатого и тринадцатого веков стопке шнапса или кружке пива. И продолжил, говоря, что в разные периоды двадцатого века здесь заседали различные органы местной власти, но сейчас, благодаря недавнему решению федерального правительства, планируется полная реконструкция, чтобы посетители могли увидеть, как в точности выглядел монастырь в те времена, когда здесь жила многочисленная община цистерцианских монахов. Работы начнутся этим летом. А сейчас мы пройдем в бывшую монастырскую церковь, следуйте за мной. Здесь ступеньки, осторожно. Держитесь за перила, фрау, потому что если вы упадете и сломаете себе ногу, то не дослушаете мою замечательную экскурсию. И девяносто процентов группы улыбнулось. Бернат слышал, как экскурсовод начал говорить, в этой церкви сохранились многие черты поздней готики, как, например, эта арка у нас над головой, – но сам был уже в дверях: он потихоньку вернулся назад, во двор, и спрятался за колонной. Нет, Адриа не замерз насмерть, потому что он перевернул страницу, вздрогнул и снова сосредоточился. Страница сороковая – сорок пятая, прикинул Бернат. Тем временем Адриа усилием воли не позволял Саре или Корнелии превратиться в Элизу и не покидал своего места, несмотря на холод. Сороковая – сорок пятая, это где Элиза едет в горку на велосипеде, а ее роскошные волосы развеваются; честно говоря, сейчас я понимаю, что, если Элиза едет в горку, роскошные волосы не могут развеваться, потому что она с трудом крутит педали. Нужно будет пересмотреть это место. Если бы она ехала с горки, еще куда ни шло. Точно! Значит, она будет ехать с горки. Вот и отлично, едет с горки, а роскошные волосы развеваются. Смотри-ка, ему, наверное, нравится, если он даже не обращает внимания на холод. Стараясь ступать бесшумно, он нагнал экскурсантов, которые как раз дружно задрали голову и рассматривали потолочные кессоны, этот шедевр инкрустаторской работы, и какая-то женщина с соломенными волосами сказала:

Wunderbar^[218] – и посмотрела на Берната, как будто настаивала, чтобы и он определил свою эстетическую позицию. Бернат был очень возбужден и три или четыре раза энергично кивнул, но не осмелился сказать *wunderbar*, потому что тогда сразу стало бы понятно, что он не немец, а он не хотел себя выдавать. По крайней мере, до тех пор, пока Адриа не выскажет свое мнение и он не примется прыгать и визжать от счастья. Казалось, женщина с соломенными волосами была удовлетворена неоднозначным ответом Берната. Она снова повторила *wunderbar*, но на этот раз тише, уже ни к кому не обращаясь.

На четвертый раз экскурсовод, который уже давно посматривал на Берната с недоверием, подошел к нему вплотную и заглянул ему в глаза, словно пытаясь понять, не издевается ли над ним этот молчаливый и одинокий турист, или же он пал жертвой красот Бебенхаузена, а может быть, его рассказов. Бернат устремил восхищенный взгляд на потрескавшийся диптих, а экскурсовод неодобрительно поцокал языком, качая головой, и сказал: монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом Первым Тюбингенским в тысяча сто восьмидесятом году и секуляризирован в тысяча восемьсот шестом.

– *Wunderbar*. Что значит «секуляризирован»? – Молодая красивая женщина, укутанная, как эскимос, и с красным от холода носом.

Когда они, полюбовавшись шедевральными потолочными кессонами, снова вышли во двор, Бернат высмотрел из-за спин заледеневших экскурсантов, что Адриа дочитал приблизительно до восьмидесятой страницы: Элиза уже спустила воду из пруда, отчего погибли красные рыбки; эмоционально это очень напряженная сцена: лишая мальчиков рыбок, она наказывает их чувства, а не тела. И это подготавливает читателя к неожиданному финалу, которым Бернат был особенно доволен и которым даже скромно гордился.

Экскурсий больше не было. Бернат стоял во дворе, не сводя глаз с Адриа, который как раз дочитал сто третью страницу, сложил листы и застыл, уставившись на обледеневший самшит, росший напротив. Вдруг он встал, и тут я заметил Берната, который смотрел на меня, как на привидение, очень странно и говорил: я уж думал, ты замерз насмерть. Мы молча вышли, и Бернат робко спросил, не хочется ли мне осмотреть монастырь с экскурсией, на что я ответил: нет, я знаю эту экскурсию наизусть.

– Я тоже, – ответил он.

Когда мы вышли, я сказал, что мне необходимо срочно выпить горячего чая.

– Ну что, как тебе?

Адриа с удивлением посмотрел на друга. Тот кивнул на папку в его руке. Прошло восемь, или десять, или тысяча секунд томительного молчания. Потом Адриа, не глядя на Берната, сказал: очень плохо, очень. Все неживое, эмоции фальшивые. Не знаю почему. Я считаю, это просто из рук вон плохо. Я не знаю, кто такой Амадеу, и, что хуже всего, мне на это наплевать. Про Элизу я даже не говорю.

– Ты шутишь. – Бернат был бледен, как моя мать, когда она сказала, что отец ушел на небо.

– Нет. Я не понимаю, зачем ты с таким упрямством пишешь, если в музыке...

– Ну ты и сукин сын!

– Тогда зачем ты дал мне читать?

На следующий день они сидели в автобусе, который должен был довезти их до вокзала в Штутгарте, потому что с идущим через Тюбинген поездом что-то случилось. Каждый смотрел в свое окно. Бернат упрямо и недружелюбно молчал – с самого дня памятной поездки в Бебенхаузен он тщательно следил за тем, чтобы сохранять каменное выражение лица.

– Однажды ты сказал мне, что настоящих друзей не обманывают. Помнишь, Бернат? Так что хватит корчить из себя оскорбленное достоинство, чтоб тебя!

Он сказал это довольно громко, потому что, когда они говорили по-каталански в автобусе, идущем из Тюбингена в Штутгарт, возникало ощущение какой-то отчужденности и легкости.

– Что, прости? Ты это мне?

– Да. И ты добавил, что если твой настоящий друг не способен сказать тебе правду и предпочитает вести себя как все... Ах, Бернат, какие красивые слова... Мне не хватает искры, магии. Никогда больше не ври мне, Адриа. Или ты больше не друг мне. Ты помнишь? Это твои слова. Ты сказал еще кое-что, ты сказал, я знаю, что ты единственный говоришь мне правду.

Он посмотрел на него сбоку:

– И я всегда буду говорить тебе правду, Бернат.

И, глядя вперед, добавил:

– Если мне хватит мужества.

В молчании они проехали еще несколько километров сквозь влажный

туман.

– Я играю на скрипке, потому что не умею писать, – сказал Бернат, глядя в окно.

– Вот это мне нравится! – воскликнул Адриа. И посмотрел на сидящую напротив женщину, словно ища ее поддержки.

Женщина отвела взгляд и стала смотреть на унылый серый и дождливый пейзаж, приближавший их к Штутгарту. Крикливые средиземноморцы, наверняка турки. Долгая пауза, пока наконец молодой турок повыше не смягчил выражение лица и не спросил, искоса глядя на своего товарища:

– Что тебе нравится? Что ты хочешь сказать?

– Настоящее искусство рождается из разочарования. Счастье бесплодно.

– Ну, если так, то я – твою мать – настоящий художник!

– Эй, не забывай, что ты влюблен.

– Ты прав. Но мне верно только сердце, остальное – дерьмо, – уточнил Кемаль Бернат.

– Я бы с тобой поменялся. – Исмаил Адриа не лукавил.

– Я согласен. Но это невозможно. Мы обречены завидовать друг другу.

– Как тебе кажется, что о нас думает сеньора напротив?

Кемаль посмотрел на пассажирку, которая упорно разглядывала в окно теперь уже городской, но такой же серый и дождливый пейзаж. Кемаль был рад, что можно наконец не сидеть с каменным лицом, потому что, как бы ты ни был оскорблен, это очень трудно. Не спеша, словно это был плод долгих раздумий, он проговорил:

– Я не знаю. Но я уверен, что ее зовут Урсула.

Урсула взглянула на него. Она открыла и закрыла сумочку – чтобы скрыть смущение, подумал Кемаль.

– И у нее есть сын нашего возраста, – добавил Исмаил.

На подъеме повозка жалобно застонала, и возница стал яростно погонять лошадей. Подъем был слишком крут для повозки с двадцатью пассажирами, но спор есть спор.

– Можете выворачивать карманы, сержант! – крикнул возница.

– Мы еще не поднялись.

Солдаты, жаждавшие, чтобы сержант проспорил, затаили дыхание, как будто бы это могло помочь бедным животным взобраться на холм, где начинались дома Вета. Подъем был похож на медленную и мучительную агонию, и, когда наконец повозка была наверху, возница рассмеялся и сказал: Аллах велик, и я тоже – у меня отличные лошади.

Ну что, сержант?

Сержант отдал вознице монету, а Кемаль и Исмаил с трудом сдержали улыбку. Желая встряхнуться после испытанного унижения, сержант стал выкрикивать приказы:

– Все сюда! Сейчас мы покажем этим армянам!

Возница с удовольствием закурил, поглядывая, как вооруженные до зубов и готовые на все солдаты спрыгивали с повозки и устремлялись к дому на окраине Вета.

– Адриа!

– Да?

– Где ты был?

– А?

Адриа посмотрел вперед. Урсула одернула жакет и снова уставилась в окно, очевидно равнодушная к делам этих двух турок.

– Может быть, ее зовут Барбара.

– А? – Ему пришлось сделать усилие, чтобы вернуться в автобус. – Да. Или Ульрика.

– Если бы я знал, я бы не приехал.

– Если бы ты знал что?

– Что тебе не понравится мой рассказ.

– Перепиши его. Но попробуй вжиться в Амадеу.

– Главная героиня – Элиза.

– Ты уверен?

Турки помолчали. Наконец один из них сказал:

– Тогда обрати на это внимание, а то ты все описываешь с точки зрения Амадеу и...

– Ладно-ладно-ладно. Я перепишу. Хорошо?

На перроне Бернат и Адриа обнялись, и фрау Урсула подумала – ничего себе! Ох уж эти турки – прямо у всех на глазах! – и пошла в сторону сектора «В», который был дальше по перрону.

Обнимая меня, Бернат сказал: спасибо, сукин ты сын, правда, спасибо.

– Правда – сукин сын или правда – спасибо?

– Правда, что ты сказал про разочарование.

– Приезжай в любое время, Бернат.

Они не знали, что садиться в поезд нужно из сектора «С», и им пришлось бежать по перрону. Фрау Урсула увидела их снова уже из окна купе и подумала: боже мой, какие шумные.

Бернат, отдуваясь, запрыгнул в вагон. Прошла, наверное, целая минута, а он все стоял и с кем-то разговаривал, активно жестикулируя,

поправляя рюкзак и показывая кому-то билет. Я не знал, что лучше: пойти помочь ему или пусть сам разбирается, не надо ему мешать. Бернат наклонился, выглянул в окно и улыбнулся. Наконец он устало сел и снова посмотрел на Адриа. Когда провожаешь на вокзале близкого друга, нужно уходить сразу, как только тот сел в вагон. Но Адриа уже упустил этот момент. Он улыбнулся в ответ. Затем они стали смотреть каждый в свою сторону. Одновременно взглянули на часы. Три минуты. Я набрался мужества, помахал ему на прощание рукой; он, кажется, даже не пошевелился, и я ушел не оглядываясь. Тут же на вокзале я купил «Frankfurter allgemeine»^[219] и стал листать ее в ожидании обратного автобуса, пытаясь отвлечься от противоречивых мыслей о недолгом пребывании Берната в Тюбингене. На двенадцатой странице – заголовок краткого сообщения, всего одна колонка. «Психиатр убит в Бамберге». В Бамберге? Это в Баварии. Бог мой, ну кому понадобилось убивать психиатра?

– Герр Ариберт Фойгт?

– Да.

– Я без записи, извините.

– Не важно, проходите.

Доктор Фойгт учтивым жестом пригласил смерть войти. Посетитель сел на скромный стул в приемной, а доктор вошел в кабинет, говоря: минуточку, я вас позову. Из кабинета донесся шелест собираемых бумаг и стук открываемых и закрываемых ящиков бюро. Наконец доктор высунулся из-за двери и пригласил смерть в кабинет. Посетитель сел, повинувшись жесту доктора, и врач тоже сел.

– Я вас слушаю, – сказал он.

– Я пришел убить вас.

Прежде чем доктор Фойгт успел отреагировать, посетитель встал и нацелил «стар» ему в висок. Под дулом пистолета доктор опустил голову.

– Ничего не поделаешь, доктор. Вы уж знаете, смерть приходит когда хочет. Без записи.

– Вы поэт? – не поднимая головы, покрываясь пóтом.

– Синьор Фаленьями, герр Циммерманн, доктор Фойгт... Вы приговорены к смерти от имени жертв ваших бесчеловечных экспериментов в Освенциме.

– А если я скажу, что вы ошиблись?

– Насмешите. Лучше не говорите.

– Я дам вам вдвое больше.

– Я убиваю не за деньги.

Тишина. Капли пота катились у доктора по носу, словно он сидел в сауне с Бригиттой. Смерть решила прояснить свою позицию:

– Вообще я убиваю за деньги. Но вас – нет. Фойгт, Будден и Хёсс. С Хёссом мы не успели. Но вас и Буддена убьют ваши собственные жертвы.

– Я прошу прощения.

– Не смешите.

– Я скажу, как найти Буддена.

– Фи, предатель. Скажите.

– В обмен на мою жизнь.

– Просто так.

Доктор Фойгт судорожно сглотнул. Он сделал усилие, пытаясь взять себя в руки, но напрасно. Он зажмурил глаза и, злясь на себя, против воли разрыдался.

– Ну! – крикнул он. – Кончайте!

– Вы торопитесь? Я – нет.

– Чего вы хотите?

– Мы с вами проведем эксперимент. Вроде тех, которые вы проводили с вашими крысятами. Или с их детьми.

– Нет.

– Да.

– Кто здесь? – Он хотел поднять голову, но не смог из-за пистолета.

– Не волнуйтесь, это друзья. – Смерть нетерпеливо поцокала языком. –

Итак, где скрывается Будден?

– Я не знаю.

– Ой! Вы решили его спасти?

– Мне плевать на Буддена. Я раскаиваюсь.

– Поднимите голову, – сказала смерть, бесцеремонно беря его за подбородок. – Что вы помните?

Темные и молчаливые тени подняли перед ним, как на выставке в приходском культурном центре, стенд с фотографиями: мужчины с лопнувшими глазами, заплаканный ребенок со вскрытыми, как плоды граната, коленями, женщина, на которой испробовали кесарево сечение без обезболивания. И еще несколько человек, которых он не помнил.

Доктор Фойгт снова разрыдался, он кричал и звал на помощь. Пока выстрел не заставил его умолкнуть.

«Психиатр убит в Бамберге». «Доктор Ариберт Фойгт был убит выстрелом в голову в своем кабинете в баварском Бамберге». Я уже пару

лет жил в Тюбингене. Тысяча девятьсот семьдесят второй или семьдесят третий год, не помню точно. Но я точно помню, что несколько долгих ледяных месяцев страдал из-за Корнелии. Про Фойгта я еще ничего не мог знать, потому что еще не прочитал арамейский манускрипт, не знал всего, что знаю сейчас, не задумал еще написать тебе это письмо. Через пару недель начинались экзамены. И каждый день я переживал из-за какого-нибудь эксперимента Корнелии. Может быть, я это не прочитал, Сара. Но как раз тогда кто-то убил в Бамберге психиатра, и я даже представить себе не мог, что он был связан со мной больше, чем Корнелия со всеми своими секретами и экспериментами, вместе взятыми. Какая странная штука жизнь, Сара.

Каюсь, я мало плакал, когда умерла моя мать. Я весь был поглощен столкновением с Косериу, моим кумиром, который костерил Хомского, моего кумира, и, что интересно, не ссылаясь на Блумфилда^[220]. Я знаю, он делал это для того, чтобы задеть нас, но в тот день, когда он стал высмеивать *Language and Mind*^[221], Адриа Ардевол, чувствовавший некоторую усталость от жизни и прочее в таком духе, начал терять терпение и тихо сказал по-каталански: хватит, герр профессор, хватит, все понятно, можете не повторять. И тут Косериу направил на меня через стол самый устрашающий взгляд из своего репертуара, и одиннадцать моих одноклассников замолчали.

– Хватит что? – обратился он ко мне по-немецки.

Я трусливо промолчал. Меня обуял страх от его взгляда и от мысли, что сейчас он меня разнесет перед всей группой. И это притом что однажды он похвалил меня, застав за чтением *Mitul reintegrării*^[222], и сказал: Элиаде – хороший мыслитель, вы правильно делаете, что читаете его.

– Потом зайдите ко мне в кабинет, – тихо сказал он мне по-румынски. И продолжил вести занятие как ни в чем не бывало.

Трудно поверить, но когда Адриа Ардевол входил в кабинет Косериу, у него не дрожали колени. За неделю до этого он расстался с Августой, преемницей Корнелии, которая не предоставила ему возможности разорвать отношения самому, потому что без всяких объяснений бросила его ради нового эксперимента два десятилетия – баскетболиста, только

что залученного известным штутгартским клубом. Отношения с Августой были размеренными и спокойными, но Адриа решил отдалиться от нее после пары ссор из-за глупостей. Stupiditates^[223]. И сейчас он был не в духе, а мысль о страхе перед Косериу была так унижительна, что одного этого хватало для того, чтобы не чувствовать страха.

– Садитесь.

Диалог вышел любопытный, потому что Косериу говорил по-румынски, а Ардевол отвечал по-каталански: оба следовали курсу взаимной провокации, взятому уже на третий день занятий, когда Косериу сказал: в чем дело? почему никто ничего не спрашивает? – и Ардевол задал свой первый вопрос, трепетавший у него на языке, о языковой имманентности, и все оставшееся занятие было ответом на вопрос Ардевола в десятикратной мере – я храню этот ответ в сердце как сокровище, потому что это был щедрый подарок гениального, но невыносимого ученого.

Диалог вышел любопытный, потому что, говоря каждый на своем языке, они прекрасно понимали друг друга. Диалог вышел любопытный, потому что они знали, что оба видят читаемый курс как этакую «Тайную вечерю» в Санта-Марии делле Грацие^[224], Иисус и двенадцать апостолов – все обращены в слух и ловят каждое слово и малейший жест Учителя, кроме Иуды, от всех отстраненного.

– И кто же Иуда?

– Вы, разумеется. Что вы изучаете?

– По меню: история, философия, кое-что из филологии, лингвистики, что-то из богословия, греческий, иврит... В общем, все время ношусь между Брехтбау и Бурзе.

Пауза. Наконец Адриа признался: я очень... очень недоволен, потому что хотел бы изучать все.

– Все?

– Все.

– Н-да. Мне кажется, я вас понимаю. Как обстоят ваши дела в академическом плане?

– Если все будет хорошо, я защищаю диссертацию в сентябре.

– О чем вы пишете?

– О Вико.

– Вико?

– Вико.

– Это хорошо.

– Ну... мне... Все время хочется что-то добавить, подредактировать...

Я никак не могу завершить.

– Когда вам назначат дату представления работы, сразу сможете.

Он поднял руку, как всегда, когда собирался сказать что-то важное:

– Мне нравится, что вы решили стряхнуть пыль с Вико. А потом принимайтесь за новые работы, послушайтесь моего совета.

– Если смогу еще на какое-то время остаться в Тюбингене, я так и поступлю.

Но я не смог остаться в Тюбингене еще на какое-то время, потому что на квартире меня ждала телеграмма от Лолы Маленькой, которая словно дрожащим голосом сообщала мне: деточка, Адриа, сынок тчк Твоя мама умерла тчк. И я не заплакал. Я представил себе жизнь без матери и понял, что она ничуть не будет отличаться от той жизни, что я вел до сих пор, и ответил: не плачь, Лола Маленькая, не плачь тчк Как это случилось? Она же не болела?

Мне было немножко стыдно спрашивать такие вещи о матери: я уже несколько месяцев ничего о ней не знал. Изредка телефонный звонок и короткий сухой разговор – как ты, как дела, ты слишком много работаешь, ну ладно, береги себя. Что такого в этом магазине, что он высасывает все мысли тех, кто им занимается?

Нет, она болела, сынок, уже несколько недель, но запретила нам говорить тебе об этом, только если вдруг ей станет хуже, тогда... И мы не успели, потому что все случилось слишком быстро. Она была так молода. Да, она умерла прямо сегодня утром, приезжай скорее, ради бога, сынок, Адриа тчк.

Я пропустил два занятия Косериу, чтобы присутствовать на похоронах; ее отпевали – по личному желанию покойной; рядом со мной стояли постаревшая и погрузившаяся в скорбь тетя Лео, Щеви и Кико с женами и Роза, которая сказала, что ее муж не смог приехать, потому что... Я тебя умоляю, Роза, не извиняйся, ну что ты. Сесилия, элегантная, как всегда, потрепала меня по щеке, как будто бы мне было восемь лет и у меня в кармане лежал шериф Карсон. У сеньора Беренгера блеснули глаза – я подумал сначала, что от печали и растерянности, но потом узнал, что от переполнявшей его радости. Я подал руку Лоле Маленькой, стоявшей в глубине с какими-то незнакомыми мне женщинами, и отвел ее на скамейку для членов семьи – и тут она разрыдалась, и вот тогда я почувствовал горе. Было много незнакомых людей, очень много. Меня даже удивило, что у матери был такой круг общения. Моя литания была – мама, ты умерла, не сказав, почему вы с отцом были так далеки от меня; ты умерла, не сказав, почему вы были так далеки друг от друга; ты умерла,

не сказав, почему ты так и не предприняла серьезных попыток расследовать смерть отца; ты умерла, не сказав, мама, почему ты так меня и не полюбила. Эти мысли носились у меня в голове, потому что я еще не читал ее завещания.

Адриа не был дома уже несколько месяцев. Сейчас квартира казалась ему тихой, как никогда. Мне непросто было войти в родительскую спальню. Как всегда, полумрак; на кровати лежал голый матрас, без белья; шкаф, комод, зеркало – все было совершенно такое же, как всю мою жизнь, но без отца с его плохим настроением и матери с ее молчанием.

Лола Маленькая, еще не переодевшись с похорон, сидела на кухне за столом и смотрела в пустоту. Адриа не стал ничего спрашивать, он пошарил по кухонным шкафам и нашел все, что нужно для чая. Лола Маленькая была так разбита горем, что не встала и не сказала: оставь, деточка, чего тебе хочется, я приготовлю. Нет, Лола Маленькая смотрела в стену и сквозь нее – в бесконечность.

– Выпей, станет легче.

Лола Маленькая машинально взяла чашку и отхлебнула. Мне кажется, она не понимала, что делает. Я молча вышел из кухни, проникшись горем Лолы Маленькой, которое словно заняло во мне место отсутствовавшего собственного горя по смерти матери. Адриа было грустно, да, но его не разъедала боль, и он страдал от этого; как смерть отца только поселила в нем страхи и прежде всего чувство огромной вины, так и сейчас эта новая неожиданная смерть казалась ему чужой – как будто бы не имела к нему никакого отношения. В столовой он открыл балконные ставни и впустил в комнату дневной свет. Лучи падали на висящий над буфетом пейзаж кисти Уржеля^[225] совершенно естественно, словно проникали сквозь раму картины. Колокольня монастыря Санта-Мария де Жерри сияла в лучах красноватого закатного солнца. Трехъярусная колокольня, колокольня с пятью колоколами, на которую он смотрел бесконечное количество раз и которая помогала ему мечтать длинными и скучными воскресными вечерами. На самой середине моста он остановился в восхищении. Он никогда не видел такой колокольни и теперь наконец понял весь смысл рассказов о недавнем могуществе и основанном на торговле солью богатстве монастыря, в который направлялся. Чтобы вволю полюбоваться монастырем, он откинул капюшон, и те же закатные лучи, что освещали колокольню, упали на его высокий и ясный лоб. В этот закатный час, когда солнце прячется за холмы Треспуя, монахи, должно быть, подкрепляют свои силы вечерней трапезой, подумал он.

Когда монахи уверились, что пилигрим не графский шпион, его приняли с бенедиктинским радушием – просто, без неприязни, со вниманием к практической стороне дела. Он прошел сразу в трапезную, где за скудным ужином община в молчании внимала читаемому на весьма несовершенной латыни честному Житию святого Ота^[226], епископа Уржельского, который, как он только что узнал, был погребен здесь же, в монастыре Санта-Мария. Возможно, печаль на лицах трех десятков монахов была вызвана мыслями о тех более счастливых временах.

В предрассветной мгле следующего дня два монаха вышли из монастыря по дороге, ведущей на север, чтобы через пару дней пути прибыть в Сан-Пере дел Бургал, откуда они должны были забрать дарохранильницу, – о горе, горе, ибо смерть опустошила маленькую обитель, стоящую выше по той же реке, что и Санта-Мария.

– Что заставило вас отправиться в путь? – только после трапезы, как того требовало гостеприимство, спросил старший по соляным делам монах, прогуливаясь по двору, который стены не могли защитить от холодного северного ветра, дувшего вдоль русла Ногеры.

– Я ищу одного из ваших братьев.

– Из нашей общины?

– Да, отец. Я принес для него известие от семьи.

– Кто это? Я позову его.

– Фра Микел де Сускеда.

– Среди нас нет монаха с таким именем, сеньор.

Заметив, что собеседник вздрогнул, он примирительно пожал плечами и сказал: весна в нынешнем году очень холодная, сеньор.

– Фра Микел де Сускеда, раньше он был монахом ордена Святого Доминика.

– Уверяю вас, сеньор, такого нет среди нас. А что за известие вы должны передать?

Достойный фра Николау Эймерик, Великий инквизитор Арагонского королевства, королевств Валенсия и Майорка и княжества Каталония, лежал на смертном одре в своем монастыре в Жироне. Двое близнецов, конверзы^[227], присматривали за ним и старались облегчить лихорадку холодными примочками и шепотом молитв. Услышав скрип открывающейся двери, больной приподнялся. Он с видимым усилием напряг слабеющий взгляд.

– Рамон де Нолья? – с нетерпением. – Это вы?

– Да, ваше преосвященство, – сказал рыцарь, почтительно склоняясь

у постели.

– Оставьте нас!

– Но ваше преосвященство! – хором взмолились близнецы.

– Я сказал: оставьте нас, – прошипел фра Николау – он был уже слишком слаб, чтобы кричать, но его ярость по-прежнему внушала трепет.

Братья смущенно умолкли и потихоньку вышли из комнаты. Эймерик, приподнявшись в постели, посмотрел на рыцаря:

– Вы можете исполнить наконец ваше покаяние.

– Да славится Господь!

– Вы станете карающей рукой Святого суда.

– Вы знаете, что я готов на все, чтобы заслужить прощение.

– Если вы исполните епитимью, которую я налагаю, Господь простит вас, душа ваша очистится и вас перестанет мучить совесть.

– Я только этого и желаю, ваше преосвященство.

– Мой бывший личный секретарь.

– Как его имя и где он живет?

– Его зовут фра Микел де Сускеда. Он был заочно приговорен к смерти за предательство Святого суда. Это произошло много лет назад, но до сих пор никому из моих людей не удалось найти его. Поэтому я выбрал опытного в военных делах человека – вас.

Под конец своей страстной речи он закашлялся. Один из ухаживающих за больным братьев приоткрыл дверь, но Рамон де Нолья бесцеремонно захлопнул ее прямо у того перед носом. Фра Николау рассказал, что беглец скрывается не в Сускеде, его видели в Кардоне, а кое-кто из шпионов инквизиции даже говорил, что он вступил в орден Святого Бенедикта, но никто не знает, в каком монастыре. Он поведал и другие подробности этой священной миссии. Не важно, если я к тому времени умру; не важно, если пройдут годы, но, когда вы наконец встретитесь, скажите ему, что это я его наказываю, и вонзите ему кинжал в сердце, а потом отрежьте язык и принесите его мне. А если я тогда уже буду мертв, оставьте его на моей могиле, пусть он там сгниет по воле Господа нашего Бога.

– И тогда душа моя очистится от прегрешений?

– Именно так, аминь.

– Это известие лично для него, отец, – повторил гость, когда они в молчании дошли до края стылого двора монастыря Санта-Мария.

По обычаям бенедиктинского гостеприимства и поскольку путник не представлял никакой опасности, его также принял аббат, которому благородный рыцарь повторил: я ищу одного из ваших братьев, святой

отец.

– Кого именно?

– Фра Микела де Сускеду.

– Среди нас нет монаха с таким именем. А что вам от него нужно?

– Это личное дело, святой отец. Семейное. И очень важное.

– В таком случае ваше путешествие было напрасным.

– Прежде чем вступить в орден Святого Бенедикта, он несколько лет был доминиканским монахом...

– Тогда я знаю, о ком вы говорите, – прервал его аббат. – Он как раз...

Он живет в монастыре Сан-Пере дел Бургал, недалеко от Эскало. Фра Жулиа де Сау много лет назад был доминиканским монахом.

– Да славится Господь! – в волнении воскликнул Рамон де Нолья.

– Может быть, вы уже не застанете его в живых.

– Что это значит? – испугался благородный рыцарь.

– В монастыре Сан-Пере оставалось всего двое монахов, и вчера мы узнали, что один из них умер. Я не знаю кто: отец ли настоятель или фра Жулиа. Люди, принесшие эту весть, не знали точно.

– Тогда... Как мне...

– Когда остается один монах, устав велит нам закрыть монастырь, как это ни горько...

– Я понимаю. Но как мне...

– ...и ждать лучших времен.

– Да, отец. Но как мне узнать, остался ли в живых тот, кого я ищу?

– Я только что отправил двух монахов за дарохранительницей и последним насельником Сан-Пере. Когда они вернутся, вы все узнаете.

В наступившей тишине каждый думал о своем. Наконец аббат сказал:

– Печально. Монастырь, в котором на протяжении почти шестисот лет в положенные часы ежедневно возносились хвалы Господу, закрывает свои врата.

– Печально, святой отец. Я отправлюсь в путь и, может быть, нагоню ваших монахов.

– Не стоит, подождите здесь. Через два-три дня они вернутся.

– Нет, святой отец, я тороплюсь.

– Как хотите. С ними вы не заблудитесь.

Обеими руками он снял картину со стены в столовой и поднес ее к балкону на свет угасающего дня. «Санта-Мария де Жерри», Модест Уржель. Подобно тому как во многих семьях главное место в столовой занимает нарядная репродукция какой-нибудь «Тайной вечери», у нас висел пейзаж Уржеля. С картиной в руке он вошел в кухню и сказал: Лола

Маленькая, не отказывайся – возьми эту картину себе.

Лола Маленькая, которая все еще сидела за столом, глядя в стену, подняла взгляд на Адриа:

– Что?

– Это тебе.

– Ты сам не понимаешь, что говоришь, деточка. Твои родители...

– Это не важно, сейчас я главный. Я тебе ее дарю.

– Я не могу ее принять.

– Почему?

– Она слишком ценная. Не могу.

– Нет. Тебя пугает мысль, что мать была бы против.

– Не важно. В любом случае я ее не принимаю.

Я стоял с отвергнутым Уржелем в руках.

Я вернул картину на место, с которого ее никогда не снимали, и столовая приобрела привычный вид. Я ходил кругами по квартире – заглянул в кабинет отца и матери, сел за стол и пошарил в ящиках без какой-либо определенной цели. После этого Адриа задумался. Просидев пару часов, он встал и пошел в гладильню.

– Лола Маленькая...

– Что?

– Мне нужно вернуться в Германию. Я смогу приехать не раньше чем через шесть или семь месяцев.

– Не волнуйся.

– Я не волнуюсь. Оставайся здесь, пожалуйста. Это твой дом.

– Нет.

– Это скорее твой дом, чем мой. Мне нужен только кабинет...

– Я пришла сюда тридцать один год назад, чтобы заботиться о твоей матери. Теперь, когда она умерла, мне нечего здесь делать.

– Лола Маленькая, оставайся.

Через пять дней я смог прочитать завещание. На самом деле это нотариус Казес прочитал его в моем присутствии, в присутствии Лолы Маленькой и тети Лео. И когда он своим резким и высоким голосом объявил: я желаю, чтобы картина под названием «Санта-Мария де Жерри» кисти Модеста Уржеля, находящаяся в собственности семьи, была безвозмездно передана моей верной подруге Дулорс Каррьо, которую мы всегда называли Лолой Маленькой, в качестве ничтожно малого знака признательности за поддержку, которую она оказывала мне всю жизнь, я рассмеялся, Лола Маленькая разрыдалась, а тетя Лео в полной

растерянности поочередно смотрела на нас обоих. Остальная часть завещания была более запутанной, не считая личного письма в запечатанном сургучом конверте, которое контратенор передал мне лично в руки и которое начиналось словами «дорогой Адриа, любимый мой сыночек», – ничего подобного она мне не говорила за всю мою ссучью жизнь.

Дорогой Адриа, любимый мой сыночек.

На этом у матери закончился сентиментальный запал. Все остальное были инструкции по магазину. Про моральные обязательства с моей стороны взять его в свои руки. Она в подробностях объясняла свои необычные отношения с сеньором Беренгером, закабаленным в магазине еще на год без жалованья в счет его старинной аферы с хозяйскими деньгами. Она писала, что твой отец всю свою жизнь вложил в магазин и теперь, когда меня нет, ты не должен забывать об этом. Но поскольку я знаю, что ты всегда делал и будешь делать только то, что тебе хочется, я совсем не уверена, что ты слушаешь меня, засучишь рукава, войдешь в магазин и заставишь всех работать на совесть, как это сделала я после смерти твоего отца. Не хочу говорить о нем плохо, но твой отец был романтиком – мне пришлось навести в магазине порядок, все рационализировать, и я превратила его в доходное дело, с которого мы с тобой смогли жить, а ведь я добавила денег всего ничего, ты знаешь. Мне очень жаль, если ты не останешься в магазине, но, поскольку я этого не узнаю, смотри. И она давала мне подробные указания, как вести себя с сеньором Беренгером, и просила меня им следовать. А затем возвращалась к личным темам и говорила: если я пишу тебе эти строки сегодня, 20 января 1975 года, то только потому, что врач сказал мне, что надежды практически нет и я долго не протяну. Я велела, чтобы тебя не отвлекали от учебы, пока не настанет время. Но я пишу тебе, потому что хочу, чтобы ты, кроме того, о чем я уже написала, знал еще две вещи. Первое: я вернулась в Церковь. Выходя замуж за твоего отца, я была ни рыба ни мясо, легко поддавалась влиянию, не знала точно, чего хочу от жизни, и, когда твой отец сказал мне: вероятнее всего, Бога не существует, я ответила: ах так, очень хорошо. Потом мне Его очень не хватало, особенно когда умер мой отец и когда умер Феликс и я осталась в одиночестве, не зная, что с тобой делать.

– Что со мной делать, говоришь? Любить меня.

– Я любила тебя, сын.

– На расстоянии.

– Дома не принято было проявлять эмоции, все вели себя сдержанно, но это не значит, что мы были плохие люди.

– Мама, я говорю, любить меня, смотреть в глаза, спрашивать, что я хочу делать.

– А смерть твоего отца окончательно все испортила.

– Но ты могла бы попробовать.

– Я так и не смогла простить тебе то, что ты бросил скрипку.

– Я так и не смог простить тебе, что ты заставляла меня быть лучше всех.

– Ты лучше всех.

– Нет, я умный и, если хочешь, сверходаренный. Но я не могу заниматься всем на свете. Я не обязан быть лучше всех. Вы с отцом ошиблись относительно меня.

– Твой отец – нет.

– Я заканчиваю диссертацию и не собираюсь изучать право. И я не начал учить русский.

– Пока.

– Ладно. Да, пока.

– Не будем больше спорить, я ведь умерла.

– Хорошо. А второе, что я должен знать? А кстати, мама, Бог существует?

– Я умираю с незалеченными ранами в сердце. Во-первых, я не знаю, кто и почему убил твоего отца.

– Что ты сделала, чтобы выяснить это?

– Теперь я знаю, что ты прятался за диваном и следил за мной. Ты знаешь вещи, о которых я не знала, что ты их знаешь.

– Ошибаешься. Я узнал только, что такое «бордель», а кто убил моего отца – нет.

– Эй, эй, сюда идет черная вдова! – испуганно крикнул инспектор Оканья, заглядывая в кабинет комиссара.

– Точно?

– Ты разве не окончательно от нее избавился?

– Чтоб ее!

Комиссар Пласенсия сунул в ящик стола недоеденный бутерброд, встал и стал смотреть в окно на оживленную улицу Льюрия. Почувствовав, что посетительница пришла и стоит в дверях, он обернулся:

– Какой сюрприз!

– Добрый день.

– Уже несколько дней, как...

– Да. Дело в том, что... Я заказала расследование и...

Недокуренная погашенная сигара в холодной пепельнице на столе

наполняла кабинет табачной вонью.

– И что же?

– Ариберт Фойгт, комиссар. Торговые дела, комиссар. Или, если хотите, личная месть. Но никаких борделей и изнасилованных девочек. Не знаю, зачем вы выдумали всю эту дурацкую историю.

– Я всегда выполняю приказы.

– А я нет, комиссар. И я намерена подать на вас в суд за сокрытие...

– Не смешите, – сухо перебил ее полицейский. – По счастью, Испания не демократическая страна. Здесь правим мы.

– Скоро вы получите повестку. Если виновный находится выше, я знаю, с какой стороны подойти.

– С какой?

– Со стороны того, кто оставил убийцу безнаказанным. И кто позволил ему спокойно уйти.

– Не будьте наивны. Вы не найдете никаких подходов, потому что их нет.

Комиссар взял сигару из пепельницы, чиркнул спичкой и закурил. Плотное голубоватое облако мгновенно скрыло его лицо.

– А почему ты не подала в суд, мама?

Комиссар Пласенсия сел, выдыхая дым изо рта и носа. Мать предпочла остаться стоять перед ним.

– Еще как есть, – сказала она.

– Сеньора, меня ждет работа, – ответил комиссар, вспомнив о недоеденном бутерброде.

– Нацист, который живет себе спокойно. Если еще не умер.

– Имена. Без имен все это пустые разговоры.

– Нацист. Ариберт Фойгт. Я называю вам имя!

– Всего хорошего, сеньора.

– В день, когда было совершено убийство, муж сказал, что идет в Атенеу, что у него встреча с неким Пинейру...

– Мама, почему ты не подала в суд?

– ...но это была неправда, не было никакого Пинейру. Ему позвонил комиссар полиции.

– Имена, сеньора. В Барселоне много комиссаров.

– И это была ловушка. Ариберт Фойгт действовал под прикрытием испанской полиции.

– За такие слова вы можете отправиться в тюрьму.

– Мама, почему ты не подала в суд?

– И он потерял самообладание. Он хотел навредить моему мужу.

Он хотел напугать его, я думаю. Но он убил его и расчленил.

– Сеньора, вы бредите.

– И вместо того чтобы задержать, его выслали из страны. Правда ведь, все так и было, комиссар Пласенсия?

– Сеньора, вы читаете слишком много романов.

– Нет, уверяю вас.

– Если вы не перестанете цепляться ко мне и к полиции, вам придется очень плохо. Вам, вашей любовнице и вашему сыну. И вам не удастся сбежать.

– Мама, я хорошо расслышал?

– Что расслышал?

– Про твою любовницу.

Комиссар откинулся назад, чтобы насладиться эффектом, который произвели его слова. И решил подытожить:

– Мне ничего не стоит распространить эту информацию везде, где вы бываете. Всего хорошего, сеньора Ардевол. И никогда больше сюда не приходите. – И он открыл полупустой ящик стола с остатками покинутого бутерброда и со злостью его задвинул, на этот раз не стесняясь присутствия черной вдовы.

– Да-да, мама, теперь понятно. Но как ты узнала, что история про бордель и изнасилования была ложью?

Мать, даже мертвая, промолчала. Я с нетерпением ждал ответа. Прошла целая вечность, прежде чем она сказала:

– Довольно того, что я это знаю.

– Но мне этого мало.

– Хорошо.

Долгая пауза. Думаю, она собиралась с духом.

– Почти с самого начала нашей семейной жизни, после того как мы зачали тебя, у твоего отца обнаружилась полная сексуальная импотенция. И начиная с этого времени он был абсолютно не способен к эрекции. Это наложило горький отпечаток на всю его жизнь. И на всю нашу жизнь. Не помогли ни врачи, ни постыдные визиты к снисходительным дамам. Твой отец был таким, каким был, но он не был способен никого изнасиловать. И в конце концов он возненавидел секс и все, что с ним связано. Я думаю, что именно поэтому он с головой погрузился в коллекционирование.

– Если дело обстояло так, почему ты не подала на них в суд? Они тебя шантажировали?

– Да.

– Любовницей?

– Нет.

И письмо моей матери заканчивалось рядом советов общего плана и робким проявлением чувства напоследок – прощай, любимый сыночек. Последнее предложение – я буду смотреть за тобой с неба – всегда казалось мне слегка похожим на угрозу.

– Вот это да... – сказал развалившийся в кресле сеньор Беренгер, стряхивая несуществующую нитку с безупречно вычищенных брюк. – То есть ты решил засучить рукава и приняться за работу?

Он сидел в кабинете матери с видом завоевателя, покорившего богатые земли, а вторжение этого бесполезного мечтателя, мальчишки Ардевола, у которого на лице написано, что он ничего не понимает, отвлекло его от размышлений. Он был удивлен, что мальчишка вошел в его кабинет без стука. Поэтому он сказал «вот это да».

– О чем ты хочешь поговорить?

Обо всем, подумал Адриа. Но чтобы сразу направить разговор в правильное русло, он, как опытный человек, решил обозначить главное:

– Прежде всего я хочу, чтобы вы покинули магазин.

– Что?

– Что слышали.

– Ты знаешь, какая у меня договоренность с твоей матерью?

– Она умерла. И да, я знаю.

– Видимо, не знаешь: я подписал договор, по которому обязан работать в магазине. Мне остался еще год на галерах.

– Я отпускаю вас. Я не хочу вас здесь видеть.

– Не знаю, что с вашей семейкой, что вы все такие...

– Не читайте мне нотаций, сеньор Беренгер.

– Никаких нотаций, я просто кое-что расскажу. Ты знаешь, что твой отец вел себя как хищник?

– Более-менее. А вы – как гиена, таскающая у него объедки гну.

Сеньор Беренгер широко улыбнулся, показывая золотую коронку на клыке:

– Твой отец был безжалостным хищником, если речь шла о выгодной сделке, которую часто было бы правильнее назвать наглым грабежом.

– Хорошо, грабеж. Но вы сегодня же соберете свои вещи и больше никогда не войдете в магазин.

– Черт... – Странная гримаса была попыткой скрыть удивление от слов этого щенка Ардевола. – И ты еще называешь меня гиеной? Кто ты такой,

чтобы...

– Я сын короля джунглей, сеньор Беренгер.

– Такой же стервец, как твоя мать.

– Всего хорошего, сеньор Беренгер. Завтра вам позвонит новый управляющий и, если понадобится, адвокат, который в курсе всех дел.

– Ты знаешь, что все твое состояние основано на вымогательстве?

– Вы еще здесь?

К счастью для меня, сеньор Беренгер подумал, что я выкован из того же железа, что и мать; он принял мой покорный фатализм за своеобразное равнодушие, и это обезоружило его и укрепило мои позиции. Он молча собрал то, что, должно быть, совсем недавно положил в ящик мате­рино­го стола, и вышел из кабинета. Я видел, как он шарит среди выставленных в магазине вещей, и даже заметил, что Сесилия, делавшая вид, что занята каталогом, искоса бросает быстрые взгляды, с любопытством наблюдая за перемещениями гиены. Она быстро все поняла, и ее лицо расплылось в на­по­ма­жен­ной улыбке.

Выходя, сеньор Беренгер сильно хлопнул дверью, очевидно желая что-нибудь разбить, однако у него ничего не вышло. Два новых, незнакомых мне продавца, кажется, ничего не поняли. Сеньор Беренгер, который проработал в магазине тридцать лет, исчез из него едва ли за полчаса, и я думал, что он исчез и из моей жизни. Я заперся на ключ в кабинете, который принадлежал сначала отцу, а затем матери. Вместо того чтобы потребовать бумаги и найти свидетельства о подвигах короля джунглей, я расплакался. Назавтра, вместо того чтобы потребовать бумаги и найти свидетельства, я передал магазин управляющему, а сам вернулся в Тюбинген, потому что не хотел больше пропускать занятия Косериу. Бумаги и свидетельства.

В последние месяцы в Тюбингене я начал заранее скучать по этому городу, по пейзажам Баден-Вюртемберга и Шварцвальда и всему прочему – с Адриа происходило то же самое, что с Бернатом: он чувствовал себя счастливее, гонясь за чем-то недоступным, чем глядя на то, что его окружает. Он все больше думал: как же, черт возьми, я буду жить вдали от всего этого, когда вернусь в Барселону, а? И это притом что он заканчивал работу над диссертацией о Вико, которая стала для него своеобразным ядерным реактором, в который он поместил все свои

размышления, – зная, что на выходе я получу целую россыпь идей, которыми смогу пользоваться всю жизнь. Это объясняет, любимая, почему я не захотел отвлекаться на различные сведения, которые могли нарушить течение моей жизни и философских штудий. И я старался не обращать на них внимания до тех пор, пока не привык больше о них не думать.

– Она... Нет, не блестящая – она глубокая. Я восхищен. А ваш немецкий безупречен, – сказал ему Косериу на следующий день после защиты диссертации. – Главное, не прекращайте исследований. А если вы станете склоняться к лингвистике, сообщите мне.

Адриа не знал тогда, что два дня и одну почти полностью бессонную ночь Косериу не отрываясь читал экземпляр его диссертации, взятый у одного из членов совета. Я узнал это несколько лет спустя от самого доктора Каменек. Но в тот день Адриа просто застыл на месте в пустом коридоре, глядя на удаляющегося Косериу, еще не осознав, что тот обнял его и сказал, что восхищается им, нет, что он восхищается его работой. Косериу признал, что...

– Что с тобой, Ардевол?

Он уже пять минут стоял в коридоре, совершенно оглушенный, и не слышал, как сзади подошел Каменек.

– Что? Я?

– Ты в порядке?

– Я... да... Да, да. Я...

Он неопределенно махнул рукой. Потом Каменек спросил Адриа, что он решил – оставаться ли в Тюбингене и продолжать свои изыскания или что-то другое, и он ответил, что у него много обязательств, он связан по рукам и ногам, – это была неправда, потому что на магазин ему было наплевать, ему не доставало только отцовского кабинета, а еще, пожалуй, хотелось скорее начать скучать по ледяному пейзажу Тюбингена. А еще он хотел быть ближе к воспоминаниям о Саре – без тебя я сам себе казался кастратом. Из-за всего этого я начинал понимать, что мне никогда не стать счастливым. Что наверняка никто не может стать счастливым. Счастье всегда там, впереди, рукой подать, но никак не дотянуться; наверняка никому никогда не дотянуться. Несмотря на радости, которые дарила ему жизнь, как, например, когда после полугодовой практически официальной ссоры ему позвонил Бернат и сказал: ты меня слышишь? Наконец-то он умер, так ему и надо! Можно наконец откупорить шампанское, слышишь? И потом прибавил: пришла пора Испании крепко задуматься, и отпустить на волю свои народы, и попросить исторического прощения.

– Хм...

- Что? Я не прав?
- Прав. Но похоже, ты совсем не знаешь Испанию.
- Посмотрим, посмотрим.
- И с тем же напором:
- Да, я должен тебе кое-что сообщить.
- Ты ждешь ребенка?
- Да нет, я не шучу. Увидишь. Подожди пару дней.

И он повесил трубку, потому что звонок в Германию стоил целое состояние, он звонил с улицы, из автомата, его переполняла радость при мысли о том, что умер Франко, умер страшный людоед, умер серый волк, умерла злая муха и не будет больше кусаться. Просто бывают минуты, когда и хорошего человека может обрадовать чужая смерть.

Бернат не обманул: кроме подтверждения известия о смерти Франко, которое назавтра было на первой полосе всех газет, через пять дней Адриа получил лаконичное срочное письмо, в котором было написано: дорогой умник, помнишь – это-очень-плохо-очень-Все-неживое-эмоции-фальшивые-Не-знаю-почему-Я-считаю-это-просто-из-рук-вон-плохо-Я-не-знаю-кто-такой-Амадеу-и-что-хуже-всего-мне-на-это-наплевать-Про-Элизу-я-даже-не-говорю – помнишь? Ну так вот, этот рассказ без убедительных эмоций только что выиграл в Бланесе премию «Рекуль»^[228]. В жюри там сидят умные люди. Я счастлив. Твой-друг-Бернат.

А-я-то-как-рад, ответил Адриа. Но-помни-что-если-ты-его-не-переписал-он-продолжает-быть-таким-же-плохим-Твой-друг-Адриа. И Бернат ответил мне телеграммой иди-в-задницу-тчк-Твой-друг-Бернат-тчк.

Когда я вернулся в Барселону, мне предложили читать курс истории эстетики и культуры в Барселонском университете, и я не раздумывая согласился, хотя это было мне совершенно не нужно. Было забавно: после стольких лет за границей я нашел работу в своем районе, в десяти минутах ходьбы от дома. И в первый же день, когда я пришел на кафедру обсудить детали моего устройства, я познакомился там с Лаурой. В первый же день! Блондинка, скорее невысокая, приветливая, улыбчивая и, хотя я этого еще не знал, в глубине души грустная. Она перешла на пятый курс и искала какого-то преподавателя, по-моему Серда, чтобы обсудить с ним дипломную работу как раз о Косериу. Голубые глаза. Приятный голос. Нервные, не слишком ухоженные руки. И одеколон или духи – я до сих пор толком не знаю, какая между ними разница, – с необычным запахом. И Адриа улыбнулся, а она: здравствуйте, вы здесь работаете? А он: да я

еще не знаю, а вы? А она: хотелось бы!

– Зря ты вернулся.

– Почему?

– Твое будущее в Германии.

– Кажется, кто-то не хотел, чтобы я уезжал. Как твоя скрипка?

– Я участвую в конкурсе на штатное место в оркестре города Барселоны.

– Это ведь очень хорошо?

– Ну да. Буду госслужащим.

– Нет, ты будешь скрипачом в хорошем оркестре, который может стать лучше.

– Если меня возьмут.

Он поколебался несколько секунд и добавил:

– И я женюсь на Текле. Будешь свидетелем?

– Конечно. Когда?

Между тем в моей жизни кое-что менялось. Я стал надевать очки для чтения, а волосы начали покидать меня без каких-либо объяснений. Я жил один в огромной квартире в Эшампле, загроможденной доставленными из Германии ящиками с книгами, – я никак не мог разобрать их и найти им место, в том числе потому, что в квартире не доставало полок. Но главное – я не смог уговорить Лолу Маленькую остаться.

– Прощай, Адриа, деточка.

– Как жаль, Лола Маленькая!

– Мне хочется пожить своей жизнью.

– Я понимаю. Но здесь по-прежнему твой дом.

– Послушай моего совета: подыщи новую служанку.

– Нет-нет. Если ты не... Нет, это невозможно.

Стал бы я плакать из-за расставания с Лолой Маленькой? Нет. Вместо этого я купил себе хорошее фортепиано и поставил его в родительскую комнату, которую превратил в свою. Коридор был очень широкий, и я скоро перестал замечать баррикады из нераспакованных ящиков с книгами.

– Но... Извини за такой вопрос, ладно?

– Что?

– У тебя есть свой дом?

– Конечно. Хотя я уже тысячу лет там не живу, у меня есть квартирka в Барселонете. Я ее недавно заново покрасила.

– Лола Маленькая!

– Что?

– Не обижайся, я... Я хотел бы подарить тебе что-нибудь. В благодарность.

– Я получила жалованье за каждый прожитый здесь день.

– Я не об этом. Я хочу сказать...

– Не нужно ничего говорить.

Лола взяла меня под руку и провела в столовую, она указала мне на голую стену, на которой больше не висел пейзаж Уржеля:

– Твоя мать сделала мне подарок, которого я не заслуживаю.

– Что я могу для тебя сделать?..

– Разобрать книги, а то здесь невозможно жить.

– Оставь, Лола Маленькая. Что я могу сделать для тебя?

– Дай мне уйти; я серьезно.

Я обнял ее и понял... Это ужасно, Сара, но мне кажется, что я любил Лолу Маленькую больше, чем свою мать.

Лола Маленькая ушла; на улице Льюрия больше не гремели трамваи, потому что городские власти заката франкизма сделали выбор в пользу прямого загрязнения окружающей среды и заменили их автобусами, оставив, однако, трамвайные пути, которые как магнитом притягивали скользивших и падавших на них мотоциклистов. И я затворился в квартире с намерением погрузиться в науку и забыть тебя. Обустроился в родительской спальне и стал спать на той самой кровати, на которой я родился в половине седьмого утра во вторник тридцатого апреля тысяча девятьсот сорок шестого года.

Бернат и Текла поженились на пике влюбленности, исполненные надежд; я был свидетелем на их свадьбе. Во время праздничного обеда, еще в свадебных нарядах, они исполнили для нас Первую сонату Брамса – прямо так, без партитур. И я почувствовал такую ревность... У Берната и Теклы вся жизнь была впереди, я радовался и завидовал счастью своего друга. Меня охватила тоска по Саре, недоумение от ее внезапного бегства, я снова глубоко позавидовал Бернату и пожелал им огромного счастья в семейной жизни – и они уехали, смеясь и не скрывая своего счастья, в свадебное путешествие и шаг за шагом, день за днем стали упорно и самозабвенно возвращать свое несчастье.

В течение нескольких месяцев, пока я привыкал к чтению лекций, к равнодушию студентов к истории культуры, к недружелюбному, безлесному пейзажу Эшампле, я стал учиться играть на фортепиано с одной дамой, которая и близко не походила на Трульолс, но занятия

оказались очень эффективными. Но у меня все еще оставалось слишком много свободного времени.

- h·ād-
- hadh
- trēn
- trén
- tlāt-
- tláth
- ‘arba’
- árba
- ‘arba’
- árba
- «‘arba’»!
- «‘arba’»!
- Raba taua!

Уроки арамейского оказались хорошим средством. Сеньора Гумбрень поначалу жаловалась на мое произношение, но потом перестала – не знаю, потому ли, что у меня стало получаться, или она просто устала меня поправлять.

Поскольку оставались еще невыносимо длинные среды, Адриа записался на вводный курс санскрита, который открыл мне целый мир, прежде всего потому, что было настоящим удовольствием видеть, как профессор Фигерес осторожно выстраивает этимологию и устанавливает сложные взаимосвязи между различными индоевропейскими языками. Кроме этого, я занимался бегом с препятствиями по коридору, обходя ящики с книгами, к расположению которых привык и о которые не спотыкался даже в темноте. А когда мне надоело читать, я часами играл на Сториони, пока пот не начинал течь с меня градом, как с Берната в день экзамена. И тогда дни становились короткими, и я думал о тебе почти только за приготовлением ужина, потому что в этот момент поневоле снижал бдительность. И я ложился спать, чувствуя легкую грусть, но главное – в голове вертелся вопрос без ответа: почему, Сара? Мне пришлось всего дважды встретиться с управляющим в нашем магазине – энергичным человеком, который сразу взял на себя все заботы. Во вторую нашу встречу он сказал, что Сесилия вот-вот выйдет на пенсию, и, хотя мы никогда не общались много, мне стало грустно. В это трудно поверить, но Сесилия трепала меня по щеке или ерошила мне волосы чаще, чем моя мать.

Первый раз я почувствовал жжение в кончиках пальцев, когда Муррал,

старый книготорговец с рынка Сан-Антони, знакомый отца, сказал: мне кажется, вам будет интересно взглянуть на одну вещицу, профессор.

Адриа, копавшийся в стопке книг из серии «A tot vent»^[229] с момента ее основания до начала Гражданской войны, на некоторых изданиях дарственные надписи незнакомых людей незнакомым людям – очень любопытно, – с удивлением поднял голову:

– Простите?

Книготорговец встал и кивком пригласил его следовать за собой. Продавцу за соседним лотком он щелкнул пальцами, что означало: я отлучусь, присмотри за моими книгами, сделай одолжение. По дороге мы молчали и через пять минут пришли в узкий дом с темной лестницей на улице Комте Буррель, в котором, как он помнил, пару раз бывал с отцом. На втором этаже Муррал достал из кармана связку ключей и открыл одну из дверей. В квартире было темно. Он включил тусклую лампочку – ее свет не достигал пола, – решительно преодолел тесный коридор и остановился в комнате, бóльшая часть которой была занята огромным бюро со множеством широких, но низких ящичков, вроде тех, в которых художники хранят свои рисунки. Первое, о чем я подумал, – как удалось протиснуть это бюро по такому узкому коридору. Свет в комнате был несколько ярче, чем в прихожей. Потом Адриа заметил поодаль стол с лампой, которую Муррал также зажег. Муррал выдвинул один из ящичков бюро, достал стопку листов и положил ее на стол в круг света лампы. И тогда я почувствовал трепет в желудке и жжение в кончиках пальцев. Мы склонились над сокровищем, и я увидел перед собой листы старинной бумаги. Мне пришлось надеть очки, чтобы не проглядеть ни малейшей детали. Я не сразу разобрал непривычный шрифт этого манускрипта. Вслух я прочитал: «Discours de la méthode. Pour bien conduire la raison & chercher la vérité dans les sciences»^[230]. И больше ничего. Я не осмелился прикоснуться к бумаге. Я только сказал: нет.

– Да.

– Не может быть!

– Правда ведь, интересно?

– Как, черт возьми, он к вам попал?

Вместо ответа Муррал перелистнул первую страницу. И через минуту сказал: я уверен, что вас это заинтересует.

– Вы откуда знаете?

– Вы как ваш отец: я знаю, что вас интересует.

Перед Адриа лежала оригинальная рукопись *Discours de la méthode*,

созданная до 1637 года, то есть года ее публикации в одном томе с *Dioptrique*, *Les Météores* и *Géométrie*^[231].

– Полная? – спросил он.

– Полная. Считай... кроме двух листов, мелочь.

– А как я пойму, что это не обман?

– Когда вы узнаете цену, вы поймете, что это не обман.

– Нет, я пойму, что это очень дорого. Как я узнаю, что вы меня не обманываете?

Тот пошарил в портфеле, прислоненном к ножке стола, достал оттуда пачку документов и протянул их Адриа.

Томам за первые восемь или десять лет существования серии «*A tot vent*» пришлось дожидаться другого случая. Адриа Ардевол весь вечер изучал манускрипт и сверял его с сертификатом подлинности, спрашивая себя, откуда же могло всплыть это сокровище, и размышляя, что, может быть, лучше не задавать слишком много вопросов.

Я не задал ни одного вопроса, не имевшего прямого отношения к подлинности листов, и наконец после месяца сомнений и тайных консультаций заплатил за них кучу денег. Это была моя первая самостоятельно приобретенная рукопись из двадцати в моей коллекции. Дома уже хранились добытые отцом двадцать разрозненных листов *Recherche*^[232], полная рукопись *The Dead*^[233] Джойса, несколько страниц Цвейга – того типа, который покончил жизнь самоубийством в Бразилии, – и рукописное свидетельство об освящении церкви монастыря Сан-Пере дел Бургал аббатом Делигатом. В тот день я понял, что одержим тем же бесом, что и мой отец. Трепет в желудке, жжение в пальцах, сухость во рту... Все из-за сомнений в подлинности, в ценности манускрипта, страха упустить возможность обладать им, страха переплатить, страха предложить слишком мало и увидеть, как он уплывает из моих рук...

Discours de la méthode стал первой песчинкой, лептой, которую я внес в коллекцию рукописей.

Сначала песчинка мешается в глазу, потом превращается в жжение в пальцах, трепет в желудке, протуберанец в кармане и в конце концов, при неблагоприятном стечении обстоятельств, становится камнем на сердце. Абсолютно всё – и жизни, и книги, дорогая Сара, начинаются

так, с незаметной и безобидной песчинки.

Я вошел туда, словно в храм. Или в лабиринт. Или в ад. С тех пор как сеньор Беренгер был извергнут во внешний мрак, нога моя там не ступала. Когда я открыл дверь, прозвенел колокольчик. Тот же самый колокольчик, что и раньше, сколько я себя помню. Адриа встретил любезный взгляд Сесилии, которая все еще стояла за прилавком, словно никогда не покидала своего места. Словно она была одной из редкостей, выставленных в магазине и ждущих ценителя, у которого достанет средств ее купить. По-прежнему аккуратно одетая и гладко причесанная. Не сдвинувшись с места, словно она ждала его уже несколько часов, Сесилия подставила ему щеку для поцелуя, как будто бы ему все еще было десять лет. Она спросила его: как ты поживаешь, сынок, и он сказал: хорошо, хорошо. А ты?

– Жду тебя.

Адриа осмотрелся. В глубине магазина незнакомая девушка терпеливо начищала медь.

– Он еще не пришел, – сказала Сесилия, беря его за руку и притягивая к себе. Она не удержалась и взъерошила ему волосы, как Лола Маленькая. – Редеют.

– Да.

– Ты становишься все больше похож на отца.

– То есть?

– У тебя есть подружка?

– Хм...

Она открыла и закрыла ящик прилавка. Они помолчали. Может быть, она взвешивала, не напрасно ли задала последний вопрос.

– Почему бы тебе не посмотреть, что тут у нас?

– Можно?

– Ты хозяин, – сказала она, разводя руками. На мгновение Адриа показалось, что она предлагает ему себя.

Я совершил свое последнее путешествие по вселенной магазина. Предметы были выставлены другие, но атмосфера и запах остались те же. Он вдруг увидел отца, склонившегося над бумагами; сеньора Беренгера, который строил великие планы, поглядывая на входную дверь; причесанную и покрашенную Сесилию – гораздо моложе, чем сейчас, которая широко улыбалась посетителям, пытавшимся безосновательно сбить цену на великолепный письменный стол работы Чиппендейла; вот отец зовет сеньора Беренгера в кабинет, они запираются и часами говорят кто знает о чем – или, пожалуй, понятно о чем. Я снова подошел

к прилавку. Сесилия говорила по телефону. Когда она повесила трубку, я спросил:

- Когда ты выходишь на пенсию?
- К Рождеству. Ты ведь не хочешь заниматься магазином, правда?
- Не знаю, – соврал я. – Я работаю в университете.
- Можно совмещать.

Мне показалось, она собирается что-то сказать, но в этот момент вошел господин Сагрера, на ходу извиняясь за опоздание, здороваясь с Сесилией и жестом приглашая меня в кабинет. Мы заперлись, и управляющий рассказал мне, как обстоят дела в магазине и какова его стоимость на текущий момент. И хотя вы не спрашиваете моего мнения, я должен сказать, что это доходное дело с хорошим будущим. Единственным препятствием мог быть сеньор Беренгер, но с ним вы уже все выяснили. Он значительно откинулся на спинку стула и повторил:

- Доходное дело с хорошим будущим.
- Я хочу его продать. Не хочу быть владельцем магазина.
- Что в этом плохого?
- Сеньор Сагрера...
- Как скажете. Это ваше последнее слово?

Откуда я знаю, последнее или нет. Откуда я знаю, чего я хочу.

- Да, сеньор Сагрера, это мое последнее слово.

Тогда сеньор Сагрера встал, подошел к сейфу и открыл его. Меня вдруг удивило, что у этого человека есть ключ от сейфа, а у меня нет. Он достал конверт:

- Это от вашей матери.
- Для меня?
- Она велела отдать письмо, если вы придете в магазин.
- Но я не хочу...
- Если вы просто придете в магазин. Не важно, занимаетесь вы им или нет.

Конверт был запечатан. Я вскрыл его в присутствии Сагреры. В начале не было написано «Адриа, любимый сынок», не было вообще никакого вступления, ни даже «эй, Адриа, как ты?». Это был список указаний – сухой, но очень подробный, с советами, которые, я сразу понял, были мне очень кстати.

Вопреки своим первоначальным намерениям через несколько дней или через несколько недель, не помню точно, я присутствовал на тайном аукционе. Муррал, книготорговец с рынка Сан-Антони, с загадочным

лицом продиктовал мне адрес. Может быть, эта загадочность была излишней, потому что на первый взгляд не было никаких особенных мер предосторожности. Звонишь в дверь, тебе открывают, и тыходишь в гараж в промышленной зоне Успиталета^[234]. Внутри – освещенный стол-витрина, как в ювелирных магазинах, и в нем лежат выставленные на продажу предметы. Едва взглянув на них, я снова почувствовал жжение в пальцах и покрылся потом, как с тех пор всегда бывало со мной в момент покупки. И сухость во рту. Мне кажется, так себя чувствует игроман перед игровым автоматом. Значительную часть вещей, о которых я говорил тебе как об отцовских приобретениях, на самом деле купил я. Например, монету в пятьдесят дукатов шестнадцатого века, которая сейчас стоит целое состояние. Я купил ее там. И мне пришлось выложить кругленькую сумму. Потом на других торгах или в пылу горячечных обменов, очертя голову, один на один с другим обезумевшим коллекционером, я приобрел пять золотых флоринов, отчеканенных в Перпиньяне в эпоху Иакова III^[235], короля Майорки. Что за наслаждение держать их в руках и слушать, как они позвякивают. Перебирая эти монеты, я чувствовал себя так же, как во времена, когда отец читал мне лекции о Виал и людях, которые прошли через жизнь инструмента, служа ему, стараясь извлечь хороший звук, уважая и почитая его. Или тринадцать восхитительных луидоров – когда я беру их в руки, они звенят тем же успокоительным звоном, который ублаживал престарелого Гийома Франсуа Виала. Несмотря на опасность, связанную с обладанием скрипкой Сториони, он привязался к инструменту и не хотел расстаться с ним, пока не услышал, что месье Ла Гит пустил слух, будто одна из скрипок знаменитого Лоренцо Сториони могла иметь отношение к происшедшему много лет назад убийству маэстро Леклера. Тогда драгоценная скрипка перестала быть источником тайной радости, она стала жечь ему руки, превратилась в кошмар. Он решил избавиться от нее, причем сделать это подальше от Парижа. На обратном пути из Антверпена, где ему удалось совершить выгодную сделку и продать даже запачканный кровью ненавистного дядюшки Жана футляр, у него уже не было при себе скрипки, а был безобидный кошелек из козьей шкуры, набитый луидорами. Как же успокоительно они позвякивали! Ему пришло в голову, что этот кошелек – его будущее, его тайник, символ его триумфа над неотесанностью и тщеславием дядюшки Жана. Сейчас уже никто не мог заподозрить его связь с судьбой скрипки, которую приобрел господин Аркан из Антверпена. Об этом звенели луидоры, когда я перебирал их.

– Хочешь поехать со мной в Рим?

Лаура посмотрела на него с удивлением. Дело было во внутреннем дворе университета, вокруг группками толпились студенты – он стоял, сунув руки в карманы, она шла с полной папкой каких-то бумаг, похожая на адвоката, который вот-вот войдет в зал суда и разрешит запутанное дело, – и я смотрел в ее небесно-голубые глаза. Лаура уже не была жадной до знаний студенткой. Она была преподавательницей, которую студенты, скорее, любили. У нее по-прежнему был небесно-голубой взгляд, и в ней по-прежнему чувствовалась какая-то грусть. Адриа смотрел на нее, он еще ничего не решил, и твои черты, Сара, мешались у него в голове с чертами этой девушки, которой, судя по всему, не очень-то везло с мужчинами.

– Что, прости?

– Мне нужно поехать туда по работе... Дней на пять, самое большее. В понедельник мы бы уже вернулись, тебе не придется пропускать занятия.

На самом деле Адриа действовал по вдохновению. Уже несколько дней он отдавал себе отчет в том, что не знает, как подступиться к небесно-голубым глазам. Ему хотелось что-то предпринять, но он не знал что. И я не решался действовать, потому что мне казалось, будто таким образом я предам твою память. И тогда ему в голову пришел самый недостойный из возможных планов; небесно-голубой взгляд улыбнулся, а Адриа подумал, бывает ли так, что Лаура не улыбается. И он очень удивился, когда она сказала: давай, можно.

– Можно что?

– Поехать с тобой в Рим. – Она посмотрела на него в растерянности. – Ты ведь об этом?

Оба рассмеялись, и он подумал: ты снова запутаешься, ты понятия не имеешь, кто такая Лаура, какая она, ты знаешь только, что она небесно-голубая.

На взлете и при посадке Лаура впервые стиснула его руку, она робко улыбнулась и призналась: я панически боюсь летать, а он сказал: ну что же ты – почему ты раньше не сказала? И она махнула рукой – мол, так получилось, а он истолковал этот жест, что стоило пересилить страх, чтобы слетать с Ардеволом в Рим, и я почувствовал гордость за свои организаторские способности, дорогая Сара, хотя и применял их к молоденькой преподавательнице, у которой все еще впереди.

Рим оказался совсем не праздничным – это был наложенный на огромный город хаос дорожного движения, тон задавали таксисты-

самоубийцы вроде того, что за рекордное время довез нас от гостиницы до изнемогшей от автомобилей виа дель Корсо. Лавочка Амато, ярко освещенная и загроможденная ящиками аппетитных фруктов, которые заставляли прохожих сворачивать шею, казалась здесь чудом Господним. Требовательных покупателей обслуживал бородатый мужчина. Когда Адриа представился, тот протянул ему визитку с адресом и кивнул, указывая вверх по улице, в сторону Пьяцца дель Пополо.

– Можно узнать, что мы здесь делаем?

– Скоро узнаешь.

– Хорошо, я хотела бы знать, что здесь делаю я.

– Ты со мной.

– Зачем?

– Потому что мне страшно.

– Отлично. – Ей приходилось почти бежать, чтобы поспеть за Адриа. – Может быть, ты все-таки объяснишь мне, что происходит? Или нет?

– Смотри, мы уже на месте.

До нужного подъезда пришлось еще немного пройти. Он нажал на кнопку одного из звонков – замок зашипел, потому что дверь оказалась открыта, как будто бы их ждали. Наверху, на лестничной площадке, держась за ручку распахнутой двери, их ждала мой бывший ангел с несколько отстраненной улыбкой. После приветственного поцелуя Адриа фамильярно ткнул в нее пальцем и сообщил Лауре:

– Это моя сестра, синьора Даниэла Амато.

Представляя Лауру, я сказал Даниэле:

– Это мой адвокат.

Лаура отреагировала правильно. Да что там – просто потрясающе. Она и глазом не моргнула. Обе женщины несколько секунд смотрели друг на друга, словно соизмеряя силы. Даниэла провела их в обставленную с большим вкусом гостиную, где стоял буфет Шератона^[236], который я совершенно точно видел в отцовском магазине, на буфете – фотография очень молодого отца с очень красивой девушкой, отдаленно похожей на Даниэлу. Я предположил, что это легендарная Каролина Амато, римская любовь отца, la figlia del fruttivendolo Amato^[237]. Со снимка на меня смотрела девушка с прямым взглядом и нежной кожей. Это было странно, потому что передо мной стояла ее дочь, которая в свои пятьдесят с чем-то лет уже не заботилась о том, чтобы скрывать морщины на лице. Моя единокровная сестра была по-прежнему красива и элегантна. Пока мы не начали разговор, в комнату вошел нескладно высокий подросток

с лохматыми бровями, неся на подносе кофе.

– Мой сын Тито, – объявила Даниэла.

– Piacere di conoscerti^[238], – сказал я, приходя в себя.

– Можешь не стараться, – ответил тот по-каталански, аккуратно ставя поднос на кофейный столик. – Мой отец из Вилафранки^[239].

И тогда Лаура начала метать в меня убийственные взгляды – наверное, решила, что это уже слишком, восседать в гостиной в адвокатской тоге и непринужденно беседовать с моей итальянской родней, до которой ей нет никакого дела. Я улыбнулся Лауре и положил руку на ее руку, чтобы успокоить, – мне это удалось, как никогда больше ни с кем не удавалось. Бедная Лаура, – мне кажется, я должен с ней объясниться, но, боюсь, теперь уже поздно.

Кофе был великолепен. И условия продажи магазина – тоже. Лаура предпочла молчать; я назвал цену, Даниэла пару раз взглянула на Лауру, та отрицательно покачала головой, очень спокойно и профессионально. Тем не менее Даниэла попыталась торговаться:

– Это предложение меня не устраивает.

– Простите, – взяла слово Лаура, и я с удивлением посмотрел на нее.

Усталым тоном она продолжила:

– Это единственное предложение, которое готов сделать сеньор Ардевол.

Она посмотрела на часы, как будто бы очень торопилась, и замолчала с серьезным выражением лица. Адриа понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, – наконец он сказал, что предложение предполагает также право выкупить из магазина эти предметы, прежде чем приступить к управлению. Даниэла внимательно прочитала список, который я ей протянул, а я посмотрел на Лауру и подмигнул ей. Она не отреагировала, сохраняя серьезное выражение, не выходя из роли адвоката.

– А картина Уржеля, которая висела у вас дома? – подняла голову Даниэла.

– Она находится в собственности семьи и не имеет отношения к магазину.

– А скрипка?

– Тоже. Все это документально подтверждено.

Лаура подняла руку, словно прося слова, и с подчеркнуто утомленным видом, глядя на Даниэлу, сказала: вам известно, что речь идет в том числе о нематериальных активах.

Ох, Лаура.

– Что? – Даниэла.

Лучше бы ты промолчала.

– Сами предметы – это одно, а их ценность – совсем другое.

Не в добрый час я ляпнул: хочешь поехать со мной в Рим, Лаура?

– Bravo^[240]. И что с того?

– С каждым днем эта ценность возрастает.

Лучше не усложняй.

– И?..

– Цена, на которой вы сойдетесь, – это одно.

Лаура говорила, не глядя на меня, как будто бы меня вовсе там не было. Пока я думал: заткнись, ты все испортишь, она продолжала:

– На какой бы цене вы ни сошлись, вы никогда даже не приблизитесь к реальной стоимости.

– Я сгораю от любопытства. Скажите же нам реальную стоимость магазина, многоуважаемый адвокат.

Я тоже, Лаура. Но лучше тебе не лезть в бутылку, ясно?

– Ее никто не знает. Столько-то песет – официальная цена. Чтобы приблизиться к реальной стоимости, нужно помножить эту цифру на историческую значимость каждой вещи.

Молчание. Мы как будто переваривали эту мудрую сентенцию. Лаура убрала волосы со лба за ухо и, наклонившись к Даниэле, сказала уверенным тоном, которого я за ней не замечал: мы сейчас говорим не о яблоках и не о бананах, синьора Амато.

Снова воцарилось молчание. Я знал, что Тито стоит за дверью: его выдавала тень, в профиле которой читались лохматые брови. Я тут же представил, что он тоже сгорает от жажды обладать вещами, как и мой отец, как, со временем, моя мать, как и я сам, как Даниэла... Семейное помешательство никого не обошло стороной. Молчание было таким напряженным, что мне показалось, будто каждый из нас пытается оценить историческую значимость предметов из магазина.

– По рукам. Адвокаты завершат сделку, – решила Даниэла, шумно выдохнув. Затем она с иронией посмотрела на Лауру и сказала: о миллионах лир исторической значимости, многоуважаемый адвокат, мы как-нибудь поговорим, когда будем в настроении.

Мы хранили молчание, пока наконец не уселись друг против друга. Сорок пять минут молчания, которое невозможно оценить, поскольку эта небесно-голубая блондинка совершенно сбила меня с толку. Когда они сели, сделали заказ и, по-прежнему молча, дождались первого блюда,

Лаура намотала на вилку спагетти, которые тут же стали расползаться во все стороны.

– Ты сукин сын, – сказала она, прежде чем склонилась над тарелкой и принялась всасывать последнюю уцелевшую на вилке макаронину.

– Я?

– Я с тобой разговариваю, да.

– Почему?

– Я не твой адвокат, да он тебе и не нужен.

Она положила вилку на тарелку.

– Кстати, я поняла, что вы торгуете антиквариатом.

– Ага.

– Почему ты мне об этом не рассказывал?

– Тебе нужно было молчать.

– Никто не удостоил меня инструктажа по поведению во время этой поездки.

– Прости, это моя вина.

– Ну да.

– Но ты отлично справилась.

– Жаль. Я хотела все испортить и убежать, потому что ты сукин сын.

– Ты права.

Лаура уловила еще одну макаронину, и, вместо того чтобы обидеться на ее слова, я подумал только, что такими темпами она никогда не доест. Мне захотелось дать ей разъяснения, которых не дал раньше:

– Мать оставила мне пошаговые инструкции, как продать магазин Даниэле. Она написала даже, как я должен смотреть и как держаться.

– То есть это был театр.

– В какой-то мере. Но ты меня превзошла.

Каждый смотрел в свою тарелку. Адриа вдруг отложил вилку и прикрыл салфеткой набитый рот.

– Историческая значимость каждой вещи! – рассмеялся он.

Ужин продолжился. Они с трудом преодолевали огромные лакуны молчания и избегали смотреть друг другу в глаза.

– То есть мать написала тебе инструкции.

– Да.

– И ты им следовал.

– Да.

– Я заметила, что ты... Не знаю, какой-то другой.

– Другой, чем...

– Другой, чем обычно.

– А какой я обычно?

– Тебя нет. Ты всегда где-то в другом месте.

Они молча жевали оливки в ожидании десерта, не зная, что сказать друг другу. Наконец Адриа сказал: я не знал, что она такая прозорливая.

– Кто?

– Моя мать.

Лаура положила вилку на скатерть и посмотрела ему в глаза.

– Ты понимаешь, что я чувствую себя использованной? – проговорила она. – Дошло до тебя это наконец или я была недостаточно красноречива?

Я посмотрел на нее внимательно и заметил, что небесно-голубой взгляд затуманен слезами. Бедная Лаура, она только что сказала правду о своей жизни, а я все еще не был готов признать это.

– Прости меня. Я был не способен сделать это один.

В ту ночь мы с Лаурой спали вместе. Оба были подчеркнуто нежны и осторожны, словно боялись что-то сломать. Она с любопытством посматривала на медальон на шее у Адриа, но так ничего и не сказала. А потом расплакалась: всегда улыбчивая Лаура впервые позволила мне стать свидетелем ее постоянной грусти. И она ничего не рассказала мне о своих любовных неудачах. Я тоже промолчал.

Осмотрев музеи Ватикана и проведя больше часа в молчании перед «Моисеем»^[241] в Сан-Пьетро ин Винколи, пророк выступил вперед со скрижалями Откровения в руках, и, приблизившись к своему народу и увидев, что народ поклоняется золотому тельцу и пляшет вокруг него, в гневе занес над головой каменные таблички, на которых перстом Божиим было начертано знамение между Ним и сынами Израилевыми, и бросил их на землю, и разбил вдребезги. И пока Аарон, наклонившись, выбирал осколок скрижали, ни слишком большой, ни слишком маленький, чтобы сохранить на память, Моисей возвысил голос и воскликнул: ах вы, бездельники, что ж вы тут затеяли поклоняться идолам, стоило мне только отвернуться, так вас и растак! И народ Божий сказал: прости нас, Моисей, мы больше не будем. А он ответил: это не я должен вас прощать, а Милосердный Господь, против которого вы погрешили, поклоняясь идолу. За одно это стоит побить вас камнями. Всех. И когда они выходили на слепящее полуденное римское солнце, думая о камнях и разбитых скрижалях, мне пришло в голову, совершенно некстати, что один век назад, в год по хиджре^[242] тысяча двести девяностый, в маленькой деревне Аль-

Хисва родился плачущий младенец с лицом сияющим, подобно луне, и мать, увидев его, сказала, моя дочь – благословение милосердного Аллаха, она прекрасна, как луна, и ослепительна, как солнце, и отец ребенка, Азизаде-торговец, увидев слабость матери, сказал ей, пряча свою боль: каким именем мы назовем ее, жена, и она ответила: имя ей: Амани и люди в Аль-Хисве будут знать ее как Амани-красавицу, – и в утомлении откинулась на подушку, словно эти слова лишили ее последних сил, а муж ее Азизаде, в темных глазах которого стояли горькие слезы, удостоверившись, что все сделано правильно, подарил повитухе белую монетку и корзину фиников, а потом в беспокойстве посмотрел на жену, и темная туча пробежала по его челу. Он услышал еще хриплый голос родильницы: Азизаде, муж мой, если я умру, храни в память обо мне золотой медальон.

– Ты не умрешь.

– Слушай меня. Когда у Амани-красавицы сойдут первые крови, подари ей этот медальон от меня. Пусть она хранит его в память обо мне. В память о матери, которой не достало сил, чтобы... – Она закашлялась. – Поклянись! – потребовала она.

– Клянусь тебе, жена.

Вошла повитуха и сказала, ей нужен отдых. Азизаде покачал головой и вернулся в лавку, потому что нужно было проследить за разгрузкой тюков фисташек и грецких орехов, прибывших из Ливана. Но даже если бы ему это начертали на скрижалях, подобных скрижалям Завета неверных сыновей Мусы^[243], называющих себя избранным народом, Азизаде никогда не поверил бы, как печален будет конец Амани-красавицы всего через пятнадцать лет, да славится Господь Милосердный.

– О чем ты думаешь?

– Что, прости?

– Вот видишь, ты, как всегда, где-то в другом месте.

Мы вернулись в Барселону на поезде и приехали в среду – Лаура пропустила два занятия, впервые в жизни, да еще никого не предупредив. Ее начальник Бастардес, который, вероятно, о многом догадывался, не стал требовать от Лауры никаких объяснений. А я после операции «Рим» знал, что теперь могу посвятить жизнь изучению всего, что захочу, и вести в университете минимум занятий – ровно столько, сколько необходимо, чтобы продолжать числиться в академических кругах. Если оставить за скобками сердечные раны, мне казалось, что Небеса благоприятствуют мне во всем. Это если предположить, что на моем пути не встретится какая-нибудь аппетитная рукопись.

Адриа избавился от гнетущей ноши с помощью своей неласковой матери, которая помнила о его неприспособленности к практическим сторонам жизни и даже после смерти присматривала за своим сыном, как обыкновенно делают все матери, кроме моей. Одна мысль об этом приводит меня в волнение, и я начинаю думать, что, может быть, в какой-то момент мать даже любила меня. Сейчас я уже точно знаю, что отец несколько раз мной восхищался, но я убежден, что он никогда меня не любил. Я был одним из предметов его великолепной коллекции. И этот предмет вернулся из Рима домой с намерением навести там порядок, поскольку он уже слишком долго жил, спотыкаясь о доставленные из Германии и еще не распакованные ящики с книгами, и он включил свет, и стал свет. И он призвал Берната, чтобы тот помог ему организовать идеальный порядок, как если бы Бернат был Платоном, он – Периклом^[244], а квартира в Эшампле – шумными Афинами. Итак, два мудрых мужа порешили, что в кабинете останутся рукописи и инкунабулы, которые купит Адриа; хрупкие предметы, родительские книги, пластинки, партитуры и словари, которыми он чаще всего пользуется, – и они отделили воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стала твердь со своими облаками отделенной от вод морских. В родительскую спальню, которая теперь была его спальней, они поместили поэзию и книги о музыке – и он сказал, чтобы вода, которая под небом, собралась в одно место, чтобы явилась суша, и назвал сушу землею, а собрание вод назвал морями. В бывшей детской, где шериф Карсон и храбрый Черный Орел по-прежнему несли почетный караул на прикроватной тумбочке, они не глядя скинули с полок книги, которые скрашивали ему детство, и заполнили эти полки книгами по истории, от рождения у человека памяти и до сегодняшнего дня. И по географии – и произвела земля деревья, в которых семя по роду их, и произвела травы и цветы.

– Что это за ковбой?

– Не трогай!

Он не осмелился сказать, что их надо оставить. Это было бы нечестно. Он ограничился тем, что сказал: да так, я их потом сам выброшу.

– Хау!

– Что?

– Ты стыдишься нас.

– Я сейчас очень занят.

Я услышал, как шериф, стоявший позади вождя арапахо, с презрением сплюнул, и не стал вмешиваться в разговор.

В трех длинных коридорах была расставлена художественная проза, сгруппированная по языкам. На новеньких бесконечных полках, которые он заказал у мастера Планаса. В коридоре, ведущем в комнату, – романские языки. В коридоре, ведущем из прихожей, – славянские и скандинавские языки, а в широком коридоре в глубине квартиры – западногерманские.

– Как ты можешь это читать? – вдруг спросил Бернат, потрясая книгой Данила Киша «Пешчаник»^[245].

– Не спеша. Если знаешь русский, то сербский кажется не таким уж и сложным.

– Если знаешь русский... – обиженно пробурчал Бернат.

Он поставил книгу на место и продолжил:

– Так уже не считается.

– В столовой мы поставим эссе, теорию литературы и теорию искусства.

– Придется убрать или витрины с хрусталем, или буфет. – Бернат указал на стены, не замечая прямоугольного пятна над буфетом.

Адриа опустил глаза и сказал: весь хрусталь я дарю магазину. Пусть продают его и радуются. Я же взамен получу целых три стены. И были сотворены рыбы, и всякие животные, и чудища морские. И пустую стену, на которой некогда висел вид монастыря Санта-Мария де Жерри кисти Модеста Уржеля, взяли в полукольцо Уэллек, Уоррен, Кайзер, Берлин, Штайнер, Эко, Беньямин, Индгарден, Фрай, Канетти, Льюис, Фустер, Джонсон, Кальвино, Мира, Тодоров, Магрис и другие сулящие наслаждение тома.

– Сколько языков ты знаешь?

– Трудно сказать. Какая разница? Если знаешь несколько языков, то всегда можешь читать на большем количестве, чем сам можешь предположить.

– Ну конечно, я хотел сказать то же самое. – Бернат почувствовал себя задетым.

И через какое-то время, когда они отодвигали шкаф, сказал:

– Ты не говорил, что учишь русский.

– А ты не говорил, что готовишь Второй концерт Бартока.

– Откуда ты знаешь?

– Связи. В гладильную комнату я поставлю...

– В гладильную комнату ты ничего не поставишь. – Бернат, голос разума. – Ты должен нанять прислугу, которая будет убираться, гладить

и прочее. И у нее должен быть свой угол.

– Я сам могу все это делать.

– Ну-ну. Найди кого-нибудь.

– Я умею жарить глазунью, делать омлет с картошкой, варить рис, макароны и все остальное. Делать омлет с картошкой. Салаты. Картошку с салатом.

– Я говорю о другом уровне: гладить, шить, стирать. Готовить каннеллони или запекать каплуна в духовке.

Как же лень кого-то искать. Но в конце концов он послушался Берната и нанял еще достаточно молодую и очень энергичную женщину по имени Катерина. Она приходила по понедельникам, оставалась обедать и вела весь дом, ничего не упуская. Даже гладила. И шила. Луч света во мраке.

– Я думаю, в кабинет вам лучше не входить и ничего не трогать, хорошо?

– Как скажете, – сказала она, входя в кабинет и окидывая его взглядом профессионала. – Но знайте, что это просто склад пыли.

– Ну уж... Не будем преувеличивать.

– Склад пыли, населенный этими серебристыми жучками, которые живут в книгах.

– Вы преувеличиваете, Лола Маленькая.

– Катерина. Я просто смахну пыль со старых томов.

– Даже не думайте.

– Тогда позвольте мне подмести здесь и протереть пол. – Катерина пыталась отстоять в переговорах хотя бы некоторые позиции.

– Хорошо. Но на столе ничего не трогайте.

– Ну что вы, конечно, – соврала она.

Несмотря на изначальные благие намерения Адриа, Катерине пришлось соседствовать в гладильной с альбомами по искусству и энциклопедиями, поскольку там оставались еще свободные стены. Красноречивые гримасы Катерины не помогли.

– Разве вы не видите, что другого места нет? – умолял Адриа.

– У вас совсем не маленькая квартира. Зачем вам столько книг?

– Чтобы поглощать их.

– Такую квартиру испортили, даже стен не видно.

Катерина проинспектировала гладильную после книжного вторжения и сказала: придется привыкать работать среди книг.

– Не волнуйся, Лола Маленькая. Днем они смирные.

– Катерина, – поправила Катерина и искоса взглянула на него, не будучи уверена, шутит Адриа или он действительно не в себе.

– А что в коробках, которые ты привез из Германии? – спросил однажды Бернат, опасливо приподнимая кончиками пальцев крышку одной из них.

– В основном филология и философия. И кое-какие романы. Белль, Грасс, Фолкнер, Манн, Льюис, Капмань, Рот и все в таком духе.

– Куда ты планируешь их поставить?

– Философию в прихожую. Вместе с математикой и астрономией. Всю филологию, включая лингвистику, в комнату Лолы Маленькой. Романы – по коридорам, в зависимости от языка.

– Ну так за дело.

– А с каким оркестром ты планируешь играть Бартока?

– Со своим. Я хочу попросить, чтобы мне разрешили сыграть концерт.

– Слушай, вот это да! Здорово же?

– Посмотрим, вытанцуются ли.

– Скорее, сыграется ли.

– Да. Тебе нужно заказать больше полок.

Он заказал новые полки, и мастер Планас сиял как медный таз, потому что пыл Адриа по упорядочиванию пространства не угасал. И на четвертый день творения Катерина добилась важной победы: она испросила у Господа соизволения вытирать пыль с книг во всей квартире, кроме кабинета. И решила, что за небольшую доплату может приходить еще по четвергам утром и, таким образом, наверняка будет успевать хотя бы раз в год протереть каждую книгу. И Адриа сказал: как хочешь, Лола Маленькая, тебе виднее.

– Катерина.

– В комнате для гостей еще есть место, так что поставим туда религию, богословие, этнологию и греко-римский мир.

И наступил момент, когда Бог разделил воды, и земля стала сухой, и были сотворены моря.

– Тебе бы... Кто тебе больше нравится: кошки или собаки?

– Нет-нет, никто.

И сухо:

– Никто.

– Не хочешь, чтобы тебе загадили всю квартиру?

– Нет, не в этом дело.

– Ну разумеется, если ты говоришь... – сказал Бернат с иронией, ставя стопку книг на пол. – Но питомец скрасил бы тебе жизнь.

– Я не хочу пережить смерть близкого существа. Понятно? – ответил Адриа, расставляя прозу на славянских языках на второй полке напротив

ванной. И были сотворены животные домашние и дикие, и населили землю, и увидел Он, что это хорошо.

И, сидя на темном полу в коридоре, они погрузились в воспоминания:

– Вот это да, Карл Май! У меня тоже есть все тома.

– Смотри: Сальгари^[246]. Десять – нет, даже двенадцать томов.

– И Жюль Верн. У меня было издание с гравюрами Доре.

– Где он у тебя?

– Поди знай.

– Энид Блайтон. Не ахти какая писательница, а я перечитал ее книги по тридцать раз.

– А что ты будешь делать с комиксами про Тинтина?^[247]

– Не хочу ничего выбрасывать. Но и ставить тоже некуда.

– У тебя еще много места.

И он сказал: да, у меня еще много места, но оно пригодится для книг, которые я куплю. И я не знаю, куда деть Карла Мая и Жюля Верна, понимаешь? И второй сказал: понимаю. И они увидели, что в туалете есть еще пространство между шкафчиком и потолком, и воодушевленный Планас сделал еще одну прочную двойную полку, куда встала вся детская литература.

– Не упадет?

– Если полка упадет, я приду и сам буду ее держать.

– Как Атлант.

– Что, простите?

– Как кариатида.

– Ну не знаю. Но я вас уверяю, что не упадет. Можете спокойно сидеть на унитазе. Простите. В смысле, не о чем беспокоиться.

– А в маленький туалет – журналы.

– Хорошо, – сказал Бернат, тащивший двадцать килограммов древней истории по коридору литературы на романских языках в сторону бывшей детской Адриа.

– А на кухню – кулинарные книги.

– Тебе нужна библиография, чтобы зажарить яичницу?

– Это книги матери, я не хочу их выбрасывать.

И, сказав, сотворю человека по образу и подобию своему, он подумал о Саре. О Лауре. Нет, о Саре. Нет, о Лауре. Не знаю. Но он подумал.

И в седьмой день Адриа и Бернат отдыхали и пригласили Теклу посмотреть на дело сотворения мира. Осмотрев все комнаты, они уселись в кресла в кабинете. Текла, уже беременная Льюренсом, пришла

в восхищение от их работы и сказала мужу: интересно, разберешь ли ты когда-нибудь вещи в собственном доме. Они выпили по чашке великолепного чая, купленного у Муррии^[248]. И вдруг Бернат выпрямился, как будто его укололи:

– А где Сториони?

– В сейфе.

– Достань. Инструмент должен дышать. И ты должен играть на нем время от времени, чтобы у него не пропал голос.

– Я играю. Пытаюсь вспомнить забытое. Играю как одержимый и уже начинаю его любить.

– Сториони нельзя не любить, – процедил Бернат сквозь зубы. – Это чудо, а не звук.

– Ты ведь и на фортепиано играешь, правда? – спросила Текла.

– Совсем немного, только учусь.

И, словно извиняясь, добавил:

– Когда живешь один, много свободного времени.

Семь два восемь ноль шесть пять. Виал был единственным постояльцем сейфа. Когда Адриа достал инструмент, скрипка казалась побледневшей от заточения в темнице.

– Бедняга! Почему ты не положишь его в шкаф к инкунабулам?

– Хорошая мысль. Но страховые агенты...

– Да ну их. Кто, по-твоему, может его украсть?

Адриа торжественно передал скрипку другу. Сыграй что-нибудь, сказал он. И Бернат настроил Виал, поскольку *ре* звучало очень нечисто, и сыграл две «Фантазии» Бетховена так, что за ним слышался целый оркестр. Мне кажется – мне до сих пор кажется, что он сыграл гениально: словно благодаря тому, что я долго прожил вдали от него, он созрел, и я подумал, что, если бы рядом не было Теклы, я сказал бы ему: старик, ну почему же ты все упорствуешь в том, чтобы писать, когда писать ты не умеешь, вместо того чтобы посвятить себя тому, что у тебя так здорово получается?

– Не выводите меня из себя, – ответил Бернат, когда через неделю Адриа сказал ему это. И Господь посмотрел на свое творение, и сказал: очень хорошо, потому что мир его дома был упорядочен более-менее в соответствии с универсальной десятичной классификацией^[249]. И он сказал книгам: растите и размножайтесь и наполняйте землю.

– Первый раз вижу такую большую квартиру, – застыла в восхищении

Лаура, забыв снять пальто.

– Сними наконец пальто.

– И такую темную.

– Это потому, что я всегда забываю раскрыть ставни. Подожди.

Он показал ей самую презентабельную часть квартиры, а когда они вошли в кабинет, Адриа не мог справиться с охватившей его гордостью обладателя.

– Ничего себе, это скрипка?

Адриа достал ее из шкафа и вложил Лауре в руки. Было заметно, что та не знает, что с ней делать. Тогда он положил инструмент под лупу и включил свет:

– Прочитай здесь внутри.

– Laurentius Storioni Cremonensis... – с трудом, но и с удовольствием, – me fecit... в тысяча семьсот шестьдесят четвертом году. Ничего себе!

Она подняла голову в восхищении:

– Наверное, стоит целую кучу денег.

– Наверное. Не знаю.

– Как это? – С открытым ртом она вернула инструмент, как будто бы он жег ей руки.

– Не хочу этого знать.

– Какой ты странный, Адриа.

– Да.

Они помолчали, не зная, что сказать. Эта девушка мне нравится. Но всякий раз, как я начинаю ухаживать за ней, я думаю о тебе, Сара, и снова ломаю себе голову, отчего же наша любовь, которая должна была быть вечной, встретила столько препятствий. В тот момент я еще не мог этого понять.

– Ты умеешь играть на скрипке?

– Ну... Немного.

– Давай сыграй что-нибудь.

– Ой.

Я предположил, что Лаура не слишком разбирается в музыке. На самом деле я ошибся: она в ней вообще ничего не понимала. Но поскольку я этого еще не знал, я сыграл ей на память, досочинив некоторые фрагменты, «Размышление Таис»^[250], очень действенную вещь. Я играл с закрытыми глазами, поскольку не очень хорошо помнил аппликатуру и мне нужно было максимально сосредоточиться. Когда Адриа открыл глаза, Лаура безутешно рыдала небесно-голубыми слезами и смотрела на меня, как будто я божество или чудовище, и я спросил: что

с тобой, Лаура, а она ответила: не знаю, мне кажется, я разволновалась, потому что вдруг почувствовала что-то здесь, – и она провела рукой по желудку, а я ответил, это все скрипка, она удивительно звучит. И тогда она не смогла сдержаться и всхлипнула, и я только тут заметил, что глаза у нее слегка подкрашены, потому что тушь немножко расплылась, и Лаура была очаровательна. Но на этот раз я не использовал ее, как в Риме. Она пришла, потому что утром я спросил ее: хочешь прийти ко мне на новоселье? Она как раз вышла, если не ошибаюсь, с занятия по греческому и сказала: ты разве переехал? А я: нет. А она: ты что, устраиваешь вечеринку? А я: нет, но я все упорядочил в своем доме и...

– Будет много народу?

– Ну, так...

– Кто?

– Ну, ты и я.

И она пришла. Всхлипнув, она задумалась, сидя на диване, за которым я когда-то часами шпионил за родителями в компании шерифа Карсона и его храброго друга.

На прикроватной тумбочке в комнате истории и географии нес караул Черный Орел. Когда мы вошли, Лаура взяла его в руки и стала с интересом рассматривать. Храбрый вождь арапахо с достоинством переносил это испытание, и она обернулась, желая что-то сказать мне, но Адриа сделал вид, что не понял этого, и задал какой-то дурацкий вопрос. Я поцеловал ее. Мы поцеловались. Он был нежен. А потом я проводил ее домой, уверенный в том, что ошибся с этой девушкой, и думая, что, возможно, я причиняю ей боль. Но я еще не знал почему.

Или еще как знал. Ведь в голубых глазах Лауры я искал твои темные глаза беглянки, а этого ни одна женщина не сможет простить.

Лестница была узкая и темная. Чем дальше он поднимался, тем хуже ему становилось. Лестница казалась игрушечной, как в кукольном доме без света. Третий этаж, первая дверь. Звонок, имитирующий звук колокольчика, прозвучал «динь», а потом «дон». Затем – тишина. Было слышно, как на узкой и темной улице этой оконечности Барселонеты кричат дети. Когда он уже подумал, что ошибся, за дверью послышалось какое-то шуршание, и наконец она медленно и осторожно открылась. Я никогда тебе этого не говорил, Сара, но то был почти наверняка самый

важный день в моей жизни. Она держалась за приоткрытую дверь – уже не такая бодрая, как раньше, постаревшая, но по-прежнему аккуратная и элегантная. Несколько секунд она молча смотрела мне в глаза, словно спрашивая, что я здесь делаю. Наконец распахнула дверь и отступила, пропуская меня в квартиру. Затем она не торопясь закрыла дверь и только после этого сказала: ты скоро совсем облысеешь.

Мы прошли в крохотную комнатку, служившую одновременно столовой и гостиной. На стене висел величественный пейзаж Уржеля; на монастырь Санта-Мария де Жерри по-прежнему падали красноватые косые лучи солнца, заходящего за вершину Треспуя. Адриа, словно извиняясь, сказал: я узнал, что ты больна, и...

- Как ты узнал?
- От одного друга, врача. Как ты?
- Удивлена, что ты пришел.
- Я хотел сказать – как твоё здоровье?
- Я скоро умру. Хочешь чаю?
- Да.

Она скрылась в глубине коридора. Кухня была тут же рядом. Адриа посмотрел на картину, и ему вдруг показалось, что он встретил старинного друга, который, несмотря на годы, не сильно постарел. Он вздохнул и почувствовал разлившийся в воздухе весенний аромат, даже услышал шум реки и ощутил холод, который пронизывал Рамона де Нолью, когда тот встретил наконец свою жертву. Адриа сидел не шевелясь, погружившись в созерцание пейзажа, пока не услышал, что в комнату вернулась Лола Маленькая. Она несла на подносе две чашки. Адриа заметил простоту убранства квартиры, которая вся легко поместилась бы в его кабинет.

- Почему ты не осталась у нас?
- Мне здесь хорошо. Это мой дом, и здесь я жила до того, как стала жить рядом с твоей матерью, и после. Я не жалею. Слышишь? Я не жалею. Мне уже за семьдесят, я пережила твоих родителей. Я прожила жизнь так, как хотела.

Они сели за стол. Сделали по глотку чая. Молчание не тяготило Адриа. Потом он сказал:

- Неправда, что я лысею.
- Ты так думаешь, потому что не видишь свою макушку. Ты похож на монаха-францисканца.

Адриа улыбнулся. Лола Маленькая не изменилась. И она по-прежнему была его единственным знакомым, кто никогда не выказывал недовольствия и не морщил нос.

- Очень вкусный чай.
- Я получила твою книгу. Ее трудно читать.
- Знаю, знаю. Я просто хотел, чтобы у тебя был экземпляр.
- Чем ты еще занимаешься, кроме того, что пишешь и читаешь?
- Играю на скрипке. Часами, днями напролет.
- Вот это новость! Почему же ты тогда ее бросил?
- Она душила меня. В то время вопрос стоял так: или я, или скрипка.

И я выбрал себя.

- Ты счастлив?
- Нет. А ты?
- Да. Очень. Не совсем.
- Я могу как-то помочь?
- Да. Почему ты так беспокоишься?
- Дело в том, что... Я не могу избавиться от мысли, что если бы ты продала картину, то смогла бы купить себе квартиру побольше.
- Ты ничего не понимаешь, деточка.

Они помолчали. Лола Маленькая взглянула на пейзаж, и стало ясно, что она уже привыкла смотреть на него и чувствовать, даже не отдавая себе в этом отчета, холод, до костей пронизывавший беглеца Микела де Сускеду, который искал там, на дорогах Бургала, укрытия от Божественного правосудия. В молчании прошло минут пять, они пили чай и вспоминали каждый свою жизнь. Наконец Адриа Ардевол взглянул ей в глаза и сказал: я очень тебя люблю, Лола Маленькая, ты очень хороший человек. Она допила последний глоток чая, склонила голову и промолчала. Она молчала довольно долго, а потом стала объяснять, что то, что он только что сказал, неверно, потому что твоя мать сказала мне: Лола Маленькая, ты должна мне помочь.

– Что такое, Карме? – спросила та, несколько напуганная тоном подруги.

- Ты знаешь эту девушку?

Карме положила перед ней на кухонный стол фотокарточку красивой девушки с темными глазами и волосами.

- Ты когда-нибудь видела ее?
- Нет. Кто это?
- Одна особа, которая хочет окрутить Адриа.

Карме села рядом с Лолой Маленькой и взяла ее за руку.

- Ты должна помочь мне, – сказала она.

Она попросила меня следить за вами, за тобой и за Сарой, чтобы подтвердить сведения нанятого ею детектива. Да, вы встречались

и держались за руки напротив остановки сорок седьмого на Гран-Виа.

– Они любят друг друга, Карме, – сказала я.

– Это опасно, – ответила Карме.

– Твоя мать знала, что эта девушка хочет тебя окрутить.

– Бог мой, – воскликнул Адриа, – что значит «окрутить меня»?

Лола Маленькая с удивлением посмотрела на Карме и повторила вопрос:

– Что значит «окрутить его»? Разве ты не видишь, что они любят друг друга? Карме!

Они разговаривали стоя в кабинете сеньора Ардевола, и Карме сказала: я заказала расследование о ее семье: их фамилия – Волтес-Эпштейн.

– И что с того?

– Они евреи.

– А. – Пауза. – И что?

– Я не против евреев, дело не в этом. Но Феликс... Ох, детка, не знаю, как и сказать тебе...

– Скажи как-нибудь.

Карме сделала несколько шагов в сторону двери, открыла ее, чтобы убедиться, что Адриа еще не вернулся, хотя и без того прекрасно это знала, снова закрыла и продолжила тише: у Феликса были кое-какие дела с ее родственниками и...

– И что?

– В общем, они поссорились. Скажем так, очень сильно поссорились.

– Феликс давно умер, Карме.

– Эта девица лезет в нашу жизнь, чтобы спутать нам карты. Я уверена, что все это ради магазина.

И едва слышно добавила:

– Ей наплевать на Адриа.

– Карме...

– Он очень ранимый. Поскольку он вечно витает в облаках, ей легко им управлять.

– Я уверена, что девушка даже не знает про магазин.

– Ну да. Они все про нас знают.

– Ты не можешь быть в этом уверена.

– Могу. Пару недель назад она была там вместе с некоей дамой – судя по всему, с матерью.

Прежде чем отважиться обратиться к девушке за прилавком, они осмотрелись, как обычные посетители, но не спеша, словно хотели

оценить магазин в целом, оценить доходность дела. Карме вычислила их из кабинета и сразу узнала девушку, которая тайно встречалась с Адриа, и тогда все фрагменты мозаики встали на свое место. Сеньора Ардевол сочла, что за такой таинственностью со стороны посетительниц кроются не совсем понятные намерения. Сесилия обслужила их; позже Карме узнала, что они иностранки, может быть, француженки – из-за «вгемени создания подставки для зонтов» и «зегкала». Они расспрашивали об одной подставке для зонтов и о двух «зегкалах», но было заметно, что им все равно, о чем спрашивать, как будто бы это был только предлог поближе рассмотреть магазин. Вы понимаете, что я хочу сказать, сеньора Ардевол? В тот же вечер Карме Боск позвонила в агентство «Эспельета», попросила позвать к телефону хозяина и заказала еще одно расследование, потому что она не допустит, чтобы кто-то использовал чувства ее сына в низких целях. Да, если это возможно, пусть этим займется тот же самый детектив.

– Но как... Мать... Ведь мы с Сарой встречались тайно!

– Ну... – Лола Маленькая опустила голову и стала смотреть на клеенку на столе.

– Как она догадалась, что...

– Маэстро Манлеу. Когда ты сказал ему, что окончательно решил бросить скрипку.

– Что ты сказал? – Густые взлохмаченные брови, подобно седым грозовым облакам, нависли над выпученными глазами. Маэстро Манлеу был поражен, возмущен.

– Как только закончится учебный год, я сдам экзамен и брошу занятия. Навсегда.

– Все эта девица, из-за которой у тебя ветер в голове!

– Какая девица?

– Не прикидывайся! Ты когда-нибудь видел, чтобы люди держались за руки всю Четвертую Брукнера^[251], а?

– Да, но...

– С вами сразу все понятно. Любовь до гроба... Сидели в партере, как два карамельных голубка.

– Это не имеет никакого отношения к моему решению...

– Это имеет еще какое отношение к твоему решению! Эта негодяйка плохо на тебя влияет. И ты должен пресечь это на корню.

И поскольку я остолбенел от такой наглости, учитель решил закрепить успех атаки, подытожив:

– Твоей женой должна стать скрипка.

– Простите, маэстро, но это моя жизнь.

– Как скажешь, умник. Но я предупреждаю, что тебе не удастся бросить скрипку.

Адриа Ардевол захлопнул футляр громче, чем требовалось. Он встал и посмотрел гению прямо в глаза. Он был уже почти на полголовы выше его.

– Я бросаю скрипку, сеньор Манлеу, нравится вам это или нет. И сегодня же сообщу свое решение матери.

– Ах, какая честь! Значит, я первый узнал об этом?

– Да.

– Ты не бросишь скрипку. Через пару месяцев ты приползешь ко мне на коленях, а я скажу тебе: очень жаль, деточка, у меня все время расписано. И тебе придется с этим смириться.

И он посмотрел на него в ярости:

– Разве ты не собрался уходить?

А затем учитель поспешил сообщить твоей матери, что все дело в одной девице, и Карме вбила себе в голову, что это Сара во всем виновата, и решила, что та – ее враг.

– О боже...

– А из-за того, что... Из-за того, что я говорила про семью Эпштейн...

– О боже...

– Я убеждала ее не делать этого, но она написала письмо матери Сары.

– Что она написала? Ты читала?

– Свои измышления. Предполагаю, всякие гадости про тебя. – Лола Маленькая надолго замолчала, разглядывая клеенку. – Я не читала это письмо.

Она бросила быстрый взгляд на Адриа – он был потрясен, в его широко раскрытых глазах стояли слезы – и снова уставилась на скатерть.

– Твоя мать хотела отвести эту девушку от тебя. И от магазина.

– Эту девушку зовут Сара.

– Да, Сару. Извини.

– О боже...

Крики играющих на улице детей становились тише. Потихоньку смеркалось. Через тысячу лет, когда в гостиную уже вкрались сумерки, Адриа, вертевший в руках пустую чашку, взглянул на Лолу Маленькую:

– Почему ты раньше мне не сказала?

– Из верности твоей матери. Адриа, деточка, мне правда очень жаль.

Больше всего я жалею о том, что, уходя от Лолы Маленькой с глубокой раной в сердце, почти не попрощался с ней; я даже не сказал: как жаль, что ты заболела, Лола Маленькая. Только сдержанно поцеловал

на прощание – и больше не видел ее живой.

Huitième Arrondissement, quarante-huit rue Laborde^[252]. Невеселого вида многоэтажка с закопченным фасадом. Он надавил на кнопку, и дверь открылась, сухо и предостерегающе щелкнув. Он задержался у почтовых ящиков – удостовериться, что действительно должен подняться на sixième étage^[253]. И предпочел подняться пешком, а не на лифте, чтобы немного сбросить напряжение от охватившей его паники. Оказавшись на нужном этаже, он несколько минут стоял, пытаясь восстановить дыхание и совладать с сердцебиением. Наконец нажал на кнопку звонка, который таинственно прошелестел: бзззсссс... На площадке царил полумрак, никто не открывал. Шорох шагов? Да. Дверь открылась.

– Привет.

Увидев меня, ты застыла, раскрыв рот, с ледяным выражением на лице. Сердце чуть не выскочило у меня из груди, когда я снова встретился с тобой после стольких лет, Сара. Ты стала старше; я не хочу сказать, что ты постарела, но ты стала старше, и ты была по-прежнему красива. Красива более спокойной красотой. И тогда я подумал, что никто не имел права красть у нас нашу молодость. За тобой на полке стоял небольшой букет каких-то очень красивых цветов, но их цвет показался мне грустным.

– Сара...

Она по-прежнему молчала. Разумеется, она узнала меня, хоть и не ожидала увидеть. Я пришел в неподходящее время, мне явно были не рады. Я уйду, я приду потом, я люблю тебя, я хотел, я хочу поговорить с тобой о... Сара.

– Что тебе нужно?

Как коммивояжер, продавец энциклопедий, который знает, что у него есть полминуты, чтобы донести свое послание, заинтересовать клиента и не дать ему захлопнуть дверь у себя перед носом, Адриа открыл рот и потерял тринадцать секунд, прежде чем сказал: нас обманули, тебя обманули; ты сбежала, потому что меня очернили перед тобой. Несправедливо. И очернили моего отца. Справедливо.

– А твое письмо? Ты назвал меня паршивой еврейкой и написал: катись куда подальше со своей кичливой семейкой. Что с этим делать?

– Я не посылал тебе никакого письма! Ты что, не знаешь меня?

– Нет.

Вы же культурные люди, а в любой культурной семье должна быть энциклопедия.

– Сара, я здесь, чтобы рассказать тебе, что все это было подстроено моей матерью.

– Вовремя. Сколько лет прошло?

– Много! Но я узнал об этом пять дней назад! Ровно столько мне понадобилось, чтобы найти тебя! Это ты сбежала, а не я!

Такая книга всегда пригодится в доме – вашему мужу и вашим детям. У вас ведь есть дети, мадам? У вас есть муж? Ты замужем, Сара?

– Я думал, что ты сбежала по каким-то своим причинам, и никто не говорил мне, где ты. Даже твои родители...

Платить можно в рассрочку, это очень удобно. А начать пользоваться десятью великолепными томами вы сможете уже сейчас.

– Твоя семья ненавидела моего отца из-за того, что...

– Мне это известно.

Вы пока можете оставить эту книгу себе, чтобы внимательно с ней ознакомиться. Я могу вернуться – не знаю – через год, только не сердитесь, пожалуйста.

– Но я же ничего об этом не знал.

– Твое письмо... Ты сам вручил его моей матери. – Рука, лежавшая на ручке двери, задрожала, будто готовилась сжаться в кулак и обрушиться на него. – Трус!

– Я не писал никакого письма! Это ложь! И ничего не вручал твоей матери! Ты нас даже не познакомила!

Приступ отчаяния перед отступлением: не заставляйте меня думать, мадам, что вы некультурный человек и не интересуетесь тем, что происходит в мире!

– Покажи мне это письмо! Разве ты не знаешь мой почерк? Тебя же обманывали, как ты могла поверить!

– Покажи мне это письмо... – передразнила Сара, усмехнувшись. – Я разорвала его в клочья, а потом сожгла. Проклятое письмо!

О боже, убил бы! Что же делать, что же делать?

– Все это подстроили наши матери.

– Я забочусь о своем сыне и его будущем, – сказала сеньора Ардевол.

– А я – о своей дочери, – ледяным тоном ответила сеньора Эпштейн. – Мне совершенно не по душе, чтобы она общалась с вашим сыном. Мне достаточно вспомнить, кто его отец, чтобы не любить его, – сухо усмехнулась она.

– Тогда не будем тратить время. Вы можете удалить свою дочь от моего сына?

– Кто вы такая, чтобы говорить мне, что я должна делать!

– Очень хорошо. Тогда я прошу вас передать вашей дочери это письмо от моего сына.

Она протянула ей запечатанный конверт. Рашель Эпштейн несколько секунд колебалась, но все же взяла его.

– Можете прочитать.

– Кто вы такая, чтобы говорить мне, что я должна делать!

Они холодно распрощались. Обе превосходно друг друга поняли. И сеньора Волтес-Эпштейн распечатала письмо, прежде чем отдать его Саре; распечатала, Адриа.

– Я не писал никакого письма...

Молчание. Они стояли на лестничной площадке шестого этажа дома на rue Laborde, Huitième Arrondissement. Соседка со смешной собачкой прошла по лестнице, махнув Саре рукой, Сара кивнула в ответ.

– Почему ты ничего мне не сказала? Почему не позвонила? Почему не захотела накричать на меня?

– Я сбежала в слезах, говоря себе: нет, нет, только не опять – не может быть, чтобы опять.

– Опять?

При воспоминании об этой неизвестной мне истории на твои глаза навернулись слезы.

– Я уже пережила одно разочарование. До того, как мы познакомились.

– О боже! Я не виноват, Сара! Я тяжело переживал твое бегство. Я только пять дней назад узнал, почему ты сбежала.

– Как ты меня нашел?

– Через то же агентство, которое шпионило за нами. Я люблю тебя. Все это время я каждый день думал о тебе. Я пытался найти тебя через твоих родителей, но они не говорили, где ты и почему сбежала. Это было ужасно.

Они все еще стояли на лестничной площадке шестого этажа дома в Huitième Arrondissement; свет, проникавший из открытой двери, падал на Адриа; Сара не приглашала его войти.

– Я люблю тебя. Они хотели разрушить нашу любовь.

– Они ее разрушили.

– Я не понимаю, как ты могла поверить всему, что тебе наговорили.

– Я была очень молода.

– Тебе было уже двадцать лет!

– Мне было всего двадцать лет, Адриа.

Секунду она колебалась:

– Мне сказали, как я должна поступить, и я так и поступила.

– А я?

– Ну да, согласна. Это было ужасно. Твоя семья...

– Моя семья – что?

– Твой отец... То, что он сделал.

– Я – не мой отец. Я не виноват в том, что я его сын.

– Я не сразу смогла взглянуть на ситуацию с этой стороны.

Хозяйка собирается закрыть дверь, и коммивояжер с напускной веселостью говорит: забудем об энциклопедии, и пускает в дело последний козырь: энциклопедический словарь – незаменимый помощник ваших детей при подготовке домашнего задания, все в одном томе. Ссучья жизнь, наверняка у тебя семеро по лавкам.

– А почему ты не позвонила мне, когда поняла это?

– Я начала новую жизнь. Я должна закрыть дверь, Адриа.

– Что значит – ты начала новую жизнь? Ты вышла замуж?

– Адриа, довольно.

И хозяйка закрыла дверь. Последнее, на что он успел бросить взгляд, – это грустные цветы. Он стоял на лестничной площадке, вычеркивая из списка имя несостоявшегося покупателя и проклиная эту собачью работу, которая вся сплошь из неудач, редко-редко перемежающихся случайным успехом.

Когда дверь закрылась, я остался в темноте своей души. Я был не в состоянии даже пройти по городу света, lumière^[254], мне было на все плевать. Адриа Ардевол вернулся в гостиницу, бросился на кровать и разрыдался. В какое-то мгновение он был близок к тому, чтобы разбить зеркало, отражавшее его горе, или броситься с балкона. Вместо этого он решил сделать звонок. Когда он набирал номер, у него дрожали губы, а в глазах еще стояли слезы.

– Алло.

– Привет.

– Привет, ты где? Я тебе звонила на домашний...

– Я в Париже.

– Ах вот оно что.

– Да.

– На этот раз обошелся без адвоката?

– Да.

– Что с тобой?

Адриа помолчал несколько секунд. Он осознал, что пытается совместить несовместимое.

– Адриа, что с тобой?

И поскольку молчание на том конце провода затягивалось, она решила нарушить его:

– У тебя есть еще одна сестра во Франции?

– Нет-нет. Ничего особенного. Мне кажется, я просто немного соскучился по тебе.

– Очень хорошо. Когда ты возвращаешься?

– Завтра с утра сяду на поезд.

– Я могу поинтересоваться, что ты делаешь в Париже?

– Нет.

– Понятно, – сказала Лаура. По ее голосу было слышно, что она оскорблена.

– Ладно, – снизошел Адриа. – Я приехал ознакомиться с оригиналом *Della pubblica felicità*^[255].

– Что это?

– Последняя книга Муратори.

– А...

– Интересная вещь. В печатном издании есть интересные новшества по сравнению с рукописью, как я и думал.

– А...

– Что с тобой?

– Ничего. Лжец!

– Да.

И Лаура повесила трубку.

Наверняка просто для того, чтобы заглушить голос совести, он включил телевизор.

Я сразу же поймал бельгийский канал на нидерландском языке и не стал переключать, чтобы проверить, не забыл ли я язык. И услышал эту новость. Я прекрасно ее понял, поскольку она сопровождалась леденящими душу кадрами, – Адриа никогда не мог бы даже представить себе, что эта новость имеет к нему самое непосредственное отношение. Все на свете имеет ко мне отношение. Думаю, я виноват в том, что человечество катится по наклонной.

Согласно собранным местными журналистами рассказам очевидцев, которые переключались в бельгийскую прессу, произошло следующее. Туру Мбулака (Томас Лубанга Дило, Матонге, род. в Киншасе, проживает в Юмбу-Юмбу) был госпитализирован в Бебенбелеке утром двенадцатого

числа с жалобами на сильную боль в области живота. Доктор Мюсс определил у больного перитонит и, доверившись воле Господа, осуществил срочное хирургическое вмешательство прямо в убогой местной операционной. Ему не сразу удалось настоять на том, чтобы в операционную не входили ни телохранители – не важно, с оружием или без оружия, – ни жены пациента, ни его старший сын и чтобы на время операции больной снял темные очки. И он будет оперировать его немедленно не потому, что это местный главарь, а потому, что любая проволочка грозит смертью. Туру Мбулака проревел: делайте, как он говорит, суки! – он корчился от боли и боялся потерять сознание, потому что человек, потерявший сознание, вместе с тем теряет и бдительность и становится легкой добычей врагов.

Наркоз, введенный единственной сестрой-анестезистом больницы Бебенбелеке в тринадцать часов три минуты, все же лишил Туру Мбулаку бдительности. Операция длилась около часа, а через два часа, когда больной уже начал приходить в сознание и мог, не сдерживаясь, сказать, что у него адски болит нутро, что там натворил этот докторишка, он был переведен в общую палату (в Бебенбелеке нет отделения интенсивной терапии). Доктор Мюсс не обратил ни малейшего внимания на грозные заявления пациента – за свою жизнь он такого наслушался! – и запретил телохранителям находиться в палате. Они могут пока посидеть на зеленой скамейке у входа, потому что сейчас господину Туру Мбулаке необходим отдых. Три жены главаря принесли чистые простыни, веера от жары и телевизор на батарейках, который поставили в ногах койки. И, кроме этого, целую кучу еды, к которой пациенту нельзя было даже прикасаться в течение пяти дней.

У доктора Мюсса выдался тяжелый конец рабочего дня в диспансерном отделении. С каждым днем возраст все больше напоминал о себе, но Мюсс делал вид, что не замечает этого, и работал с прежней самоотдачей. Он приказал всем медсестрам, кроме дежурных, отправиться домой отдыхать, несмотря на то что их смена еще не закончилась. Это было его привычное распоряжение, потому что никто не знал, что готовит им новый день, и лучше, если персонал с утра будет свежий и отдохнувший. Приблизительно в это время к доктору пришел неизвестный посетитель-иностранец, с которым он заперся в кабинете и больше часа проговорил неизвестно о чем. Начиная смеркаться, через окно доносилось тревожное кудахтанье курицы. Когда со стороны Молоа выглянула луна, послышался глухой щелчок. Может быть, выстрел. Оба телохранителя, словно движимые одной пружиной, одновременно вскочили с зеленой скамейки

и отбросили недокуренные сигареты. Они выхватили оружие и недоуменно переглянулись. Звук был с той стороны. Что будем делать, пошли вдвоем, ты оставайся здесь, я пойду один. Ладно, давай, ты иди, а я покараулю тут, мало ли что.

– Почисти мне манго! – крикнул Туру Мбулака своей третьей жене за секунду до выстрела, если это, конечно, был выстрел.

– Доктор сказал, что...

В палате ничего не слышали – ни предполагаемого выстрела, ни разговоров, потому что телевизор болтал без умолку: какой-то конкурсант никак не мог ответить на вопрос и публика смеялась.

– Твой доктор дурак. Он хочет меня помучить.

Туру Мбулака взглянул на экран и сказал невезучему конкурсанту:

– Идиот.

И, обращаясь к третьей жене, добавил:

– Давай чисти манго.

В тот момент, когда Туру Мбулака впился зубами в запретный плод, случилась трагедия: вооруженный человек вошел в полумрак палаты и дал очередь по несчастному пациенту, манго разлетелось на куски, а страшная хирургическая рана померкла на фоне новых ранений. Убийца хладнокровно расстрелял трех беззащитных жен Туру Мбулаки, затем обвел палату взглядом сквозь прицел, как будто искал еще кого-то – может быть, сына убитого, и покинул помещение. Двадцать пациентов покорно ждали выстрела на своих койках, но смерть прошла стороной. Убийца, лицо которого было закрыто, по одним сведениям, желтым платком, по другим – синим, растворился в ночи. Одни уверяли, что слышали шум машины, другие ничего не помнили, трепеща при одном воспоминании о случившемся, а киншасская пресса сообщала, что убийца или убийцы уложили обоих оказавшихся некомпетентными телохранителей Туру Мбулаки: одного нашли в больничном коридоре, а другой истекал кровью на зеленой скамейке у входа. Также были убиты медсестра-конголезка и врач больницы Бебенбелеке, доктор Мюсс, который, услышав шум, вошел в палату и, должно быть, напугал преступников. Может быть, он даже попытался оказать им сопротивление, учитывая его презрение к опасности, ведь он только что прооперировал такого человека. Или ему просто сразу влили пулю, не дав даже пикнуть. Нет, некоторые свидетели утверждают, ему выстрелили в рот. Нет, в грудь. В голову. У каждого больного была своя версия каждого из эпизодов трагедии, даже если он ни одного не видел: я клянусь – платок, которым убийца закрывал лицо, был зеленый или, может быть, желтый, но я клянусь. Также несколько

больных, среди них дети, оказались задеты выстрелами, которые преступник адресовал Туру Мбулаке. Итак, это было описание нападения на больницу в регионе, где у европейских стран нет особенных интересов. Бельгийский канал посвятил сюжету двадцать шесть секунд, потому что, когда по всем СМИ проходила новость о причастности французского экс-президента Жискара д'Эстена к делу с бриллиантами императора Бокасссы, Жискара находился в поездке по Африке, посещал район Квилу и даже отклонился от намеченного маршрута, чтобы заехать в больницу Бебенбелеке, постепенно становившуюся известной, несмотря на нелюбимость своего основателя, которого интересовала только работа. Жискара сфотографировался с доктором Мюссом, который стоял низко опустив голову и наверняка думал, как обычно, о том, сколько ему предстоит еще сделать. А также с медсестрами из Бебенбелеке и каким-то белозубым малышом, который, никем не замеченный, кривлялся на заднем плане официальной фотографии. Все это было не так давно. И Адриа выключил телевизор, потому что ему только таких новостей не хватало, чтобы окончательно погрузиться в беспросветную меланхолию.

Через два дня французской и бельгийской прессе удалось установить различные факты, имеющие отношение к трагедии в больнице Бебенбелеке. В результате нападения на местного главаря Туру Мбулаку, которого уважали, ненавидели, поносили, превозносили и боялись во всем регионе, погибли семь человек: пятеро из свиты касика, а также медсестра и директор больницы доктор Ойген Мюсс, известный своей неустанной тридцатилетней работой на благо больных в богом забытом углу между Белеке и Киконго. Будущее основанной им в пятидесятые годы больницы под вопросом... И как малозначимая деталь, в конце выпуска сообщалось, что в ответ на жестокое убийство Туру Мбулаки в Юмбу-Юмбу произошли волнения, в результате которых погибли более десяти человек, среди них сторонники и противники этой неоднозначной личности – то ли полевого командира, то ли касика, сама возможность существования которого является прямым следствием деколонизационных процессов в бывших бельгийских колониях.

В трехстах сорока трех километрах к северу от гостиницы, где Адриа часами мечтал о том, чтобы Сара пришла к нему и предложила начать все заново, а он сказал бы: как ты узнала, что я остановился в этой гостинице? – а она ответила бы: я связалась с тем же самым детективом, который помог тебе найти меня, но она не приходила, и он не спускался ни к завтраку, ни к ужину, не брился, вообще ничего не делал, потому что

хотел только умереть, и плакал не переставая; в трехстах сорока трех километрах от страданий Адриа дрожащие руки уронили номер «Gazet van Antwerpen»^[256]. Газета упала на стол рядом с чашкой липового чая. Перед телевизором, по которому передавали ту же самую новость. Мужчина отодвинул газету, которая упала теперь на пол, и посмотрел на свои дрожащие руки. Они не слушались его. Он закрыл лицо ладонями и разрыдался, как не рыдал уже тридцать лет. Ад всегда наготове и только ждет момента, чтобы войти и поселиться в нашей душе.

Вечером сюжет о том же событии вышел на Втором канале Фламандской телерадиовещательной компании, и основателю больницы было уделено больше внимания. По телевизору также сказали, что в десять часов вечера будет показан документальный фильм о нем, снятый пару лет назад по случаю его отказа от премии короля Балдуина, поскольку она не сопровождалась денежным призом, который мог бы пойти на поддержание больницы Бебенбелеке. А также потому, что доктор не был готов отлучаться в Брюссель за какой бы то ни было премией, в то время как его присутствие необходимо в больнице.

В десять часов вечера дрожащая рука нажала на кнопку включения на стареньком телевизоре. Послышался тягостный вздох. На экране показалась заставка программы «60 минут» и сразу за ней – кадры, очевидно снятые скрытой камерой: доктор Мюсс объяснял собеседнику, идущему рядом с ним под навесом больницы мимо зеленой скамейки, еще не окрашенной кровью, что не нужно снимать никакой репортаж, что у него в больнице много работы и он не может ни на что отвлекаться.

– Репортаж может принести большую пользу, – слышался возбужденный голос Ранди Остерхоффа, шедшего чуть позади и направлявшего на доктора объектив скрытой камеры.

– Если вы хотите сделать пожертвование на больницу, мы будем очень благодарны.

Махнув рукой куда-то назад, он добавил:

– Сегодня мы делаем прививки, будет тяжелый день.

– Мы подождем.

– Пожалуйста.

Тут появлялось название фильма: «Бебенбелеке». За ним – общие планы убогих строений больницы и замотанные, сбивающиеся с ног медсестры, проявляющие какую-то нечеловеческую преданность своей работе. И вдали доктор Мюсс. Закадровый голос рассказывал, что доктор Мюсс родился в небольшой деревушке на балтийском берегу, приехал в Бебенбелеке около тридцати лет назад буквально босиком и камень

за камнем строил эту больницу, которая покрывает, все еще в недостаточной мере, медицинские нужды обширного региона Квилу.

Мужчина с дрожащими руками встал и направился к телевизору, чтобы выключить его. Этот репортаж он знал наизусть. Он вздохнул.

Два года назад его показали первый раз. Он мало времени проводил у экрана, но в тот момент телевизор оказался включен. Он прекрасно помнил, что его внимание привлекло динамичное новостное начало: доктор Мюсс спешит по делу и на ходу объясняет журналистам, что у него нет времени ни на что другое.

– Я знаю этого человека, – проговорил тогда мужчина с дрожащими руками.

Он внимательно посмотрел весь репортаж. Слово «Бебенбелеке» ничего ему не говорило, как и названия – Белеке или Киконго. Но лицо – лицо доктора... Это лицо было связано с его болью, с его единственной огромной болью, но он не знал, каким образом. Ему на память снова пришли разрывающие душу воспоминания о близких: маленькая Труде – потерянная крошка Тру; он увидел непонимающий взгляд малышки Амелии – почему ты ничего не делаешь! – ведь он должен был всех их спасти; тещу разрывает кашель, но она не выпускает из рук скрипку; а моя Берта прижимает к себе Жульет – той всего несколько месяцев. В его душе всколыхнулся весь ужас мира. И почему ему кажется, что лицо доктора как-то связано с этим ужасом?.. Он заставил себя досмотреть репортаж и в конце узнал, что в этом вечно политически нестабильном регионе Бебенбелеке – единственная больница на много сотен километров окрест. Бебенбелеке. И доктор – с лицом, от одного взгляда на которое ему становилось плохо. И тогда, уже на финальных титрах, он вспомнил, где и как познакомился с доктором Мюссом, с братом Мюссом, монахом-траппистом^[257] со смиренным взглядом.

Тревога поднялась, когда один взволнованный брат, несущий послушание в больнице, на ухо сообщил отцу приору^[258] о состоянии брата Роберта: я не знаю, что с ним делать: сорок девять килограммов, он тощ как спичка, у него поблекли глаза. Я...

– Глаза у него никогда особенно не блестели, – вырвалось у отца приора, который в ту же минуту раскаялся, что не проявил достаточного милосердия к одному из братьев общины.

– Я просто не знаю, что с ним еще делать. Он не притрагивается к мясному и рыбному бульону, который мы варим только для больных. Переводим продукты.

– А как же послушание?

– Он пытается, но не может. Как будто он хочет умереть. И умереть поскорее – да простит меня Господь, но такое у меня впечатление.

– Вы правильно сделали, что сказали об этом, брат. Таким образом вы исполняете свой обет послушания.

– Брат Роберт... – начал снова монах, отерев платком лысину и пытаясь совладать с охватившей его дрожью, – брат Роберт хочет умереть. А кроме того...

Пряча платок в складках одеяния, он рассказал отцу приору секрет, которого тот еще не знал, потому что им не захотел поделиться его преподобие отец Маартен, бывший настоятелем, когда брат Роберт вступил в новициат при монастыре ордена цистерцианцев строгого соблюдения в Ахеле, что стоит над темными и прозрачными водами Тонгелреэпа^[259] и кажется идеальным местом для успокоения мучительных душевных бурь, поднятых чужими грехами и собственной слабостью. Аббатство устава святого Бенедикта в Ахеле было идиллическим местом, где Маттиас Альпаэртс, будущий брат Роберт, мог научиться крестьянствовать и привыкнуть вдыхать чистый воздух, пахнувший коровами, делать сыр, работать по меди и выметать пыль из углов внутреннего двора и прочих монастырских построек, которые ему было велено мести, в окружении плотной тишины, царившей двадцать четыре часа в сутки среди монахов-траппистов, его новых братьев. Ему было совсем не трудно вставать в три часа ледяной ночи и направлять непослушные стопы, которые сандалии не защищали от холода, на первые утренние молитвы, дававшие надежду на новый день и, может быть, на новую надежду. А потом, по возвращении в келью, читать *Lectio Divina*^[260], хотя это порой превращалось в муку, потому что образы пережитых страданий вновь безжалостно вторгались в его истерзанную душу, и Господь замолкал, как и в те времена, когда они были в аду. Поэтому голос колокола, призывавшего на утренние хваления, звучал надеждой. А после, в шесть часов во время мессы, он, сколько позволяла скромность, не сводил глаз со своих братьев, живых, благочестивых, и молился с ними в унисон: никогда больше, Господи, никогда больше. Возможно, он был ближе всего к счастью, когда приступал к четырехчасовому дежурству на скотном дворе. Он бормотал свои страшные секреты коровам во время дойки, а те отвечали ему пристальным взглядом, полным понимания и сострадания. Он научился делать ароматный сыр с травами и представлял себе, как раздает его тысячам людей, словно Тело Господне, уж коли он не мог причащать верующих,

поскольку сам отказался даже от поставления в малые чины, ибо считал себя недостойным, и просил только об укромном уголке, где мог бы до конца жизни в молитве преклонять колени, как фра Микел де Сускеда, другой беглец, попросивший убежища несколькими веками раньше в монастыре Сан-Пере дел Бургал. Проведя четыре часа с коровами, среди навоза, вороша сено и прерываясь лишь для совершения молитвы третьего часа^[261], а после вымыв руки и умыв лицо, чтобы воню не оскорблять братьев, он входил в церковь, как в убежище от зла, и совершал с братьями молитву шестого часа – в полдень. Неоднократно начальствующие запрещали ему ежедневно мыть посуду после общей трапезы, поскольку это послушание касалось всех членов общины без исключения и он должен был проявлять смирение и подавлять желание служить другим. В два часа он возвращался под сень церкви, чтобы совершить молитву девятого часа, а после оставалось еще два часа работы, которые он проводил уже не с коровами, а на грядках, удобряя их и выравнивая, сжигая сорняки, пока брат Паулус доил коров, а после снова должен был мыться, в отличие от братьев, несших послушание в библиотеке, которым самое большее нужно было ополоснуть пыльные пальцы и которые, может быть, завидовали братьям, занятым физическим трудом вместо того, чтобы сидеть в четырех стенах, изнашивая зрение и память. Второе упражнение в чтении Писания, во второй половине дня, было прелюдией, завершавшейся в шесть часов вечерней службой. Ужин, во время которого он только делал вид, что ест, перебрасывал мостик к молитвам комплетория^[262], когда все братья собирались под темными церковными сводами, где горели лишь два огонька свечей перед образом Богоматери Ахельской. И когда колокола монастыря бенедиктинского устава отбивали восемь часов вечера, он ложился в постель, как и другие братья, с надеждой, что завтрашний день будет точно таким же, как сегодняшней и как послезавтрашний, и так до скончания века.

Отец приор ошеломленно посмотрел на монаха, ухаживающего в больнице за братом Робертом. Почему же его преподобие настоятель отец Манфред именно сейчас находится в отъезде! Почему Генеральный капитул должен происходить именно в тот день, когда брат Роберт впал в своеобразную прострацию, из которой больничные братья не могут его вывести! Ну почему же, Господи? Зачем я согласился быть приором?

– Но он жив, да?

– Да. Он в кататоническом ступоре, мне кажется. Говоришь ему, встань – и он встает; говоришь, сядь – и он садится. Просишь сказать что-

нибудь – и он принимается плакать, отец.

– Это не кататония.

– Видите ли, святой отец, я умею лечить раны, царапины, переломы, вывихи, грипп и простуду, боли в животе – все что хотите! Но все эти душевные дела...

– И что вы посоветуете, брат?

– Святой отец, я...

– Да-да, что вы мне посоветуете?

– Чтобы его осмотрел настоящий врач.

– Доктор Геель вряд ли сможет ему помочь.

– Я имею в виду настоящего врача...

Хорошо, что на третьем заседании Генерального капитула отец настоятель Манфред поделился с другими аббатами своими заботами, вызванными тревожным звонком приора, чей голос казался в телефоне испуганным и далеким. Настоятель Мариавальдского монастыря сообщил ему, что если отец Манфред сочтет это уместным, то он может рекомендовать монаха своей общины, врача, который – проявляя крайнее смирение и очевидно против воли – приобрел славу и за пределами монастырских стен своим умением управляться как с телесными, так и с душевными недугами. Так что брат Ойген Мюсс к вашим услугам.

Впервые за десять лет – с шестнадцатого апреля тысяча девятьсот пятидесятого года от Рождества Христова, когда он вступил в Ахельский монастырь бенедиктинского устава и превратился в брата Роберта, – Маттиас Альпаэртс покидал пределы аббатства. Его руки, лежавшие на коленях ладонями вверх, сильно дрожали. Он испуганно смотрел в грязное окно «ситроена-траксьон-аван», подпрыгивавшего на пыльной дороге, унося его из убежища в мир бурь, который он когда-то надеялся оставить навсегда. Больничный брат иногда искоса поглядывал на него, он замечал это и пытался отвлечься, принимаясь рассматривать затылок молчаливого шофера. Дорога в Хаймбах заняла четыре с половиной часа, в течение которых больничный брат, пытаясь нарушить его упорное молчание, успел прочитать под не слишком мелодичный шум мотора молитвы третьего, шестого и девятого часа. Они прибыли к воротам Мариавальдского монастыря, когда колокола, столь непохожие на колокола Ахеля, созывали общину на вечернюю молитву.

На следующий день, после утренних молитв, его усадили на жесткую скамейку в углу широкого и светлого коридора и велели подождать. Несколько тихих и почтительных слов, сказанных по-немецки одним из братьев, прогремели в его ушах грубыми приказами. Приехавший с ним

брат из Ахеля и брат – помощник Мюсса исчезли за одной из дверей. Наверное, проводили предварительные консультации. В любом случае его оставили одного, наедине со всеми страхами, а потом брат Мюсс пригласил его в свой тихий кабинет и предложил сесть напротив, через стол, и на достаточно правильном голландском попросил его поведать о своих муках. Брат Роберт недоверчиво поднял на него глаза и встретил мягкий взгляд, и тогда его боль вырвалась наружу и он стал говорить: потому что, представляете, ты сидишь дома обедаешь, жена, теща и три дочки, теще немного нездоровится, а на столе новые салфетки в белую и голубую клетку, потому что у крошки Амелии, старшенькой, день рождения. Сказав это, брат Роберт не мог остановиться и говорил без передышки целый час, не сделав и глотка воды, не сводя взгляда с безупречной поверхности стола, не замечая опечаленного взгляда брата Ойгена Мюсса. Рассказав всю историю, он добавил: и так я плелся по жизни, опустив голову, оплакивая свою трусость и не находя способа исправить свои ошибки, пока мне не пришло в голову укрыться там, куда не проникнут воспоминания. Мне было необходимо восстановить общение с Богом, и я попытался вступить в картезианский монастырь, однако там мне указали, что мой план не слишком хорош. С того дня я решил не говорить никому правду, и в других монастырях, куда я обращался, я не объяснял причин своей боли и старался даже не выказывать ее. В ходе собеседований в каждом следующем монастыре я постепенно понял, о чем нужно говорить, а о чем – умалчивать, так что, стучась в бенедиктинское аббатство в Ахеле, я был уже уверен, что никто не станет чинить препятствий моему запоздалому обращению, и умолял лишь о том, чтобы мне позволили, если послушание не будет требовать иного, исполнять самую скромную работу в обители. И с того дня я снова начал понемногу говорить с Господом и научился рассказывать свои истории коровам.

Доктор Мюсс взял его за руку. Они просидели так молча, может быть, десять, а может быть, двадцать минут, а потом брат Роберт стал дышать ровнее и сказал: после многих лет монастырского покоя воспоминания снова всколыхнулись в моей голове.

– Вы должны быть готовы к тому, что они будут пробуждаться время от времени, брат Роберт.

– Я не выдержу этого.

– Выдержите, с Божьей помощью.

– Бога нет.

– Вы монах-траппист, брат Роберт. Какой реакции вы от меня ждете?

– Я каюсь перед Господом, но не понимаю Его замысла. Почему, если

Бог – это любовь...

– Вас будет поддерживать и помогать оставаться человеком сознание того, что вы не причинили никому зла, подобного тому, которое причинили вам и которое гложет вам душу.

– Нет, мне не причинили зла. Но маленькая Тру, Амелия, крошка Жульет, моя Берта и простуженная теща...

– Вы правы, но и вам причинили зло. Героический человек – это тот, кто умеет оправиться после нанесенного вреда.

– Если бы я встретил тех, кто в ответе за... – Он всхлипнул. – Не знаю, что бы я сделал, святой отец. Клянусь вам, я уверен, что не способен простить их...

Брат Мюсс записал что-то на клочке бумаги. Брат Роберт посмотрел прямо на него, и тот не отвел глаз, как и тогда, когда доктор Мюсс говорил журналисту, что у него нет времени, и, сам того не зная, взглянул в скрытую камеру. И тогда Маттиас Альпаэртс понял, что должен поехать в Бебенбелеке, где бы это ни было, чтобы вновь встретить этот взгляд, способный его успокоить, потому что вот уже несколько дней, как воспоминания снова всколыхнулись в его голове.

По прибытии в Бебенбелеке первым делом обнаруживаешь, что не существует населенного пункта с таким названием. Это название больницы, которая находится посреди пустоты, далеко на север от Киквита, далеко на юг от Юмбу-Юмбу и достаточно далеко от Киконго и Белеке. Больница окружена хижинами, которые построили некоторые пациенты без какого-либо плана или официального распоряжения и в которых обыкновенно размещаются родственники больных, если пребывание здесь последних затягивается. Постепенно появляются новые хижины, где селятся люди, как-нибудь связанные с больницей или никак не связанные с ней; со временем эти строения и образуют деревню Бебенбелеке. А доктору Мюссу и этого достаточно. Как и курам, которые спокойно бродят не только по окрестностям, но и по больничному двору, хотя им это строго запрещено. В Бебенбелеке сконцентрирована людская боль, а в полукилометре от больницы, в направлении Джило, сразу за белой скалой, лежат на кладбище те, кто не справился с болезнью. Индикатор неудач доктора Мюсса.

– Я покинул общину несколько месяцев спустя, – сказал Маттиас Альпаэртс. – Я вступил в нее, думая, что это средство от моей боли, и, выходя, был уверен, что это действительно было лучшее средство. Но в стенах монастыря или за ними мои воспоминания свежи,

как и раньше.

Доктор Мюсс усадил его на стоявшую при входе зеленую скамейку, еще не запачканную кровью, и взял его за руку, как и тридцать лет назад в больничном кабинете Мариавальдского аббатства.

– Я благодарен вам за желание помочь, брат Мюсс, – сказал Маттиас Альпаэртс.

– Мне жаль, что я не могу помочь вам в достаточной мере.

– Вы очень мне помогли, брат Мюсс. Сейчас я уже начеку, и, когда воспоминания возвращаются, я могу оказывать им какое-то сопротивление.

– Это часто с вами бывает?

– Чаще, чем мне хотелось бы, брат. Потому что...

– Не называйте меня братом, я уже не монах, – перебил его доктор Мюсс. – Немного спустя после нашего знакомства я написал прошение в Рим.

Молчание бывшего брата Роберта было красноречивее любого вопроса, и брату Мюссу пришлось объяснить, что он покинул общину в поисках покаяния и, да простит меня Господь, в уверенности, что я принесу больше пользы, пытаясь помочь попавшим в беду несчастным, чем молясь в положенные часы в монастыре.

– Я понимаю вас.

– Мне не в чем упрекнуть монахов. Дело в моем душевном состоянии, и начальствующие правильно меня поняли.

– Вы просто святой, который подвизается в этой пустыне.

– Это далеко не пустыня. А я тем более не святой. Я медик, бывший монах, и просто практикую здесь как врач. И стараюсь исправлять произошедшее с другими зло.

– Меня беспокоит зло само по себе.

– Я знаю. Но я могу бороться только с его последствиями.

– Я хочу остаться здесь и помогать вам.

– Вам слишком много лет. Ведь вам уже за семьдесят?

– Это не важно. Я могу быть полезен.

– Нет, это невозможно.

Тон доктора Мюсса вдруг стал сухим. Как если бы собеседник глубоко оскорбил его. Руки Маттиаса Альпаэртса задрожали, и он спрятал их в карманы, чтобы доктор Мюсс этого не заметил.

– Когда на вас находит эта дрожь? – Доктор Мюсс указал на его руки, и Маттиас с трудом сдержал недовольную гримасу. Он положил руки перед собой – их била крупная дрожь.

– Когда на меня находят воспоминания. Иногда мне трудно поверить,

что руки так двигаются помимо моей воли.

– Вы ничем не сможете помочь в больнице с такими руками.

Маттиас Альпаэртс взглянул ему в глаза. Последнее замечание было, мягко говоря, жестоким.

– Я много чем могу помочь, – обиженно сказал он. – Например, я могу работать в огороде. В Ахельском монастыре я научился обрабатывать землю.

– Брат Роберт... Маттиас... Не настаивайте. Вы должны вернуться домой.

– У меня нет дома. А здесь я могу быть полезен.

– Нет.

– Я не принимаю отказа.

Тогда брат Мюсс взял Маттиаса Альпаэртса под руку и отвел ужинать. Как и каждый вечер, единственным блюдом на ужин была клейкая пшенная каша, которую доктор разогревал на плитке. Они сели прямо в кабинете, превратив рабочий стол в обеденный. Доктор Мюсс открыл шкафчик, достал оттуда две тарелки, и Маттиас увидел, как тот что-то прячет – может быть, грязную тряпку – за пластиковый стакан. Пока они без аппетита ели, доктор объяснил, почему Маттиасу невозможно остаться в больнице ни в качестве санитаря, ни в качестве садовника, ни в качестве повара, ни в качестве огородника, чтобы возделывать землю, которая не родит ни зернышка, пока с работника не сойдет семь кровавых потов.

В полночь, когда все спали, Маттиас Альпаэртс вошел в кабинет доктора Мюсса, и руки у него не дрожали. Он открыл шкафчик у окна и, светя себе карманным фонариком, нашел то, что искал. Он внимательно рассмотрел тряпку в скудном и неверном свете. Целую бесконечную минуту он колебался, не уверенный, что узнал ее. Вся его дрожь сконцентрировалась в сердце, которое, казалось, было готово выскочить наружу. Когда пропел петух, он принял решение и положил тряпку на место. Он почувствовал жжение в пальцах, то же жжение, что и Феликс Ардевол или я, когда чувствую, что желаемый предмет может навсегда ускользнуть из моих рук. Жжение и дрожь в кончиках пальцев. Хотя болезнь Маттиаса Альпаэртса была иной, чем у нас.

Он уехал еще до рассвета в фургончике, который привозил из Киконго лекарства и продукты, а еще каплю надежды для больных обширного региона, раскинувшегося от Квилу на тысячи квадратных километров.

Я вернулся из Парижа, понунив голову и поджав хвост. В то время Адриа Ардевол читал курс истории современной мысли многочисленным студентам, настроенным довольно скептически, несмотря на славу замкнутого-неприятного-ученого-который-делает-что-хочет-и-ни-с-кем-не-ходит-пить-кофе-ну-вообще-никогда-и-игнорирует-все-собрания-преподавателей-потому-что-он-выше-добра-и-зла, которую он уже начинал приобретать среди своих коллег в Барселонском университете. И несмотря на своеобразный престиж, связанный с почти подпольной публикацией двух тонких и скорее провокационных книжек «Французская революция» и «Маркс?», благодаря которым он начал приобретать поклонников и недоброжелателей. Поездка в Париж подорвала его силы, ему было на все наплевать, и не было ни малейшего желания говорить об Адорно^[263].

Я больше не думал о тебе, Лола Маленькая, потому что мои мысли были заняты Сарой. Пока мне не позвонила какая-то непонятная женщина и не сказала: моя двоюродная сестра умерла – вы в списке людей, которым она просила об этом сообщить. Она назвала время и место, и мы обменялись дежурными соболезнованиями.

На похоронах присутствовало человек двадцать. Три-четыре лица показались мне смутно знакомыми, но мне не удалось ни с кем поздороваться, даже с позвонившей мне родственницей покойной. Дулорс Каррьо-и-Солежибер, Лола Маленькая (1910–1982), родившаяся и умершая в Барселонете, – подруга матери, добрая женщина, которая подложила мне настоящую свинью, потому что ее единственной и истинной семьей была моя мать. Вероятно, она была ее любовницей. А я не смог проститься с тобой с той теплотой, которую ты, несмотря ни на что, заслуживала.

- Эй-эй, сколько лет назад вы расстались? Двадцать?
- Ты что, какие двадцать! И потом, мы не расстались – нас разлучили.
- У нее, наверное, уже и внуки есть.
- А как ты думаешь, почему я не пытался найти другую женщину?
- Честно говоря, не знаю.
- Я объясню: каждый день, ну почти каждый, знаешь, о чем я думаю, ложась спать?
- Нет.
- Я думаю, сейчас прозвенит звонок: динь-дон...
- Твой звонок звучит дззз-дззз-дззз...
- Ну хорошо: дззз-дззз-дззз, я открываю, а там стоит Сара и говорит, что она ушла потому-то и потому-то, но не найдется ли теперь в твоей жизни для меня местечка, Адриа.
- Эй-эй, не надо, не плачь. Забудь об этом. Знаешь, это с какой

стороны посмотреть. Может, все получилось к лучшему?

Бернат чувствовал себя неловко от такой непривычной откровенности Адриа.

Он вопросительно указал на шкаф, Адриа пожал плечами – Бернат истолковал это как «да, если хочешь», достал Виал и сыграл пару фантазий Телеманна^[264], от которых я почувствовал себя лучше, – спасибо тебе, Бернат, дружище.

– Если тебе нужно еще выплакаться, плачь.

– Спасибо, что разрешил, – улыбнулся Адриа.

– Ты что-то совсем сдался.

– Меня сразило, что наши матери обошлись с нашей любовью как хотели, а мы попались в их ловушку.

– Ну и ладно. Ваших матерей больше нет, и ты можешь дальше...

– Что я могу дальше?

– Не знаю. Я хотел...

– Я завидую твоей эмоциональной стабильности.

– Какая там стабильность!

– Да-да. Вы с Теклой – раз-два...

– У меня нет взаимопонимания с Льюренсом.

– Сколько ему лет?

– Ему лишь бы противоречить.

– Не хочет заниматься скрипкой?

– Откуда ты знаешь?

– Знакомая история.

Адриа задумался. И покачал головой. Похоже, жизнь катится не по тем рельсам, заключил он наконец. А в воскресенье, как сорвавшийся алкоголик, он пошел развеяться на рынок Сан-Антони, навестил Муррала в его лавке, а тот кивком пригласил его следовать за собой. На этот раз речь шла о первых десяти страницах рукописи «Рене Мопрена» братьев Гонкуров^[265], написанных ровным почерком, с некоторыми исправлениями на полях, и принадлежавших, согласно уверениям Муррала, Жюлю Гонкуру.

– Вы разбираетесь в литературе?

– Я продавец – продаю книги, литографии, рукописи и жвачки «Базука». Вы меня понимаете?

– Но откуда вы их берете?

– Жвачки?

Хитрый Муррал не раскрыл мне свою систему. Молчание

гарантировало ему безопасность, а также постоянную необходимость в его посредничестве.

Я купил рукопись Гонкуров. И через несколько недель на моем горизонте появились, как будто бы только того и ждали, новые соблазны: разрозненные страницы Оруэлла, Хаксли и Павезе^[266]. Адриа купил их все, несмотря на свой теоретический принцип не покупать только ради покупки. Но восьмого февраля не помню какого года Адриа не смог пройти мимо страницы из дневника Павезе *Il mestiere di vivere*^[267], на которой говорилось о жене Гуттузо^[268] – о том, как привязывает к жизни женщина, которая ждет тебя, и спит с тобой, и согревает тебя, которая всегда рядом и вдыхает в тебя жизнь. Сара моя, я потерял тебя и никогда не верну. Как я мог отказаться от этой страницы? Я уверен, что Муррал замечал мою дрожь и называл цену, смотря по ее интенсивности. И я убежден, что очень трудно отказаться от обладания авторскими рукописями задевающих за живое текстов. Исписанный лист бумаги, штрихи, почерк, чернила – материальные элементы, воплощающие идею духа, которая в конце концов превращается в произведение искусства или в памятник мирового мышления; текст, проникающий в читателя и изменяющий его. Невозможно отказаться от этого чуда. Поэтому я недолго думал, когда Муррал свел меня с человеком, чьего имени я так и не узнал, продававшим по безумной цене два стихотворения Унгаретти^[269] – *Soldati* и *San Martino del Carso*^[270], где речь идет о деревне, разрушенной войной, а не временем. *È il mio cuore il paese più straziato*^[271]. И мое сердце тоже, дорогой Унгаретти. Какая тоска, какая боль, какая радость обладать листом бумаги, который автор использовал для того, чтобы превратить в произведение искусства первые неясные озарения! И я заплатил за него, сколько попросили, почти не торгуясь. Тут Адриа услышал, как кто-то презрительно сплюнул, и оглянулся:

- Что, Карсон?
- Хау. Я тоже хочу говорить.
- Давайте выкладывайте.
- У нас проблема, – сказали они хором.
- Какая?
- Ты еще не понял?
- Даже не собираюсь ломать себе голову.
- Ты знаешь, сколько потратил на рукописи за последние пару лет?
- Я люблю Сару, но она ушла, потому что наши матери нас обманули.
- Здесь ты уже ничем не можешь помочь. Она начала жизнь заново.

- Еще один виски, пожалуйста. Двойной.
- Ты знаешь, сколько ты потратил?
- Нет.

Зажужжал стоявший в офисе калькулятор. Не знаю, кто его включил – храбрый вождь арапахо или суровый ковбой. Несколько секунд молчания, и они сообщили мне огромную сумму денег, которую...

- Ладно-ладно, я больше не буду. Хватит. Вы довольны?
- Смотрите, профессор, – сказал как-то Муррал. – Ницше.
- Ницше?

– Пять страниц рукописи *Die Geburt der Tragödie*^[272]. Я, кстати, не знаю, что это значит.

- «Рождение трагедии».

– Я так и думал, – сказал Муррал, жуя зубочистку, потому что он только что пообедал.

Вместо того чтобы счесть это название предостережением, я больше часа внимательно изучал пять листов, а после Адриа поднял голову и воскликнул: откуда же вы их берете? И впервые Муррал ответил на этот вопрос:

- Связи.
- Да уж... Связи.
- Да, связи. Если находятся покупатели, рукописи появляются как грибы после дождя. Особенно если гарантировать подлинность, как мы.
- Кто это – мы?
- Эта рукопись вас интересует или нет?
- Сколько?
- Столько.
- Столько?
- Столько.
- Н-да.

Но что делать с покалыванием, жжением в пальцах и в сознании!

– Ницше. Пять первых страниц рукописи *Die Geburt der Tragödie*, что значит «Разрушение трагедии».

- Рождение.
- Я это и хотел сказать.
- Откуда у вас столько первых страниц?
- Вся рукопись – это слишком много.

– Вы хотите сказать, что кто-то специально их разрывает на части, чтобы...

И с дрожью в голосе:

– А если мне нужно больше? Если мне нужна вся книга?
– Сначала вам придется выслушать ее цену. Но мне кажется, лучше начать с того, что у нас уже есть. Вас интересует эта рукопись?

- Еще как!
- Цену вы уже знаете.
- Столько минус столько-то.
- Нет. Столько.
- Тогда минус столько-то.
- Над этим уже можно подумать.
- Хау!
- Не мешай, чтоб тебя!
- Простите?
- Нет-нет, это я сам с собой. Договорились?

Адриа Ардевол заплатил столько минус столько-то и возвращался домой с первыми пятью страницами Ницше, чувствуя необходимость снова поговорить с Мурралом о приобретении всей рукописи, если она и правда у него есть. И он подумал, что, может быть, настал момент поинтересоваться у Сагреры, сколько у них в наличии денег, чтобы понять, есть ли у Карсона и Черного Орла основания охотиться и ахать. Но Сагрера посоветовал бы ему вкладывать деньги и сказал бы, что жаль держать такую сумму просто в банке.

- Я не знаю, во что их вкладывать.
- Покупайте квартиры.
- Квартиры?
- Да. И живопись. Я имею в виду картины.
- Ну... Я покупаю рукописи.

И он показал бы ему свою коллекцию. Сагрера изучил бы ее, наморщив нос, надолго задумался и после объявил бы, что это очень рискованно.

– Почему?
– Они требуют большого внимания. Их могут погрызть мыши или эти серебристые жучки.

- Мышей у меня нет, а чешуйницами занимается Лола Маленькая.
- Хау.
- Что?
- Катерина.
- Да. Спасибо.

– Я настаиваю: покупая квартиру, вы делаете надежное вложение, которое не потеряет в цене.

Поскольку Адриа Ардевол хотел избежать этого разговора, он не стал говорить с Сагрерой ни о квартирах, ни о мышах. Ни о деньгах, потраченных на корм для серебристых чешуйниц.

Несколько ночей спустя я снова плакал, но не от любви. Нет, все-таки от любви. В моем почтовом ящике лежало извещение от некоего Калафа, барселонского нотариуса, совершенно мне незнакомого, – я сразу подумал, что с продажей магазина возникли проблемы, связанные с какими-нибудь семейными историями, потому что никогда не доверял нотариусам, хотя сейчас и сам выступаю в роли нотариуса, свидетельствуя о жизни, которая с каждым днем принадлежит мне все меньше. Так о чем я... да, нотариус Калаф, неизвестный господин, полчаса продержавший меня в старомодной приемной без каких-либо объяснений. На полчаса позже назначенного времени он вошел в свою старомодную приемную – не извинившись, не взглянув на меня, – погладил свою густую белую бородку и попросил меня показать удостоверение личности. Он вернул его с гримасой, которую я истолковал как выражение неудовольствия или разочарования.

– Сеньора Мария Дулорс Каррьо распорядилась оставить вам часть наследства.

Я – наследник Лолы Маленькой? Она что, была миллионершей и всю жизнь проработала служанкой, да еще в такой семье, как моя? Бог мой.

– И что же мне досталось?

Нотариус посмотрел на меня искоса: я совершенно точно ему не понравился. Но я все еще переживал парижскую катастрофу, в ушах у меня звучало: я начала жизнь заново, Адриа, – и хлопок закрывшейся двери, и потому мне было все равно, что думают обо мне все члены коллегии адвокатов и нотариусов, вместе взятые. Нотариус снова провел рукой по бородке, покачал головой и нарочито в нос зачитал лежавший перед ним документ:

– Картина кисти некоего Модеста Уржеля, датированная тысяча восемьсот девяносто девятым годом.

Лола Маленькая, ты даже упрямее меня.

Когда все необходимые процедуры были выполнены и причитающиеся налоги уплачены, вид монастыря Санта-Мария де Жерри кисти некоего Уржеля вернулся на свое старое место на стене в столовой – Адриа намеренно не занимал его ни другими картинами, ни полками. Печальные косые лучи заходящего за холмы Треспуя солнца еще доставали до монастырских стен. Адриа отодвинул стул от обеденного стола и сел.

Он долго сидел, глядя на картину, словно хотел проследить медленное движение солнца. Отведя наконец взгляд от монастыря Санта-Мария де Жерри, он разрыдался.

Университет, занятия, возможность читать все, что было кем-то когда-то написано... Радость обнаружить неожиданную книгу в домашней библиотеке. Одиночество не тяготило Адриа, потому что все его время было занято. Две опубликованные им книги встретили жесткую критику немногочисленных читателей; на вторую из них в газете «Эль коррео Каталан» вышел едкий отзыв, который Адриа вырезал и хранил в папке. В глубине души он гордился тем, что вызвал у читателей такие сильные эмоции. Однако ко всему этому в целом он оставался равнодушным – настоящую боль ему причиняло иное, и к тому же он знал, что еще только начал оттачивать свой слог. Время от времени я играл на своей любимой Сториони – прежде всего, чтобы у нее не пропал голос, а также чтобы проникнуть в тайны, оставившие шрамы на ее корпусе. Иногда я даже возвращался к техническим упражнениям Трульолс и немного скучал по ней. Что-то с ними со всеми стало?.. Как-то сложилась жизнь у нашей учительницы...

– Она умерла, – сказал ему однажды Бернат (теперь, когда они стали иногда видеться). – А тебе пора бы жениться, – добавил он тоном дедушки Ардевола, решавшего, кому и на ком жениться в Тоне.

– Давно она умерла?

– Нехорошо тебе жить одному.

– Мне очень хорошо одному. Я провожу дни в чтении и научных занятиях. Играю на скрипке и на пианино. Время от времени балую себя каким-нибудь сыром, фуа-гра или вином из магазина Муррии. Что мне еще нужно? Остальной жизнью занимается Лола Маленькая.

– Катерина.

– Да, Катерина.

– Потрясающе.

– Это то, к чему я стремился.

– А спишь ты с кем?

Да разве это главное? Все дело в сердце. По велению сердца двадцать три студентки и две коллеги – и всякий раз окончательно и безнадежно – по очереди становились предметом его воздыханий, но Адриа не имел

успеха, потому что... ну, не считая Лауры, которая... одним словом, которая...

– От чего умерла Трульолс?

Бернат встал и вопросительно посмотрел на шкаф. Адриа махнул рукой – мол, как хочешь. И Бернат сыграл бешеный чардаш, от которого заплясали даже рукописи на столе, а потом нежный вальсок – может быть, излишне слащавый, но великолепно исполненный.

– Звучит потрясающе, – восхищенно сказал Адриа.

И, беря Виал, добавил не без ревности:

– Когда будешь играть с камерным оркестром, попроси ее у меня.

– Ой нет, такая ответственность.

– Ну так что? Что у тебя была за срочная нужда?

Бернат хотел, чтобы Адриа прочитал его новый рассказ, и я почувал, что у нас снова будет размолвка.

– Дело в том, что я продолжаю писать. Хотя ты опять будешь говорить, чтобы я бросил это дело.

– Молодец.

– Но я боюсь, что ты прав.

– В чем?

– В том, что моим рассказам не хватает души.

– А почему не хватает?

– Если бы я знал...

– Может быть, потому, что это не твой способ выражения...

Тогда Бернат взял у меня из рук скрипку и сыграл «Баскское каприччио» Сарасате^[273], сделав шесть или семь грубейших ошибок. Закончив, он сказал: вот видишь, скрипка – не мое средство выражения.

– Ты нарочно делал ошибки. Я тебя знаю, старик.

– Я никогда не смог бы быть солистом.

– Тебе не нужно быть солистом. Ты музыкант, играешь на скрипке, зарабатываешь этим на жизнь. Да что тебе еще нужно?

– Я хочу заслужить признание и восхищение, а не зарабатывать на жизнь. А если я буду играть в составе концертино^[274], то не оставлю по себе вечной памяти.

– Вечную память по себе оставляет оркестр.

– Я хочу быть солистом.

– Ты не можешь! Ты сам это только что сказал!

– Поэтому я хочу писать: писатель – всегда солист.

– Мне кажется, это не слишком веская причина, чтобы посвятить себя

литературе.

– Для меня – веская.

Словом, мне пришлось взять его рукопись, которая оказалась даже не одним рассказом, а целым сборником. Я прочитал его и через несколько дней сказал Бернату: может быть, лучше других третий, про бродячего торговца.

– И все?

– Ну... Да.

– Ты опять не нашел ни души, ни чего-нибудь стоящего?

– Ни души, ни чего-нибудь стоящего. Но ведь ты знал это!

– Я знаю, в чем дело: тебя бесит, что твои книги разносят в пух и прах.

А мне вот они нравятся! Что скажешь?

После этой декларации принципов Бернат долго не докучал Адриа своими текстами. Он издал три книги рассказов, которые не перевернули мир каталонской литературы и, очень вероятно, не тронули до глубины души ни одного читателя. И вместо того чтобы быть счастливым, играя в оркестре, он всегда находил повод быть несчастным. А я тут со своими лекциями о том, как быть счастливым. Как будто я в этом специалист. Как будто это обязательная дисциплина.

Занятие шло нормально и даже, скорее, хорошо. Я говорил о музыке, которую писали во времена Лейбница^[275]. Я перенес слушателей в Ганновер конца семнадцатого столетия и поставил им музыку Букстехуде^[276], а именно вариации арии «La Capricciosa» (BuxWV 250) для клавесина, и попросил их быть внимательными: не напомним ли эти арии им некое более позднее (но ненамного) произведение одного более известного музыканта? Молчание. Адриа встал, отмотал назад пленку и дал им послушать еще одну минуту клавесина в исполнении Тревора Пиннока.

– Вы знаете, какое произведение я имею в виду? – спросил он.

Молчание.

– Нет?

Некоторые студенты смотрели в окно. Другие опустили глаза в конспекты. Одна девушка отрицательно покачала головой. Чтобы помочь им, он сказал: в это же время в Любеке, нет? А затем опустил планку донельзя, сказав: ладно, назовите мне не произведение, а хотя бы автора. Тогда один студент, которого я раньше не видел, сидевший в центре аудитории, сказал, не поднимая руки: Иоганн Себастьян Бах? – именно так, с вопросительным знаком, и Адриа сказал: браво! И произведение,

о котором я говорю, имеет сходную структуру. Тема – та, которую мы с вами прослушали дважды, – напоминает развитие одной вариации... Знаете что? Постарайтесь выяснить к среде, о каком произведении я говорю. И постарайтесь пару раз его послушать.

– А если мы не отгадаем? – Та же девушка, которая отрицательно качала головой.

– Номер девятьсот восемьдесят восемь по его каталогу. Теперь довольны? Еще подсказки?

Несмотря на бесконечные скидки, которые приходилось делать, в то время я мечтал о том, чтобы занятия длились по пять часов. Еще я мечтал, чтобы студенты живо всем интересовались и задавали вопросы, которые заставляли бы меня говорить, что я отвечу на следующем занятии, потому что мне необходимо подготовиться. Но Адриа приходилось мириться с тем, что было. Студенты тянулись вниз по лестнице амфитеатра к выходу. Все, кроме того, который угадал ответ, – он продолжал сидеть на своем месте. Вынимая кассету, Адриа сказал: мне кажется, я нечасто вас видел. Поскольку тот не отвечал, Адриа поднял голову и увидел, что молодой человек молча улыбается.

– Как вас зовут?

– Я не ваш студент.

– А что вы здесь делаете?

– Слушаю вас. Ты меня не узнаешь?

Он встал и подошел к лекторской кафедре. У него не было в руках ни папки, ни тетради. Адриа уже сложил все свои бумаги в портфель и сунул туда кассету.

– Нет. А должен узнать?

– Ну... С формальной точки зрения ты мой дядя.

– Я твой дядя?

– Тито Карбонель, – сказал он, протягивая руку для пожатия. – Мы встречались в Риме, в доме моей матери, когда ты продавал ей магазин.

Теперь он его вспомнил: молчаливый подросток с лохматыми бровями, подслушивающий за дверью, который теперь превратился в стройного молодого человека с уверенными жестами.

Адриа спросил, как мать, тот ответил: хорошо, передает тебе привет, – и разговор иссяк. И тогда – вопрос:

– Зачем ты пришел на лекцию?

– Хотел лучше познакомиться, прежде чем сделать тебе одно предложение.

– Какое предложение?

Тито убедился, что в аудитории больше никого нет, и сказал: я хочу купить у тебя Сториони.

Адриа посмотрел на него с удивлением. Он не сразу отреагировал.

– Скрипка не продается, – сказал он наконец.

– Если ты услышишь мое предложение, сразу захочешь продать.

– Я не хочу ее продавать. Я не хочу слушать никакие предложения.

– Один миллион песет.

– Я сказал: она не продается.

– Миллион песет – это куча денег.

– Да хоть два миллиона.

Адриа наклонился к самому его лицу и повторил:

– Не-про-да-ет-ся.

Он выпрямился:

– Ты меня понял?

– Прекрасно понял. Два миллиона.

– Ты слушаешь, что тебе говорят?

– С двумя миллионами в кармане ты сможешь жить как хочешь и не распинаться, читая лекции людям, понятия не имеющим о музыке.

– Ты говоришь, тебя зовут Тито?

– Да.

– Тито, нет.

Он взял свой портфель и собирался уже уйти. Тито Карбонель не сдвинулся с места. Может быть, Адриа ждал, что тот захочет удержать его. Увидев, что никто ему не препятствует, он обернулся:

– А почему тебе так нужна эта скрипка?

– Для магазина.

– Ну да. А почему это предложение делает не мать?

– Она такими вещами не занимается.

– Ага. То есть она ничего об этом не знает.

– Можешь называть это как хочешь, профессор Ардевол.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать шесть, – соврал он, хотя я узнал, что он врет, только много лет спустя.

– Обдeldываешь свои делишки параллельно с магазином?

– Два миллиона сто тысяч песет, последнее слово.

– Твоей матери стоило бы узнать об этом.

– Два миллиона пятьсот.

– Ты меня слышишь, нет?

– Хотелось бы мне знать, почему ты не хочешь продать скрипку...

Адриа открыл рот и снова закрыл. Он не знал, что ответить. Он не знал, почему не хочет продавать Виал – скрипку, рядом с которой всегда ходит несчастье, – но с каждым днем я испытывал необходимость играть на ней все дольше и дольше. Может быть, из-за историй, которые рассказывал о ней отец, а может быть, из-за историй, которые я представлял себе, касаясь ее корпуса... Сара, иногда, стоит мне одним пальцем провести по ее коже, я переносюсь в те времена, когда эта древесина была деревом и росла, даже не подозревая, что однажды примет форму скрипки – Сториони, Виал. Я не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но Виал был словно окном для моего воображения. Если бы Сара была рядом, если бы я мог видеть ее каждый день... Может быть, все было бы иначе. Конечно... О, если бы я продал тогда скрипку Тито, хоть за сто песет. Но в то время я не мог и подозревать о том, что случится впоследствии.

– Ну? – терпеливо переспросил Тито Карбонель. – Почему ты не хочешь продать ее?

– Боюсь, что тебя это не касается.

Я вышел из аудитории, затылком чувствуя холод, готовый к предательскому выстрелу. Тито Карбонель не стал стрелять мне в спину, и я наивно обрадовался, что выжил.

Прошла пара тысячелетий с момента сотворения мира в соответствии с десятичной системой, когда я расставил по дому все книги, но я еще толком не начинал разбираться в отцовском кабинете. Адриа определил третий ящик стола, в котором хранил рукописи, под разложенные по конвертам всевозможные отцовские бумаги, не поддававшиеся классификации – не связанные с магазином и не отмеченные в списке поступлений (сеньор Ардевол вел учет ценных приобретений, которые оставлял себе: с этого начиналось наслаждение от обладания предметом, за которым он гонялся несколько дней, а может быть, и лет). Вся библиотека была классифицирована. Почти вся. Только не поддававшиеся классификации документы не были классифицированы, но они лежали все вместе. Адриа сослал их в третий ящик, пообещав себе взглянуть на них, как только выдастся минутка. Прошло несколько лет, а минутка все никак не выдавалась.

Среди различных бумаг в третьем ящике хранились письма. Было

странно, что такой дотошный человек, как мой отец, счел письма неклассифицируемыми документами и не сохранил копии собственных писем, а оставил в архиве только полученные. Они лежали в паре пухлых, едва не лопавшихся, папок. Среди них были ответы некоего Морлена на, видимо профессиональные, запросы отца. Также было пять очень странных писем, полных непонятных намеков, написанных на безупречной латыни и принадлежавших некоему священнику по фамилии Градник. Он был из Любляны и настойчиво возвращался в письмах к кризису веры, который вот уже несколько лет сжимал его в своих тисках. Судя по тому, что он писал, он когда-то учился вместе с отцом в Григорианском университете, а в письмах требовал от отца срочно высказать свое мнение по ряду богословских вопросов. Тон последнего письма был иным. Оно было отправлено из Есенице осенью 1941 года и начиналось словами: очень возможно, что это письмо не дойдет до тебя, но я не могу не писать его – только ты всегда отвечал мне, даже когда я был один как перст, исполняя должность одновременно приходского священника и могильщика недалеко от Камника^[277], в затерянной среди снега и льда деревушке, название которой я постарался навсегда стереть из своей памяти. Может быть, это мое последнее письмо, потому что очень вероятно, что я могу умереть в любой момент. Уже год, как я снял сутану. И дело не в женщине. Все сводится к тому, что я потерял веру. Она вытекала из меня по капле, и я не сумел сохранить ее. Я в ответе за это: confiteor^[278]. После своего последнего письма и твоих ободряющих слов, которые очень мне помогли, я уже могу говорить об этом более объективно. Постепенно я приходил к осознанию, что то, чем я занимался, не имело ни малейшего смысла. Тебе пришлось выбирать между любовью, которой ты не мог противостоять, и священнической жизнью. На моем пути не было женщины, заставившей меня колебаться. Все мои проблемы – в голове. Год прошел с великого решения. Сегодня, когда вся Европа охвачена войной, я констатирую, что был прав. Ничто не имеет смысла, Бога нет, а люди должны защищаться от бурь и невзгод как умеют. Смотри, дорогой мой друг: я так уверен в сделанном шаге, что только что дал ему логическое завершение и вступил в народную армию. Словом, я мог бы сказать, что сменил сутану на винтовку. Я приношу больше пользы, пытаюсь спасти людей от зла. Сомнения улетучились, друг мой Ардевол. Много лет назад я говорил о зле, о злом духе, о дьяволе... и был не способен понять природу зла – пытался исследовать зло, которое обнаруживается через вину или через наказание, зло метафизическое и зло физическое, абсолютное зло и зло

относительное, и особенно – настоящую причину зла. И после стольких штудий, после стольких изысканий мне приходилось выслушивать от своих благочестивых прихожанок во время исповеди, что они совершили страшное преступление, потому что недостаточно строго соблюдали пост с полуночи накануне причастия. Боже мой, все во мне восставало и говорило: не может быть, этого не может быть, Драго; ты теряешь смысл жизни – если, конечно, хочешь еще послужить человечеству. Я окончательно это понял, когда одна мать сказала мне: как же Господь позволяет, чтобы моя дочь умирала в таких муках, как же не вмешается, чтобы прекратить это? У меня не было ответа, и я выдал себя, начав рассказывать об истинной причине зла, но замолчал, устыдившись, и попросил у этой женщины прощения, и сказал, что не знаю. Я сказал ей: не знаю, Андрия; прости меня, я не знаю. Может быть, ты рассмеешься, дорогой Феликс Ардевол, ведь в своих длинных письмах ты защищаешь эгоистический цинизм, который, судя по твоим словам, управляет твоей жизнью. Сомнения душили меня, потому что я оказывался беззащитным перед слезами, но теперь это в прошлом. Я знаю, в чем заключается зло. В том числе абсолютное зло. Его имя – Гиммлер. Его имя – Гитлер. Его имя – Павелич. Его имя – Лубурич с его жутким изобретением – Ясеновацем^[279]. Его имя – СС и абвер^[280]. Война вытаскивает наружу звериную часть человеческой натуры. Но зло существовало и до войны, и оно зависит не от какой-нибудь энтелехии, а от человека. Поэтому вот уже несколько недель мой неразлучный спутник – винтовка с телескопическим прицелом, потому что командир считает меня хорошим стрелком. Скоро мы вступим в бой. И я буду отстреливать злу его головы одну за другой, и эта мысль меня не смущает. И так – пока я буду видеть в прицеле нациста, усташа или, да простит меня Господь, просто вражеского солдата. Зло использует в своих целях страх и абсолютную жестокость. Видимо, для того, чтобы мы исполнились яростью, командиры рассказывают нам о врагах жуткие вещи, и все мы жаждем скорее встретиться с ними лицом к лицу. Однажды мне придется убить человека, и я надеюсь, что не почувствую жалости. Я присоединился к группе хорватских сербов, которых усташа вынудили покинуть свои деревни. Кроме меня, в отряде еще три словенца и кое-кто из тех многих хорватов, кто верит в свободу. Хотя у меня нет никакого воинского звания, некоторые зовут меня сержантом, потому что я такой же высокий и толстый, как и раньше. Словенцы обращаются ко мне «святой отец», потому что однажды я выпил лишнего и рассказал кое-что, о чем не стоило рассказывать, – сам виноват. Я готов убивать, пока меня самого не убьют.

Я не чувствую никаких угрызений совести и не раскаиваюсь в том, что делаю. Вероятно, я могу погибнуть в случайной стычке: говорят, немцы продвигаются на юг. Все мы знаем, что любая военная операция предполагает убитых, они могут быть и среди нас. Здесь, на войне, мы стараемся не заводить друзей; мы все – одно, потому что все связаны друг с другом, и я оплакиваю смерть товарища, который еще вчера завтракал, сидя рядом со мной, но чье имя я не успел спросить. Ладно, снимаю маску: мысль о том, чтобы убить кого-то, повергает меня в панику. Не знаю, окажусь ли я на это способен. Но зло – это конкретные люди. Надеюсь, что мне достанет храбрости и я смогу нажать на курок более-менее хладнокровно.

Я пишу тебе из словенской деревни, которая называется Есенице. Я наклею на конверт марку, как будто бы нет никакой войны. И сам повезу его на почтовом грузовике, потому что, пока здесь не началась настоящая война, нам не дадут сидеть сложа руки и занимают всякими полезными делами. Но это письмо я не положу в мешок с прочей корреспонденцией, а поручу Янчару: только он сможет его тебе доставить. Помоги ему Господь, хотя я уже и не верю. Ответное письмо высылай, пожалуйста, как обычно, на адрес почтового отделения в Мариборе. Если меня не убьют, я буду с нетерпением ждать твоего ответа. Я чувствую себя очень одиноким, дорогой Феликс Ардевол. От смерти веет холодом – и меня все чаще бросает в дрожь. Твой друг Драго Градник, бывший священник, бывший богослов, отказавшийся от блестящей церковной карьеры в Любляне, а может быть, и в Риме. Твой друг, ставший первоклассным партизаном-снайпером, с нетерпением ждущий минуты, чтобы искоренить зло.

Еще в папке лежали письма от восьми или десяти антикваров, коллекционеров и продавцов с блошинных рынков по всей Европе – ответы на запросы отца. И пара писем от доктора Вуанга из Шанхая, в которых он на корявом английском уверял, что сей счастливый манускрипт (и больше никакой конкретики) никогда не проходил через его руки, и желал отцу долгой и счастливой жизни, успеха в делах, умножения богатства и счастья в человеческих отношениях – как в семейных, так и в сердечных делах. Мне показалось, что доктор Вуанг обращает свои намеки ко мне. Было также много разных других документов.

Однажды скучным дождливым вечером, закончив проверять экзаменационные работы и не чувствуя желания обдумывать вопросы философии языка или читать, я решил побездельничать дома. Из драматических спектаклей смотреть было, считай, нечего;

предлагавшиеся музыкальные концерты были мне неинтересны, а в кино я уже так давно не был, что не решался зайти туда и проверить, по-прежнему ли снимают цветные фильмы, или они уже остались в прошлом. Словом, я зевнул и решил, что это хороший момент, чтобы окончательно разобраться с отцовскими бумагами, – словом, я поставил на проигрыватель тетralогию^[281] и принялся за дело. Первое, что я обнаружил, было письмо Морлена из Рима – священника, как мне показалось, хотя я еще не знал этого наверняка. И тогда мне захотелось прояснить некоторые обстоятельства жизни моего отца. Не потому, что я думал таким образом прояснить некоторые обстоятельства его смерти, а потому, что, сталкиваясь с его личными бумагами, я всякий раз находил какой-нибудь сюрприз, касавшийся меня. Может быть, поэтому я вот уже несколько недель без устали пишу тебе, как никогда в жизни не писал. Как же заметно, что бегущие по моему следу собаки уже близко, вот-вот настигнут. Может быть, поэтому я словно делаю из памяти вырезки, которые, если что, мне будет очень трудно выстроить хоть в каком-то порядке. Словом, я решился продолжить выборку. В течение пары часов, еще во время первой части (в момент, когда разгневанные Вотан и Логе отбирают кольцо и нибелунг произносит свое проклятие и сулит страшные несчастья тому, кто наденет его на палец), я сортировал письма и рисунки различных предметов, сделанные, видимо, отцом. И я нашел, часа через полтора с лишним, когда Брунгильда послушалась Вотана и помогла бежать несчастной Зиглинде, листок некогда бывшего в ходу голландского формата с текстом на иврите: две исписанные чернилами пожелтевшие страницы, на которых я узнал почерк отца. Я думал обнаружить описание одной из тысячи вещей, привлекавших внимание отца, и, начав читать, подумал, что мой иврит, уже несколько запылившийся, не позволяет мне легко понимать написанное. Через пять бесплодных минут, потраченных на бесполезные поиски в словарях, обнаружилось нечто неожиданное. Текст был не на иврите, а на арамейском языке, но закамуфлированном еврейским алфавитом. Мне было странно читать такое, поскольку, что касается арамейского, я больше привычен к сирийскому письму. Но нужно было только приложить немного усилий. Где-то через минуту я понял две вещи: во-первых, что профессор Гумбрень хорошо выполнила свою работу, поскольку я вполне прилично владею арамейским, а во-вторых, что это была не копия какого-нибудь древнего текста, а письмо, которое отец посылал мне. Мне! Отец, который при жизни обратился ко мне напрямую, наверное, всего раз пятьдесят, и то почти всегда для того, чтобы сказать «кто там орет?», – отец написал целое письмо, адресованное

сыну, которого практически не замечал! И я смог убедиться, что отец владел арамейским гораздо лучше, чем я. Как раз когда я дочитал письмо, Зигфрид, храбрый сын Зиглинды, с характерной для героев сказаний жестокостью убил взрастившего его нибелунга Миме, прежде чем тот предаст его. Лес героев, арамейский язык – все требовало крови. Все вокруг меня было залито кровью. Адриа, склонившись над письмом, но не видя его, думал о тех ужасах, которые он прочитал, и целых полчаса не замечал, что пластинка впустую крутится на проигрывателе и ее давно пора перевернуть. Словно персонажи бесконечно повторяли свои движения под аккомпанемент едва слышного шуршания иглы по диску. Я, как Зигфрид, был поражен тем, что мне открылось. Потому что в начале письма говорилось: Адриа, дорогой мой сын! Я сообщаю тебе эту тайну в слабой надежде, что однажды, через много лет, ты узнаешь, что произошло. Скорее всего, это письмо навсегда затеряется среди бумаг, которые постепенно изложут прожорливые серебристые чешуйницы – вечные спутники хранителей библиотек старинных книг. Если ты читаешь это письмо, значит ты сохранил мои бумаги, исполнил то, для чего я тебя предназначал, и выучил иврит и арамейский. А если ты выучил иврит и арамейский, это значит, что ты стал ученым того типа, которым я тебя себе и представлял. И я выиграл партию у твоей матери, которая хочет сделать из тебя жалкого скрипача. (На самом деле по-арамейски было написано дословно «жалкого музыканта, играющего на ребеке»^[282], но я достаточно знал скверный характер отца, чтобы понять его.) Ты должен знать, что если ты читаешь это письмо, это значит, что я не вернулся домой, чтобы уничтожить его. Не знаю, какова будет официальная версия произошедшего – несчастный случай? – но хочу, чтобы ты знал, что меня убили и что моего убийцу зовут Ариберт Фойгт. Это бывший нацист – врач, творивший невероятные зверства, о коих я умалчиваю, – который хочет вернуть себе скрипку Сториони, которую я однажды забрал у него не совсем честным путем. Я ухожу как можно дальше от дома, чтобы его гнев не пал на ваши головы, – как птица, которая, притворяясь раненой, уводит хищника дальше от гнезда. Не ищи убийцу. Когда ты будешь читать это письмо, он наверняка будет уже много лет как мертв. Не ищи и скрипку – не стоит. Не ищи и того, что я находил во многих из тех предметов, которые коллекционировал, – удовлетворения от обладания редкостью. Не ищи его, потому что в конце концов оно подчиняет себе человека; это неутолимая жажда, способная подтолкнуть тебя на поступки, в которых ты впоследствии будешь раскаиваться. Если мать еще жива, не рассказывай ей этого. Прощай. И внизу своеобразный постскрипtum,

окончательно повергший меня в несчастье. Постскрипtum, в котором было написано: Ариберт Фойгт – имя моего убийцы. Я вырвал Виал из его когтей, запачканных кровью. Я знаю, что он остался на свободе и с неумолимостью рока придет, чтобы найти меня. Фойгт – это зло. Я тоже зло, но Фойгт – это абсолютное зло. Если я умру насильственной смертью, не верь в несчастный случай. Фойгт. Я не хочу, чтобы ты мстил, сын. Ты не сможешь этого сделать, разумеется: когда ты прочтешь это письмо, Фойгт будет уже много лет как поджариваться в аду. Если меня убили, это значит, что Виал, наша скрипка Сториони, исчезла из дома. Если в связи со всей этой историей о скрипке заговорят, знай, что я провел расследование и выяснил, кому она принадлежала до того, как ее присвоил Фойгт: ее владелицей была бельгийка Нетье де Бук. От всего сердца я желаю Фойгту плохо кончить и чтобы кто-нибудь, не знаю кто, не давал ему спать спокойно до самой смерти. Но я не хочу, чтобы это был ты, – не хочу марать тебя своими делами. Ох, отец, ты еще как замарал меня, подумал Адриа: ты передал мне наследственную болезнь – жжение в пальцах при виде предмета, которым хочется обладать. Арамейский текст заканчивался лаконичным «прощай, сын». Вероятно, это были последние слова, которые он написал. И ничего вроде «сынок, я люблю тебя». Возможно, потому, что он его и не любил.

Пластинка вхолостую крутилась на проигрывателе, создавая фон к растерянности Адриа, хотя он был даже немного удивлен тем, как мало его удивили эти новые свидетельства о моральном облике отца. Прошло довольно много времени, прежде чем Адриа стал задавать себе вопросы – например, почему отец не хотел, чтобы стало известно, что его убил нацист, этот Фойгт. Может быть, он не хотел, чтобы всплыли какие-то другие истории? К сожалению, думаю, что причина была в этом. Знаешь, кем я чувствовал себя, Сара? Дураком. Я всегда думал, что выстроил свою жизнь вопреки всем на свете, а оказывается, я в точности исполнил то, что предначертал мой авторитарный отец еще до начала времен. В качестве аккомпанемента к этому странному чувству я поставил начало «Гибели богов»^[283], и три норны, дочери Эрды, собрались около утеса Брунгильды и принялись прясть нити судьбы, подобно тому как отец терпеливо спрял их для меня, не спросив ни моего мнения, ни мнения матери. Но одна из нитей, которая должна была продолжаться после его смерти, неожиданно прерывалась и подтверждала мои самые затаенные страхи: она превращала меня в виновника его страшной смерти.

– Эй-эй! Ты говорил – на три дня! – Я никогда не видел Берната в таком возмущении. – А прошло всего три часа!

– Извини, мне ужасно жаль, честное слово. Сейчас. Прямо сейчас – или меня убьют, клянусь.

– Ты не умеешь держать слово. А я-то на совесть научил тебя делать вибрато.

– Вибрато получается само собой, ему нельзя научиться, – ответил я в отчаянии.

В двенадцать лет я еще толком не умел аргументировать. И испуганно продолжал:

– Если об этом узнают, отец посадит меня в тюрьму. И тебя тоже. Я потом все объясню, честное слово.

Оба повесили телефонные трубки одновременно. Ему пришлось объяснять Лоле Маленькой или матери, что у Берната осталось мое домашнее задание по скрипке.

– Не сходи с тротуара.

– Ну конечно нет, – сказал он обиженно.

Они встретились перед кондитерской Солá. Открыли футляры и произвели обмен прямо на земле, на углу улиц Валенсия и Льюрия, равнодушные к грохоту трамвая, с трудом карабкавшегося в гору. Бернат вернул ему Сториони, а он вернул тому скрипку мадам Ангулем и объяснил, что отец неожиданно влетел в кабинет, не закрыв дверь. И из своей комнаты Адриа в ужасе наблюдал, как отец открывает сейф, достает футляр и закрывает сейф, не взглянув, та ли скрипка лежит в футляре, а я, честное слово, я не знал, что делать, потому что, если бы я сказал, что дал эту скрипку тебе, он выбросил бы меня с балкона, понимаешь; я не знаю, что теперь будет, но...

Бернат холодно посмотрел на него:

– Ты все врешь.

– Нет, правда! Я положил в футляр свою учебную скрипку, чтобы он ничего не заподозрил, если откроет его...

– Имей в виду, я не вчера родился.

– Клянусь! – Адриа был в отчаянии.

– Ты трус, который не умеет держать слово.

Я не знал, что сказать. Я в бессилии посмотрел на своего рассерженного друга, который был уже на полголовы выше меня. Он показался мне каким-то мстительным великаном. Но отца я боялся больше. Великан снова заговорил:

– А ты думаешь, когда твой отец вернется, откроет сейф и найдет Сториони, он не станет задавать вопросов?

– И что же мне делать? А?

– Бежим. В Америку.

Вот тут реакция Берната и его внезапная солидарность мне понравились. Убежать вдвоем в Америку – вот здорово. Они не сбежали в Америку, и Адриа не успел спросить: эй, Бернат, ну как тебе – играть на Сториони? Ты заметил разницу? Стоит иметь старинную скрипку? Он не узнал, заметили ли что-то родители или... Он только сказал: он меня убьет, честное слово, убьет. Отдай мне скрипку обратно. Бернат молча удалился, и на лице у него было написано, что он не поверил до конца в эту странную историю, которая как раз начинала запутываться.

Придет же день Господень, как тать ночью. Шесть один пять четыре два восемь. Адриа положил Сториони в сейф, закрыл замок, уничтожил следы своего тайного вторжения и покинул кабинет. В его комнате шериф Карсон и Черный Орел прятали глаза, подчеркнуто глядя в другую сторону: они явно чувствовали себя бессильными в сложившейся ситуации. А он – с пустым футляром в руках. И словно нарочно, чтобы еще больше все усложнить, Лола Маленькая дважды просовывала голову в дверь: твоя мать спрашивает – у тебя сегодня что, нет занятий? И на второй раз он ответил: у меня тут на пальце мозоль, видишь... Болит, невозможно играть.

– Дай-ка сюда свой палец, – сказала мать, неожиданно входя в комнату в тот момент, когда он заканчивал прилаживать на стену три литографии, которые ему посчастливилось купить в воскресенье на рынке Сан-Антони.

– Я ничего такого не вижу, – сказала жестокосердная.

– Но мне же больно.

Мать оглядела комнату, словно не веря, что я над ней не шучу, и молча вышла. По счастью, она не заглянула в футляр. Теперь оставалось ждать взбучки космических масштабов от отца.

Mea culpa. Я виновен в его смерти. Даже если бы он в любом случае погиб от рук некоего Фойгта. Таксист высадил его на третьем километре и вернулся в Барселону. Время было зимнее, и день рано начал как-то скукоживаться. Он стоял на шоссе один. Ловушка, засада. Разве ты не понимал этого, папа? Может быть, ты думал, что это всего лишь неудачная шутка. Феликс Ардевол в последний раз взглянул на простиравшуюся у его ног Барселону. Шум мотора. Машина с зажженными фарами спускалась по дороге со стороны Тибидабо. Она остановилась рядом с ним, и из нее вышел синьор Фаленьями, похудевший, полысевший, но с таким же большим носом и блестящими глазами. Его сопровождали два дюжих молодца и шофер, который тоже вышел из машины. Все с неприятными, даже отвратительными лицами. Фаленьями сухим жестом потребовал у него скрипку. Ардевол дал ее, и тот

сел в машину, чтобы открыть футляр. Он вышел из машины, держа скрипку в руках:

– Ты думаешь, я идиот?

– А теперь в чем дело? – Я думаю, отец был скорее раздражен, чем напуган.

– Где Сториони?

– Чтоб вас! Вот же она!

Вместо ответа Фойгт замахнулся и с силой ударил скрипкой о придорожную скалу – раздался треск.

– Что вы делаете?! – закричал отец в ужасе.

Фойгт поднес к его глазам разбитую скрипку. Верхняя дека разлетелась на куски, и обнажилась надпись внутри инструмента: «Мастерская „Паррамон“, улица Карме». Должно быть, тут уж и отец перестал что-либо понимать.

– Это невозможно! Я сам достал ее из сейфа!

– Так, значит, ее давно у тебя украли, идиот!

Мне почему-то думается, что, отвечая: в таком случае, уважаемый синьор Фаленьями, я понятия не имею, где сейчас находится этот замечательный инструмент, – отец не смог сдержать улыбки.

Фойгт едва заметно шевельнул бровью, и один из его сопровождающих с силой ударил отца в живот – тот согнулся пополам, дыхание прервалось.

– Припомни, Ардевол.

И поскольку отец не мог знать, что в тот момент Виал находился в руках Берната Пленсы-и-Пунсода, любимого ученика сеньоры Трульолс, преподававшей в муниципальной музыкальной школе города Барселоны, ему не удалось ничего припомнить. На всякий случай он сказал: клянусь, я ничего не знаю.

Фойгт достал из кармана дамский пистолет, который так удобно носить с собой.

– Похоже, у нас будет развлечение, – сказал он.

И, показывая пистолет, спросил:

– Помнишь его?

– Еще бы! И скрипка уплывает из ваших рук.

Новый удар в живот, но комментарий того стоил. Феликс Ардевол снова согнулся пополам. Снова прерванное дыхание, ловящий воздух рот и вылезшие из орбит глаза. А потом – откуда мне знать. Торопливые зимние сумерки уступили дорогу ночи, покрывающей все преступления, и они разделились с отцом так, как я не могу себе даже представить.

– Хау.
– Да куда ж вы подевались!
– Даже если бы твой отец принес им Виал, они бы его прикончили.
– Черный Орел прав, – присоединился Карсон. – Он был уже мертв, если можно так сказать. – Карсон сухо сплюнул. – И он знал это, выходя из дома.

– Почему он не проверил скрипку?
– Он был слишком возбужден, чтобы заметить, что это не Виал.
– Спасибо, друзья. Но все это совершенно меня не утешает.

Фойгт жестоко убил моего отца, не нарушив данной в Дамаске Морлену клятвы, что он и волоса с его головы не тронет, потому что отец был уже лыс как колено. Иначе быть не могло. Как Брунгильда незаметно отправила Зигфрида на смерть, указав врагам его слабое место, так и я, подменив скрипку, стал причиной смерти отца, который меня не любил. Чтобы сохранить память о таком бессовестном человеке, как Зигфрид Ардевол, которого она не смогла полюбить, Брунгильда поклялась, что эта скрипка навсегда останется в их доме. Она поклялась в этом, чтобы сохранить память, да. Но сегодня я должен признать, что я поклялся еще и из-за жжения в пальцах, которое начинал чувствовать при одной мысли, что могу лишиться скрипки. Ариберт Фойгт. Зигфрид. Брунгильда. Боже мой. Confiteor.

– Дззз-дззз-дззз...

Адриа сидел в туалете, читая *Le forme del contenuto*^[284], и прекрасно слышал «дззз-дззз-дззз». И подумал: курьер из магазина Муррии – как всегда, кстати. Он помедлил, пока снова не услышал «дззз-дззз-дззз», и сказал себе: нужно будет поменять звонок на что-нибудь более современное. Может быть, на «динь-дон» – это в любом случае звучит гораздо веселее.

– Дззз-дззз-дззз...

– Иду, иду, чтоб тебя! – пробурчал он.

С Эко под мышкой он открыл дверь и встретился с тобой, любовь моя, – ты стояла на лестничной площадке, серьезная, держа в руках небольшую дорожную сумку; ты смотрела на меня своими темными глазами, и в течение целой бесконечной минуты, словно окаменев, мы смотрели друг на друга: она – на площадке, он – в квартире, держась

за ручку открытой двери и пытаюсь переварить это неожиданное событие. И в конце этой бесконечной минуты ему пришло в голову сказать только: что тебе нужно, Сара. Я сам не могу в это поверить: единственное, что мне пришло в голову, это сказать: что тебе нужно, Сара?

– Можно войти?

Можешь войти в мою жизнь, можешь делать все что хочешь, Сара, любимая.

Но она ограничилась тем, что вошла в дом. И поставила сумку на пол. И мы чуть не простояли еще одну минуту молча, лицом к лицу, но теперь уже в прихожей. И тогда Сара сказала: я не отказалась бы от кофе. И тогда же я заметил, что в руке у нее желтая роза.

Это еще Гёте сказал. Персонажи, которые пытаются в зрелости осуществить желания юности, идут неверной дорогой. Для тех, кто не узнал или не познал счастья в свое время, потом уже слишком поздно, какие бы усилия они ни предпринимали. В любви, возвращенной в зрелые годы, можно найти самое большее с нежностью исполненную копию былых счастливых моментов. Эдуард и Оттилия^[285] перешли в столовую пить кофе. Она положила розу на стол и словно забыла про нее, это было очень изящно.

– Хороший кофе.

– Да, это от Муррии.

– Неужели он еще существует?

– Конечно.

– О чем ты размышляешь?

– Я не хочу... – На самом деле Сара не знала, что сказать.

Поэтому я перешел сразу к делу:

– Ты пришла, чтобы остаться?

Сара, приехавшая из Парижа, была другим персонажем, чем двадцатилетняя Сара в Барселоне, потому что с людьми происходят метаморфозы. И с персонажами тоже. Гёте хорошо мне это объяснил. Тем не менее Адриа был Эдуардом, а Сара – Оттилией. Их время утекло, в том числе и по вине родителей. *Attractio electiva*^[286] вдвойне – когда получается, тогда получается.

– У меня есть одно условие, прости. – Оттилия смотрела в пол.

– Какое? – Эдуард приготовился защищаться.

– Ты должен вернуть украденное твоим отцом. Прости меня.

– Украденное?

– Да. Твой отец использовал многих, отнимая у них вещи. До, во время

и после войны.

– Но я...

– А как, ты думаешь, он сумел открыть магазин?

– Я продал магазин, – сказал Адриа.

– Правда? – изумилась Сара. Мне даже показалось, что ты была втайне разочарована.

– Я не хочу быть владельцем магазина и никогда не одобрял отцовских методов.

Молчание. Сара сделала глоток кофе и посмотрела ему в глаза. Она пронзила его взглядом, и Адриа пришлось ответить:

– Послушай, я продал магазин антиквариата и старинных вещей. Я не знаю, что именно отец приобрел обманом. Но уверяю тебя, это касается меньшинства предметов. Я порвал со всем этим, – соврал я.

Сара молчала десять минут. Она думала, устремив взгляд вперед, но не замечая присутствия Адриа, и я испугался, что, может быть, она придумывает невыполнимые условия, чтобы оправдать новое бегство. Желтая роза лежала на столе, внимательная ко всему, что мы говорили. Я взглянул Саре в глаза, но она была настолько погружена в размышления, что меня как будто не было. Это была новая привычка, которой я не знал за тобой, Сара, и ты прибегала к ней лишь в исключительных случаях.

– Хорошо, – сказала она через тысячу лет. – Мы можем попробовать. – И она сделала еще один глоток кофе. Я так волновался, что выпил три чашки подряд, – это обещало мне бессонную ночь. Наконец она посмотрела мне в глаза (что для меня очень болезненно) и сказала: сдается мне, ты дрожишь от страха как заяц.

– Да.

Адриа взял ее за руку и отвел в кабинет, к бюро с рукописями.

– Это бюро новое, – сказала ты.

– У тебя хорошая память.

Адриа выдвинул два верхних ящика – и я достал рукописи, свои сокровища, от прикосновения к которым у меня дрожали пальцы: мои Декарты, Гонкуры... И я сказал: это все мое, Сара, я купил это на свои деньги, потому что мне нравится коллекционировать рукописи... или обладать ими... или покупать их – не знаю. Это мое – купленное, ни у кого не отобранное.

Я говорил ровно этими словами, зная, что, вероятно, вру. Вокруг нас сразу же сгустилось молчание – серое, темное. Я не осмеливался поднять глаза на Сару. Но поскольку молчание не исчезало, я бросил на нее быстрый взгляд. Она молча плакала.

– Что с тобой?

– Прости. Я пришла не для того, чтобы судить тебя.

– Хорошо... Но мне тоже хотелось бы все прояснить.

Она осторожно высморкалась, и я не сумел сказать ей: ладно, я не знаю, откуда и какими способами их достает Муррал.

Я выдвинул нижний ящик, в котором хранились листы *Recherche*, Цвейг и пергамент об освящении собора монастыря Сан-Пере дел Бургал. Когда я собирался сказать ей: это рукописи отца и, вероятно, они достались ему в результате вымогательства, она задвинула ящик и повторила: прости, я не имею права судить тебя. И я промолчал как сукин сын.

Ты села, несколько растерянная, за рабочий стол, на котором лежала раскрытая книга – кажется, *Masse und Macht*^[287] Канетти.

– Сториони тоже была куплена законным путем, – снова соврал я, указывая на шкаф, где хранился инструмент.

Ты подняла на меня заплаканные глаза: ты хотела верить мне.

– Хорошо, – сказала ты.

– Я не отец.

Ты слабо улыбнулась и сказала: прости меня, прости меня, прости меня – за то, что я вошла в твой дом так.

– В наш дом, если хочешь.

– Я не знаю, может быть, у тебя есть... Есть... Не знаю, какие-то обязательства перед... – Она набрала в легкие воздуха, прежде чем продолжить: – Может быть, в твоей жизни есть другая женщина. Я не хочу ничего разрушать.

– Я приезжал за тобой в Париж. Ты забыла?

– Да, но...

– Нет никакой другой женщины, – соврал я в третий раз, как апостол Петр.

И на этом фундаменте мы продолжили строить отношения. Я знаю, что с моей стороны это было неразумно, но мне хотелось удержать ее любыми средствами. Тогда она осмотрелась. Ее взгляд скользнул к участку стены, на котором висели мои картинки. Она подошла ближе. Протянула руку и – как я, когда был маленьким, – осторожно коснулась двумя пальцами миниатюры Абрахама Миньона, на которой были изображены пышные желтые гардении в керамическом горшке. Я не сказал ей: ты как ребенок – все надо потрогать, – а счастливо улыбнулся. Она повернулась, вздохнула и сказала: все по-прежнему. Так же, как я каждый день вспоминала. Она встала прямо передо мной, посмотрела мне в глаза с внезапной серьезностью и сказала: почему ты тогда приехал

ко мне?

– Чтобы восстановить справедливость. Я не мог смириться с тем, что ты так долго жила в уверенности, что я оскорбил тебя.

– Я...

– И потому что я люблю тебя. А ты почему приехала?

– Я не знаю. Но я тоже люблю тебя. Может быть, я приехала, чтобы...

Так, ничего.

– Скажи.

Я взял ее руки в свои, чтобы ободрить.

– Ну... чтобы исправить то, что я совершила по слабости в двадцать лет.

– Я тоже не могу тебя судить. Что случилось, то случилось.

– И еще...

– Что?

– Еще потому, что я не могу забыть твой взгляд – там, на лестничной площадке перед моей дверью.

Она улыбнулась, думая о чем-то своем.

– Знаешь, на кого ты был похож? – спросила она.

– На продавца энциклопедий.

Она рассмеялась – ты рассмеялась, Сара! И сказала: да-да-да, в точности! Но тут же взяла себя в руки: я вернулась, потому что я люблю тебя, да. Если тебе это еще нужно. А я подумал только о том, что уже слишком много наврал за одно утро. И был уже не способен сказать тебе, что там, в Huitième Arrondissement, когда твоя рука лежала на ручке двери, как будто ты была готова в любой момент захлопнуть ее у меня перед носом, меня охватила паника; я никогда тебе этого не говорил. Тогда я притворялся, как настоящий продавец энциклопедий. Но в самой глубине души – я поехал в Париж, к тебе, по адресу: quarante-huit, rue Laborde, чтобы услышать, что ты знаешь обо мне ничего не желаешь, и таким образом завершить эту главу своей жизни, не будучи при этом виноватым и получив хороший повод плакать. Но Сара, сказав в Париже «нет», явилась в Барселону и сказала: я не отказалась бы от кофе.

Сидя в кресле-каталке, Адриа с порога оглядывал кабинет. В руках он сжимал грязную тряпку и никому ее не отдавал. Адриа оглядывал кабинет. Целую минуту, которая всем показалась бесконечной. Он глубоко вздохнул и сказал: можно – ему эта минута показалась одним мгновением. Железная рука Джонатана взялась за кресло и с плохо скрываемым нетерпением покатила его ко входной двери. Адриа указал рукой на Щеви

и сказал: Щеви. Указал на Берната, у которого в глазах стояли слезы, и сказал: Бернат; указал на Ксению и сказал: Текла. И когда, указав на Катерину, он сказал: Лола Маленькая, впервые в жизни Катерина его не поправила.

– Уход будет хороший, не волнуйтесь, – сказал кто-то из продолжающих жить.

Все молча спустились, искоса поглядывая на огонек лифта, в котором спускались Адриа на своем кресле и Джонатан. Внизу Бернату показалось, что, снова увидев всех по выходе из лифта, Адриа их не узнал. Скорее, в его взгляде на долю секунды вспыхнул испуг.

Все произошло всего за десять дней. Тревогу подняла Катерина, когда Адриа потерялся в квартире. Он стоял рядом с полками славянской литературы и испуганно озирался.

– Куда вам нужно?

– Не знаю. Где я?

– Дома.

– У кого?

– У себя. Вы узнаете меня?

– Да.

– Кто я?

– Эта, которая... – Долгая пауза.

Испуганно:

– Правда ведь? Или прямое дополнение. Или подлежащее! Подлежащее, правда?

Перед этим, на той же неделе, Адриа, недовольно бормоча, копался в холодильнике, и Джонатан – медбрат, дежуривший у него в ту ночь, – спросил, что он ищет.

– Носки. Что ж еще?

Джонатан доложил об этом Пласиде, которая в свою очередь поставила в известность Катерину. Пласида добавила, что Адриа еще просил сварить ему книгу. Он совсем ненормальный, правда?

И вот, стоя перед полкой со славянской литературой, Катерина спрашивает: вы меня узнаете, Адриа? А он в ответ: прямое дополнение! Словом, она в испуге позвонила доктору Далмау и Бернату. А доктор Далмау в испуге позвонил в стационар доктору Вальсу и сказал: мне кажется, пора. Начались дни тщательных обследований, тестов, проб и взглядов искоса на результаты. Дни молчания. Нет, точно, это косвенное дополнение! И наконец доктор Далмау позвонил Бернату и кузенам из Вика. Бернат предложил для встречи свой дом и позаботился

о том, чтобы на столе стояла вода, доставленная с Тасмании. Доктор Далмау объяснил, что они должны делать – шаг за шагом.

– Но ведь он... – Щеви, который никак не мог смириться с судьбой, был возмущен. – Он же говорит на семи или восьми языках!

– На тринадцати, – уточнил Бернат.

– На тринадцати? Стоит отвернуться, как он уже выучил новый язык! – У Щеви загорелись глаза. – Видите, доктор? Тринадцать языков! Я крестьянин. Я старше его, а знаю только полтора языка! Что за несправедливость, а?

– Каталанский, французский, испанский, немецкий, итальянский, английский, русский, арамейский, латинский, греческий, нидерландский, румынский и иврит, – перечислил Бернат. – И точно мог читать еще на шести или семи языках.

– Видите, доктор? – Неоспоримый медицинский аргумент Щеви Ардевола, открывавший новую линию отчаянной обороны.

– Ваш двоюродный брат раньше был выдающимся человеком, – деликатно прервал его врач, – я знаю это, потому что много с ним общался. Если позволите, я даже назвал бы его своим другом. Но сейчас это уже в прошлом. Его мозг, так сказать, усыхает.

– Какое же это несчастье, какое несчастье...

Они еще несколько минут бессмысленно противились фактам, но наконец договорились, что лучшее, что они могут сделать, – это заново организовать жизнь Адриа, учитывая пожелания, высказанные им еще в здравом уме. Бернат подумал: как же грустно оставлять распоряжения на время, когда тебя самого уже не будет; говорить и писать: завещаю квартиру в Барселоне своим кузенам Щавьеру (Щеви), Франсеску (Кико) и Розе Ардевол в равных долях. Что касается библиотеки, то, когда мне она будет уже бесполезна, пусть Бернат Пленса решит, желает ли он оставить ее себе или передать в дар университетам Тюбингена и Барселоны, разделив в зависимости от интересов этих университетов. Пусть он сам займется этим, если хочет, поскольку он помогал мне упорядочить ее много лет назад, когда мы участвовали в сотворении мира.

– Я ничего не понимаю, – растерянно сказал Щеви в день встречи с адвокатом.

– Это шутка Адриа. Боюсь, только я могу ее понять, – пояснил Бернат.

– Следующее распоряжение: пусть сеньоре Катерине Фаргес будет выплачена сумма, соответствующая ее заработной плате за два года.

В то же время Бернат Пленса уполномочен взять себе все, что он пожелает и что не упомянуто в этом завещании, которое является более инструкцией, нежели завещанием. И пусть он распоряжается другими вещами, включая ценные, например коллекцией монет и рукописей, если не сочтет уместным передать их в дар упомянутым выше университетам. В этих вопросах рекомендую вам прислушаться к мнению профессора Йоханнеса Каменек из Тюбингена. Что касается автопортрета Сары Волтес-Эпштейн, его следует передать ее брату, Максу Волтес-Эпштейну. Картина кисти Модеста Уржеля с видом монастыря Санта-Мария де Жерри, висящая в столовой, пусть будет передана фре Жулиа, монаху соседнего монастыря Сан-Пере дел Бургал, с которого все и началось.

– Простите? – хором воскликнули Щеви, Роза и Кико.

Бернат открыл и закрыл рот. Адвокат перечитал про себя последний отрывок и сказал: да-да, он пишет – фре Жулиа из монастыря Сан-Пере дел Бургал.

– Да кто это, чтоб его? – недоверчиво поинтересовался кузен Кико из Тоны.

– И что значит «который во всем виноват»?

– Нет, он пишет «с которого все началось».

– Началось что?

– Все, – повторил адвокат, еще раз заглянув в документ.

– Ладно, выясним, – сказал Бернат и сделал знак адвокату, чтобы тот продолжал читать.

– Если же его не удастся найти или он откажется от дара, прошу предложить эту картину в дар сеньоре Лауре Байлине (Упсала). В случае если и она от нее откажется, я делегирую Бернату Пленсе право принять решение относительно судьбы картины. Кроме того, упомянутый Бернат Пленса должен передать редактору, как мы и договорились, книгу, которую я ему вверил.

– Новая книга? – Это Щеви.

– Да. Я займусь ею, не беспокойтесь.

– Вы хотите сказать, он был полностью в здравом уме, когда писал завещание?

– Надо полагать, да, – сказал адвокат. – В любом случае мы сейчас не можем обратиться к нему за разъяснениями.

– Что это за сеньора Упсала? – спросила Роза. – Она существует?

– Не волнуйтесь, я найду ее. Существует.

– И в заключение – небольшое размышление, которое я обращаю к вам

и ко всем, кто захочет к вам присоединиться. Мне говорят, что я не буду скучать ни по книгам, ни по музыке, – никак не могу в это поверить. Мне говорят, что я не буду вас узнавать, – не будьте ко мне жестоки. Мне говорят, что я не буду страдать от этого. А значит, не стоит страдать и вам. Будьте снисходительны к моей деградации – она будет постепенной, но необратимой.

– Хорошо, – сказал адвокат, дочитав текст, который Адриа озаглавил «Практические указания относительно последнего этапа моей жизни».

– Здесь есть еще что-то, – осмелилась сказать Роза, указывая на документ.

– Да, простите: это прощальный постскриптум.

– И что там?

– Он пишет, что все инструкции нематериального плана собраны отдельно.

– Где?

– В книге, которую он написал, – пояснил Бернат. – Я займусь ею, не волнуйтесь.

Бернат открыл дверь, стараясь не шуметь. Как тать. Ощупал стену в поисках выключателя. Нажал на него, но свет не зажегся. Как назло. Он достал из портфеля фонарик и еще сильнее почувствовал себя вором. Электрощит – или как он там называется – тут же, в прихожей. Бернат поднял рубильник, и свет зажегся в прихожей и в глубине квартиры – может быть, в коридоре прозы на германских и восточных языках. Он замер на несколько секунд, вслушиваясь в молчание квартиры. Прошел на кухню. Распахнутый холодильник, отключенный от розетки, никаких носков внутри. Даже в морозилке. Идя на свет, он прошел мимо прозы на славянских и скандинавских языках. Свет горел в отделе изобразительного искусства и энциклопедий – в мастерской Сары, которая раньше была комнатой Лолы Маленькой. Мольберт еще стоял, как если бы Адриа не утратил надежды, что однажды Сара вернется и сядет рисовать, пачкая пальцы углем. Куча огромных папок с набросками. Стоящие в рамках и образующие некое подобие алтаря «In Arcadia Hadriani» ^[288] и «Сан-Пере дел Бургал: мечта» – два пейзажа, которые Сара подарила Адриа и которые Бернат, ввиду отсутствия четких указаний, решил передать Максу Волтес-Эпштейну. Он не стал выключать свет. Бросил взгляд на религию и классический мир, снова прошел мимо романских языков, заглянул в поэзию и зажег там свет. Везде

полный порядок. Затем вошел в литературные эссе и зажег свет и там: в столовой все как обычно. Солнце по-прежнему бросало лучи на монастырь Санта-Мария де Жерри со стороны Треспуя. Бернат достал из кармана пальто фотоаппарат. Чтобы встать ровно напротив картины Уржеля, пришлось отодвинуть несколько стульев. Он сделал пару фотографий со вспышкой и пару без вспышки. Затем покинул зону эссе и вошел в кабинет. Кабинет был таким же, каким его оставили. Бернат сел на стул и задумался: как часто он входил сюда – всегда вместе с Адриа; чаще всего они обсуждали музыку и литературу, но говорили также и о политике, и о жизни. В молодости и в детстве они подозревали в жизни тайные чудеса. Бернат включил торшер рядом с креслом для чтения. А потом еще торшер у дивана и люстру. На месте, где много лет висел автопортрет Сары, зияла пустота, от которой у него закружилась голова. Он снял пальто, потер лицо ладонями, как Адриа, и сказал: ну давай. Обошел стол и наклонился. Попробовал набрать шесть один пять четыре два восемь. Не открывается. Тогда он набрал семь два восемь ноль шесть пять – и сейф бесшумно открылся. Внутри было пусто. Так, какие-то конверты. Он достал их и положил на стол, чтобы спокойно просмотреть. Открыл один. Не спеша перебрал листы: список персонажей. Он тоже был среди них: Бернат Пленса, Сара Волтес-Эпштейн, Я, Лола Маленькая, тетя Лео... люди... то есть персонажи с датой рождения и – иногда – смерти рядом. Другие листы: своеобразная схема, перечеркнутая, словно он от нее отказался. Еще один список с другими персонажами. И все. Если это было все, получается, что Адриа записывал практически поток сознания и переходил от одного фрагмента повествования к другому, ведомый памятью, насколько ее еще хватало. Бернат положил все бумаги обратно в конверт и убрал в свой портфель. Он склонил голову и сделал усилие, чтобы не заплакать. Не спеша сделал несколько глубоких вдохов, успокоился. Открыл второй конверт: фотографии. Сара фотографирует сама себя, стоя перед зеркалом. Какая красивая! Он даже сейчас не хотел признаться себе в том, что всегда был немного влюблен в нее. На другой фотографии – Адриа за работой на том самом месте, где сейчас сидит Бернат. Друг мой, Адриа. И еще несколько фотографий: лист с набросками младенческого лица. А еще Виал, сфотографированный с разных ракурсов, спереди и сзади. Он вложил фотографии в конверт и его тоже убрал себе в портфель – на этот раз с гримасой горького разочарования при мысли об утраченной скрипке. Снова заглянул в сейф: больше ничего. Он закрыл сейф, но запирать не стал. Потом зашел еще в историю и географию. На прикроватной

тумбочке верные шериф Карсон и Черный Орел по-прежнему несли никому уже не нужный караул. Он взял их вместе с лошадьми и положил в портфель. Вернулся в кабинет и сел в кресло, в котором обычно читал Адриа. Почти час он просидел, глядя в пустоту, погрузившись в воспоминания, тоскуя о прошлом, и время от времени по его щеке скатывалась слеза.

Наконец Бернат Пленса-и-Пунсода очнулся, огляделся вокруг и теперь уже не смог сдержать плача, поднимавшегося из глубины души. Он закрыл лицо руками. Немного успокоившись, он встал с кресла и, надевая пальто, еще раз окинул кабинет внимательным взглядом. *Adéu, ciao, à bientôt, adiós, tschüss, vale, dag, bye, αντίο, пока, la revedere, viszlát, head aega, lehitraot, tchau, maa as-salama, push beshlama* [\[289\]](#) , друг мой.

Ты вошла в мою жизнь мягко, как и в первый раз, и я больше не думал ни об Эдуарде и Оттилии, ни о своей лжи, а думал только о твоём молчаливом и ободряющем присутствии. Адриа сказал ей: владей моим домом, владей мной. И предложил на выбор две комнаты, чтобы устроить мастерскую и разместить книги, одежду и всю свою жизнь, если хочешь, Сара, любимая. Но я не знал, что для того, чтобы вместить всю жизнь Сары, нужно было гораздо больше шкафов, чем мог ей предложить Адриа.

– Эта мне подходит. Она больше моей парижской квартиры, – сказала ты, с порога окидывая взглядом комнату Лолы Маленькой.

– Она светлая. И очень тихая, поскольку выходит во двор.

– Спасибо, – сказала она, оборачиваясь.

– Тебе не за что благодарить меня. Это тебе спасибо.

Вдруг она живо отстранилась и вошла в комнату. В углу у окна висела картинка Миньона с желтыми гардениями и словно приветствовала Сару.

– Но как...

– Она ведь тебе понравилась?

– Как ты узнал?

– Понравилась или не понравилась?

– Это лучшее, что есть во всем доме.

– Теперь она твоя.

Ее благодарность выразилась в том, что она надолго застыла перед гардениями.

Следующим действием, для меня почти литургическим, было

добавление имени Сары Волтес-Эпштейн на почтовый ящик – и после десяти лет одинокой жизни я, сидя за письменным столом, снова стал слышать шаги, позвякивание ложечки о чашку или нежную музыку, доносившуюся из твоей мастерской, и подумал, что мы можем быть счастливы. Но о том, чтобы решить проблемы на другом фронте, Адриа не подумал, а ведь когда оставляешь плохо закрытую папку, может возникнуть много неприятностей. Я знал это – знал. Но надежда сильнее благоразумия.

В новой ситуации Адриа труднее всего было смириться с тем, что Сара словно разгородила их жизни на уголки и некоторые из этих уголков оказались заповедными. Он понял это, увидев удивление Сары в ответ на предложение познакомиться с тетей Лео и кузенами из Тоны.

– Лучше не впутывать семью в наши отношения, – сказала Сара.

– Почему?

– Чтобы избежать разочарований.

– Я хочу познакомить тебя с тетей Лео и своими кузенами, если мы их застанем. Какие могут быть разочарования?

– Я не хочу проблем.

– Не будет никаких проблем. С чего бы им возникнуть?

Когда прибыл багаж с набросками и начатыми рисунками, мольбертами, коробками угля и цветных карандашей, она устроила официальное открытие своей мастерской и подарила мне карандашную копию с гардений Миньона, которую я повесил туда, где раньше висел оригинал, – она и до сих пор там висит. И ты принялась за работу, потому что не успевала с иллюстрациями к детским книжкам, которые тебе заказали какие-то французские издательства. Дни тишины и спокойствия: ты рисовала, а я читал или писал. Мы встречались в коридоре, время от времени заглядывали друг к другу, пили на кухне кофе поздним утром, смотрели друг другу в глаза и ничего друг другу не говорили, чтобы не нарушить хрупкое, неожиданно возвращенное счастье.

Чего ему это стоило! Но когда Сара закончила самую срочную работу, они поехали-таки в Тону на стареньком «Сеате-600», который Адриа купил из третьих рук, сдав наконец – с шестого раза – экзамен по вождению. В Гарриге им пришлось поменять колесо; в Айгуафреде Сара попросила остановиться перед цветочным магазином – она вернулась оттуда с прелестным маленьким букетом и, ничего не сказав, положила его на заднее сиденье. А во время подъема по улице Сан-Антони в Сентельесе у них закипела вода в радиаторе, но в остальном все было хорошо.

– Это самая красивая деревня на свете, – воодушевившись, сказал ей

Адриа, когда они подъезжали.

– Самая красивая деревня на свете довольно страшная, – ответила Сара, когда они остановились на улице Сан-Андреу, и Адриа с силой поднял рычаг ручного тормоза.

– Посмотри на нее моими глазами. Et in Arcadia ego.

Они вышли из машины, и он сказал: посмотри на замок, любимая. Там, наверху. Он прекрасен, правда?

– Ну, знаешь... Не знаю, что и сказать тебе.

Он заметил, что она нервничает, но не понимал, что сделать, чтобы...

– Посмотри на нее моими глазами. А видишь, вон там, рядом с этим некрасивым домом, где еще дом с геранью?

– Да...

– Там была усадьба Казик.

Он сказал это так, словно видел ее, словно стоял на гумне около похожего на яблочный огрызок стога вместе с горбатым Жузепом, который точил ножи, не вынимая окурка изо рта.

– Видишь? – спросил Адриа и указал на стойло для мулицы с неизменным именем Эстрелья, у которой всегда были туфельки на каблучках, постукивавшие о камни заваленной навозом брусчатки, когда она перебирала ногами, отгоняя мух. Он даже услышал, как Виола неистово лает и рвется с цепи, потому что безымянная белая кошка ходит слишком близко от нее, наслаждаясь и хвастаясь своей свободой.

– Я вас, мелюзга! Идите играть в другое место, а ну!..

И все бегом бросались прятаться за белую скалу, и жизнь была восхитительным приключением, непохожим на аппликатуру ми-бемоль-мажорного арпеджио. Пахло навозом, и стучали деревянные башмаки Марии, шедшей к навозной яме, а в конце июля мимо проходили загорелые жнецы с серпами в руках. Дворовую собаку всегда звали Виола, и она завидовала детворе, поскольку та не была привязана на веревку длиной в скупое отмеренные тридцать пядей.

– «Я вас» – это эллипсис...

– Смотрите, смотрите, Адриа ругается!

– Да, только его никогда не поймешь, – пробурчал Щеви, съезжая с горки на изборожденную телегами дорогу, усеянную кучками навоза, оставленными Бастусом, мулом работника.

– Тебя никто не понимает, – упрекнул его Щеви, когда оба съехали.

– Извини. Я просто думаю вслух.

– Да нет, мне-то что...

И они не отряхивали запачканные штаны, потому что в Тоне было все

можно: родители далеко, и даже если разобьешь колени, то и это не страшно.

– Усадьба Казик, Сара... – подытожил он, стоя на дороге, на которую раньше мочился мул Бастус и которая теперь была заасфальтирована. И ему не пришло в голову, что вместо Бастуса теперь аккуратный дизельный самосвальчик «Ивеко» – удобнейшая вещь: не жрет ни соломинки, все чистенько и не воняет навозом.

И тогда, держа свой букет в руках, ты встала на цыпочки и неожиданно поцеловала меня, и я подумал: *et in Arcadia ego, et in Arcadia ego, et in Arcadia ego* – трепетно, словно молясь. И не бойся больше ничего, Сара: здесь ты в безопасности, рядом со мной. Ты рисуй себе, а я буду просто любить тебя, и так мы сможем вместе построить нашу Аркадию. Прежде чем мы постучали в ворота усадьбы Жес, ты отдала мне букет.

На обратном пути Адриа убеждал Сару сдать на права – наверняка у нее все получится лучше и быстрее, чем у него.

– Хорошо.

Километр они проехали молча, затем Сара сказала:

– А знаешь, тетя Лео мне понравилась. Сколько ей лет?

Laus Deo^[290]. Он уже заметил, что где-то через час пребывания в гостях Сара несколько расслабилась и внутренне заулыбалась.

– Не знаю. Больше восьмидесяти.

– Она очень бодрая. И откуда у нее столько сил – все время чем-то занята!

– Она всегда была такая. У нее все по струнке ходят!

– В конце концов она заставила меня взять банку оливок.

– Что и говорить – тетя Лео такая!

И, разойдясь:

– А почему бы нам как-нибудь не съездить в гости к твоим?

– Нет, исключено, – сухо, решительно.

– Почему, Сара?

– Они не принимают тебя.

– Но тетя Лео тебя приняла!

– Твоя мать, если бы она была жива, не пустила бы меня даже на порог твоего дома.

– Нашего дома.

– Нашего дома. Тетя Лео – ладно. Я думаю, что даже полюблю ее в конце концов. Но это не считается. Считается только твоя мать.

– Она умерла, Сара! Десять лет назад!

Молчание до самого Фигерó. Пока они молчали, Адриа решился попытать счастья еще раз и сказал: Сара.

– Что?

– Что тебе сказали обо мне?

Молчание. Поезд на другом берегу Конгоста карабкался в Риполь. А мы могли вот-вот свергнуться в пропасть непростого разговора.

– Кто?

– Твои домашние. Отчего ты убежала.

– Ничего.

– А что я якобы написал в том письме?

Впереди не спеша ехал грузовик с надписью «Данон». Адриа нужно было собраться с мыслями, прежде чем решиться на обгон. Грузовик или разговор. Он решил не обгонять и повторил: а, Сара? Как тебя обманули? Что тебе сказали обо мне?

– Больше не спрашивай меня об этом.

– Почему?

– Больше никогда.

Начинался прямой участок дороги. Адриа включил поворотник, но не решался на обгон.

– Я имею право знать, что...

– А я имею право перевернуть эту страницу.

– Я могу спросить об этом твою мать?

– Вам лучше никогда не встречаться.

– Вот как.

Пусть кто-нибудь другой обгоняет. Адриа был не способен объехать медленный грузовик с йогуртами – главным образом потому, что глаза ему застили слезы, а там не предусмотрено дворников.

– Мне очень жаль, но так будет лучше. Для нас обоих.

– Я не буду настаивать... Постараюсь не настаивать... Но мне хотелось бы увидеть твоих родителей. И твоего брата.

– Моя мать похожа на твою. Я не хочу ее ни к чему принуждать. У нее слишком много шрамов на сердце.

Voilà^[291]: на уровне Моли-де-Бланкафорт грузовик с йогуртами свернул в сторону Гарриги, и Адриа почувствовал себя так, будто бы это он сам обогнал его. Сара продолжила:

– Мы с тобой должны жить своей жизнью. Если ты хочешь жить вместе со мной, не открывай эту шкатулку. Это ящик Пандоры.

– Как в сказке о Синей Бороде. В садах деревья ломаются от фруктов, но в доме есть запертая на ключ комната, куда нельзя заходить.

- Да, что-то наподобие. Как запретный плод. Ты справишься?
- Да, Сара, – уж не знаю в который раз соврал я. Моей задачей было не дать тебе снова сбежать.

На кафедре на четырех преподавателей было три стола. Своего стола не было у Адриа: он отказался от него в первый день, потому что не представлял себе, как можно работать вне дома. У него было место, где оставить портфель, и шкафчик. Однако стол был ему нужен, и он признавал, что поторопился с отказом. Поэтому, когда у Льюписа был выходной, Адриа сидел за его столом.

Он вошел, исполненный решимости. Но Льюпис сидел за своим столом и то ли вычитывал какую-то корректуру, то ли еще что-то. Лаура сидела на своем месте; она подняла голову. Адриа застыл как вкопанный. Никто ничего не сказал. Льюпис осторожно поднял взгляд, посмотрел на них, сказал, что пойдет выпить кофе, и благоразумно исчез с поля битвы. Я сел на стул Льюписа – прямо перед Лаурой и ее пишущей машинкой.

– Я должен тебе кое-что объяснить.

– Ты – объяснить?

Саркастический тон Лауры не обещал легкой беседы.

– Ты не хочешь поговорить?

– Ну, знаешь... Вот уже несколько месяцев ты не отвечаешь на телефонные звонки, избегаешь встреч со мной, а если это все же случается, говоришь – мне сейчас некогда, я сейчас не могу...

Оба помолчали.

– Что я могу сказать? Видимо, это просто подарок судьбы, что ты сегодня появился, – добавила Лаура тем же тоном; она была задета.

Взгляды искоса, неловкость. Лаура отодвинула свою «оливетти», словно машинка, стоя между ними, мешала разговору, и решительно, как человек, готовый ко всему, сказала:

– У тебя есть другая – так?

– Нет.

Разберемся: с чем я сам в себе никогда не мог свыкнуться, так это с тем, что я абсолютно не способен взять быка за рога. Самое большее – я могу взять его за хвост, но тогда я обречен получить смертельный удар копытом в грудь. Наверное, я никогда этому не научусь, потому что даже в тот момент я сказал: нет, нет, нет, с чего ты взяла, Лаура? У меня никого нет... Это я – короче говоря, я сам решил...

– Ты смешон.

– Не оскорбляй меня, – сказал Адриа.

– «Ты смешон» – это не оскорбление.

Она встала, уже не вполне себя контролируя:

– Да скажи ты наконец правду, чтоб тебя! Скажи, что не любишь меня!

– Я тебя не люблю, – сказал Адриа как раз в ту секунду, когда Парера открыла дверь, а Лаура разрыдалась. А когда Лаура говорила: ну ты и сукин сын! какой же ты сукин сын! что за сукин сын! – Парера уже закрыла дверь, и они снова остались наедине.

– Ты меня использовал, как носовой платок.

– Да. Извини.

– Да пошел ты!

Адриа вышел из кабинета. Облокотившись на перила, отделявшие галерею от внутреннего двора, Парера коротала время за сигареткой – может быть, обдумывая, на чью сторону встать, хотя она и не знала подробностей. Он прошел мимо нее, не осмелившись сказать ни слова, даже не поблагодарив за деликатность.

Дома Сара посмотрела на него с удивлением, как будто разговор с Лаурой и вызванное им неудовольствие прилипли к его одежде или запачкали лицо, но ничего не сказала. Я уверен – ты все поняла, но догадалась скрыть это. И когда ты начала: я должна тебе кое-что сказать, – Адриа уже предвидел новую бурю, но вместо того, чтобы дать ему понять, что ты все знаешь, ты сказала: я думаю, нам нужно найти новую булочную, а то этот хлеб как резина. Тебе не кажется?

До того дня, когда прозвенел звонок и Сара вполголоса поговорила по телефону в столовой; заглянув в комнату, я увидел, что она молча плачет, повесив трубку и забыв снять руку с телефона.

– Что случилось? – Молчание. – Сара!

Она посмотрела на него отсутствующим взглядом. Отдернула руку от телефона, словно обожглась:

– Мама умерла.

Боже мой. Не знаю почему, но мне вспомнился тот день, когда отец сказал: в этом доме набралось уже слишком много сокровищ, – а мне слышалось: пролилось слишком много крови. Я был уже давно взрослый, но мне все равно было трудно признать, что жизнь существует за счет смерти.

– Я не знал, что...

Она взглянула на меня сквозь слезы:

– Она не болела, это случилось внезапно. Ma pauvre maman... [\[292\]](#)

Я был взбешен. Не знаю, как это лучше выразить, Сара, но меня

взбесило, что люди вокруг меня умирают. Тогда я был взбешен, но я и до сих пор не могу сказать, что сильно изменился в этом отношении. Наверняка я просто так и не смог принять жизнь такой, какая она есть. Поэтому я поднял бессмысленный бунт и нарушил данное слово. Как тать, как Господь, вошел я в храм. И сел на лавку в глубине синагоги. Я снова увидел твоего отца – впервые с того ужасного разговора, когда ты бесследно исчезла и мне не за что было ухватиться, кроме отчаяния. Адриа также смог вволю налюбоваться затылком Макса, который был на две головы выше сестры, приблизительно с Берната ростом. Отец и Макс все время находились по обе стороны от Сары вместе с другими родственниками, с которыми меня никогда не познакомят, потому что ты этого не хочешь, потому что я сын своего отца и кровь его грехов на его детях и на детях его детей до седьмого колена. Я хотел бы, Сара, чтобы у нас с тобой был ребенок, подумал я. Но тогда еще не осмелился сказать тебе об этом. Когда ты сказала мне: лучше не приходи на похороны, – Адриа осознал, до какой степени семье Эпштейн противно воспоминание о сеньоре Феликсе Ардеволе.

Между тем дистанция с Лаурой окончательно оформилась, хотя я всегда думал: бедная Лаура, все это случилось по моей вине. И почувствовал себя спокойнее, когда однажды во дворе университета она сказала: я уезжаю в Упсалу дописывать диссертацию. И может быть, останусь там.

Бац. Ее голубой взгляд лежал на мне, как обвинение.

– Желаю успеха: ты его заслуживаешь.

– Сукин сын.

– Правда, успеха тебе, Лаура.

И больше года я не видел ее и не думал о ней, потому что как раз тогда в нашу жизнь вошло горе, связанное со смертью сеньоры Волтес-Эпштейн. Ты даже не представляешь, как меня печалит то, что я вынужден называть твою мать сеньорой Волтес-Эпштейн. И однажды, через несколько месяцев после похорон, я договорился встретиться с сеньором Волтесом в кафе рядом с университетом. Я никогда тебе об этом не говорил, любимая. Я не осмеливался сказать тебе об этом. Ты спросишь, почему я это сделал? Потому что я – не мой отец. Потому что я во многом виноват. Но хотя мне иногда и кажется иначе, в том, что я сын своего отца, я невиновен.

Они не обменялись рукопожатиями. Оба неопределенно кивнули, что можно было истолковать как приветствие. Оба молча сели. Оба избегали смотреть друг другу в глаза.

– Я очень сожалею о смерти вашей супруги.

Сеньор Волтес кивком поблагодарил за сочувствие. Они заказали два чая и подождали, пока уйдет официантка, чтобы продолжить молчать.

– Что тебе нужно? – наконец после долгого молчания спросил сеньор Волтес.

– Полагаю, быть принятым в вашей семье. Я хотел бы навестить вас в день памяти дяди Хаима.

Сеньор Волтес удивленно посмотрел на него. Адриа никак не мог забыть день, когда она сказала: я еду в Кадакес.

– Я с тобой.

– Это невозможно.

Разочарование. Между ними снова встала стена.

– Но завтра не Йом-Киппур, не Ханука и не чья-нибудь бар-мицва^[293].

– Сегодня годовщина смерти дяди Хаима.

– А...

Семья Волтес-Эпштейн едва-едва соблюдала субботы, посещая синагогу на улице Авенир, в остальном же не была религиозна. И если они отмечали праздники Рош ха-Шана или Суккот^[294], то только для того, чтобы говорить себе: мы евреи, живущие среди гоев. И навсегда останемся евреями. Но не потому, что... Мой отец не еврей, сказала мне Сара однажды. Но это все равно как если бы он был евреем: в тридцать девятом он покинул страну. И он ни во что не верит; он говорит, что ему достаточно просто стараться не причинять никому зла.

Сейчас сеньор Волтес сидел напротив Адриа, размешивая сахар в чае. Он взглянул Адриа в глаза, и тот почувствовал себя обязанным ответить на этот взгляд, и я сказал: я искренне люблю вашу дочь. И тот перестал размешивать сахар и бесшумно положил ложечку на блюдце.

– Сара никогда тебе о нем не рассказывала?

– О дяде?

– Да.

– Немного рассказывала.

– Насколько немного?

– Ну, что... Что один нацист вытащил его из газовой камеры, чтобы он его обследовал.

– Дядя Хаим покончил с собой в пятьдесят третьем году, и мы всегда задавались вопросом: почему, если он все вынес? Почему, если ему удалось выжить и воссоединиться с семьей... с оставшейся частью семьи?.. И чтобы отдать дань памяти этому «почему», мы хотим быть одни.

И Адриа с самонадеянностью, вызванной неожиданной

откровенностью собеседника, ответил: может быть, дядя Хаим покончил с собой, потому что не смог вынести того, что он выжил; потому что чувствовал себя виноватым в том, что не умер.

– Смотри-ка, мудрец нашелся. Может быть, он сам тебе это рассказал? Вы что, были знакомы?

Да почему же ты не умеешь вовремя промолчать, а?

– Простите. Я не хотел вас обидеть.

Сеньор Волтес снова взял ложечку и стал помешивать чай – наверняка чтобы сосредоточиться. Когда Адриа уже думал, что разговор окончен, сеньор Волтес продолжил монотонно, словно произносил заученный текст; словно то, что он говорил, было ритуальной частью отмечания дня памяти дяди Хаима:

– Дядя Хаим был образованным человеком, именитым врачом, и, вернувшись из Освенцима, когда окончилась война, он не захотел взглянуть нам в глаза. Он приехал к нам, потому что мы были его единственными родственниками. Он не был женат. Его брат, дедушка Сары, умер в тридцать девятом году в поезде при перевозке. Этот поезд организовали вишисты^[295], чтобы способствовать мировой этнической чистке. Его брат. А его свояченица не пережила позора и умерла в тюрьме Дранси перед отправкой. И он годы спустя вернулся в Париж к единственной своей родственнице, к племяннице. Он так больше и не возобновил врачебную практику. А когда мы поженились, то настояли на том, чтобы он переехал к нам. Когда Саре было три годика, дядя Хаим сказал Рашели, что идет пропустить рюмочку пастиса^[296] в «Оберже», взял Сару на руки, поцеловал, поцеловал Макса, которого как раз привели из детского сада, нахлобучил шляпу и вышел из дому, насвистывая анданте из Седьмой симфонии Бетховена. Через полчаса мы узнали, что он бросился в Сену с моста Пон-Нёф.

– Мои соболезнования, сеньор Волтес.

– И мы отдаем ему дань памяти. Ему и другим нашим близким родственникам – их четырнадцать, – ставшим жертвами Шоа^[297]. Мы выбрали этот день, потому что это единственная известная дата смерти на всех. Их просто уничтожили – мы знаем – без тени сочувствия, во имя нового мира.

Сеньор Волтес сделал глоток чая и замер с остановившимся взглядом. Он смотрел на Адриа, но не видел его, – может быть, у него перед глазами стояли воспоминания о дяде Хаиме.

Они долго сидели молча. Наконец сеньор Волтес встал:

- Мне пора.
- Конечно. Спасибо, что уделили мне время.

Машина сеньора Волтеса стояла прямо напротив кафе. Он открыл дверцу, поколебался несколько секунд и потом предложил:

- Могу подвезти тебя, куда скажешь.
- Да нет, я...
- Садись.

Это был приказ. Адриа сел. Они бесцельно кружили по загруженным улицам Эшампле. Сеньор Волтес нажал на кнопку, и раздались нежные звуки сонаты Энеску^[298] для скрипки и фортепиано. Не знаю, второй или третьей. И вдруг, пока они стояли на светофоре, сеньор Волтес возобновил свой рассказ, который, я уверен, все это время ни на секунду не прерывался в его голове.

Спасшись из душевой благодаря тому, что он врач, дядя Хаим провел два дня в двадцать шестом бараке, где спали шестьдесят тихих и изможденных людей с потерянными взглядами: уходя на работу, они оставляли его наедине с румынским капо^[299], который смотрел на него издали с недоверием, словно недоумевая, что делать с этим новичком, у которого еще читалось на лице здоровье. На третий день заметно пьяный хауптштурмбаннфюрер помог капо разрешить эту проблему: заглянув в двадцать шестой барак, он увидел доктора Эпштейна, который сидел на своей койке, пытаясь стать невидимым.

- А этот что здесь делает?
- Приказ штурмбаннфюрера Барбера.
- Ты!

«Ты» означало – он. Он медленно обернулся и посмотрел офицеру в глаза.

- Встать, когда я с тобой разговариваю!
- Ты встает, потому что с ним разговаривает хауптштурмбаннфюрер.

– Хорошо. Я его забираю.

– Но... – сказал капо, покраснев до корней волос, – штурмбаннфюрер Барбер...

- Штурмбаннфюреру Барберу скажешь, что его забрал я.
- Но господин офицер!..
- Штурмбаннфюрер Барбер может идти в задницу. Теперь понятно?
- Так точно.
- Эй, Ты, иди сюда, у нас будет развлечение.

Развлечение было отличное, просто замечательное. Очень бодрящее.

Он понял, что день воскресный, когда офицер сказал, что у него гости, и повел его в сторону офицерских домов – и там втолкнул в подвал, где его встретили восемь или десять пар испуганных глаз. Он спросил: что здесь творится? – но его никто не понял, потому что это были, видимо, венгерки; по-венгерски он знал только «köszönöm»^[300], чему никто не улыбнулся. И тут дверь подвала вдруг открылась, и это оказался не подвал, потому что он находился на уровне вытянутого узкого двора, и какой-то унтершарфюрер^[301] с красным носом заревел Ты прямо в ухо – он проревел: когда я скажу «марш!», вы побежите вон до той стены. И не завидую тому, кто прибежит последним! Марш!

Восемь или десять женщин и Ты бросились бежать, как гладиаторы в цирке. До них доносился возбужденный смех. Женщины и Ты добежали до стены в глубине двора. Только одна старуха была еще на полпути. И тогда послышалось что-то вроде горна, а потом раздались выстрелы. Старуха упала наземь, прошитая полудюжиной пуль в наказание за то, что была последней, бедная апуока, бедная öreganyó^[302], ну то есть за то, что она даже не добежала, паршивка. Ты в ужасе обернулся. На галерее выше уровня двора три офицера перезаряжали ружья, а четвертый, тоже с ружьем, держал во рту сигару, к которой подносила огонь очевидно пьяная женщина. Все четверо о чем-то жарко спорили. Один из них бросил отрывистый приказ унтер-офицеру с красным носом, и тот прокричал им, что они должны вернуться, не спеша, дело еще не окончено, и венгерские женщины и Ты вернулись в слезах, обходя тело старушки, с ужасом видя, что один из офицеров следит за ними в прицел, и ожидая выстрела. Другой офицер понял намерения первого и хлопнул его по спине в момент, когда тот нажимал на курок, целясь в исхудавшую девушку, – ружье дернулось, и пуля просвистела в миллиметре от Ты.

– А сейчас опять бегите туда.

И дяде, толкая его:

– Ты, встань сюда, чтоб тебя!

Унтер-офицер не без гордости оглядел своих зайцев, чувствуя даже некоторую солидарность с ними, и крикнул:

– Бегите зигзагами, а то не добежите! Вперед!

Офицеры были так пьяны, что сумели убить только трех женщин. Ты добежал до противоположного угла, живой – и виновный в том, что не закрыл собой ни одну из трех женщин, лежавших посреди двора. Одна из них была смертельно ранена, и врач Ты сразу понял, что пуля, попавшая в шею, перебила яремную вену; словно чтобы подтвердить это,

женщина замерла в расползающейся под ней луже крови. *Mea culpa*.

И многое другое, что Ты рассказал только мне и во что я не имел мужества посвятить ни Рашель, ни детей. Что он не выдержал и стал кричать фашистам, что они ублюдки, и самый трезвый из них рассмеялся и, прицелившись в самую молодую из оставшихся женщин, крикнул: заткнись, или я всех их порешу! Ты замолчал. И когда те повернули голову и посмотрели на двор, одного из охотников вырвало, а другой стал говорить ему: видишь? видишь? Я тебя предупреждал: не надо было смешивать столько ликеров. И по этой причине развлечение пришлось прервать, и они снова оказались во тьме и остались наедине со своим ужасом и всхлипами. Снаружи доносились раздраженные крики и торопливые приказы, которых Ты не мог понять. И оказалось, что на завтра начиналась эвакуация лагеря, потому что русские наступали быстрее, чем нацисты могли предположить, и в суматохе никто не вспомнил о шести или семи зайцах, сидевших в узком дворе. Да здравствует Красная армия! – сказал ты по-русски, когда догадался, в чем дело, и одна из женщин поняла его и перевела остальным. И тогда всхлипы умолкли, и появилась надежда. И так Ты удалось выжить. Но я часто думаю, что жизнь оказалась наказанием пострашнее смерти. Ты понимаешь меня, Ардевол? Поэтому я еврей – не по рождению, насколько мне известно, но по собственной воле, как и многие каталонцы, которые чувствуют себя рабами на собственной земле и на родине живут, как на чужбине. И с того дня я узнал, что я тоже еврей, Сара. Еврей по сознанию, по народности, по истории. Еврей без Бога, старающийся жить так, чтобы никому не причинять зла, как сеньор Волтес, потому что стараться творить добро, на мой взгляд, – слишком претенциозно. Этот узел мне тоже не удалось распутать.

– Будет лучше, если моя дочь не узнает о нашем разговоре. – Это было последнее, что сказал сеньор Волтес, когда я выходил из машины. И потому до сегодняшнего дня, когда я пишу эти строки, я ничего не говорил тебе, Сара. Этот секрет – еще одно проявление моей неверности. Но мне очень жаль, что я больше не видел сеньора Волтеса до самой его смерти.

Мне кажется, я не ошибаюсь: приблизительно в это время ты купила себе пурро^[303].

Мы жили вместе всего пару месяцев, когда мне позвонил Муррал и сказал: у меня есть оригинальная рукопись *El coronel no tiene quien le escriba*^[304].

- Не может быть!
- Может.
- С гарантией?
- Сеньор Ардевол, вы меня оскорбляете.

И я сказал, стараясь говорить спокойно, неизменившимся голосом: мне надо на минутку выйти, Сара. И из мастерской донесся голос Сары, вынырнувшей из сказки о веселой лягушке, – она спросила: куда?

– В Атенеу. (Клянусь, я сказал, что иду в Атенеу, – как-то само так получилось.)

- А... (А ей-то откуда знать, *povertta*^[305].)
- Да, сейчас вернусь. (*Maestro dell'inganno*^[306].)
- Сегодня твоя очередь готовить ужин. (*Innocente e angelica*^[307].)
- Да-да, не волнуйся. Я скоро. (*Traditore*^[308].)
- Все в порядке? (*Compassionevole*^[309].)
- Что ты, конечно! (*Bugiardo, menzognero, impostore*^[310].)

Адриа сбежал, сам не заметив, что, закрывая дверь, он хлопнул ею сильнее, чем нужно, – совсем как его отец много лет назад, когда отправлялся на встречу со своей смертью.

В квартирке, где Муррал обдeldывал свои дела, я смог рассмотреть замечательную, выдающуюся рукопись. Окончание было напечатано на машинке, но Муррал уверил меня, что в рукописях Маркеса такое часто встречается. Какое наслаждение!

- Сколько?
- Столько.
- Немало!
- Вам виднее.
- Столько.

– Не смешите меня. Буду с вами откровенен, профессор Ардевол: эта рукопись досталась мне, скажем так, несколько рискованным путем, а за риск нужно платить.

- Вы хотите сказать, она краденая?
- Что за слова! Уверяю вас, эти листы не оставили никаких следов.
- В таком случае столько.
- Нет, столько.
- Хорошо.

На такого рода покупки чеки не пробивают. Нужно было ждать до следующего дня; я сгорал от нетерпения. Ночью мне приснилось, что сам Габриель Гарсия Маркес пришел упрекать меня в краже, – я

притворялся, что ничего не знаю, и он бегал за мной по квартире с огромным ножом, а я...

– Что с тобой? – спросила Сара, зажигая свет.

Было начало пятого утра, Адриа приподнялся на родительской кровати, которая теперь была нашей. Он тяжело дышал, как после длинного забега.

– Так, ничего... Приснилось...

– Что приснилось?

– Не помню.

Я снова лег. Подождал, пока она погасит свет, и сказал: Маркес бегал за мной по квартире вот с таким ножом и хотел убить.

Тишина. Нет, постель легонько колыхнулась. Наконец Сара расхохоталась. Потом я почувствовал, что она нежно ерошит редкие волосы на моей почти уже лысине, как никогда не делала моя мать. Я почувствовал себя грязным и виноватым, потому что обманывал ее.

За завтраком они молчали, до конца еще не проснувшись. Пока Сара снова заразительно не рассмеялась.

– Что с тобой?

– У тебя даже чудовища в кошмарах – интеллектуалы!

– Он меня правда испугал! Ой, мне же сегодня в университет. (Impostore.)

– Но ведь сегодня вторник. (Angelica.)

– Да, но... Не знаю, чего от меня хочет Парера, но она попросила, чтобы я... уфф... (Spregevole^[311].)

– Не волнуйся. (Innocente.)

Ложь за ложью – я пошел в банк, снял нужную сумму и направился к Мурралу, испытывая тягостное беспокойство: вдруг у Муррала ночью случился пожар, вдруг он передумал, вдруг нашел более щедрого покупателя – или его арестовали.

Нет. «Полковник» спокойно дожидался меня. Я с трепетом взял его в руки. Он мой, можно больше не беспокоиться. Мой.

– Сеньор Муррал...

– Да?

– А полная рукопись Ницше?

– Ага.

– Вы скажете мне цену?

– Если это праздный интерес, не скажу. И не обижайтесь.

– Я хочу купить ее, если смогу.

– Позвоните мне через десять дней, и я назову сумму, если рукопись еще не продали.

– Как?!

– А что вы думали? Что вы один такой на свете?

– Она мне нужна!

– Десять дней.

Дома я не мог показать тебе свое новое сокровище. Это была тайная часть моей жизни, которую я противопоставлял твоим секретам. Я спрятал рукопись в глубине ящика. Думал купить для нее специальную папку, чтобы можно было рассматривать каждый лист отдельно с двух сторон. Но нужно было сделать это тайно. А тут еще Черный Орел.

– Ну что там у тебя, выкладывай.

– Ты перешел заповедную реку.

– Что?

– Ты собираешься и дальше тратить деньги на игрушки, а твоя скво даже не подозревает об этом.

– Это все равно что изменять ей, – вмешался Карсон. – Так дело не пойдет.

– Я не могу поступать иначе.

– Мы вот-вот разорвем отношения с бледнолицым другом, который всю жизнь давал нам пристанище.

– Или расскажем все Саре.

– Вам не поздоровится: я выкину вас с балкона.

– Храбрый воин не боится угроз лживого и трусливого бледнолицего. И потом, ты не посмеешь сделать это.

– Посмеет, – встрял Карсон. – Больные люди не просчитывают последствий. Они в плену у порока.

– Обещаю, что полная рукопись Ницше будет последним приобретением.

– Почему я должен тебе верить? – Это Карсон.

– Я не понимаю, почему ты таишься от своей скво. – Это Черный Орел. – Ты покупаешь рукописи на собственное золото. Они не были отобраны жестоким белым человеком с огненной палкой у какого-нибудь еврея или украдены.

– Некоторые были, дружище, – поправил его Карсон.

– Но бледнолицая скво не обязана знать это.

Я оставил их обсуждать эти вопросы, будучи не в силах признаться, что у меня недостает храбрости пойти к Саре и сказать: Сара, это сильнее

меня. Я хочу обладать предметами, которые привлекают мое внимание. Я хочу их и готов за них убить.

– Да? – Это Карсон.

– Нет. Но почти.

И Саре:

– По-моему, мне нехорошо.

– Бедненький, ложись. Я поставлю тебе градусник. (Compassionevole e innocente^[312].)

Два дня я пролежал с температурой и наконец пришел к своеобразному соглашению с самим собой (хотя его не подписали ни Карсон, ни Черный Орел), в соответствии с которым я разрешал себе, во имя наших отношений, не рассказывать подробностей истории Сториони, известных мне самому только частично, а также о том, какие предметы, по моим подозрениям, появились в коллекции в результате хищнических действий отца. Или о том, что вместе с магазином я продал, а следовательно, и приобрел многие отцовские грехи... Об этом, я думаю, ты догадывалась. Мне не доставало храбрости признаться в том, что я солгал тебе в день, когда ты приехала из Парижа с желтым цветком в руке и сказала: я не отказалась бы от кофе.

– Манера напоминает мне Хемингуэя, – сказала Мирейя Грасия.

Бернат склонил голову, воспрянув от этого замечания. Он в то же мгновение забыл о том, что в «Книжную пыль» на его мероприятие пришли только три человека.

– Не советую тебе устраивать презентацию, – сказал Бауса.

– Почему?

– Сейчас слишком много всего проводится: никто не придет.

– Это ты так думаешь. Или ты к разным авторам относишься по-разному?

У Бауса ответ вертелся на языке, но он сдержался. И с усталым выражением на лице, которое ему все-таки не удалось скрыть, сказал:

– Ладно. Скажи, когда тебе удобно и кого ты хочешь видеть ведущим.

Видя улыбку Берната, он добавил:

– Но если никто не придет, я не виноват.

В приглашении было написано, что издатель Эрибер Бауса и автор лично приглашают вас на презентацию «Плазмы», последней книги

рассказов Берната Пленсы, в магазине «Книжная пыль». Книгу представит Мирейя Грасия. По окончании презентации гостям будет предложен бокал шампанского.

Адриа положил приглашение на стол и на минуту задумался, пытаясь представить, что может сказать Мирейя Грасия об этой книге. Что она слабая? Что Пленса так и не научился передавать и описывать эмоции? Что это напрасный перевод бумаги и жаль деревьев, пошедших на ее изготовление?

– На этот раз я не обижусь, – сказал Бернат, предлагая ему выступить в роли ведущего на презентации.

– Откуда мне знать, что так и будет?

– Она тебе понравится. А даже если не понравится, я вырос: мне скоро сорок, и я начал понимать, что нам с тобой не стоит из-за этого ссориться. Согласен? Представишь книгу? В следующем месяце в «Книжной пыли». Это легендарный книжный магазин и...

– Бернат, нет.

– Слушай, сначала хотя бы прочитай, ладно? – Бернат был оскорблен, удивлен, расстроен.

– У меня очень много работы. Конечно же, я ее прочитаю, но не могу сказать когда. Не загоняй меня в угол.

Бернат застыл с открытым ртом, не в состоянии осмыслить, что он только что услышал, и тогда я сказал: ладно, давай, я прочитаю ее прямо сейчас. Если мне не понравится, я тебе сообщу и тогда, конечно, не смогу выступить на презентации.

– Вот это называется – друг. Спасибо. Тебе понравится, – он наставил на него указательный палец, как Грязный Гарри^[313], – и ты сам захочешь выступить на презентации.

Бернат был убежден, что на этот раз да, на этот раз я скажу: Бернат, ты меня удивил: я вижу в этом мощь Хемингуэя, талант Борхеса, мастерство Рульфо и иронию Калдерса^[314]. И он пребывал в прекрасном расположении духа и чувствовал себя самым счастливым человеком в мире, когда через три дня я позвонил ему и сказал: Бернат, как обычно: персонажи неубедительны и мне все равно, что с ними может произойти.

– Что, прости?

– Литература – это не игрушка. Или, иначе говоря, если литература для кого-то просто игрушка, она меня не интересует. Ты меня понимаешь?

– Ни один не спасся? Даже последний рассказ?

– Он лучше других. Но все они потерпели крушение.

– Ты жестокий человек. Тебе нравится издеваться надо мной.
– Ты говорил, что тебе исполнилось сорок и ты не рассердишься, если...

– Еще не исполнилось! И у тебя такая неприятная манера говорить, что тебе не нравится, что...

– Другой у меня нет.

– Нельзя просто сказать – мне не понравилось? И точка.

– Раньше я так и делал. Но у тебя нет исторической памяти. Я могу сказать: мне не понравилось, и точка. Но в таком случае ты говоришь: и точка? И все? И тогда мне приходится обосновывать свое «не понравилось», и я стараюсь при этом быть честным, потому что не хочу потерять тебя, и поэтому я говорю: у тебя нет таланта создавать персонажей, они у тебя – просто имена. Все говорят одинаково, и им самим всем все равно, интересны они мне или нет. Без всех этих персонажей легко можно обойтись.

– Как это – можно обойтись? Если из «Крыс» убрать Бьела, от рассказа ничего не останется!

– Ты не хочешь меня понять. Без самого рассказа можно обойтись. Он меня не изменил, не обогатил – вообще ничего!

И вот теперь эта идиотка Мирейя говорила: Пленса обладает мощью Хемингуэя, и Адриа, чтобы не слышать, как она сравнит его с Борхесом и Калдерсом, спрятался за книжной полкой. Он не хотел, чтобы Бернат увидел его там, в стылом книжном магазине, где стояло семнадцать пустых складных стульев и три занятых, причем на одном из занятых стульев сидел человек, чье выражение лица ясно говорило: он что-то перепутал и пришел не туда.

Ты трус, подумал Адриа. А еще, так как ему нравилось рассматривать мир и идеи в исторической перспективе, он подумал, что если бы стал изучать историю своей дружбы с Бернатом, то, несомненно, пришел бы к следующему невозможному положению: Бернат был бы счастлив, если бы сконцентрировал свою способность к счастью на скрипке. Адриа незаметно сбежал из книжного и сделал кружок по кварталу, обдумывая, что теперь делать. Как могло получиться, что даже Текла не пришла? А сын?

– Как это ты не придешь? Это же моя книга!

Текла допила молоко и подождала, пока Льюренс уйдет в комнату за школьным рюкзаком. Понизив голос, она сказала:

– Если бы я ходила на все твои концерты и презентации...

– Как будто они у меня каждый день! Последняя презентация была

шесть лет назад.

Молчание.

– Ты не хочешь поддержать меня.

– Я хочу расставить все по местам.

– Ты просто не хочешь идти.

– Я не могу.

– Ты меня не любишь.

– Ты не пуп земли.

– Я знаю.

– Нет, не знаешь. Ты не отдаешь себе в этом отчета. Ты всегда что-то просишь, требуешь.

– Я тебя не понимаю.

– Ты всегда думаешь, что все находятся в полном твоём распоряжении.

Что ты в доме главный.

– Ну, знаешь...

Она посмотрела на него с вызовом. Он чуть было не сказал: конечно, я в доме главный, но шестое или седьмое чувство вовремя подсказало ему сдержаться. Он застыл с раскрытым ртом.

– Да нет, скажи, скажи, – подхлестнула его Текла.

Бернат закрыл рот. Текла, глядя ему в глаза, сказала: у нас тоже есть своя жизнь, но для тебя само собой разумеется, что мы всегда можем пойти, куда ты скажешь, и всегда должны читать все, что ты напишешь, и это обязательно должно нам нравиться, даже нет – мы обязаны быть в восторге.

– Ты преувеличиваешь.

– Ты сказал Льюренсу прочитать твою книгу за десять дней!

– Разве плохо попросить сына прочитать книгу?

– Бернат, ради бога, ему девять лет!

– И что?

– Знаешь, что он сказал мне вчера перед сном?

Мать на цыпочках выходила из детской, когда ребенок включил лампу на тумбочке.

– Мама!

– Ты не спишь?

– Нет.

– Что случилось?

Текла села на край кровати. Льюренс открыл тумбочку и достал книгу, которую Текла сразу узнала.

– Я начал читать, но ничего не понимаю.

– Это не для детей. Почему ты решил ее прочитать?
– Папа сказал прочитать ее к воскресенью. Он сказал, что здесь мало.
Текла взяла книгу в руки.
– Не обращай внимания.
Она открыла книгу и стала рассеянно листать.
– Папа сказал, что будет спрашивать.
Она вернула книгу Льюренсу:
– Сохрани ее. Но читать не обязательно.
– Точно?
– Точно.
– А если папа будет спрашивать?
– Я скажу ему, чтобы не спрашивал.
– Интересно, почему это я не могу задать вопрос собственному сыну! – Бернат с возмущением постукивал чашкой о блюдце. – Я его отец!
– Ну у тебя и самомнение!
Льюренс приоткрыл дверь. Он был уже в куртке и с рюкзаком.
– Папа сейчас идет. Спускайся, сынок.
Бернат встал, швырнул салфетку на стол и вышел из кухни.
Прогулявшись, Адриа снова очутился у книжного. Он еще не придумал, что делать. Вдруг в одной из витрин выключили свет. Адриа успел среагировать и отскочил на несколько метров. Из дверей стремительно вышла Мирейя Грасия – она прошла прямо рядом с Адриа, но не заметила его, поскольку смотрела на часы. Когда показались Бернат, издатель и еще два или три человека, Адриа устремился к ним навстречу, как будто сильно опаздывал.
– Эй!.. Только не говори, что все уже закончилось! – Разочарование в лице и голосе.
– Привет, Ардевол.
Адриа приветствовал издателя взмахом руки. Остальные разошлись. Тогда Бауса сказал, что ему тоже пора.
– Может быть, пойдём поужинаем? – предложил Бернат.
Бауса сказал, что не может, он уже договорился, его ждут на ужин в другом месте, – и оставил друзей наедине.
– Ну? Как все прошло?
– Хорошо. Довольно хорошо. Мирейя Грасия была очень убедительна. Очень... хорошо, да. И было довольно много народу. Хорошо. Да?
– Я рад. Я хотел прийти, но...
– Не переживай, старик. Мне даже вопросы задавали.
– А Текла?

Они зашагали в молчании, которое все объясняло. Когда они дошли до угла, Бернат вдруг остановился и посмотрел Адриа в глаза:

– У меня такое впечатление, что я пишу вопреки всему миру: вопреки тебе, вопреки Текле, вопреки сыну, вопреки собственному издателю...

– Это ты сейчас к чему?

– Всем плевать на то, что я пишу.

– Слушай, ты же сам только что сказал, что...

– А сейчас я тебе говорю, что всем плевать на то, что я пишу.

– А тебе самому?

Бернат посмотрел на него с недоверием. Он что, издевается?

– В этом вся моя жизнь.

– Не думаю. Ты ставишь слишком много фильтров.

– Я был бы счастлив хоть когда-нибудь понять тебя.

– Если бы ты писал так, как играешь на скрипке, ты был бы великим писателем.

– Какую глупость ты сейчас сказал! Мне скучно играть на скрипке.

– Ты не хочешь быть счастливым.

– Ты говорил, что это не обязательно.

– Ладно. Но если бы я мог играть на скрипке, как ты, я бы...

– Да ничего бы ты не сделал.

– Что с тобой? Вы опять поссорились с Теклой?

– Она не захотела прийти.

Дело усложнялось. Что мне на это ответить?

– Пойдем к нам.

– Может, поужинаем где-нибудь?

– Дело в том, что...

– Сара тебя ждет.

– Ну, я сказал ей, что... Да, она меня ждет.

Такова история Берната Пленсы: мы дружим уже много лет. Уже много лет он завидует мне, потому что не может понять, какой я на самом деле; уже много лет я восхищаюсь тем, как он играет на скрипке. И время от времени между нами происходят грандиозные ссоры, как между отчаявшимися любовниками. Я люблю его, но не могу не говорить, что он пишет плохо, неинтересно. С тех пор как он начал давать мне свои рукописи, он опубликовал несколько очень плохих сборников рассказов. И хотя Бернат совсем не глупый человек, он не может понять, что если его произведения никому не нравятся, то это, вероятно, не потому, что все вокруг не правы, а потому, что его рассказы совсем неинтересны. Совсем. И у нас с ним всегда один и тот же разговор. А его жена... Не могу

поручиться, но мне кажется, что жить с Бернатом должно быть трудно. Он входит в концертино городского оркестра Барселоны. Вместе с несколькими товарищами играет камерную музыку. Чего еще желать? – спросит большинство смертных. Но он с ними не согласен. Дело в том, что он, как и все смертные, не умеет разглядеть счастья рядом, потому что его глаза ослеплены счастьем недостижимым. В Бернате много того, что так свойственно людям. А я не смог пойти с ним поужинать, потому что Сара грустит одна дома.

Бернат Пленса-и-Пунсода, очень хороший музыкант, упорствующий в том, чтобы искать несчастья в литературе. От этого нет прививки. И Али Бахр посмотрел на группу играющих детей, укрывшихся от солнца в тени стены, что отделяет сад Белого осла от дороги, которая ведет из Аль-Хисвы в далекий Бир-Дурб. Али Бахру только что исполнилось двадцать лет, и он не знал, что одна из играющих девочек, которая сейчас визжала, убегая от мальчишки с ободранными коленями, была Амани, та самая, что через несколько лет станет известна на всей равнине как Амани-красавица. Он ударил осла палкой, потому что через пару часов должен был быть дома. И чтобы дать выход своей силе, Али Бахр взял с дороги камень, не слишком большой и не слишком маленький, и, замахнувшись, с силой швырнул его вперед, словно показывая ослу правильную дорогу.

О судьбе «Плазмы» Берната Пленсы в двух словах можно сказать следующее: ни одного отклика, ни одной рецензии, ни одной критической статьи, ни одного проданного экземпляра. По счастью, ни Бауса, ни Адриа, ни Текла не сказали ему: вот видишь, мы тебя предупреждали. А Сара, когда я рассказал ей об этом, сказала мне: трус, ты должен был быть там и изображать публику. А я: это было бы для него унижительно. А она: нет, он чувствовал бы дружескую поддержку. И жизнь продолжилась.

– Это кампания против меня. Они хотят, чтобы я был незаметным, чтобы меня не было.

– Кто?

– Они.

– Ты нас познакомишь?

– Я не шучу.

– Бернат, тебя никто не ненавидит.

– Еще бы. Они наверняка даже не знают, что я существую.

– Скажи это публике, которая аплодирует тебе после концерта.

– Это другое – мы тысячу раз об этом говорили.

Сара слушала их молча. Вдруг Бернат посмотрел на нее и слегка обвинительным тоном спросил: а ты что думаешь про мою книгу? То есть

он задал ей вопрос, тот единственный вопрос, я думаю, который автор не может задавать безнаказанно, потому что всегда есть риск получить ответ.

Сара вежливо улыбнулась, а Бернат поднял брови, ясно давая понять, что имеет неблагоразумие настаивать.

– Я ее не читала, – ответила Сара, не отводя глаз.

И добавила уступку, которая меня удивила:

– Пока не читала.

От удивления Бернат застыл с раскрытым ртом. Ты никогда ничему не научишься, Бернат, подумал Адриа. В тот день он понял, что Бернат безнадежен и всю жизнь будет при каждой возможности наступать на те же грабли. Бернат тем временем, не отдавая себе отчета в том, что делает, осушил полбокала великолепного вина из региона Рибера-дель-Дуэро.

– Обещаю вам, что перестану писать, – заявил он, отставляя бокал; я уверен, что он хотел заставить Сару почувствовать себя виновной в неоказании помощи.

– Посвяти себя музыке, – сказала ты с улыбкой, в которую я до сих пор влюблен, – и все получится.

И сделала глоток вина из пурро. Пить риберу-дель-дуэро из пурро! Бернат посмотрел на тебя с раскрытым ртом, но промолчал. Он был совершенно сбит с толку. Наверняка не заплакал только потому, что рядом был Адриа. В присутствии женщины, даже если она пьет вино из пурро, плакать легче. В присутствии мужчины это обычно не доставляет удовольствия. Но вечером состоялась первая серьезная ссора с Теклой: Льюренс круглыми от ужаса глазами наблюдал из своей постели, как отец мечет громы и молнии, и чувствовал себя самым несчастным ребенком в мире.

– Разве я много прошу, черт возьми! – рассуждал Бернат. – Только чтобы ты снизошла прочитать мои рассказы. Это все, что мне нужно!

Переходя на крик:

– Это что, слишком много? А? А?

И тут на него напали сзади. Льюренс, босой, в пижаме, в ярости вбежал в столовую и набросился на отца, когда тот говорил: я не чувствую никакой поддержки своего творчества. Текла смотрела в стену, словно видела на ней свою собственную карьеру пианистки, прерванную беременностью, и чувствовала себя глубоко оскорбленной – понятно? Глубоко оскорбленной, потому что как будто единственное, что мы должны делать в жизни, – это восхищаться тобой. И тут на него напали сзади: Льюренс обрушил кулаки на отцовскую спину, словно на боксерскую грушу.

– Кто тут еще! Прекрати немедленно!
– Не кричи на маму!
– Иди спать, – приказала Текла, сопровождая свои слова взглядом, призванным выразить солидарность, – я сейчас приду.

Льуренс ударил Берната еще пару раз, а тот сидел с широко раскрытыми глазами и думал: все против меня, никто не хочет, чтобы я писал книги.

– Ты заблуждаешься, – сказал Адриа, когда Бернат поведал ему эту историю. Оба шли вниз по улице Льюрия: один со скрипкой на репетицию, а другой – читать лекцию по истории идей (из второй части курса).

– Чего тут заблуждаться! Даже мой сын не хочет меня выслушать!

Сара, любимая, я говорю о том, что случилось много лет назад, когда ты наполняла мою жизнь. Мы все постарели, а ты во второй раз оставила меня одного. Если бы ты слышала меня, то наверняка с досадой покачала бы головой, узнав, что Бернат все такой же – продолжает писать не представляющие никакого интереса рассказы. Иногда меня прямо возмущает, что музыкант, способный извлекать из своего инструмента такие звуки и создавать вокруг себя такую плотную атмосферу, не способен – нет, не писать гениальные рассказы, а просто понять, что его персонажи и истории ничего не стоят. Словом, то, что пишет Бернат, даже у нас не рождает ни одного отклика, ни одной рецензии, ни одной критической статьи, ни одного проданного экземпляра. И хватит говорить о Бернате в таком духе, потому что в конце концов у меня испортится настроение, а у меня есть еще другие заботы, прежде чем пробьет мой час.

Приблизительно в это время... Кажется, я недавно об этом говорил. Какое значение может иметь хронологическая точность, если до сих пор я излагал события в таком беспорядке! Главное, что Лола Маленькая начала ворчать по любому поводу и жаловаться, что китайские чернила, уголь и карандаши, которыми пользуется Сага, все мне здесь пачкают.

– Ее зовут Сара.

– Она четко произносит: Сага.

– А я говорю, ее зовут Сара. А кроме того, уголь и прочее она держит в своей мастерской.

– Ну да. Недавно она перерисовывала картину в столовой – уж не знаю, что она находит в том, чтобы рисовать все черным, – и оставила мне свои тряпки в таком виде, что я их еле отстирала.

– Лола Маленькая...

– Катерина. И полотенца в ванной. Поскольку руки у нее всегда черные... Наверное, у лягушатников так принято.

– Катерина...

– Что?

– Художникам нужна свобода.

– Они начинают вот с такого, – сказала Катерина, показывая кончик пальца, но я перебил ее, не дав перейти ко всей руке:

– Сара в этом доме хозяйка, и ей решать что и как.

Я знаю, что обидел Катерину этим заявлением. Но дал ей молча покинуть кабинет вместе со своей обидой и остался наедине еще с неясными идеями, которым со временем было суждено понемногу озарять мои наброски, чтобы превратить их в «Эстетическую волю» – эссе, доставившее мне наибольшее удовлетворение из всего, что я написал.

– Ты сделала копию с Уржеля в столовой?

– Да.

– Можно посмотреть?

– Я еще не...

– Дай посмотреть.

Ты колебалась, но в конце концов сдалась. Я как сейчас вижу: ты с волнением открываешь огромную папку, с которой никогда не расставалась и в которой хранила все свои сомнения. Положила лист на стол. Солнце не садилось за холмы Треспуя, но трехъярусная колокольня монастыря Санта-Мария де Жерри, набросанная несколькими угольными штрихами, стояла как живая. Ты сумела разглядеть в ней старческие морщины и шрамы, оставленные годами. Ты так рисуешь, любимая, что в белых пятнах, черных линиях и тысяче оттенков серой растушевки, сделанной твоими пальцами, угадывались века истории. Пейзаж, церковь и берег Ногеры. Все было исполнено такого очарования, что я не испытывал ни малейшей тоски по темным, печальным и загадочным краскам Модеста Уржеля.

– Тебе нравится?

– Очень.

– Очень?

– Очень-очень.

– Я тебе его дарю, – довольно сказала она.

– Правда?

– Ты часами смотришь на Уржеля...

– Я? Надо же.

– А что, нет?

– Не знаю... Я не замечал.

– Я посвящаю этот рисунок тем часам, которые ты провел перед оригиналом. Что ты в нем ищешь?

– Толком не знаю. Как-то само так получается. Он мне нравится.

– Я же не спрашиваю, что ты в нем находишь. Я спрашиваю, что ты в нем ищешь.

– Я думаю о монастыре Санта-Мария де Жерри. Но прежде всего я думаю о маленьком монастыре Сан-Пере дел Бургал, который находится неподалеку и которого я никогда не видел. Помнишь, я показывал тебе пергамент аббата Делигата? Это акт об основании монастыря в Бургале. Это было так давно, что меня охватывает неопишное волнение, когда я прикасаюсь к этому документу. Я думаю о монахах, живших там веками. И веками молившихся Богу, которого не существует. О соляных копях Жерри. О загадках, таящихся в горах Бургала. О крестьянах, умиравших от голода и болезней, и о днях, протекавших медленно, но неумолимо, и месяцах, и годах – и меня охватывает волнение.

– Это твой самый длинный монолог, который я слышала.

– Я люблю тебя.

– Что еще ты в нем ищешь?

– Не знаю – я правда не знаю, что я в нем ищу. Это очень трудно выразить.

– В таком случае что ты в нем находишь?

– Необыкновенные истории. Необыкновенных людей. Желание жить и видеть мир.

– Почему бы нам не поехать туда и не увидеть все своими глазами?

Мы поехали в Жерри-де-ла-Сал на стареньком «сеате», который при переезде через Кумьолс^[315] сказал – довольно! На редкость словоохотливый механик из Изоны заменил нам не помню что не помню какого цилиндра и намекнул, что нам было бы неплохо поскорее сменить машину, чтобы избежать неприятностей. Мы потратили целый день на эти житейские пустяки и приехали в Жерри поздно вечером. На следующий день я увидел из окна гостиницы картину Уржеля, но вживую – и чуть не задохнулся от волнения. Мы провели целый день, созерцая эту картину, фотографируя, рисуя; мы видели тени монахов, крестьян и работников соляных копий, сновавших туда-сюда, и в какой-то момент я разглядел двух монахов, отправлявшихся в Сан-Пере дел Бургал, чтобы запереть на ключ ворота этого отдаленного и маленького монастыря, где веками непрерывно текла монашеская жизнь.

И на следующий день выздоравливающий «сеат» отвез нас на двадцать

километров севернее, в Эскало, а оттуда мы отправились пешком по козьей тропке, извивавшейся по склону ущелья Барраонзе, – единственной дороге, способной привести к руинам Сан-Пере дел Бургал, монастыря моей мечты. Сара не позволила мне нести ее широкий рюкзак с альбомом, карандашами и углем: это была ее ноша.

Минут через семь я поднял с тропы острый камень, не слишком большой и не слишком маленький, – Адриа посмотрел на него в задумчивости и вспомнил красавицу Амани и ее печальную историю.

– Что это за камень?

– Да так... – ответил Адриа, пряча его в свой рюкзак.

– Знаешь, какое впечатление ты на меня производишь? – спросила ты, взбираясь по склону и тяжело дыша.

– А?

– Вот именно. Ты не спрашиваешь: «Какое?» – а говоришь: «А?»

– Я потерял нить. – Адриа, шедший впереди, остановился, окинул взглядом зеленую долину, прислушался к дальнему шуму Ногеры и повернулся к Саре. Она тоже остановилась, весело улыбаясь.

– Ты всегда о чем-то думаешь.

– Да.

– И всегда о чем-то далеком. Ты всегда где-то в другом месте.

– Ну... Извини.

– Да нет. Просто ты такой. У меня тоже есть особенности.

Адриа подошел к ней и поцеловал в лоб – с такой нежностью, Сара, что я до сих пор волнуюсь, вспоминая этот момент. Вот ты – настоящий шедевр, и я надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать.

– У тебя – особенности?

– Я странная. У меня полно комплексов и тайн.

– Комплексов... Ты их удачно скрываешь. А что касается тайн, эту проблему легко разрешить: расскажи мне их.

Тут Сара перевела взгляд на убегающую вниз тропинку, чтобы не встречаться глазами с Адриа.

– Я сложный человек.

– Не надо рассказывать ничего, что ты не хочешь рассказывать.

Адриа уже собрался идти дальше, но остановился и снова обернулся:

– Мне хотелось бы знать только одну вещь.

– Какую?

Невозможно поверить, но я спросил ее: что тебе сказали обо мне наши матери? Что такого они сказали, что ты им поверила?

Твое сияющее лицо омрачилось, и я подумал: все насмарку. Несколько

секунд ты молчала, а потом сказала надтреснутым голосом: я же просила тебя не спрашивать об этом. Я же просила...

В беспокойстве ты подняла камешек и бросила вниз.

– Я не хочу возвращать те слова к жизни. Я не хочу, чтобы ты их услышал; я хочу избавить тебя от них, потому что ты имеешь полное право их не знать. А я имею полное право их забыть.

Ты поправила рюкзак изящным жестом.

– Это запертая комната из сказки о Синей Бороде, запомни.

Сара сказала это как по писаному, и мне показалось, что она постоянно об этом думает. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы стали жить вместе, и этот вопрос всегда вертелся у меня на языке – всегда.

– Хорошо, – сказал Адриа. – Я больше никогда тебя об этом не спрошу.

Они продолжили подъем. Последний отрезок узкой тропки по отвесному склону – и мы добрались наконец, в мои тридцать девять лет, до руин монастыря Сан-Пере дел Бургал, который я так часто себе представлял, и фра Жулиа де Сау, который в другие времена, в бытность свою доминиканцем, звался фра Микелом, вышел нам навстречу с ключом в руках. С дарохранительницей в руках. Со смертью в руках.

– Да благословит вас Господь и даст вам мир, – сказал он нам.

– Господь да подаст мир и тебе, – ответил я.

– Что? – встрепелась Сара.

V. Vita condita^[316]

*Написано карандашом в опечатанном вагоне
здесь, в этой партии, я,
ева, со своим сыном авелем.
если увидите моего старшего,
каина, сына адама,
скажите ему, что я*

Дан Пагис ^[317]

– Стоит прикоснуться к красоте искусства – жизнь меняется. Стоит услышать Монтеверди-хор^[318] – жизнь меняется. Стоит увидеть Вермеера вблизи – жизнь меняется. Стоит прочитать Пруста – и ты уже не такой, каким был раньше. Я вот только не знаю почему.

– Напиши об этом.

– Мы – случайность.

– Что?

– С гораздо большей вероятностью нас могло бы не быть, но мы все-таки существуем.

– ...

– Поколения за поколениями продолжают бешеные пляски миллионов сперматозоидов в погоне за яйцеклетками; случайные зачатия, смерти, истребление... И сейчас мы с тобой здесь, друг перед другом, как будто бы не могло быть иначе. Как будто был возможен только один вариант генеалогического древа.

– Разве это не логично?

– Нет. Это чистая случайность.

– Ну, знаешь...

– И более того, что ты так хорошо умеешь играть на скрипке – это еще бóльшая случайность.

– Ладно. Но... – Молчание. – От всего этого начинает кружиться голова, если задуматься, правда?

– Да. И тогда мы пытаемся противопоставить этому хаосу

упорядоченность искусства.

– Напиши об этом, ладно? – отважился Бернат, делая глоток чая.

– Сила искусства коренится в произведении искусства или, скорее, в том воздействии, которое оно оказывает на человека? Ты как думаешь?

– Я думаю, ты должен об этом написать, – повторила Сара через несколько дней. – Так ты сам лучше во всем разберешься.

– Почему я замираю, читая Гомера? Почему от брамсовского квинтета с кларнетом у меня перехватывает дыхание?

– Напиши об этом, – тут же сказал ему Бернат. – Тем самым ты мне сделаешь большое одолжение, потому что я тоже хотел бы это знать.

– Как это так, что я не способен встать на колени ни перед кем, но, слыша «Пастораль» Бетховена, готов пасть ниц?

– «Пастораль» – это шедевр.

– Конечно! Но знаешь, из чего вырос Бетховен? Из ста четырех симфоний Гайдна.

– И из сорока одной симфонии Моцарта.

– Да. А Бетховен написал всего девять. Но почти все девять находятся на другом уровне моральной сложности.

– Моральной?

– Моральной.

– Напиши об этом.

– Мы не можем понять произведение искусства, если не видим его эволюции. – Он почистил зубы и прополоскал рот.

Вытираясь полотенцем, он крикнул через открытую дверь ванной:

– Но всегда необходим гений художника, который как раз заставляет его эволюционировать!

– Значит, сила коренится в человеке, – ответила Сара из постели, зевая.

– Не знаю. Ван дер Вейден, Моне, Пикассо, Барсело^[319]. Это динамическая линия, которая берет начало в пещерах ущелья Вальторта^[320] и не прерывается до сих пор, потому что человечество существует.

– Напиши об этом. – Через несколько дней Бернат допил чай и осторожно поставил чашку на блюдце. – Не хочешь?

– Это красота?

– Что?

– Все дело в красоте? Что такое красота?

– Не знаю. Но я узнаю ее. Почему ты не напишешь об этом? – повторил Бернат, глядя ему в глаза.

– Человек уничтожает человека, и человек же пишет «Потерянный рай»^[321].

– Да, это загадка. Ты должен написать об этом.

– Музыка Франца Шуберта переносит меня в прекрасное будущее. Шуберт способен в малом выразить многое. Он обладает неистощимой мелодической силой, исполненной изящества и очарования и в то же время полной энергии и правды. Шуберт – это художественная правда, и мы должны держаться его, чтобы спастись. Меня поражает, что он был болезненным человеком, без гроша в кармане, страдал от сифилиса... Какая сила есть в этом человеке? Какая власть есть у него над нами? Я прямо сейчас, на этом самом месте, преклоняю колени перед искусством Шуберта.

– Bravo, герр оберштурмфюрер. Я подозревал, что вы чувствительный человек.

Доктор Будден затянулся сигаретой и выдохнул тонкую струйку дыма, мысленно прислушиваясь к началу опуса сотого и напевая его с поразительной точностью.

– Хотелось бы мне обладать вашим слухом, герр оберштурмфюрер.

– В этом нет особенной заслуги. У меня диплом пианиста.

– Я вам завидую.

– Напрасно. Я столько времени учился – то медицине, то музыке, – что кажется, многое упустил в жизни.

– Ну, сейчас вы с лихвой наверстываете упущенное, если можно так выразиться. – Оберлагерфюрер Хёсс развел руками, указывая вокруг. – Теперь вы в самом центре жизни.

– Да-да, конечно. Можно сказать, даже слишком.

Оба помолчали, словно наблюдая друг за другом. Наконец доктор решился и, наклонившись над столом и вдавливая сигарету в пепельницу, спросил, понизив голос:

– Зачем вы хотели меня видеть, оберштурмбаннфюрер?

Тогда оберлагерфюрер Хёсс, таким тихим голосом, как если бы не доверял стенам собственного дома, сказал: я хотел поговорить о вашем начальнике.

– О Фойгте?

– Да.

Тишина. Вероятно, оба просчитывали риски. Затем Хёсс отважился спросить: что вы о нем думаете? Так, между нами.

– Ну, я...

– Я прошу... Я требую от вас быть честным. Это приказ, дорогой

оберштурмфюрер.

– Так, между нами... Он придурок.

Услышав это, Рудольф Хёсс изобразил на лице удовлетворение. И откинулся на стуле. Глядя доктору Буддену в глаза, он сказал, что принимает меры для того, чтобы этого придурка Фойгта отправили на фронт.

– А кто возглавит...

– Вы, разумеется.

Вот тебе на! Это... А почему бы и нет?

Они уже все сказали друг другу. Новый союз без посредников между Богом и Его народом. Трио Шуберта еще звучало фоном к разговору. Чтобы нарушить неловкое молчание, доктор Будден сказал: вы знаете, что Шуберт написал это чудо за несколько месяцев до смерти?

– Напиши об этом. Правда, Адриа.

Но все мгновенно спуталось, потому что Лаура вернулась из Упсалы, и жизнь в университете, а особенно на кафедре, снова стала несколько неудобной. Лаура вернулась с повеселевшим взглядом, и он спросил ее – все хорошо? – а она вместо ответа улыбнулась и удалилась в пятнадцатую аудиторию. И Адриа решил – да, все в порядке. Она вернулась похорошевшей, именно – стала еще красивее. На этот раз Адриа занимал в качестве арендатора стол Пареры. Ему нелегко было вернуться к своим записям, в которых он с разных сторон пытался подойти к теме красоты – еще не зная, как именно это сделать, – и которые очень его занимали... И он впервые в жизни опоздал на занятие. Красота Лауры, красота Сары, красота Теклы... Следует ли ее принимать во внимание, размышляя о красоте? А?

– Я бы сказал, что да, – осторожно ответил Бернат. – Женская красота – неоспоримый факт. Нет?

– Виванкос сказала бы, что это утверждение отдает мужским шовинизмом.

– Этого я не знаю. – Бернат растерянно замолчал. – Раньше это было мелкобуржуазно, теперь – мужской шовинизм.

И тише, чтобы его не услышали никакие судьи:

– Но женщины мне нравятся. Они красивые – это я знаю.

– Ага. Но я не знаю, надо ли говорить об этом.

– Кстати, что это за удивительно красивая Лаура?

– А?

– Лаура, о которой ты говоришь.

– Так... я подумал про Петрарку.

– Это будущая книга? – спросил Бернат, указывая на кипу листов, лежащих на столе для рукописей, как если бы я собрался детально изучать их под отцовской лупой.

– Не знаю. Пока тридцать страниц, но мне нравится потихоньку пробираться вперед сквозь потемки.

– Как Сара?

– Хорошо. Она помогает мне сосредоточиться.

– Я спрашиваю, как у нее дела, а не как она на тебя влияет.

– У нее много работы. «Actes Sud» заказало ей иллюстрации к серии из десяти книг.

– Но как она?

– Хорошо. А что?

– Просто иногда она выглядит грустной.

– Бывают вопросы, которые нельзя разрешить даже любовью.

Через десять или двенадцать дней случилось неизбежное. Я разговаривал с Парерой, и вдруг она спросила: послушай, а как зовут твою жену? И в этот самый момент на кафедру вошла Лаура с кипой папок и идей; она прекрасно слышала, как Парера сказала: послушай, а как зовут твою жену? И я, опустив глаза, покорно ответил: Сара, ее зовут Сара. Лаура опустила папки на свой стол, где царил хаос, и села.

– Красивая? – продолжила Парера, словно хотела поглубже вонзить нож мне в сердце. Или Лауре.

– Ага.

– И давно вы женаты?

– Нет. Ну, на самом деле мы не...

– Ну да, я хотела спросить, давно вы живете вместе?

– Нет, не очень.

Допрос закончился не потому, что у следователя КГБ не было больше вопросов, а потому, что ей пора было идти на занятие. Евлалия Ивановна Парерова вышла, но, прежде чем закрыть дверь, сказала: береги ее, сейчас такое время...

И мягко закрыла дверь, по-видимому не чувствуя необходимости уточнить, какое именно сейчас время. И тогда Лаура встала, положила руку с краю всех папок, бумаг, книг, конспектов и журналов своего густонаселенного стола и одним движением смела все это на пол посередине кабинета. Великий грохот. Адриа виновато смотрел на нее. Она села, не глядя на него. В этот момент зазвонил телефон. Лаура не стала снимать трубку, а ничто в мире не наводит на меня такую тоску, честное слово, как телефон, который звонит и звонит, и никто не снимает трубку.

Я подошел к своему столу и ответил:

– Алло? Да, минуточку. Лаура, это тебя.

Я стою с трубкой в руке, она смотрит в пустоту, не проявляя ни малейшего желания протянуть руку к телефону, стоящему у нее на столе. Я снова поднес трубку к уху:

– Она вышла.

Тогда Лаура сняла трубку со своего телефона и сказала: алло, я слушаю. Я повесил, а она сказала: эй, дорогая, что подделываешь? И засмеялась хрустальным смехом. Я собрал свои записи об искусстве и эстетике, у которых еще не было имени, и сбежал с кафедры.

– Мне нужно кое-что обдумать, – сказал доктор Будден, вставая и оправляя свой безупречный китель оберштурмфюрера, – потому что завтра у нас поступление.

Он посмотрел на оберлагерфюрера Хёсса, улыбнулся и, зная, что тот не поймет его, добавил:

– Искусство необъяснимо. – Он махнул рукой в сторону гостеприимного хозяина. – Можно лишь сказать, что это проявление любви художника к человечеству. Вам так не кажется?

Покидая дом оберлагерфюрера в уверенности, что тот еще переваривает его последние слова, Будден услышал откуда-то издали слабые, съезжившиеся от холода звуки совершенно ангельского финала трио Шуберта (opus сотый). Без этой музыки жизнь была бы ужасна – нужно было сказать хозяину, будучи в гостях.

Дела пошли хуже, когда я уже практически закончил редактуру «Эстетической воли». Корректурa, перевод на немецкий, заставлявший меня делать вставки и добавления в оригинал, комментарии Каменека к моему переводу, которые также подвигали меня уточнять и переписывать текст, – все это вместе вносило заметную нервозность в мою жизнь. Я боялся, что книга, которую я издавал, меня удовлетворит. Я много раз говорил тебе об этом, Сара: это моя самая любимая книга; не знаю, самая ли лучшая, но самая любимая – точно. Следуя велениям своей вечно недовольной души, от которой приходилось страдать и тебе, в те дни, когда Сара вносила в мою жизнь спокойствие, а Лаура делала вид, что она со мной не знакома, Адриа Ардевол как одержимый часами играл на Сториони – это был его способ справиться с тоской и волнением. Он повторил самые трудные упражнения Трульолс и самые неприятные – маэстро Манлеу. И через несколько месяцев пригласил Берната сыграть сонаты (opus третий и opus четвертый) Жан-Мари Леклера.

- Почему Леклера?
- Не знаю. Он мне нравится. И я их выучил.
- Это не так просто, как кажется.
- Ну так ты хочешь попробовать или нет?

В течение нескольких месяцев, каждую пятницу по вечерам, две скрипки наполняли дом музыкой. А всю неделю перед этим Адриа, встав из-за письменного стола, разучивал репертуар. Как тридцать лет назад.

- Тридцать?
- Или двадцать. Но тебя мне уже не догнать.
- Слушай, еще бы. Я же только этим и занимался.
- Я тебе завидую.
- Издеваешься?
- Я тебе завидую. Я хотел бы уметь играть, как ты.

В глубине души Адриа хотелось дистанцироваться от «Эстетической воли». Он хотел вернуться к произведениям искусства, которые заставили его задуматься над тем, о чем он теперь писал.

- Да, но почему Леклер? Почему не Шостакович?
- У меня не тот уровень. Иначе почему, ты думаешь, я тебе завидую?

И обе скрипки – Стриони и Тувенель – наполнили дом щемящей тоской, как если бы жизнь могла начаться заново, как если бы она могла дать им еще один шанс. Мне – чтобы родители были больше похожи на родителей, чтобы они были другие, более... Не знаю... А тебе, а?

– Что? – У Берната был перетянут смычок, и он старался смотреть в другую сторону.

- Ты счастлив?

Бернат начал сонату номер два, и мне пришлось последовать за ним. Но когда мы закончили (три грубейшие ошибки с моей стороны и только одна взбучка от Берната), я вернулся к своему вопросу:

- Послушай...
- Что?
- Ты счастлив, говорю?
- Нет. А ты?
- Я тоже нет.

Следующая соната, номер один, получилась у меня еще хуже. Но мы смогли добраться до конца не прерываясь.

- Как у тебя с Теклой?
- Хорошо. А у тебя с Сарой?
- Хорошо.

Тишина. Долгая пауза.

– Ну... Текла... Не знаю, она всегда на меня злится.

– Потому что ты живешь в своем мире.

– Кто бы говорил.

– Да, но я же не женат на Текле.

Потом мы сыграли несколько этюдов-капризов Венявского из опуса восемнадцатого. Бедный Бернат, игравший первую скрипку, взмок как мышь, а я был доволен, несмотря на то что он трижды адресовал мне весьма нелестные замечания – вроде моих, когда я критиковал его рукопись в Тюбингене. И я очень и очень ему позавидовал. И не смог удержаться, чтобы не сказать ему: я отдал бы все свои рукописи за твою музыкальную одаренность.

– Я согласен. Меняюсь с удовольствием, что скажешь?

Самое плохое, что мы не рассмеялись – только взглянули на часы, потому что становилось поздно.

И точно, ночь оказалась короткой, как и предвидел доктор, потому что первые единицы материала начали поступать с семи утра, еще затемно.

– Эту, – сказал Будден обершарфюреру Бараббасу. – И тех двоих.

Он вернулся в лабораторию, потому что на него обрушился вал работы. Была и другая причина, неясная и затаенная: в глубине души он не мог видеть женщин и детей, организованно тянувшихся, подобно овцам, друг за другом через двор и не проявлявших никакого чувства собственного достоинства, которое побудило бы их к восстанию.

– Нет, не трогайте ее! – воскликнула пожилая женщина, прижимавшая к себе, словно ребенка, сверток, похожий на скрипичный футляр.

Доктор Будден сделал вид, что не слышит ссоры. Удаляясь, он видел, как доктор Фойгт выходит из офицерской столовой и направляется к месту, откуда доносились крики протеста. Конрад Будден даже не счел нужным скрыть гримасу презрения, которое он питал к любимшему склоки начальнику. Едва войдя в кабинет, Будден услышал выстрел из пистолета Люгера.

– Откуда ты? – сухо спросил он, не поднимая головы от бумаг. В конце концов ему все-таки пришлось поднять голову, потому что девочка растерянно смотрела на него и ничего не отвечала. Она мяла в руках грязную салфетку, и доктор Будден начал раздражаться. Он повысил голос: – Стой спокойно!

Девочка застыла, но на ее лице была написана та же растерянность. Врач вздохнул, сделал глубокий вдох и запасся терпением. В этот момент

у него на столе зазвонил телефон.

– Да? / Да, хайль Гитлер. / Кто? (Удивленно) / Передайте ей трубку. / (...) – Neil Hitler. Hallo. – С нетерпением: – Ja, bitte?^[322] / А теперь в чем дело? (С неудовольствием.) / Что за Лотар? (С раздражением.) / А! – И возмущенно: – Отец этого негодяя Франца? / И что тебе нужно? / Кто его арестовал? / А почему? / Ну, знаешь... Тут уж я и сам... / Я сейчас очень занят. Хочешь проблем на нашу голову? / Ну, что-нибудь наверняка сделал. / Послушай, Герта: кто заварил кашу, тот пусть ее и расхлебывает.

Он в упор посмотрел на девочку с грязной салфеткой:

– Holländisch?^[323] – спросил он ее.

И в телефон:

– Не знаю, как ты, а я работаю. У меня слишком много работы, чтобы заниматься подобными глупостями! Хайль Гитлер!

И повесил трубку. Будден смотрел на девочку, ожидая ответа.

Та кивнула, как будто «holländisch» было первым словом, которое она поняла. Доктор Будден понизил голос, чтобы никто не услышал, что он говорит не по-немецки, и спросил ее на голландском, похожем на голландский ее кузенов, из какого она города, и она ответила, что из Антверпена. Она хотела сказать, что она фламандка, что живет на улице Аренберг, – а где папа, почему его увели? Но снова застыла с открытым ртом, глядя на этого мужчину, который теперь улыбался.

– Тебе просто нужно делать, что я скажу.

– Мне здесь больно. – Она дотронулась до затылка.

– Ничего страшного. Теперь послушай меня.

Она взглянула на него с любопытством. Врач повторил:

– Ты должна слушать меня. Поняла?

Она отрицательно замотала головой.

– Тогда я оторву тебе нос. Поняла теперь?

И спокойно смотрел, как девочка в ужасе отчаянно закивала.

– Сколько тебе лет?

– Семь с половиной, – ответила она, немного прибавив.

– Имя?

– Амелия Альпаэртс. Улица Аренберг, двадцать два, третья дверь.

– Хорошо, хорошо.

– Антверпен.

– Хорошо! – в раздражении. – И прекрати мять этот чертов платок, если не хочешь, чтобы я его выкинул!

Девочка опустила глаза и инстинктивно спрятала руки за спину –

может быть, пытаясь защитить свою салфетку в бело-голубую клетку. В глазах у нее показались слезы.

– Мама... – тихонько взмолилась она.

Доктор Будден постучал пальцами по столу, и один из двух близнецов, ожидавших в глубине кабинета, выступил вперед и без особенных церемоний схватил девочку за руку.

– Приготовьте ее, – сказал врач.

– Мама! – закричала девочка.

– Давайте следующего, – сказал доктор, не поднимая головы от лежавшей перед ним карточки.

– Holländisch? – услышала девочка с бело-голубой салфеткой, когда ее вталкивали в комнату, где сильно пахло лекарствами, и я не смог продолжить – ни одного оправдания, ни одного объяснения, потому что Лаура ни о чем не просила. Она спокойно могла сказать мне: ты проклятый лжец – ты сказал, что у тебя никого нет; она могла сказать: тебе что, трудно было рассказать об этом; она могла сказать: трус; она могла сказать: ты просто использовал меня; она могла мне много чего сказать. Но нет, жизнь на кафедре продолжилась как обычно. Несколько месяцев я почти туда не заходил. Пару раз мы случайно встретились во дворе и в кафетерии. Я стал совершенно невидимым. Мне было непросто привыкнуть к этому. И прости, Сара, что я не рассказывал тебе об этом раньше.

У доктора Конрада Буддена выдался тяжелый месяц. Наконец он снял очки и потер рукой глаза. Он был крайне утомлен. Услышав, как кто-то щелкнул каблуками перед его столом, он поднял голову. Обершарфюрер Бараббас стоял перед ним – бодрый, подтянутый, всегда готовый, в ожидании приказов. Усталым жестом доктор указал ему на набитую папку, на которой крупными буквами было написано: «Доктор Ариберт Фойгт». Тот взял ее. Когда унтер-офицер снова звонко щелкнул каблуками, доктор вздрогнул, словно этот звук отдался у него в голове. Бараббас вышел из кабинета с подробнейшим докладом, в котором говорилось, что, к сожалению, эксперимент по регенерации коленного сухожилия, состоявший в обнажении сухожилия, его рассечении и нанесении мази доктора Бауэра с последующим наблюдением, не начнется ли регенеративный процесс без сшивания, не оправдал ожиданий ни на детях, ни на взрослых. Что касается взрослых, то изначально предполагалось, что мазь будет неэффективна, но были надежды, что в растущих организмах регенерация, стимулируемая мазью Бауэра, будет очень активной. Этот провал лишил их возможности триумфально предъявить человечеству чудо-лекарство. Как жаль, потому что, если бы все удалось,

выгода для Бауэра, для Фойгта и для него самого была бы просто невероятной, не считая славы и почестей.

Еще никогда ему не было так трудно объявить эксперимент завершенным. После месяцев наблюдения за хныкающими кроликами – за этим темненьким или за тем беленьким, который причитал: Tève, Tève, Tève^[324], забившись в угол койки, откуда его так и не удалось вытащить и пришлось там и убить; или за той девчонкой с грязной тряпкой, которая не могла стоять без костылей и, если не вколоть обезболивающее, нарочно орала, чтобы вывести из себя персонал, – как будто мало им было огромного груза ответственности за эксперимент и жесточайшего давления со стороны придурочного начальника, у которого, судя по всему, надежные связи, если даже сам Хёсс не мог отправить его куда-нибудь на фронт, чтобы он перестал их донимать, – после всех этих месяцев приходилось признать, что больше нечего ждать от связок, на которые наносилась мазь Бауэра. Двадцать шесть кроликов – мальчиков и девочек – и ни миллиметра восстановившейся ткани делали очевидными выводы, которые он скрепя сердце сообщал профессору Бауэру. А доктор Фойгт в один прекрасный день сел на почтовый самолет и улетел, не сказав ни словечка. Это было очень странно, потому что он не оставил никаких инструкций относительно продолжения экспериментов. Доктор Будден понял все в полдень, когда стали приходиться тревожные сводки о наступлении Красной армии и неэффективности немецких оборонительных линий. И, как главный медицинский начальник лагеря, он решил, что пришло время заметать следы. Прежде всего он вместе с Бараббасом потратил пять часов на то, чтобы сжечь бумаги и фотографии – уничтожить все свидетельства того, что в Аушвице проводились какие-то эксперименты на девочках, судорожно сжимавших грязные тряпки. Ни следа причиненной боли – ее было так много, что в это невозможно было поверить. Когда все было уничтожено, Бараббас, осел, еще говорил: как жаль! Столько времени, столько работы – и все превратилось в дым. И никто из них не подумал о людях, превратившихся в дым там же, в двухстах метрах от лаборатории. А в каком-то углу Министерства здравоохранения должны были лежать копии, отправленные туда исследовательским департаментом, но кто станет их искать, когда главное сейчас – спасти свою шкуру.

С еще черными от сажи руками, под покровом ночи он вошел в спальню кроликов в сопровождении одного только верного Бараббаса. Каждый ребенок на своей койке. Он распорядился сделать им инъекцию в сердце без объяснений. Только тому малышу, который спросил, что такое

«инъекция», он сказал, что это чтобы не болели колени. Другие, вероятно, понимали, что наконец умрут. Девочка с грязной тряпкой единственная была совсем не сонной и смотрела на них обвиняющим взглядом. Она тоже спросила почему. Но произнесла это иначе. В свои семь лет она была способна спросить, чего ради все это делалось. Она произнесла: почему? – и посмотрела им в глаза. Недели непрерывной боли сделали ее бесстрашной, и, сидя на кровати, она раскрыла рубаху, чтобы Бараббас мог найти место для укола. Но смотрела она на доктора Буддена и говорила: почему? И теперь это ему – против воли – пришлось отвести глаза. Почему. Waagom^[325]. Она повторяла это слово, пока ее губы не посинели, окрашенные смертью. Семилетняя девочка, не отчаивающаяся перед лицом смерти, должна быть уже очень глубоко отчаявшейся и полностью разрушенной. Иначе такая цельность необъяснима. Waagom.

После того как с помощью нескольких никуда не приписанных офицеров была подготовлена эвакуация лагеря, доктор Будден впервые за много месяцев не слишком хорошо спал. По вине одного waagom. И тонких, постепенно синевших губ. И обершарфюрер Бараббас, улыбаясь, делал ему инъекцию прямо через форму и улыбался почерневшими губами, окрашенными смертью, которая все не приходила, потому что это был только сон.

Ранним утром, прежде чем об этом догадался оберлагерфюрер Рудольф Хёсс, около двадцати офицеров и унтер-офицеров, среди которых были Будден и Бараббас, стараясь не шуметь, покинули лагерь и направились куда-нибудь как можно дальше от Аушвица.

И Бараббас, и доктор Будден весьма в этом преуспели: воспользовавшись суматохой, они сумели настолько дистанцироваться от своих дел и заодно от Красной армии, что смогли убедить встреченных по пути британцев в том, что они простые солдаты, бежавшие с Украинского фронта и мечтающие, чтобы война наконец закончилась и можно было вернуться домой, к жене и детям, если те еще живы. Доктор Будден превратился в Тильберта Хенша – так точно, капитан, из Штутгарта, – и у него не было никаких документов, которые могли бы это подтвердить, потому что капитуляция, вы понимаете. Я хочу вернуться домой, капитан.

– Где вы живете, доктор Конрад Будден? – спросил ведущий допрос офицер, когда тот закончил свой рапорт.

Доктор Будден застыл с раскрытым ртом. Он сумел вымолвить только: что? – и посмотрел на него с удивлением.

– Где вы живете? – повторил лейтенант-британец по-немецки с жутким акцентом.

– Как вы сказали? Как вы меня назвали?

– Доктор Будден.

– Но...

– Вы никогда не были на фронте, доктор Будден. Тем более на Восточном.

– Почему вы называете меня доктором?

Британский офицер открыл лежавшую перед ним на столе папку. Армейская документация. Поганая привычка все архивировать и контролировать. Он – несколько моложе, но точно он – с таким взглядом, будто хочет пронзить кого-то насквозь. Герр доктор Конрад Будден, хирург, выпуск 1938 года. Ах да, и профессиональный уровень игры на фортепиано. Вот это да, доктор.

– Это ошибка.

– Да, доктор. Большая ошибка.

Только на третий год тюремного заключения из пяти, к которым его приговорили, поскольку каким-то чудом не вскрылась его связь с Аушвицем, доктор Будден начал плакать. Он был одним из немногих заключенных, кого до самого этого времени никто не посещал, потому что его родители погибли во время бомбардировки Штутгарта, а от извещения более или менее дальних родственников он отказался сам. Особенно родственников из Бебенхаузена. Ему не были нужны посещения. Он проводил день, глядя в стену, особенно с тех пор, как стал страдать бессонницей и по несколько ночей подряд не смыкал глаз. Оставляя по себе ощущения глотка кислого молока, на него вдруг наплывали лица всех и каждого пациента, которые прошли через его руки, пока он работал под началом доктора Фойгта в кабинете медицинских исследований в Аушвице. И он решил для себя, что должен вспомнить как можно больше лиц, всхлипов, слез и криков ужаса, и часами неподвижно сидел за голым столом.

– Что?

– Ваша кузина Герта Ландау хочет посетить вас.

– Я сказал, что не хочу никого видеть.

– Она уселась у ворот тюрьмы и объявила голодовку. Пока вы ее не примете.

– Я не хочу никого видеть.

– На этот раз вы обязаны принять посетительницу. Нам не нужны

скандалы на улице. Ее имя уже стало появляться в газетах.

– Вы не можете меня к этому принудить.

– Можем. Так, ребята, берите его под руки и покончим раз и навсегда со спектаклем, который устроила эта ненормальная.

Они привели доктора Буддена в зал свиданий. Его усадили напротив трех серьезных и торжественных солдат-австралийцев. Доктору пришлось провести около пяти бесконечных минут в ожидании – и наконец дверь открылась и в комнату ввели постаревшую Герту. Она с трудом подошла к нему. Будден опустил глаза. Женщина встала прямо напротив: их разделял только узкий стол. Она не села. Она только сказала: это тебе от Лотара и от меня. Тогда Будден взглянул на нее, и в этот момент Герта Ландау, наклонившись, плюнула ему в лицо. Ничего больше не сказав, она развернулась и вышла – чуть бодрее, как если бы стряхнула с плеч несколько лет. Доктор Будден не сделал ни единого движения, чтобы утереться. Какое-то время он сидел, глядя в пустоту, пока не услышал, как резкий голос приказывает: уведите его, – а ему послышалось: унесите эту падаль. И снова один, в камере, и снова лица пациентов, как глоток кислого молока. Начиная с тех тринадцати, на которых испробовали внезапную декомпрессию, продолжая теми многими, кто умер от привитых им болезней, и заканчивая группой детей, на которых был испробован возможный положительный эффект мази Бауэра. Без сомнения, чаще других он видел лицо фламандской девочки, которая говорила *ваагом*, не понимая, зачем столько боли. И тогда у него появилась привычка – как если бы это было какое-то ритуальное действие – садиться за голый стол, расправлять грязную тряпку с неровным обтрепавшимся краем, на которой была еле видна бело-голубая клетка, и смотреть на нее не моргая, сколько достанет сил. И он чувствовал внутри такую пустоту, что был не способен плакать.

После нескольких месяцев ежедневного – утром и вечером – повторения одних и тех же действий, приблизительно на третий год заключения, его сознание постепенно стало более проницаемым: кроме всхлипов, визга, панических криков и плача, он начал вспоминать запах каждого лица. И наступил момент, когда ночью он уже не мог спать, – как те пятеро латышей, которых лишали сна на протяжении двадцати двух дней, пока те не умерли от утомления, не в силах больше смотреть на свет, с вылезшими из орбит глазами. И однажды ночью из его глаз полились слезы. С тех самых пор, когда ему было шестнадцать и Зигрид адресовала ему полный презрения взгляд в ответ на предложение встречаться, Конрад Будден не плакал. Слезы катились медленно, словно загустевшие, а может

быть, нерешительные – после того, как не показывались столько лет. Прошел час, а слезы продолжали медленно катиться. И когда на улице розовые пальцы зари стали окрашивать темное небо, он разразился бесконечными рыданиями, а душа его вопрошала: waarom – как это может быть, waarom, как это мне не приходило в голову плакать, видя такие грустные глаза, waarom, mein Gott^[326].

– Произведения искусства бесконечно одиноки, говорил Рильке.

Все тридцать семь студентов посмотрели на него молча. Адриа Ардевол встал, спустился со своего возвышения и поднялся на несколько ступеней амфитеатра, где сидели студенты.

– Никто не хочет высказаться? – спросил он.

Нет, никто не хочет высказаться. Мои студенты никогда не хотят высказаться, когда я бросаю им что-нибудь вроде того, что произведения искусства бесконечно одиноки. А если сказать им, что произведение искусства – это загадка, которую нельзя постичь разумом?

– Произведение искусства – это загадка, которую нельзя постичь разумом.

Продолжая свое восхождение, он добрался до средних рядов. Некоторые головы повернулись в его сторону. Через десять лет после смерти Франко студенты потеряли запал, заставлявший их предшественников во все вмешиваться и во всем участвовать – беспорядочно, бестолково, но страстно.

– Скрытая реальность предметов и жизни может быть приблизительно расшифрована только при помощи произведения искусства, даже если оно недоступно пониманию. – Он обвел глазами аудиторию. – В загадочном стихотворении отзывается эхо неразрешенного конфликта.

Поднялась одна рука. Девушка со стрижкой. Поднялась рука! Может быть, эта девушка сейчас спросит, будут ли все эти непонятные вещи, которые он говорит, на завтрашнем экзамене. Может быть, она попросит разрешения выйти из аудитории. Может быть, она сейчас спросит, можем ли мы при помощи искусства постичь все то, от чего пришлось отказаться человеку при конструировании предметного, объективного мира.

Он указал рукой на девушку со стрижкой и сказал: да, пожалуйста.

– К вашему стыду, ваше имя навсегда останется в числе тех, кто внес вклад в ужас, опозоривший человечество. – Это было сказано по-английски с манчестерским акцентом, казенным тоном; говорящий не заботился о том, понимает ли его собеседник.

Он ткнул в документ грязным пальцем. Будден поднял брови.

– Вам нужно подписать здесь, – потрудился объяснить сержант на ломаном немецком. И постучал грязным пальцем по тому месту, где следовало поставить подпись.

Будден повиновался и протянул документ обратно.

– Вы свободны.

Свободен. Выйдя из тюрьмы, он снова бежал – и снова без определенной цели. Тем не менее он задержался в обледеневшей деревушке на берегу Балтийского моря, укрывшейся под стенами скромного картезианского монастыря, и провел зиму, глядя на огонь в очаге молчаливого дома, где его приютили, и исполняя для прокормления работу носильщика в том же доме и в деревушке. Он мало говорил, не желая, чтобы в нем признали образованного человека, и усердствовал, чтобы его руки пианиста и хирурга скорее загрубели. С приютившей его семейной парой он также разговаривал мало, потому что супруги были погружены в скорбь по своему единственному сыну Ойгену, погибшему на русском фронте во время проклятой войны этого проклятого Гитлера. Зима оказалась длинной для Буддена. Его поселили в комнату погибшего сына в обмен на любую работу, какую он мог исполнять, – и он задержался там на два года с лишним, не сказав ни одного слова сверх необходимого, как будто был одним из монахов соседнего монастыря. Он бродил в одиночестве вдоль берега, подставляя лицо хлесткому холодному ветру, налетавшему с Финского залива; плакал, когда его никто не видел; и удерживал мучившие его образы – было бы несправедливо дать им исчезнуть, ведь в памяти заключено покаяние. В конце этой зимы, продлившейся два года, он направился в Узедомский [\[327\]](#) картезианский монастырь и на коленях попросил брата-привратника об исповеди. После некоторых колебаний в ответ на неслыханную просьбу ему был назначен отец исповедник – старый монах с серым взглядом, привыкший к молчанию; в редких случаях, когда он произносил больше трех слов подряд, в его речи угадывался легкий литовский акцент. С того момента, как колокол возвестил наступление третьего часа, Будден не упустил ничего – он говорил монотонно, глядя в землю. Он чувствовал затылком взгляд потрясенного монаха, который перебил его только один раз, в самом начале.

– Ты католик, сын мой? – спросил он.

Следующие четыре часа исповеди монах не издал ни звука. В какой-то момент Буддену показалось, что тот беззвучно плачет. Когда прозвучал колокол, созывавший монахов на вечернюю молитву, исповедник дрожащим голосом сказал: *ego te absolvo a peccatis tuis* – и перекрестил его

дрожащей рукой, бормоча конец разрешительной формулы. И воцарилась тишина, в которой еще висел отзвук колокола, – но кающийся не сдвинулся с места.

– А епитимья, отец?

– Иди... – Монах не отважился напрасно произнести имени Господа; он откашлялся, чтобы скрыть неловкость, и продолжил: – Нет такой епитимьи, которая могла бы... Могла бы... Кайся, кайся, сын мой. Кайся... Знаешь, что я думаю в глубине души?

Будден поднял голову – со скорбью, но и с удивлением. Исповедник благостно склонил голову набок и пристально смотрел на трещину в древесине.

– Что вы думаете, святой отец?

Будден также взглянул на трещину, едва видную, поскольку дневной свет постепенно угасал. Он перевел взгляд на монаха и ужаснулся. Отец! – позвал он. Отец! И ему показалось, что он – тот литовский мальчик, который стонет и повторяет «Tève, Tève!» на своей койке в глубине барака. Исповедник был мертв и не мог помочь ему, сколько бы он ни звал. И Будден стал молиться, впервые за много лет, на ходу придумывая слова, умоляя о помощи, которой он не заслуживал.

– Лично я, когда читаю стихотворение или слышу песню... ни о чем таком не думаю, правда.

Адриа был счастлив, что девушка не спросила, будет ли это на экзамене. У него даже блеснули глаза.

– Хорошо. А о чем вы думаете?

– Ни о чем.

Послышались смешки. Девушка обернулась, задетая смехом, пытаясь понять, кто смеялся.

– Тихо, – сказал Адриа. Он ободряюще взглянул на девушку со стрижкой.

– Ну... – сказала она. – Стихи, песни... они не заставляют меня думать. Они заставляют меня чувствовать что-то такое, что я не могу выразить.

И тише:

– Иногда... Иногда они заставляют меня плакать, – закончила она совсем тихо.

На этот раз никто не засмеялся. Три или четыре секунды последовавшего за этим молчания были самым важным моментом за весь курс. Все испортил университетский надзиратель, который открыл дверь и сказал, что пора заканчивать.

– В искусстве – личное спасение, но в нем не может быть спасения для всего человечества, – ответил Адриа Ардевол надзирателю, который закрыл дверь, смутившись от слов этого ненормального профессора.

– В искусстве – личное спасение, но в нем не может быть спасения для всего человечества, – повторил он Саре в столовой за завтраком, сидя перед пейзажем Уржеля, в котором казалось, тоже пробуждается новый день.

– Так и есть, потому что человечество безнадежно.

– Не грусти, дорогая.

– Я не могу не грустить.

– Почему?

– Потому что мне кажется, что...

Тишина. Она сделала глоток чая. В дверь позвонили, и Адриа пошел открывать.

– Осторожно, отойдите! – Катерина вошла и сразу побежала в ванную с зонтом, с которого стекали струи воды.

– Там дождь?

– Да вы бы и бури не заметили, – ответила та из ванной.

– Вы преувеличиваете.

– Преувеличиваю? Вы бы в море воды не нашли!

Я вернулся в столовую. Сара уже доедала. Адриа положил на ее руку свою, чтобы она не вставала.

– Почему ты не можешь не грустить?

Сара молчала. Она вытерла губы салфеткой в бело-голубую клетку и затем аккуратно сложила ее. Я стоял и ждал, слушая привычное шуршание Катерины по хозяйству в другом конце квартиры.

– Потому что мне кажется, что, если я перестану грустить, я... погрешу против памяти своих. Дяди. И других... У меня много покойников.

Я сел, не отпуская ее руки.

– Я люблю тебя, – сказал я. И ты посмотрела на меня, печальная, сосредоточенная и красивая. – Давай родим ребенка, – осмелился я наконец.

Ты отрицательно покачала головой, словно не решаясь сказать этого вслух.

– Почему нет?

Ты подняла брови и сказала: ох.

– Это была бы жизнь в противопоставлении смерти, тебе не кажется?

– Я не чувствую в себе сил. – Ты отрицательно качала головой, говоря: нет, нет, нет, нет, нет.

Я долго спрашивал себя, почему столько «нет» против ребенка. Среди того, что глубоко меня печалит, – то, что я не видел, как растет девочка, похожая на тебя, которой никто никогда не скажет: стой спокойно, а то я оторву тебе нос, – потому что ей никогда не придется испуганно мять в руках бело-голубую клетчатую салфетку. Или мальчик, которому не придется в ужасе умолять: Tève, Tève!

После доставшейся столь дорогой ценой исповеди на ледяном острове Узедом Будден покинул свой стул у очага – оставил позади замерзшую деревню на балтийском берегу, украв у доверчивых хозяев удостоверение на имя дорогого им Ойгена Мюсса, чтобы избежать проблем с оккупационными войсками союзников, и бежал в третий раз, словно боясь, что бедный монах-исповедник из могилы обвинит его перед своими братьями в каком-нибудь из совершенных преступлений. В глубине души он боялся не картезианцев и не их молчания. Он не боялся неналоженной епитимьи; он не боялся смерти; он не заслуживал самоубийства, потому что знал, что должен исправить причиненное им зло. Он прекрасно знал, что заслужил вечные муки, и не чувствовал себя вправе избегать их. Но ему надо было еще кое-что сделать, прежде чем отправиться в ад. «Ты должен подумать, сын мой, – сказал ему старый монах перед разрешением и перед смертью в своей единственной короткой речи за всю исповедь, – каким образом ты можешь исправить то зло, которое причинил». И добавил тише: «Если это возможно исправить...» Несколько секунд он колебался и затем продолжил: «Да простит меня Господь, чье милосердие бесконечно, но даже если ты попытаешься исправить причиненное тобой зло, я думаю, что тебе нет места в раю». Во время своего бегства Ойген Мюсс думал об исправлении зла. Другим было проще, потому что во время своего бегства им нужно было только уничтожить архивы, – ему же нужно было уничтожить все свидетельства в своем сердце. Точнее, свидетелей. Господи.

Из трех монастырей, двух чешских и одного венгерского, его вежливо выпроводили. В четвертый, после долгого испытательного срока, приняли. С ним не повторилась история того несчастного монаха, который бежал от страха и который тридцать раз просил, чтобы ему позволили стать одним из братьев общины, и которому настоятель монастыря Сан-Пере дел Бургал отказал, глядя в глаза, двадцать девять раз подряд, пока в одну дождливую и счастливую пятницу беглец не попросил о вступлении в монастырь в тридцатый раз. Мюсс бежал не от страха – он бежал от доктора Буддена.

Отец Клаус, в чьи обязанности в то время входило наставление новичиев, был к ним очень внимателен. Он считал, что в этом молодом еще человеке есть такая духовная жажда, такое желание молитвы и покаяния, которые может удовлетворить орден цистерцианцев строгого соблюдения. И так он был направлен на испытательный срок в Мариавальдский монастырь.

Молитвенная жизнь дала ему ощущение близости Бога, но смешанное со страхом и убеждением, что он недостойн даже дышать. Когда он провел в монастыре уже восемь месяцев, отец Альберт, шедший впереди него по монастырскому двору и направлявшийся в зал капитулов, где отец настоятель хотел сообщить им об изменении распорядка дня, вдруг упал как подкошенный. Брат Ойген Мюсс не успел обдумать свою реакцию и, взглянув на упавшего отца Альберта, сказал: это сердечный приступ – и дал точные указания прибежавшим на помощь монахам. Жизнь отца Альберта была спасена, а братья с удивлением обнаружили, что новичий Мюсс не просто обладает познаниями в медицине – он настоящий врач.

– Почему ты скрывал это?

Молчание. Взгляд, устремленный в землю. Я хотел начать жизнь заново. Мне кажется, это не важно.

– Мне решать, что важно, а что нет.

Он не смог выдержать ни взгляда отца настоятеля, ни взгляда отца Альберта, которого навел в больницу. Более того, Мюсс был уверен, что отец Альберт, благодаривший его за мгновенную реакцию, спасшую ему жизнь, разгадал его секрет.

Врачебная слава Мюсса возросла в течение следующих месяцев. К тому моменту, когда он дал первые обеты и в соответствии с уставом в знак отречения от прошлой жизни сменил не принадлежавшее ему имя Ойген на имя Арнольд, он уже успешно и смиренно разрешил случай коллективного отравления, и его слава упрочилась. Поэтому, когда в другой обители – очень далеко от монастыря, на западе, – у брата Роберта случился кризис, мариавальдский аббат сразу же предложил помощь брата Арнольда (Мюсса), опытного врача. И тогда тот снова почувствовал себя безутешным.

– Наконец, я не могу не упомянуть высказывание, что после Освенцима поэзия невозможна.

– Кто это сказал?

– Адорно.

– Я согласен.

– А я нет: ведь после Освенцима поэзия не исчезла.

- Не исчезла, но я хочу сказать, что... Она должна была исчезнуть.
- Нет. После Освенцима, после многочисленных погромов, после уничтожения катаров^[328] всех до единого, после массовых убийств во все времена и во всем мире... Жестокость проявляется на протяжении стольких веков, что вся история человечества могла бы быть историей «невозможности поэзии после...». Но, напротив, этого не происходит, потому что ведь кто тогда может рассказать об Освенциме?
 - Пережившие его. Создавшие его. Исследователи.
 - Да, все это имеет значение; созданы музеи, чтобы сохранить эти свидетельства. Но одного будет не хватать – правды личного опыта: это такая вещь, которую не может передать научное исследование.
- Бернат перевернул последний лист в стопке, посмотрел на своего друга и сказал: и?..
 - Ее может передать только искусство, литературный вымысел, ведь он ближе всего к личному опыту.
 - Слушай...
 - Да. Поэзия после Освенцима необходимее, чем когда-либо.
 - Это хорошее окончание для книги.
 - Да. Думаю, да. Или – не знаю. Но полагаю, что в этом – одна из причин устойчивости эстетической воли в человеке.
 - Когда ты ее наконец издашь? Я уже жду не дождусь.

Через несколько месяцев вышла «Эстетическая воля» – одновременно по-каталански и по-немецки – в моем собственном переводе, под редакцией дотошного Каменека. Эта книга – одна из немногих вещей, которыми я горжусь, дорогая. И у меня в памяти продолжали роиться истории и пейзажи. И однажды я снова посетил Муррала втайне от тебя и втайне от себя самого:

- Сколько?
 - Столько.
 - Столько?
 - Да. Это вас интересует, профессор?
 - За столько-то – да.
 - Ну, вы скажете! Столько.
 - Столько.
 - Ну ладно, согласен: столько.
- На этот раз я приобрел автограф партитуры «Концертного аллегро» Гранадоса^[329]. И несколько дней избегал встречаться взглядом с шерифом

Франц-Пауль Деккер объявил десятиминутный перерыв, так как его срочно вызвали по какому-то важному административному делу, а административные дела всегда важнее всех остальных, будь то даже вторая репетиция Четвертой симфонии Брукнера. Бернат разговорился с молчаливым, застенчивым трубачом, тем самым, которого Деккер попросил заново сыграть зорю из первой части *Bewegt nicht zu schnell*^[330], чтобы продемонстрировать всему оркестру, как звучит труба, когда она звучит хорошо. И музыкант, когда дирижер хотел заставить его блеснуть в третий раз, сфальшивил – а этого трубачи боятся больше всего на свете. Все засмеялись, Деккер и трубач – тоже. Но Бернат немного встревожился. Этот парень, совсем недавно начавший играть в оркестре, робел, все время сидел в углу, не поднимая глаз. Он был рыжим, невысоким, полноватым. Выяснилось, что его зовут Ромэн Гинцбург.

– Бернат Пленса.

– *Enchanté*^[331]. Первая скрипка?

– Да. Ну как тебе оркестр? Не считая трелей, которые тебя заставляет выводить дирижер.

Оркестр ему пришелся по вкусу. Он был парижанин, ему нравилось знакомиться с Барселоной, однако не терпелось увидеть места на Майорке, где бывал Шопен.

– Я с тобой туда съезжу, – предложил Бернат, как всегда не подумав. Боже ты мой, Бернат, я тебе тысячу раз говорил: думай, прежде чем сказать. А если уж сказал, не бери в голову, не обещай всерьез...

– Но я же дал слово... К тому же этому парню одиноко здесь, и мне за это как-то неловко...

– Ты что, не знаешь, что Текла устроит тебе скандал?

– Не нагнетай! С чего бы это?

И Бернат вернулся домой с репетиции и сказал: слушай, Текла, я уезжаю на пару дней в Вальдемоссу, с одним трубачом.

– Что?

Текла вышла из кухни, вытирая о фартук испачканные луком руки.

– Я завтра еду показать Гинцбургу места, где жил Шопен.

– Это что еще за Гинцбург такой?

- Я же говорю – трубач.
- Что?
- Из оркестра. Я решил воспользоваться двумя днями...
- Вот как! А меня нельзя предупредить?
- Вот я тебя и предупреждаю.
- А день рождения Льюренса?
- Черт! Я совсем забыл! Ч-черт... Ну... Понимаешь...

И Бернат повез Гинцбурга в Вальдемоссу, где они напились в музыкальном пабе. Гинцбург, как оказалось, превосходно импровизировал на фортепиано, а Бернат, вдохновленный меноркинским джином, спел пару госпелов^[332] голосом Махэлии Джексон.

– Почему ты играешь на трубе? – Этот вопрос Бернату захотелось задать, едва он увидел в первый раз, как Гинцбург достает инструмент из чехла.

– Ну кто-то же должен на ней играть, – ответил Гинцбург, когда они возвращались в отель и солнце вставало над краснеющим горизонтом.

– Но ты же... на фортепиано...

– Оставь.

В результате этой поездки они крепко подружились, а Текла не разговаривала с мужем двадцать дней и записала на его счет еще один проступок. Именно тогда Сара заметила, что Бернат никогда не замечает, что Текла не разговаривает, до тех пор пока ситуация не накалится до предела, грозя разразиться страшным скандалом.

- А почему Бернат так делает? – спросила ты меня однажды.
- Не знаю. Может быть, чтобы всем доказать что-то.
- А он еще в том возрасте, когда надо что-то доказывать?
- Он – да! Даже при смерти он сочтет необходимым что-то доказать.
- Бедная Текла. Не зря она жалуется.
- Бернат живет в своем мире. Он вовсе не плохой.
- Легко так говорить. А в результате плохой оказывается Текла.
- Не приставай ко мне с этим! – сказал Адриа раздраженно.
- С ним непросто.
- Прости, Текла, я ему обещал, елки-палки! Ну что тут такого? Нечего делать из этого трагедии! Всего-то пара дней на Майорке, черт возьми!
- А Льюренс? Он ведь твой сын, а не трубача!
- О господи! Ему ведь уже девять или десять лет?
- Одиннадцать.
- Вот именно: одиннадцать. Он уже не маленький!
- Если хочешь, я объясню тебе, маленький он или нет.

– Давай.

Мать с сыном молча съели по куску именинного торта. Льюренс спросил: мама, а где папа? Она ответила, что у папы работа на Майорке. И они снова принялись молча есть торт.

– Вкусный, правда?

– Пф! Жаль, что папы нет.

– Так что за тобой подарок.

– Но ведь ты ему уже что-то пода...

– Ну разумеется!!! – крикнула Текла, чуть не плача от ярости.

Бернат купил Льюренсу очень красивую книгу, и тот долго смотрел на нее, боясь разорвать бумагу, в которую она была завернута. Льюренс поглядел на отца, на мать на грани истерики, но никак не мог понять, что ему грустно от того, что понять ему пока не под силу.

– Спасибо, папа, какая красивая! – сказал он, так и не сняв бумагу. На следующее утро, когда мальчика пришли будить, чтобы вставать в школу, тот спал в обнимку с нераспакованной книгой.

Дзыыыыыыыыыыынь!

Катерина пошла открыть дверь и у порога обнаружила хорошо одетого молодого человека с улыбкой продавца новых фильтров для воды и очень выразительными серыми глазами. В руках он держал небольшую папку. Катерина смотрела на него, не впуская в дом. Он принял молчание за вопрос и поинтересовался, здесь ли живет сеньор Ардевол.

– Его нет дома.

– Как же так? – Молодой человек растерялся. – Но ведь он сам мне сказал... – Он взглянул на часы в некотором недоумении. – Это странно... А сеньора Ардевол дома?

– Ее тоже нет.

– Ну что ж... так, значит...

Катерина развела руками. Однако посетитель был молод и симпатичен, да чего уж там говорить – привлекателен. Указав на Катерину пальцем, он сказал, что для того дела, ради которого он пришел, хозяева, быть может, и не нужны.

– Что вы имеете в виду?

– Я пришел, чтобы произвести оценку.

– Произвести что?

– Оценку. Вас не предупредили?

– Нет. Оценку чего?

– Так вам ничего не говорили? – Расторопный юноша огорчился.

– Нет.
– Оценку скрипки. – И он собрался войти. – Можно?
– Нет! – Катерина раздумывала несколько мгновений. – Ведь я-то не в курсе. Мне ничего не говорили.

Расторопный молодой человек неизвестно как уже переступил порог обеими ногами и улыбнулся еще шире:

– Сеньор Ардевол такой рассеянный. – Он с сочувственным видом, но не выходя за рамки приличия, подмигнул ей, а затем продолжил: – Мы не далее как вчера вечером с ним говорили об этом. И нужно-то всего-навсего пять минут, чтобы осмотреть инструмент.

– Послушайте, лучше вам прийти еще раз, когда хозяева...

– Простите, но я приехал специально из Кремоны, из Ломбардии, это в Италии. Вам понятно? Это вам что-нибудь говорит? Позвоните хозяину, пусть он мне разрешит...

– Но куда я могу ему позвонить?

– Ну что ж...

– Тем более в последнее время он хранит скрипку в сейфе.

– Я полагал, вы знаете шифр.

Повисла тишина. Симпатичный юноша уже совсем проник в прихожую, но не торопил события. Молчание Катерины выдавало ее. Посетитель, желая ей помочь, открыл молнию на папке и достал пачку банкнот по пять тысяч:

– Это обычно помогает вспомнить, уважаемая Катерина Фаргес.

– Семь два восемь ноль шесть пять. Откуда вы знаете, как меня зовут?

– Я же уже говорил вам – я оценщик.

Катерина, словно этот ответ был исчерпывающим, сделала шаг назад и впустила симпатичного юношу.

– Проводите меня, – попросил он. Но прежде вложил ей в руку пачку купюр, которую она крепко сжала.

В моем кабинете молодой человек надел очень тонкие перчатки, перчатки оценщика, пояснил он, открыл сейф, набрав семь два восемь ноль шесть пять, вынул оттуда скрипку, услышал, как Катерина говорит: если вы думаете, что сможете унести скрипку, то вы меня не знаете, и, не глядя на нее, ответил: я же сказал – я оценщик, уважаемая. Она на всякий случай замолчала. Он положил скрипку под мою лампу с лупой, внимательно изучил клеймо, прочитал *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit*, потом произнес: millesettecentosessantaquattro^[333], подмигнул Катерине, которая стояла склонившись рядом с ним и, желая оправдать свою зарплату, ясно давала понять, что этот мужчина, сколь бы веселым он ни был, не выйдет

из дома со скрипкой в руках. Оценщик взгляделся в двойную черту под словом Cremonensis, и сердце едва не выскочило у него из груди, так что даже эта идиотка, должно быть, заметила это.

– Va bene, va bene... [\[334\]](#) – сказал он, будто врач, закончивший осмотр пациента и неуверенный в диагнозе. Он перевернул инструмент, осмотрел корпус, царапинки, изгибы, оттенки цвета, машинально повторяя «va bene, va bene».

– Ценная вещь? – Катерина сжала ладонь с постыдными банкнотами, сложенными пополам.

Оценщик не ответил – он вдыхал запах лака, покрывавшего скрипку. Или дерева. Или старины. Или красоты. Наконец он аккуратно опустил скрипку на стол и достал из папки поляроид. Катерина отошла: она не хотела никаких фотодоказательств своего нескромного поведения. Молодой человек не спеша сделал пять фотографий, помахал каждой, чтобы высушить, улыбаясь, следя глазами за женщиной и напрягая слух, чтобы уловить шум шагов на лестнице. Покончив с этим, он взял инструмент и убрал его в сейф. Закрыл. Перчатки он не снял. У Катерины отлегло от сердца. Веселый молодой человек огляделся. Подошел к стеллажам. Внимательно взглянул на полку с инкунабулами. Покачал головой и наконец-то посмотрел Катерине в глаза:

– Я закончил.

– Простите, но откуда вы знали, что мне известно это? – спросила она, кивнув в сторону сейфа.

– А я и не знал.

Мужчина молча вышел из моего кабинета, потом неожиданно обернулся, так неожиданно, что Катерина на него налетела. Он сказал:

– Но теперь я знаю, что вы знаете, что я это знаю.

Он вышел из квартиры, все еще в перчатках, и сам закрыл дверь, слегка кивнув в знак прощания, что Катерина, как ни была она ошарашена, сочла в высшей степени элегантным. Вы знаете, что я знаю, что... нет, как там он сказал? Оставшись одна, Катерина разжала ладонь. Пачка пятидесяти тысяч купюр. А вот и нет, верхняя – пятидесяти тысяч, а остальные – ах ты, сукин сын, развеселый оценщик, чтоб тебе пусто было! Она открыла дверь, намереваясь... Намереваясь сделать что? Устроить скандал незнакомцу, кого вот так запросто впустила в дом? Придет же Господь, как тать ночью. Она все еще слышала шаги – ровные, уверенные, веселые шаги таинственного вора на последних ступенях лестницы, ведущей на улицу. Катерина закрыла дверь, посмотрела на пачку купюр. Она стояла и повторяла: нет, нет, нет, неправда! Да и что я нашла в его серых глазах,

их и не разглядеть под бровями, густыми, как у овчарки.

Я получил письмо из Оксфорда. Оно изменило мою жизнь. Сподвигло вновь начать писать. По сути, именно оно стало катализатором, спусковым крючком, заставившим меня решиться на то, что в конце концов выльется в книгу, длинную, как день без крошки хлеба; книга эта принесла мне много радости, и мне приятно, что я ее написал: *«История европейской мысли»*. Теперь я имел право сказать себе: видишь, Адриа, ты смог создать что-то близкое к *«Истории греческого духа»*, а значит, можешь почувствовать себя ближе к Нестле. Если бы не письмо, я бы не нашел в себе сил взяться за эту книгу. Адриа с любопытством взглянул на полученные письма. Одно из них было отправлено авиапочтой. Он машинально посмотрел, откуда оно: И. Берлин, Headington House. Oxford. England. UK.

– Сара!

Где Сара? Адриа, словно потерянный, бродил по своему Сотворенному Миру и звал: Сара, Сара, пока не оказался возле ее кабинета и не увидел, что дверь в него закрыта. Он открыл дверь. Сара торопливо делала наброски лиц, домов, как бывало, когда она, словно в лихорадке, заполняла с полдюжины листов спонтанными штрихами, а потом рассматривала их по несколько дней, прикидывая, что нужно отбросить, а что – прорисовывать дальше. Сара была в наушниках.

– Сара!

Сара обернулась и, увидев переменившегося в лице Адриа, сняла наушники и спросила: ты что? что с тобой? Адриа протянул руку с письмом, и она подумала: нет, неужели еще одна плохая новость? Только не это.

– Что случилось? – спросила Сара испуганно. Она смотрела, как Адриа, бледный, садится на рабочий табурет и дает ей письмо. Она взяла и спросила: от кого это? Адриа жестом показал, что конверт надо перевернуть. Перевернув, Сара прочитала: И. Берлин, Headington House. Oxford. England. UK. Она взглянула на Адриа и спросила: кто это?

– Исая Бёрлин.

– Кто такой Исая Берлин?

Адриа вышел, тут же вернулся с четырьмя или пятью книгами Берлина и положил их рядом с листами набросков.

– Вот кто это, – сказал он, показывая на книги.

– А чего он хочет?

– Не знаю. Но с чего бы это ему писать мне?

Тогда ты взяла меня за руку и заставила сесть, словно учительница, которая успокаивает перепуганного ученика, ты сказала: знаешь, что надо сделать, чтобы узнать, о чем говорится в письме, а, Адриа? Надо его вскрыть – да, а потом прочитать.

– Да ведь это же Исайя Берлин!

– Ну прямо как будто это государь всея Руси! Надо вскрыть конверт.

Ты дала мне нож для почтовых конвертов. Я долго открывал письмо, чтобы, разрезая конверт, не повредить бумагу внутри.

– Да что же ему нужно? – не выдержал я. Ты молча указала на конверт. Но Адриа, открыв его, положил на стол Сары.

– Ты не будешь читать письмо?

– Я ужасно боюсь.

Тогда ты взяла конверт, а я, как мальчишка, выхватил его у тебя из рук и достал письмо. Всего один листок, написанный от руки, где говорилось: Оксфорд, апрель 1987-го, уважаемый господин Ардевол, Ваша книга произвела на меня глубочайшее впечатление и проч., и проч. и проч. – все это, хоть и прошло столько времени, я помню наизусть. До самого конца, где говорилось: пожалуйста, не прекращайте размышлять и время от времени записывайте Ваши размышления. Искренне Ваш, Исайя Берлин.

– Ничего себе...

– Здорово, да?

– А о какой книге он говорит?

– Судя по замечаниям, об «Эстетической воле», – сказала Сара и взяла листок, чтобы прочитать самой. Ты вернула мне письмо, улыбнулась и сказала: а теперь объясни мне спокойно, кто такой Исайя Берлин.

– Но как попала к нему моя книга?

– Возьми письмо и убери, чтобы не потерять.

С тех пор я храню его среди самых дорогих мне вещей, хотя скоро уж забуду, где именно оно лежит. Так вот, это письмо помогло мне сесть за работу и писать в течение нескольких лет, которые, если не считать немногих занятий, что мне позволяли тогда вести, были целиком заполнены историей европейской мысли.

Самолет приземлился на кое-как асфальтированной полосе, подпрыгивая с такой силой, что он даже засомневался, доберется ли живым

до зала выдачи багажа, если, конечно, таковой имеется в аэропорту Киквита. Чтобы не осрамиться перед молодой соседкой со скучающим выражением лица, он сделал вид, что читает, а сам пытался вспомнить, где находятся аварийные выходы. Это был уже третий самолет, с тех пор как он вылетел из Брюсселя. Он оказался единственным белым на борту. Но его не беспокоило, что он выделяется из всех. Издержки профессии. Самолет остановился метрах в ста от небольшого здания. До него пришлось идти пешком, стараясь не приклеиться ботинками к расплавленному асфальту. Он забрал свою скромную сумку с вещами и нанял таксиста, который все норовил урвать куш побольше – ведь он на джипе и при полных канистрах! – а проехав по берегу Квилу часа три, стал требовать еще долларов, потому что началась опасная зона. Киконго, сами понимаете. Пассажир заплатил без разговоров, ведь все было заранее включено в расходы и просчитано, даже вранье. Еще один нескончаемый час тряски, как на взлетной полосе, и деревьев стало больше, они сделались выше и гуще. Машина остановилась перед полусгнившим указателем.

– Бебенбелеке, – невозмутимо объявил шофер.

– И где эта треклятая больница?

Таксист кивнул в направлении ярко-красного солнца. Несколько составленных вместе бревен напоминали по форме дом. Здесь было не так жарко, как в аэропорту.

– Когда за вами приехать?

– Я вернусь пешком.

– Да вы с ума сошли!

– Точно.

Он взял сумку и зашагал к кое-как сколоченному строению, не оборачиваясь и не прощаясь с таксистом. Тот сплюнул, весьма довольный тем, что еще успеет заехать в Киконго, чтобы повидаться с двоюродными братьями, а если повезет, то сможет подбросить до Киквита пассажира. Тогда можно будет не работать дня четыре или пять.

Так и не обернувшись, он подождал, пока стихнет шум мотора. Потом направился к единственному дереву, необычному, наверняка с каким-нибудь непроизносимым названием, поднял объемистую сумку из камуфляжной ткани, которая явно дожидалась его, притулившись к стволу, словно дремала после обеда. Обогнув строение, он очутился там, где, видимо, находился главный вход в больницу Бебенбелеке: перед ним был широкий навес, в тени которого на чем-то вроде складных стульев сидели в полном молчании три женщины, внимательно наблюдавшие,

как проходят часы. Собственно двери не было. И ничего похожего на регистратуру не было. Был полутемный коридор с мигающей лампочкой, подключенной к генератору. Из коридора выскочила курица, как будто поняв, что попала туда по ошибке. Он вернулся под навес и спросил у всех трех женщин сразу:

– А где доктор Мюсс?

Одна из женщин, та, что была старше всех, кивнула в сторону коридора. Самая молодая поддакнула, добавив: направо, но сейчас у него больной. Он снова вошел, направился по коридору направо и вскоре оказался в комнате, где пожилой мужчина в белом халате – удивительно чистом при такой пыли – осматривал мальчика, который плохо видел и явно хотел, чтобы мать, стоявшая рядом, поскорее увела его отсюда.

Он опустился на скамейку ярко-зеленого цвета, где сидели еще две женщины. Они были взволнованы каким-то событием, нарушившим привычную жизнь в Бебенбелеке, отчего без конца повторяли как заклинание одни и те же слова. Он поставил у ног более объемную сумку, издавшую металлический звук. Темнело. Закончив осмотр последнего больного, доктор Мюсс наконец-то поднял голову и посмотрел на приезжего так, как будто это было в порядке вещей.

– Вы тоже на прием? – сказал он вместо приветствия.

– Я хотел лишь исповедаться.

Тут посетитель заметил, что врач не просто стар, а невероятно стар. Двигался он так, словно в нем скрывался источник неисчерпаемой энергии, и это вводило в заблуждение. Но у него было тело старика, которому перевалило за восемьдесят. На той фотографии, которую он видел, доктору было максимум шестьдесят с небольшим.

Как будто это самое обычное дело, чтобы европеец приехал под вечер в Бебенбелеке на исповедь, доктор Мюсс помыл руки в раковине, где чудесным образом оказался водопроводный кран, и сделал прибывшему знак идти за ним. В это мгновение двое импозантных мужчин в темных очках сели на зеленую скамейку, где уже не было взволнованных женщин. Доктор Мюсс провел посетителя в маленькую комнату, возможно в свой кабинет:

– Вы останетесь поужинать?

– Не знаю. Я не строю столь далеко идущих планов.

– Чем обязан?

– Вас непросто было найти, доктор Будден. Я потерял след в одном из монастырей траппистов и долго не мог выяснить, куда вы делись.

– И как же вам это удалось?

- Я посетил главный архив ордена.
- Ох уж это пристрастие к безупречной документации и архивам... Вас там хорошо приняли?
- Они, должно быть, и сейчас не знают, что я к ним наведался.
- И что же вы обнаружили?
- Помимо фальшивого прибалтийского следа, я нашел упоминание о Штутгарте, Тюбингене и Бебенхаузене. И в этой деревеньке мне удалось сложить кое-какие детали головоломки с помощью одной очень милой старушки.
- Моей кузины Герты Ландау, да? Она всегда любила поболтать. Наверно, была счастлива, что могла с кем-то почесать языком. Простите, продолжайте.
- Да это, собственно, все. Я потратил годы на то, чтобы эту головоломку решить.
- Тем лучше. Вы позволили мне внести хоть малую лепту в исправление зла, которое я совершил.
- Мой заказчик хотел бы, чтобы это случилось раньше.
- Почему он не арестует меня и не предаст суду?
- Мой заказчик стар, он боится проволочек и чувствует, что недолго проживет.
- Н-да.
- А он не хочет умереть, не увидев мертвым вас.
- Понимаю. Как же вы отыскиали меня?
- О, было много чисто технической работы. Я занимаюсь очень скучными вещами: сую нос повсюду, пока наконец что-то не прояснится. Прошел не один день, пока я не догадался, что тот Бебенхаузен, который мне нужен, вовсе не в Баден-Вюртенберге. Иногда я даже думал, что помогаю тому, на чей след должен напасть.
- Он заметил, что врач старается сдержать улыбку.
- Вам понравился Бебенхаузен?
- Очень.
- Мой потерянный рай. – Доктор Мюсс рукой отогнал воспоминание и теперь по-настоящему улыбнулся. – Вы долго промешкались, – заметил он.
- Я уже вам говорил. Когда мне сделали заказ, вы были далеко и хорошо спрятались.
- Чтобы иметь возможность работать и кое-что исправить. – Он заинтересовался: – А как выполняется заказ?
- По отработанной схеме и... совершенно бесстрастно.

Доктор Мюсс подошел к шкафчику, который оказался холодильником, и вынул оттуда миску, полную чего-то неопределенного, что могло быть едой. Он поставил ее на стол вместе с двумя тарелками и ложками:

– Если позволите. В моем возрасте я ем как воробышек... мало и часто. Иначе могу упасть в обморок.

– Неужели такому старому врачу доверяют?

– Другого здесь нет. Надеюсь, что после моей смерти больницу не закроют. У меня договор с властями деревень Белеке и Киконго.

– Я очень сожалею, доктор Будден.

– Да. – И, указывая на непонятную еду в миске: – Это просо. Лучше, чем ничего, поверьте.

Он положил несколько ложек в рот и передал миску посетителю. Затем спросил, не прожевав:

– Что вы имели в виду, сказав «по отработанной схеме и совершенно бесстрастно»?

– Ну, разное...

– Нет, пожалуйста, мне интересно.

– Ладно, например, я никогда не знаю своих заказчиков. Они меня тоже, естественно.

– Логично. Но как вы это все осуществляете?

– Это целая система. Заочное общение вполне возможно, но необходимо тщательно проверять, с нужным ли человеком ты общаешься. И надо научиться не оставлять никаких следов.

– И это тоже логично. Однако сегодня вы приехали на машине Макубуло Жозефа, а он – неисправимый болтун, который, наверно, уже успел всем рассказать...

– Он рассказывает всем то, что нужно мне. Придуманную мною версию. Уж простите, не буду вдаваться в подробности... А как вы узнали, что меня привез именно этот таксист?

– Я основал больницу в Бебенбелеке сорок лет назад. Я знаю точно, какая собака залаяла и чья курица закудаhtала.

– Так вы приехали сюда прямо из Мариавальда?

– Вам так интересно?

– Чрезвычайно! У меня было время как следует подумать о вас. Вы всегда работали один?

– Я работаю не один. Еще до рассвета сюда приходят три медсестры, чтобы принять пациентов. Я тоже встаю рано, но не так.

– Мне жаль, что я вас отвлекаю.

– Не думаю, чтобы сегодня это было очень важно.

– А вы занимаетесь еще чем-нибудь?

– Нет. Я отдаю все свои силы нуждающимся в помощи каждый час оставшейся мне жизни.

– Это похоже на церковную клятву.

– Так я... все еще наполовину монах.

– Разве вы не оставили монастырь?

– Я вышел из ордена траппистов и покинул монастырь. Но по-прежнему чувствую себя монахом. Монахом без общины.

– Вы проводите службу и все такое?

– Я не священник. Non sum dignus^[335].

Они воспользовались паузой и отъели как следует проса из миски.

– Вкусно, – сказал посетитель.

– Если честно, я этим сыт по горло. Соскучился по еде. Например, по Sauerkraut^[336]. Уже не помню ее вкуса, но скучаю.

– Эх, если б я знал...

– То, что я скучаю, совсем не значит, что... – Он проглотил еще одну ложку проса. – Я не заслуживаю Sauerkraut.

– Вы, наверно, преувеличиваете. Какое я имею право...

– Нет у вас такого права, уверяю вас.

Он вытер рот тыльной стороной ладони и отряхнул чистый, как прежде, халат. Потом отодвинул поднос, не спрашивая, наелся ли его собеседник, и они остались лицом к лицу, сидя по обе стороны пустого стола.

– А фортепиано?

– Забросил. Non sum dignus. От одного воспоминания о музыке, которую я раньше боготворил, меня теперь тошнит.

– Вы не преувеличиваете?

– Скажите мне, как вас зовут.

Молчание. Посетитель что-то обдумывал несколько мгновений.

– Зачем?

– Из чистого любопытства. Мне это не пригодится.

– Лучше не говорить.

– Как вам угодно.

Оба не смогли удержаться от улыбки.

– Я не знаю заказчика. Но он сообщил мне ключевое слово, которое вам многое объяснит. Вам не интересно, кто меня послал?

– Нет. Кто бы вас ни послал – добро пожаловать.

– Меня зовут Элм.

– Спасибо за доверие, Элм. Не поймите меня превратно, но я должен попросить вас сменить работу.

– Я выполняю последние поручения. Ухожу на покой.

– Я был бы рад, если б это было ваше последнее задание.

– Этого я обещать не могу, доктор Будден. Я хотел бы задать вам один деликатный вопрос.

– Давайте! Я ведь только что задал вам такой же.

– Почему вы сами не отдали себя в руки правосудия? Ведь когда вы вышли из тюрьмы, то считали, что не искупили свою вину... а значит...

– Ценой тюрьмы или смерти я не смог бы исправить зло.

– Как же вы хотите исправить неисправимое?

– Мы живем одной общиной на дрейфующей в пространстве скале, как будто все время ищем в тумане какого-то Бога.

– Не понимаю вас.

– Естественно. Я хочу сказать, что можно исправить зло, причиненное одному человеку, сделав добро другому. Но зло должно быть исправлено.

– А кроме того, вам было бы неприятно, чтобы ваше имя...

– Конечно. Мне бы это было, безусловно, неприятно. Моя жизнь, с тех пор как я вышел из тюрьмы, заключалась в том, чтобы прятаться и исправлять. Сознавая, что мне никогда не исправить то зло, которое я сотворил. Десятки лет я ношу это в себе и еще никогда никому об этом не говорил.

– Ego te absolvo и прочая и прочая... Так?

– Не смейтесь. Однажды я уже попытался исповедаться. Но беда в том, что мой грех слишком велик, чтобы его простили. Я жил, ожидая вас и зная при этом, что, когда вы появитесь, я все еще буду лишь в начале пути.

– Да, я помню, если раскаяние достаточно...

– Да бросьте... Вам-то откуда знать?

– Я получил религиозное образование.

– И оно вам пригодились?

– От кого я это слышу!

Оба снова улыбнулись. Доктор Мюсс пошарил под халатом в рубашке. Его собеседник мгновенно наклонился над столом и схватил его за запястье. Врач потихоньку вытащил грязную сложенную тряпицу. Увидев ее, посетитель отпустил руку. Доктор Мюсс положил на стол тряпицу, которую когда-то, очевидно, разрезали пополам, чтобы разделить на два куска, и, словно священнодействуя, развернул ее. Она была размером полторы ладони на полторы и кое-где хранила следы клетки из белых и голубых нитей. Посетитель с любопытством взирал на тряпицу.

Потом бросил взгляд на врача. Тот сидел с закрытыми глазами. Молился? О чем-то вспоминал?

– Как вы решились сделать то, что сделали?

Доктор Мюсс открыл глаза:

– Вы не знаете, что я сделал.

– Я изучил документы. Вы организовали группу врачей, которые занимались тем, что нарушали клятву Гиппократата.

– Вы, несмотря на профессию, хорошо образованны.

– Как и вы. Не могу не воспользоваться возможностью, чтобы сказать вам, что вы мне отвратительны.

– Я заслуживаю презрения убийц. – Он закрыл глаза и сказал, будто затверженный текст: – Я согрешил против человека и Бога. Во имя идеи.

– Вы в нее верили?

– Да. Confiteor.

– А как же чувство жалости и сострадания?

– Вы убивали детей? – Доктор Мюсс посмотрел ему в глаза.

– Напоминаю, что здесь вопросы задаю я.

– Хорошо. Значит, вы знаете, что при этом испытываешь.

– Видеть, как плачет ребенок, которому заживо сдирают кожу, чтобы посмотреть, каково действие инфекций... и не испытывать сострадания...

– Я не был человеком, отец мой, – признался доктор Мюсс.

– Как же, не будучи человеком, вы смогли раскаяться?

– Не знаю, отец мой. Mea maxima culpa^[337].

– Никто из ваших коллег не раскаялся, доктор Будден.

– Они знали, что их грех слишком велик, чтобы просить прощения, отец мой.

– Кое-кто покончил с собой, а некоторые сбежали и попрятались, как крысы.

– Кто я, чтобы судить их? Я такой же, как они, отец мой.

– Но вы единственный, кто хочет исправить зло.

– Будем объективны: с чего мне быть единственным?

– Я изучил много документов. Например, касающихся Ариберта Фойгта.

– Что?

Несмотря на все самообладание, доктора Мюсса передернуло судорогой, едва он услышал это имя.

– Мы его отловили.

– Он это заслужил. Да простит меня Господь, ведь и я это заслуживаю, отец мой.

– Мы его наказали.
– Не могу ничего сказать. Это слишком тяжело. И вина слишком глубока.
– Мы отловили его уже много лет назад. Вы этому не рады?
– Non sum dignus.
– Он плакал и просил прощения. И наложил в штаны от страха.
– Плакать по Фойгту я не стану. Но подробности, которые вы рассказываете, мне неприятны.

Какое-то время посетитель пристально смотрел на врача.
– Я еврей, – сказал он наконец. – И работаю по заказу. Однако и по своему желанию тоже. Вы меня понимаете?
– Прекрасно понимаю, отец мой.
– Знаете, что я думаю в глубине души?

Конрад Будден со страхом открыл глаза, словно боясь снова оказаться перед картезианским старцем, который не мигая смотрит на трещину в стене заиндевевшей исповедальни. Напротив него сидел некто Элм, судя по лицу – человек бывалый, и смотрел не на трещину, а в упор на него. Мюсс выдержал взгляд:

– Да, знаю, отец мой: я не имею права на рай.
Посетитель поглядел на него молча, скрывая удивление. Конрад Будден продолжил:

– И вы правы, грех мой столь ужасен, что настоящий ад – то, что я выбрал: принять на себя вину и продолжать жить.
– Не думайте, что я вас понимаю.
– А я на это и не претендую. И не оправдываюсь ни идеей, которая нас увлекала, ни бездушностью, благодаря которой мы легче выдерживали тот ад, который сами же создавали. Я не ищу ничьего прощения. Даже Божьего. Я просил только позволить мне исправить этот ад, насколько возможно.

Он закрыл лицо руками и сказал: *doleo, mea culpa*^[338]. Каждый день я заново, но столь же остро переживаю эту скорбь.

Повисла тишина. На улице мягкий покой спустился на больницу. Пришельцу показалось, что он слышит где-то вдалеке приглушенное бормотание телевизора. Мюсс спросил тихо, пряча смятение:

– Это останется в секрете или после моей смерти всем раструбят, кто я?

– Мой клиент желает, чтобы все осталось в секрете. Хозяин – барин.
Молчание. Да, это телевизор. Странно было слышать здесь этот звук. Посетитель откинулся на спинку стула.

– Вы и сейчас не хотите узнать, кто меня послал?

– Мне не нужно этого знать. Вас послали все.

И он опустил ладони на грязную тряпицу – аккуратно, даже торжественно.

– Что это за ткань? – спросил мужчина. – Салфетка?

– У меня свои секреты.

Доктор Мюсс подержал руки на тряпице и сказал: если угодно, приступайте. Я готов.

– Будьте любезны, откройте рот...

Конрад Будден закрыл глаза со смирением и произнес: как скажете, отец мой. В окно донеслось игривое кудахтанье курицы, готовой порезвиться. А издалека – смех и аплодисменты у телевизора. И Ойген Мюсс, брат Арнольд Мюсс, доктор Конрад Будден, открыл рот, чтобы принять последнее причастие. Он услышал, как резко открывается молния на сумке. Услышал металлические звуки, которые перенесли его в ад, и принял это как высшее покаяние. Рот он не закрыл. И не услышал выстрела, потому что пуля долетела слишком быстро.

Посетитель заткнул пистолет за пояс и достал из сумки автомат Калашникова. Прежде чем выйти из комнаты, он аккуратно сложил священную для этого человека тряпицу, словно она была священна и для него, и убрал в карман. Жертва по-прежнему прямо сидела в кресле, с изуродованным ртом, но без единой струйки крови. Даже на халате не было ни пятнышка. Слишком стар, чтобы проливать кровь, подумал он, снимая предохранитель с затвора и готовясь придать сцене иной вид. Он прикинул, откуда доносится звук телевизора. Сообразил, что как раз оттуда, куда ему придется направиться. Он прекрасно понимал – смерть врача не должна привлечь внимания, и решил, что для этого нужно, чтобы как можно больше обсуждали прочие события. Таковы уж особенности его работы.

Все, что я вам рассказываю, дорогие друзья и коллеги, случилось до *Истории европейской мысли*. Кто хочет получить конкретные сведения о нашем ученом, может воспользоваться прежде всего двумя источниками: Большой каталонской энциклопедией и Британской энциклопедией. У меня под рукой была последняя, и вот что говорится в пятнадцатом издании:

Адриа Ардевол-и-Боск (Барселона, 1946). Преподает теорию

эстетических течений и историю идей, в 1976 году защитил докторскую диссертацию в Тюбингене, автор «Французской революции» (1978). В данной работе обосновывает невозможность применения насилия ради идеала и подвергает сомнению историческую легитимность таких фигур, как Марат, Робеспьер и даже Наполеон, которых с филигранным мастерством сопоставляет с палачами XX века, такими как Сталин, Гитлер, Франко и Пиночет. Однако, по сути, история в то время мало волновала молодого преподавателя Ардевола: в пору написания книги он тяжело переживал многолетнее отсутствие своей возлюбленной Сары ↑Волтес-Эпштейн (Париж, 1950 – Барселона, 1996), которая пропала без всякого объяснения, и ему казалось, что на него ополчились весь мир и сама жизнь. Он был не способен рассказать об этом своему хорошему другу Бернату ↑Пленсе-и-Пунсоде (Барселона, 1945), хотя тот не раз плакался ему о своих невзгодах. Книга была воспринята неприязненно в кругах французских интеллектуалов, которые отвернулись от нее и в конце концов о ней забыли. Поэтому «Маркс?» (1980) прошел незамеченным, и даже немногочисленные остававшиеся в живых каталонские сталинисты не прознали о появлении этого труда, чтобы его уничтожить. После одного из визитов к ↑Лоле Маленькой (Барселонета, 1910–1982) он напал на след своей дорогой Сары (vid. supra), и его жизнь вновь обрела покой, если не считать отдельных эпизодов с Лаурой ↑Байлиной (Барселона, 1959?), с которой он не смог решительно порвать отношения и вел себя по отношению к ней несправедливо, mea culpa, confiteor. Уже много лет, как уверяют, он работает над «Историей зла», но поскольку он не вполне ясно представляет себе эту работу, то завершит ее не скоро, если вообще окажется способен это сделать. Обретя внутренний покой, он смог посвятить свои силы написанию труда, который считает наиболее удачным, – «Эстетической воле» (1987), горячо поддержанной Исайей ↑Берлином (ср. Personal Impressions^[339], Hogarth Press, 1987 [1998, Pimlico]), а после нескольких лет лихорадочной работы завершил впечатляющую «Историю европейской мысли» (1994) – сочинение, получившее наибольшее международное признание, то, которое и привело нас всех сегодня в актовЫй зал в Брехтбау, на факультет филологии и философии этого университета. Произносить вступительное слово перед этим торжественным событием – высокая честь для меня. Большого труда стоило мне не предаться личным, субъективным воспоминаниям, поскольку мое знакомство с профессором Ардеволом началось много лет назад в коридорах, аудиториях и кабинетах этого университета, когда я был начинающим преподавателем (да, и я когда-то был молодым, дорогие

студенты), а студент Ардевол – юношей, скорее озабоченным сердечными делами, отчего он первые месяцы путался с кем попало, пока не вступил в очень непростые отношения с Корнелией †Брендель (Оффенбах, 1948), которые стали для него настоящей пыткой, так как девушка – она не была столь красива, как он себе представлял, хотя, надо признать, в постели должна была оказаться весьма неплоха – стремилась к новым экспериментам, а такому пылкому южанину, как Ардевол, было трудно не клюнуть на это. Правда, холодному узколобому немцу – тоже. Не говорите ему об этом, ему это может очень не понравиться, но я вынужден признать, что ваш покорный слуга позднее сам стал экспериментом мадемуазель Брендель. Поясню, что я имею в виду. Завершив эксперименты с баскетболистом гигантского роста, с финном, игравшим в хоккей на льду, и с художником со вшами в шевелюре, Брендель обратилась к другому опытному материалу. Она посмотрела в мою сторону и задалась вопросом: а что, если завести роман с преподавателем? По правде говоря, я оказался всего лишь очередным охотничьим трофеем, и моя голова в академической шапочке красуется у нее на каминной полке рядом с головой финна в ярко-красном хоккейном шлеме. Ну будет, сегодня мы ведь говорим не обо мне, а о профессоре Ардеволе. Я сказал, что отношения с Брендель были для него пыткой, от которой он избавился, решив уйти с головой в учебу. Именно поэтому упомянутая Корнелия Брендель достойна памятника на берегу Неккара. Ардевол окончил Тюбингенский университет и защитил докторскую диссертацию о Вико, которую – напомним, хотя вы это наверняка знаете, – очень хвалил профессор Эухенио Косериу (vid. Архив Эухенио Косериу, Университет Эберхарда и Карла). Вот он, бодрый старик, сохранивший ясный ум, несмотря на возраст, сидит в первом ряду, нервно двигая ногами, однако с удовлетворением на лице. Совершенно очевидно, что диссертация профессора Ардевола – один из наиболее читаемых текстов среди студентов, изучающих историю идей в нашем университете. На этом я заканчиваю, хотя говорить о заслугах профессора Ардевола могу бесконечно. Передаю слово напыщенному и тщеславному профессору Шотту. Господин Каменек с улыбкой передал микрофон профессору Шотту, подмигнул Адриа и уселся поудобнее в кресле. В зале собралось человек сто. Забавная смесь преподавателей и любопытствующих студентов. И Сара подумала: какой он красивый в новом пиджаке.

Это была мировая премьера пиджака, который она уговорила Адриа купить, если он хочет, чтобы она поехала с ним в Тюбинген на презентацию *Истории европейской мысли*. И Адриа, сидя

за столом рядом с выступавшими знаменитостями, посмотрел в сторону Сары, и я подумал: Сара, моя дорогая Сара, это сон. Не глубокое, скрупулезное и прочувствованное выступление Каменек с легкими и едва заметными личными субъективными нотками, не вдохновенная речь профессора Шотта, уверявшего, что в *Die Geschichte des europäischen Denkens*^[340] содержатся великие мысли и что ее необходимо распространить по всем университетам Европы, и я прошу вас незамедлительно ее прочесть. Прошу? Нет, я требую ее прочесть! Не зря профессор Каменек сослался на Исая Берлина и его *Personal Impressions* (vid. supra). Тут стоило бы добавить, если позволит профессор Каменек, что ссылки на работы Ардевола имеются как в беседе Берлина с Рамином Яханбеглоо^[341], так и в канонической биографии философа, написанной Игнатьевым^[342]. Нет, это все не чудо, Сара. И даже чтение отрывков из книги, которое растянется на добрый час. Не это, Сара. Чудо – видеть тебя здесь сидящей на том месте, где когда-то часто сидел я, – темноволосую, с хвостиком, падающим на спину, смотрящую на меня с едва сдерживаемой улыбкой и думающую, какой я красивый в новом пиджаке, а, профессор Ардевол?

– Простите, профессор Шотт?

– А каково ваше мнение об этом?

Каково мое мнение. Господи боже ты мой.

– Любовь движет солнцем и звездами.

– Что-что? – Профессор удивленно посмотрел в зал и вновь непонимающе взглянул на Ардевола.

– Видите ли, я влюблен и мгновенно теряю нить рассуждений. Не могли бы вы повторить вопрос?

Присутствующие не знали, смеяться или нет, и озабоченно переглядывались с нерешительной кроличьей полуулыбкой. Наконец Сара издала спасительный смешок, и все рассмеялись вслед за ней.

Профессор Шотт повторил вопрос. Профессор Ардевол обстоятельно на него ответил, в глазах многих присутствующих заблестел интерес. Жизнь чудесна, подумал я. А затем прочитал третью главу, самую спорную, в которой рассказываю, как я осознал историческую природу познания, не прочитав ни одной строчки из Вико. И о моем потрясении, когда я открыл Вико благодаря подсказке профессора Рота, которого, к несчастью, уже нет среди нас. И, читая, я не мог не думать о том, что много лет назад Адриа бежал в Тюбинген, чтобы зализать раны после неожиданного и необъяснимого исчезновения Сары, а теперь она, довольная, сидит перед

ним; о том, что двадцать лет назад он разгуливал по Тюбингену, путался с кем попало, как верно было отмечено во вступительном слове, и заглядывал во все аудитории, высматривая в каждой девушке Сарины черты. А теперь она, повзрослевшая, сидела в аудитории 037 и с иронией смотрела на него, когда он закрывал книгу и говорил: на эту книгу ушли долгие годы работы и я надеюсь, что мне еще много-много-много лет не придется писать ничего столь же трудного. Аминь. И все с вежливым воодушевлением застучали костяшками пальцев по столам. А потом был ужин с профессором Шоттом, деканом Варттен, взволнованным Каменekom и еще двумя дамами-профессорами, несколько молчаливыми и застенчивыми. Одна из них, пониже ростом, тонким голосом сказала, что ее очень тронул портрет Ардевола-человека, нарисованный Каменekom, и Адриа принялся хвалить того за умение тонко чувствовать, а Каменек слушал, опустил глаза, смущенный неожиданными комплиментами. После ужина Адриа повел Сару гулять по парку, где в предсумеречном свете чувствовался резкий запах холодной весны. И она сказала: как здесь красиво. Хотя и холодно.

– Говорят, сегодня пойдет снег.

– Все равно красиво.

– Когда я грустил и думал о тебе, то всегда приходил в этот парк. И перелезал через ограду кладбища.

– А так можно?

– Видишь, я уже тут.

Она, недолго думая, тоже перелезла. Метров через тридцать они оказались перед решетчатыми воротами кладбища. Ворота были открыты, и Сара с трудом сдержала нервный смех, словно ее рассмешило жилище мертвых. Когда они дошли до последней могилы, она с любопытством прочла на ней имя и фамилию.

– Кто они? – спросил командир без погон.

– Немцы из сопротивления.

Командир подошел, чтобы получше разглядеть их. Мужчина средних лет больше походил на служащего, чем на партизана. Женщина казалась мирной домохозяйкой.

– Как вы добрались досюда?

– Долгая история. Нам нужна взрывчатка.

– Откуда, черт побери, вы взяли? И что вы, черт вас возьми, о себе думаете?!

– Гиммлер должен приехать в Ферлах.

– Где это?

– Недалеко от Клагенфурта. По другую сторону границы. Местность нам хорошо знакома.

– И что?

– Мы хотим подготовить ему достойный прием.

– Каким образом?

– Заставим полетать.

– С ним это не пройдет.

– Мы знаем, как это сделать.

– Нет, не знаете.

– Знаем. Потому что мы готовы умереть, чтобы убить его.

– Так вы сказали, кто вы?

– Мы не говорили. Нацисты разгромили нашу группу сопротивления. Казнили тридцать человек. Наш командир покончил с собой в тюрьме. Мы, оставшиеся в живых, хотим, чтобы смерть героев была не напрасна.

– Кто возглавлял ваш отряд?

– Герберт Баум.

– Так вы из группы...

– Да.

Командир без погон с беспокойством взглянул на адъютанта с русыми усами:

– Когда, говоришь, должен приехать Гиммлер?

Они досконально изучили план покушения. Да, осуществить его было возможно, даже очень возможно. Поэтому прибывшим выделили щедрую порцию динамита и Данило Яничек в помощь. Так как людей у партизан было мало, решили, что Яничек должен вернуться в отряд через пять дней, независимо от успеха операции. И он ни за что не должен погибнуть вместе с вами.

– Но это опасно, – возразил Яничек, совсем не в восторге от изложенного плана.

– Да. Зато если это удастся...

– Я плохо себе представляю, каким образом.

– Это приказ, Яничек. Захвати с собой кого-нибудь, кто тебя прикроет.

– Возьму священника. Тут пригодятся надежное плечо и зоркий глаз.

Вот так Драго Градник оказался на горных тропах Йелендоля, нагруженный под завязку, словно коробейник, взрывчаткой, но такой радостный, как будто он и вправду нес деревянные ложки и плошки. Груз был благополучно доставлен на место. Худой, как макаронина, мужчина принял взрывчатку в темном гараже на Вайдишерштрассе и подтвердил, что визит Гиммлера в Ферлах ожидается в ближайшие два дня.

Никто не мог объяснить, как случилась беда. Даже активисты группы Герберта Баума до сих пор не могут этого понять. В ночь перед назначенным днем Данило и священник стали готовить снаряды.

– Просто материал был непроверенный.

– Нет. Он предназначался для военных операций. Значит, не мог быть непроверенным.

– Он отсырел, я уверен. А когда динамит отсыреет...

– Знаю. Но он был таким, как надо.

– Ну тогда оплошали они.

– Не думаю. Но других объяснений нет.

Все произошло в три часа ночи, когда два товарища героев-смертников уже уложили в рюкзаки снаряды, чтобы те, как в вихре вальса, взлетели в воздух вместе с Гиммлером. Усталый Данило раздраженно сказал: не трогай, черт возьми, а обессилевший священник, обиженный тоном товарища, слишком резко опустил на пол только что нагруженный рюкзак. Что-то вспыхнуло, грохнуло, и гараж на десятую долю секунды озарился, прежде чем разлететься на куски вместе с осколками стекла, кирпичами и частями тел Яничека и отца Градника вперемежку с мусором.

Когда оккупационные военные власти попытались восстановить ход событий, то нашли лишь остатки нижних конечностей двух человек. У одного из них ступни походили на ломти каравая. А среди железок, кишок и лужиц крови был обнаружен личный знак исчезнувшего оберштурмфюрера СС Франца Грюббе. Того самого гнусного подонка, из-за которого, по выдвинутой хауптштурмфюрером СС Тимотиеусом Шаафом версии, признанной единственно верной, потерпел постыдное поражение дивизион Ваффен СС, героически погибший при входе в Краньска-Гору. Ведь Грюббе, едва слышав первые выстрелы, побежал навстречу врагам, подняв руки вверх и моля о пощаде. Офицер СС, просящий пощады у горстки партизан-коммунистов! Теперь-то мы понимаем: этот подонки и предатель снова появился, ввязавшись в подготовку гнусного покушения на самого рейхсфюрера, потому что, нет никакого сомнения, готовилось убийство рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

– А кто этот Грюббе?

– Предатель родины, фюрера и священной клятвы, которую он торжественно произнес при вступлении в армию. Хауптштурмфюрер СС Шааф может предоставить вам дополнительные сведения.

– Да будет он предан позору.

В сдержанной и лаконичной телеграмме, полученной Лотаром Грюббе, сообщалось о бесчестье, совершенном его гнусным сыном, который задумал покушение на высшего начальника, рейхсфюрера, но, готовя взрывчатку, сам разлетелся на тысячу гнусных кусков. В телеграмме говорилось также, что было арестовано двенадцать предателей Германии, принадлежавших к уже уничтоженной группе гнусного еврея Герберта Баума. Совершенное против империи преступление покроет позором имя его гнусного сына на тысячу лет.

И Лотар Грюббе заплакал, улыбаясь, а ночью сказал Анне: видишь, любимая, наш сын одумался. Я, знаешь ли, не хотел тебя расстраивать, но нашему Францу совсем забили голову всяким гитлеровским дерьмом. Но все же что-то заставило его понять, что он ошибался. И на нас пало бесчестье нынешнего режима, а это самая большая радость, которую только можно доставить члену семейства Грюббе.

Чтобы воздать должное доблести своего дорогого мальчика Франца, героя семьи, единственного, кто мужественно пошел против зверя рейха, Лотар попросил Гюнтера Рауэ оказать ему ответную любезность; да, после стольких лет. И Гюнтер Рауэ, взвесив все за и против, сказал: ладно, Лотар, друг мой, но с одним условием. Каким? Ради бога, будьте очень осторожны. Я скажу, сколько надо будет дать могильщикам. Тогда Лотар Грюббе сказал: хорошо, мне кажется, это справедливо. И через пять дней, когда заговорили о трудностях на Западном фронте, умалчивая о катастрофе в Белоруссии, где мать сыра земля целиком поглотила несколько армий, на тихом кладбище Тюбингена, на участке семейства Грюббе-Ландау, в присутствии некоего печального мужчины и его племянницы Герты Ландау, из бебенхаузенской ветви Ландау, в полном гробу была погребена слава отважного героя, которому, когда придут лучшие времена, мы воздадим почести и поднесем цветы, белые, как его душа. Я горжусь нашим сыном, дорогая Анна, он уже вместе с тобой. И меня вам ждать недолго, ведь теперь мне здесь больше нечего делать.

Стемнело. Они в задумчивости вышли через решетчатые ворота, которые все еще были открыты. Она взяла его за руку, и они молча пошли в сторону фонаря, освещавшего дорожку парка. Когда они поравнялись с фонарем, Сара произнесла: мне кажется, профессор Шотт верно сказал.

– Он много чего говорил.

– Что твоя *История европейской мысли* действительно очень важная книга.

– Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы так и было, но я не могу этого знать.

- Это так и есть, – настаивала Сара. – А кроме того, я люблю тебя.
- С некоторых пор меня посещают иные мысли.
- Какие именно?
- Да всякие... История зла.

Когда они выходили с кладбища, Адриа сказал: проблема в том, что я не понимаю, что со мной. Я не в состоянии по-настоящему размышлять. На ум приходят какие-то примеры, а не идеи, которые...

- А ты давай пиши, я ведь рядом...

И я стал писать, а Сара была здесь, она рисовала рядом со мной, бок о бок. Нам оставалось мало, очень мало времени быть вместе, работать, жить, примиряться с нашими страхами. Я писал, а ты была рядом. Сара делала иллюстрации и рисовала углем, а Адриа возле нее любовался ее рисунками. Сара стряпала кошерную еду и рассказывала о разнообразии еврейской кухни, а он отвечал неизменными омлетом с картошкой, вареным рисом и запеченной курицей. Время от времени от Макса приходила посылка с изысканным вином. Адриа смеялся без причины. Входил в кабинет, где она уже минут десять как отстраненно смотрела на лошадку на белом листе бумаги, думая о своих делах, о своих тайнах, о своих секретах, о своих слезах, которые мне не позволяется вытирать.

- И я люблю тебя, Сара.

Она оборачивалась, и переводила взгляд с белого листа на мое бледное лицо (бледнее, как говорил отважный Черный Орел), и улыбалась лишь через несколько секунд, потому что ей было непросто оторваться от своих дел, от своих тайн, от своих секретов и своих загадочных слез. Но мы были счастливы. И теперь, выходя с кладбища, ты мне сказала: давай пиши, я ведь рядом.

Когда холодно, пусть и весной, шаги в ночи звучат иначе, словно сам холод издает звук. Так подумал Адриа, покуда они молча шли к гостинице. Шаги двух счастливых людей в ночи.

- Sie wünschen?^[343]
- Адриа Ардевол? Адриа? Это ты?
- Ja^[344]. Да. Бернат?
- Привет! Можешь говорить?

Адриа взглянул на Сару, которая снимала пуховик и собиралась задернуть шторы в номере гостиницы «Am Schloss».

- Как ты? Что стряслось?

Сара уже успела почистить зубы, надеть пижаму и лечь в постель. Адриа повторял: ага, да, ясно, ясно, да. В конце концов он решил ничего не отвечать и только слушать. Промолчав так пять минут, он посмотрел на Сару – та разглядывала потолок, убаюканная тишиной.

– Послушай, дело в том, что... Да, да, ясно.

Прошло еще три минуты. Мне кажется, что ты, любимая, думала о нас с тобой. Я время от времени посматривал на тебя украдкой и видел, как ты прячешь довольную улыбку. Мне кажется, дорогая, что ты гордилась мной, и я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете.

– Что-что?

– Эй, ты меня слушаешь?

– Ну конечно.

– Ну так вот: такие дела. И я...

– Бернат, а не развестись ли тебе? Не получилось – значит, не получилось... – Пауза. Адриа слышал, как дышит его друг на другом конце провода. – Нет?

– Ну, ведь...

– Как двигается роман?

– Не двигается. А как ему, по-твоему, двигаться в этом бардаке? – Молчание на том конце. – К тому же я не умею писать, а ты еще хочешь, чтобы я развелся.

– Я не хочу, чтобы ты развелся. Я ничего не хочу. Я хочу только видеть тебя счастливым.

Еще через три с половиной минуты Бернат наконец сказал: спасибо, что выслушал меня, и решился повесить трубку. Адриа посидел еще несколько секунд перед телефоном. Потом встал и слегка отодвинул тонкую ткань занавески. На улице тихо шел снег. Он почувствовал себя в укрытии рядом с Сарой. Я почувствовал себя в укрытии рядом с тобой, Сара. Тогда было невозможно даже представить, что теперь, когда я пишу тебе, я буду жить открытый всем ветрам.

Я вернулся из Тюбингена, надутый как индюк и распутивший хвост как павлин. Я взирал на остальных настолько свысока, что удивленно спрашивал сам себя, как только люди могут быть такими приземленными. До тех пор, пока не отправился в факультетский бар выпить кофе.

– Эй, привет!

Стала еще красивее. Я и не заметил, как она оказалась рядом со мной.

– О! Как жизнь?

Да, стала еще красивее. Уже несколько месяцев, как раздражение, которое она демонстративно проявляла в моем обществе, поубавилось. Может быть, ей все надоело. А может быть, у нее все было хорошо.

– Прекрасно. А ты? В Германии все прошло отлично, да?

– Да.

– А мне больше нравится «Эстетическая воля». Гораздо больше.

Она сделала глоток. Мне пришлось по вкусу такое принципиальное заявление.

– Мне тоже. Только никому не рассказывай об этом.

Молчание. Теперь я глотнул черного кофе, потом снова она – кофе с молоком.

– Ты очень хороший, – сказала она наконец.

– Прости?

– Я же сказала: ты очень хороший.

– Спасибо. Я...

– Молчи. Не порти ничего. Живи размышляя и время от времени пиши книги. Но людей не трогай. Обходи их стороной, ладно?

Она одним глотком допила кофе с молоком. Мне очень хотелось попросить у нее объяснений, но я понял, что глупо было бы ворошить старое. Тем более что я тебе ничего о ней не говорил – о Лауре. Я ничего не сказал тебе тогда, когда это можно было бы сделать без проблем. А теперь она, вместо того чтобы нападать, меня хвалила. И уже месяц назад из-за ремонта на факультете перебралась за стол, который стоял напротив моего – у меня ведь наконец появился личный стол. Мне нужно было привыкнуть к новым отношениям с Лаурой. Я даже подумал, что тогда мне не придется говорить с тобой об этой женщине.

– Спасибо, Лаура.

Она постучала костяшками пальцев по столу и ушла. Я посидел еще немного, чтобы не встретиться с ней на лестнице. Но потом подумал, что было бы лучше, чтобы Лаура не дулась на меня. Умедес мне как-то сказал, что Лаура Байлина, знаешь, эта рыженькая, такая аппетитная? Так вот, она потрясающе ведет занятия! Умеет увлечь. Как я этому рад, подумал я. А еще я подумал, что все пакости, которые я ей наделал, пошли ей на пользу. Умедесу я ответил, что мне об этом уже говорили. Ведь должен же время от времени появляться какой-нибудь хороший преподаватель, правда?

Адриа Ардевол встал и прошелся по просторному кабинету. Он размышлял о том, что утром сказала Лаура. Остановился перед инкунабулами и задумался, почему он все учится и учится без конца? Из какого-то странного неуголимого желания. Желания понять мир. Понять жизнь. Откуда мне знать. Но он вдруг перестал думать об этом, услышав «дзыыыыынь». Адриа подождал, рассчитывая, что Лола Маленькая откроет дверь, и уселся читать Льюиса^[345]. Он прочитал пару строк из его соображений о реализме в литературе.

– Хау!

– В чем дело?

– Катерина.

Дзыыыыынь!

Адриа оторвал взгляд от книги. Катерина, наверно, уже ушла. Он взглянул на часы. Восьмой час. С досадой отложил том Льюиса.

Он открыл дверь и обнаружил на пороге Берната со спортивной сумкой в руках, который сказал: привет, можно войти? И вошел, прежде чем Адриа успел ответить: ну конечно, конечно проходи.

Через час наконец пришла Сара, из прихожей сказала: две сказки братьев Гримм! – закрыла входную дверь, появилась в кабинете с кипой листов и спросила: ты поставил овощи?

– Ой, привет, Бернат, – добавила она. И уставилась на спортивную сумку.

– Дело в том, что... – произнес Адриа.

Сара все поняла и сказала Бернату: ты остаешься ужинать. Так, как будто это приказ. И Адриа по шесть иллюстраций к каждой сказке. А потом вышла, чтобы положить листы и поставить кастрюлю на огонь. Бернат смущенно взглянул на Адриа.

– Мы тебя поселим в комнате для гостей, – сказала Сара, чтобы нарушить молчание. Все трое сидели под картиной с видом на монастырь Санта-Мария де Жерри, который, несмотря на темноту, освещался солнцем со стороны Треспуя. Оба мужчины удивленно подняли взгляд от тарелок с овощами.

– Ведь ты, я так понимаю, поживешь у нас некоторое время?

Честно говоря, Сара, Бернат меня об этом еще не просил. Я полагал, что он собирается остаться у нас, но, уж не знаю почему, этого ему не предлагал. Быть может, меня раздражало то, что он не может набраться наглости попросить меня.

– Если я не помешаю.

Мне всегда хотелось быть таким же прямым, как ты, Сара. Но я, наоборот, не способен взять быка за рога. Даже если дело касается моего лучшего друга. Теперь, когда самое главное выяснилось, напряжение за ужином спало. Бернат стал объяснять нам, что он-то не хочет разводиться, но мы с каждым днем ссоримся все чаще, и я очень переживаю за Льюренса, который...

– Сколько ему лет?

– Не знаю. Семнадцать или восемнадцать.

– Так он уже большой, – заметил я.

– Большой для чего?

– Ну, если вы вдруг разведетесь.

– А меня заботит то, – сказала Сара, – что ты не знаешь, сколько лет твоему сыну.

– Я же сказал: ему семнадцать или восемнадцать.

– Так семнадцать или восемнадцать?

– Ну...

– А когда у него день рождения?

Непростительное молчание. А ты – когда закусишь удила, тебя ведь не остановить – не унималась:

– Ну-ка, попробуем: в каком году он родился?

Подумав какое-то время, Бернат ответил: в семьдесят седьмом.

– Летом, осенью, зимой, весной?

– Летом.

– Ему семнадцать лет. Voilà!

Ты промолчала, хотя и вполне могла послать к чертовой матери человека, который не знает, когда день рождения у его сына. Вот уж несчастная Текла, живет с таким рассеянным типом, у которого вечно неизвестно что на уме и все вокруг должны ему угождать, – и еще много чего в том же духе ты могла бы сказать. Но ты только покачала головой и удержалась от комментариев. Ужин закончился мирно. Потом Сара быстро ушла, оставив нас одних, что должно было подстегнуть меня к разговору.

– Разводись, – сказал я ему.

– Это я виноват. Я не знаю, сколько лет моему сыну.

– Слушай, давай без глупостей: разводись и постарайся жить счастливо.

– Я не смогу жить счастливо. Меня замучает чувство вины.

– А в чем ты виноват?

– Во всем. Что ты читаешь?

- Льюиса.
- Кого?
- Клайва Стейплза Льюиса. Одного очень умного человека.
- А-а... – Бернат полистал книгу и положил на стол. Посмотрел на Адриа и сказал: я все еще ее люблю.
- А она тебя любит?
- Думаю, да.
- Ну допустим. Но вы причиняете боль друг другу и Льюренсу.
- Нет. Если я... Но это не важно.
- Поэтому ты ушел из дома?

Бернат сел за стол, закрыл лицо руками и разрыдался. Он долго неудержимо рыдал, а я не знал, что делать – то ли подойти к нему и обнять, то ли ущипнуть за спину, то ли рассказать анекдот. Я так ничего и не сделал. Вернее, сделал. Отодвинул книгу К. С. Льюиса, чтобы он не намочил ее. Иногда я себя ненавижу.

Мне открыла Текла. Некоторое время она молча смотрела на меня, затем впустила и закрыла дверь.

- Как он?
 - Сбит с толку. Расстроен. А ты?
 - Сбита с толку. Расстроена. Ты пришел вести переговоры?
- Честно говоря, Адриа никогда не знал, о чем говорить с Теклой. Она была совсем другая, вечно с беспокойным взглядом. И очень красивая. Иногда даже казалось, что Текла жалеет, что она такая красивая. Сейчас волосы у нее были наскоро собраны в хвост, и я бы с удовольствием поцеловал ее в губы. Она скромно встала, скрестив руки на груди, и посмотрела мне в глаза, словно приглашая сразу заговорить: ну давай, скажи же, что Бернат ужасно расстроен и на коленях умоляет разрешить ему вернуться домой, он понимает, что невыносим, и изо всех сил будет стараться сделать невозможное... да, да, я знаю, что он ушел хлопнув дверью, что это он ушел, а не ты, что... Но он просит, умоляет на коленях разрешить вернуться, потому что он жить не может без тебя и...

- Я пришел за скрипкой.

Текла застыла на несколько мгновений, а очнувшись, ушла по коридору, слегка обиженная, как мне показалось. Пока она ходила, я успел крикнуть: и за партитурами... Они в голубой папке, толстой такой...

Она вернулась со скрипкой и толстой папкой и положила их на стол, быть может, слишком резко. Она была обижена гораздо сильнее, чем мне

показалось сначала. Я понял, что высказывать какие-либо соображения тут неуместно, и без слов взял скрипку с толстой папкой.

– Мне очень жаль, что все так случилось, – произнес я на прощание.

– Мне тоже, – заметила она, закрывая дверь. Дверь хлопнула, тоже слишком резко. В этот момент Льюренс поднимался, шагая через ступеньку, со спортивной сумкой через плечо. Я успел сесть в лифт прежде, чем парень заметил, кто так стыдливо прячется на лестнице. Я знаю, что я трус.

На следующий день вечером Бернат репетировал, и в этих стенах вновь раздались сочные звуки скрипки. Адриа в своем кабинете устремил взгляд вверх, чтобы лучше было слушать. Бернат у себя в комнате заполнял пространство сонатами Энеску. А ближе к ночи попросил разрешения поиграть на Сториони, и она рыдала у него в руках двадцать или тридцать упоительных минут. Он исполнил несколько сонат дядюшки Леклера, но на сей раз один. Были минуты, когда я думал, что должен подарить ему Виал. Что ему-то он по-настоящему пригодится. Но вовремя одумался.

Не знаю, принесла ли ему облегчение музыка, но, так или иначе, после ужина мы втроем долго болтали. Неожиданно Сара заговорила о своем дяде Хаиме, а с него мы перешли на банальность зла, поскольку я не так давно проглотил книгу Арендт^[346] и теперь у меня в голове крутились разные мысли, не находя выхода.

– Почему тебя это так волнует? – спросил Бернат.

– Потому что если зло может быть безнаказанным – мы пропали.

– Я тебя не понимаю.

– Если я могу просто так совершить зло и от этого ничего не случится, у человечества нет будущего.

– Просто так – в смысле преступление без мотива?

– Преступление без мотива – это самая бесчеловечная вещь, которую только можно себе представить. Я вижу человека на автобусной остановке и убиваю его. Ужасно.

– А ненависть оправдывает преступление?

– Нет, но она объясняет его. А немотивированное преступление, помимо того, что ужасно, еще и необъяснимо.

– А преступление во имя Бога? – вмешалась Сара.

– Это преступление немотивированно, но обеспечивает иллюзию алиби.

– А преступление во имя свободы? Или прогресса? Или во имя будущего?

– Убивать во имя Бога – то же самое, что убивать во имя будущего. Когда оправдание идет от идеологии, сопереживание и сострадание исчезают. Тогда убивают бесстрастно и совесть остается в стороне. Как при немотивированном убийстве, совершенном психопатом.

Они помолчали. И не смотрели в глаза друг другу, словно подавленные этим разговором.

– Есть вещи, которые я не могу объяснить, – мрачно произнес Адриа. – Жестокость. Оправдание жестокости. Их я не могу объяснить иначе, как рассказывая о них.

– А почему бы тебе не попробовать? – спросила ты, глядя на меня так, что твой взгляд и по сию пору сверлит меня.

– Я не умею писать. Это вот Бернат у нас...

– Ты издеваешься? Куда мне!

Разговор иссяк, и мы пошли спать. Помню, любимая, что именно в тот день я решился. Прележав час без сна, я встал и тихо прошел в кабинет. Взял чистые листы и перо и собрался записать старинное наставление, полагая, что так постепенно приближусь к нашему времени. И я написал: камни не должны быть слишком малы, ибо тогда они не нанесут вреда. Но они не должны быть и слишком велики, ибо тогда они сократят страдания провинившегося. Ведь мы говорим о наказании провинившихся – об этом никак нельзя забывать. Все эти добрые люди, которые поднимают вверх палец, вождедея участвовать в побивании камнями, должны знать, что вину следует искупать страданием. Это так. И всегда было так. А посему, нанося раны прелюбодейке, лишая ее глаза, оставаясь равнодушными к ее слезам, эти люди угодны Всевышнему, единому Богу, Сострадательному и Милостивому.

Али Бахр явился сюда не так, как все остальные: он был истцом, а значит, имел особое право бросить камень первым. У него на виду эта гнусная Амани, посаженная в яму, из которой высывалось лишь ее бесстыжее и – теперь-то – заплаканное лицо, уже давно без конца повторяла: не убивайте меня, Али Бахр сказал вам неправду. И Али Бахр в нетерпении, раздраженный словами виновной, по знаку судьи подошел поближе и запустил в нее камнем, чтобы увидеть, замолчит ли наконец это сучье отродье, да будет хвала Всевышнему. А камень, который должен был заткнуть рот этой шлюхе, двигался медленно, совсем как сам Али Бахр, когда вошел в дом к Амани якобы для того, чтобы продать ей корзину фиников, а Амани при виде мужчины закрыла лицо кухонной тряпичей, которую держала в руках, и спросила: кто вы и что вам тут нужно?

– Я пришел продать эти финики Азиззаде Альфалати, торговцу.

– Его нет, он вернется только вечером.

Именно в этом Али Бахр и хотел убедиться. К тому же он увидел ее лицо: гораздо, гораздо красивее, чем ему рассказывали на постоялом дворе в Муррабаше. Презренные женщины, как правило, бывают гораздо красивее остальных. Али Бахр поставил корзину с финиками на пол.

– Но они нам не нужны, – сказала она растерянно. – И я не распоряжаюсь в доме...

Он сделал пару шагов в ее сторону и простер руки, нахмутив брови и говоря: я хочу раскрыть твою тайну, малышка Амани. И, сверкая глазами, сухо добавил:

– Я пришел во имя Всевышнего покарать богохульство.

– Что вы хотите сказать? – перепугалась прекрасная Амани.

Он подошел еще ближе к девушке:

– Я должен разоблачить твою тайну.

– Мою тайну?

– Твое богохульство.

– Я не понимаю, о чем вы говорите. Мой отец... он... он... разберется с вами.

Али Бахр не мог скрыть огонь в глазах. Он грубо приказал:

– Раздевайся, презренная тварь.

Вместо того чтобы повиноваться, злобная Амани бросилась внутрь дома, и Али Бахр вынужден был погнаться за ней и схватить за шею. А когда она принялась звать на помощь, ему пришлось зажать ей рот одной рукой, в то время как другой он рвал на ней одежду, чтобы выставить грех на свет божий.

– Вот оно, богохульство!

Он сорвал с ее груди медальон. На шее остался кровавый след.

Мужчина разглядывал медальон на ладони. Какая-то фигура: женщина с ребенком на руках, а в глубине неизвестное раскидистое дерево. На оборотной стороне христианские письма. Так, значит, сплетни женщин о прекрасной Амани были правдой: она поклонялась ложным богам или, по крайней мере, нарушала закон, запрещающий при любых обстоятельствах изготавливать, вырезать, рисовать, писать, покупать, носить, иметь, прятать изображение человека, хвала Всевышнему.

Он спрятал медальон в складках одежды, так как знал, что сможет выгодно продать его торговцам, которые следуют в Красное море и в Египет, со спокойной душой, потому что он-то не изготавливал, не вырезал, не писал, не покупал, не носил, не имел и не прятал никаких предметов с изображением человека.

Размышляя об этом и пряча медальон, он вдруг заметил, что у красавицы Амани под разорванным платьем виднеется похотливое тело, греховное, как сам грех. Недаром поговаривали некоторые, что у нее под легким платьем должно быть необыкновенное тело. На улице слышались крики муэдзина, созывавшего всех на зухр^[347].

– Не кричи, а не то я убью тебя. Не вынуждай меня это делать, – предупредил он.

Он толчком заставил ее согнуться, прижал к полке, на которой хранились сосуды с зерном. Наконец-то она стояла голая, роскошная, рыдающая. И эта грязная свинья дала Али Бахру войти в себя, и это было такое блаженство, которого я не найду даже в раю, вот только эта женщина без конца всхлипывала, а я слишком забылся и закрыл глаза, унесенный волнами бесконечного блаженства, хвала В... о, наконец-то!

– И тут я почувствовал этот ужасный укол и, открыв глаза и очнувшись, почтенный кади^[348], увидел перед собой глаза этой безумной и ее руку, все еще сжимавшую шампур, которым она пронзила меня. И от боли я не смог завершить молитву зухр.

– А как вы думаете, по какой причине она решилась напасть на вас именно тогда, когда вы погрузились в молитву?

– Думаю, она хотела украсть у меня корзину с финиками.

– Как, вы говорите, зовут эту женщину?

– Амани.

– Приведите ее, – сказал судья двум близнецам.

На колокольне церкви Консепсьо пробило полночь, затем час. Машин на улице давно уже почти не было слышно, Адриа не хотел вставать ни в туалет, ни для того, чтобы заварить ромашку. Ему не терпелось узнать, что скажет кади.

– Во-первых, тебе надлежит знать, – сказал кади, – что вопросы здесь задаю я. Во-вторых, тебе надлежит помнить, что если ты солжешь, то заплатишь за это жизнью. Говори!

– Почтенный кади, к нам в дом вошел незнакомый мужчина.

– С корзиной фиников?

– Да.

– Он хотел тебе их продать?

– Да.

– А почему ты не захотела купить их?

– Мне не разрешает отец.

– Кто твой отец?

– Азиззаде Альфалати, торговец. К тому же у меня нет денег.
– Где твой отец?
– Его заставили выгнать меня из дома и не оплакивать меня.
– Почему?
– Потому что я обещана.
– И ты так спокойно сообщаем об этом?
– Почтенный кади, вы сказали мне не лгать, иначе я расстанусь с жизнью.

– Почему ты обещана?
– Меня изнасиловали.
– Кто?
– Мужчина, который хотел продать мне финики. Его зовут Али Бахр.
– Почему он это сделал?
– Спросите об этом его. Я не знаю.
– Кто ты такая, чтобы указывать мне, что я должен делать!
– Простите, почтенный кади, – произнесла она, опуская голову еще ниже. – Но я не могу знать, почему он это сделал.

– Ты его завлекала?
– Нет. Никогда! Я скромная женщина.
Повисла тишина. Кади внимательно смотрел на девушку. Наконец она подняла голову и сказала: я знаю. Он хотел украсть у меня украшение, которое я носила.

– Какое?
– Медальон.
– Покажи мне его.
– Не могу. Он украл его. А потом изнасиловал меня.

Добрейший кади, когда Али Бахр предстал перед ним вновь, терпеливо дожидаясь, пока уведут женщину. Едва близнецы закрыли за ней дверь, он тихо спросил: что за медальон ты украл, Али Бахр?

– Медальон? Я?
– Ты не крал никакого медальона у Амани?
– Лгунья! – И он поднял руки. – Обыщите меня, кади!
– Так, значит, это ложь?
– Бессовестная ложь! Нет у нее никаких украшений, только шампур, чтобы всаживать его в тело тому, кто в ее доме прерывает разговор, дабы совершить молитву зухр или ахр, я уж не помню точно, когда это случилось.

– Где шампур?

Али Бахр вытащил из-под одежды шампур, который он носил с собой, и подал его на вытянутых руках, словно подносил дар Всевышнему.

– Вот с ним она на меня напала, добрейший кади.

Кади взял в руки шампур, из тех, на которые насаживают куски ягнятины, рассмотрел его и кивком приказал Али Бахру выйти. Он сидел задумавшись, ожидая, когда близнецы снова приведут к нему преступницу Амани. Он показал ей шампур:

– Твой?

– Да! Откуда он у вас?

– Ты признаешь, что шампур твой?

– Да. Мне же надо было защищаться от мужчины, который...

Кади обратился к близнецам, подпиравшим стену в глубине комнаты.

– Уведите эту падаль, – сказал он, не повышая голоса, утомленный обилием зла в мире.

Торговец Азизаде Альфалати не должен был пролить ни одной слезы, ибо плакать из-за побиваемой камнями женщины – грех, оскорбляющий Всевышнего. Не мог он также выказать ни малейшего признака скорби, хвала Милосердному Богу. Не дали ему и проститься с дочерью, ибо, будучи человеком добропорядочным, он отказался от нее, узнав, что она позволила себя изнасиловать. Азизаде закрылся у себя в доме, и никто так и не узнал, плакал ли он или беседовал с женой, умершей много лет назад.

И вот наконец первый камень, ни слишком маленький, ни чересчур большой, сопровождаемый криком ярости из-за боли в животе, которую Али Бахр чувствовал после преступного удара, попал в левую щеку этой шлюхи Амани. А она все голосила: Али Бахр меня изнасиловал и обокрал. Отец! Дорогой отец! Лут! Не бей меня, ведь мы с тобой... На помощь! Есть здесь хоть кто-нибудь милосердный? Но камень, пущенный ее другом Лутом, угодил в висок и наполовину оглушил ее, ведь она сидела в яме и не могла защищаться руками от ударов. А Лут был так же доволен своей меткостью, как Драго Градник. Камни полетели один за другим, ни слишком большие, ни чересчур маленькие, теперь их бросали двенадцать добровольцев, и лицо Амани стало красным, как губы некоторых шлюх, которые красят их, чтобы привлечь внимание мужчин и затуманить им голову. Али Бахр больше не кидал камни, потому что Амани замолчала и посмотрела ему в глаза. Она пронзила, проколола, пробуравила его взглядом, как Гертруда, точно как Гертруда, и боль в животе стала еще сильнее. Теперь прекрасная Амани уже не могла плакать, так как один из камней выбил ей глаз. А здоровый и острый булыжник попал ей в рот, и девушка давилась собственными выбитыми

зубами, но больнее всего было то, что все двенадцать праведных мужчин не переставая запускали в нее камни, и если кто-то промахивался, хоть и немного, то бормотал ругательства и старался следующим камнем попасть точно. А имена тех двенадцати праведных мужчин были: Ибрагим, Бакир, Лут, Марван, Тахар, Укба, Идрис, Зухаир, Хунайн, еще один Тахар, еще один Бакир и Махир, хвала Богу Всевышнему, Сострадательному и Милосердному. Азизаде у себя в доме слышал выкрики двенадцати добровольцев и знал, что трое юношей были из их деревни и в детстве играли с его дочкой, покуда у нее не пришли месячные и ему не пришлось ее прятать от всех, хвала Милосердному. Когда же он услышал всеобщий рев, то понял, что его Аmani после ужасных мучений умерла. Тогда он ногой толкнул табурет, и его тело рухнуло, подвязанное за шею веревкой для фуража. Оно дернулось в конвульсиях, и, прежде чем стихли крики, Азизаде уже был мертв и искал свою дочь, чтобы проводить ее к далекой отсюда жене. Из безжизненного тела несчастного Азизаде моча пролилась на корзину с финиками, так и стоявшую при входе в лавку. А на расстоянии нескольких улиц отсюда лежала Аmani с переломанной слишком тяжелым камнем шеей – я ведь говорил вам, что не надо кидать такие большие! Вот видите! Она уже умерла. Кто его бросил? И все двенадцать добровольцев указали на Али Бахра, который больше не мог выдержать слепого взгляда этой шлюхи, смотревшей на него единственным глазом так, словно она мстила ему: Аmani наградила его взглядом, от которого ему не удалось избавиться ни во сне, ни наяву. И еще я написал, что прямо на следующий день Али Бахр пришел к каравану купцов, направлявшихся в Александрию Египетскую, чтобы торговать с христианскими моряками, – ведь теперь город попал в руки англичан. Али Бахр выбрал того, кто показался ему самым решительным, и раскрыл перед ним ладонь, следя, чтобы за ними не подглядел никто из деревни. Купец проникательно взглянул на медальон, взял его в руки, чтобы рассмотреть получше. Али Бахр жестом призвал торговца быть осторожным, тот понял, и они зашли за лежащего верблюда. Вопреки законам и священным поучениям Корана купля-продажа интересовала Али Бахра. Купец тщательно осмотрел медальон и провел по нему пальцами, словно хотел почистить.

– Золотой, – сказал Али Бахр. – И цепочка тоже.

– Знаю. Но он краденый.

– Да ты что! Хочешь меня обидеть?

– Понимай как знаешь.

И купец протянул медальон прекрасной Аmani обратно Али Бахру, но тот не захотел его взять, он качал головой и убирал назад руки, потому

что от этого медальона у него жгло все нутро. Ему пришлось согласиться на мизерную цену, предложенную купцом. Когда Али Бахр ушел, купец по-прежнему рассматривал медальон. Христианские письма. В Александрии оторвут с руками.

Он с удовольствием провел по нему пальцами, как будто стремясь очистить от налипшей грязи. Затем, поразмыслив минуту, отодвинул масляный светильник, который прежде взял, чтобы лучше разглядеть медальон, и сказал, глядя на молодого Брочу:

– Мне этот медальон знаком.

– Это... это Богоматерь Моэнская, кажется.

– Пресвятая Дева Пардакская. – Он перевернул медальон, чтобы юноша смог увидеть другую сторону. – Из Пардака, видишь?

– Неужели?

– А ты читать не умеешь. Ты ведь из рода Муредов?

– Да, сеньор, – солгал молодой Броча. – Мне нужны деньги, чтобы отправиться в Венецию.

– У вас у всех Муредов шило в одном месте, – заметил ювелир, не переставая изучать медальон. – Хочешь стать моряком?

– Да. И уплыть подальше. В Африку.

– А. Так тебя ищут, да?

Ювелир отложил медальон и посмотрел ему прямо в глаза.

– Что же ты натворил? – спросил он.

– Ничего. Сколько вы мне за него дадите?

– А ты знаешь, что море тем опаснее, чем дальше ты от него рос?

– Сколько вы мне дадите за медальон?

– Оставь его себе на черный день, сынок.

Броча машинально окинул взором мастерскую любопытного ювелира. Они были одни.

– Мне нужны деньги сейчас же, понимаете?

– А что стало с Иакимом Муредой? – поинтересовался старый ювелир из Планы.

– Он в кругу родных, вместе с Агно, Йенном, Максом, Гермесом Йозефом, Теодором, Микура, Ильзой, Эрикой, Катариной, Матильдой, Гретхен и слепой Беттиной.

– Я рад. Честное слово, рад.

– И я тоже. Они все вместе лежат под землей, и их едят черви, а когда пожрут их плоть, будут глотать их души. – Он взял цепочку из рук старика. – Так вы купите у меня наконец медальон, ссучий потрох, или мне достать нож?

В эту секунду колокола на церкви Консепсьо прозвонили три часа ночи, и Адриа подумал: завтра я ни на что не буду годен.

Неприятности начались, как с песчинки, с безобидного, ничего не значащего происшествия. Собственно говоря, с вопроса, который Адриа задал на следующий день после побивания камнями, за ужином. Он спросил: ну, ты подумал?

– Насчет чего?

– Ну... в общем, ты возвращаешься домой? Или мне подыскивать себе квартиру? Я готов...

– Эй, не сердись. Я просто хотел выяснить...

– А что за спешка? – прервала меня ты сухо и презрительно, поскольку была целиком на стороне Берната.

– Да ладно-ладно, я ничего такого не имел в виду.

– Не переживайте. Завтра я съеду.

Бернат посмотрел на Сару и сказал: я вам очень благодарен за то, что приютили меня на несколько дней.

– Бернат, я не хотел...

– Завтра после репетиции я зайду за вещами. – Он остановил мою руку, которую я поднес к груди, извиняясь без слов. – Ты совершенно прав. Пора мне почесаться. Он улыбнулся. А то я застрял тут у вас.

– А что ты будешь делать? Вернешься домой?

– Не знаю. Решу сегодня ночью.

Бернат отправился размышлять, что ему делать, а Адриа чувствовал, что молчание Сары, пока она чистила зубы и надевала пижаму, стало еще более угрожающим. Мне кажется, я только один раз до того видел тебя такой же раздраженной. Поэтому я спрятался в Горация. Лежа в кровати, я читал: *Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni / trahuntque siccas machinae carinas...* [\[349\]](#)

– Здорово проявил себя, да? – сказала Сара с обидой, входя в спальню.

...ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni. Адриа оторвал взгляд от стихов и спросил: что?

– Здорово проявил себя по отношению к другу.

– А что такого?

– Но если он тако-о-ой друг...

– Раз он тако-о-ой друг, я всегда говорю ему правду.

– Как и он, когда говорит тебе, как восхищается твоим талантом и как гордится тем, что лучшие университеты Европы тебя приглашают,

и тем, что твое имя становится все более известным...

– Я был бы рад сказать то же самое о Бернате. О его музыке я сказать это могу, только он меня не слушает.

И он вновь принялся за Горация и прочитал: *ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni / nec prata canis albicant pruinis.*

– Замечательно. Превосходно. Merveilleux^[350].

– Что-что? – Адриа снова поднял голову, продолжая размышлять о *nec prata canis albicant pruinis*. Сара смотрела на него с негодованием. Она собиралась что-то сказать, но решила, что лучше выйти. Она в ярости закрыла дверь, но не хлопнула ею. Ты была сдержанной, даже когда сердилась. Кроме того раза. Адриа смотрел на закрытую дверь, не вполне осознавая, что происходит. Потому что в голове у него шумели наконец-то прорвавшимся ливнем строки *dum gravis Cyclopum / Volcanus ardens visit officinas.*

– Что-что? – спросила Сара, бесшумно открывая дверь.

– Ничего, извини. Я думал вслух.

Она снова аккуратно закрыла дверь. Наверно, все это время простояла за ней, прислушиваясь. Ей не нравилось разгуливать по дому в ночной рубашке, когда у нас ночевал кто-то еще. Я и не подозревал, что в тебе боролись желание быть верной данному слову и решимость броситься на меня в атаку. Сара решила быть верной слову, вернулась в спальню, легла в кровать и пожелала мне доброй ночи.

Для кого ты завязываешь узлом свои рыжие волосы с таким простым изяществом?^[351] – задал себе Адриа абсурдный вопрос, глядя в растерянности на Сару, отвернувшуюся от него, рассерженную неизвестно чем, с распущенными по плечам черными волосами. С простым изяществом. Я не знал, что думать, и решил закрыть книгу од и погасить свет. И долго лежал с открытыми глазами.

На следующее утро, когда Сара и Адриа встали как обычно, от пребывания Берната в их доме не осталось и следа – ни скрипки с партитурами, ни одежды. Только записка на столе в кухне, в которой говорилось: я вам очень благодарен, дорогие друзья. По-настоящему благодарен. В его комнате постельное белье было сложено на кровати. А от Берната ничего не осталось, и я почувствовал себя плохо.

– Хау!

– Ну что?

– Здорово ты сел в лужу, дорогой приятель.

– Я тебя не спрашиваю.

– Но ты все равно здорово сел в лужу. Правда, Карсон?

Вместо ответа Адриа услышал отвратительный звук плевка храброго шерифа.

Станным образом Сара, узнав об исчезновении Берната, не стала меня упрекать. Жизнь продолжала идти своим чередом. А что к чему – я понял лишь многие годы спустя.

Адриа весь вечер смотрел на стену в кабинете, не в силах ни написать хоть строчку, ни сосредоточиться и что-нибудь почитать. Он пялился на стену, как будто пытался найти там причину своего ступора. В середине вечера, так и не проведя с пользой даже десяти минут, он надумал наконец приготовить чай. Из кухни он спросил: хочешь чаю? – и услышал, как из кабинета Сары донеслось: ммм, что истолковал как да, спасибо, отличная идея. Войдя в кабинет с чашкой дымящегося чая в руках, он увидел Сарин затылок. Она собрала волосы в хвост, как всегда, когда рисовала. Я влюблен в твою косу, в твой хвост, в твои волосы, какую бы прическу ты ни сделала. Сара рисовала на прямоугольном листе какие-то дома, возможно полузаброшенную деревню. Сейчас она набрасывала деревенский дом на заднем плане. Адриа отхлебнул чая и замер в изумлении, наблюдая, как потихоньку вырастает этот дом. Да, он был заброшенный. С кипарисом, почти ровно посередине расколотым молнией. Неожиданно Сара снова занялась домами улицы на первом плане, в левой части листа, и изобразила каменную арку окна, которого раньше не было. Она сделала это так стремительно, что Адриа удивился – как же это произошло? Как это Сара увидела окно там, где был белый лист? Но теперь, когда окно было нарисовано, ему казалось, что оно находилось там всегда; ему даже померещилось, что в магазине Террикабрес ему продали бумагу с уже нарисованным окном; и еще он подумал, что это умение Сары – просто чудо. Не обращая внимания на Адриа, Сара вернулась к деревенскому дому и заштриховала открытую входную дверь, и теперь дом, который до сих пор был рисунком, начал оживать, как если бы темные угольные штрихи позволили ему вообразить жизнь, которая происходила внутри его. Адриа в восхищении снова отхлебнул чай из Сариной кружки.

– Откуда ты все это берешь?

– Отсюда. – Она прижала испачканный углем палец ко лбу, отчего на нем осталось пятно.

Теперь она принялась состаривать дорогу, изображая на ней колеи от колес телег, которые десятилетиями ездили от этого дома в деревню и обратно, и я позавидовал творческой силе Сары. Я допил принесенный ей чай и снова впал в состояние замешательства, весь вечер не дававшее мне работать. Придя домой от гинеколога, Сара бросила раскрытую сумку в прихожей и побежала в туалет, а Адриа стал копаться в ее сумке, чтобы взять денег и не ходить в банк, и наткнулся на заключение доктора Андреу для лечащего врача. Я не удержался и прочел это заключение, *mea culpa*, да, прочел, потому что она мне его не показала, а там сообщалось, что матка пациентки сеньоры Сары Волтес-Эпштейн (беременности – 1, аборты – нет), несмотря на эпизодические метроррагии, совершенно здорова. Поэтому она решила убрать ВМС^[352], которая является наиболее вероятной причиной метроррагий. Я тайком заглянул в словарь, как делал в детстве, когда хотел выяснить, что такое лупанарий или гей, и припомнил, что «metro» – это префиксальная форма от греческого слова *metra*, что означает «матка», а «ragia» – суффиксальная форма от греческого *rhegnymi*, «выливаться». Метроррагия... отличное было бы имя для какой-нибудь родственницы Черного Орла. Но нет: так назывались кровотечения, которые тревожили Сару. А я и не помнил, что она должна была пойти к врачу по поводу этих кровотечений. Почему она мне ничего не рассказала? И тогда Адриа еще раз прочитал то место, где говорилось про «беременности – 1, аборты – нет», и понял, почему Сара так часто молчала. О господи!

А теперь Адриа стоял рядом с ней, разинув рот как идиот, прихлебывая приготовленный для нее чай и восхищаясь ее способностью создавать глубинные миры с помощью лишь двух измерений и упрямым желанием хранить тайны.

Инжирное дерево. Похоже на инжирное дерево. С одной стороны около дома теперь росло инжирное дерево, а рядом к стене было прислонено колесо от телеги. И Сара сказала ему: ты целый день будешь изучать мой затылок?

- Мне нравится смотреть, как ты рисуешь.
- Я стесняюсь и из-за тебя делаю все медленней.
- Что тебе сказала врач? Ты ведь сегодня должна была к ней пойти?
- Ничего, все хорошо. У меня все хорошо.
- А кровотечения?
- Это из-за спирали. Она мне ее вынула на всякий случай.

– Значит, можно не волноваться?

– Да.

– Надо подумать, как теперь быть.

Почему врач написала, что у тебя была одна непрерывная беременность? А, Сара? Сара?

Сара обернулась и посмотрела на него. Лоб у нее был испачкан углем. Неужели я думал вслух? – подумал про себя Адриа. Сара посмотрела на пустую чашку, наморщила нос и сказала: ты выпил мой чай!

– Черт, прости! – ответил Адриа. И она засмеялась своим смехом, который мне всегда казался песенкой ручейка. Я показал рукой на лист. – Где это происходит? Что это?

– Пытаюсь изобразить то, что ты рассказывал про Тону во времена твоего детства.

– Просто чудо... Но это, кажется, заброшенная деревня?

– Потому что в один прекрасный день ты вырос и забросил ее. Видишь? Вот тут ты споткнулся и ободрал коленки.

– Я люблю тебя.

– А я тебя еще больше.

Почему ты не сказала мне ничего об этой беременности, если важнее ребенка нет ничего на свете? Он жив? Или умер? Как его звали? Он все-таки родился? Это был мальчик или девочка? Каким он был? Я знаю, что у тебя есть полное право не рассказывать мне все про свою жизнь, но нельзя же, чтобы ты всю боль носила в себе, я рад был бы разделить ее с тобой.

Дзыыыыынь!

– Иду-иду. – И, кивнув в сторону рисунка: – Когда ты его закончишь, я поразглядываю его с полчасика.

Он открыл дверь курьеру, так и держа пустую чашку в руках.

За ужином они открыли бутылку, которая показалась им самой дорогой из присланной Максом коллекции. Шесть бутылок, все – разных марок красного вина, все – высшего качества, все – обозначенные в изданной Максом книжке с его собственными советами по дегустации. Книга – роскошная, с качественными фотографиями – была изданием типа «Дегустировать легко», рассчитанным на вкусовые рецепторы торопливых североамериканских гурманов.

– Его нужно пробовать из бокала.

– Из пурро забавнее.

– Сара, если твой брат заподозрит, что ты пьешь его вина из пурро...

– Ладно. Но только пока будем дегустировать. – Она взяла бокал. – Что там пишет про него Макс?

Адриа с серьезным видом налил вино в два бокала, поднял один из них и приготовился торжественно зачитать текст. Он почему-то вспомнил про школу, про те дни, когда были пустые уроки и он присутствовал на мессе и видел, как священник на алтаре с дискосами, потирами и чашами совершает таинства, сопровождая их бормотанием на латыни. И Адриа принялся читать нараспев и сказал: *domina mea*^[353], это хорошо выдержанное вино из Приората^[354] имеет сложный бархатистый вкус. В его густом аромате присутствуют нотки гвоздики и мореного дуба, что естественно, если учесть, в каких качественных бочках оно хранилось.

Он сделал Саре знак, и оба отпили из бокала так, как им показывал Макс в тот день, когда учил их дегустировать вина и когда они в конце концов едва не танцевали конгу^[355] на столе в столовой.

– Ты улавливаешь аромат мореного дуба?

– Нет, я улавливаю шум машин с улицы Валенсия.

– Абстрагируйся от всего, – приказал Адриа, причмокнув языком. – А я... мне кажется, я улавливаю нотки кокоса.

– Кокоса?

Почему ты не рассказываешь мне о своих тайнах, Сара? Какой привкус у твоей жизни от событий, о которых я не имею понятия? Трюфеля или ягод? Или привкус ребенка, с которым я не знаком? Но ведь иметь ребенка – естественно, этого все хотят. Что ты имеешь против жизни?

Словно прочитав его мысли, Сара сказала: смотри, смотри, что тут пишет Макс: вкус вина из Приората – мужественный, сложный, интенсивный, мощный и ярко выраженный.

– Боже ты мой!

– Как будто пишет о жеребце!

– Тебе нравится или нет?

– Нравится. Но для меня крепковато. Мне надо бы разбавить.

– Несчастливая. Макс тебя убил бы.

– Не надо ему говорить.

– Я могу наябедничать.

– *Mouchard, salaud*^[356].

– Шучу.

Мы выпили, почитали стихи в прозе, которые Макс адресовал американским покупателям вин из Приората, с берегов Сегре, со склонов Мунсеня и не помню откуда еще. Мы были уже прилично навеселе –

вместо того чтобы возмутиться оглушительным ревом мотора промчавшегося мотоцикла, мы покатались со смеху. Ты в конце концов стала пить из своего пурро разбавленное вино, да простит тебя Макс, никогда ему об этом не скажу. А я так и не решился спросить тебя про ребенка и беременность. Может, ты все-таки сделала аборт? От кого он был? И тут зазвонил проклятый телефон, который всегда звонит именно тогда, когда мне этого совсем не надо. Мне не хватало духу отказаться от него, но если вообразить мою жизнь без телефона, она наверно оказалась бы более сносной. Господи, сумасшедший дом! Да иду же, иду. Слушаю.

– Адриа?

– Макс?

– Да.

– Надо же! А мы тут как раз твое вино распиваем! Клянусь, Сара не пьет из пурро, слышишь? Мы начали с Приората, мужественного, интенсивного, мощного и черт его знает какого там еще... Слушай, Макс, спасибо огромное!

– Адриа...

– Такое вкусное!

– Папа умер.

– И книга – чудесная! И текст, и фотографии!

Адриа сглотнул слюну, до конца не осознавая смысла сказанного, и сказал: что-что? А ты, Сара, ты, всегда бывшая настороже, спросила: что случилось?

– Адриа, папа умер, слышишь?

– Какой ужас!

Сара встала и подошла к телефону. Я сказал: твой отец, Сара. И в трубку: Макс, мы сейчас приедем.

Известия о кончине твоих родителей приходили к нам по телефону, и оба раза совершенно неожиданно, притом что сеньор Волтес вот уже несколько лет как чувствовал себя плохо и сердце у него барахлило, и мы знали, что в таком возрасте несчастье может случиться в любой момент. Макс чрезвычайно тяжело переживал смерть отца, особенно потому, что, хотя и очень заботился о нем и жил все время с родителями, не заметил, что отец угасает. Когда тот умер, Макса не было дома, а потом он пришел, и сиделка сказала: сеньор Волтес, ваш отец... Он чувствовал себя виноватым, толком не зная, в чем именно. Я отвел его в сторону и сказал: Макс, ты был идеальным сыном, ты всегда был рядом с родителями,

не терзай себя, не будь несправедлив к самому себе... Сколько лет ему было? Восемьдесят?

– Восемьдесят шесть.

Я не стал его утешать, ссылаться на возраст. Только повторил пару раз: восемьдесят шесть, не зная, что еще сказать. Я ходил по огромной зале в доме Волтес-Эпштейнов вместе с Максом, который, хотя и был на полторы пяди выше меня, казался безутешным ребенком. Да, да, я оказался способен поучать. Как же легко давать советы другим!

На сей раз я смог пойти вместе со всем семейством в синагогу и на кладбище. Макс мне объяснил, что отец выразил желание быть похороненным по еврейскому обряду, поэтому его тело облачили в белый саван, а поверх него в талит, надорвать который старейшины Хевра Кадиша попросили Макса как первородного сына. И сеньора Волтеса похоронили на еврейском кладбище на улице Кортс, рядом с его Рашелью, которую мне не было дано полюбить как мать. Сара, как жаль, что все случилось именно так, думал я, покуда раввин читал «Эльмалех рахамин»^[357]. А когда наступила тишина, Сара и Макс вышли вперед, взяли за руки и прочитали поминальный кадиш по Пау Волтесу, а я тайком заплакал по самому себе.

Сара в эти дни глубоко переживала смерть отца, и вопросы, которые я хотел тебе задать, отошли на второй план, а то, что вскоре произошло с нами, перечеркнуло все остальное.

Окрестности Хедингтон-хаус дышали спокойствием и безмятежностью, как Адриа и представлял себе. Прежде чем нажать на кнопку звонка, Сара посмотрела на Адриа, улыбнулась, и он почувствовал себя самым любимым мужчиной на свете и должен был сдержаться, чтобы не зацеловать ее до смерти в тот момент, когда горничная открыла дверь, а за ее спиной показалась роскошная фигура Алины Гинцбург. Сара и ее дальняя родственница молча обнялись, как давние подруги, которые не виделись тысячу лет; или как коллеги, которые глубоко уважают друг друга, но при этом продолжают соперничать; или как две хорошо воспитанные дамы, одна гораздо моложе другой, которые бог знает по каким правилам этикета должны были обращаться друг с другом крайне учтиво; или как тетя и племянница, которые раньше никогда в жизни не встречались; или как два человека,

знавшие, что они были бы на волосок от попадания в лапы абвера, гестапо или СС, если бы судьбе угодно было поселить их в тяжелые времена в неблагоприятном месте. Потому что зло старается поломать все мечты о счастье, сколь бы скромными они ни были, и рвется разрушить как можно больше всего вокруг. Сперматозоиды, яйцеклетки, бешеные танцы, преждевременные смерти, путешествия, бегства, знакомства, иллюзии, сомнения, ссоры, примирения, переезды и прочие многочисленные трудности, мешавшие произойти этой встрече, исчезли, растопленные теплыми объятиями двух незнакомок, двух немолодых женщин – одной сорок шесть, второй за семьдесят. Обе они молчали и улыбались, стоя передо мной в дверях Хедингтон-хаус. Странная штука жизнь.

– Проходите.

Она протянула мне руку, не переставая улыбаться. Мы молча обменялись рукопожатиями. Два рукописных автографа Баха, вставленные в раму, радовали гостей. Я не без труда подавил волнение и смог ответить Алине Гинцбург вежливой улыбкой.

Мы провели два незабываемых часа в кабинете Исаяи Берлина, на верхнем этаже Хедингтон-хаус, в окружении книг, рядом с часами на каминной полке, которые слишком быстро отсчитывали время. Берлин был в подавленном состоянии, как будто чувствовал, что близится его час. Он слушал Алину, слегка улыбался и повторял: у меня почти не осталось пороку. Продолжать надо вам. А потом тихо сказал: я не боюсь смерти. Она меня злит. Смерть меня раздражает, но не пугает. Когда ты есть, смерти нет. Когда есть смерть, нет тебя. Поэтому бояться ее – пустая трата времени. По тому, сколько он говорил о смерти, я понял, что он ее боится. Быть может, так же, как я. А потом он добавил: Витгенштейн говорил, что смерть не является фактом жизни. И Адриа пришло в голову спросить, чем его поразила жизнь.

– Поразила? – Он задумался. Тиканье часов, словно идущее откуда-то совсем издалека, проникло в комнату и в наши мысли. – Поразила... – повторил он и наконец решился сказать: – А вот чем. Просто тем, что я смог прожить в безмятежности и с таким удовольствием, несмотря на все ужасы, в самом худшем из всех веков, какие знало человечество. Потому что он был несравненно хуже остальных. И не только для евреев.

Он посмотрел на меня неуверенно, словно сомневался, какое-то время подыскивал точные слова и в конце концов произнес: я был счастлив, но все время испытывал угрызения совести и чувство вины оставшегося в живых.

– Что? – спросили Алина и Сара в один голос.

Только тогда я заметил, что последние слова он прошептал по-русски. Я тут же перевел им, не оборачиваясь, не отрывая глаз от Берлина, потому что он еще не закончил. Он продолжил свою мысль и снова заговорил по-английски, спросив: чем я заслужил, что со мной ничего не случилось? И покачал головой: к сожалению, мы, большинство евреев этого века, живем с тяжелым камнем на душе.

– Я думаю, что евреи прошлых веков чувствовали то же, – заметила Сара.

Берлин посмотрел на тебя, приоткрыв рот, и промолчал в знак согласия. Затем, как будто желая прогнать грустные мысли, поинтересовался публикациями профессора Адриа Ардевола. Чувствовалось, что он с интересом прочел «Историю европейской мысли», она ему понравилась, но он по-прежнему находил, что «Эстетическая воля» – это маленький шедевр.

– Тогда я благословляю судьбу за то, что эта книга попала к вам в руки.

– О, так это все ваш друг... Правда, Алина? Помнишь этих двух страшил? Один ростом два метра, а второй – метр пятьдесят. – Он улыбался, припоминая, и смотрел прямо перед собой на стену. – Чудная парочка.

– Исайя...

– Они были совершенно уверены, что это меня заинтересует, поэтому и принесли книгу...

– Исайя, ты ведь хочешь чаю?

– Да-да, предложи им...

– Хотите чаю? – Теперь tante Aline^[358] обращалась ко всем сразу.

– Какие мои два друга? – спросил Адриа с удивлением.

– Один – кто-то из Гинцбургов. У Алины столько родственников, что я иногда их путаю...

– Гинцбург... – сказал Адриа, ничего не понимая.

– Подождите-ка.

Берлин с видимым трудом поднялся и отошел в угол. Я заметил, как Алина Берлин и Сара переглянулись, но все продолжало казаться мне очень странным. Берлин вернулся с моей книгой в руках. Мне необыкновенно польстило, что между страницами было заложено пять или шесть листков. Он открыл книгу, достал из нее какую-то бумажку и прочитал: «Бернат Пленса из Барселоны».

– А, понятно, ну конечно, – произнес Адриа, сам не осознавая, что говорит.

Я больше ничего не помню из разговора, потому что перестал что-

либо понимать. Как раз в этот момент вошла горничная с огромным подносом, полным всяких приспособлений, необходимых для того, чтобы наслаждаться чаем так, как велят Господь и королева. Мы говорили еще о многом, но все это я помню смутно. Какое наслаждение, какая роскошь эта долгая беседа с Берлином и tante Aline...

– А я-то откуда знаю! – трижды повторила Сара, когда Адриа спрашивал ее на обратном пути, каким боком оказался в этой истории Бернат. На четвертый раз она спросила сама: почему бы тебе не пригласить его выпить английского чая?

– Мм... Очень вкусно! У английского чая каждый раз другой вкус, вы не находите?

– Я знал, что тебе понравится. Но ты только мне зубы не заговаривай!

– Я?

– Да. Когда ты виделся с Исайей Берлином?

– С кем?

– С Исайей Берлином.

– Это еще кто?

– «Власть идей». «О свободе». «Русские мыслители».

– Что за чушь ты несешь? – Он обернулся к Саре. – Что с ним? – И, подняв чашку, сказал обоим: – Очень вкусный чай! – А затем почесал в затылке.

– «Еж и лиса»^[359], – уступил требованиям широкой публики Адриа.

– Господи, ты что, чокнулся? – И Бернат опять посмотрел на Сару. – И давно это с ним?

– Исайя Берлин мне сообщил, что это ты посоветовал ему прочитать «Эстетическую волю».

– Да ты что?

– Бернат, что происходит?

Адриа посмотрел на Сару, которая старательно заваривала еще чая, хотя никто его не просил.

– Сара, что происходит?

– А?

– Вы от меня что-то скрываете... – Вдруг Адриа вспомнил: – Ты был с каким-то коротышкой. «Чудная парочка», как сказал про вас Берлин. Кто был с тобой?

– Слушай, этот тип просто чокнутый! Я, к твоему сведению, в жизни не был в Оксфорде!

Повисла тишина. Тут не было часов на камине, чтобы слушать их

тиканье. Но чувствовался легкий ветерок, который веял с пейзажа Уржеля на стене, а в столовую падали лучи солнца, освещавшие колокольню церкви Санта-Мария де Жерри. И слышалось журчание реки, текшей из Бургала. Вдруг Адриа ткнул пальцем в Берната и совершенно спокойно, как это делал шериф Карсон, сказал:

– Ты прокололся, парень!

– Я?

– Ты не знаешь, кто такой Берлин, ты слыхом не слыхивал о нем, но, выходит, ты знаешь, что он живет в Оксфорде?

Бернат посмотрел на Сару, которая потупила взгляд. Адриа взглянул на обоих и спросил: ты *quoque*^[360], Сара?

– Она *quoque*, – сдался Бернат. Опустив голову, он произнес: мне кажется, я забыл тебе рассказать об одной подробности.

– Давай. Я слушаю.

– Все началось лет... – Бернат посмотрел на Сару, – пять или шесть назад?

– Семь с половиной.

– Да. У меня с датами... не очень хорошо... семь с половиной.

Так вот, когда Сара пришла в кафе, Бернат положил перед ней экземпляр книги «Эстетическая воля» в немецком переводе. Она взглянула на Берната, потом на книгу, потом опять на Берната и, садясь за столик, пожала плечами в знак того, что не понимает, в чем дело.

– Что желает дама? – спросил вдруг появившийся лысый официант с несколько подобострастной улыбкой.

– Два стакана воды, – торопливо ответил Бернат. И официант отошел, не скрывая недовольства этим мужчиной, и сквозь зубы проворчал: в дылду больше скотского влезет. А Бернат, ничего не замечая, говорил:

– Понимаешь, у меня есть идея. Но я хотел сначала посоветоваться с тобой. Только обещай мне, что ни слова не скажешь Адриа.

Тут начались препирательства: как, по-твоему, я могу что-то обещать, если не знаю, о чем речь? – Но он ничего не должен знать. – Хорошо, но только сначала скажи мне, в чем дело, чтобы я могла пообещать то, что ты хочешь. – Но это полное безумие! – Тем более. Как я могу пообещать исполнить что-то безумное? Если, конечно, это не одно из тех полных безумий, которые имеют смысл. – Да, это как раз и есть то полное безумие, которое имеет смысл. – Господи боже ты мой, Бернат! – Мне нужна твоя помощь, Сага.

– Меня зовут не Сага. – И обиженно: – А Сагга.

– Ой, извини.

Они долго торговались и наконец сошлись на том, что обещание Сагги будет условным и она сможет взять его обратно, если идея не окажется тем самым полным безумием.

– Ты говорила мне, что твое семейство знакомо с Исайей Берлином. Это действительно так?

– Да, то есть... его жена... мне кажется, какая-то дальняя родственница моих двоюродных братьев по линии Эпштейнов.

– А ты можешь как-нибудь... свести меня с ней?

– Что ты задумал?

– Отвезти эту книгу. Чтобы он ее прочитал.

– Слушай, но люди не...

– Я уверен, что ему понравится.

– Ты – чокнутый. С чего бы ему читать книгу кого-то совершенно неизвестного, кто...

– Я же тебе говорил, что это полное безумие, – перебил он ее. – Но я хочу попытаться.

Сара задумалась. Я так и вижу, как ты морщишь лоб, любимая, размышляя. И как, сидя за столиком в каком-то кафе, смотришь на Берната Безумного, не веря в то, что он тебе втолковывает. И представляю, как ты говоришь ему подожди, листаешь записную книжку, отыскиваешь номер тети Шанталь и звонишь из кафе по телефону, в который надо опускать жетоны. Бернат попросил у официанта дюжину жетонов, которые начали проваливаться, когда она говорила: алло... *ma chère tante, ça marche bien?* (...) *Oui.* (...) *Oui.* (.....) *Aoui.* (.....) *Aaoui.* (.....)^[361], а Бернат, войдя в раж, все кидал жетоны и не терпящим возражений жестом просил у официанта еще – дескать, дело чрезвычайное. Он положил на стол в залог купюру в двести песет, а Сара все говорила *Oui.* (.....) *Oui.* (.....) *Aoui.* (.....), пока официант не сказал ей: *finito*^[362], она что думает? что тут телефонный узел? жетоны закончились! И тогда Сара, уже прощаясь с тетей, спросила про Берлина и принялась что-то записывать и повторять: *oui, oui, ouiii!* – так что в конце концов, когда она благодарила свою дорогую тетю за содействие, в телефоне щелкнуло и связь прервалась, поскольку жетона больше не было. И у Сары осталось неприятное ощущение, что она не распрощалась как следует со своей дорогой тетей Шанталь.

– Что она тебе сказала?

– Что постарается поговорить с Алиной.

– Кто это, Алина?

– Жена Берлина. – Сара заглянула в бумажки с каракулями. – Алина Элизабет Ивонн де Гинцбург.

– Отлично. Дело удалось.

– Хм, удалось установить связь. Теперь надо...

Бернат вырвал у нее из рук записную книжку:

– Как, ты говоришь, ее зовут?

Сара взяла обратно книжку и прочитала:

– Алина Элизабет Ивонн де Гинцбург.

– Гинцбург?

– Да, а что? Это семейство очень... наполовину русские, наполовину французы. Бароны, и все в таком духе. Эта ветвь очень богатая.

– Черт подери!

– Тихо, не ругайся!

И Бернат тебя поцеловал: один, даже два, три или четыре раза. Мне кажется, он всегда был немного в тебя влюблен. Я тебе скажу это сейчас, когда у тебя уже прошло желание возражать мне: чтобы ты знала, я думаю, что все мужчины слегка влюблялись в тебя. А я когда-то влюбился в тебя окончательно и бесповоротно.

– Но Адриа должен про это узнать.

– Нет. Я же тебе сказал, что это совершенно безумная идея.

– Да, совершенно безумная, но он должен это знать.

– Нет.

– Почему нет?

– А потому, что это мой подарок ему. И мне кажется, что подарок будет настоящим, только если Адриа об этом никогда не узнает.

– Но ведь если он про него никогда не узнает, то не сможет тебя поблагодарить.

Должно быть, именно в следующий момент официант, скрывая улыбку, заметил, как мужчина довольно громким голосом говорит: разговор окончен, сеньора Волтес-Эпштейн. Я хочу, чтобы было так. Ты можешь мне это клятвенно обещать?

После нескольких напряженных мгновений мужчина с умоляющим видом встал перед женщиной на одно колено. И тогда элегантная дама взглянула на него сверху и произнесла:

– Клятвенно обещаю.

Официант провел ладонью по лысому затылку и подумал, что влюбленные все-таки страх как чудно себя ведут. Если бы они видели себя так, как вижу их я... особенно вот эту красивую женщину, да-да, красивую до умопомрачения. Я бы тоже сейчас вел себя чудно, будь она

рядом.

И в самом деле оказалось, что образцовый трубач из оркестра Франца-Пауля Деккера, Ромэн Гинцбург, робкий, рыжий, маленького роста, пианист по тайному призванию, был из рода Гинцбургов и, разумеется, знал Алину Элизабет Ивонн де Гинцбург. Ромэн принадлежал к бедной ветви, но – если хочешь, я прямо сейчас позвоню тете Алине.

– Просто обалдеть!.. Тетя Алина!

– Ну да. Та, которая за кого-то там вышла замуж, за какого-то известного философа или что-то вроде того. Но они всегда жили и живут в Англии. А для чего тебе это?

Тут Бернат дважды поцеловал Ромэна, хотя в него он и не был влюблен. Теперь план их действий стал ему окончательно ясен.

Им пришлось дожидаться весны, когда у оркестра были гастроли на Страстную неделю, но прежде Ромэн вел долгие беседы с тетей Алиной и расположил ее к себе. А когда они приехали в Лондон и недолгое турне подходило к концу, они сели на поезд, который доставил их утром в Оксфорд. Хедингтон-хаус казался совершенно пустым, когда они нажали на кнопку звонка, издавшего благородную трель. Они переглянулись в напряженном ожидании: никто не спешил открывать. А ведь они договорились именно на этот час. Никого. Но нет, вдруг послышались чьи-то торопливые шаги. Наконец дверь открылась.

– Тетя Алина? – спросил Гинцбург.

– Ромэн?

– Да.

– Как ты вырос! – Это было неправдой. – Ты ведь был вот таким... – Она показала рукой где-то около своей талии. Потом спохватилась и пригласила их войти, забавно исполняя роль конспиратора. – Он вас примет. Но не могу гарантировать, что прочитает книгу.

– Благодарю вас, госпожа Берлин. Искренне благодарю, – сказал Бернат.

Она провела их в довольно тесную гостиную. На стенах висели оправленные в рамы партитуры Баха. Бернат кивнул в сторону одной из них. Ромэн подошел поближе. И тихо заметил:

– Я же тебе говорил, что я из бедной ветви. – И, указывая на партитуру: – Это наверняка подлинник.

Тут открылась одна из дверей, и тетя Алина провела их в просторную комнату, заставленную книгами от пола до потолка, книг там было раз в десять больше, чем в доме Адриа. А на столе лежало множество толстых

папок с бумагами и стопка книг с торчащими отовсюду закладками. За столом в кресле сидел с книгой в руках Исайя Берлин, с любопытством взирая на тех двоих, что проникли в его святая святых.

– Ну как все прошло? – спросила Сара, когда Бернат вернулся.

Берлин казался усталым. Он говорил мало, а когда Бернат отдал ему экземпляр *Der ästhetische Wille*^[363], взял его, повертел в руках, чтобы получше разглядеть обложку, и открыл оглавление. В течение следующей долгой минуты все сидели затаив дыхание. Тетя Алина подмигнула племяннику. Берлин, закончив просматривать книгу, захлопнул ее, но не выпустил из рук:

– А почему вы решили, что я должен это прочитать?

– Ну... я... если вы не хотите...

– Не лукавьте. Почему вы хотите, чтобы я прочел эту книгу?

– Потому что она хорошая. Она очень хорошая, господин Берлин! Адриа Ардевол – человек серьезный и умный. Но он живет очень далеко от центра мира.

Исайя Берлин положил книгу на стол и сказал: я читаю каждый день и каждый день понимаю, что еще почти ничего не прочитал. А ведь бывает, что мне еще надо и перечитать что-то, хотя я перечитываю лишь то, что достойно этой чести.

– А что этого достойно? – Бернат вдруг как будто превратился в Адриа.

– Способность заморозить читателя. Заставить восхититься умными мыслями, которые есть в книге, или красотой, которая от нее исходит. При всем том, что перечитывание уже по самой своей природе содержит противоречие.

– Что ты имеешь в виду, Исайя? – спросила тетя Алина.

– Книга, которая недостойна того, чтобы ее перечитали, тем более не заслуживает того, чтобы ее вообще читали. – Он посмотрел на гостей. – Ты спросила, не хотят ли они чаю? – Берлин перевел взгляд на книгу и тут же забыл о своей роли хозяина. Он продолжал: – Но пока мы книгу не прочтем, мы не знаем, достойна ли она быть прочитанной еще раз. Жизнь – вещь суровая.

Он поговорил немного о том о сем с гостями, сидевшими на самом краешке дивана. Чай они так и не попили, поскольку Ромэн дал понять тете Алине, что лучше воспользоваться короткой встречей для беседы. И речь зашла о гастролях оркестра.

– Ты трубач? А почему ты играешь на трубе?

– Я влюблен в ее звучание, – ответил Гинцбург.

Они сообщили ему, что следующим вечером играют в Роял-Фестивал-

холле. Берлин обещал, что послушает концерт по радио.

В программе были «Леонора» (номер три)^[364], Вторая симфония Роберто Герхарда^[365] и Четвертая Брукнера. Ромэн Гинцбург солировал в сопровождении нескольких десятков музыкантов. Концерт прошел удачно. На нем присутствовала вдова Герхарда, она была очень взволнована и получила букет цветов, предназначавшийся Деккеру. На следующий день музыканты должны были возвращаться домой после пяти концертов в Европе, которые их совершенно измотали, так что мнения в оркестре разделились: надо ли устраивать микротурне в течение всего сезона, или же подготовить одни большие гастроли летом – правда, мешая таким образом каждому ездить с сольными концертами, – или вообще не связываться ни с какими турне и гастролями, ведь мы и так достаточно отработываем на репетициях нашу зарплату...

В гостинице Берната ждало срочное сообщение, и он подумал: вдруг что-то случилось с Льюренсом. Он впервые испугался за сына: у него перед глазами все еще была так и нераспакованная книга. Это оказалось срочное сообщение, продиктованное мистером Исайей Берлином вечером по телефону дежурному по гостинице, в котором говорилось, что он, Берлин, настоятельно просит Берната приехать срочно в Хедингтон-хаус – если можно, прямо завтра, по очень важному делу.

– Текла...

– Как все прошло?

– Хорошо. Присутствовала Полди Фейхтеггер. Она очаровательная. Ей восемьдесят с большим гаком. Букет был больше ее самой.

– Вы ведь завтра возвращаетесь?

– Да... но... мне нужно остаться еще на один день. Потому что...

– Потому что – что?

Бернат, верный своему пристрастию усложнять себе жизнь, не сказал Текле, что Исайя Берлин настоятельно просил его приехать, чтобы поговорить о моей книге, которая его очень и очень заинтересовала, которую он прочитал за несколько часов и уже начал перечитывать, поскольку в ней было много прозорливых мыслей, блестящих и глубоких, по его мнению, ввиду чего он хотел со мной познакомиться. Все это легко можно было бы сказать Текле. Но либо Бернат усложняет себе жизнь, либо это не Бернат. Он не был уверен в способности жены хранить секреты, и тут я могу с ним согласиться. В общем, он предпочел скрыть это и сказал: потому что подвернулась срочная работа.

– Какая работа?

– Да тут кое-что... сложно объяснять...
– Надраться с трубачом?
– Да нет же! Я должен поехать в Оксфорд, чтобы... Есть одна книга...
короче, я приеду послезавтра.
– А ты поменял билет?
– Ой, точно...
– Ну разумеется! Это стоило бы сделать, если хочешь вернуться самолетом. Если ты, конечно, собираешься возвращаться.

И Текла повесила трубку. Вот черт! – подумал Бернат. Опять я все испортил. Но на следующее утро он поменял билет на самолет, сел на поезд до Оксфорда, и Берлин сказал ему те самые слова и вручил ему адресованную мне записку, где говорилось: уважаемый господин Ардевол, ваша книга меня сильно впечатлила. Особенно размышления о том, зачем существует красота. И о том, как этот вопрос может задаваться во все времена существования человечества. А также о том, как получается, что этот вопрос неотделим от необъяснимого присутствия зла. Я уже настоятельно посоветовал прочитать вашу книгу кое-кому из моих коллег. Когда появится английское издание? Пожалуйста, не прекращайте размышлять и время от времени записывать ваши рассуждения. Искренне ваш, Исая Берлин. Я так благодарен Бернату, и даже не столько за последствия этого чтения по наводке, ставшие для меня сверхважными, сколько за то упорство, с которым он всегда стремился сделать мне добро. А я отвечаю благодарностью на все его усилия, говоря ему прямо то, что думаю о его писаниях, и вызывая у него приступы глубокой депрессии. Друг мой, как же сложно жить!

– Поклянись еще раз, что никогда не расскажешь об этом Адриа! – Он посмотрел на нее почти свирепо. – Ты поняла меня, Сара?
– Клянусь. – И через мгновение: – Бернат!
– Мм?
– Спасибо. От меня и от Адриа.
– Давай без всяких там благодарностей. Я всегда ему обязан.
– Чем ты ему обязан?
– Не знаю. Чем-то. Он мой друг. Он – парень, который... Хоть и очень умный, но дружит со мной и с моими проблемами. Уже столько лет.

пятидесяти лет вновь принялся за русский, который изрядно запустил. Чтобы отойти от бесплодных попыток проникнуть в природу зла, я погрузился в самоубийственный эксперимент по скрещиванию в одной и той же книге Берлина, Вико и Льюля и вдруг с удивлением начал обнаруживать, что это возможно. Как это обычно бывает при неожиданных открытиях, мне нужно было отвлечься, чтобы убедиться, что мои интуитивные догадки – не мираж, и поэтому я несколько дней листал совершенно посторонние книги, среди которых попался Белинский. И именно Белинский – эрудит, с энтузиазмом пропагандировавший творчество Пушкина, – вызвал у меня настойчивое желание почитать по-русски. Белинский, пишущий о Пушкине, а не сами произведения Пушкина. И я понял, что такое интерес к чужой литературе, заставляющий тебя заниматься литературой без твоего ведома. Меня увлекла увлеченность Белинского, да так, что все, что я прежде знал из Пушкина, впечатлило меня лишь только после того, как я прочитал русского критика. Благодаря усилиям Белинского Руслан, Людмила, Фарлаф, Ратмир, Рогдай вместе с Черномором и Головой оживали во мне, когда я читал про них вслух. Иногда я думаю о силе искусства и об изучении искусства, и мне становится страшно. Временами я не понимаю, почему человечество так упорно предается мордобою, хотя у него столько других дел. Временами мне кажется, что мы прокляты еще раньше, чем поэты^[366], и потому у нас нет выхода. Проблема в том, что у всех руки запачканы. Так мало тех, у кого они чисты. Совсем-совсем мало. И тем больше таких людей нужно ценить. Тут вошла Сара, и Адриа, не отрываясь от строк о ревности, любви и русском языке, сплавленных воедино в этих стихах, почувствовал не глядя, что глаза у Сары блестят. Он посмотрел на нее:

– Как успехи?

Она положила на диван папки с образцами портретов:

– Будем делать выставку.

– Отлично!

Адриа встал и, все еще сожалея о несчастной судьбе Людмилы, обнял Сару.

– Тридцать портретов.

– Сколько у тебя уже есть?

– Двадцать восемь.

– Все – углем?

– Да, да. Это будет лейтмотивом – изобразить душу углем, ну или что-то в этом духе. Они должны придумать какую-нибудь красивую фразу.

– Пусть только они тебе ее заранее покажут. А то смешно представят

твои портреты.

– Изобразить душу углем – не смешно.

– Да конечно нет! Но ведь галеристы совсем не поэты. А уж те, что из «Артипелага»... – Он кивнул в сторону разложенных на диване папок. – Я рад. Ты достойна выставки.

– Не хватает двух работ.

Я знал, что ты хотела писать мой портрет. Меня эта идея не воодушевляла, но твой энтузиазм мне нравился. Дожив до своих лет, я начал понимать, что важнее не сами вещи, а те фантазии, которые мы с ними связываем. Именно это и делает каждого из нас личностью. Сара переживала теперь исключительный момент в своей жизни: с каждым днем она получала все больше признания благодаря своим рисункам. Я пару раз уже спрашивал ее, почему она не хочет попробовать писать красками, но она, в присущей ей мягкой, но твердой манере, оба раза говорила мне: нет, Адриа, я получаю наслаждение, когда рисую карандашом и углем. Моя жизнь черно-белая, может быть, из-за воспоминаний о моих родных, которые прожили в черно-белом цвете, а может быть...

– А может быть, не надо ничего объяснять.

– Так и есть.

За ужином я сказал ей, что знаю, какого еще портрета не хватает, она меня спросила: какого? – и я ответил, что автопортрета. Она застыла с вилок в руке, осмысляя сказанное. Я удивил тебя, Сара. Ты об этом никогда не думала. Ты никогда не думаешь о себе.

– Я стесняюсь, – ответила ты после долгих мгновений тишины. И положила в рот кусок фрикадельки.

– Тебе надо перестать стесняться. Ты ведь уже большая.

– Но разве это не наглость?

– Наоборот, это – знак смирения. Ты обнажаешь душу двадцати девяти человек и подвергаешь себя такому же допросу, как и остальных. Так ты восстанавливаешь справедливость.

От моих слов ты опять замерла с вилок в руке. Потом положила ее и сказала: знаешь, может, ты и прав. Благодаря этому теперь, когда я пишу тебе, у меня перед глазами твой необыкновенный автопортрет, окруженный инкунабулами и организующий весь мой мир. Это самая ценная вещь в моем кабинете. Твой автопортрет, тот, что должен был стоять последним в каталоге выставки, которую ты готовила так тщательно и на открытии которой не смогла присутствовать.

Для меня рисунки Сары – окно, распахнутое в тишину души.

Приглашение ко взглядыванию в себя. Я люблю тебя, Сара. Я помню, как ты предлагаешь, в каком порядке представить тридцать портретов, и как втайне делаешь первые наброски автопортрета. А ребята из «Артипелага» тоже не ударили в грязь лицом: *Сара Волтес-Эпштейн. Портреты углем. Окно в душу*. Шикарно изданный каталог вызывал желание непременно побывать на выставке. Или купить все тридцать портретов. Все твои зрелые работы, которые ты писала целых два года. Не торопясь, свободно, без спешки – так, как ты делала все в своей жизни.

Автопортрет дался ей сложнее всего. Она запиралась в мастерской одна, стыдясь того, что ее застанут смотрящейся в зеркало, изучающей себя на бумаге и прорисовывающей детали – нежный изгиб уголков рта и бороздки морщин. И складочки у глаз, в которых вся ты. И все эти мелочи – я их и перечислить не в силах, – превращающие лицо, словно скрипку, в пейзаж, где отражается долгое зимнее путешествие во всех подробностях и во всей своей откровенности. О господи! Как тахограф фиксирует все, что пережил водитель, так и на твоём лице запечатлены наши общие слезы, твои слезы, пролитые в одиночестве, какие они – я себе не представляю, слезы по твоей семье и всем близким. Но и радость тоже, она исходит от живых глаз и освещает это великолепное лицо – оно находится передо мной все время, пока я пишу тебе это длинное письмо, которое должно было занять пару страниц. Я люблю тебя. Я тебя нашел, потерял и снова отыскал. А главное – нам выпало счастье вместе начать стареть. Покуда в дом не пришла беда.

В тот период Сара не могла заниматься иллюстрациями, и у заказов горели сроки, чего раньше никогда не случалось. Все ее мысли были поглощены угольными портретами.

Выставка в «Артипелаге» должна была открыться через месяц, и я, прежде чем вернуться к Вико, Льюлю и Берлину, после Белинского и Пушкина обратился к Гоббсу с его зловещим представлением о человеческой природе, вечно склонной к злу. А между делом наткнулся на его перевод «Илиады», который прочел в прелестном издании середины девятнадцатого века. И тут-то нагрянула беда.

Гоббс пытался уверить меня, что следует выбирать между свободой и порядком, а иначе проснется волк, которого я столько раз замечал в человеческой природе, размышляя о нашей истории или о наших познаниях. Я услышал, как поворачивается ключ в замке и тихо закрывается дверь, но это был не волк Гоббса, а беззвучно ступавшая Сара, которая вошла в кабинет и некоторое время стояла молча. Я поднял глаза

и тут же понял, что у нас какая-то проблема. Сара села на диван, сидя за которым я тайком узнал столько секретов в компании Карсона и Черного Орла. Ей трудно было начать говорить. Чувствовалось, что она подыскивает подходящие слова, и Адриа снял очки, в которых он обычно читал, и решил помочь ей, спросив: Сара, что случилось?

Сара встала с дивана, подошла к шкафу с инструментами и извлекла из него Виал. Она опустила скрипку на письменный стол нарочито грубо, почти ударив бедного Гоббса, который не был ни в чем виноват.

– Откуда она у тебя?

– Ее купил отец. – Молчание в знак недоверия. – Я же тебе показывал свидетельство о покупке.

– А откуда ее взял твой отец?

– Это Виал, единственная скрипка Сториони, у которой есть собственное имя.

Сара молчала, настроенная слушать дальше. И Гийом-Франсуа Виал выступил из тени, чтобы его увидел человек, сидевший в карете. Кучер остановил лошадей прямо перед ним. Дверца открылась, и месье Виал сел в карету.

– Добрый вечер, – сказал Ла Гит.

– Можете мне ее вручить, месье Ла Гит. Дядюшка согласился на вашу цену.

Ла Гит рассмеялся в душе, гордясь своим нюхом. Не зря он жарился столько дней на солнце Кремоны. И на всякий случай уточнил:

– Речь идет о пяти тысячах флоринов.

– Речь идет о пяти тысячах флоринов, – успокоил его месье Виал.

– Завтра вы будете держать в руках скрипку знаменитого Сториони.

– Не морочьте мне голову: Сториони вовсе не знаменит!

– В Италии, в Неаполе и во Флоренции... только о нем и говорят.

– А в Кремоне?

– Братья Страдивари совсем не рады появлению новой мастерской.

– Ты мне все это уже рассказывал. – Сара стояла в нетерпении, как строгая учительница, ожидающая извинений от нерадивого ученика.

Но Адриа, словно не слыша ее, произнес: дорогой дядюшка! – воскликнул он, вбегая в залу на следующее утро спозаранку. Жан-Мари Леклер не соизволил повернуть головы, он созерцал языки пламени в камине. Дорогой дядюшка, повторил Гийом-Франсуа Виал, на сей раз не столь горячо.

Леклер чуть повернул голову. Не глядя в глаза Виалю, спросил, принес ли тот скрипку. Виал положил ее на стол. Пальцы Леклера

немедленно потянулись к инструменту. От обшивки стены отделился горбоносый слуга и поднес смычок. Леклер некоторое время исследовал все звуковые возможности этой Сториони, играя отрывки из трех своих сонат.

– Отличная вещь, – заключил он. – Во сколько она тебе обошлась?

– Хау!

– Десять тысяч флоринов плюс вознаграждение в пятьсот монет, которое вы мне дадите за то, что я отыскал это сокровище.

– Хау. Хау!

Властным жестом Леклер приказал слугам удалиться. Положил руку племяннику на плечо и улыбнулся:

– Ты – мерзавец. В кого ты такой уродился, сучий потрох, не знаю. То ли в твою несчастную мать, что вряд ли, то ли в ублюдка-отца. Проходимца и вора.

– Но почему? Ведь я... – Последовал обмен колкими взглядами. – Ну хорошо, я согласен отказаться от вознаграждения.

– И ты думаешь, что после того, как ты столько лет надувал меня, я буду тебе доверять?

– Но тогда зачем же вы поручили мне...

– Чтобы испытать тебя, паршивый ты сукин сын! На сей раз тебе не уйти от тюрьмы! – И добавил для пущего эффекта: – Ты даже представить себе не можешь, как я ждал этого мгновения.

– Хау, Адриа! Ты сейчас совсем все испортишь! Посмотри, какое у нее лицо!

– Вы всегда жаждали погубить меня, дядюшка Жан. Вы мне завидуете!

– Эй, парень, какого черта ты не слушаешь Черного Орла! Да она все это уже знает! Ты все это ей уже рассказывал!

Жан-Мари Леклер взглянул с удивлением на Карсона и кивнул в его сторону:

– Ничтожный ковбой! Не смей ко мне даже обращаться, мешок с блохами!

– Эй, эй, вам я ничего не говорил и требую уважения.

– Катитесь отсюда оба – и ты, и твой дружок-индюк с перьями на голове!

– Хау!

– Что «хау»? – спросил Леклер в крайнем раздражении.

– Вместо того чтобы выпроваживать друзей, вы бы лучше продолжили горячую дискуссию со своим племянником, пока солнце не закатилось за холмы на западе.

Леклер несколько растерянно посмотрел на Гийома Виалю. Он постарался собраться с мыслями и сказал:

– В чем же, по-твоему, я должен завидовать тебе, вонючий подонок?

Виал, красный как рак, не нашелся что ответить.

– Лучше нам не вдаваться в частности, – бросил он, чтобы сказать хоть что-то.

Леклер смотрел на него с презрением:

– А по мне, так можно обсудить и частности. Чему же я завидую? Внешности? Сложению? Обаянию? Влиянию? Таланту? Моральным качествам?

– Разговор окончен, дядюшка Жан.

– Он будет окончен тогда, когда скажу я. Уму? Воспитанию? Богатству? Здоровью?

Леклер взял скрипку, симпровизировал пиццикато. И уважительно посмотрел на инструмент.

– Адриа!

– Что?

Сара села передо мной. Я услышал, как шериф Карсон тихонько говорит: смотри, парень, дело нешуточное. И не говори потом, что мы тебя не предупреждали. Ты посмотрела мне в глаза:

– Говорю же тебе, что я это знаю, ты уже давно мне это рассказал!

– Да, да, так вот Леклер сказал: скрипка прекрасная, но мне на это плевать, я просто хотел упрятать тебя в тюрьму.

– Вы – плохой дядя.

– А ты – сукин сын, которого я наконец вывел на чистую воду.

– Боевой бык потерял разум после стольких сражений. – Звук плевка сопровождал высказывание храброго вождя арапахо.

Леклер позвонил в колокольчик, и горбоносый слуга появился на пороге.

– Сообщи комиссару, что он может прийти. – И Леклер посмотрел на племянника. – Садись, подождем месье Бежара.

Но им не удалось посидеть. Идя к креслу мимо камина, Гийом-Франсуа Виал схватил кочергу и ударил ею своего дорогого дядюшку по голове. Жан-Мари Леклер, по прозвищу Старший, больше ничего не смог сказать. Он обмяк без единого стога, кочерга так и осталась торчать в его голове. Несколько капель крови упали на деревянный футляр скрипки. Виал, глубоко вдохнув, отер чистые руки о камзол и сказал: ты и представить себе не можешь, как я ждал этого мгновения, дядюшка Жан! Оглядевшись, он взял в руки скрипку, убрал ее в испачканный кровью

футляр и вышел через балконную дверь, ведущую на террасу. И, убегая при свете дня, он подумал, что как-нибудь, когда эта история позабудется, он должен будет нанести не очень-то дружественный визит болтуну Ла Гиту. А отец купил эту скрипку задолго до моего рождения у некоего Саверио Фаленьями, законного владельца инструмента.

Повисла тишина. Мне, к несчастью, больше нечего было сказать. Точнее, в мои интересы не входило говорить что-либо еще. Сара встала с дивана:

- Твой отец купил ее в тысяча девятьсот сорок пятом году.
- Откуда ты знаешь?
- И купил он ее у беглеца.
- У некоего Фаленьями.
- Который был беглецом. И которого наверняка звали не Фаленьями.
- Этого я не знаю. – Мне кажется, ей за версту было видно, что я вру.
- А я знаю. – Упершись кулаками в бока, она наклонилась ко мне. – Это был нацист из Баварии, он вынужден был бежать, и благодаря деньгам твоего отца ему удалось скрыться.

Ложь, или полуправда, или несколько выдумок, ловко пригнанных одна к другой и потому становящихся правдоподобными, могут просуществовать некоторое время. И даже довольно долго. Но они никогда не продержатся всю жизнь, поскольку существует неписаный закон, по которому для всего, что существует на свете, однажды наступает час правды.

– Откуда ты все это знаешь? – Я старался казаться не проигравшим, а изумленным.

Снова тишина. Она стояла как статуя – холодная, властная, внушительная. Поскольку она молчала, говорить принялся я. Выходило немного сумбурно:

– Он был нацистом? Но разве не лучше, что скрипка у нас, а не у нациста?

– Этот нацист конфисковал ее у одной бельгийской или голландской семьи, которая имела несчастье оказаться в Освенциме.

– Откуда ты знаешь?

Откуда ты знала это, Сара? Откуда ты знала то, что знал один я, потому что отец поведал мне об этом по-арамейски в записке, которую, я уверен, читал один я?

– Ты должен вернуть ее.

– Кому?

– Ее владельцам.

– Ее владелец – я. Мы.

– Только не втягивай меня в эту историю. Ты должен вернуть ее настоящим владельцам.

– Я понятия не имею, кто они. Голландцы, ты говоришь?

– Или бельгийцы.

– Это, конечно, ценные сведения. Я отправляюсь в Амстердам и со скрипкой в руках спрашиваю каждого встречного: это не ваша скрипка, дамы и герры?

– Не паясничай.

Я не знал, что возразить. А что я мог сказать, если всю жизнь боялся, что когда-нибудь наступит этот день? Я не догадывался, каким именно образом, но знал, что произойдет то, что я переживал теперь, держа в руках очки и смотря на лежащую на столе Сториони, а Сара, упершись кулаками в бока, говорила: ну так выясни, кто владелец. На то существуют детективы. Или давай обратимся в какой-нибудь центр по возвращению незаконно перемещенных ценностей. Наверняка есть с десяток еврейских организаций, которые нам смогут помочь.

– Стоит только начать, как к нам в дом пожалуют толпы любителей пожить.

– А может быть, появятся и хозяева скрипки.

– Мы сейчас говорим о том, что произошло пятьдесят лет назад.

– У ее владельцев могут быть наследники, прямые и не прямые.

– Которым, наверное, глубоко наплевать на эту скрипку.

– А ты их спрашивал?

Постепенно твой голос становился все более и более хриплым, я чувствовал себя задетым и оскорбленным, потому что твоя хрипота ставила мне в вину то, в чем я прежде не считал себя виновным: ужасную вину быть сыном моего отца. У тебя даже изменился голос – стал тоньше, как всегда, когда ты говорила о своем семействе, о холокосте или когда заводила речь о дяде Хаиме.

– Я и пальцем не пошевелю, прежде чем не узнаю наверняка, правда это или нет. Откуда ты все это взяла?

Тито Карбонель уже полчаса сидел в машине, припаркованной на углу улицы. Он увидел, как его полысевший дядя вышел из подъезда с папкой под мышкой и направился по улице Валенсия в сторону университета. Тито перестал барабанить пальцами по рулю. Голос, идущий с заднего сиденья, сказал: Ардевол лысеет с каждым днем. Тито не счел нужным давать комментарии, только взглянул на часы. Голос сзади собирался сказать: я думаю, скоро появится, когда подошедший к машине полицейский

приложил руку к козырьку, нагнулся к водителю и сказал: господа, здесь стоянка запрещена.

– Дело в том, что мы ждем одного человека... Да вот же и он, – не растерялся Тито.

Он вышел из машины, и полицейский отвлекся, потому что фургон с кока-колой встал для разгрузки, заняв с полметра улицы Льюрия. Тито снова сел в машину и, увидев, как Катерина подходит к подъезду, сказал веселым голосом: а вот и знаменитая Катерина Фаргес. Голос сзади ничего не ответил. Еще через четыре минуты появилась Сара, огляделась по сторонам. Потом посмотрела на угол напротив и решительными и быстрыми шагами пошла к машине.

– Садись, а то тут нельзя стоять, – сказал Тито, кивнув на заднюю дверцу. Сара поколебалась пару мгновений, а затем села сзади, как в такси.

– Добрый день, – произнес голос. Сара увидела очень худого пожилого мужчину, который прятался в темном пальто и с интересом смотрел на нее. Он похлопал гладкой рукой по свободному сиденью рядом с собой, словно приглашая ее сесть поближе:

– Так вы и есть та самая Сара Волтес-Эпштейн?

Сара захлопнула дверцу в тот самый момент, когда автомобиль резко тронулся. Проезжая мимо полицейского, Тито жестом поблагодарил его и присоединился к потоку машин, едущих вверх по улице Льюрия.

– Куда мы едем? – спросила Сара слегка испуганным голосом.

– Не волнуйся: туда, где можно спокойно поговорить.

Местом, где можно было спокойно поговорить, оказалось кафе на проспекте Диагонал. Им зарезервировали столик в дальнем углу. Они сели, и какое-то время все трое молча смотрели друг на друга.

– Это сеньор Беренгер, – представил Тито, указывая на худого пожилого мужчину. Тот слегка склонил голову в знак приветствия. И тогда Тито рассказал ей, что уже некоторое время назад он лично удостоверился в том, что у них в доме имеется скрипка Сториони, носящая имя Виал...

– Можно поинтересоваться, каким образом вы в этом удостоверились?

– ...которая представляет собой большую ценность и которая, к сожалению, более пятидесяти лет назад была похищена у ее законных владельцев...

– Ее владелец – сеньор Адриа Ардевол.

– ...и дело в том, что ее законный владелец вот уже десять лет как ее разыскивает, а мы наконец-то ее обнаружили...

– И я, по-вашему, должна этому поверить?

– ...и нам известно, что этот инструмент был приобретен его законным

владельцем пятнадцатого февраля тысяча девятьсот тридцать восьмого года в городе Антверпене. Тогда он был оценен гораздо ниже своей реальной стоимости. А затем был у него похищен. Конфискован. Законный владелец обыскал пол земного шара, чтобы найти его, а когда ему это удалось, несколько лет размышлял, как быть, а теперь, судя по всему, решился востребовать свою собственность.

– Пусть обращается в суд. И излагает всю эту странную историю там.

– Есть некоторые проблемы с юридической стороны. Не хочу утомлять вас ими.

– Я не устала.

– Не хочу вам докучать.

– Вот как? Ну а каким образом инструмент попал в руки моего мужа?

– Сеньор Адриа Ардевол не является вашим мужем. Но если вы хотите, я могу рассказать, как он попал в руки сеньора Ардевола.

– У моего мужа есть документ, подтверждающий его право на владение инструментом.

– Вы сами его видели?

– Да.

– Значит, он фальшивый.

– А почему я должна этому верить?

– Кто был предыдущим владельцем скрипки согласно этому документу?

– Вы думаете, я помню? Муж мне его показывал давно.

– Все это полная ерунда, – сказал Адриа, не глядя на Сару. Он инстинктивно провел по скрипке рукой, но тут же отдернул ее, словно ударенный током.

Я был совсем маленьким, но отец провел меня в кабинет так, как будто речь шла о какой-то тайне, хотя дома никого больше не было. Он сказал мне: посмотри внимательно на эту скрипку. Виал лежала на столе. Отец поднес к ней настольную лупу и пригласил меня посмотреть. Я засунул руку в карман, и шериф Карсон сказал: будь повнимательней, парень, это должно быть очень важно. Я отдернул руку, точно ее обожгло, и посмотрел в лупу. Скрипка, царапины, черточки. Крошечная трещина на верхней стороне. И обечайки^[367], покрытые небольшим количеством лака...

– Все, что ты видишь, – это ее история.

Я помню, что он мне уже объяснял что-то в этом роде раньше, в похожих случаях. Поэтому я совершенно не удивился, услышав: хау, мне это знакомо. И я ответил отцу: да, это ее история. А что ты хочешь мне

рассказать?

– Что ее история складывалась во многих домах многих людей, о которых мы никогда не узнаем. Ты подумай только, что начиная с millesettecentosessantaquattro^[368] до сегодняшнего дня...

– Мм... Vediamo... centonovantatrè anni^[369].

– Вот именно. Я вижу, что ты меня понял.

– Нет, отец.

Я уже восемь месяцев как учил:

– Uno.

– Uno.

– Due.

– Due.

– Tre.

– Tre.

– Quattro.

– Quattro.

– Cinque.

– Cinque.

– Sei.

– Sei.

– Sette.

– Sette.

– Otto.

– Octo.

– Otttto!

– Otttto!

– Bravissimo!

– потому что итальянский учится сам собой, и хватит всего лишь нескольких уроков, поверь мне.

– Но Феликс... Ребенок и так уже учит французский, немецкий, английский...

– Синьор Симоне выдающийся преподаватель. Через год мой сын сможет читать Петрарку. И хватит об этом!

И отец кивнул мне, чтобы у меня не возникло ни малейшего сомнения:

– Я предупредил: завтра ты начинаешь учить итальянский.

Теперь, когда мы стояли перед скрипкой, отец, услышав, как я говорю centonovantatrè anni, не мог скрыть выражения гордости на лице, и я, признаюсь, почувствовал удовлетворение и удовольствие от похвалы.

Он же, указывая на инструмент одной рукой и положив мне на плечо другую, сказал: теперь она принадлежит мне. Она побывала во многих местах, но теперь она принадлежит мне. И будет принадлежать тебе. И твоим детям. И моим внукам. И будет принадлежать нашим правнукам и правнукам правнуков, потому что никогда не покинет наш род. Поклянись мне в этом.

Теперь я удивляюсь, как мог поклясться от имени тех, кто еще не родился. Но я помню, что тогда я поклялся и от своего имени тоже. И каждый раз, когда я беру в руки Виал, я вспоминаю эту клятву. А через несколько месяцев отца убили, и в том была моя вина. А как я понял потом, в том была и вина скрипки.

– Сеньор Беренгер, – сказал Адриа, глядя на Сару с укоризной, – когда-то работал в магазине у отца. Он поссорился и с ним, и с матерью. И со мной тоже. Он мошенник, ты знала это?

– Я уверена, что он – малоприятный тип, который хочет тебе навредить. Но он отлично знает, как именно твой отец купил скрипку, – он при этом присутствовал.

– А некто Албер Карбонель, который называет себя Тито, – мой дальний родственник. И магазин теперь принадлежит ему. Тебе не кажется, что тут пахнет каким-то сговором?

– Если то, что они сказали, правда, мне все равно, какой тут сговор. Вот тебе адрес законного владельца. Тебе надо лишь с ним связаться, и тогда все наши с тобой сомнения исчезнут.

– Это ловушка. Владелец, которого подсовывает нам эта парочка, наверняка их сообщник. Им нужно одно – заполучить скрипку. Неужели ты этого не понимаешь?

– Нет.

– Ну как же можно быть настолько слепой?

Мне кажется, что это замечание тебя обидело. Но я был совершенно уверен, что сеньор Беренгер никогда ничего не делает из добрых побуждений.

Сара протянула сложенный листок. Адриа взял его, но разворачивать не стал. Он долго держал его в руках, а потом положил на стол.

– Маттиас Альпаэртс.

– Что?

– Имя, которое ты не хочешь прочитать.

– А я не уверен. Владелицу зовут Нетье де Бук, – сказал я, разозленный.

Вот так ты меня совсем обезоружила, как малого ребенка. Я взглянул

на листок, где было написано имя Маттиаса Альпаэртса, и снова положил его на стол.

– Это просто смешно, – сказал Адриа после долгого молчания.

– У тебя есть возможность исправить совершенное зло, а ты от нее отказываешься.

Сара вышла из кабинета, и я больше никогда не слышал, как ты смеешься.

Вот уже три или четыре дня, как в доме повисла тишина. Ужасно, когда двое живущих вместе людей молчат, потому что не хотят или не решаются сказать друг другу то, что их может обидеть. Сара занималась подготовкой к выставке, а я не мог ничего делать. Я уверен, что если на автопортрете у тебя грустный взгляд, так это потому, что, когда ты его писала, в доме стояла эта тишина. Но уступить я не мог. Вот почему Адриа Ардевол решил отправиться на юридический факультет к доктору права Грау-и-Бордасу, чтобы проконсультироваться по поводу проблемы, которая была у одного его друга с некой ценной вещью, приобретенной его семейством тысячу лет назад, возможно из военного конфиската. Доктор Грау-и-Бордас, поглаживая бородку, выслушал историю моего друга, а затем пустился в общие рассуждения о международном праве и об изъятых нацистами вещах, и Адриа Ардевол через пять минут понял, что профессор ни черта в этом не смыслит.

Профессор кафедры музыковедения Казалс рассказал ему много интересного о семействах скрипичных мастеров из Кремоны и порекомендовал одного мастера, к которому можно обратиться, настоящему знатоку старинных скрипок. Можешь в нем не сомневаться, Ардевол, и Казалс наконец задал вопрос, который вертелся у него на языке, едва был открыт футляр со скрипкой: ты разрешишь мне ее опробовать?

В коридоре около кафедры музыковедения столпились студенты, чтобы послушать таинственную и нежную музыку, доносившуюся из кабинета. В конце концов профессор Казалс убрал инструмент в футляр и произнес: она необыкновенная. Не хуже скрипок Дель Джезу^[370].

Адриа положил футляр со скрипкой в углу своего кабинета. Принял двух студентов, которые хотели улучшить оценку. И еще одну студентку, желавшую узнать: почему вы мне поставили только удовлетворительно, если я ходила на все ваши занятия? Вы? Ну почти на все. Ах вот как?

Ну, на некоторые. Когда девушка ушла, появилась Лаура и села за соседний стол. Она была очень красивая, и он сказал привет, не глядя ей в глаза. Она рассеянно кивнула в ответ и открыла папку, полную конспектов, контрольных и всякой прочей всячины, не вызывавшей у нее энтузиазма. Они довольно долго работали молча, каждый сам по себе. Два, нет, три раза оба поднимали взгляд одновременно, и их встретившиеся глаза робко заговаривали друг с другом. Наконец на четвертый раз она спросила: как дела? Кажется, раньше она не проявляла инициативу? Не помню. Но помню, что на сей раз она улыбнулась. Это было явным признаком примирения.

– Пф... Потихоньку.

– И только-то?

– И только.

– Но ты теперь знаменитость.

– Но тебе теперь все равно.

– Нет. Я тебе завидую. Как и половина нашей кафедры.

– Тогда тебе действительно все равно. А как твои дела?

– Пф... Потихоньку.

Оба замолчали и улыбнулись – каждый своим мыслям.

– Ты сейчас пишешь?

– Да.

– Можно узнать – что?

– Да. Переделываю три лекции.

Ее улыбка подбадривала меня, и я, не сопротивляясь, сказал: Льюль, Вико и Берлин.

– Ух ты!

– Да. Но знаешь, я их переделываю, чтобы написать новую книгу, понимаешь? Не три лекции, а...

Адриа неопределенно помахал рукой в воздухе, как будто размышляя над проблемой:

– Нужно достаточное основание, чтобы объединить всех троих.

– И ты нашел его?

– Возможно. Становление истории. Но пока точно не знаю.

Лаура аккуратно сложила бумаги – так она делала всегда, когда задумывалась.

– Это та самая знаменитая скрипка? – спросила она, указав карандашом в угол кабинета.

– Знаменитая?

– Знаменитая.

- Ну да.
- Господи! Не оставляй ее здесь.
- Не волнуйся – я возьму ее в аудиторию.
- Уж не собираешься ли ты играть на ней перед... – улыбнулась она.
- Ну что ты.

А может, сыграть? Почему бы и нет. Он решил это внезапно. Как и тогда, когда попросил Лауру поехать с ним в Рим в качестве его адвоката. Лаура толкала его на экстравагантные выходки.

И читающий курс по истории эстетических идей в Барселонском университете Адриа Ардевол имел дерзость начать лекцию второго семестра с исполнения Партиты номер один на своей Сториони. Ни один из тридцати пяти студентов, разумеется, не заметил ни пяти непростительных ошибок, ни того момента, когда он сбился и начал импровизировать в *Tempo di Borea*^[371]. Закончив играть, он аккуратно уложил скрипку в футляр, оставил его на столе и спросил: какая связь, как вы полагаете, существует между художественным произведением и мыслью? И никто не осмелился сказать что-либо, потому что – а кто ж его знает.

– А теперь представьте себе, что на дворе тысяча семьсот двадцатый год.

– А для чего? – спросил парень с бородой, сидевший в последнем ряду отдельно от всех, видимо боясь заразиться.

– Именно в тот год Бах сочинил пьесу, которую я так плохо сыграл.

– А что, мы должны были бы тогда думать по-другому?

– Ну, по крайней мере, мы с вами носили бы парики.

– Но это же не заставляет нас думать иначе.

– Не заставляет? Но мы с вами, как мужчины, так и женщины, носим парики, чулки и каблуки.

– Но ведь представления о красоте в восемнадцатом веке были не такие, как сегодня.

– Только лишь о красоте? Если ты в восемнадцатом веке не носил парик, чулки и каблуки, если ты не пудрился и не красился, то тебя не пускали ни в один дом. Сегодня напудренного мужчину в парике, чулках и на каблуках упекают в тюрьму без вопросов.

– Но это уже относится к морали.

Это был робкий голос худенькой девушки из первого ряда. Адриа, ходивший между столами, обернулся.

– Ты молодец, – сказал он. Девушка покраснела, чего я вовсе не добивался. – Эстетика, как бы она к тому ни стремилась, никогда

не существует сама по себе.

– Нет?

– Нет. Она способна вбирать в себя иные формы мысли.

– Я не понимаю.

В результате это занятие прошло замечательно: я смог растолковать те основные вещи, на объяснение которых у меня обычно уходило несколько недель. Я даже на какие-то мгновения забывал, что дома мы с Сарой все время молчим. Адриа пожалел, что не застал Лауру в кабинете, когда он зашел забрать вещи, – он так хотел рассказать ей о своей блестящей придумке.

Едва он открыл футляр в мастерской Пау Ульястреса, как мастер сказал, что это подлинная скрипка из Кремоны. Ему хватило ее запаха и вида. Однако Пау Ульястрес не знал истории Виал. Он слышал что-то о ней, но полагал, что скрипка Сториони может стоить уйму денег, и было неосмотрительно с вашей стороны до сих пор не отдать ее на оценку. А вы в курсе, какова страховка? Я не сразу понял, о чем речь, убаюканный спокойной обстановкой мастерской. От теплого красноватого света, такого же, как цвет дерева на корпусе скрипки, эта неожиданная в самом центре Грасии ^[372] тишина казалась очень надежной. Окно выходило во внутренний двор, где виднелось помещение для просушки дерева с открытой дверью. Там дерево неспешно старилось, покуда Земля, нынче уже круглая, сумасшедше крутилась, как юла.

Я в страхе посмотрел на скрипичного мастера: я не знал, о чем он меня спросил. Он улыбнулся и повторил вопрос.

– Мне в голову никогда не приходило ее оценивать, – ответил я. – Она была частью нашей обстановки и находилась у нас всегда. Мы никогда не хотели ее продавать.

– Вашему семейству повезло.

Я не ответил, что сомневаюсь, поскольку Пау Ульястреса это не касалось и он не мог прочитать эти строки, которые еще не были тогда написаны. Мастер с позволения Адриа поиграл на скрипке. Он сделал это лучше, чем профессор Казалс. Она звучала почти так же, как если б на ней играл Бернат.

– Она – чудо. Как Дель Джезу. И по размеру такая же.

– Все Сториони столь же хороши?

– Не думаю, что все. Но эта – да. – Закрыв глаза, он вдохнул ее запах. – Вы держали ее в футляре, да?

– Уже довольно давно – нет. Но некоторое время...

– Скрипки – живые. Скрипичная древесина – как вино. Она разрабатывается постепенно, и ей полезно чувствовать давление струн. Ее звук становится богаче, когда на ней играют; ей нравится, когда вокруг нужная температура, когда она может дышать, когда с ней аккуратно обращаются, чистят ее... Запирайте ее, только если уезжаете из дому.

– Я бы хотел связаться с ее предыдущими владельцами.

– У вас есть документ о праве на владение ею?

– Да.

Я показал ему договор о купле-продаже, заключенный между отцом и синьором Саверио Фаленьями.

– А документ, подтверждающий ее подлинность?

– Да.

Я показал ему справку, составленную дедом Адриа и скрипичным мастером Карлесом Кармоной в те времена, когда за смешные деньги можно было засвидетельствовать подлинность даже фальшивых купюр. Пау Ульястрес с любопытством изучил бумагу. И вернул мне без всяких комментариев. Он немного подумал.

– Вы не хотите ее оценить прямо сейчас?

– Нет. По правде говоря, я хочу лишь точно узнать, кто были ее прежние владельцы. И хочу с ними познакомиться.

Пау Ульястрес взглянул на документ о праве на владение:

– Саверио Фаленьями. Здесь же указано.

– Те, кто были владельцами до него.

– А можно узнать, почему вы хотите с ними связаться?

– Я и сам не знаю. Мне кажется, что эта скрипка принадлежала нашему семейству всегда. Меня никогда не волновало ее генеалогическое древо. Но сейчас...

– Вас беспокоит, подлинная ли она?

– Да, – солгал я.

– Если хотите мое мнение, то я готов дать руку на отсечение, что это инструмент, сделанный в лучшую пору деятельности Лоренцо Сториони. И об этом свидетельствует не документ, а то, что я вижу и слышу, когда играю на этой скрипке.

– Мне говорили, что это его самая первая работа.

– Лучшие из скрипок Сториони – первые двадцать. Говорят, это благодаря древесине, из которой они изготовлены.

– Древесине?

– Да. Она была исключительная.

– Чем именно?

Но мастер гладил мою скрипку и не отвечал. Я почувствовал ревность – столько нежности... Пау Ульястрес взглянул на меня:

– Так чего же вы хотите? И зачем пришли ко мне?

Трудно до чего-то доискиваться, не говоря до конца правды тем, кто тебе может помочь.

– Мне хотелось бы сделать генеалогическое древо всех владельцев, какие у нее были за всю историю ее существования.

– Прекрасная идея. Но это будет стоить бешеных денег.

Я не знал, как сказать ему, что, вообще-то, мне хочется выяснить, выдумали или нет сеньор Беренгер и Тито фамилию Альпаэртс. А также узнать, правильно ли, что владельца звали Нетье де Бук, как сказал мне отец. Или узнать, что оба имени не имеют отношения к настоящему владельцу и что скрипка всегда была и будет моей. Я ведь понимал, что конечно, конечно, если у скрипки был законный владелец до нациста, мне следовало связаться с ним, кто бы он ни был, упасть перед ним на колени и умолять его, чтобы он позволил мне держать ее у себя, пока я не умру. При одной только мысли о том, что Виал навсегда исчезнет из нашего дома, меня бросало в дрожь. Я готов был пойти на обман, чтобы не допустить этого.

– Вы меня слышите, сеньор Ардевол? Бешеных денег!

Если у меня и могли прежде возникнуть какие-то сомнения, то теперь я точно знал: Виал – настоящая. Быть может, я и пришел к Ульястресу только за этим: услышать это собственными ушами; убедиться, что я поссорился с Сарой из-за ценнейшей вещи, а не из-за кое-как сколоченных деревяшек, имеющих вид скрипки. Но нет, в глубине души я не знал, зачем пришел. Кажется, именно после похода в мастерскую Пау Ульястреса я стал размышлять о высококачественной древесине и о Иакиме Муредде.

На обед подали отвратительный суп с манкой. Он подумал, что надо бы сказать, что ему не нравится суп с манкой, вроде того, что ему давали в этом, как его... ссучий суп с манкой. Но все было не так-то просто. Он не понимал, в чем дело – то ли это его зрение, то ли еще что, но только с каждым разом ему было все труднее читать и запоминать что-либо. Проклятый потолок. Запоминать что-либо. Запоминать.

– Золотой мой, ты не хочешь есть?

– Нет. Я хочу почитать.

– Тебе надо давать суп с буквами.

– Да.

– Ну, давай поешь немного.

– Лола Маленькая.

– Вилсон.

– Вилсон.

– Что ты хочешь, Адриа, золотой?

– Почему я ничего не соображаю?

– Тебе сейчас надо есть и отдыхать. Ты уже наработался.

Вилсон дал ему пять ложек супа и счел, что с обедом Адриа покончено:

– Вот теперь можно почитать. – Он посмотрел на пол. – Ой, какой свинарник мы тут устроили... А если захочешь вздремнуть, скажи мне, я тебя уложу в постель.

Адриа, послушный, почитал немного. Он читал, с паузами, как Корнуделья [\[373\]](#) объясняет свое прочтение Карне [\[374\]](#). Читал с открытым ртом. Но потом ему стало как-то не так, Лола, и он устал, потому что лежащие на столе Карне и Гораций спутались в голове. Он снял очки и потер уставшие глаза. Он что-то не знал, где ему надо спать – в кресле или на кровати... Кажется, мне как следует не объяснили этого, подумал он. Может быть, на окне?

– Адриа!

Бернат вошел в *cinquantaquattro* [\[375\]](#) и смотрел на друга.

– А где мне надо лечь?

– Ты хочешь спать?

– Не знаю.

– А знаешь, кто я?

– Лола Маленькая.

Бернат поцеловал его в лоб и оглядел комнату. Адриа сидел в удобном кресле возле окна.

– Джонатан?

– Что?

– Ты – Джонатан?

– Я – Бернат!

– Нет, Вилсон.

– Вилсон – это тот расторопный эквадорец?

– Не знаю. Мне кажется, что... – Адриа посмотрел на Берната растерянно. – Я что-то запутался, – признался он.

За окном день был пасмурный, ветреный и холодный. Но не было бы никакой разницы, если б он был солнечный и радостный, – стекло слишком

прочно разделяло два мира. Бернат подошел к тумбочке, открыл ящик и положил туда Черного Орла и шерифа Карсона, чтобы они продолжали нести караул, бесполезный, но неизменный, лежа на грязной тряпке, – на ней все еще можно было различить темные и светлые клеточки и большой шов посередине. Эта тряпка поначалу вызвала столько разговоров у врачей, поскольку первые дни сеньор Ардевол ни на секунду не выпускал ее из рук. Да, доктор, эта тряпка грязная и отвратительная. Странно, правда? Что это за тряпка – драгоценность, что ли?

Адриа поскреб ногтем пятно на ручке кресла. Бернат обернулся на звук и спросил: ты в порядке?

– Не оттирается. – Он поскреб сильнее. – Видишь?

Бернат подошел поближе, надел очки и внимательно изучил пятно, словно оно очень его заинтересовало. Не зная, что сказать и что делать, он сложил очки и спокойно заявил, что это не отчищается. А потом сел напротив Адриа. Четверть часа они молчали, и никто им не мешал, потому что жизнь наша состоит из минут, проведенных в одиночестве, после чего мы...

– Ну ладно, посмотри на меня. Адриа, посмотри на меня, ради всего святого!

Адриа перестал скрестить ручку кресла и посмотрел на него слегка испуганно. Он смущенно улыбнулся, как будто его застали за чем-то нехорошим.

– Я отдал перепечатать твои рукописи. Мне очень понравилось. Очень. И то, что на обратной стороне листа, тоже. Я их издам. Твой друг Каменек советует мне это сделать.

Он посмотрел в глаза Адриа. Тот, потерянный, стал еще усерднее соскребать пятно с ручки кресла.

– Ты не Вилсон.

– Адриа, я говорю с тобой о том, что ты написал.

– Простите.

– Тебе не за что просить прощения.

– А это хорошо или плохо?

– То, что ты написал, мне очень нравится. Не знаю, очень ли это хорошо, но мне очень нравится. Ну что с тобой поделаешь, сукин ты сын!

Адриа посмотрел на собеседника, поскреб ручку кресла, открыл рот и снова закрыл. Потом развел руками в растерянности:

– А что я должен теперь делать?

– Слушать меня. Я всю жизнь... Нет, я всю свою ссучью жизнь пытался написать что-нибудь стоящее, что бы потрясло читателей,

а ты, никогда этим не занимавшийся, только взялся писать, как нащупал самое ранимое место в душе. По крайней мере, в моей душе. Ну что с тобой поделаешь, а?

Адриа Ардевол не знал, то ли ему поскрести пятно, то ли посмотреть на собеседника. Разволновавшись, он решил посмотреть на стену.

– Мне кажется, вы ошибаетесь. Я ничего не сделал.

– Ну что с тобой делать...

У Адриа наворачивались слезы. Он не хотел смотреть на этого человека. И потер руки.

– Что мне делать? – взмолился он.

Бернат, уйдя в свои мысли, не ответил.

– Сеньор, послушайте...

– Не называй меня так. Я Бернат. Я твой друг.

– Бернат, послушайте...

– Нет, это ты меня послушай. Я ведь теперь знаю, что ты обо мне думаешь. Я не жалею. Ты сумел меня разглядеть, и я это заслужил. Но у меня еще есть секреты, о которых ты даже не подозреваешь.

– Мне очень жаль.

Они замолчали. Тут вошел Вилсон и спросил: все в порядке, золотой мой? Он взял Адриа за подбородок, как ребенка, и приподнял его лицо, чтобы лучше видеть. Вытер ему слезы бумажным платочком, дал какую-то таблетку и полстакана воды. Бернат никогда не видел, чтобы Адриа пил с такой жадностью. Вилсон, глядя на Берната, опять спросил: все в порядке? Тот кивнул, – дескать, все просто отлично. Вилсон покосился на упавшую на пол манку. Кое-как подтер ее бумажным платочком и вышел из палаты, унося пустой стакан и насвистывая незнакомую мелодию с размером шесть восьмых.

– Я завидую тебе, что...

Десять минут прошли в молчании.

– Завтра я отнесу твои рукописи Бауса, хорошо? То, что написано зелеными чернилами. А то, что написано черными, я отправил Йоханнесу Каменеку и твоей коллеге по университету, ее фамилия Парера. Публиковать надо и то и другое. Ты согласен? И твои воспоминания, и твои размышления. Ты согласен, Адриа?

– Мне тут колет, – сказал Адриа, показывая на стену. – Как может быть, чтобы стена меня колола?

– Я буду держать тебя в курсе дела.

– И в носу у меня щиплет. Я очень устал. Не могу читать, потому что путаются мысли. Я уже не помню, что ты сказал.

- Я восхищаюсь тобой.
- Я больше так не буду. Клянусь.

Бернат не засмеялся. Он молча смотрел на друга. Потом взял его руку, которая время от времени сражалась с непослушным пятном, и поцеловал ее так, как целуют руку отцу или дяде в знак почтения. Затем посмотрел в глаза Адриа. Тот несколько мгновений не отводил взгляд.

– Ты знаешь, кто я, – утвердительным тоном произнес Бернат. – Ведь правда?

Адриа пристально взглядывался в него. Он кивнул и слегка улыбнулся.

– Кто я? – Робкая надежда промелькнула в голосе Берната.

– Да, ну как же... этот... этот самый. Да?

Бернат встал с серьезным видом.

– Нет? – спросил Адриа озабоченно. И посмотрел на стоящего перед собой мужчину. – Но ведь я знаю. Этот... этот самый. Никак не вспомню имя. Вы не знаете, но есть человек, который знает, ну конечно же знает... Тот, кого зовут... сейчас не помню, но я знаю... Он ко мне так внимателен. Очень внимателен. Он мне говорит... сейчас не помню, что он говорит, но это точно он.

И, помолчав, спросил в тревоге:

– Это ведь так, сеньор?..

В кармане Берната что-то завибрировало. Он достал мобильник. Прочел эсэмэску: «Куда ты пропал?» Наклонился к больному и поцеловал его в лоб:

- До свидания, Адриа.
- Всего доброго. Приходите, когда захотите...
- Меня зовут Бернат.
- Бернат.
- Да, Бернат. Прости меня.

Бернат вышел в коридор и пошел прочь. Он вытер навернувшиеся слезы. Потом быстро огляделся и набрал номер телефона.

- Куда ты, к черту, провалился? – Голос Ксении изменился.
- Слушай, все нормально.
- Ты где?
- Да нигде. Работаю.
- У тебя ведь не должно быть репетиции?
- Нет. Тут образовались другие дела.
- Давай приезжай, охота с тобой повозиться.
- Да я тут еще не меньше чем на час задержусь.
- Ты еще в налоговой?

– Да. Я больше не могу говорить. Пока.

И он повесил трубку, прежде чем Ксения успела еще о чем-нибудь его спросить. Уборщица, проходившая мимо с тележкой для ведра и тряпок, строго посмотрела на Берната, заметив у него в руках мобильник. Она показалась ему похожей на учительницу музыки Трульолс. Очень похожей. Женщина, рыгая, уходила в дальний конец коридора.

Доктор Вальс молитвенно сложил руки и покачал головой:

– Современная медицина тут бессильна.

– Но ведь он такой ученый. Такой умный. Сверходаренный! – Он слушал свой голос с ощущением дежавю, словно он – Кико Ардевол из Тоны. – Он владеет то ли десятью, то ли пятнадцатью языками!

– Все это в прошлом. Мы об этом не раз говорили. Если бегуну отнять ногу, то он не побьет больше никаких рекордов. Это вы понимаете? И тут – то же самое.

– Он написал пять знаковых книг по истории культуры.

– Да, мы это знаем. Но болезни на все это глубоко наплевать. Вот так-то, сеньор Пленса.

– И ничего уже не вернуть?

– Нет.

Доктор Вальс посмотрел на часы, не слишком демонстративно, но все же так, чтобы Бернат это заметил. Но тот не спешил уходить.

– Его навещает кто-нибудь еще?

– По правде говоря...

– У него есть двоюродные братья в Тоне.

– Иногда они приходят. Это тяжело видеть.

– И больше никто?

– Кое-кто из университетских коллег... Еще какие-то люди... но он много времени проводит один.

– Бедняга.

– Насколько мы можем понять, это его не слишком тревожит.

– Он может жить воспоминаниями?

– Не думаю. Он ничего не помнит. Живет сиюминутным. И тут же забывает.

– Вы хотите сказать, что он уже не помнит, что я приходил к нему?

– Он не только не помнит, что вы приходили, но, думаю, не понял толком, кто вы.

– Кажется, он вообще не слишком понимает, что происходит. Может, если его отвезти домой, его сознание прояснится?

– Сеньор Пленса, его болезнь заключается в образовании интранейрональных волокон...

Врач замолчал и немного подумал.

– Как вам объяснить... – Он еще немного подумал и продолжил: – Происходит преобразование нейронов в обычные волокна и в узлы... – Он посмотрел по сторонам, словно ища помощи. – Ну, чтобы вы себе это представляли, это как если бы мозг постепенно сковывался цементом. Вы можете отвезти вашего друга домой, но он не узнает и не вспомнит ничего. Его мозг сломался, и починить его уже нельзя.

– Так, значит, – никак не успокаивался Бернат, – он меня даже не узнаёт?

– Он ведет себя как вежливый человек, потому что хорошо воспитан. Он постепенно перестает узнавать всех без исключения и, я думаю, не знает уже и кто он сам такой.

– Но он еще читает.

– Это ненадолго. Скоро он это забросит. Он читает, но не может удержать в памяти только что прочитанный абзац и должен его перечитывать, понимаете? И так снова и снова. Он очень устал.

– Возможно, он не страдает от этого, если ничего не помнит?

– За это я полностью не поручусь. Внешне – нет. Но скоро начнут разрушаться и другие жизненно важные функции организма.

Бернат поднялся со слезами на глазах. Уходил в прошлое целый период его жизни. Уходил навсегда. И он сам понемногу и медленно умирал вместе со своим другом.

Трульолс вкатила в *cinquantaquattro* тележку с ведром. Взялась за ручки кресла и откатила Адриа в угол, чтобы не мешал.

– Привет, золотой! Ну что тут у нас случилось? – спросила она, оглядывая пол в палате.

– Привет, Вилсон!

– Какой же ты свинарник устроил!

Женщина принялась подтирать пятна супа на полу, говоря: ну-ка, сейчас мы тебя научим быть аккуратным, и Адриа посмотрел на нее с испугом. Трульолс подошла с тряпкой к креслу, откуда Адриа наблюдал за ней, уже готовый звать на помощь. Тогда она растянула верхнюю пуговицу на его рубашке, чтобы стала видна цепочка с медальоном, – точно как Даниэла сорок с лишним лет назад.

– Красивый.

– Да. Это мой.

- Нет – мой.
- А-а. – Он растерялся и не знал, что возразить.
- Ты мне вернешь, да?

Адриа Ардевол посмотрел на женщину, не зная, как быть. А она оглянулась на дверь и, осторожно взяв цепочку, сняла ее с Адриа через голову. На секунду задержала на медальоне взгляд и положила в карман халата.

- Спасибо, мой хороший.
- Не за что.

Дверь открыл он сам. Постаревший, но такой же худой, все с тем же пронизательным взглядом. Адриа почувствовал сильный запах, идущий из глубины квартиры, но сразу не смог понять, приятный или нет. Несколько секунд Беренгер стоял на пороге, словно с трудом узнавая посетителя. Он вытер выступившие на лбу капли пота белым, причудливо сложенным платком. И наконец сказал:

- Вот это да! Ардевол.
- Можно войти? – спросил Адриа.

Беренгер замялся. Потом пригласил его внутрь. В квартире было жарче, чем на улице. Прихожая была довольно большая, красивая, хорошо прибранная, ее украшала роскошная вешалка Педреля^[376] семидесятых годов девятнадцатого века, которая наверняка стоила целое состояние, – с подставкой для зонтов, зеркалом и множеством декоративных деталей. В углу – чиппендейловская консоль характерной формы, на ней букет из сухоцветов. Беренгер провел его в комнату, где на стене рядом висели картины Утрилло^[377] и Русиньола^[378]. Диван работы братьев Торрихос, уникальная вещь, видимо единственная сохранившаяся после исторического пожара в их мастерской. А на другой стене – разворот манускрипта, заботливо вставленный в рамку. Адриа не решился подойти посмотреть, что это за рукопись. Но издалека ему показалось, что это автограф шестнадцатого или начала семнадцатого века. Он почему-то почувствовал, что всему этому нетронутому, нерушиму порядку недостает прикосновения женской руки. Все было слишком безупречным, слишком коллекционным, чтобы тут жить. Адриа не мог не рассмотреть всю обстановку комнаты, с изящнейшей чиппендейловской козеткой в углу.

Сеньор Беренгер, не без чувства гордости, не мешал ему. Они сели. Вентилятор, совершенно бесполезный в такую жару, выглядел выбивающейся из общего стиля безвкусицей.

– Вот это да, – повторил сеньор Беренгер.

Адриа посмотрел ему прямо в глаза. Он наконец понял, что за резкий запах примешивался к духоте: этот запах стоял в отцовском магазине, он встречал Адриа каждый раз, когда тот приходил туда под присмотром отца, Сесилии или самого сеньора Беренгера. Вот и в доме у него пахнет магазином и рабочей атмосферой. В свои семьдесят пять лет сеньор Беренгер не думал сидеть сложа руки.

– Что это за история с владельцем скрипки? – спросил я, быть может, слишком резко.

– Обычное дело, – ответил он, не скрывая удовлетворения.

– Какое такое обычное дело? – процедил сквозь зубы шериф Карсон.

– Какое такое обычное дело?

– Ну, объявился владелец.

– Владелец сидит перед вами.

– Нет, владелец – один господин из Антверпена, уже очень пожилой. Нацисты отняли у него скрипку, когда он попал в Освенцим. Он приобрел ее в тысяча девятьсот тридцать восьмом. Все подробности можешь выяснить у него самого.

– А он может это доказать?

Сеньор Беренгер молча улыбнулся.

– Вы, должно быть, получили неплохие комиссионные.

Сеньор Беренгер провел рукой по лбу, по-прежнему молча улыбаясь.

– Мой отец приобрел ее законным образом.

– Твой отец присвоил ее в обмен на горстку долларов.

– А вы откуда знаете?

– Я при этом присутствовал. Твой отец был бандитом, он использовал всех подряд: сначала евреев, скрывавшихся кто как мог, потом нацистов, скрывавшихся организованно и в строгом порядке. Но всегда – людей разорившихся и срочно нуждавшихся в деньгах.

– Ну разумеется, без этого купля-продажа невозможна. Вы ведь наверняка в этом тоже участвовали.

– Твой отец был бессовестный человек. Он уничтожил документ о владельце скрипки, спрятанный внутри ее.

– Знаете, я не верю этому и вам не доверяю. Я знаю, что вы способны на все. Не расскажете, как к вам попал этот диван или гардероб из прихожей?

– Все в полном порядке, не волнуйся. У меня есть документы на право владения любым предметом моей обстановки. И я не такой фанфарон, как твой отец. Он, в общем-то, сам виноват в своей смерти.

– Что?!

Ответа не последовало. Сеньор Беренгер смотрел на меня с плохо скрываемой плутоватой усмешкой. С явной целью выиграть время, чтобы подумать, Карсон заставил меня сказать: я вас правильно понял, сеньор Беренгер?

Синьор Фаленьями вынул маленький дамский пистолет и, нервничая, навел на Феликса Ардевола. Тот не шевельнулся. Сделал вид, что подавляет улыбку, и покачал головой, словно в знак неодобрения:

– Вы тут один. Как вы избавитесь от моего тела?

– Я буду рад, если столкнусь с этой проблемой.

– У вас появятся и гораздо более серьезные проблемы: если я через десять минут не спущусь вниз своими ногами, люди, ждущие меня на улице, знают, что делать. – Он кивнул на пистолет и сказал с угрозой: – Учитывая это, я снижаю цену до двух тысяч. Вам ведь известно, кто входит в десятку лиц, наиболее разыскиваемых союзниками? – добавил он таким тоном, которым отчитывают непослушного ребенка.

Доктор Фойгт увидел, как Ардевол вынимает пачку купюр и кладет на стол. Он опустил пистолет и, глядя широко открытыми глазами, недоверчиво произнес:

– Тут полторы тысячи!

– Не выводите меня из себя, доктор Фойгт!

Так Феликс Ардевол блестяще защитил диссертацию на тему торговых операций. Уже через полчаса он со скрипкой быстро шагал по улице, чувствуя учащенное биение сердца и удовлетворение от отлично выполненной работы. Внизу никто Ардевола не ждал, чтобы сделать то, что нужно, если он не спустится своими ногами, и он почувствовал гордость за свою хитрость. Однако он недооценил записную книжку Фаленьями. И не обратил внимания на его полный ненависти взгляд. А вечером, не говоря никому ни слова, не поручив себя ни Богу, ни черту, ни сеньору Беренгеру, ни отцу Морлену, Феликс Ардевол написал донос на некоего доктора Ариберта Фойгта, офицера Ваффен СС, который скрывался в l'Ufficio della Giustizia e della Pace под видом безобидного толстого лысого консьержа, с рассеянным взглядом и распухшим носом, и о врачебной деятельности которого Феликс Ардевол ничего не знал. Доказать связь доктора Фойгта с Освенцимом было так же невозможно, как и в случае с доктором Будденем. Кто-то, видимо, сжег все

соответствующие бумаги, и взгляды всех дознавателей обратились к исчезнувшему доктору Менгеле и его окружению, в то время как расторопные ищейки, приписанные к остальным лагерям, успели уничтожить компрометирующие доказательства. Если ко всему этому еще добавить неразбериху, нескончаемые списки обвиняемых, некомпетентность майора О'Рурка, который регистрировал поступившие документы и, надо это признать, был завален работой выше головы, то неудивительно, что так и остались нераскрытыми и настоящая личность, и деятельность доктора Фойгта. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы за службу офицером в Ваффен СС, поскольку не удалось доказать его участие в тех жестоких операциях по зачистке и уничтожению, которые осуществлялись большинством частей СС.

По прошествии нескольких лет улица Солнца была полна мужчин в дишдашах^[379], которые выходили в этот час из величественной мечети Омейядов^[380] и делились мыслями о толковании пятничной суры, а может быть, возмущенно обсуждали растущие цены на обувь, чай и зелень. Но было там и много людей, которые, судя по их виду, никогда не переступали порога мечети. Они курили кальян, сидя на узких террасах кафе «Конкордия» или кафе «Ножницы», стараясь не размышлять о том, произойдет ли очередной государственный переворот прямо в этом году.

В двух минутах ходьбы от мечети двое мужчин сидели на камне у Оленьего фонтана, затерянного в лабиринте узких улочек, и молча смотрели в землю, не замечая ничего вокруг, словно карауля закат над Средиземным морем со стороны Баб-эль-Джабия^[381]. Кроме того, досужему наблюдателю могло показаться, что эти двое – ревностные мусульмане – дожидаются, чтобы солнце ушло спать и сумерки начали постепенно овладевать миром до тех пор, пока не наступит волшебное мгновение, когда невозможно будет отличить белую нить от черной, и начнется Маулид ан-Наби^[382], и имя Пророка будет вечно вспоминаться и почитаться. И наступил наконец тот волшебный миг, когда глаз человека не отличал больше белой нити от черной, и, хотя военные не придавали этому никакого значения, весь Дамаск стал праздновать Маулид ан-Наби.

Двое мужчин сидели неподвижно на камне, пока не услышали шаги, которые казались неуверенными. Какой-то европеец, судя по слишком торопливой походке и учащенному дыханию. Они, все так же молча, переглянулись и встали. Из-за угла Мушиного переуллка показался толстый человек с мясистым носом, вытиравший платком лоб, как будто Маулид ан-Наби приходился на жаркую летнюю ночь. Человек направился прямо

к двум мужчинам.

– Я – доктор Циммерманн, – сказал он.

Эти двое, не говоря ни слова, пустились быстрым шагом по улочкам в районе базара, и толстяку стоило большого труда не потерять их из виду где-нибудь на перекрестке или во все более и более густой толпе, кружащей по переулкам. Наконец они шагнули в полуоткрытую дверь какой-то лавки, набитой медной посудой, а он – вслед за ними. Они пробрались мимо гор кухонной утвари, по узкой тропке, ведущей в глубину помещения. Там, за занавеской, был выход во двор, освещенный дюжиной свечей. По двору в явном нетерпении прохаживался низкорослый лысый мужчина, облаченный в дишдаш. Увидев пришедших, он, не обращая внимания на проводников, пожал руку европейцу со словами: вы заставили меня поволноваться. Проводники исчезли так же беззвучно, как появились.

– У меня возникли проблемы на таможне в аэропорту.

– Все уладилось?

Европеец снял шляпу, будто бы желая сверкнуть лысиной, стал обмахиваться ею. И кивнул: да, уладилось.

– Отец Морлен... – обратился он.

– Здесь я исключительно Давид Дюамель. Исключительно.

– Месье Дюамель, что вам удалось разузнать?

– Многое. Но сначала я хочу расставить все точки над «й».

И отец Феликс Морлен при свете дюжины свечей расставил все точки над «й». Он шепотом, а его слушатель ловил каждое слово с таким вниманием, словно это была исповедь, только без исповедальни. Он сказал, что Феликс Ардевол не оправдал его доверия, злоупотребив ситуацией, в которой находился герр Циммерманн, и практически украв у него ценнейшую скрипку. Кроме того, нарушив священные правила гостеприимства, он донес на господина Циммерманна и выдал его местонахождение союзникам.

– Из-за этого наговора я получил пять лет каторжных работ за то, что служил своей родине во время войны.

– Войны против экспансии коммунизма.

– Войны против экспансии коммунизма, вот-вот!

– И что вы собираетесь делать теперь?

– Разыскать его.

– Хватит крови! – с пафосом произнес отец Морлен. – Имейте в виду, что хотя Ардевол – человек ненадежный и причинил вам ущерб, он остается моим другом.

– Я лишь хочу получить назад свою скрипку.

– Я сказал, хватит крови. Или вам объяснить по-другому?

– С его головы волоска не упадет. Клянусь вам в этом.

Как будто эти слова были полной гарантией его хорошего поведения, отец Морлен кивнул в знак согласия, достал из кармана брюк сложенный пополам листок и протянул его герру Циммерманну. Тот развернул его, поднес поближе к свече, быстро проглядел, свернул и убрал себе в карман.

– Ну хоть не зря приехал. – Он достал платок и промокнул лицо, говоря: ссучья жара, не понимаю, как можно жить в этой стране.

– Чем вы зарабатывали на жизнь, после того как вышли из тюрьмы?

– Психиатрией, разумеется.

– А...

– А вы что делаете в Дамаске?

– Я тут по делам ордена. В конце месяца возвращаюсь в монастырь Святой Сабины.

Отец Морлен, разумеется, не сказал, что пытается воскресить благородный институт шпионажа, который монсеньор Бениньи основал много лет назад и вынужден был упразднить из-за недалековидности ватиканских властей: те не замечали, что единственной реальной опасностью был коммунизм, ныне способный уничтожить всю Европу. Не сказал он и о том, что завтра исполняется сорок семь лет с тех пор, как он вступил в орден доминиканцев со священным и несокрушимым намерением служить Церкви и, если нужно, отдать ей свою жизнь. Вот уже сорок семь лет, как он попросил дозволения вступить в доминиканский монастырь в Льеже. Феликс Морлен родился зимой 1320 года в городе Жироне, где он и вырос в атмосфере ревностной набожности в семье, которая ежедневно, закончив труды праведные, собиралась на молитву. А потому никого не удивило, что юноша решил вступить в только набиравший силу орден доминиканцев. Он учился на медицинском факультете в Вене и в двадцать один год вступил в Национал-социалистическую партию Австрии под именем Али Бахра. Он готов был пройти школу, которая сделала бы из него хорошего кади или муфтия, и следовал образчикам мудрости, здравомыслия и справедливости, преподносимым его учителями. Вскоре он вступил в войска СС, личный номер 367.744, некоторое время сражался с врагом в Бухенвальде под началом доктора Эйзеле, а затем 8 октября 1941 года был назначен главным врачом опасного фронта борьбы в Аушвице-Биркенау, где самоотверженно работал на благо человечества. Непонятый, доктор Фойгт вынужден был бежать и скрываться под чужими именами – Циммерманн или Фаленьями, а теперь он терпеливо ждет момента, когда

все вернется на круги своя, Земля снова станет плоской, шариат распространится по всему миру и только избранные будут иметь право жить во имя Милосерднейшего. Тогда пределы мира покроются таинственным туманом и мы сможем вновь управлять и этой тайной, и теми, которые из нее проистекают. Да будет так!

Доктор Фойгт машинально ощупал содержимое кармана. Отец Морлен сказал, что лучше ему сесть на поезд до Алеппо. А оттуда поехать в Турцию тоже на поезде. На Таурус-экспрессе.

– Почему?

– Вам следует избегать портов и аэропортов. А если поезд отменят, наймите машину с шофером: доллары творят чудеса.

– Я знаю, как быть.

– Не уверен. Вы ведь прилетели на самолете.

– Но в полной безопасности.

– Полной безопасности не бывает. Вас задержали.

– Не думайте, что за мной следили.

– Мои люди уже позаботились об этом. А меня вы в глаза не видели.

– Разумеется, из-за меня вы никогда не подвергнетесь опасности, месье Дюамель. Я бесконечно вам благодарен.

До сих пор, словно забыв об этом, Фойгт не прикасался к брюкам. В чем-то вроде тряпичного пояса он прятал разные мелкие вещицы. Оттуда он вынул крохотный черный мешочек и отдал его Морлену. Тот ослабил веревочку, которой был стянут верх. Три большие бриллиантовые тысячегранные слезинки отразили и многократно приумножили свет двенадцати свечей. Морлен спрятал мешочек в потайных карманах дишдаша, а доктор Фойгт тем временем завязал пояс на брюках.

– Спокойной ночи, господин Циммерманн. Поезда на север начинают ходить с шести утра.

– Ссучья жара, – произнес сеньор Беренгер вместо ответа, поднимаясь и направляя вентилятор в свою сторону.

Таким же тихим голосом, каким когда-то – Адриа хорошо это помнил: он подслушивал за диваном – управляющий магазином угрожал отцу, Адриа сказал: сеньор Беренгер, законный хозяин скрипки – я. Коли они хотят обратиться в суд, пусть обращаются, но я предупреждаю, что, если они встанут на этот путь, я перетяну одеяло на себя и вы останетесь с голым задом.

– Как знаешь. У тебя материнский характер.

Никто никогда мне такого не говорил. Никто. Я и сам тогда не поверил. Я, скорее, почувствовал, что ненавижу этого человека, потому что из-за

него мы с Сарой поссорились. Пусть болтает какую угодно чушь.

Я встал, чтобы продемонстрировать твердость и придать вес своим словам. Но не успел я подняться, как уже раскаялся во всем, что наговорил, и в том, как повел дело. Тем не менее насмешливый взгляд Беренгера заставил меня двигаться дальше – со страхом, но продвигаться вперед.

– Лучше вам не говорить о моей матери. Я знаю, как она вас приструнила.

Я уже направился в прихожую и подумал, что мой визит оказался довольно дурацким: что он мне дал? Ничего не стало яснее. Я лишь объявил войну без особой уверенности, что хочу вести ее дальше. Но сеньор Беренгер, следуя за мной, вдруг помог мне:

– Мать твоя была на редкость вредной бабой, которая хотела отравить мне жизнь. В день ее смерти я открыл бутылку «Вдовы Клико». – Я чувствовал затылком дыхание Беренгера, пока мы шли в прихожую. – И отпиваю по глотку каждый день. Шампанское уже выдохлось, конечно, но зато я вспоминаю эту ссукину дочь сеньору Ардевол, чтоб ей пусто было! – Он вздохнул. – Как допью последний глоток, могу спокойно умирать.

Они наконец пришли в прихожую, и сеньор Беренгер встал перед ним. Он рукой показал, как будто пьет из бокала.

– Каждый день – оп! – глоточек. Отмечаю, что вредная баба померла, а я еще жив. Как ты можешь догадаться, Ардевол, твоя жена не передумает. Евреи так чувствительны к некоторым вещам...

Он открыл дверь.

– С твоим отцом можно было что-то обсуждать, он давал свободу действий ради пользы дела. А твоя мать была сволочь. Как все женщины, но особо зловредная. И я – оп! – по глоточку каждый день.

Адриа вышел на лестницу и обернулся, чтобы сказать в ответ что-нибудь достойное, например «вы дорого заплатите за эти оскорбления» или что-нибудь вроде того. Но вместо насмешливой улыбки сеньора Беренгера он увидел лакированную дверь, которую тот захлопнул у него перед носом.

В тот вечер дома в полном одиночестве я играл сонаты и партиты. Ноты мне были не нужны, несмотря на то что прошло столько лет, но вот пальцы требовались другие. И, исполняя вторую сонату, Адриа расплакался от полной тоски. В этот момент вошла вернувшаяся домой Сара. Увидя, что играю я, а не Бернат, она вышла, даже не поздоровавшись.

Моя сестра умерла через две недели после того разговора с сеньором Беренгером. Я даже не знал, что она больна, как и тогда про маму. Ее муж сказал мне, что об этом не знала ни она, ни вообще никто. Ей недавно исполнился семьдесят один год, и, хотя я ее давно не видел, даже в гробу она показалась мне элегантной женщиной. Адриа не понимал, что именно он испытывает: горе, безразличие, нечто странное; не знал, что переживает в этот момент. Его сейчас больше волновало недовольство Сары, нежели собственные чувства к Даниэле Амато де Карбонель, как говорилось о ней в некрологе.

Я не сказал ей: Сара, у меня умерла сестра. Когда Тито Карбонель позвонил мне, чтобы сообщить, что умерла его мать, я подумал, что он будет говорить про скрипку, и не сразу понял, в чем дело. А он сказал нечто совсем простое: прощание в морге на улице Кортс, если хочешь прийти, похороны завтра. Я повесил трубку и не сказал: Сара, у меня умерла сестра, потому что мне кажется, ты бы спросила: а у тебя есть сестра? А может быть, и ничего бы не спросила, потому что мы с тобой тогда не разговаривали.

В морге собралось много народу, а на кладбище Монжуика^[383] нас было лишь человек двадцать. Из ниши^[384] Даниэлы Амато открывался роскошный вид на море. Теперь ей это уже ни к чему, услышал я чей-то голос за спиной, когда рабочие запечатывали нишу. Сесилии на похоронах не было, – может, ей не сказали, а может, она уже умерла. Сеньор Беренгер делал вид, что не замечает меня. Тито Карбонель держался рядом с ним, словно устанавливая границу. Как мне показалось, единственный, кого эта смерть ошеломила и огорчила, был Албер Карбонель, который оказался в роли вдовца, не успев свыкнуться с мыслью о нежданно свалившемся одиночестве. Адриа видел его лишь пару раз в жизни, но сейчас тяжело было смотреть на этого безутешного человека, постаревшего на глазах. Когда мы спускались по широким аллеям кладбища, Албер Карбонель подошел ко мне, взял под руку и сказал: спасибо, что пришел.

– А как же иначе. Так жаль...

– Спасибо. Может, только тебе и грустно. Остальные уже считают деньги.

Мы замолчали. И пока шли к машинам, слышались шарканье ног по земле, чьи-то приглушенные реплики на ухо, высказанное вслух недовольство барселонской жарой, сдавленные покашливания. И тут,

словно пользуясь случаем, Албер Карбонель очень тихо сказал мне: берегись этого проныры Беренгера.

– Он работал у Даниэлы в магазине?

– Два месяца. А потом Даниэла его выгнала. С тех пор они смертельно ненавидели друг друга и не упускали случая друг другу об этом напомнить.

Он помолчал, как будто ему было трудно идти и одновременно разговаривать. Я смутно припомнил, что он, кажется, астматик. А может, я это придумал. Но он продолжил, говоря: Беренгер – жулик, он – больной.

– В каком смысле?

– В прямом: у него не все в порядке с головой. И он ненавидит женщин. Не может допустить, чтобы хоть одна женщина была умнее его. Или чтобы решила что-то вместо него. Это его задевает и грызет изнутри. Смотри, как бы он не сделал тебе какой-нибудь гадости.

– Вы хотите сказать, что он на это способен?

– От Беренгера всего можно ждать.

Мы распрощались у машины Тито. Пожали друг другу руки, и Албер сказал мне: береги себя. Даниэла не раз говорила о тебе с теплым чувством. Жаль, что вы перестали общаться.

– В детстве я однажды целый день был в нее влюблен.

Я сказал это, когда Албер уже садился в машину, и не знаю, слышал ли он меня. Уже из машины он слегка помахал мне рукой на прощание. Больше я его никогда не видел. Не знаю, жив ли он еще.

Только на полпути к дому, размышляя, должен ли я с тобой поговорить или нет, в плотном потоке машин около памятника Колумбу, вокруг которого толпились и фотографировались туристы, я вдруг осознал, что Албер Карбонель – первый, кто не называл Беренгера «сеньор Беренгер».

Когда я открыл входную дверь, Сара могла бы меня спросить: где ты был? – а я – ответить: на похоронах сестры. А она могла бы сказать: у тебя разве есть сестра? А я – ответить: да, сводная. А она: ты мог бы мне сказать об этом. А я: так ты ведь меня не спрашивала, а мы с ней почти не общались. А почему ты сегодня не сказал мне, что она умерла? Потому что пришлось бы упомянуть твоего друга Тито Карбонеля, который хочет у меня украсть скрипку, и мы бы опять поругались. Но когда я открыл входную дверь, ты не спросила меня: где ты был? – и я не смог ответить: на похоронах сестры, а ты не смогла спросить: у тебя разве есть сестра? Тут я заметил, что в прихожей стоит твоя дорожная сумка. Адриа посмотрел на нее с удивлением.

– Я уезжаю в Кадакес, – сказала Сара.

– Я с тобой.

– Нет.

Она вышла без всяких объяснений. Все произошло так стремительно, что я не успел осознать, насколько это важно для нас обоих. Оставшись один, Адриа, все еще ничего не понимая, в испуге открыл шкафы Сары и вздохнул с облегчением: ее вещи были на месте. Я решил, что ты, наверно, взяла с собой только несколько комплектов одежды.

Так как Адриа совершенно не понимал, что ему делать, он не делал ничего. Сара опять его бросила. Но на сей раз он знал почему. И сбежала она ненадолго. Ненадолго ли? Чтобы не думать об этом, он рьяно принялся за работу, но не так-то просто оказалось сосредоточиться на том, что должно было стать окончательным вариантом книги «Льюль, Вико, Берлин – три способа философствовать». Книги с не слишком удачным названием, работать над которой было совершенно необходимо, чтобы отойти от «Истории европейской мысли», угнетавшей его, возможно, потому, что этой работе было отдано столько лет, возможно, потому, что с ней было связано столько надежд, а возможно, потому, что на нее откликнулись те, кем он восхищался... Единство новой книге придавала среди прочего концепция исторического будущего. Адриа переписал заново все три эссе. Он работал над ними уже несколько месяцев. Я взялся писать их, любимая, после того как увидел по телевидению ужасающие кадры, на которых было здание в Оклахома-Сити, его разворотило бомбой, брошенной Тимоти Маквеем^[385]. Я ничего не сказал тебе об этом, потому что такие вещи лучше сначала написать, а потом говорить о них, если будет уместно. Я взялся писать, так как всегда думал, что те, кто убивает во имя чего-либо, не имеют права пачкать историю. Сто шестьдесят восемь человек, умерших по вине Тимоти Маквея. А тысячи убитых горем людей статистика не учитывает. Во имя чего эта непреклонность, Тимоти? И сам не знаю почему, но я представил себе, как еще один непреклонный человек – только его непреклонность была иного рода – спрашивает: зачем же уничтожать, Тимоти, если Бог есть Любовь?

– Пусть теперь американское правительство катится к чертовой матери!

– Тимоти, дорогой мой, ты какую веру исповедуешь? – вмешался

Вико.

– Потрошить тех, кто вредит стране.

– Но такой веры нет, – невозмутимо сказал Льюль. – Ибо известных религий суть три, Тимоти, сиречь: иудаизм, каковой есть ужасное заблуждение, да простит меня господин Берлин; ислам, каковой есть ложное верование неверных и врагов Церкви; и христианская вера, каковая есть единственная истинная и справедливая, ибо это религия Благого Бога, каковой есть Любовь.

– Я не понимаю тебя, старикан. Я убиваю правительство.

– А те сорок детей, которых ты убил, – это правительство? – спросил Берлин, протирая носовым платком очки.

– Неизбежные издержки.

– Теперь я тебя не понимаю.

– 1:1.

– Что?

– Один – один.

– Полковник, позволяющий убивать женщин и детей в селении, – отчеканил Вико, – преступник, которого надо судить.

– А если он убивает только мужчин – не надо? – насмешливо спросил коллегу Берлин, надевая очки.

– Чего вы не перепотрошите их всех?

– У этого юноши словесная мания всех потрошить, – заметил Льюль, сильно удивленный.

– Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут, Тимоти, – напомнил Вико на всякий случай. И уже собирался назвать номер главы и стиха у Матфея, но не вспомнил, потому что читал это очень давно.

– Да пошли вы все на хрен, старые пердуны!

– Завтра убьют тебя, Тим, – напомнил Льюль.

– 168:1.

И он начал таять.

– Что он сказал? Вы поняли хоть что-то?

– Да. Сто шестьдесят восемь, двоеточие, один.

– Похоже на каббалу.

– Нет. Этот парень никогда и не слышал о каббале.

– Сто шестьдесят восемь против одного.

Книга «Льюль, Вико, Берлин» была написана лихорадочно и стремительно, она меня совершенно вымотала, потому что каждый день, утром и вечером, я открывал шкаф Сары, а ее одежда по-прежнему висела там. Писать так очень тяжело. И однажды я писать перестал. Что вовсе

не означает, что я закончил книгу. Адриа захотелось выкинуть все листы с балкона. Но он ограничился тем, что спросил: Сара, ubi es?^[386] Затем, подождав минут пять в полной тишине, он не вышел на балкон, а сложил все листы в стопку, отодвинул их на край стола и сказал: я выйду, Лола Маленькая, не замечая, что Катерины уже не было. И отправился в университет, словно это было самое подходящее место, чтобы развеяться.

– Чем занимаешься?

Лаура обернулась. Она шла так, будто измеряла шагами размер внутреннего двора.

– Размышляю. А ты?

– Стараюсь развеяться.

– Как твоя книга?

– Я ее только что закончил.

– О-о-о! – радостно произнесла она. И взяла его за обе руки, но тут же отпустила, словно обжегшись.

– Но я не совсем уверен в этом. Невозможно соединить три столь выдающиеся личности.

– Так ты закончил или нет?

– В общем – да. Но я буду ее перечитывать и немедленно найду в ней множество недочетов.

– Так, значит, не закончил.

– Нет. Я ее написал. А теперь мне надо ее закончить. И не знаю, можно ли ее опубликовать. Честное слово.

– Не сдавайся, трус.

Лаура улыбнулась ему так, что он несколько смутился. Особенно потому, что, назвав его трусом, она была права.

Дней через десять, в середине июля, его остановил Тудо и с присущей ему неторопливостью спросил: слушай, Ардевол, ты, в конце концов, пишешь книгу или нет? Оба смотрели со второго этажа на освещенный солнцем и полупустой внутренний двор университета.

Мне трудно писать, потому что Сары нет рядом.

– Не знаю.

– Черт возьми, ну уж если ты не знаешь...

Ее нет: мы поругались из-за какой-то чертовой скрипки.

– Мне сложно соединить личности такие... такие...

– Такие выдающиеся. Конечно, это официальная версия, которая всем известна, – перебил его Тудо.

Господи, оставьте меня в покое!

– Официальная версия? А откуда все знают, что я пишу?

– Ты ведь звезда, парень.

И откуда ты только взялся?

Воцарилось долгое молчание. Как сообщают надежные источники, беседы с Адриа Ардеволом часто сопровождались долгими паузами.

– Льюль, Вико, Берлин, – медленно говорил Тудо откуда-то издалека.

– Да.

– Черт, ладно еще Льюль и Вико. Но Берлин?

Ну пожалуйста, не трогай ты меня, чертов зануда!

– Желание обустроить мир в соответствии со своим учением – вот что их объединяет.

– Ишь ты! Это может получиться интересно.

Потому я и взялся за это, дурак ты хренов, раз вынуждаешь меня ругаться!

– Но мне кажется, что это еще надолго. И не знаю, смогу ли я закончить книгу. Уточни официальную версию.

Тодо облокотился о каменные перила.

– Знаешь, – сказал он после долгого молчания, – я был бы очень рад, если бы ты справился. – Он искоса посмотрел на меня. – Мне было бы очень кстати почитать что-нибудь в этом роде.

И он многозначительно похлопал Адриа по руке и пошел в сторону своего кабинета. Внизу по внутреннему двору шла парочка влюбленных, взявшись за руки и не обращая ни на кого внимания, Адриа им позавидовал. Он знал, что если Тудо сказал: мне было бы очень кстати почитать что-нибудь в этом роде, то это не для того, чтобы польстить Адриа, и не потому, что Тудо по зубам книга, в которой соединяется несоединимое и автор пытается показать, что великие мыслители делают то же самое, что Толстой, только с идеями. Тудо не был наделен большим умом, и если он бредил несуществующей книгой, то лишь потому, что вот уже несколько лет мечтал подорвать позиции профессора Бассаса и на кафедре, и во всем университете, а для этого нельзя было придумать лучшего способа, чем создавать новых идолов в какой-нибудь отрасли науки. Если бы не ссора с тобой, я бы даже почувствовал себя польщенным оттого, что меня кто-то использует в своей борьбе за власть. Скрипка принадлежит нашей семье, Сара. Я не могу так поступить с моим отцом. Он ведь умер из-за этой скрипки, а ты теперь хочешь, чтобы я подарил ее какому-то незнакомому человеку, который утверждает, что скрипка – его? И если ты этого не понимаешь, так это потому, что, когда речь заходит о евреях, ты не слушаешь никаких доводов. И даешь заморочить себе

голову всяким бандитам, вроде Тито и сеньора Беренгера. Eloi, Eloi, lema sabactani^[387].

В пустом кабинете ему это сразу пришло в голову. Точнее говоря, он вдруг решился на это. Должно быть, сказала эйфория от почти законченной книги. Он набрал номер и терпеливо ждал, повторяя про себя: только бы она была дома, только бы была дома, только бы была дома... потому что иначе... посмотрел на часы: почти час. Наверняка застанет их за обедом.

– Я слушаю.

– Макс, это Адриа.

– Да-да.

– Она может подойти?

Легкая заминка.

– Подожди минутку.

Значит, она здесь! Не сбежала в Париж, в Huitième Arrondissement, не уехала в Израиль. Моя Сара все еще была в Кадакесе... Моя Сара не захотела уезжать далеко. На другом конце провода все еще царило молчание. Не было слышно ни шагов, ни обрывков разговора. Прошло не знаю сколько ужасающе долгих секунд. Затем снова раздался голос Макса:

– Слушай, она говорит, что... Мне очень жаль, слушай... Но она говорит, чтобы я спросил у тебя, вернул ли ты скрипку.

– Нет. Я хочу с ней поговорить.

– Дело в том, что... Она говорит... Она говорит, что иначе она не хочет подходить к телефону.

Адриа вцепился в трубку. У него вдруг пересохло в горле. И он не знал, что сказать. Словно догадавшись, Макс произнес: мне очень жаль, Адриа. Действительно жаль.

– Спасибо, Макс.

Он положил трубку ровно в тот момент, когда открылась дверь кабинета. Лаура удивилась, увидев его здесь. Она молча подошла к своему столу и несколько минут рылась в ящиках. Адриа сидел, не двигаясь и смотря в пустоту, участливые слова брата Сары все еще звучали у него в ушах как смертный приговор.

– С тобой все в порядке? – спросила Лаура, собирая толстые папки, которые она вечно повсюду таскала с собой.

– Вполне. Приглашаю тебя пообедать.

Не знаю, зачем я это сказал. Не для того, чтобы отомстить за что-то. Мне кажется, я это сделал для того, чтобы доказать Лауре и всем на свете,

что ничего не происходит, что я все держу под контролем.

Сидя за столом перед голубыми глазами и безукоризненной кожей Лауры, Адриа оставил в тарелке половину макарон. Никто из них так и не открыл рта. Лаура налила в его стакан воды, и вместо спасибо он кивнул.

– Ну что, как дела в целом? – спросил Адриа, придавая лицу приятное выражение, как будто вето на разговор вдруг было снято.

– Хорошо. Вот еду на пару недель в Алгарве.

– Здорово. Слушай, а Тудо слегка чокнулся, да?

– Разве?

Через несколько минут они пришли к выводу, что все же да, слегка, и что лучше бы ты не рассказывала про мою книгу, которой еще нет, потому как нет ничего хуже, чем писать, зная, что все следят, сможешь ли ты соединить Вико с Льюлем или нет, и т. д.

– Я слишком много болтаю, знаю.

Чтобы доказать это, она рассказала, что познакомилась с очень симпатичными людьми и встретится с ними в Алгарве, они путешествуют по Полуострову на велосипедах и...

– Ты тоже едешь на велосипеде?

– Это мне уже не по возрасту. Я еду в Алгарве валяться на пляже. Чтобы отключиться от факультетских заморочек.

– И пофлиртовать.

Она не ответила. Но бросила на меня взгляд, которого ей было достаточно, чтобы понять, что со мной происходит, потому что вы, женщины, наделены способностью все чувствовать, которой я всегда завидовал.

Не знаю, что сказать, Сара. Но все вышло именно так. В квартире Лауры – небольшой, но всегда чистой – царил организованный беспорядок, особенно в спальне. Не полный беспорядок, но такой, который бывает у человека, уезжающего отдыхать. Сложенная стопкой одежда, выставленные туфли, пара путеводителей и фотоаппарат. Они, как кошка с собакой, стали осматриваться.

– Это – электронный? – спросил Адриа, недоверчиво беря в руки фотоаппарат.

– Да. Цифровой.

– Ты, как всегда, не отстаешь от прогресса.

Лаура стоя сняла туфли и надела тапочки на танкетке, которые ей

очень шли.

– А ты, наверно, все еще пользуешься «лейкой».

– У меня нет фотоаппарата. И никогда не было.

– А как же воспоминания?

– Они здесь. – Адриа дотронулся до головы. – Они никуда не исчезают. И всегда наготове.

Я сказал это без всякой иронии, потому что не умею предсказывать будущее.

– Сюда помещается двести фотографий. – Она, стараясь скрыть нетерпение, забрала аппарат из рук Адриа и положила на тумбочку рядом с телефоном.

– Шикарно, – сказал он равнодушно.

– А потом можно скачать их в компьютер. Я смотрю их там чаще, чем в альбоме.

– Ну просто шикарно. Только для этого нужно иметь компьютер.

– Ну что? – произнесла она, уперев руки в бока. – Хочешь, чтобы я прочитала тебе лекцию о преимуществах цифровой фотографии?

Адриа посмотрел в ее голубые глаза и обнял ее. Так они стояли довольно долго, и я заплакал потихоньку. К счастью, она не заметила.

– Почему ты плачешь?

– Я не плачу.

– Обманщик. Почему ты плачешь?

К вечеру нашими стараниями организованный беспорядок в спальне превратился в хаос. Затем они провели добрый час, лежа неподвижно и глядя в потолок. Лаура внимательно посмотрела на медальон Адриа:

– Почему ты всегда его носишь?

– Да вот так.

– Но ведь ты не веришь в...

– Он мне нужен, чтобы вспоминать.

– Что вспоминать?

– Не знаю.

Тут зазвонил телефон. Он звонил на тумбочке у кровати, со стороны Лауры. Они молча переглянулись, будто преступники, словно спрашивая друг у друга, не ждал ли кто-то из них звонка. Лаура, которая лежала положив голову на грудь Адриа, не шевелилась, и оба слушали, как настойчивый звонок все звенел, и звенел, и звенел... Адриа не сводил глаз с волос Лауры, думая, что она возьмет трубку. Но нет. Телефон продолжал звонить.

VI. Stabat mater^[388]

Все, что у нас есть, нам отпущено свыше.

Элен Сиксу^[389]

50

Два года спустя телефон внезапно зазвонил, и Адриа подпрыгнул, как и каждый раз, когда слышал звонок. Он долго смотрел на аппарат. В квартире было темно, если не считать настольной лампы, горевшей в кабинете. В квартире было тихо, если не считать звонка телефона. В квартире не было тебя. Он положил закладку в книгу Эдварда Карра^[390], закрыл ее и еще несколько секунд смотрел на звонивший телефон, как будто это могло все решить. Он подождал довольно долго, и, поскольку звонивший все проявлял упрямство, Адриа Ардевол провел руками по лицу, снял трубку и произнес: слушаю.

У него были грустные слезящиеся глаза. Ему было под восемьдесят, и выглядел он дряхлым и совершенно подавленным. Он остановился на лестничной площадке, часто дыша и изо всех сил сжимая небольшую дорожную сумку, как будто именно она давала ему силы жить. Услышав шаги Адриа, который медленно поднимался по ступеням, он обернулся. Оба молча смотрели друг на друга несколько секунд.

– Mijnheer^[391] Адриан Ардефóл?

Адриа открыл входную дверь и пригласил мужчину войти, а тот на плохом английском принялся объяснять, что это он звонил сегодня утром. Я не сомневался, что вместе с этим незнакомцем впускал в свой дом очень грустную историю, но выбора у меня не было. Я закрыл дверь, чтобы наши секреты не стали известны соседям по площадке и всему подъезду. Я с ходу предложил гостю говорить по-голландски и заметил, что влажные глаза незнакомца заблестели, когда он кивнул в знак благодарности. Адриа пришлось стряхнуть пыль со своего основательно подзабытого голландского, чтобы спросить старика, зачем он пришел.

– Это долгая история. Потому-то я и спрашивал вас, располагаем ли

мы временем.

Адриа пригласил старика в кабинет и заметил, что тот, войдя, не смог скрыть свое восхищение, словно посетитель Лувра, который вдруг оказался в зале, полном сюрпризов. Незнакомец робко прошелся по кабинету, рассматривая полки с книгами, картины, инкунабулы, шкаф с музыкальными инструментами, оба стола, твой автопортрет, книгу Карра, которую я еще не дочитал, рукопись под лупой – мое последнее приобретение: шестьдесят три страницы автографа *The Dead* с любопытными замечаниями на полях, не исключено, что и самого Джойса. Осмотрев все, старик в молчании взглянул на Адриа.

Адриа усадил его за стол так, что они оказались друг против друга, и подумал: какое горе растянуло рот этого человека в страдальческий оскал? Старик с трудом расстегнул молнию на сумке и извлек оттуда нечто, тщательно завернутое в бумагу. Он аккуратно развернул сверток. Адриа увидел потемневшую от грязи тряпицу, на которой еще угадывались темные и светлые клетки. Незнакомец снял бумагу и положил тряпицу на стол так, будто совершал ритуал, и осторожно разложил ее, как если бы внутри хранилось драгоценнейшее сокровище. Адриа показалось, что это священник, раскладывающий антиминс^[392] в алтаре. Когда тряпка была разложена, я с некоторым разочарованием увидел, что внутри ничего нет. Шов посредине тряпицы, как граница, разделял ее на две равные части. Я не увидел в ней ничего примечательного. Незнакомец снял очки и бумажным платочком вытер правый глаз. Оценив почтительное молчание Адриа, гость, глядя ему в глаза, сказал, что не плачет, но вот уже несколько месяцев, как у него появилась неприятная аллергия, из-за которой... и т. д., и старик улыбнулся, словно извиняясь. Посмотрев вокруг, он выбросил платок в корзину. А потом торжественным жестом указал на старую заскорузлую тряпицу, протянув к ней обе руки и словно приглашая задать вопрос.

– Что это? – спросил я.

Незнакомец положил обе ладони на тряпицу и сидел так несколько минут, будто читая про себя молитву, а затем сказал изменившимся голосом: теперь представьте себе, что вы дома сидите и обедаете с женой, тещей и тремя дочками, теща уже неважно себя чувствует, и вдруг...

Старик поднял голову – теперь его глаза были полны слез, не от аллергии и т. д., а настоящих. Но он не стал вытирать слезы боли, посмотрел прямо перед собой и повторил: представьте себе, что вы дома обедаете с женой, больной тещей и тремя дочками, на столе новые нарядные салфетки в бело-голубую клетку, потому что у маленькой

Амельете, самой старшей из трех, день рождения. И вдруг кто-то выбивает входную дверь, даже не позвонив, и входит вооруженный до зубов немец в сопровождении еще пяти солдат, стуча сапогами, и все хором кричат: schnell, schnell и raus, raus^[393], и, не дав дообедать, тебя вышвыривают из собственного дома навсегда, на всю жизнь, не позволив даже обернуться, чтобы посмотреть на праздничные салфетки, на новые салфетки, которые моя Берта купила за два года до этого; не позволив взять с собой ничего, выгоняют в том, что на тебе. Что такое raus, папа? – спросила Амельете, и я не смог уберечь ее от подзатыльника прикладом, потому что нечего спрашивать, что такое raus, ведь немецкий понятен всем и сразу, а тот, кто не понимает, дурной веры и за это поплатится! Raus!

Через две минуты они спускались вниз по улице. Теща задыхалась, она держала в руках футляр со скрипкой, который ее дочь, вернувшись с репетиции, оставила в прихожей. У девочек от страха глаза стали огромными, моя Берта, бледная, крепко прижимала к груди маленькую Жульет. По улице мы почти бежали, потому что солдаты, очевидно, очень торопились. В окна на нас молча бросали взгляды соседи. Я взял за ручку Амелию, которой в тот день исполнилось семь лет, она плакала, потому что затылок болел от удара, а немецкие солдаты были страшные. Бедненькая пятилетняя Труде умоляла, чтобы я взял ее на руки, и я посадил ее на плечи, а Амелии приходилось бежать, чтобы не отстать от нас. И пока мы не оказались на Стеклянной площади, где стоял грузовик, я не замечал, что все еще сжимаю в руке клетчатую бело-голубую салфетку.

Как мне потом рассказывали, бывали и более гуманные солдаты. Которые говорили: можете взять с собой двадцать пять килограммов вещей, у вас полчаса на сборы, только schnell! И тут начинаешь вспоминать, что у тебя есть в доме. Что взять с собой? Книгу? Обувную коробку с фотографиями? Посуду? Лампочки? Матрас? Мама, а что значит schnell? И сколько это – двадцать пять килограммов? В конце концов берешь ненужный брелок для ключей, который одиноко висит в прихожей и который потом, если выживешь и не обменяешь его на плесневелую корку хлеба, превратится в священный символ обыкновенной счастливой жизни, той, что ты жил до того, как пришла беда. Мама, зачем вы взяли это с собой? Замолчи, ответила мне теща.

Я покинул дом навсегда под грохот солдатских сапог. Я покинул эту жизнь вместе с бледной от ужаса женой, перепуганными дочками и едва не теряющей сознание тещей и ничего не мог поделать. А ведь мы жили в христианском квартале. Кто донес на нас? За что? Как они узнали? Как вынюхивали евреев? Сидя в кузове грузовика и стараясь не смотреть

на полных отчаяния детей, я спрашивал себя кто, как и за что. Когда нас заставляли лезть в набитый испуганными людьми грузовик, отважная Берта с малышкой и я с Труде оказались в одном углу. Кашляющая теща была чуть поодаль. Берта стала кричать: где Амелия? Амелъете, где ты? Не потеряйся, Амелия! И тогда маленькая ручка просунулась, схватила меня за брючину, и Амелия, еще сильнее напуганная оттого, что на какое-то время осталась одна, посмотрела на меня снизу, моля о помощи. Она тоже хотела забраться ко мне на руки, но не смела просить об этом, потому что Труде – младшая. Этот взгляд я запомнил на всю жизнь, на всю свою жизнь, – взгляд, умоляющий о помощи, которую ты не можешь, не в силах оказать. И с ним я отправлюсь в ад, потому что не смог помочь своей дочурке в беде. Мне лишь пришло в голову отдать ей клетчатую белоголубую салфетку, а она вцепилась в нее обеими руками и посмотрела на меня с благодарностью, как будто я подарил ей великое сокровище, талисман, который будет ее охранять, где бы она ни оказалась.

Но талисман не помог, потому что после того, как мы тряслись в кузове грузовика, а потом ехали в запечатанном, удушающе вонючем товарном вагоне, у меня вырвали из рук Труде, несмотря на мое отчаянное сопротивление. А когда меня ударили по голове с такой силой, что я почти потерял сознание, малышка Амелия исчезла, – мне кажется, ее загнали собаки, они лаяли не переставая. Куда делась Берта с крохотной Жульет на руках, я не знаю. Мы не смогли с ней взглянуть друг на друга в последний раз – хотя бы для того, чтобы поделиться немым отчаянием, которым завершилось наше добытое в трудах счастье. А где все время кашляющая, вцепившаяся в скрипку мать Берты? Где Труде, где Тру, которую я выпустил из рук? Я никогда больше их не видел. Едва нас ссадили с поезда, как я потерял навсегда всех своих женщин. Дзыыыыыыынь. И хотя меня пинали и кричали приказы прямо в ухо, я в отчаянии вытягивал шею, высматривая их, и успел увидеть, как двое солдат с сигаретой во рту выхватывали таких же младенцев, как моя Жульет, из рук матерей и ударяли малышкой о деревянные вагоны, чтобы сразу приструнить этих баб, ссучье отродье. Именно тогда я принял решение никогда больше не говорить ни с Богом Авраама, ни с Богом Иисуса.

Дзыыыыыыыынь! Дзыыыыыыыынь!

– Простите, – вынужден был сказать Адриа.

Старик посмотрел на меня непонимающим, отсутствующим взглядом. Быть может, он даже не помнил, что сидит передо мной, как будто историю, которую он рассказывал мне, он уже тысячу раз рассказывал себе самому,

чтобы притупить боль.

– Звонят в дверь, – сказал Адриа, поднимаясь и глядя на часы. – Это мой друг, он... – И вышел из кабинета, прежде чем гость ответил.

– Дорогу, дорогу, а то тяжело... – произнес Бернат, бодро входя в квартиру с огромной коробкой в руках. – Куда поставить?

Он уже стоял в кабинете и удивился, обнаружив там незнакомца:

– Ой, простите.

– Ставь на стол, – сказал Адриа, входя вслед за ним.

Бернат опустил громоздкую ношу на стол и робко улыбнулся незнакомцу.

– Здравствуйте, – сказал он.

Незнакомец наклонил голову в знак приветствия, но не произнес ни слова.

– Слушай, помоги мне, – попросил Бернат, пытаясь достать компьютер из коробки. Адриа потянул коробку вниз, и компьютер оказался в руках у Берната.

– Я тут...

– Вижу. Зайти попозже?

Так как мы говорили по-каталански, я позволил себе кое-что пояснить и сказал, что визит – неожиданный и что, судя по всему, это еще надолго. Давай завтра, если тебе удобно.

– Нет проблем. – И Бернат скромно обратился к незнакомцу: – Нет проблем?

– Нет, нет.

– Отлично. Значит, до завтра. – И, кивнув на компьютер: – Не трогай его без меня.

– Боже сохрани.

– Здесь клавиатура и мышка. Коробку я забираю. А завтра принесу принтер.

– Спасибо тебе.

– Благодарю Льюренса. Я всего лишь посредник.

Бернат посмотрел на незнакомца и сказал ему всего хорошего. Тот вновь кивнул в ответ. И Бернат ушел, говоря: провожать меня не надо, продолжай, продолжай.

Он вышел из коридора, и мы услышали, как хлопнула входная дверь. Я снова сел напротив своего гостя, извинившись, что прервал его. И жестом пригласил его продолжить, как будто нас не прерывал Бернат, принесший старый компьютер Льюренса в надежде отвлечь меня от нездоровой привычки писать от руки перьевой ручкой. Подарку

сопутствовал уговор об энном количестве уроков интенсивного курса компьютерной грамоты, где число N зависело от терпения как ученика, так и преподавателя. Но на самом деле я согласился только для того, чтобы на собственной шкуре проверить, что такое этот самый компьютер, который всех приводит в восторг, а мне вовсе не нужен.

Увидев мой жест, старик, явно не сбитый с толку визитом Берната, продолжил, как будто знал текст наизусть, сказав: много лет я спрашивал себя, я задавал себе множество вопросов, которые все в конце концов слились в один. Почему выжил именно я? Почему, если я – никчемный человек, без всякого сопротивления позволивший солдатам увести трех дочерей, жену и больную тещу? Я ведь даже пальцем не пошевелил, чтобы их защитить. Почему же выжил именно я? Почему, если и до тех пор я был совершенно никчем, служил бухгалтером в Hauser en Broers, вел скучную жизнь и единственное полезное, что сделал, – зачал трех дочерей: одну с волосами черными, как эбеновое дерево, другую – с темно-русыми, как благородная древесина дуба, и самую младшую – с золотисто-рыжими, как мед? Почему? За что это страшное наказание – мучительная тревога оттого, что ничего не известно наверняка, оттого, что я не видел их мертвыми и до конца не уверен, что они мертвы, три дочери, жена и теща, которая все время кашляла? После двух лет поисков, предпринятых мной после войны, мне пришлось принять вывод судьи, который заключил следующее: на основании имеющихся доказательств, как прямых, так и косвенных – последние он называл неоспоримыми, – можно почти с полной уверенностью утверждать, что все они умерли в день прибытия в Освенцим, поскольку в те месяцы, согласно найденным в концлагере документам, всех женщин, детей и стариков сразу отправляли в газовые камеры и оставляли только работоспособных мужчин. Почему выжил я, именно я? Когда меня отогнали от дочерей и Берты, я решил, что меня ведут на смерть, потому что по наивности подумал, будто немцам опасен я, а не женщины. Но все было наоборот: для них опасность представляли женщины и дети, особенно девочки, через которых проклятая еврейская раса может размножиться и в будущем отомстить. Они не отступали от этой идеи – вот почему я все еще жив, странным образом жив сейчас, когда Освенцим превратился в музей, где один только я ощущаю жуткий запах смерти. Быть может, я дожил до этого дня и рассказываю вам все это потому, что струсил в день рождения Амельете. Или потому, что в дождливую субботу в бараке украл плесневелый сухарь у старого Мойши из Вильнюса. Или потому, что отступил на шаг, когда блокфюрер решил нас проучить и стал бить прикладом всех подряд, и удар, который

предназначался мне, убил паренька, чьего имени я уже никогда не узнаю, — он был из украинской деревушки на границе с Венгрией, и волосы у него были черные как уголь, еще чернее, чем у моей бедняжки Амелъете. Или потому, что... Откуда мне знать... Простите меня, братья, простите меня, доченьки, Жульет, Тру и Амелия, и ты, Берта, и ты, мама, простите меня за то, что я выжил.

Он замолк, но по-прежнему смотрел в одну точку, ничего не видя вокруг, потому что о такой боли невозможно рассказывать, глядя кому-то в глаза. Он сглотнул слюну, а я, будто приросший к креслу, и не подумал о том, что старику, так долго говорившему, хорошо было бы выпить воды. А он, словно и не хотел пить, продолжил свой рассказ и сказал: вот так я жил — повесив голову, оплакивая свою трусость и пытаюсь найти хоть какой-то способ исправить свою подлость, пока мне не пришло в голову найти место, куда никогда не проникают воспоминания. Я стал искать укрытия. Безусловно, я ошибался, но мне необходимо было хоть какое-то прибежище, и я попробовал приблизиться к Богу, в котором разуверился, ибо Он и пальцем не пошевелил, чтобы спасти безвинных. Не знаю, сможете ли вы меня понять, но полное отчаяние толкает человека на странные поступки: я решил поступить в картезианский монастырь, где мне объяснили, что это была не самая удачная идея. Я никогда не был верующим. Я христианин по крещению, но у нас дома религия сводилась к следованию традициям, и от родителей мне передалось равнодушие к вере. Я женился на моей любимой Берте, на моей храброй супруге, которая была еврейкой, но тоже не из религиозной семьи, и из любви ко мне не раздумывая вышла замуж за гоя. Благодаря ей я стал евреем в душе. После отказа картезианцев я стал говорить неправду и в двух других местах, куда обращался, никогда не объяснял причин моего страдания, даже не показывал его. Я понял, что нужно говорить, а о чем следует молчать, и когда постучался в ворота четвертой обители — аббатства Святого Бенета Акельского, то был уверен, что никто не станет препятствовать моему запоздалому воцерковлению. Я попросил, коли послушание не потребует иного, жить в монастыре постоянно, исполняя самую тяжелую работу. С тех самых пор я снова начал понемногу говорить с Богом и научил коров слушать меня.

Тут я услышал, что звонит телефон, но у меня не хватило духу подойти. К тому же впервые за два года я не боялся звонившего телефона. Незнакомец, который постепенно переставал быть таким уж незнакомым, которого звали Маттиас, а с некоторого времени — брат Роберт, посмотрел на телефон, а потом на Адриа, ожидая, что тот будет делать. Поскольку

хозяин не проявил никакого интереса к звонку, старик снова продолжил.

– Вот так, значит, – произнес он, чтобы заставить себя говорить дальше. Но возможно, он уже все сказал, потому что начал складывать грязную тряпицу, будто собирая лоток на рынке после долгого трудового дня. Он делал это аккуратно, вкладывая в это действие всю душу. Потом положил сложенную салфетку перед собой. И повторил: *dat is alles*^[394], как будто никаких объяснений больше не требовалось. Тогда Адриа нарушил свое долгое молчание и спросил: зачем вы мне все это рассказали? и добавил: при чем тут я?

Никто из них не заметил, что охрипший телефон перестал звонить. Теперь до них долетал только приглушенный шум машин, ехавших по улице Валенсия. Оба молчали, словно прислушиваясь к звукам барселонского Эшампле. Пока наконец я не посмотрел старику в глаза, а он, не отвечая на мой взгляд, не сказал: я признаюсь вам, что не знаю, куда делся Господь Бог.

– Да, но...

– Долгие годы в монастыре Он был частью моей жизни.

– Этот опыт оказался для вас полезным?

– Не думаю. Но мне пытались доказать, что страдание создал не Бог, что оно – следствие свободы человека.

На сей раз он посмотрел на меня и продолжил, слегка повысив голос, словно на собрании: а землетрясения? А наводнения? И почему, когда кто-то совершает зло, Господь не препятствует ему? А?

Он положил ладони на сложенную тряпицу.

– Я много раз говорил об этом с коровами, когда был пастухом в монастыре. И всегда приходил к неутешительному выводу, что виноват Бог. Потому что не может быть, чтобы зло было заключено только в воле злодея. Это слишком просто. Это, в конце концов, дает нам право убить его: изведи червя, изведешь и гниль, сказано Господом. А это не так. Хоть и без червя, а гниль живет в душе нашей долгие века.

Он огляделся, не замечая книг, которые его так впечатлили, когда он вошел в кабинет. И продолжал:

– Я пришел к заключению, что раз Всемогущий Бог позволяет зло, то Бог – это измышление дурного вкуса. И я сломался в душе.

– Я понимаю вас. Я тоже не верю в Бога. Виновный всегда имеет фамилию и имя. Его зовут Франко, Гитлер, Торквемада, Амальрик, Иди Амин, Пол Пот, Адриа Ардевол или как-нибудь еще. Но у него есть имя и фамилия.

– Нет. Инструмент зла всегда имеет имя и фамилию. Но вот само зло,

сущность зла... этого я еще окончательно не понял.

– Только не говорите мне, что вы верите в дьявола.

Он несколько секунд молча смотрел на меня, как будто взвешивая мои слова, отчего я в конце концов даже почувствовал гордость. Но нет, его голова была устроена иначе. Ему явно не хотелось философствовать:

– Тру, та, что с темно-русыми волосами, Амелия, та, что с черными, как эбен, Жульет, солнечно-рыжая малышка. И больная теща. И мой щит, моя жена Берта, которая, как приходится думать, умерла пятьдесят четыре года и десять месяцев назад. А я по-прежнему чувствую вину за то, что до сих пор живу. Каждое утро я просыпаюсь, думая о том, что им меня не хватает, и так день за днем... И теперь, когда мне исполнилось восемьдесят пять, а я все никак не умру, я испытываю ту же боль все с той же силой, как в тот день. А поскольку я, несмотря ни на что, никогда не верил в прощение, я решил отомстить...

– Что, простите?

– ...и обнаружил, что месть не может быть окончательной. Ты можешь лишь восторжествовать над тем дураком, который тебе попался. Но ты всегда испытываешь неудовлетворение при мысли о том, сколько их осталось безнаказанными.

– Понимаю вас.

– Нет, вы меня не понимаете, – сухо перебил он меня. – Потому что месть вызывает еще больше страдания и не приносит никакого удовлетворения. Я спрашиваю себя: если я не могу простить, почему же месть не приносит мне удовлетворения? А?

Он замолчал, и я из уважения не нарушал его молчания. Мстил ли я кому-нибудь? Наверняка, совершая множество мелких подлостей по ходу жизни, – наверняка. Я посмотрел ему в глаза и настойчиво спросил:

– А в какой части вашей истории появляюсь я?

Я спросил это слегка растерянно – может быть, рассчитывая сыграть важную роль в этой исполненной таких страданий жизни, а может быть, желая ускорить события, которых боялся.

– А вот теперь-то на сцену и выходите вы, – произнес он, не до конца скрывая улыбку.

– Что вам угодно?

– Я пришел забрать скрипку Берты.

Снова зазвонил телефон – так, словно раздались бурные аплодисменты в адрес исполнителей незабываемого спектакля.

Бернат подключил к розетке компьютер, включил его, и, пока он ждал,

чтобы экран засветился, я объяснил ему, что произошло накануне. Чем дальше он слушал, тем шире у него открывался рот.

– Что-что? – произнес наконец он вне себя.

– Ты прекрасно понял.

– Да ты... да ты... ты просто спятил!

Он подключил мышку и клавиатуру. В ярости ударил по столу рукой и зашагал по комнате. Он подошел к шкафу с инструментами и резко открыл его, словно желая убедиться в том, что я рассказал правду. После чего со злостью захлопнул дверцу.

– Смотри не разбей мне стекло, – предупредил я.

– К черту твое стекло! И сам ты катись к черту!!! Почему ты меня не предупредил?

– Потому что ты бы не помог.

– Конечно. Но как же ты мог...

– Очень просто.

Старик встал, подошел к шкафу, открыл его и вынул Сториони. Он погладил скрипку, в то время как Адриа наблюдал за ним молча, с недоверием. Обняв скрипку, мужчина заплакал; Адриа не мешал ему. Потом он достал из шкафа смычок, натянул его, посмотрел на меня, спрашивая, можно ли... и заиграл. У него получалось не очень хорошо. Скорее – довольно плохо.

– Я не скрипач, в отличие от жены. Просто любитель.

– А Берта?

– Она была большим музыкантом.

– Да, но...

– Концертмейстером Антверпенской филармонии.

Он принялся наигрывать еврейскую мелодию, которую я много раз слышал, но что это, точно не помнил. Так как на скрипке она у него выходила плохо, он допел ее. У меня мурашки пробежали по коже.

– Ты со своими мурашками просто наплевал на меня, подарив ему скрипку!

– Я поступил по справедливости.

– Он наглый обманщик! Ты что, не видишь? Господи боже ты мой! Послать к чертовой матери наш Виал! После стольких лет... Что бы сказал твой отец, а?

– Не смей меня. Ты ведь ни разу на ней не играл.

– Но я до смерти этого хотел, твою мать! Как будто ты не знаешь, что иногда может значить отказ! Ты что, не знаешь, что, когда ты говорил мне: играй на ней, возьми ее с собой на гастроли, Бернат застенчиво улыбался

и убирал инструмент в шкаф, качая головой и повторяя: нет, нельзя, никак нельзя, это слишком ответственно? А?

– Но ведь ты говорил «нет».

– Нет может означать «да»! Может означать «я до смерти этого хочу»! – Бернат, выпучив глаза, готов был меня растерзать. – Неужели это так трудно понять?!

Адриа помолчал некоторое время, как будто ему трудно было осмыслить такую жизненную позицию.

– Слушай, парень, ты просто предатель, – продолжал Бернат. – И к тому же дал себя облапошить старику, рассказавшему жалостливую историю. – Он кивнул на компьютер. – А я-то еще пришел тебе помочь.

– Может, займемся этим в другой раз? Сегодня мы... что-то...

– Черт побери, да ты полный идиот, если отдаешь скрипку первому плаксе, постучавшему в твою дверь. Поверить не могу!

Допев мелодию, старик убрал скрипку и смычок в шкаф и снова сел, застенчиво бормоча: в моем возрасте играть можно уже только себе самому. Все забываешь, пальцы не те, и руке не хватает сил, чтобы как следует держать инструмент.

– Понимаю.

– Быть старым неприлично. Старость непристойна.

– Понимаю.

– Нет, не понимаете. Как бы я хотел умереть прежде жены и дочерей, а я превращаюсь в дряхлого старика, как будто хватаюсь за жизнь.

– Вы хорошо сохранились.

– Не выдумывайте. Мое тело разваливается на части. Мне надо было умереть больше полувека назад.

– Так какого хрена этому кретину нужна скрипка, если он хочет умереть? Разве ты не видишь, что одно не вяжется с другим?

– Это было мое решение, Бернат. И дело уже сделано.

– Подлец! Скажи мне, где этот псих несчастный, я смогу его убедить, что...

– Это не обсуждается. Сториони у меня больше нет. Я чувствую в глубине души... что помог восстановить справедливость. Мне теперь хорошо. С опозданием в два года.

– А мне отвратительно. Теперь-то я вижу: псих несчастный – это ты.

Бернат сел. Потом встал. Он все никак не мог поверить. Встал перед Адриа:

– Что значит «с опозданием на два года»?

Старик сел. Руки у него немного дрожали. Он положил их на тряпицу,

которая по-прежнему лежала аккуратно сложенная на столе.

– А вы не думали о самоубийстве? – Я вдруг спросил это тем тоном, каким врач интересуется у больного, помогает ли ему ромашка.

– Знаете, как Берта смогла купить ее? – спросил в ответ старик.

– Нет.

– Да я вполне могу обойтись без нее, Маттиас, дорогой... Я могу жить как...

– Ну конечно. Ничего не случится, если ты будешь играть на твоей обычной скрипке. Но я тебе говорю, стоит попробовать. Моя семья может дать мне половину необходимой суммы.

– Я не хочу быть должной твоей семье.

– Это и твоя семья, Берта! Почему ты не хочешь согласиться?..

Тогда в дело вмешалась теща. Она еще не была больна. Это был период между двумя войнами, когда жизнь стремительно восстанавливалась и музыканты могли посвятить себя музыке, а не гнить в окопах. Это было время, когда Берта Альпаэртс бесконечное количество часов проводила репетируя на недостижимой Сториони, которая звучала так прекрасно, чисто и глубоко и которую Жюль Аркан предлагал ей купить по заоблачной цене. Это случилось, когда Труде, нашей средней, исполнилось полгода. Жульет тогда еще не родилась. Настало время ужина, и впервые с тех пор, как мы жили вместе, тещи не было дома, так что, когда мы пришли с работы, никто ничего не приготовил поесть. Пока мы с Бертой что-то наспех стряпали, появилась теща с какой-то ношей и положила на стол великолепный темный футляр. Повисла глубокая тишина. Помню, как Берта смотрела на меня вопрошающим взглядом, а я не знал, что ей ответить.

– Открой футляр, дочка, – сказала теща.

Берта не решалась, и теща пояснила:

– Я от Жюля Аркана.

Тогда Берта бросилась к футляру и открыла его. Мы втроем склонились над ним, и Виал нам подмигнул. Теща решила, что раз скрипка прижилась в нашем доме, то может потратить свои сбережения, чтобы осуществить мечту дочери. Бедная Берта часа два молчала от потрясения, не имея сил прикоснуться к инструменту, как будто считая себя недостойной его, пока наконец Амельете, наша старшая, с волосами черными, как эбен, которая тогда была совсем крошкой, не сказала: мамочка, сыграй, я хочу послушать, как она звучит. Как чудесно она играла на ней, моя Берта... Как чудесно... Эта скрипка стоила моей теще всех ее сбережений. Всех. И еще каких-то неизвестно откуда взявшихся денег,

о чем она никогда никому не говорила. Мне кажется, она продала свою квартиру в Шотене.

Старик замолчал, смотря куда-то сквозь стену кабинета, закрытую книгами. А потом, словно это был вывод из всей рассказанной им истории, произнес: я потратил много лет на то, чтобы добраться до вас и до скрипки моей Берты, господин Ардефол.

– Адриа, какого черта, разве это довод? Он может придумать какую угодно историю, ты что, не понимаешь?

– А как вы меня разыскали? – спросил Адриа с любопытством.

– Благодаря терпению и помощи людей... Детективы меня уверили, что ваш отец оставил за собой много следов. Он наделал много шума.

– С тех пор прошло много лет.

– А я много лет проплакал. Но до недавнего времени не был готов совершить определенные вещи, например забрать скрипку Берты. Я на пару лет задержался с визитом к вам.

– Пару лет назад двое расторопных господ мне говорили о вас.

– Я не давал им таких инструкций. Единственное, чего я хотел, – это узнать, где скрипка.

– А они явно хотели быть посредниками в сделке, – настойчиво продолжал Адриа.

– Боже меня спаси от посредников. У меня уже был с ними неудачный опыт. – Он пристально взглянул в глаза Адриа. – Ни при каких условиях мне не пришлось бы в голову вести речь о сделке.

Адриа смотрел на него не шевелясь. Старик придвинулся к нему, словно желая избавиться от невидимых посредников:

– Я пришел не покупать – я пришел забрать то, что мне причитается.

– Тебя обвели вокруг пальца, Адриа! Ты дал обвести себя вокруг пальца ловкому мошеннику! Такой умный мужик, как ты...

Так как Адриа не сказал в ответ ни слова, старик заговорил опять:

– Когда я узнал, что скрипка у вас, я захотел сначала познакомиться с вами поближе. Мне, в моем преклонном возрасте, спешить уже некуда.

– Почему вам этого захотелось?

– Чтобы знать, должен ли я с вас спрашивать за ваши поступки.

– Говорю вам заранее, что я чувствую себя виновным за все.

– Потому-то я и изучал вас, прежде чем с вами встретиться.

– Что вы имеете в виду?

– Я прочитал «Эстетическую волю» и другую книгу, ну, которая толстая... «История... История...

– ...европейской мысли», – подсказал Адриа, тщательно скрывая

чувство гордости.

– Точно. И сборник статей, не помню сейчас, как он называется... Я их как одержимый перечитал в последние месяцы. Только не просите меня говорить про них...

Он притронулся рукой к голове, желая показать, что не мастер рассуждать.

– Но почему?

– Я и сам не знаю. Полагаю, потому, что я в конце концов вас зауважал. И потому, что, судя по наведенным мною справкам, вы не имеете ничего общего с...

Я не стал его разубеждать. Я, конечно, не имел ничего общего с... но имел много общего со своим отцом. Наверно, для разговора об этом момент был не совсем подходящий. Поэтому я промолчал. Я лишь снова спросил: почему вы захотели изучить меня, господин Альпаэртс?

– У меня много свободного времени. Стараясь исправить зло, я совершил множество ошибок. Прежде всего я решил, что если спрячусь, то ужас исчезнет. А что гораздо хуже, стал причиной новых ужасных поступков по неосмотрительности.

Он говорил со мной уже несколько часов подряд, а мне и в голову не приходило дать ему стакан воды. Я понял, что глубокие страдания коренились в его смутных и беспорядочных воспоминаниях, отчего он страдал еще сильнее и невыносимее.

Маттиас Альпаэртс пришел ко мне после обеда, в два или в начале третьего. Мы просидели в кабинете до девяти вечера, не считая двух-трех посещений туалета. Уже несколько часов, как окна были темны и пропускали лишь мелькающий отблеск фар с улицы. Мы посмотрели друг на друга, и я понял, что сейчас упаду в обморок.

Учитывая поздний час, мы договорились быстро: зеленая фасоль, картофель и лук, отварные. Когда я стал их готовить, он снова попросил у меня позволения отлучиться в туалет, и я извинился за то, что был таким невнимательным хозяином. Пока еда готовилась в пароварке, я вернулся в кабинет и положил скрипку на стол. Долго смотрел на нее. Сделал дюжину фотографий твоим историческим аппаратом, который лежал там, где ты его оставила. Фотографировал, пока не закончилась пленка. Спереди, сзади, сбоку, завиток и подгрифок, гриф и кое-какие детали украшений. Посреди съемки Маттиас Альпаэртс вернулся из туалета и стал молча наблюдать за мной.

– С вами все в порядке? – спросил я, не оборачиваясь и пытаясь сфотографировать надпись *Laurentius Storioni me fecit* сквозь резонаторное

отверстие.

– В моем возрасте надо быть бдительным. Все в порядке.

Я убрал скрипку в шкаф и посмотрел старику в глаза:

– А откуда мне знать, что вы сказали мне правду? Откуда мне знать, что вы действительно Маттиас Альпаэртс?

Он достал потертое удостоверение личности со своей фотографией и передал его мне.

– Я это, я, как вы можете убедиться. – Он забрал удостоверение. – В отношении того, говорю ли я правду, боюсь, не смогу предоставить вам никаких доказательств.

– Я надеюсь, вы понимаете, что я должен в этом удостовериться, – сказал Адриа, прежде всего думая о Саре, о том, как она будет довольна, что я оказался порядочным человеком и вернул скрипку.

– Я не знаю, что еще могу вам предъявить, – сказал Альпаэртс с легким замешательством, убирая удостоверение. – Меня зовут Маттиас Альпаэртс, и я, на свою беду, являюсь единственным владельцем этой скрипки.

– Я вам не верю.

– Не знаю, что еще вам сказать. Как вы понимаете, дома не сохранилось никаких документов. Когда я смог наконец вернуться, то не обнаружил даже семейных фотографий. Они не оставили ничего, уничтожили все мои воспоминания.

– Позвольте мне не доверять вам, – произнес я, сам того не желая.

– Вы имеете на то полное право, – заметил старик, – но я пойду на все, чтобы вернуть скрипку: она соединяет меня с моей историей и моими женщинами.

– Я правда вас понимаю. И тем не менее...

Он взглянул на меня, словно поднявшись на поверхность из бездны воспоминаний. Лицо его исказилось от боли.

– Я вынужден был рассказать вам все это и вновь побывал в аду. Мне бы не хотелось, чтобы мои старания оказались бесплодными.

– Я все понимаю. Но в том документе, который хранится у меня, в качестве владельца скрипки значится не ваше имя.

– Не мое? – Он удивился и растерялся до такой степени, что мне стало не по себе.

Мы оба замолчали. Из кухни донесся запах вареных овощей.

– Ох, ну конечно! – подпрыгнул он. – Она должна быть записана на имя моей жены! Чем я думал!!!

– А как зовут вашу жену?

– Ее звали, – поправил он меня, безжалостный к самому себе, – ее звали Берта Альпаэртс.

– Нет, уважаемый. В купчей записано другое имя.

Мы замолчали. Я уже пожалел было, что затеял эту бесполезную торговлю. Но Адриа по-прежнему молчал. Тут Маттиас Альпаэртс присвистнул и сказал: ну конечно! Ее купила теща!

– А как звали тещу?

Он ответил не сразу, как будто ему трудно было вспомнить такую простую вещь. А потом посмотрел на меня блестящими от слез глазами и сказал: Нетье де Бук.

Нетье де Бук. Нетье де Бук... Имя, которое написал мне отец и которое я никогда не забывал, потому что совесть была нечиста. И выходит, что эта Нетье де Бук и была той самой больной тещей.

– Тебя обманули!

– Бернат, замолчи. Для меня это было решающим.

Нетье де Бук, повторил старик. Я знаю только, что скрипка прибыла в Освенцим как еще один член семьи: в поезде, который нас туда вез, я заметил, что простуженная теща прижимает ее к груди, как ребенка. От холода мысли застывали. Я с трудом пробрался в угол вагона, где она сидела рядом еще с одной пожилой женщиной. Я почувствовал, как Амельете цепляется ручонками за мои брючины и протискивается вслед за мной по вагону, набитому печальными людьми.

– Мама, зачем вы ее взяли?

– Я не хочу, чтобы у нас ее украли. Она – Бертина. – Нетье де Бук была женщина с характером.

– Мама, но ведь...

Тогда она посмотрела на меня своими черными глазами и сказала: Маттиас, ты разве не видишь, что настали плохие времена? Мне не дали времени собрать драгоценности, но скрипку у меня никто не украдет! Кто знает...

И она отвела взгляд. Кто знает, может быть, однажды она спасет нас от голодной смерти – это, видимо, хотела сказать теща. Я так и не решился отнять у нее скрипку, бросить ее на грязный пол вагона и сказать: лучше возьмите на руки Амелию. Она по-прежнему цеплялась за меня, чтобы не потеряться. Я держал на руках Тру, а Берту и Жульет не видел, потому что они ехали в другом вагоне. И вы думаете, что я вас обманываю, господин Ардефол? В другом вагоне, в страхе приближаясь к неминуемой смерти. Потому что мы знали, что нас ждет смерть.

– Папа, мне очень больно вот тут, сзади.

Амельете трогала рукой затылок. Найдя место на полу, я спустил с рук Тру и осмотрел затылок Амелии. Большая шишка с ранкой, которая уже начала нарывать. Я только и смог, что горячо поцеловать ее. Бедняжка больше не жаловалась. Я снова взял на руки малышку. Через несколько минут Тру прикоснулась ручкой к моему лицу, чтобы я посмотрел на нее, и сказала: папа, я хочу есть! Папа, когда мы приедем? Тогда я сказал маленькой Амельете: ты ведь уже большая и должна мне помочь, а она ответила: конечно, папа. Я снова с трудом опустил Тру на пол и попросил у ее сестры салфетку, потом ножом, который мне дал какой-то молчаливый бородатый мужчина, тщательно разрезал салфетку на две равные части и отдал двум моим дочуркам. И бедненькая Труде больше не жаловалась, что хочет есть, и обе они стояли вместе, прижавшись к моим ногам и крепко держа в руках по куску волшебной салфетки.

Самым ужасным было то, что мы знали: мы везем наших девочек на смерть. Мы сами вели их за руку, я был сообщником убийц моих дочерей, обнимавших меня за шею и жавшихся к моим ногам в холодном вагоне, где становилось невозможно дышать от стужи и где никто не смотрел друг другу в глаза, потому что всех мучили одни и те же мысли. И только у Амелии и Тру было по куску клетчатой салфетки. И Маттиас Альпаэртс подошел к столу и положил ладонь на грязную тряпицу, которая уже была им тщательно сложена. Вот что осталось мне со дня рождения Амелии, моей старшей дочери, которой только исполнилось семь лет, когда ее убили. Тру было пять, Жульет – два, Берте – тридцать два, а моей больной теще – за шестьдесят...

Он взял тряпицу, исступленно посмотрел на нее и произнес: еще удивительно, каким чудом ко мне попали обе половины. И он снова развернул салфетку жестом священника, раскладывающего антиминс в алтаре.

– Господин Альпаэртс, – позвал я довольно громко.

Старик взглянул на меня, удивившись, что я здесь. Казалось, сам он временами не помнит, где находится.

– Нам надо бы перекусить.

Мы сели на кухне, как будто это был обычный визит. Несмотря на горечь, Альпаэртс поел с аппетитом. Он с любопытством разглядывал сетриль^[395]. Я показал ему, как им пользоваться, и полил маслом овощи. Для пущего успеха я достал твой пурро, которым так давно не пользовался, с тех самых пор, как ты умерла: убрал его подальше, боясь разбить. Кажется, я до сих пор никогда не говорил тебе об этом. Я налил в пурро немного вина, продемонстрировал, как надо пить, и Маттиас Альпаэртс

в первый и единственный раз от души рассмеялся. Он выпил из пурро, облился и, все еще смеясь, сказал мне – непонятно за что: *bedankt, herr Ardefol*^[396]. Возможно, он хотел поблагодарить меня за то, что я его рассмешил. Я не стал этого выяснять.

Я так и не узнаю наверняка, действительно ли Маттиас Альпаэртс пережил все то, о чем рассказал мне. В глубине души я это знаю. Но никогда не буду уверен до конца. Однако в результате я дрогнул перед историей, которая меня победила, думая о тебе и о том, как бы ты хотела, чтобы я поступил.

– Ты разбазарил свое наследство, друг мой. Если я все еще могу называть тебя другом.

– Но если скрипка – моя, почему тебя это так беспокоит?

Потому что я всегда надеялся, что скрипка перейдет мне, если ты умрешь раньше.

– Потому что совершенно не факт, что история этого типа подлинная. И хотя мы уже больше никогда не будем друзьями, я научу тебя пользоваться компьютером.

– Он сказал мне: если вы посмотрите в резонаторное отверстие, *mijnheer Ardefol*, то увидите, что там написано *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit 1764*, а рядом с надписью – два значка, похожие на звездочки. А под словом *Cremonensis* есть неровная черта, то толще, то тоньше, от буквы «т» до второй «п». Если я не ошибаюсь, ведь прошло уже больше пятидесяти лет.

Адриа взял скрипку, чтобы получше рассмотреть. Он никогда не замечал этой черты, но она действительно там была. Он посмотрел на Маттиаса, открыл рот, потом закрыл и положил скрипку на стол.

– Да, она там была, – подтвердил Бернат, – и я тоже это знал, но скрипка, к сожалению, не моя.

Адриа не прикасался к скрипке. Ему теперь надо было принять решение. В глубине души я знаю, что мне это было не так уж и тяжело. Но мы провели еще пару часов вместе, прежде чем расстаться. Я отдал ему подлинный футляр, с темным пятном, которое невозможно было вывести никакими средствами.

– Ты круглый идиот.

– От нестерпимого горя Маттиас Альпаэртс продолжал жить, как будто ему все время было столько же лет, сколько в тот день, когда он потерял все на свете. И меня убедило именно его нестерпимое горе.

– Тебя убедила его история. Нет, не так: тебя убедил его рассказ.

– Может быть, и так. Ну и что?

Альпаэртс осторожно погладил кончиками пальцев футляр. Рука у него задрожала. Устыдившись этого, он отнял ее и обернулся ко мне:

– Боль скапливается и становится сильнее, когда страдает человек беззащитный. И уверенность в том, что ты мог бы предотвратить это, совершив героический поступок, мучает тебя всю жизнь до самой смерти. Почему я не закричал? Почему не придушил солдата, который ударил прикладом малышку Амелете? Почему я не закричал? Почему не остановил поезд? Почему не убил эсэсовцев, говоривших: ты направо, а ты налево. Эй ты, слышишь?

– Где мои дочери?

– Что?

– Где мои дочери? У меня их вырвали из рук!

Маттиас стоял, разведя руки и выпучив глаза, перед солдатом, крикнувшим офицера.

– Что ты мне тут плетешь? Давай! Пошел!

– Нет! Амелия, с волосами черными, как эбен, и Тру, с темно-русыми волосами цвета дуба, были со мной.

– Я сказал – пошел! Вставай справа и не мешай!

– Мои дочери! Жульет с золотыми кудрями! Такая маленькая смышленная девочка! Он ехала в другом вагоне, слышите!

Солдат, которому надоела настырность Альпаэртса, ударил его прикладом в лоб. Падая почти без сознания, он заметил на земле одну из двух половинок салфетки, схватил ее и сжал так сильно, как будто это была одна из двух его дочерей.

– Видите? – Старик наклонился к Адриа, убирая со лба поредевшие волосы: на голове виднелось что-то странное, нечто вроде рубца от давнишней раны, которая болела и теперь.

– Вставай в ряд, или я размозжу тебе череп, – отчеканил голос доктора Буддена – офицера, положившего руку на кобуру. Поезд пришел позднее, чем обычно, и он немного нервничал. Особенно после разговора с доктором Фойгтом, который требовал от него то одних достижений, то других: придумайте же, черт возьми, неужели это трудно? Короче, я хочу отчет о достижениях.

Маттиас Альпаэртс не мог видеть глаз этого чудовища, поскольку козырек закрывал его лицо почти целиком. Он послушно встал в правый ряд и пошел, сам того не зная, не в газовую камеру, а в помещения дезинсекции, дабы превратиться в даровую рабочую силу и трудиться ad maiorem Reich gloriam^[397]. А Будден, как Гаммельнский крысолов, забирал девочек и мальчиков. А Фойгт несколькими метрами дальше

размозжил пулей голову Нетье де Бук, больной теще Маттиаса. И он все говорил Адриа: от угрозы этого офицера я опустил голову и с тех пор все думаю, что именно из-за того, что я не взбунтовался, погибли мои дочери, Берта и больная теща. Ни Берту, ни Жульет я не видел ни разу, с тех пор как мы сели в поезд. Бедная Берта, мы не успели даже посмотреть друг на друга в последний раз. Посмотреть друг на друга, хотя бы посмотреть... Господи боже мой, хотя бы издалека... Посмотреть друг на друга... Любимые мои, я вас бросил в беде. Не смог отомстить за тот страх, в который повергли эти людоеды Тру, Амелию и Жульет. Простите меня, если только такую подлость можно простить.

– Не мучьте себя.

– Мне был тридцать один год. И я мог бороться.

– Вам бы пустили пулю в лоб, и ваши близкие все равно бы умерли.

А так они живут в ваших воспоминаниях.

– Глупости. Это моя мука. Тот нелепый протест был единственным проявлением бунтарства, которое я себе позволил.

– Я понимаю, почему он так говорит: человек просто не может не думать об этом. Меня только одно заставило поверить Маттиасу Альпаэртсу – его страдание. Которое его и приведет к смерти сегодня, завтра или послезавтра. Он мучился оттого, что удар прикладом, который предназначался ему, убил молодого парня. Оттого, что не поделился коркой хлеба с товарищем. Его великие грехи подтачивали его душу.

– Как Примо Леви?^[398]

Впервые за весь вечер Бернат меня не обругал. Я посмотрел на него, открыв рот от удивления, и он продолжил: я имею в виду, что он покончил с собой, когда состарился. Он мог бы сделать это раньше, как только вышел из ада. Или как Пауль Целан^[399], который тоже долго собирался.

– Они покончили с собой не потому, что пережили ад, а потому, что про него написали.

– Теперь я не улавливаю твоей мысли.

– Они про него написали, после чего уже могли умереть. Так я себе это представляю. А еще они, видимо, поняли, что писать об этом – значит переживать все снова, а переживать годами ад невозможно. И они умерли оттого, что описали тот ужас, который уже однажды испытали. В результате – столько боли и отчаяния, сведенных в тысячу страниц или в пару тысяч стихов. Вместить в небольшую стопку печатных страниц столько страдания кажется почти саркастической насмешкой.

– Или вот в такую дискету, – сказал Бернат, вынимая одну из дискет,

стоявших на подставке. – Вся исполненная ужаса жизнь – на ней.

Только тут я заметил, что, уходя, Маттиас Альпаэртс забыл грязную тряпицу на столе в моем кабинете. Или нарочно оставил ее. Или подарил мне. Я заметил ее, но не решился прикоснуться. Вся исполненная ужаса жизнь была заключена в этой грязной тряпице, как на дискете. Или как в книге стихов, написанной после выхода из Освенцима.

– Слушай, Бернат... Вот что...

– Да?

– Мне сейчас что-то не до компьютеров.

– Как и всегда. При одном виде экрана ты идешь на попятную.

Бернат сел, подавленный, и потер лицо руками – я полагал, что это моя привычка. Зазвонил телефон, и Адриа вздрогнул.

51

– Это слова Горация: *Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi / finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios / temptaris numeros*^[400].

Молчание. Кто-то смотрит в окно. Кто-то – в пол.

– А что это значит? – спросила смелая девушка с длинной косой.

– А вы что, не учили латынь? – удивился Адриа.

– Ну...

– А ты? – Вопрос был парню у окна.

– Я... в общем...

Снова молчание. Адриа Ардевол в испуге обратился ко всей аудитории:

– Кто-нибудь изучал латынь? Хоть у кого-то из студентов отделения эстетических идей и истории эстетики когда-нибудь был курс латыни?

После долгих выяснений стало понятно, что латынь изучала всего одна девушка, с зеленой повязкой на голове. Адриа несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться.

– Простите, а что здесь хотел сказать Гораций?

– То же, что сказано в Деяниях, во Втором послании Петра и в Апокалипсисе.

Молчание стало еще более напряженным. Наконец кто-то находчивый спросил: а что сказано в Деяниях и прочем?

– В Деяниях и прочем сказано: «придет же день Господень, как тать ночью».

- А про какого господина тут речь?
- Кто-нибудь читал Библию хотя бы один раз?

Чтобы избежать нового постыдного молчания, Адриа сказал: знаете что? Оставим эту тему. Или нет, в пятницу принесите мне какую-нибудь фразу из любого произведения литературы, имеющую отношение к этому топосу.

- Простите, а что такое топос?

– А еще до пятницы вы должны прочитать какое-нибудь стихотворение. И сходить в театр. Я спрошу.

Тут, увидев обескураженные лица студентов, он проснулся в испуге. Осознав, что это не сон, а воспоминание о последней лекции, он готов был расплакаться. И в это мгновение понял, что очнулся от кошмара, потому что звонил телефон. Вечно этот проклятый телефон.

На столе в его кабинете – работающий компьютер. Он никогда не поверил бы, что такое возможно. Лица Адриа и Льюренса казались бледными из-за света от экрана, в который оба внимательно глядели.

– Видишь? – Льюренс двигал мышкой, и курсор бегал по экрану. – Теперь давай ты.

Адриа, высунув кончик языка, передвигал курсор.

- Ты что, левша?

– Да.

- Подожди, я переложу мышь на твою сторону.

- Слушай, мне не хватает коврика, он слишком маленький.

Льюренс засмеялся про себя, но Адриа уловил его смех:

- Не хихикай: это правда, он мне мал.

Когда Адриа натренировался немного в работе с мышкой, он был посвящен в тайны создания текстового файла, который, как оказалось, напоминал какой-то бесконечный необыкновенный, волшебный свиток.

- Нет, понятно, что...

- Что «что»?

- Что это очень удобно... Но мне лень.

- А потом тебе надо будет освоить электронную почту.

- Ой нет. Нет-нет... У меня много работы.

- Это очень просто. А электронная почта – основа основ.

– Я умею писать письма. А внизу есть почтовый ящик. В конце концов, существует телефон.

– Отец сказал, что ты не хочешь мобильник. – Льюренс помолчал вопросительно. – Это так?

Телефон, уставший звонить безрезультатно, замолк.

- Мне он не нужен. У меня дома есть чудесный телефон.
- К которому ты не подходишь!
- Нет! – отрезал Адриа. – Напрасно теряешь время. Покажешь мне, как писать на этой штуковине и... Сколько тебе лет?
- Двадцать. – Показывая на одну из иконок: – Сюда ты должен нажимать, чтобы не потерялся текст, который ты написал.
- Это меня ужасно пугает... Вот видишь? Бумага не может потеряться.
- Еще как может! А еще может сгореть.
- Знаешь, а я помню тебя, когда тебе было всего два дня. В роддоме.
- Да?
- Твой отец с ума сходил от счастья! Он был невыносим.
- И теперь тоже.
- Ну, я хотел сказать...
- Вот, видишь? Так ты сохраняешь документ.
- Я не видел, как ты это делал.
- Вот так, видишь?
- Ты слишком быстро это делаешь.
- Смотри: берешь мышь...

Адриа взял мышь со страхом, как будто она могла его укусить.

- Возьми как следует. Вот так. Подведи курсор туда, где написано «сохранить».
- Почему ты говоришь, что он невыносим?
- Кто?
- Твой отец?
- Уф... Ну... – Льюренс остановил руку Адриа. – Нет-нет, левее.
- Она не хочет туда двигаться.
- Повози ее по коврику.
- Черт, это не так легко, как кажется.
- Ерунда. Пара минут тренировки. Теперь кликай.
- Что значит «кликай»?
- Нажми на кнопку мыши. Вот так!
- Фу ты! Как я это сделал? Ой, все исчезло!!!
- Так... Давай сначала.
- Почему твой отец невыносим? – Адриа замолчал, с трудом двигая курсор. – Слышишь, Льюренс?
- Ну... потому что...
- Заставляет тебя заниматься скрипкой против твоего желания?
- Нет, не поэтому.

- Не поэтому?
- Ну, немного поэтому.
- Тебе не нравится играть на скрипке?
- Да нет, нравится.
- Ты в каком классе по скрипке?
- По старой программе был бы в седьмом.
- Ничего себе.
- По мнению папы, я бы уже должен стать виртуозом.
- У каждого свой ритм.
- По мнению папы, я не слишком стараюсь.
- Он прав?
- Почему?.. Нет, конечно. Он хотел бы... Давай займемся компьютером.
- Чего бы он хотел, Бернат?
- Чтобы я стал вторым Перлманом.
- А ты кто?
- Льюренс Пленса. А отец, судя по всему, никак не может этого понять.
- А мама?
- Она-то понимает.
- Твой отец очень хороший человек.
- Да, я знаю. Вы друзья.
- И, несмотря на это, он хороший человек.
- Но он жуткий зануда.
- Чем ты занимаешься? Только скрипкой?
- Да нет! Я поступил в архитектурный.
- Интересно?
- Нет.
- А зачем тогда ты изучаешь архитектуру?
- Я же не говорю, что ее изучаю. Я сказал, что поступил.
- А почему ты ее не изучаешь?
- Это было папино условие. – И он добавил, подражая Бернату: – Чтобы завтра я мог заработать себе на хлеб.
- А тебе что хотелось бы изучать вместо архитектуры?
- Я бы хотел быть школьным учителем.
- Здорово, слушай!
- Да? Вот и скажи это отцу.
- А он против?
- Это недостойно его сына. Он хотел бы, чтобы я был лучшим скрипачом в мире, лучшим архитектором, кем-нибудь еще лучшим в мире.

А это невыносимо!

Они замолчали. Адриа сильно сжимал мышь, благо та не могла пищать. Заметив это, он отпустил ее. И глубоко вдохнул, чтобы успокоиться.

– А почему ты ему не скажешь, что хочешь быть учителем?

– Я уже ему говорил.

– И что?

– Учителем? Школьным учителем – ты?! Мой сын – учитель?!

– А что тут такого? Что ты имеешь против учителей?

– Ничего. Почему я должен иметь что-то против? Но почему тебе не стать инженером? Или еще кем-нибудь...

– Я хочу учить детей читать и писать. И считать. Это здорово.

– Я одобряю, – сказала Текла, чтобы подразнить мужа.

– А я – нет, – заявил Бернат, прикладывая салфетку к губам. Потом он положил салфетку на стол и, глядя в пустую тарелку, сказал: – Жизнь учителя тяжела и полна неприятностей. И зарабатывает он мало. – И покачал головой. – Нет, это неудачная идея.

– Но мне это нравится.

– А мне – нет.

– Слушай, учиться Льюренсу, а не тебе. Ведь так?

– Ладно-ладно. Делайте что хотите. Вы всегда в конце концов делаете по-своему...

– Что значит – делаете по-своему? А? – вспыхнула Текла.

– Да ничего...

– Нет уж! Говори! Что же это мы всегда делаем не по-твоему?

В этот момент Льюренс вставал из-за стола, относил пустую тарелку в кухню и отправлялся в свою комнату, где сидел закрывшись, покуда Бернат и Текла выясняли, почему ты сказал, что я всегда делаю по-своему, – это неправда! Сушая неправда! Я – никогда!

– Но ты все-таки пошел на архитектурный? – заметил Адриа.

– Давай сменим тему.

– Ты прав. Ну, что еще я могу сделать на этом компьютере?

– Хочешь попробовать написать текст?

– Нет. Мне кажется, что на сегодня...

– Напиши какую-нибудь фразу, и мы ее сохраним как ценный документ.

– Ладно. Знаешь, из тебя бы вышел хороший учитель.

– Скажи это моему отцу.

Бернат написал: Льюренс Пленса учит меня, как со всем этим

обращаться. У кого раньше кончится терпение? У него или у меня? А может быть, у компьютера?

– Ой, слушай, ну прямо роман! Сейчас увидишь, как мы это сохраним, чтобы ты мог снова открыть, когда захочешь.

Адриа, ведомый своим терпеливым Вергилием, шаг за шагом осваивал, как сохранять документы и закрывать папки, чтобы все привести в порядок и выключить компьютер, и тут Льюренс сказал: мне кажется, я уйду из дома.

– Да... Но это такая вещь...

– Ты только не говори отцу, ладно?

– Нет, конечно. Но сначала надо найти куда.

– Будем снимать квартиру.

– Это не так просто, наверно. А как быть со скрипкой, если будешь жить с кем-то?

– А что тут такого?

– Ты ведь будешь им мешать.

– Оставлю ее дома.

– Правда, если ты будешь жить с девушкой...

– У меня нет девушки.

– Ну, это я так...

Льюренс встал, слегка раздраженный. Адриа постарался сгладить свою неловкость:

– Прости. Не мое это дело, есть у тебя девушка или нет.

– Я сказал, что у меня нет девушки.

– Да, да, я понял.

– У меня есть парень.

Адриа помолчал, обескураженный. Его замешательство длилось чуть дольше, чем надо.

– Очень хорошо. А отец знает?

– Еще бы! В этом тоже проблема. Если ты скажешь отцу, что мы с тобой об этом говорили... Он тебя просто убьет.

– Не переживай. И живи так, как ты хочешь. Поверь мне.

Когда Льюренс завершил первый урок компьютерной грамоты с непослушным и малоспособным учеником и стал спускаться по лестнице, Адриа подумал: как легко давать советы чужим детям. И мне безумно захотелось, чтобы у нас был сын, с которым я бы говорил о жизни, как только что с Льюренсом. Что же это мы с Бернатом так мало разговариваем, что я до сих пор ничего не знал о Льюренсе?

Они сидели в столовой, и телефон звонил не переставая. Адриа не сжал от этого надоевшего трезвона голову руками, потому что сидевший перед ним Бернат излагал свои идеи. Чтобы не слышать звонка, Адриа открыл балкон, и в комнату ворвались шум машин, крики детей и бормотание грязных голубей, распускавших перья на балконе этажом выше. Адриа вышел на балкон, Бернат – следом за ним. В столовой, почти в полумраке, на колокольню Санта-Мария де Жерри падали лучи солнца, садившегося за Треспуй.

– Не стоит тебе это устраивать! Ты уже больше десяти лет как состоявшийся музыкант.

– Мне пятьдесят три года. Так что невелика заслуга.

– Но ты играешь в БСО [\[401\]](#).

– Что?

– Ты играешь в БСО, – произнес громче Адриа.

– И что?

– И играешь в квартете Кома, черт возьми!

– Вторую скрипку.

– Вечно ты себя с кем-то сравниваешь.

– Что?

– Вечно ты...

– Давай пойдем в комнату.

Адриа вернулся в столовую, Бернат – следом за ним. Телефон все еще звонил. Они закрыли балконную дверь, и уличная какофония стала едва различима.

– Что ты сказал? – спросил Бернат, несколько обеспокоенный, потому что слышал телефонный звонок.

Адриа подумал: сейчас ты скажешь ему, чтобы он по-другому общался с Льюренсом. Страдает он, страдаете вы все, ведь так?

– Ничего, просто ты всегда себя с кем-то сравниваешь.

– Я так не думаю. Но даже если и сравниваю, что такого?

Твоему сыну плохо. Ты общаешься с ним в том же духе, что и мой отец со мной, а это сущий ад.

– Такое впечатление, что ты не хочешь себе позволить ни крупицы счастья.

– К чему ты клонишь?

– Ну, например, если ты устроишь эту лекцию, то будешь на грани провала. Испортишь настроение себе. Испортишь настроение своим близким. Не нужно делать этого.

– Что мне нужно, а что нет – это мое дело.

– Как хочешь.

– А почему ты считаешь, что это плохая идея?

– Ты рискуешь, что никто не придет.

– Ты – негодяй. – Он посмотрел на поток машин за стеклом. – Слушай, почему ты не подходишь к телефону?

– Потому что говорю с тобой, – соврал Адриа.

Он посмотрел на пейзаж с Санта-Марией де Жерри, но не увидел его. Сел на стул и повернулся к другу. Сейчас я поговорю с ним о Льюренсе, дал он себе слово.

– Ты ведь придешь, если я устрою лекцию? – спросил Бернат, не отступаясь от своих мыслей.

– Да.

– И Текла придет. И Льюренс. Будет уже трое слушателей. Критик – четверо. И ты. Пять. Отлично.

– Не будь ты таким желчным!

– Как у вас с Теклой?

– Не супер, но в общем – ничего.

– Я рад. Как Льюренс?

– Все в порядке. – Он задумался, прежде чем продолжить: – У нас с Теклой такая нестабильная стабильность.

– Что это значит?

– Уже несколько месяцев она намекает на развод.

– Господи!

– А Льюренс находит тысячу причин, чтобы поменьше быть дома.

– Очень жаль. А у Льюренса-то как дела?

– Я уж почти не дышу, чтобы не поссориться, а Текла упражняется в терпеливости, пропуская мимо ушей то, что ей кажется неприятным. Вот это и называется нестабильная стабильность.

– Как дела у Льюренса?

– Хорошо.

Оба замолчали. Звонок телефона явно раздражал одного лишь Берната.

Сейчас я ему расскажу, что в те дни, когда я встречался с Льюренсом, мне показалось, что он ходит как в воду опущенный. Бернат скажет: это его обычная поза. А я возражу: нет, в этом виноват ты, потому что навязываешь ему жизнь, которой он не хочет. А Бернат сухо ответит: не лезь, куда тебя не просят. А я: не могу не лезть, меня это огорчает. И Бернат, четко выговаривая слова: э-то-не-тво-е-де-ло. Понятно? А я: но он расстроен, он хочет стать учителем. Почему ты не даешь твоему сыну стать, кем он хочет? И Бернат вскочит в бешенстве, как будто собираясь снова отчитать

меня за нашу Сториони, и уйдет, ругаясь, и не будет больше никогда со мной разговаривать.

– О чем ты думаешь? – заинтересовался Бернат.

– О том... о том, что тебе нужно как следует все подготовить. Обеспечить человек двадцать, которые придут тебя слушать. А зал подобрать на двадцать пять человек. Успех обеспечивается аудиторией.

– Ловко.

Мы опять замолчали. У меня хватает духу сказать ему, что мне не нравится то, что он пишет, но не получается поговорить с ним о Льюренсе. Опять зазвонил докучливый телефон. Адриа встал, снял трубку и снова ее положил. Бернат не осмелился отпустить какие-либо комментарии. Адриа снова сел и как ни в чем не бывало продолжил разговор:

– Не жди толп слушателей. В Барселоне ежедневно проводится по меньшей мере от восьмидесяти до ста культурных мероприятий. К тому же ты известен как музыкант, а не как писатель.

– Как музыкант – отнюдь нет. Я один из многих скрипачей, которые пикируют на сцене. А вот как писатель – да: я оригинальный автор, написавший пять сборников рассказов.

– Которых не купили и тысячи экземпляров.

– Одной только «Плазмы» разошлось около тысячи.

– Ты понимаешь, о чем я.

– Ты прямо как мой издатель – всегда подбодришь!

– Кто тебя будет представлять?

– Карлота Гаррига.

– Она неплоха.

– Неплоха? Да она гениальна! Она одна способна заменить целую аудиторию!

Он ушел, а Адриа так и не сказал ему ни единого слова про Льюренса. А Бернат так и не отступился от своей идеи устроить равносильную самоубийству лекцию о собственном литературном творчестве: «Бернат Пленса. Путь рассказчика». Так будет написано на приглашениях. Тут телефон зазвонил снова, и Адриа, как обычно, вздрогнул.

Адриа решил превратить занятие по истории эстетических идей в нечто иное и пригласил студентов в другое место и в другое время, как в тот раз, когда они пошли в вестибюль станции «Университет». Или как тогда, когда они занимались всякими забавными вещами, которые придумал этот чокнутый Ардевол. Однажды, по его словам, он проводил

занятие в парке на улице Депутасьо, кругом ходили люди, а ему – хоть бы что.

– Кому-то неудобно это время?

Поднялось три руки.

– Надеюсь, все остальные будут. И – вовремя.

– А что мы будем там делать?

– Слушать. И высказываться, если кому-то захочется.

– А что слушать?

– Узнаете на самом занятии.

– А во сколько мы закончим? – это спросил парень-блондин, сидящий в окружении двух поклонниц, которые смотрели на него в восхищении от его своевременного вопроса.

– А это будет зачитываться на экзамене? – подал голос парень с квакерской бородкой, всегда сидящий у окна, поодаль от остальных.

– А нужно будет записывать лекцию?

Разрешив все вопросы студентов, Адриа закончил занятие как обычно – призывом читать стихи и ходить в театр.

Дома он обнаружил телеграмму Йоханнеса Каменека, который приглашал его к себе в университет прочитать лекцию завтра. Что? Завтра? Да он с ума сошел!

– Йоханнес?

– Ну наконец-то!

– Что происходит?

– Я прошу об одолжении.

– А почему такая спешка?

– У тебя, наверно, телефон не работает или трубка плохо лежит.

– Да нет... Просто... Но если звонить утром, то подходит женщина, которая...

– У тебя все в порядке?

– Ну да. По крайней мере, до твоей телеграммы было в порядке. Ты пишешь, чтобы я приехал прочесть лекцию завтра. Тут, наверно, ошибка.

– Да нет! Выручай! Меня подвела Ульрика Хёрштруп. Прошу тебя!

– Ну ладно. А о чем?

– О чем хочешь! Аудитория гарантирована – участники конференции. Все шло отлично. И в последний момент...

– А что случилось с Ульрикой Хёрштруп?

– Температура тридцать девять. Она не смогла выехать. К вечеру тебе доставят билеты.

– И я должен читать завтра?

– В два часа дня. Только не отказывайся!

Я отказался. Слушай, Йоханнес, я не представляю, о чем говорить, не вынуждай меня. А он сказал: говори о чем хочешь, только приезжай, пожалуйста. И тогда я должен был согласиться, и мне загадочным образом принесли прямо домой билеты, а на следующий день я вылетел в Штутгарт, в мой любимый Тюбингенский университет. В самолете я подумал, о чем мне хотелось бы рассказать, и наметил план лекции. В Штутгарте меня уже ждало заказанное такси с шофером-пакистанцем, который, домчавшись до места назначения с головокружительной скоростью и многократными нарушениями правил, высадил меня у входа в университет.

– Я просто не знаю, как отплатить тебе за эту любезность! – сказал Йоханнес, встречая меня.

– Вот именно что любезность. А за любезность не платят. Я буду говорить о Косериу.

– Только не о Косериу! О нем как раз сегодня уже говорили...

– Черт!

– Нужно было тебя... Вот черт! Извини. Можешь... не знаю...

Йоханнес, хотя и растерянный, схватил меня за руку и потащил к актовому залу.

– Ну, я что-нибудь симпровизирую... Дай мне пять минут, чтобы...

– У нас нет пяти минут, – перебил Каменек, продолжая вести меня под руку.

– Ну хорошо, у меня есть минута, чтобы в туалет сходить?

– Нет.

– И после этого еще что-то говорят о спонтанности жителей Средиземноморья и методичной основательности немцев...

– Ты прав. Но Ульрика уже должна была заменять другого лектора.

– Ничего себе! Я уже третья жертва. А нельзя перенести?

– Невозможно. Такого никогда не было. Никогда. К тому же тут есть люди, приехавшие из-за границы...

Мы остановились у дверей актового зала. Он меня обнял, смущаясь, сказал: спасибо, друг, и ввел в зал, где треть из пары сотен участников конференции по лингвистике и философской мысли с удивлением воззрились на странного вида Ульрику Хёрштруп, лысоватую, с обозначившимся животиком и совсем не женского обличья. Пока Адриа пытался привести в порядок отсутствующие мысли, Йоханнес Каменек сообщил аудитории о проблемах со здоровьем доктора Хёрштруп и о том, что появилась счастливая возможность послушать доктора Адриа

Ардевола, который расскажет о... он сейчас сам скажет о чем.

И он сел рядом со мной – думаю, в знак поддержки. Я почувствовал, как бедный Йоханнес в прямом смысле слова сдулся и обмяк. Чтобы собраться с мыслями и начать лекцию, я стал медленно читать по-каталански то стихотворение Фоцца^[402], которое начинается словами «Природа мироздания через Разум / открыта мне. И им бессмертен я. / И в темной путанице бытия / подвластно время моему приказу»^[403]. Я перевел его дословно. И от Фоцца, и от необходимости философской мысли и настоящего перешел к объяснению того, что означает красота и почему человечество уже столько веков к ней стремится. Профессор Ардевол поставил множество вопросов, но не сумел или не захотел дать на них ответ. И неизбежно зашла речь о зле. И о море, о мрачном море. Он говорил о любви к познанию, не очень заботясь о том, чтобы увязать это с темами конференции по лингвистике и философской мысли. Он мало рассуждал о лингвистике и много о «я часто размышляю о природе жизни, но передо мной встает смерть». И тут в его сознании вспыхнула картина похорон Сары и ничего не понимающий молчаливый Каменек. Наконец Адриа произнес: вот почему Фощ заканчивает свой сонет словами: «...И плещутся о грудь мою века, / как плещутся о дамбу волны моря». Пятьдесят минут лекции прошли. Он встал и тут же вышел в туалет, до которого едва успел добежать.

До дружеского ужина, на который его пригласил оргкомитет конференции, Адриа хотел успеть сделать в Тюбингене две вещи, учитывая, что он улетал на следующий день. Спасибо, я сам. В самом деле, Йоханнес. Я хочу это сделать сам.

Бebenхаузен. Его сильно отреставрировали. Туда еще водили туристов, но никто уже не спрашивал, что такое «секуляризирован». И я подумал вдруг о Бернате и о его книгах. Прошло двадцать лет, и ничего не изменилось – ни в Бебенхаузене, ни в Бернате. А когда начало темнеть, он пошел на тюбингенское кладбище и стал гулять по нему, как делал это уже много раз – и один, и с Бернатом, и с Сарой... Он слышал глухой звук их шагов по утрамбованной земле. Ноги сами привели его к пустой могиле Франца Грюббе на самом краю кладбища. У памятника Лотар Грюббе и его племянница Герта Ландау, из Бебенхаузена, – та самая, которая когда-то так любезно согласилась сфотографировать их с Бернатом, – расставляли розы, белые, как душа их героического сына и брата. Услышав шаги, Герта обернулась и при виде его с трудом подавила страх.

– Лотар, – сказала она едва слышно, в полном ужасе.

Лотар Грюббе тоже обернулся. Эсэсовский офицер стоял перед ним и пока что молча ждал объяснений.

– Я привожу в порядок эти могилы, – наконец произнес Лотар Грюббе.

– Документы, – потребовал оберштурмбаннфюрер СС Адриан Хартбольд-Боск, застыв перед стариком и женщиной помоложе.

Герта от страха никак не могла открыть сумку. Лотара охватила такая паника, что он стал вести себя так, будто ему на все наплевать, будто он уже лежал мертвый рядом с тобой, Анна, и рядом с отважным Францем.

– Вот черт! – воскликнул он. – Я их дома забыл!

– Я их дома забыл, господин оберштурмбаннфюрер! – поправил его оберштурмбаннфюрер СС Адриан Хартбольд-Боск.

– Я их дома забыл, господин оберштурмбаннфюрер! – выкрикнул Лотар, глядя в глаза воинственному офицеру.

– Что вы делаете тут, на могиле предателя, а?

– Это мой сын, господин оберштурмбаннфюрер, – ответил Лотар и указал на застывшую от ужаса Герту. – А с этой девушкой я незнаком.

– Следуйте за мной.

Допросом руководил сам оберштурмбаннфюрер СС Адриан Хартбольд-Боск. Нельзя исключать возможность, что, несмотря на преклонный возраст, Лотар имел контакты с группой гнусного Герберта Баума. Но ведь он старик! (фра Микел) Дети и старики одинаково опасны для рейха. Так точно! (фра Микел) Вытрясите из него всю информацию. Любыми средствами? Любыми средствами. Бейте его по пяткам для начала. Как долго? Пока трижды читается Ave Maria. А потом подержите на дыбе, пока единожды читается Credo in unum Deum. Слушаюсь, ваше преосвященство.

Герта Ландау, чудесным образом избежавшая ареста, в течение получаса отчаянно пыталась связаться по телефону с Берлином, где ее проинформировали, каким образом она может поговорить с Аушвицем, и, опять же чудом, только час спустя, она смогла услышать голос Конрада:

– Хайль Гитлер! Алло! – И нетерпеливо: – Говорите, пожалуйста!

– Конрад, это Герта.

– Кто?

– Герта Ландау, твоя двоюродная сестра. Если ты еще не забыл свою семью.

– Ну, что случилось?

– Арестовали Лотара.

– Какого Лотара?

– Лотара Грюббе, твоего дядю. Какого же еще?

– А, отца этого мерзавца Франца.
– Да, отца Франца.
– И чего ты от меня хочешь?
– Чтобы ты вмешался и помог. Его будут пытаться и в конце концов убьют.
– Кто его арестовал?
– Эсэсовцы.
– А за что?
– За то, что он положил цветы на могилу Франца. Сделай же что-нибудь!
– Послушай... Я ведь здесь...
– Конрад, ради бога!
– У меня сейчас очень много работы. Ты хочешь, чтобы я нас всех засветил?
– Но ведь это твой дядя!
– Наверно, его арестовали не просто так.
– Не говори этого, Конрад!
– Слушай, Герта, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
– Holländisch? – услышала Герта, как говорит кому-то Конрад, а потом в трубку: – Не знаю, как ты, Герта, но я работаю. И у меня слишком много дел, чтобы заниматься подобными глупостями. Хайль Гитлер!

Герта услышала, как этот сукин сын Конрад вешает трубку, обрекая на смерть Лотара, и горько заплакала.

Шестидесятидвухлетний Лотар Грюббе не был опасен для рейха, но его смерть могла стать показательной: отец гнусного предателя, возлагающий цветы на могилу, как будто это памятник внутреннему сопротивлению. Могилу, которая...

Оберштурмбаннфюрер СС Адриан Хартбольд-Боск приоткрыл рот и задумался. Ну конечно! И он обратился к двум близнецам, подпиравшим стену:

– Раскопайте могилу предателя!

Могила гнусного предателя и труса Франца Грюббе была пуста. Старый Лотар посмеялся над властями, положив украдкой цветы на то место, где ничего не было. Пустая могила опаснее, чем могила с костями внутри: пустота делает ее всеобщей и превращает в памятник.

– А с заключенным что будем делать, ваше преосвященство?

Адриан Хартбольд-Боск набрал побольше воздуха в легкие. И, закрыв глаза, сказал тихим дрожащим голосом: повесьте его на крюке мясника как предателя рейха.

– Вы хотите сказать... А это не слишком жестоко? Он ведь совсем старый.

– Фра Микел... – В голосе оберштурмбаннфюрера послышалась угроза. Заметив, что кругом все молчат, он посмотрел на своих подчиненных, опустивших голову. И закричал, брызжа слюной: – Уберите эту падаль!

Лотара Грюббе, полуживого от ужаса перед казнью, которая его ожидала, отвели в камеру смерти. Так как не каждый день казнят предателей, то пришлось сначала устанавливать специальное приспособление, к которому подвешивается хорошо наточенный крюк. Когда Лотара начали поднимать на веревке, он от страха обливался потом и задыхался в собственной рвоте. Он успел сказать: не волнуйся, Анна, все в порядке. И умер за полсекунды до того, как его насадили на крюк с той яростью, с которой подобает сажать на кол предателей.

– Кто эта Анна? – спросил сам себя вслух один из близнецов.

– Уже не важно, – ответил второй.

Зал Сагарры^[404] в Атенеу в половине восьмого вечера того хмурого четверга вмещал стульев пятьдесят, занятых молодыми людьми, которые, казалось, рассеянно слушали игравшую в зале слащавую музыку. Пожилой мужчина, несколько растерянный, выбрал стул в задних рядах, словно боясь, что у него спросят домашнее задание. Две старушки в первом ряду были явно разочарованы, поскольку не заметили никаких признаков предполагаемого фуршета, и делились сплетнями, подначивая друг друга. На столе у стены лежало по экземпляру всех пяти книг полного собрания сочинений Берната Пленсы. Текла пришла и сидела в первом ряду – Адриа каждый раз не переставал ей удивляться. Текла все время оглядывалась, как будто наблюдала, кто пришел. Адриа подошел к ней и поцеловал в щеку. Она улыбнулась ему, в первый раз с тех пор, как он приходил к ним домой, безуспешно пытаясь помирить их. Как давно, оказывается, они не виделись!

– Неплохо, да? – спросил Адриа, приподнимая брови, чтобы показать на зал.

– Я не ожидала такого. К тому же – много молодежи.

– Ага.

– Ну как твои уроки с Льюренсом?

– Отлично! Я уже могу создать документ и сохранить его на дискете. – Адриа на секунду задумался. – Но я пока еще не способен писать прямо на компьютере. Я – бумажный человек.

– Подожди, справишься.

– Да, если мне нужно будет справляться.

Тут зазвонил телефон, но никто не обратил на него внимания. Адриа обернулся и поднял брови. Никто не реагировал, как будто звонка вообще не было!

На столе в президиуме тоже лежали все пять опубликованных книг Берната, они были разложены так, чтобы все могли видеть их обложки. Слащавую музыку выключили, но телефон, хотя и тише, все продолжал звонить, когда появился Бернат в сопровождении Карлоты Гарриги. В первый момент Адриа удивился, не увидев у него в руках скрипки, но потом улыбнулся своей реакции. Автор и докладчик заняли свои места. Бернат подмигнул мне и довольно оглядел сидящих в зале. Карлота Гаррига начала доклад, сказав, что ей всегда очень нравилось то, что пишет Бернат Пленса, и он опять подмигнул мне, так что мне даже вдруг показалось, что он затеял весь этот дурдом ради меня. Поэтому я решил сосредоточиться и внимательно слушать выступление профессора Гарриги.

Истории из обычной жизни с не очень-то счастливыми персонажами, которые никак не могут решить, любить или промолчать, – все это изложено хорошим стилем. Еще одной стороны произведений я коснусь позже.

Через полчаса, когда Гаррига уже коснулась всех тем, в том числе и темы влияний на писателя, Адриа поднял руку и поинтересовался, может ли он спросить автора, по какой причине действующие лица первых четырех книг так похожи друг на друга и внешне, и психологически, но тут же пожалел об этом. Бернат, подумав пару секунд, сказал: да, да, вы правы. Я это сделал намеренно. Я таким образом хотел дать понять, что эти персонажи – лишь наброски тех, что появятся в романе, который я сейчас пишу.

– А вы пишете роман? – спросил я, удивленный.

– Да, я его только что начал.

В глубине зала поднялась чья-то рука. Девушка с длинной косой спросила Берната, может ли он объяснить, каким образом он придумывает рассказы, и тот вздохнул с облегчением, но сказал: уф, ну и вопрос! Не знаю, смогу ли я на него ответить. Но потом пять минут распространялся о том, как он их выдумывает. Потом воодушевился парень с квакерской бородкой и спросил, какие произведения его вдохновляют.

Я с удовлетворением оглянулся, чтобы взглянуть на слушателей, и остолбенел, потому что ровно в этот момент в зал вошла Лаура. Я не видел ее уже несколько месяцев, поскольку она опять уехала куда-то там в Швецию. Я даже не знал, что она вернулась. Красивая. Хотя нет. Зачем она сюда пришла? Светловолосый парень с двумя поклонницами встал и сказал: вы или сеньора...

– Профессор Гаррига, – напомнил Бернат.

– Да-да, – согласился парень. – Так вот, вы упомянули, что вы музыкант. Я не понимаю, как это вы пишете, если вы музыкант? То есть как можно заниматься сразу несколькими видами искусства? Может быть, вы еще тайно пишете картины или ваяете скульптуры?

Поклонницы засмеялись остроте своего кумира, а Бернат ответил, что все дело в глубокой неудовлетворенности человеческой души. Тут его взгляд встретился со взглядом Теклы, и я заметил в его глазах некоторую неуверенность. Вы понимаете, что я имею в виду, тут же добавил Бернат, произведение искусства рождается от неудовлетворенности. На сытый желудок не творят, а спят. Кое-кто из присутствующих улыбнулся.

Когда мероприятие закончилось, Адриа пошел поздравить Берната, и тот сказал: видишь, зал полный, а Адриа ответил: да, дружище, поздравляю. Текла поцеловала Адриа. Было видно, что она успокоилась, как будто у нее груз с души свалился, и, прежде чем к ним подошла Гаррига, она успела сказать: слушай, я не ожидала, что придет столько народу. Адриа не хватило духу спросить, почему же не пришел его друг Льюренс. Гаррига присоединилась к ним, чтобы поприветствовать профессора Ардевола, с которым не была знакома лично, и Бернат предложил пойти всем вместе поужинать.

– Прости, не могу. Мне очень жаль. Правда. Пойдите отпразднуйте, вы это заслужили.

Когда он выходил, зал был уже пуст. В вестибюле Лаура делала вид, что изучает программу ближайших мероприятий. Заслышав шаги Адриа, она обернулась:

– Привет.

– Привет.

– Я тебя приглашаю на ужин, – сказала она серьезно.

– Не могу.

– Пойдем...

– Честное слово, не могу. Я иду к врачу.

У Лауры открылся рот от удивления, как будто в нем застряли слова, которые она собиралась сказать. Она посмотрела на часы, но промолчала.

Скорее слегка обидевшись, она произнесла: ну что ж, хорошо, не страшно. И выдавила из себя улыбку: у тебя все в порядке?

– Нет. А у тебя?

– Тоже нет. Я, может быть, перееду в Упсалу.

– Ну что ж. Если тебе так лучше...

– Не уверена.

– Мы не могли бы поговорить об этом в другой раз? – спросил Адриа, показывая циферблат часов вместо извинений.

– Иди, иди к врачу.

Он запечатлел на ее щеке целомудренный поцелуй и быстро, не оборачиваясь, вышел. Он успел расслышать теперь уже беззаботный смех Берната, и я по-настоящему порадовался за него, ведь Бернат заслужил все это. На улице начался дождь, и Адриа, в забрызганных очках, принялся ловить такси без всякой надежды на успех.

– Простите, пожалуйста. – Он вытер мокрые ботинки о коврик в прихожей.

– Все в порядке. – Хозяин провел его налево, в комнату для посетителей. – Я боялся, что вы забыли.

Слышно было, как в правой части квартиры раскладывают тарелки и вилки. Доктор Далмау пропустил вперед Адриа и закрыл дверь комнаты. Он собрался было надеть висевший на вешалке халат, но не стал. Оба сели за стол. Молча посмотрели друг на друга. За спиной доктора на стене висела репродукция какого-то портрета Модильяни в желтых тонах. В окно барабанил весенний ливень.

– Ну, что с вами происходит?

Адриа поднял руку, призывая прислушаться:

– Вы слышите?

– Что?

– Телефон.

– Да. Сейчас кто-нибудь подойдет. Это наверняка звонят моей дочери, так что мы будем лишены связи часа на два.

– А...

И в самом деле, телефон в глубине квартиры перестал звонить и раздался женский голос, сказавший: я слушаю. Да, это я, а кто же еще?

– А что еще?

– Больше ничего. Только телефон. Я все время слышу, как звонит телефон.

– Подождите-ка. Объясните подробнее.

– Я постоянно слышу телефонный звонок. Звонок, от которого я чувствую себя виноватым, который меня изводит и который я не могу выбросить из головы.

– А с каких пор?

– Да вот уже целых два года. Даже почти три. С четырнадцатого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года.

– Quatorze juillet?^[405]

– Да, с четырнадцатого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года, когда зазвонил телефон.

Он звонил на тумбочке у кровати, со стороны Лауры, в комнате, где в беспорядке лежали наполовину собранные чемоданы. Они молча переглянулись будто преступники, словно спрашивая друг у друга, не ждал ли кто-то из них звонка. Лаура, которая лежала положив голову на грудь Адриа, не шевелилась, и оба слушали, как настойчивый звонок все звенел, и звенел, и звенел... Адриа не сводил глаз с волос Лауры, думая, что она возьмет. Но нет. Телефон продолжал звонить. В конце концов каким-то чудом он замолчал. Адриа расслабился. Только теперь он заметил, в каком напряжении был до этого. Он снова провел рукой по волосам Лауры. Но рука его замерла, потому что телефон снова затрезвонил.

– Господи боже ты мой, да что им нужно! – сказала она и крепче прижалась к Адриа.

Телефон вновь долго не унимался.

– Возьми трубку, – сказал он.

– Меня нет дома. Я с тобой.

– Возьми трубку.

Лаура нехотя приподнялась, сняла трубку и усталым голосом сказала: слушаю. Несколько секунд молчала, потом обернулась к нему и передала трубку, с трудом скрывая удивление:

– Это тебя.

Не может быть, подумал Адриа. Но трубку взял. Он с восхищением заметил, что она без провода. Он впервые в жизни разговаривал по такому телефону. И удивился, что отметил это тогда и вспомнил сейчас, когда рассказывал все доктору Далмау, спустя почти три года.

– Я слушаю.

– Адриа?

– Да.

– Это Бернат.

– Как ты меня нашел?

– Долго объяснять. Слушай...

Я почувствовал, что Бернат мнется не к добру.

– Ну что?

– Сара...

На этом все кончилось, любимая. Все.

Я провел так мало дней с тобой, умывая тебя, укутывая тебя, обмахивая тебя, прося у тебя прощения. Тех дней, когда я пытался облегчить твою боль, которую я же и причинил. Дней Голгофы – конечно, прежде всего твоей, но, прости, не хочу тебя обижать, и моей тоже, – которые меня совершенно изменили. Раньше меня что-то интересовало. Теперь я перестал понимать, что к чему, и провожу весь день с тобой, а ты как будто просто лежишь и отдыхаешь. Что ты делала дома? Зачем ты вернулась – обнять меня или отругать? Ты решила вернуться или пришла забрать вещи, думая переехать в huitième arrondissement? Я тебе звонил, ты ведь помнишь, а Макс сказал, что ты не хочешь подходить к телефону. Ах да, да, прости: Лаура. Мне стало очень тяжело от всего. Не надо тебе было возвращаться: тебе не надо было уходить, потому что нам не надо было ссориться из-за этой чертовой скрипки. Я клянусь тебе, что верну ее хозяину, когда узнаю, кто он. Я сделаю это во имя тебя, любимая. Слышишь? Где-то ведь у меня лежит данная тобой бумажка с его фамилией.

– Пойдите поспите, сеньор Ардевол, – сказала медсестра по имени Дора, в очках с пластмассовой оправой.

– Врач сказал, что надо с ней разговаривать.

– Но вы целый день с ней разговаривали. У бедной Сары, наверно, уже в голове звенит.

Она проверила капельницу, молча посмотрела на монитор. Спросила, не глядя на него:

– О чем вы с ней говорите?

– Обо всем.

– Вы за два дня ей кучу историй понарасказывали.

– А вам никогда не было жаль, что вы молчали с любимым человеком?

Дора повела бровями и сказала, на сей раз глядя ему в глаза: сделайте нам одолжение, пойдите домой и поспите. Завтра вернетесь.

– Вы мне не ответили.

– У меня нет ответа.

Адриа Ардевол посмотрел на Сару:

– А если проснется – а меня нет?

– Мы вам позвоним, не волнуйтесь. Она никуда не денется.

Он не осмелился сказать: а если умрет, потому что это было немыслимо – теперь, когда в сентябре откроется выставка рисунков Сары Волтес-Эпштейн.

Дома я продолжал разговаривать с тобой, вспоминая, что я тебе рассказывал. И теперь, несколько лет спустя, я спешу тебе написать, чтобы ты не умерла окончательно, когда меня уже не будет. Все неправда, ты это знаешь. Однако все – великая глубокая правда, которую никто никогда не оспорит. Эта правда – мы с тобой. Эта правда – я вместе с тобой, озарившей мою жизнь.

– Сегодня приходил Макс, – сказал Адриа, но Сара не ответила, как будто ей было все равно.

– Привет, Адриа.

Адриа, не сводивший глаз с Сары, обернулся. В дверях стоял Макс Волтес-Эпштейн с бессмысленным букетом роз в руках.

– Привет, Макс. – Адриа посмотрел на розы. – Зачем ты...

– Она обожает цветы.

Я прожил с тобой тринадцать лет и не подозревал, что ты обожаешь цветы. Мне так стыдно. Я тринадцать лет не замечал, что ты каждую неделю ставила новый букет в прихожей. Гвоздики, гардении, лилии, розы и разные другие цветы. Я вдруг четко их увидел, и это было как обвинение.

– Положи их здесь, спасибо. – Я махнул непонятно куда рукой. – Я сейчас попрошу принести вазу.

– Я могу прийти вечером. Я договорился, чтобы... Если ты хочешь отдохнуть.

– Я не могу.

– Ты так выглядишь... ты так ужасно выглядишь... тебе нужно лечь и поспать несколько часов.

Оба они долго сидели у постели Сары и смотрели на нее, и каждый переживал по-своему. Макс думал: почему я не поехал с ней, она бы не была одна. Если б я знал, если б знал... Адриа же все говорил себе: если бы я не оказался в постели с Лаурой, я был бы дома, делая выписки из Льюля, Вико и Берлина, услышал бы дзыыыыынь, открыл бы дверь, ты бы поставила на пол сумку, и, когда бы с тобой случилось это ссучье кровоизлияние, этот проклятый инсульт, я бы взял тебя на руки, отнес в кровать и позвонил бы Далмау, в Красный Крест, в скорую, в Medicus Mundi^[406], и тебя бы спасли. Все это по моей вине, соседи говорят, что ты

вышла на площадку, потому что сумка была уже внутри, а ты упала и пролетела несколько ступенек, тебя подобрали, и доктор Реал сказала, что сначала надо спасти тебе жизнь, а потом уже посмотреть, нет ли у тебя, бедной, каких-нибудь смещений или переломов. Но жизнь тебе, по крайней мере, спасли, потому что ты ведь проснешься когда-нибудь и скажешь мне: я бы с удовольствием выпила чашечку кофе, как тогда, когда ты вернулась в прошлый раз. Когда я провел с тобой первую ночь в больнице, еще сохраняя запах Лауры на коже, а потом вернулся домой, то в прихожей я увидел твою дорожную сумку и убедился, что ты захватила все, что прежде увезла с собой. И тогда я понял, что ты пришла, чтобы остаться. И я клянусь тебе, что услышал твой голос и твои слова «я бы с удовольствием выпила чашечку кофе». Мне говорят, что когда ты проснешься, то не будешь ничего помнить. Даже как ударилась о лестницу. Мундо, наши соседи снизу, слышали, как ты падаешь, и забили тревогу. А я в это время был в постели с Лаурой и не хотел подходить к телефону. Наконец Адриа очнулся от своих мыслей.

– Она сказала тебе, что поехала домой?

Макс какое-то время не отвечал. Не хотел говорить или не помнил?

– Не помню. Она мне ничего не сказала. Взяла вдруг сумку и ушла.

– А что она перед этим делала?

– Рисовала. Гуляла по саду, смотрела на море, смотрела на море, смотрела на море...

У Макса раньше не было привычки повторять слова. Он вел себя неестественно.

– Смотрела на море.

– Да.

– Я просто хотел знать – она решила вернуться или...

– Какая теперь разница?

– Большая. Для меня – большая. Потому что мне все-таки кажется, что она решила вернуться.

Mea culpa.

Адриа провел вечер в молчании вместе с обескураженным Максом, который еще до конца не понял, что произошло. На следующий день я снова пришел к тебе, с твоими любимыми цветами.

– Что это такое? – спросила, морща нос, Дора, едва я появился.

– Желтые гардении. – Адриа смутился. – Она их больше всего любит.

– Тут слишком много народу ходит.

– Это лучшие цветы, которые я могу ей принести. Гардении всегда были в ее кабинете, когда она работала.

Дора внимательно рассмотрела небольшую картину.

– А кто автор? – спросила она.

– Абрахам Миньон. Семнадцатый век.

– Ценная, наверно?

– Очень. Поэтому я ее и принес ей.

– Ой, поосторожнее здесь. Лучше унесите домой.

Но вместо того чтобы последовать ее совету, профессор Роч поставил букет желтых гардений в вазу и вылил туда бутылку воды.

– Я обещал ей, что позабочусь о них.

– Но ваша жена должна лежать в больнице. По крайней мере, несколько месяцев.

– Я буду приходить ежедневно. И оставаться весь день.

– Вы должны продолжать жить. Нельзя тут сидеть весь день.

Я не мог проводить там весь день, но оставался много часов подряд и понял, как один лишь бессловесный взгляд может ранить сильнее, чем остро наточенный нож. Какой ужасный был этот взгляд Гертруды. Я кормил ее, а она смотрела мне в глаза и покорно глотала суп. И все время смотрела мне в глаза и молча обвиняла меня.

Самое худшее – неопределенность. Ужаснее всего не знать, так ли это. Она смотрит, а ты не можешь разгадать этот взгляд. Может, она меня обвиняет? Может, хочет сказать о своем невыносимом страдании и не может? Может, хочет рассказать мне, как она меня ненавидит? А может – как она меня любит и надеется, что я ее спасу? Бедная Гертруда на самом дне бездны, и мне ее оттуда не достать.

Каждый день Александр Роч навещал ее и долго сидел у ее кровати, смотря на нее, подставляя себя ее острому как нож взгляду, вытирая ей пот со лба и не решаясь сказать хоть слово, чтобы не испортить все еще больше. А она спустя вечность начала слышать крики *Tiberium in Tiberim*, *Tiberium in Tiberim*^[407] – последнее, что она читала, прежде чем погрузиться в полную темноту. И стала видеть лица людей, одного, двух, трех, которые говорили ей что-то, кормили с ложки, вытирали пот, а она спрашивала: что происходит, где я, почему вы мне ничего не объясняете? Наконец она начала что-то различать вдали, совсем вдали, и не понимала, что это, или не хотела понимать, и в смущении хваталась опять за Светония и говорила: *morte eius ita laetatus est populus, ut ad primum nuntium discurrentes pars: «Tiberium in Tiberim!» clamitarent*^[408]. Она кричала это изо всех сил, но Светоний съеживался у нее в голове, и никто не слышал ее. Может, это потому, что она говорила на латыни... Нет. Да. Она целую

вечность не могла понять, чье же это лицо она постоянно видит перед собой и кто этот человек, который говорит ей что-то такое, что она никак не может расслышать. Но наконец она догадалась, кто это, вспомнила ту ночь, потихоньку связала одно с другим и пришла в ужас. И стала отчаянно вопить от страха. А Александр Роч не знал, что лучше – терпеть это невыносимое молчание или напрямую столкнуться с последствиями того, что он однажды совершил. Не знал, правильно ли он поступает, но как-то раз все-таки спросил:

– Доктор, почему она не говорит?

– Как – не говорит? Говорит.

– Простите, но моя жена молчит с тех пор, как вышла из комы.

– Сеньор Роч, ваша жена уже несколько дней как разговаривает, разве вам не сообщили? Мы, правда, ни слова не понимаем, потому что это какой-то редкий язык, а мы не очень сильны... Но она еще как говорит!

– На латыни?

– На латыни? Нет. Мне кажется, это не латынь. Впрочем, с языками...

Так, значит, Гертруда заговорила, а молчала только с ним. Это испугало его еще сильнее, чем острый как нож взгляд.

– Почему ты ничего не говоришь мне, Гертруда, – спросил он, прежде чем кормить ее этим отвратительным супом с манкой – у них в этой больнице что, нет другой еды?!

Но женщина, как всегда, только пристально посмотрела на него.

– Ты слышишь? Ты меня слышишь теперь?

Он повторил это по-эстонски и, в память о бабушке, по-итальянски. Гертруда молчала и только открывала рот, чтобы получить ложку привычного отвратительного супа, словно эти вопросы ее не касались.

– Что ты рассказываешь всем подряд?

Еще одна ложка супа. Александру Рочу показалось, что Гертруда постаралась скрыть насмешливую улыбку, и у него вспотели ладони. Он покормил жену супом, стараясь не смотреть ей в глаза. Отставив тарелку, он наклонился к ней близко-близко, так что почти мог учуять ее мысли, но не поцеловал ее. Прямо в самое ухо он спросил: что же такого ты им рассказываешь, Гертруда, о чем не можешь сказать мне? И повторил вопрос по-эстонски.

Она уже две недели как вышла из комы. Уже две недели, как врачи сказали ему: профессор Роч, как мы и опасались, ваша жена полностью парализована из-за патологии мозга. Не сейчас, но, возможно, через несколько лет медицина сможет, как мы надеемся, смягчить, а возможно,

и полностью устранить последствия такого типа поражений мозга. Я был не в силах ничего сказать, потому что на меня столько всего обрушилось и потому что я не осознавал, какая ужасная случилась беда. Вся моя жизнь перевернулась. К тому же я беспокоился: что же говорит Гертруда?

– Нет-нет, не волнуйтесь, так бывает, что у больного наблюдается «обратный ход памяти». Ничего страшного, что она говорит на каком-то своем языке, как в детстве... На шведском?

– Да.

– К сожалению, среди персонала...

– Ну что вы...

– Очень странно, что она не говорит с вами.

Черт бы ее побрал. Бедняжка.

Не прошло и двух недель, как профессору Рочу удалось перевезти жену домой. Он доверил уход за ней Доре, толстушке, которую порекомендовали в больнице для восстановительной терапии. Сам же проводил время, давая Гертруде суп, избегая ее взгляда и размышляя, что ты знаешь и что думаешь о том, что знаю я, и не знаю, знаешь ли ты, и что лучше было бы не слышать никому.

– Очень странно, что она не говорит с вами, – повторяла Дора.

Не просто странно, а тревожно.

– И каждый день она становится все болтливее, сеньор Роч. Как к ней подойдешь, так она давай говорить по-норвежски... Это ведь норвежский? Вот бы вам подслушать ее!

Он так и сделал не без помощи толстушки-медсестры, которая прониклась к Гертруде и каждый день говорила ей: какая ты сегодня красивая, Гертруда, а когда та заговаривала с ней, то брала ее бесчувственную руку и спрашивала: что ты сказала, дорогая? Я не понимаю тебя, ты ведь видишь, что я, глупенькая, ничего не смыслю в исландском. И профессор Александр Роч, которому в этот час полагалось сидеть в своем кабинете, дождался в соседней комнате того момента, когда Гертруда опять заговорит. Вечером, когда к ней подошла сиделка, чтобы повернуть ее на бок, Гертруда сказала именно то, чего я так боялся, и я задрожал как осиновый лист.

Я, конечно, ничего не задумывал заранее, боже сохрани, хотя в самых мутных глубинах моей души и таилось невысказанное желание, в котором не хотелось себе признаваться. Мне это привиделось после двух долгих часов езды по темному шоссе. Гертруда дремала на переднем сиденье, а я вел машину и думал в отчаянии, как сказать ей, что я хочу уйти, что мне

очень, очень жаль, но я уже все решил, так случилось, жизнь иногда преподносит сюрпризы, и мне все равно, что скажут родственники, коллеги, соседи, потому что у каждого есть право выбрать другую жизнь, и вот теперь я хочу им воспользоваться. Я так влюблен, Гертруда.

И вдруг – неожиданный поворот шоссе. Он тут же принял решение, сам того не желая, в темноте все казалось проще, и он открыл дверцу, отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул на асфальт. А машина неслась вперед без тормозов, и я в последний раз услышал голос Гертруды, она кричала: что случилось, что случилось, Сааандреее?.. И что-то еще, что я уже не разобрал, а потом пустота проглотила и машину, и Гертруду, и ее страшный крик, и с тех пор мне остался только ее острый как нож взгляд. Когда Дора выставляла меня из больницы, дома, в одиночестве, я думал о тебе, думал, что же я сделал не так, без толку искал бумажку, на которой ты написала имя владельца скрипки, и представлял себе, как я еду в Гент или в Брюссель с Виал в запятнанном кровью футляре, как подхожу к ухоженному дому, звоню, звонок звякает сначала властно, а затем изящно, как мне открывает служанка в накрахмаленном чепце и спрашивает: что вам угодно?

– Я пришел вернуть скрипку.

– Ах да, проходите. Давно пора, не так ли?

Чопорная прислуга закрывала дверь и удалялась. И раздавался ее приглушенный голос: сударь, тут пришли вернуть скрипку. И немедленно появлялся седовласый почтенный мужчина, в клетчатом бордово-черном халате, с силой сжимающий в руках бейсбольную биту, и говорил мне: вы и есть тот самый подлец Ардефол?

– Д-да.

– И вы принесли Виал?

– Держите.

– Феликс Ардефол, так? – спрашивал он, поднимая биту.

– Нет, Феликс – это мой отец. А я тот самый подлец Адриа Ардевол.

– А можно узнать, почему вы так долго не возвращали мне ее? – Бита все еще находилась в положении, опасном для моего черепа.

– Это такая долгая история, знаете ли, что сейчас... Дело в том, что я очень устал, а моя любимая в больнице и все никак не проснется.

Седовласый почтенный мужчина опустил биту на пол, служанка ее подобрала, а он выхватил у меня из рук футляр, тут же присел на корточки, раскрыл его, снял замшевые прокладки и вынул Сториони. Роскошную. В эту секунду я пожалел о том, что привез ее, потому что этот седовласый почтенный мужчина ее недостоин. Я просыпался в холодном поту,

шел к тебе в больницу и говорил тебе: я делаю все возможное, но никак не могу найти ту бумажку. Нет, нет, не проси меня звонить сеньору Беренгеру, я ему не доверяю, он только все опоганит. Так на чем мы остановились?

Александр Роч поднес ей ложку ко рту. Несколько мгновений Гертруда не разжимала губ. Она лишь смотрела ему в глаза. Ну же, открой рот, сказал я, только чтобы не терпеть больше этот взгляд. Наконец она, слава богу, открыла рот, и я смог влить в него горячий бульон и подумал, что, безусловно, лучше не подавать виду, что я слышал, о чем она говорила Доре, полагая, что меня нет дома, и я сказал: Гертруда, я тебя люблю, почему ты со мной не разговариваешь? Что с тобой происходит? Мне сказали, что, когда меня нет, ты тогда говоришь. Почему? Ты как будто что-то имеешь против меня. Гертруда вместо ответа открыла рот. Профессор Роч дал ей еще пару ложек бульона и посмотрел в глаза:

– Гертруда, скажи мне, что с тобой? Скажи мне, о чем ты думаешь?

Через несколько дней Александр Роч четко понял, что эта женщина вызывает у него не сочувствие, а страх. Мне жаль, что я не могу тебе сочувствовать, но в жизни так бывает. Я безумно влюблен, Гертруда, и имею право изменить свою жизнь, и не хочу, чтобы ты мне мешала, вызывая сострадание или угрожая мне. Ты всегда была активной, всегда хотела навязать свою точку зрения, а теперь вынуждена лишь открывать рот, чтобы проглотить суп. И молчать. И говорить по-эстонски. А как теперь ты будешь читать своих Марциалов и Ливиев? Этот придурок доктор Далмау говорит, что обратный ход памяти после комы бывает и это не страшно. В конце концов Александр Роч, встревоженный, решил, что надо быть все время настороже: это никакой не обратный ход памяти, это хитрость. Она так поступает, чтобы заставить меня переживать... Ей только и надо, чтобы я переживал! Если она хочет мне навредить, я этого не допущу. Но она не хочет, чтобы я знал, что именно она задумала. Не знаю, как ее нейтрализовать. Ума не приложу. Я ведь уже нашел идеальный способ, да только он с ней не прошел. Способ, конечно, идеальный, но очень рискованный, я и сам не знаю, как мне удалось выпрыгнуть из машины.

– А вы что, ехали не пристегнувшись?

– Пристегнувшись. Так мне кажется. Я точно не помню.

– И ремень не был неисправен или поврежден?

– Может быть, и был. Не знаю. Я был... Машину подбросило с такой силой, что дверца открылась и я выпрыгнул.

– Нет-нет, оттого что машину подбросило. Упав на землю, я увидел, машина уносится, и потерял жену из виду, а она кричала: «ааандреее».

– Она кричала «Саааандреее»?

— А почему вы не уверены в том, что потеряли сознание?

– Плохо.

Тогда инспектор произнес слова, которых тот больше всего боялся; он сказал: не знаю, верите вы в Бога или нет, но случилось чудо, Господь услышал ваши молитвы.

– Ваша жена будет жить. Так вот...

– Да.

Я какое-то время приводил в порядок свои хаотичные мысли. Тишина в мастерской Пау Ульястреса помогла мне прояснить их. И я в конце концов сказал, что эта скрипка была украдена во время Второй мировой войны. Одним нацистом. Мне кажется, она была конфискована прямо в Освенциме.

– И в силу некоторых обстоятельств, которые не имеют отношения к делу, она уже много лет принадлежит моему семейству.

– Нет! А может, и да. Не знаю. Но я хотел узнать, у кого ее отобрали. был предыдущим хозяином. После чего мы об этом и поговорим.

— Да, разумеется, но у него могут оставаться родственники...

Пау Ульястрес взял скрипку и стал играть партитуру Баха, точно не помню какую. Кажется, Третью?.. Я себя чувствовал прегадко, потому что уже долго не приходил к тебе, и, когда наконец оказался у твоей постели, взял твою руку и сказал: Сара, я предпринимаю кое-какие шаги,

чтобы вернуть ее, но пока что у меня это не получается. Я хочу вернуть ее настоящему владельцу, а не какому-то пройдохе. А мастер мне настоятельно советовал: действуйте крайне осторожно, господин Ардевол, не торопитесь. Сейчас столько наглецов, пользующихся ситуацией, похожей на вашу. Ты понимаешь меня, Сара?

– Гертруда...

Жена смотрела в потолок и даже не подумала перевести взгляд. Александр дождался, когда Дора захлопнет входную дверь и они останутся одни.

– Это моя вина, – сказал он мягко. – Извини меня... Наверно, я заснул за рулем... Это моя вина.

Она посмотрела на него как будто откуда-то издалека. Открыла рот, словно собираясь что-то сказать. Через несколько секунд, длившихся вечность, она лишь сглотнула слюну и отвела глаза.

– Это было не нарочно, Гертруда. Произошла авария...

Она взглянула на него, и теперь он сглотнул слюну: эта женщина все знает. Никогда еще ничей взгляд так меня не пронзал. Господи боже! Она ведь может наговорить всяких глупостей первому встречному, потому что теперь она знает, что я знаю, что она все знает. Боюсь, у меня нет другого выхода. Я не хочу, чтобы ты стала мне препятствием на пути к счастью, которое я заслужил.

Мой муж хочет меня убить. А меня здесь никто не понимает. Скажите об этом моему брату. Освальд Сикемаяэ, он учитель в Кунде, пусть он меня отсюда заберет. Мне страшно.

– Не может быть...

– Может.

– Повтори, – попросила Дора.

Агата посмотрела в блокнот, потом на отходившего официанта и сказала: мой муж хочет меня убить. А меня здесь никто не понимает. Скажите об этом моему брату. Освальд Сикемаяэ, он учитель в Кунде, пусть он меня отсюда заберет. Пожалуйста, мне страшно. А еще она добавила: я одна-одинешенька, одна-одинешенька. Если кто-то меня понимает, пусть поговорит со мной, чтобы я его поняла.

– А ты что ей ответила? С тех пор как я за ней ухаживаю, она в первый раз заговорила с кем-то, а то все со стенами, несчастная. Что ты ей сказала?

– Ну что вы... Это все нервы...

– Мой муж знает, что я знаю, что он меня хочет убить. Я его очень

боюсь. Я хочу обратно в больницу. Я здесь с ним одна... Я всего боюсь... Вы мне не верите?

– Конечно верю. Но...

– Вы мне не верите. Он убьет меня.

– Но зачем ему надо вас убивать?

– Не знаю. До сих пор мы жили хорошо. Не знаю. Эта авария... – Агата перевернула страницу в блокноте и продолжала разбирать наспех записанное корявыми буквами. – Эта авария мне показалась... Как будто он не... – Агата оторвалась от записей. – Бедная женщина, она тут начала говорить что-то бессвязное.

– А ты думаешь, она права? – спросила Дора, обливаясь потом.

– Откуда я знаю!

Обе посмотрели на третью женщину, ту, которая до сих пор молчала. Она, словно вопрос был адресован ей, впервые заговорила:

– А я ей верю. Где эта Кунда?

– На северном побережье. У Финского залива.

– А ты откуда знаешь эстонский? И знаешь где... – спросила в восхищении Дора.

– Ну, просто...

Я было хотела ей рассказать, что познакомилась с Ааду Мююром, да, с тем самым, стройным, метр девяносто, с доброй улыбкой. Я познакомилась с ним восемь лет назад и влюбилась в него по уши. Да, я влюбилась в Ааду Мююра, часовых дел мастера, и уехала жить в Таллин, рядом с ним, я бы отправилась и на другой конец света, туда, где горы обрываются, и если поскользнуться, то улетишь в адскую пропасть за то, что верил иногда, что Земля круглая. Я бы и туда отправилась, если бы Ааду меня позвал. В Таллине я сначала работала в парикмахерской, а потом продавала мороженое в одном кафе, где вечером подавали спиртное. В какой-то момент я так хорошо стала говорить по-эстонски, что люди спрашивали, откуда у меня этот акцент, то ли я с острова Сааремаа, то ли что... А когда я говорила, что я из Каталонии, мне не верили... Говорят, что эстонцы холодные люди, но это неправда, стоит им выпить водки, они оттаивают и любят поговорить. А Ааду в один ужасный день исчез, и с тех пор я о нем ничего не знаю. Что делать... Но мне больно об этом вспоминать. Я вернулась, потому что мне нечего было делать там, в холоде, без Ааду, не продавать же мороженое эстонцам, готовым напиться. Я все еще не пришла в себя от этого потрясения, и тут мне звонит Елена и говорит: слушай, а вдруг да получится, ты ведь знаешь эстонский? Я говорю: да, а что? Понимаешь, у меня есть подруга, сиделка, ее зовут

Дора, у нее тут одна проблема... Она очень боится, что... это может быть очень серьезно... А я готова схватиться за что угодно, лишь бы забыть про двухметрового Ааду и его нежную и нерешительную душу, которая однажды вдруг перестала быть нежной. И говорю: конечно я не забыла эстонский. Куда надо ехать? Что надо делать?

– Да нет... Я хочу сказать... Как ты этот язык так здорово выучила? Я вот чудом поняла, что это эстонский. По мне, так он ни на что не похож. Пока она как-то не сказала уж не помню что, и я давай перечислять: норвежский, шведский, датский, финский, исландский... Наконец говорю – эстонский, и мне показалось, что у нее глаза заблестели по-особому. Вот из-за этого я... И угадала.

– Плохо, что мы не знаем, действительно ли ее муж серийный убийца, или это она помешалась. Может, нам тоже грозит опасность? Ну, вы понимаете, о чем я.

– Мне кажется, я никогда не видела, чтобы женщина так боялась, – второй раз включилась в разговор Елена. – Лучше нам теперь быть поосторожнее.

– Надо ее поподробнее расспросить.

– Хотите, я еще раз с ней поговорю?

– Да.

– А если вдруг он придет?... Что тогда?

После краткой, но страстной встречи со своей новой возлюбленной Александр Роч окончательно решился. Мне очень жаль, Гертруда, но у меня нет другого выхода: ты сама меня на это толкаешь. Теперь мне пора пожить. Он решительно поднялся по ступенькам метро, говоря: эту ночь я не упущу.

А Гертруда в это время все говорила и говорила по-эстонски, а Агата, переодетая сиделкой, – это она-то, падавшая в обморок при виде крови! – с замиранием сердца переводила все Доре, а Гертруда говорила: я смотрела в темноте на его профиль. Да, потому что он с недавних пор стал странным, очень странным, не знаю, что это с ним, и он сжимал челюсти, вот так, и бедная Гертруда хотела поднять руку, чтобы показать, как он это делал, но убедилась, что работает у нее только голова. И тогда она сказала: мне показалось, что в это мгновение он обнажил свою душу и ненавидел меня просто за то, что я существую на свете. И сказал: хватит, к черту все. Да, да, хватит, к черту все.

– По-эстонски сказал?

– Что?

– Он это сказал по-эстонски?

– Не знаю. Тут я увидела, как он отстегивает ремень безопасности, и почувствовала, что машина летит, и я закричала: Саааандреее, сукин сын... И все исчезло. Все. Пока я не очнулась. Он сидел рядом и говорил: это не моя вина, Гертруда, произошла авария.

– Ваш муж говорит по-эстонски?

– Нет. Но понимает. Или нет, говорит.

— А вы могли бы говорить по-каталански?

– А на каком языке я говорю?

Тут послышался звук поворачивающегося в замке ключа, и все три женщины похолодели от страха.

– Поставь ей градусник. Нет, лучше растирай ей ноги.

— Как?

– Блин, просто растирай! Он не должен был прийти в это время.

– О, у нас гости! – сказал он, скрывая удивление.

— Добрый вечер, сеньор Роч.

Он посмотрел на обеих. На всех трех. Мимолетным подозрительным взглядом. Приоткрыл рот. Увидел, как незнакомая сиделка мнет правую ногу Гертруды, будто это пластилин.

– Это... она пришла помочь мне.

– Как она? – поинтересовался он.

– Как всегда. Никаких изменений. – И, кивнув в сторону Агаты: – Это коллега, которая...

Профессор Роч подошел поближе к кровати, посмотрел на жену, поцеловал ее в лоб, потрепал по щеке и сказал: я сейчас вернусь, дорогая, забыл купить пирожные. И вышел, не удосужившись что-то объяснить сиделкам. Оставшись одни, женщины переглянулись. Все три.

Сара, вчера поздно вечером я нашел твою бумажку с фамилией. Там написано: Маттиас Альпаэртс. Живет в Антверпене. Но видишь ли что? Я не доверяю твоему источнику. Он отравлен завистью сеньора Беренгера и Тито. Сеньор Беренгер – мошенник и хочет только одного – отомстить моему отцу, моей матери и мне. Он использовал тебя в своих интересах. Дай мне немного подумать. Мне нужно бы узнать... Ох, не знаю. Клянусь, я делаю все, что могу, Сара.

Я знаю, что ты хочешь меня убить, Сандре, хотя называешь меня «дорогая» и покупаешь пирожные. Я знаю, что ты сделал, потому что видела это во сне. Мне сказали, что я пять дней была в коме. А для меня эти пять дней стали четким и медленным видением аварии: я наблюдала

за тобой в темноте, потому что в последнее время ты стал очень странным, мрачным, раздраженным, неразговорчивым. Первое, что приходит в голову жене, когда муж так ведет себя, – у него на уме другая. Возникает призрак другой. Да, это первое, что приходит в голову. Но я не знала, что сказать. Я не могла смириться с мыслью, что ты можешь меня так... кинуть. И в первый же день в больнице я громко сказала: помогите! Мне кажется, мой муж хочет меня убить, потому что в машине у него было такое странное лицо и он отстегнул ремень и сказал: хватит, а я закричала: Саааандреее, сукин сыыыыын, а потом мне снился этот долгий сон, где все повторялось и повторялось, пять дней подряд. Я уже не знаю, что говорю. Когда я в первый раз осмелилась громко сказать, что, мне кажется, ты меня хочешь убить, никто не обратил на это внимания, как будто не поверили. Но люди на меня смотрели, а эта Дора спрашивала: что ты говоришь? Я тебя не понимаю. А я же совершенно ясно говорила: мне кажется, мой муж меня хочет убить, уже никого не стыдясь, и меня охватывала паника: никто мне не верил и не обращал на меня внимания. Меня как будто похоронили заживо. Это ужасно, Сандре. Я смотрю тебе в глаза, а ты отводишь взгляд: что ты вычисляешь? Зачем ты спрашиваешь меня: что ты говоришь другим, но не мне? Чего ты хочешь? Чтобы я сказала тебе в лицо, что мне кажется, ты хотел меня убить, что мне кажется, ты хочешь меня убить? Чтобы я сказала тебе, глядя в глаза: я думаю, ты хочешь убить меня, потому что я мешаю тебе жить и гораздо проще убрать меня с дороги, задуть, как свечу, чем объясняться со мной? Теперь, Сандре, объяснять мне что-либо... уже не нужно. Но только не задувай свечу: я не хочу умирать. Мне так покойно, когда я замурована в своей броне, во мне еще теплится слабый огонь. Не лишай меня его. Уходи, разводишься со мной, но не гаси во мне огонь.

Агата вышла из квартиры, когда на лестнице уже витали вкусные запахи: пришло время ужина. У нее дрожали ноги. На улице ей в нос ударили выхлопные газы автобуса. Она направилась к метро. Она только что смотрела в глаза убийце, и это было страшно. Сеньор Роч – убийца. Это точно. Когда она уже собиралась спускаться по лестнице, этот самый убийца, с острым как нож взглядом, возник рядом и сказал: девушка, будьте так любезны. Она остановилась, похолодев от ужаса. Он смущенно улыбнулся, провел рукой по волосам и спросил:

- Каково, по-вашему, состояние моей жены?
- Она плоха. – Что еще Агата могла сказать?
- И что, действительно восстановление невозможно?

- К сожалению... ну, я...
- Но ведь миоматозные узлы рассасываются, как мне говорили...
- Да, конечно...
- То есть вы тоже полагаете, что они рассасываются?
- Да... Но я...
- Вы такая же сиделка, как я папа римский.
- Что, простите?
- Что вы делали в моем доме?
- Извините, я спешу.

Как действовать в подобных случаях? Как быть убийце, который замечает, что кто-то посторонний сует нос куда не просят? Как вести себя жертве, которая точно не уверена, что перед ней действительно убийца? Оба на несколько секунд растерялись. И тут Агата быстро сказала «всего хорошего» и бросилась бежать вниз по лестнице, а профессор Роч так и остался стоять на площадке, не зная, что делать. Агата спустилась на платформу. В это мгновение подошел поезд. Оказавшись в вагоне, она обернулась и оглядела станцию: нет, этот псих за ней не гонится. Но свободно она вздохнула, только когда двери вагона закрылись.

Ночью, в темноте, чтобы не видеть взгляда. Ночью, прикидываясь спящей, Гертруда различила тень трусливого Сандре и почувствовала запах подушки с дивана, той, что она, когда жизнь еще была настоящей, подкладывала под голову, чтобы было удобнее смотреть телевизор. И еще успела подумать: Сандре выбрал подушку, как Тиберий, когда убивал Августа. Тебе-то это будет легко, потому что я уже наполовину мертва, только знай: ты не только подлец, но и трус. Ты даже не решился посмотреть мне в глаза на прощание. Больше Гертруда уже не смогла ничего подумать, потому что удушье оказалось сильнее оставшихся в ней сил, и она умерла мгновенно.

Дора положила руку ему на плечо и сказала: сеньор Ардевол, идите отдохните. Это приказ.

Адриа проснулся и удивленно огляделся. Свет в комнате был приглушенный, и гардении Миньона излучали волшебное сияние. Сара все спала и спала. Дора вместе с какой-то незнакомой девушкой на цыпочках вывели его из больницы. Дора дала ему таблетку, чтобы он мог заснуть, и Адриа машинально зашагал прочь от больницы и спустился в метро. В это же время профессор Роч у выхода из метро на улице Вердаге встречался с девушкой, которая годилась ему в дочери, наверняка

студенткой, а лучший в мире детектив Элм Гонзага, нанятый тремя храбрыми женщинами, следил за ними и запечатлел их поцелуй каким-то аппаратом, типа того, что был у Лауры, цифровым, или как там он называется. Потом все трое ждали поезда на платформе, а когда он подошел, в вагон вошли и счастливая пара, и детектив. А на станции «Саграда-Фамилия» вошли еще фра Николау Эймерик и Ариберт Фойгт, горячо обсуждая великие идеи, бродившие в их умах, а сидевший в углу доктор Мюсс, он же Будден, читал Фому Кемпийского^[409] и смотрел в темноту сквозь окно вагона, а в другом конце клевал носом одетый в бенедиктинскую сутану брат Жулиа из монастыря Сан-Пере дел Бургал. Рядом с ним стоял Иаким Муредда из Пардака и хлопал от удивления глазами, смотря на открывавшийся ему мир, и наверняка думал обо всех своих родных и о слепой бедняжке Беттине. Вместе с ним был и перепуганный Лоренцо Сториони; не понимая, что происходит, он, чтобы не упасть, ухватился за металлический поручень в центре вагона. Состав остановился на станции «Успитал-де-Сан-Пау», несколько пассажиров вышли, и вошел Гийом Франсуа Виал, в траченном молью парике. Виал болтал с тучным Драго Градником, которому пришлось наклонить голову, чтобы не удариться при входе, и улыбка Драго напомнила мне серьезное выражение лица дяди Хаима, хотя на портрете, который написала Сара, он и не улыбался. Поезд вновь тронулся. Вдруг я заметил, что Маттиас, храбрая Берта, Тру, с русыми волосами цвета благородного дуба, Амелъете, с волосами черными, как эбен, солнечно-рыжая малышка Жульет и доблестная Нетье де Бук в дальнем конце вагона разговаривают с Бернатом. С Бернатом? Да! И со мной – я тоже был там. Они рассказывали нам о своей последней поездке в поезде, в запечатанном вагоне, и Амелъете показывала рану от удара прикладом Рудольфу Хёссу – тот сидел один и смотрел на платформу, вовсе не желая видеть шишку на затылке девочки. На губах Амелъете уже лежал мрачный цвет смерти, но ее родители не обращали на это внимания. Все они были молодые и полные сил, кроме Маттиаса, – он был дряхлый старик со слезящимися глазами. Мне кажется, они смотрели на него с недоверием, как будто им нелегко было принять и простить старость отца. Особенно храбрая Берта, чей взгляд иногда становился похож на взгляд Гертруды, – нет, все же он был немного другим. Мы подъехали к «Камп-д'Арпа». Там вошел Феликс Морлен, оживленно болтая с моим отцом, я его так давно не видел, что почти не узнал лица, но уверен, что это был он. А следом – шериф Карсон со своим верным спутником Черным Орлом. Оба молчали и изо всех сил старались не смотреть в мою сторону. Я заметил, что Карсон

чуть не сплюнул на пол вагона, но доблестный Черный Орел пресек это резким движением руки. Поезд почему-то долго стоял с открытыми дверями, и в него еще успели сесть неспешно шедшие под ручку сеньор Беренгер и Тито. Мне показалось, я увидел и Лотара Грюббе, который не решался войти в вагон, но мама с Лолой Маленькой, стоявшие за ним, в конце концов его подтолкнули. А когда поезд уже готов был тронуться, в вагон, придерживав двери, вскочил сам Али Бахр, один, без подлой Амани. Двери захлопнулись, поезд поехал, и через тридцать секунд езды в сторону «Сагреры» Али Бахр вышел на середину вагона и заорал как ненормальный: Господь Милосердный, унеси всю эту пададь! Он сунул руку в дишдаш, взвизгнул: Аллах акбар! – и дернул за шнур, который торчал у него из-под одежды. Все озарилось яркой вспышкой, и никто из нас не смог увидеть огромный шар, который...

Кто-то тряс его за плечо. Он открыл глаза. Над ним склонилась Катерина:

– Адриа, вы слышите меня?

Он еще несколько секунд не мог понять, где он, только что вернувшись из далекого сна. Катерина опять спросила:

– Вы меня слышите?

– Да. Что случилось?

Вместо того чтобы сказать: только что звонили из больницы, или – только что был звонок из больницы, или – вам звонили, сказали, это срочно, вместо того чтобы (это было бы лучше всего) сказать: вас к телефону и пойти гладить дальше, Катерина, вечно желавшая быть первой в курсе всего, снова спросила: вы меня слышите? – и я опять ответил: да, что случилось? – а она тогда сказала: Сага проснулась.

Тут я тоже проснулся окончательно, и вместо того, чтобы думать: она проснулась, она проснулась! – я думал: а меня не было рядом, а меня не было рядом. Адриа встал с кровати, не замечая, что он в одних трусах, и Катерина, краем глаза взглянув на него, в душе раскритиковала его за слишком большой живот, но отложила свои замечания до более удобного случая.

– Куда надо идти? – спросил я, совершенно растерявшись.

– К телефону.

Адриа взял трубку в кабинете: звонила сама доктор Реал, которая сказала: она открыла глаза и заговорила.

– На каком языке?

– Что, простите?

– Понятно, что она говорит? – И, не дожидаясь ответа, я добавил: – Я сейчас приеду.

– Нам надо поговорить, прежде чем вы ее увидите.

– Хорошо. Я сейчас приеду.

Если бы не Катерина, вставшая в дверях, я бы так и уехал в больницу голым, не соображая, как это смешно, настолько я был вне себя от счастья. Адриа принял душ, плача, оделся, плача и смеясь одновременно, и отправился в больницу, смеясь, а Катерина, перегладив все белье, закрыла квартиру и сказала: этот человек плачет и когда надо плакать, и когда надо смеяться.

Врач – худая женщина с несколько усталым лицом – пригласила его в кабинет.

– Ой, я только хотел с ней поздороваться.

– Одну минутку, сеньор Ардевол.

Она усадила его, села на свой стул и несколько секунд смотрела на него молча.

– Что-то случилось? – испугался Адриа. – С ней все в порядке, да?

Тогда врач сказала ему то, чего он так боялся. Она сказала: не знаю, верите вы в Бога или нет, но случилось чудо, Господь услышал ваши молитвы.

– Я неверующий, – сказал я и потом соврал: – И не молюсь.

– Ваша жена будет жить. Так вот, повреждения...

– Боже мой.

– Да.

– С одной стороны, надо подождать, чтобы понять, насколько ее затронул инсульт.

– Ну да.

– Но дело в том, что это еще не все.

– А что еще?

– Несколько дней назад мы обратили внимание на парез мышц. Вы понимаете меня?

– Нет.

– Так вот, невролог попросил провести компьютерную томографию, и мы обнаружили перелом шестого позвонка.

– И что это значит?

Доктор Реал слегка придвинулась к нему и сказала другим тоном:

– Что у Сары сильно поврежден спинной мозг.

– Вы хотите сказать, что она навсегда останется парализованной?

– Да. Что у нее полный паралич конечностей. Тетраплегия.

Tetra, что означает «четыре», и *plegia*, от слова *plege*, что значит «удар», а еще – «несчастье». Вот так они описали состояние Сары. Моя Сара четырежды несчастна. Что бы мы делали без греческого? Мы не могли бы даже узнать о великих трагедиях рода человеческого.

Я не мог отречься от Бога, потому что я в Него не верил. Я не мог вlepить пощечину доктору Реал, потому что она была тут совершенно не виновата. Я мог лишь взывать к Небесам, вопия: меня не было рядом! А ведь я бы мог ее спасти! Если бы я был дома, она не вышла бы на лестницу, не упала и не сломала бы себе шею. А я в это время был в постели с Лаурой.

Ему разрешили повидать Сару. Она была еще под действием лекарств и с трудом открывала глаза. Адриа показалось, что она ему улыбнулась. Он сказал ей, что очень, очень, очень любит ее, она слегка разомкнула губы, но ничего не ответила. Прошло четыре или пять дней. Верные гардении Миньона не покидали ее и постепенно возвращали к действительности. А в пятницу психолог и невролог вместе с доктором Реал наотрез отказались пускать меня в палату к Саре, где сами пробыли целый час, в то время как Дора, словно Цербер, охраняла дверь. Я все это время плакал в комнате для посетителей, а когда они вышли, то не пустили меня в палату поцеловать Сару, пока у меня до конца не просохли слезы. И, увидев меня, она сказала мне не «я бы с удовольствием выпила чашечку кофе», а «Адриа, я хочу умереть». Я застыл как дурак, дурак, с букетом белых роз в руке и улыбкой на губах.

– Сара, милая, – произнес я наконец.

Она смотрела на меня серьезно, ничего не говоря.

– Прости меня.

Молчание. Мне показалось, она с трудом сглотнула слюну. Но ничего не сказала. Как Гертруда.

– Я верну скрипку. Я знаю фамилию владельца.

– Я не могу двигаться.

– Но послушай... Это пока. Надо подождать...

– Мне врачи сказали. Никогда не смогу.

– А они откуда знают?

У нее на губах, несмотря ни на что, появилась грустная улыбка от моих слов.

– Я больше не смогу рисовать.

– Но ведь ты же можешь шевелить одним пальцем?

– Да, вот этим. И только.

– Но это хороший знак.

Она не стала отвечать. Чтобы нарушить тяжелое молчание, Адриа сказал нарочито веселым голосом:

– Сначала нужно поговорить со всеми врачами. Правда, доктор Реал?

Адриа обратился к появившемуся в палате врачу, все еще держа букет белых роз в руке, словно намереваясь его подарить вошедшей.

– Ну разумеется, – сказала врач. И взяла у него букет так, как если б он предназначался ей.

Сара закрыла глаза, будто она бесконечно устала.

Бернат и Текла пришли к ней первыми. В смущении они не знали, что сказать. У Сары не было желания ни улыбаться, ни шутить. Она сказала: спасибо, что пришли, – и замолчала. Я стал было говорить, что, как только будет можно, мы поедem домой и все так обустроим, чтобы ей там было удобно. Но Сара лежала и смотрела в потолок, даже не думая улыбаться. Бернат, собравшись с духом, сказал: знаешь, Сара, я ездил в Париж с квартетом и играл в зале Плейель, том самом, где когда-то играл Адриа.

– Правда? – воскликнул Адриа с удивлением.

– Да.

– А откуда ты знаешь, что я там играл?

– Ты сам мне говорил.

Будем ему рассказывать, что мы с тобой познакомились там? Не без помощи маэстро Капельса и твоей тетушки, не помню уж, как ее звали. Или это останется нашим секретом?

– Можно сказать, мы с Сарой там и познакомились.

– Вот как? О, как красиво! – Бернат кивнул на гортензии Миньона.

Текла тем временем подошла к Саре и коснулась ладонью ее щеки. Она долго молча гладила ее, пока мы с Бернатом делали вид, что все замечательно. А дураку Адриа это не приходило в голову: если он хотел, чтобы она, чтобы Сара, если он хотел, чтобы она его замечала, надо было прикоснуться к ее щеке, а не к мертвым рукам. Они не мертвые. Просто уснули.

Когда они остались одни, Адриа коснулся рукой ее щеки, но Сара молча резко отвернулась.

– Ты сердишься на меня?

– У меня есть проблемы посерьезнее, чем сердиться на тебя.

– Извини.

Они замолчали. Жизнь рассыпала перед нами осколки стекла, и мы могли сильно пораниться. Ночью, открыв все балконы из-за жары, Адриа слонялся по квартире словно призрак, не зная, что делать, и возмущался самим собой, потому что в глубине души ему казалось, что это он пострадавший. Мне стоило немалого труда понять, что пострадавшей была ты, и только ты. Поэтому через два или три дня я сел у твоей постели, взял тебя за руку, заметил, что она ничего не чувствует, осторожно положил ее обратно, потом погладил тебя по щеке и сказал: Сара, я предпринимаю необходимые действия, чтобы вернуть скрипку владельцам. Она ничего не ответила на мою полуправду, но и не отвернулась. Через пять минут, тянувшихся вечность, она наконец сказала тихо и откуда-то из глубины «спасибо», и я почувствовал, что у меня сейчас хлынут слезы из глаз, но вовремя сдержался, сознавая, что я в этой палате не имею права плакать.

– «Или в состоянии, которое я сама без принуждения рассматриваю как недостойное меня». Вот так там написано.

– Легко сказать.

– Совсем нет. Сформулировать было непросто, но теперь у меня в завещании написано так. И я составила его в полном и ясном сознании.

– Ты не в полном сознании. Ты – в полном унынии.

– Не путай божий дар с яичницей.

– Что?

– Я – в полном сознании.

– Ты – жива. И можешь жить дальше. Я всегда буду рядом.

– Я не хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу, чтобы ты проявил мужество и сделал то, о чем я прошу.

– Не могу.

– Ты трус.

– Да. Трус.

Мы услышали, как в коридоре говорят «cinquantaquattro» и «это здесь, здесь». Дверь в палату открылась, и я улыбнулся людям, которые вошли, прервав наш разговор. Друзья из Кадакеса. Они тоже знали про розы.

– Смотри, какие красивые, Сара.

– Очень красивые.

Сара слабо улыбнулась и вела себя очень вежливо. Она сказала, что чувствует себя хорошо, что не надо переживать. И друзья из Кадакеса ушли через полчаса, немного успокоенные, потому что приехали, не зная,

что сказать ей, бедняжке.

Много дней подряд разные посетители прерывали наш разговор, который был об одном и том же. Спустя пятнадцать или двадцать дней, с тех пор как она пришла в себя, она попросила меня, когда я уже собирался отправиться домой, поставить перед ней картину Миньона. Несколько минут она с жадностью рассматривала ее не моргая. И вдруг разрыдалась. Именно эти слезы и заставили меня проявить мужество.

Выставка открылась без тебя. Организаторы не могли ее отложить, потому что календарь был расписан на ближайшие два года, а Сара Волтес-Эпштейн не сможет прийти на выставку, но вы уж решите точно, чего вы хотите, и скажите мне. Ведь теперь можно все записать на камеру!

За несколько дней до того Сара призвала нас с Максом к себе и сказала: я хочу добавить два рисунка.

– Какие именно?

– Два пейзажа.

– Но... – Макс оторопел. – Это ведь выставка портретов.

– Два пейзажа, – продолжила Сара, – два портрета души.

– Какие именно? – спросил я.

– Мой пейзаж Тоны и апсида церкви Сан-Пере дел Бургал.

Я остолбенел от твоей твердости. А ты уже давала указания: оба лежат в черной папке, которая осталась в Кадакесе. Рисунок с пейзажем Тоны будет называться «In Arcadia Hadriani», а второй – «Сан-Пере дел Бургал: видение».

– А чьей души это портреты? – Максу нужно было все объяснять.

– Кому надо, знает.

– Anima Hadriani^[410], – сказал я, готовый то ли расплакаться, то ли рассмеяться, точно не знаю.

– Но организаторы...

– Черт побери, Макс! На пару рисунков больше! А если у них не выделено больше средств, пусть вешают без рамы!

– Да нет же! Я это говорю потому, что заявлена выставка портретов...

– Макс, посмотри на меня...

Ты сдула волосы, которые падали тебе на глаза. Я рукой убрал их, и ты сказала спасибо. И обратилась к Максиму:

– Выставка будет такой, как я скажу. Вы мне это должны. Тридцать

портретов и два пейзажа, посвященные человеку, которого я люблю.

– Нет, нет, я ведь...

– Погоди. Один из них – импровизация на тему потерянного рая Адриа. А второй – развалины монастыря, который, не знаю почему, всю жизнь не выходит у Адриа из головы, хотя он увидел его совсем недавно. И вы их добавите. Ради меня. Хотя я и не смогу увидеть выставку.

– Мы тебя туда отвезем.

– Нет, меня смертельно пугает машина «скорой помощи», носилки и все такое... Нет. Снимите все на камеру!

Вот так и получился вернисаж без виновника торжества. Макс держался прекрасно и, обращаясь к пришедшим, сказал: моей сестры нет, но она с нами. В тот вечер мы показывали Саре фотографии и видео, и она, полусидя на подушках, впервые видела все портреты и два пейзажа вместе. А когда вернисаж повторился в *cinquantaquattro* в присутствии Макса, Доры, Берната, доктора Далмау и еще не помню кого и запись дошла до портрета дяди Хаима, Сара попросила: останови на секунду. И она несколько мгновений, замерев, смотрела на картину и думала бог весть о чем, а потом стала смотреть дальше. На моем портрете, где я слегка склонил голову над книгой, она не просила задержаться. Камера дошла до ее автопортрета с загадочным взглядом, и его она тоже не захотела рассматривать. Она внимательно слушала приветственную речь Макса, заметила, что пришло много народу, и, когда на экране опять стали видны портреты, произнесла: спасибо, Макс, ты так хорошо сказал. Она обрадовалась, что увидела там Муртру, Жозе и Шанталь Казас, Риеров из Андорры. Столько народу! Ой, а это Льюренс? Боже, как он вырос!

– А вон Текла, видишь? – сказал я.

– И Бернат. Как здорово!

– Ой, а это кто такой красивый? – восторгалась Дора.

– Один мой друг, – сказал Макс. – Джорджио.

Все замолчали. Тогда Макс сказал:

– Все рисунки проданы. Представляешь?

– А это кто? Ну-ка, ну-ка, останови! – Сара, казалось, чудом приподнялась на подушках. – Да это же Виладеканс, он как будто поедает глазами дядю Хаима...

– Да, точно, он там был. Подолгу рассматривал каждый портрет.

– Надо же...

Видя, как заблестели у нее глаза, я подумал было, что к ней вернулось желание жить и что можно будет устроить жизнь по-другому, поменять приоритеты, стиль, переоценить все ценности... Разве нет? Словно

прочитав мои мысли, Сара снова посерьезнела. Помолчала немного и сказала:

- Автопортрет не продается.
- Что? – спросил Макс испуганно.
- Он не продается.
- Но именно его купили первым.
- Кто его купил?
- Не знаю. Я спрошу.
- Я же вам говорила, что...

Ты нам ничего не говорила. Но в твоей голове уже мешалось то, что ты сказала, что ты подумала, что ты хотела и что ты сделала бы, если бы не...

- Можно позвонить отсюда? – Макс ужасно расстроился.
- На посту у сестер есть телефон.
- Не надо никуда звонить! – резко сказал Адриа, как будто его поймали с поличным.

Я увидел, как смотрят на меня Макс, Сара, доктор Далмау, Бернат. Со мной иногда такое случается. Как будто я вторгся в жизнь без приглашения и все, вдруг заметив самозванца, угрюмо глядят на меня колючим взглядом.

- Почему? – спросил кто-то.
- Потому что его купил я.
- Воцарилось гробовое молчание. Сара поморщилась.
- Ты все-таки чокнутый, – сказала она.
- Адриа посмотрел на нее, раскрыв от удивления глаза.
- Я хотел тебе его подарить, – придумал я.

– Я тоже хотела тебе его подарить. – И она тихонько усмехнулась – по-новому, как никогда не делала до болезни.

В завершение больничного вернисажа все присутствующие чокнулись скучными пластиковыми стаканчиками с водой. Сара ни разу не сказала: мне бы так хотелось быть там. Но все же ты посмотрела на меня и улыбнулась мне. Я уверен, что ты простила меня благодаря этой полуправде про скрипку. У меня не хватило духу тебя разуверять.

Выпив с моей помощью торжественный глоток, она повела головой из стороны в сторону и вдруг сказала: надо, чтобы меня подстригли, а то волосы на затылке мешают.

Лаура вернулась из Алгарве черная от загара. Мы встретились на кафедре среди обычной суеты и срочных сентябрьских пересдач, она спросила меня про Сару, я сказал: понимаешь... и она больше

не расспрашивала. Хотя мы провели потом два часа в одном помещении, но больше не перекинулись ни словом и делали вид, будто не видим друг друга. Несколько дней спустя я обедал с Максом, потому что мне пришло в голову издать альбом, который назывался бы так же, как выставка, и в котором были бы все портреты. Размером в лист, как тебе кажется? По-моему, это превосходная мысль, Адриа. И оба пейзажа. Конечно с двумя пейзажами. Дорогое издание, хорошо сделанное, без спешки. Конечно хорошо сделанное. Мы немного поспорили о том, кто из нас будет оплачивать издание, и сговорились на том, что заплатим пополам. Я принялся за дело с помощью ребят из «Артипелага» и Бауса. И я радовался, мечтая о том, что мы сможем начать новую жизнь, ты будешь дома, разумеется, если захочешь жить со мной, в чем я не был уверен, если тебе это понравится и если ты выбросишь из головы все свои странные мысли. Я поговорил со всеми врачами. Далмау мне сообщил, что, судя по его сведениям, Сара чувствовала себя еще не очень хорошо и не стоило торопиться забирать ее домой. Доктор Реал права. И для нашего же душевного здоровья лучше пока не строить особых планов на будущее. Нужно научиться продвигаться вперед потихоньку, день за днем, поверьте мне. Лаура остановила меня как-то раз в коридоре около аудитории и сказала: я возвращаюсь в Упсалу. Мне предложили работу в Институте истории языка и...

– Это здорово.

– Для кого как. Но я уезжаю. Если тебе нужна будет помощь, я в Упсале.

– Лаура, мне ничего не нужно.

– Ты никогда не знал, что тебе нужно.

– Согласен. Но сейчас я знаю, что не приеду к тебе в Упсалу.

– Я тебе все сказала.

– Ты же не можешь ждать, пока другие...

– Эй!

– Что?

– Это моя жизнь, а не твоя. И инструкции к ней сочиняю я.

Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Если мне не изменяет память, больше мы не виделись. Я знаю, что она живет в Упсале. Что она опубликовала шесть или семь неплохих статей. Я скучаю по ней, но надеюсь, что она встретила человека более честного, чем я. А тем временем мы с Максом решили, что альбом должен стать сюрпризом для Сары, – прежде всего для того, чтобы она нас не отговорила. Нам хотелось, чтобы наш энтузиазм встряхнул ее, чтобы она заразилась им.

Поэтому мы попросили написать небольшую вступительную статью Жуана Пере Виладеканса, и он с большим удовольствием согласился. Он в нескольких строках сказал так много про творчество Сары, что я расстроился при мысли о том, что в ее рисунках кроется столько деталей и граней, которых я прежде не замечал. Как и в твоей жизни было столько граней, которых я не сумел постичь.

Постепенно, наблюдая за тобой в больнице, я обнаружил в тебе женщину, способную руководить миром и пальцем не шевеля, а только лишь рассуждая, отдавая распоряжения, спрашивая, подсказывая, умоляя и смотря на меня тем взглядом, который и по сей день пронзает меня насквозь и ранит меня любовью и бог знает чем еще. Ведь у меня совесть была нечиста. Ты написала мне имя: Альпаэртс. Но я не был уверен, что это настоящий владелец скрипки. Я только знал, что это не то имя, которое написал мне отец в своеобразном завещании на арамейском языке. Я не говорил тебе, Сара, но я не делал ничего, чтобы выяснить это. Confiteor.

В тот серый и неспешный вечер, без посетителей – что уже становилось привычным, ибо у людей множество своих дел, – ты сказала мне: побудь еще немного.

– Если Дора разрешит.

– Разрешит. Я ее попросила. Мне нужно тебе кое-что сказать.

Я уже заметил, что вы с Дорой мгновенно нашли общий язык с самого первого дня и понимали друг друга почти без слов.

– Сара, мне кажется, не нужно...

– Эй, посмотри-ка на меня.

Я с грустью посмотрел на нее. Она еще была с длинными волосами, очень красивая. И ты сказала мне: возьми меня за руку. Вот так. Нет, повыше, чтобы я видела.

– Что ты хочешь мне сказать? – спросил я, боясь, что ты сейчас опять заговоришь о скрипке.

– У меня была дочь.

– Что-что?

– В Париже. Ее звали Клодин, она умерла двух месяцев от роду. На пятьдесят девятом дне жизни. Я, должно быть, была плохой матерью, потому что не заметила ее болезни. Клодин, с глазами черными как уголь, беззащитная, она часто плакала. А однажды с ней случилось что-то непонятное. Она умерла у меня на руках, когда я везла ее в больницу.

– Сара...

– Нет ничего ужаснее, чем видеть, как умирает твой ребенок. Поэтому

я больше не хотела детей. Мне казалось, что это будет несправедливо по отношению к Клодин.

– Почему ты никогда мне об этом не рассказывала?

– Это была моя вина, я не имела права делиться болью с тобой. Теперь я снова увижу ее.

– Сара...

– Что?

– Это была не твоя вина. И ты не должна умирать.

– Я хочу умереть. Ты это знаешь.

– Я не дам тебе умереть.

– То же самое я говорила в такси Клодин. Я не хочу, чтобы ты умирала, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, Клодин, слышишь, крошка?

Ты заплакала впервые с тех пор, как оказалась в больнице. О дочке, а не о себе. Ты – сильная женщина. Ты не говорила ни слова и не сдерживала слез. Я осторожно, в немом почтении, вытирал их носовым платком. Наконец ты собралась с силами и продолжила:

– Но смерть сильнее нас, и моя крошка Клодин умерла. – Она опять умолкла, обессилив от переживания. Слезы снова потекли у нее из глаз, но она сказала: – Поэтому я знаю, что теперь я снова буду с ней. Я называла ее «крошка Клодин».

– Почему ты говоришь, что снова будешь с ней?

– Потому что я это знаю.

– Сара... ты ведь ни во что не веришь.

Иногда я не умею держать язык за зубами. Признаюсь.

– Ты прав. Но я знаю, что матери встречаются со своими умершими детьми. Иначе жизнь была бы невыносима.

Я молчал, потому что ты, как всегда, была права. А еще он молчал потому, что знал, что это невозможно. И не мог сказать, что зло способно на все, хотя еще не знал историю жизни Маттиаса Альпаэртса, храброй Берты, Амелъете с волосами черными, как эбен, Тру с русыми волосами цвета благородного дуба и золотисто-рыжей Жульет.

Вернувшись в свою квартиру в huitième arrondissement, Сара обыскала все в поисках Перчика, повторяя: куда ж он залез, куда он залез, куда залез...

Кот спрятался под кровать, словно учуяв, что дела плохи. Она выманила его, ласково говоря: иди сюда, мой хороший, иди, и когда Перчик доверился ее голосу и вылез из-под кровати, схватила его, намереваясь сбросить с лестницы, потому что я не хотела, чтобы со мной рядом было хоть одно живое существо. Хоть кто-то, кто однажды может

умереть. Но отчаянное мяуканье подействовало на Сару и спасло кота. Она отнесла его в приют, хотя и понимала, что несправедлива к бедному животному. Сара Волтес-Эпштейн несколько месяцев предавалась горю, рисовала абстракции в черном цвете и проводила долгие часы за работой, делая иллюстрации к сказкам, которые мамы читали своим живым и веселым дочкам. И думала: эти рисунки никогда не увидит моя крошка Клодин, и боялась, что горе источит ее изнутри. А ровно через год ко мне пришел продавец энциклопедий. Ты понимаешь, что я не могла к тебе тут же вернуться? Понимаешь, что я не могла жить с тем, кого могла потерять? Ты понимаешь, что я была не в себе?

Она замолчала. Мы оба замолчали. Я положил ее руку ей на грудь и погладил ее по щеке. Она не противилась. Я сказал ей: я люблю тебя, и мне хотелось верить, что ей стало спокойнее. Я так и не осмелился спросить, кто отец Клодин и жил ли он с тобой, когда девочка умерла. Ты рассказывала эпизоды своей жизни так же, как рисовала углем, здесь подчеркивая тень, там скрывая черту. Ты отстаивала право на тайны, на запертую комнату Синей Бороды. Дора выпустила меня из больницы в неприлично позднее время.

В тот день, когда ты снова завела этот разговор и попросила помочь тебе умереть, так как сама не могла этого сделать, я испугался, потому что тешил себя мыслью, что ты об этом забыла. И тогда Адриа сказал: как это ты собираешься умереть, если мы тебе готовим сюрприз? Какой? Твой альбом. Мой альбом. Мой альбом? Да, со всеми рисунками. Мы делаем его с Максом.

Сара улыбнулась и задумалась. И сказала: спасибо, но я хочу со всем покончить. Мне не нравится умирать, но я не желаю быть обузой, и я не согласна на такую жизнь, которая мне предстоит, – все время смотреть на один и тот же кусок треклятого потолка. Мне кажется, это первая жалоба, которую я когда-либо от тебя слышал. Или, может быть, вторая.

Но. Да, я понимаю твое «но». Я не знаю как. А я знаю, мне Дора рассказала; но мне нужен помощник. Не проси меня об этом. А если бы это сделал кто-нибудь другой, ты бы не возражал? Нет, я хочу сказать, не проси никого. Здесь распоряжаюсь я. Это моя жизнь, а не твоя. И инструкции к ней сочиняю я.

У меня рот открылся. Как будто между Сарой и Лаурой было нечто...

Мне стыдно признаться, но я разрыдался у постели Сары, которая с остриженными волосами была такая красивая. Я никогда не видел тебя стриженной, Сара. А она, не имея возможности погладить меня по голове в утешение, смотрела на треклятый потолок и ждала, пока я успокоюсь. Кажется, в этот момент Дора вошла было в палату с таблетками, но, увидев сцену, тут же вышла.

– Адриа...

– Да?

– Ты любишь меня больше всех?

– Да, Сара. Ты знаешь, что я люблю тебя.

– Тогда сделай то, о чем я прошу. – И через секунду: – Адриа.

– Да.

– Ты любишь меня больше всех?

– Да, Сара. Ты знаешь, что я люблю тебя.

– Тогда сделай то, о чем я прошу. – И почти тут же в третий раз: –

Адриа, любимый.

– Что?

– Ты меня любишь?

Адриа стало грустно оттого, что ты просишь в третий раз, потому что я бы отдал жизнь за тебя, и каждый раз, когда ты спрашиваешь меня об этом, я только думаю, что...

– Ты любишь меня или нет?

– Ты все знаешь, и знаешь, что я люблю тебя.

– Тогда помоги мне умереть.

Я ушел из больницы с камнем на сердце. Дома я машинально бродил по сотворенному мною когда-то миру, глядя на корешки книг, но не видя их. В другое время я бы с большим удовольствием наведалься в шкафы с прозой на романских языках, где многое напоминало мне о часах, проведенных за чтением любимых книг; а посещение отдела поэзии неизбежно заканчивалось тем, что я брал с полки книгу, украдкой открывал наугад и читал пару стихотворений, – как будто моя библиотека была раем, а стихи – вовсе не запретным плодом. Прежде, войдя в отдел эссеистики, я чувствовал себя своим в кругу тех, кто однажды решил упорядочить свои размышления, а теперь ходил повсюду как слепой, как в воду опущенный, видя только страдание в глазах Сары. Работать не было сил. Я садился перед кучей исписанных листков, пытался перечитать то, на чем остановился, но тут передо мной возникала ты, говорившая: убей меня, если любишь, или лежащая в постели годами,

неподвижная, невозмутимая, и я, выбегающий каждые пять минут из твоей комнаты, чтобы закричать от бешенства. Я спросил у Доры, сохранили ли они твои состриженные волосы...

- Нет.
- Вот черт...
- Она попросила их выбросить.
- Ну что же это такое...
- Да, очень жаль. Я тоже так считаю.
- И вы ее послушались?
- Попробуй не послушаться вашу жену.

Ночи превратились в нескончаемую бессонницу. Чтобы заснуть, я стал прибегать к странным занятиям, например перечитывал тексты на иврите, который совсем позабыл, потому что мне почти не случалось работать с ним. Я отыскал тексты пятнадцатого и шестнадцатого веков и современные и увидел как живую почтенную Ассумпту Бротонс – в пенсне и с улыбкой, которую я сначала принял за выражение симпатии ко мне, однако потом оказалось, что это было, если не ошибаюсь, что-то вроде застывшей гримасы. У нее было невероятное терпение! Такое же терпение требовалось и мне.

- Achat.
- Ашат.
- Achat.
- Ахат.
- Прекрасно. Это вам понятно?
- Да.
- Schtajm.
- Штайм.
- Прекрасно. Это вам понятно?
- Да.
- Schalosch.
- Шалош.
- Прекрасно. Это вам понятно?
- Да.
- Arba.
- Арба.
- Chamesch.
- Хамеш.
- Превосходно.

Но буквы плясали у меня перед глазами, потому что мне было на все

наплевать, потому что я хотел одного – быть рядом с тобой. Я ложился в кровать к утру и в шесть все еще лежал с открытыми глазами. Я забывался тяжелым сном на несколько минут, но к приходу Лолы Маленькой уже был на ногах, выбритый, вымытый и готовый – если у меня не было лекций – отправиться в больницу, чтобы не пропустить чуда, если вдруг милосердный Господь его сотворит.

Наконец как-то ночью мне стало до того стыдно, что я решил встать на место Сары по-настоящему, постараться понять ее до конца. На следующий день Адриа нарочно попался на глаза Доре, которая не так сильно боялась, как я, но выражалась очень уклончиво, потому что в Сарином случае болезнь была не столь необратима, чтобы закончиться смертью; потому что она могла, конечно, провести годы в таком положении; потому что... и я не мог не выступить в защиту Сары, чьи аргументы сводились к одному: сделай это из любви ко мне. Я опять оказался один. Один на один с твоей просьбой, с твоей мольбой. И я чувствовал, что мне это не под силу. Но однажды вечером я сказал Саре: да, я сделаю это. А она улыбнулась и ответила: если б я могла двигаться, то встала бы и расцеловала тебя. А я говорил это, зная, что лгу, потому что не имел ни малейшего намерения осуществлять твою просьбу. Я все время лгал тебе, Сара. И в этот раз, и когда говорил, что прилагаю усилия, чтобы вернуть скрипку... Я возвел поистине грандиозное здание лжи, и все только для того, чтобы выиграть время. Выиграть время для чего? Чтобы бояться и думать: день прошел, и слава богу, или что-то в этом духе. Я посоветовался с Далмау, и он мне рекомендовал не вовлекать в это доктора Реал.

- Слушайте, вы говорите так, будто речь идет о преступлении.
- Но это и есть преступление. По нынешним испанским законам.
- Тогда почему вы мне помогаете?
- Потому что одно дело – закон, а другое – те случаи, которые закон не решается учитывать.
- Иначе говоря, вы согласны со мной?
- Чего вы от меня хотите? Чтобы я подписал какое-нибудь заявление?
- Нет. Извините. Я... ну...

Далмау взял меня за плечи, усадил и, хотя мы и были у него в кабинете, одни во всей квартире, понизил голос. В немом присутствии шокированного Модильяни в желтых тонах он прочел мне краткий курс по оказанию помощи в смерти от любви. Я же понимал, что эти знания мне никогда не пригодятся. Я провел пару достаточно безмятежных недель, пока наконец Сара меня не спросила: когда, Адриа? Я открыл рот.

Посмотрел на треклятый потолок, потом на Сару, не зная, что сказать. И пробормотал: я поговорил с... я... что?

На следующий день ты умерла сама. Я всегда буду думать, что ты умерла сама, потому что поняла, что я трус. Ты так хотела умереть, а во мне не нашлось смелости, чтобы пройти с тобой конец пути и поддержать тебя. По версии доктора Реал, у тебя, несмотря на лечение, повторилось кровоизлияние, спровоцированное падением. И хотя ты была в больнице, ничем помочь было нельзя. Ты ушла, а выставка твоих рисунков еще не закрылась. Макс, пришедший с Джорджио, со слезами на глазах сказал мне: как жаль, что она не знала, какой альбом мы для нее готовим. Надо было ей об этом сказать.

Вот так все и было, Сара. Я не нашел в себе сил помочь, и тебе пришлось уйти самой – в спешке, тайком, не оглянувшись, не простившись. Ты понимаешь, как мне горько?

– Адриа?

Едва услышав голос Макса, я понял, что он встревожен.

– Да, я тебя слушаю.

– Я получил факс.

– Все нормально?

– Нет. Совсем не нормально.

– Дело в том, что... Я, наверно, нажал не ту клавишу...

– Адриа!

– Что?

– Факс я получил, с ним все в порядке. Ты нажал нужную кнопку, и он до меня дошел.

– Отлично. Так, значит, все в порядке.

– Все в порядке? Ты знаешь, что ты мне прислал? – Он говорил ровно таким же тоном, каким разговаривала со мной Трульолс, если я вместо арпеджио в *соль мажор* начинал играть арпеджио в *ре мажор*.

– Биографический очерк о Саре, что же еще?

– Так. И с какой ноты ты начал? – допытывалась Трульолс.

– Слушай, что с тобой происходит?

– Чтобы напечатать его где?

– В конце альбома с ее рисунками. Ты доволен?

– Нет. Я сейчас прочитаю, что ты мне прислал.

Это было не предложение, а утверждение. И я немедленно услышал, как он говорит: Сара Волтес-Эпштейн родилась в Париже в тысяча девятьсот пятидесятом году и совсем юной познакомилась с одним дураком, который влюбился в нее и, без всякого злого умысла, так и не смог сделать ее счастливой...

– Слушай, я...

– Мне продолжать?

– Не стоит.

Но Макс дочитал до конца. Он был ужасно сердит, и, когда замолк, воцарилось очень странное молчание. Я сглотнул слюну и спросил: Макс, я тебе отправил вот это?

Он по-прежнему молчал. Я посмотрел на бумаги, разложенные у меня на столе. Там были еще не проверенные контрольные студентов отделения эстетики. Лола Маленькая наверняка их перекладывала. Еще какие-то бумаги. И... Постой-ка... Я схватил листок, тот самый, который передал по факсу, он был напечатан на «оливетти». Я пробежался по нему взглядом:

– Вот черт! Я точно тебе отправил именно это?

– Да.

– Извини.

Голос Макса звучал теперь немного спокойней:

– Если ты не обидишься, я сам напишу биографический очерк. У меня уже есть вся информация про выставки.

– Слушай, спасибо!

– Да не за что! Ты прости меня... нервы шалют... Просто в типографии требуют прислать текст немедленно, если мы хотим, чтобы альбом вышел до закрытия выставки.

– Если хочешь, я попробую...

– Ни в коем случае. Это сделаю я.

– Спасибо, Макс. Привет Джорджио.

– Спасибо. А кстати, почему ты пишешь «сучья» с двумя «с»?

Я повесил трубку. Это было первым предупреждением, но тогда я этого не знал. Я перебрал все бумаги на столе. Там был только этот текст. Я, встревоженный, перечитал его. На листке я написал: Сара Волтес-Эпштейн родилась в Париже в тысяча девятьсот пятидесятом году и совсем юной познакомилась с одним дураком, который влюбился в нее и, без всякого злого умысла, так и не смог сделать ее счастливой. После долгих мучительных колебаний, после примирений и расставаний она наконец согласилась жить вместе с вышеупомянутым дураком и провела с ним долгие годы (пролетевшие слишком быстро) совместной жизни,

которые стали для меня самыми важными. Главнейшими. Сара Волтес-Эпштейн умерла осенью девяносто шестого года. Что же это за ссучья жизнь такая, что она не дожила даже до пятидесяти? Сара Волтес-Эпштейн посвятила себя тому, что рисовала жизнь чужим детям и очень редко и нехотя выставляла свои рисунки карандашом или углем, словно ей важно было только самое главное – связь с листом бумаги через уголь или карандаш. Она была замечательной художницей. Она была замечательной. Она была.

Жизнь продолжалась, грустная, но – живая. Появление альбома рисунков Сары Волтес-Эпштейн наполнило меня глубокой и неизбывной печалью. Биографическая справка, которую подготовил Макс, была безупречна, как все, что делал Макс. Затем события стали развиваться стремительнее: Лаура, как и грозились, не вернулась из Упсалы, а я засел писать книгу о зле, потому что в голове у меня бродило множество мыслей. Однако Адриа, хотя и писал лихорадочно, изводя массу бумаги, знал, что он ни на шаг не продвигается вперед; что невозможно продвигаться вперед, если ты постоянно слышишь звонок телефона – непрерывное, ужасно неприятное *ре*.

– Дзззыыыыыыынь!

Теперь звонили в дверь.

– Я тебе не помешал?

Адриа в конце концов открыл дверь. На сей раз Бернат не разводил канитель. Он пришел со скрипкой и с огромной сумкой в руках, а за плечами нес половину своей жизни.

– Опять вы поругались?

Бернат прошел в квартиру, не считая нужным подтверждать очевидное. Пять дней подряд он ничего не говорил, а я сражался с бесплодной писаниной и настырным телефоном.

На шестой день Бернат за ужином из лучших побуждений попытался уговорить меня сделать компьютер неотъемлемой частью моей жизни, заставляя повторять меня то, чему Льюренс меня обучил и что я постепенно забывал, поскольку компьютером не пользовался.

– Ну, теорию-то я понимаю. Но чтобы ее применять... ее нужно применять, а у меня нет времени!

– Ты не исправим!

– Ну как я могу садиться за компьютер, если еще не до конца освоил пишущую машинку!

– Но ты постоянно на ней печатаешь!

– Потому что у меня нет секретаря, который перепечатывал бы мне все набело.

– Ты даже не представляешь, сколько бы ты сэкономил времени!

– Я вскормлен на рукописях. Мне не важны время и толщина свитка.

– Я тебя что-то не понял.

– Я вскормлен на рукописях. И не забочусь о размерах.

– Опять не понял. Я только хочу, чтобы ты сэкономил время благодаря компьютеру.

В результате ни Бернат не убедил меня, что надо работать на компьютере, ни я не поговорил с ним о Льюренсе и о том, что лучше избегать общения с сыном в том стиле, в каком это делал мой отец. Наконец в один прекрасный день я увидел, что Бернат собирает вещи. Прошло две недели с тех пор, как он поселился у меня. Он возвращался домой, потому что, как он объяснил перед уходом, не может так жить. Я, правда, не понял, что именно он имеет в виду. Он уходил, наполовину помирившись с Теклой, и я снова остался дома один. Один навсегда.

Идея донимала меня, пока я в конце концов не позвонил Максу и не спросил, будет ли он дома, потому что мне надо его видеть. И я отправился в Кадакес, готовый на все.

Дом Волтес-Эпштейнов был большой, просторный, не очень красивый, но удобный для того, чтобы любоваться видом бухточек и синевой гомеровского моря. В этот рай я входил впервые. Я обрадовался, что Макс меня обнял, как только я переступил порог. Я понял, что это был официальный знак того, что я принят в семью, хотя и слишком поздно. Лучшая комната в доме превратилась после смерти сеньора Волтеса в кабинет Макса. Там располагалось впечатляющее – говорят, самое солидное во всей Европе – собрание книг по всем аспектам виноделия. Освещенность склонов холмов. Сорта винограда, их заболевания. Форма гроздьев. Там были монографии о каберне, уль-де-льебре, шардоне, рислинге, ширазе и прочих сортах вин; работы по истории и распространению виноделия, о его кризисах, об эпидемиях, филлоксере, о выведении новых сортов, об идеальных широте и долготе для возделывания виноградников. О влиянии тумана на качество вина. О вине из холодных регионов. О завяливании винограда. О горных и высокогорных сортах винограда. Зеленые лозы у синей воды^[411]. О винохранилищах, погребах, бочках, бочонках из Виргинии и Португалии, о сульфитах, сроках выдержки, текстуре вина, терпкости, цвете, пробковых деревьях, пробках, о семействах производителей пробки, о компаниях

по экспорту вина, винограда, пробки, бочковой древесины. Биографии знаменитых виноделов и истории семейств виноградарей, альбомы с фотографиями разнообразных виноградников. Книги о разных видах почвы. О винах марочных и коллекционных. О винах контролируемых наименований по происхождению. Списки и карты. Урожайные годы. Интервью с виноделами и виноторговцами. Мир емкостей для вина. Шампанское. Каталонские игристые вина. Игристые вина других регионов. Вино и гастрономия. Вино красное, белое, розовое, молодое, выдержанное. Вино сладкое и кислое. Вина монастырские, ликеры, шартрез, коньяки и арманьяки, бренди, виски из различных регионов, бурбон, кальвадос, граппа, настойки, орухо, анисовка, водка. Теория дистилляции. Мир рома. Температура хранения и потребления. Термометры для вина. Выдающиеся сомелье... Когда Адриа оказался здесь, на его лице возникло такое же удивление и восхищение, как и на лице Маттиаса Альпаэртса, когда тот вошел в кабинет Адриа.

– Потрясающе! – сказал он. – Ты – всеведущий знаток вина, а твоя сестра смешивала его с газировкой и пила из пурро.

– Ну что поделаешь... Но все же не надо путать: пурро сам по себе неплох. В отличие от газировки. Ты пообедаешь с нами, – добавил он. – Джорджио превосходно готовит.

Мы сели посреди этой вселенной вина, в которой витали немые вопросы: чего ты хочешь? о чем тебе надо поговорить? зачем? Макс старался этого не спрашивать. Мы сидели в тишине, смешанной с морским воздухом, который так располагал к безделью, к тому, чтобы день прошел безмятежно, чтобы никто и никакой разговор не усложнял нам жизнь. Сложно было перейти к делу.

– Что ты хотел, Адриа?

Трудно было сказать. Потому что Адриа хотелось узнать, какой такой чуши наплели Саре, что она ни с того ни с сего вдруг взяла и исчезла, не сказав мне ни слова.

Воцарилась тишина, которую нарушал лишь нежный соленый бриз.

– А Сара тебе не говорила?

– Нет.

– А ты ее об этом спрашивал?

– Никогда меня больше об этом не спрашивай, Адриа. Лучше, чтобы...

– Ну, если она тебе говорила так, я...

– Макс, посмотри мне в глаза. Она умерла. Сара умерла! И я хочу знать, черт возьми, что тогда произошло.

– Может, уже не нужно?

– Очень даже нужно! И твои, и мои родители тоже мертвы. Но я имею право знать, в чем я виноват.

Макс встал и подошел к окну, как будто ему срочно надо было рассмотреть какую-то деталь морского пейзажа, который вырисовывался словно картина в оконной раме. Он постоял так некоторое время, изучая детали. Или размышляя.

– Так, значит, ты ничего про это не знаешь, – заключил он, не поворачиваясь ко мне.

– Я даже не знаю, что именно я должен знать или не знать.

Меня вывела из себя его сдержанность. Я постарался успокоиться и уточнил:

– Когда я нашел Сару в Париже, она мне сказала только, что я якобы написал ей письмо, где говорил, что она – паршивая еврейка и пусть катится подальше со своей кичливой семейкой, где все как будто шест проглотили.

– Ничего себе! А вот этого я не знал!

– Примерно так, по ее словам. Но я этого ей не писал!

Макс взмахнул рукой и вышел из кабинета. Вскоре он вернулся с охлажденной бутылкой белого вина и двумя бокалами:

– Посмотрим, что ты про это скажешь.

Адриа пришлось сдержать свое нетерпение и попробовать сент-эмилион, уловить оттенки вкуса, о которых ему толковал Макс. Так, потихоньку дегустируя вино, они осушили первый бокал, говоря о его аромате, а не о том, что втолковали Саре ее и моя матери.

– Макс...

– Я знаю.

Он налил себе полбокала и выпил уже не как энолог, а как алкоголик. После чего причмокнул языком, сказал: наливай себе сам, и начал: Феликса Ардевола удивил вид клиента. Я тебе рассказываю это, дорогая, потому что, как объяснил мне Макс, тебе это было известно лишь в общих чертах. Ты имеешь право знать подробности: это мое покаяние. Поэтому я должен тебе сказать, что Феликса Ардевола удивил вид клиента, такого худого, что казалось, будто он стоит не в шляпе, а с раскрытым над головой зонтиком посреди романтического сада в Атенеу.

– Сеньор Лоренсо?

– Да, – ответил Феликс Ардевол. – А вы, должно быть, Абеярд?

Человек молча сел, снял шляпу и аккуратно положил ее на стол. Дрозд со свистом пролетел между двумя мужчинами и упорхнул в самые густые заросли сада. Худой человек сказал низким голосом, старательно произнося

испанские слова: вам доставят пакет от моего клиента сегодня сюда же. Через полчаса после того, как я уйду.

– Отлично. У меня есть время.

– Когда вы уезжаете?

– Завтра утром.

На следующий день Феликс Ардевол сел в самолет, как часто делал. Приземлившись в Лионе, он взял напрокат «ситроен-траксьон-аван», как часто делал, и через несколько часов оказался в Женеве. В «Отель-дю-Ляк» его ждал все тот же худой человек с низким голосом, пригласивший его в номер. Адевол вручил ему сверток, и человек, сняв шляпу и аккуратно положив ее на стул, стал аккуратно его разворачивать и наконец вскрыл. Затем медленно пересчитал все пять пачек купюр. Это заняло у него добрых десять минут. На листе бумаги он делал записи, производил подсчеты, а результаты скрупулезно заносил в блокнот. Он даже сверял номера и серии банкнот.

– Какое ко мне доверие! – нетерпеливо заметил Ардевол.

Человек соизволил прореагировать на его слова, только когда закончил свое дело.

– Что вы сказали? – спросил он, убирая деньги в чемодан, пряча блокнот, разрывая листок с записями, собирая клочки бумаги и засовывая их в карман.

– Какое ко мне доверие!

– А как же!

Он встал, вынул из чемодана пакет и положил его перед Ардеволом:

– Это вам.

– Теперь моя очередь считать?

На лице человека появилась безжизненная улыбка. Он забрал со стула зонтик и, надев его вместо шляпы, сказал: если хотите отдохнуть, номер оплачен до утра. И ушел, не обернувшись и не попрощавшись. Феликс Ардевол тщательно пересчитал банкноты и испытал полное удовлетворение.

Подобная операция повторялась с небольшими вариациями несколько раз. Вскоре появились новые посредники, а пакеты с каждым разом становились все толще. И прибыль росла. Кроме того, он использовал эти поездки еще и для того, чтобы порыскать на полках библиотек, книжных магазинов и книгохранилищ. И вот как-то раз человек, который гудел басом, старательно произнося испанские слова, словно ему нравилось себя слушать, допустил ошибку. На столе в номере «Отель-дю-Ляк» он оставил клочки листка, на котором производил подсчеты, вместо того чтобы

засунуть их в карман. Ночью, терпеливо собирая их, как головоломку, на стекле, Феликс Ардевол смог прочесть слова, написанные на оборотной стороне листа. Точнее, там было всего два слова: «Ансельмо Табоада». И какие-то неразборчивые каракули. Ансельмо Табоада. Ансельмо Табоада.

Феликсу Ардеволу потребовалось два месяца, чтобы найти того, кто носил это имя. И в один дождливый вторник он явился в полицейский участок и стал терпеливо ждать, когда его примут. Прождав очень долго, насмотревшись на военных самых разных званий и наслушавшись обрывков странных разговоров, он наконец был препровожден в кабинет, превосходивший его собственный в два раза, но только без единой книги. За столом сидел подполковник Ансельмо Табоада Искьердо; на его лице читалось некоторое любопытство. Да здравствует Франко! Да здравствует! Без долгих проволочек они начали поучительную и конструктивную беседу.

– По моим подсчетам, подполковник, именно такую сумму я доставил вам в Швейцарию, – сказал Феликс, положив перед подполковником листок тем жестом, который он подглядел у человека, представлявшегося Абелярдо, когда тот клал перед ним конверт с деньгами.

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

– Меня зовут Лоренсо.

– Вы ошибаетесь. – Подполковник встал, занервничав.

– Я не ошибаюсь.

Ардевол продолжал сидеть с совершенно невозмутимым видом.

– Я, собственно, зашел поприветствовать вас по дороге к моему большому другу, губернатору Барселоны. Он – мой большой друг, а также друг генерал-капитана, чей кабинет по соседству с вашим.

– Вы – друг дона Венсеслао?

– Ближайший.

Пока подполковник садился в кресло с недоверчивым видом, Ардевол положил на стол визитку губернатора и сказал: позвоните ему и он вам все объяснит.

– Не стоит. Объясните сами.

Особых объяснений не требовалось, любимая, поскольку отцу с удивительной легкостью удавалось завлечь людей в свои сети.

– О! – Феликс Ардевол расплылся в лстивой улыбке, ненавидя губернатора в душе.

Тот подобрал с пола терракотовую статуэтку, разлетевшуюся на три куска:

– Это что-то ценное?

– Она стоит миллионы, ваше превосходительство.

Феликсу Ардеволу стоило большого труда сдержать свое раздражение в присутствии этого неуклюжего медведя. Венсеслао Гонсалес Оливерес положил осколки статуэтки на стол и на своем цветистом испанском сказал необычным тоном кастрированного тореадора: мы склеим ее отличным клеем, как склеили раненную и истерзанную бунтовщиками Испанию.

– Ни в коем случае! – вырвалось у Ардевола слишком уж пылко. – Ее восстанавливаю я, и через пару дней этот подарок будет снова стоять у вас в кабинете.

Венсеслао Гонсалес Оливерес положил руку на плечо Феликсу и протрубил: дорогой Ардевол, этот языческий идол – символ Испании, израненной коммунизмом, каталонизмом, иудаизмом и масонством, которые вынуждают нас вести борьбу со злом.

Ардевол принял задумчивый вид, что очень понравилось губернатору. Тот бесстрашно взял самый маленький осколок – отвалившуюся от фигурки руку – и показал его своему ученику со словами: вот так же было и две Каталонии – одна лживая, вероломная, цинично оппортунистская...

– Я хотел попросить вас об одном конкретном одолжении.

– ...насквозь пропитанная материализмом, а потому разуверившаяся в религии и в этике, космополитичная по сути.

– В обмен на услуги, которые я окажу. Просьба эта вас не затруднит: дать мне разрешение на свободу перемещения.

– И другая Каталония, рождающаяся теперь, – достойная любви, восхитительная, здоровая, жизнеспособная, уверенная в себе, необыкновенно чувствительная, как эта статуэтка.

– Эта финикийская терракота, очень дорогая, куплена была мной на собственные сбережения у одного врача-еврея, которому срочно понадобились деньги.

– Евреи – предательское отродье, учит нас Библия.

– Нет, ваше превосходительство: этому нас учит Католическая церковь. Библию написали евреи.

– Правильно, Ардевол. Вижу, вы, как и я, – образованный человек. Но евреи от этого не перестают быть предателями.

– Ну разумеется, ваше превосходительство.

– И не спорьте больше со мной! – Губернатор на всякий случай поднял палец.

– Хорошо, ваше превосходительство. Финикийская статуэтка, ценнейшая, очень дорогая, уникальная, редчайшая, времен Пунических

войн.

– Да, Каталония, мощная своими умами, богатая благородными и изысканными семействами...

– Уверяю вас, что в моих руках она станет как новая. Вы видите, ей две тысячи лет. Она очень дорогая.

– ...обогащенная инициативами, избранная благодаря своей рыцарственности и участвующая благодаря своей интуиции, активности и страстности...

– Я прошу у вас только паспорт для свободного пересечения границы, ваше превосходительство.

– ...в общей судьбе Испании, нашей матери-защитницы всех народов. Каталония, которая умеет пользоваться тактично, сдержанно и благопристойно своим любимым диалектом только дома в кругу семьи, чтобы не оскорблять ничьих чувств.

– Чтобы я мог свободно въезжать и выезжать из нашей великой Испании. Хотя в Европе идет война – именно потому, что в Европе идет война, – я мог бы осуществлять некоторые торговые операции.

– Как гриф, летящий на падаль?

– Да, ваше превосходительство, и я отблагодарю вас с лихвой, предметами еще более ценными, чем эта финикийская статуэтка, за то, что вы выдадите паспорт на мое имя.

– Каталония духовная, динамичная, исполненная предприимчивости, у которой должна учиться остальная Испания.

– Я всего-навсего торговец. Но могу делиться своими радостями. Да, разумеется, без ограничения стран въезда, как у дипломатов. Нет, я не боюсь опасностей: я всегда знаю, куда мне нужно звонить.

– С палубы большого корабля, как говорится, открываются новые горизонты.

– Спасибо, ваше превосходительство!

– Благодаря Франко, нашему любимому каудильо, эти горизонты, прежде низкие и мрачные, на нынешней заре стали лучезарны и доступны.

– Да здравствует Франко, ваше превосходительство.

– Я предпочитаю металл статуэткам, Ардевол.

– Договорились. Да здравствует Испания!

И по прошествии нескольких недель он сказал подполковнику Ансельмо Табоаде Искьердо, находясь в его кабинете, где не было книг:

– Если хотите, я позвоню его превосходительству губернатору.

Подполковник все еще сомневался. И тогда Феликс Ардевол напомнил ему: а еще мы большие друзья с генерал-капитаном. Так вам по-

прежнему ничего не говорит имя Лоренсо?

Секунда, нет, меньше короткого мгновения потребовалось подполковнику, чтобы изобразить на лице широкую улыбку и воскликнуть: вы сказали, Лоренсо? Да садитесь же, садитесь.

– Я уже сижу.

Разговор длился всего четверть часа. Перестав улыбаться после нескольких минут переговоров, подполковник Ансельмо Табоада Искьердо вынужден был сдаться, и Феликс Ардевол удвоил ставку на три последующие операции плюс дополнительная выплата в конце года в силу того, что...

– Договорились, – поспешил сказать Ансельмо Табоада, – договорились.

– Да здравствует Франко!

– Да здравствует!

– Я буду нем как могила, подполковник.

– Так будет лучше. Я хочу сказать, для вашей безопасности.

Худого человека в шляпе-зонтике, который называл себя Абелярдо, Ардевол никогда больше не видел, ибо его наверняка посадили в тюрьму за некомпетентность. Зато самому Ардеволу удалось добиться того, что коллеги его нового друга, майор и капитан, тоже из управления, а также один судья и трое предпринимателей передали ему свои сбережения, чтобы он поместил их в надежное место и под хороший процент. Судя по всему, он проделывал это в течение четырех-пяти лет во время войны, и потом тоже, как сказал мне Макс. Отец нажил себе немало врагов среди профранкистских военных и политиков, которые умели проворачивать финансовые операции. Возможно, из страсти к уравниванию он решил донести на четверых или пятерых университетских преподавателей.

Любимая, выяснилось следующее: отец со всех брал деньги и тратил их на предметы для антикварного магазина или для себя самого... У него явно было хорошо развито шестое чувство: он чуял, кто сгорал от желания что-нибудь продать, а у кого было столько тайн и столько страха, что его можно было безнаказанно придушить. Макс сказал мне, что в вашем семействе это знали из первых рук, поскольку один ваш дядя, из миланских Эпштейнов, стал его жертвой. Аферы моего отца довели его до самоубийства. Все это сделал мой отец, Сара. Человек, который был моим отцом. А мать, видимо, ни о чем не подозревала. Бедному Максу непросто было все это мне рассказать. Но он это выплеснул, чтобы наконец-то сбросить груз с плеч. И я теперь тоже изрыгнул всю правду, потому что ты знала ее лишь наполовину. В завершение Макс сказал: так

что смерть твоего отца...

– Что, Макс?

– У нас дома говорили, что, когда кто-то стал сводить с ним счеты бог знает по какому поводу, франкистская полиция не стала его защищать.

Они довольно долго сидели молча, попивая вино маленькими глотками, глядя в пространство и думая, что лучше было бы не заводить этот разговор.

– Но я... – наконец произнес Адриа.

– Да, конечно. Ты тут ни при чем. Но дело в том, что он разорил папиного двоюродного брата и его семью. Разорил и довел до самоубийства.

– Ну что я могу сказать на это...

– Тебе не нужно ничего говорить.

– Теперь я понимаю твою маму. Но я любил Сару.

– Монтекки и Капулетти, Адриа.

– А я не могу искупить зло, причиненное моим отцом?

– Ты можешь допить вино. Что ты хочешь искупить?

– Ты ведь меня не ненавидишь?

– Благодаря любви к тебе моей сестры мне легко к тебе хорошо относиться.

– Но она сбежала в Париж.

– Она была еще совсем юной. Родители заставили ее поехать в Париж: в двадцать лет ты не в состоянии... Ей промыли мозги. Это так просто.

Они опять замолчали. Море, плеск волн, крики чаек, соленый воздух заполнили комнату. Прошла вечность, прежде чем Адриа сказал:

– А когда мы поссорились, она опять сбежала. На сей раз в Кадакес.

– И целыми днями плакала.

– Ты мне об этом не говорил!

– Она запретила.

Адриа допил вино и подумал, что за обедом подадут еще. Раздался звон колокольчика, напоминавшего звук гонга на пароходе девятнадцатого века, и Макс послушно поднялся:

– Мы будем обедать на террасе. Джоржио не любит, если сразу не садятся за стол, когда еда готова.

– Макс, – Адриа остановился, держа поднос с бокалами, – а Сара говорила с тобой обо мне, когда жила здесь?

– Она запретила мне обсуждать с тобой что-либо из наших с ней разговоров.

– Понятно.

Макс пошел вперед. Но прежде чем выйти из кабинета, он обернулся и сказал: моя сестра любила тебя до безумия. Потом понизил голос, чтобы Джорджио его не услышал:

– Потому-то она и не могла смириться с тем, что ты ничего не предпринимаешь, чтобы вернуть скрипку. Это ее подкосило. Ты понимаешь?

Боже мой, любимая моя!

– Адриа!

– Да.

– Вы где?

Адриа Ардевол взглянул на доктора Далмау и заморгал. Потом посмотрел на картину Модильяни в желтых тонах, которая все время, все это время висела здесь.

– Простите? – спросил он растерянно, пытаясь понять, где же он в самом деле находится.

– Вы время от времени отключаетесь?

– Я?

– Вы только что довольно долго были... вне игры.

– Я задумался, – сказал Адриа, словно извиняясь.

Доктор Далмау серьезно смотрел на него, и Адриа улыбнулся и сказал: да, я всегда отключался.

– Все мне говорят, что я рассеянный мудрец. – И, указав пальцем на Далмау, как будто уличая его: – И вы – тоже.

Доктор Далмау усмехнулся, и Адриа продолжил:

– Не такой, может, и мудрец. Но с каждым днем все более рассеянный.

Мы заговорили о детях Далмау, с младшим, Сержи, никаких проблем, зато Алисия... Мне показалось, что я провел месяцы в кабинете моего друга. Уже собравшись уходить, я достал из портфеля экземпляр книги «Льюль, Вико и Берлин» и надписал его: Жуану Далмау, который печется обо мне с тех самых пор, как сдал вторую часть курса анатомии. С глубокой благодарностью.

– Жуану Далмау, который печется обо мне с тех самых пор, как сдал вторую часть курса анатомии. С глубокой благодарностью. Барселона, весна тысяча девятьсот девяносто восьмого года. – Он был доволен. – Спасибо вам. Вы знаете, как я это ценю.

Я знал, что Далмау не читает моих книг. Он держал их нетронутыми в безупречном порядке на верхней полке книжного шкафа в кабинете. Слева от Модильяни. Но я дарил ему свои книги не для того, чтобы он их читал.

– Спасибо, Адриа, – повторил Далмау, потрясая книгой. Мы встали. – Это не срочно, – добавил он, – но мне бы хотелось обследовать вас полностью.

– Вот как? Если б я знал, не стал бы дарить вам книгу.

Друзья расстались, смеясь. Невероятно, но дочь Далмау, у которой как раз был переходный возраст, все еще болтала по телефону, говоря: ну конечно, это жуть полная! Я тебе уже сто раз говорила!

На улице я окунулся во влажную ночь Валькарки. Редкие машины беспардонно обрызгивали тротуары. Если я не способен объяснить этот ужас моим друзьям, то спасения от него нет. Прошло уже много времени с тех пор, как ты умерла, когда пришла поговорить со мной, а я все не могу смириться с этим. Я живу, ухватившись за гнилую доску, как тонущий в океане. Я завишу от малейшего дуновения ветра, думая о тебе, о том, почему все не случилось иначе, о тысяче возможностей любить тебя более нежно, которые я упустил.

Именно в тот самый вторник, когда я шел в Валькарке под морозящим дождем без зонта, я понял, что у меня все не как у людей. Хуже того: я – сплошная ошибка, начиная с рождения не в той семье. Я знаю, что не могу переложить ни на Бога, ни на друзей, ни на книги груз размышлений и ответственность за свои поступки. Но благодаря Максy я узнал не только дополнительные подробности о своем отце, но и то, что дает мне силы жить: ты любила меня до безумия. *Mea culpa, Sara. Confiteor.*

VII. ...usque ad calcem^[412]

И постараемся войти в смерть с открытыми глазами...

Маргерит Юрсенар^[413]

58

В этом доме стало слишком много мертвецов, слышал отцовское ворчание Адриа. А он бродил по своему сотворенному миру, не видя корешков книг. Его занятия в университете стали менее увлекательными, потому что единственное его наслаждение отныне заключалось в том, чтобы сидеть перед автопортретом Сары в кабинете и созерцать твою тайну, любимая. Или сидеть перед пейзажем Уржеля в столовой, в полной тишине, и присутствовать при невероятном закате солнца над Треспуем. Он все реже и реже смотрел на кучу бумаг на столе, иногда вытаскивал какой-нибудь листок, вздыхал, писал несколько строчек или перечитывал без всякого энтузиазма то, что написал накануне или неделю назад, и находил это совершенно заурядным. Проблема состояла в том, что он даже не знал, как тут быть. Потому что у него исчезло даже всякое желание что-то писать.

- Послушайте, Адриа!
- Да.
- Вы уже третий день ничего не едите.
- Не беспокойтесь, я не хочу есть.
- Как же мне не беспокоиться?

Катерина, зайдя в кабинет, взяла Адриа за руку и стала поднимать его со стула.

- Да что вы делаете? – повысил голос недовольный Адриа.
- Как хотите, но вы сейчас же пойдете со мной на кухню!
- Послушайте, оставьте меня в покое! – возмутился Адриа.
- Нет, уж простите, не оставлю! – Она была возмущена еще больше и кричала еще громче, чем он. – Вы на себя в зеркало смотрели?
- Еще чего не хватало!
- Ну-ка, пошли! – Тон у нее был суровый и властный.

Он был Хаимом Эпштейном, а Лола Маленькая – хауптштурмфюрером, который уводил его из барака номер двадцать шесть, вопреки приказу штурмбаннфюрера Барбера, потому что кто-то придумал очень веселую игру в охоту на кроликов. Хауптштурмфюрер Катерина привела его на кухню, где вместо полудюжины испуганных венгерок он обнаружил суп с рисом и вермишелью и кусок вырезки с разрезанным пополам помидором. Хауптштурмфюрер Катерина усадила его за столик, и Хаим Ардевол впервые за многие дни почувствовал голод и принялся есть опустив голову, как будто боялся выговора от хауптштурмфюрера.

– Какой вкусный! – похвалил он суп.

– Хотите добавки?

– Да, спасибо.

В течение всего ужина Катерина, в фуражке с козырьком, который скрывал ее глаза, стояла и, грозно ударяя хлыстом по голенищу до блеска начищенного сапога, следила, чтобы заключенный не сбежал из кухни. Ей даже удалось заставить его съесть йогурт на третье. Доев его, заключенный сказал: спасибо, Лола Маленькая, встал и вышел из кухни.

– Катерина.

– Катерина? Разве вы не должны в это время быть дома?

– Должна. Но я совсем не хочу прийти завтра и обнаружить ваш бездыханный труп.

– Не преувеличивайте.

– Да, сеньор Адриа. Ваш бездыханный труп. Мертвее Мертвого моря.

Адриа вернулся в кабинет, полагая, что его проблемы заключаются в исписанных страницах, которые его не вдохновляли. Слишком много всего должен был сделать он один. Шли дни. Шли месяцы, долгие, нескончаемые. Наконец однажды он услышал, как на пол сплюнули, и я спросил: чего ты хочешь, Карсон?

– Может, хватит уже?

– Нет, не хватит, если ты чувствуешь себя...

– Как ты себя чувствуешь?

– Сам не знаю.

– Хау!

– Говори!

– Если вы позволите мне вмешаться в разговор...

– Давай, Черный Орел, говори!

– Свежий воздух прерий пошел бы на пользу твоей больной душе.

– Да, я уже думал поехать куда-нибудь, но не знаю ни куда отправиться, ни что там делать.

– Тебе стоило хотя бы принять приглашения из Оксфорда, Ренна, Тюбингена и откуда-то там еще...

– Из Констанца.

– Вот-вот.

– Вы правы.

– Охота будет удачной, только если благородный охотник бесстрашно пойдет навстречу новым подвигам на охоте и на войне.

– Я тебя понял, спасибо. Спасибо вам обоим.

Я прислушался к их советам и поехал развеяться в прерии Европы в поисках новых подвигов. Желание писать возвращалось к нему исподтишка, робко, быть может благодаря поездкам и воодушевлению, которое вселяли в него те, кто спрашивал: ну, когда выйдет твоя новая книга, Ардевол?

А в результате – гора листов, исписанных с одной стороны, которые нисколько не удовлетворяли его. У меня кончился весь запал. Я не знаю, где зло, и не могу объяснить самому себе, откуда у меня этот ступор познания. Мне не хватает философского инструментария, чтобы двигаться дальше. Я упорно ищу, где же кроется зло, и знаю, что не внутри одного человека. Может, внутри многих людей? Является ли зло результатом извращенной воли человека? Или нет, и оно исходит от дьявола, который вселяет его в людей, по его мнению подходящих для этого, как считал, мне кажется, бедный Маттиас Альпаэртс с влажными от слез глазами. Зло как раз в том, что дьявола нет. А где же Бог? Грозный Бог Авраама, непостижимый Бог Иисуса, Аллах суровый и любящий... Спросите об этом у жертв извращений. Если бы Бог существовал, Его безразличие к последствиям зла было бы позорным. А что об этом говорят теологи? Как бы поэтично они ни выражались, они все равно не проникают в его суть: зло абсолютное, зло относительное, зло физическое, зло моральное, зло преступления, зло наказания... Боже мой! Это было бы смешно, если бы рука об руку со злом не шло страдание. А природные катаклизмы, которые тоже зло? Или они – зло другого рода? И страдание, которое они порождают, – это страдание тоже другого рода?

– Хау.

– Что такое?

– Я уже запутался.

– Я тоже, Черный Орел, – прошептал Адриа, сидя перед горой листов, исписанных его неразборчивым, но аккуратным подчерком. Он встал и прошелся по кабинету, чтобы привести мысли в порядок. Знаешь, что со мной происходило, Сара? Вместо того чтобы рассуждать, я кричал.

Вместо того чтобы думать – смеялся или плакал. А так никакую научную работу не напишешь. И тогда мне пришло в голову: семь два восемь ноль шесть пять.

Я открыл отцовский сейф, в который не заглядывал много лет. Семь два восемь ноль шесть пять. Меня разбирало любопытство, потому что я совершенно не помнил, что там лежит. Я обнаружил там пару толстых конвертов с разными уже ненужными документами отца и матери: счета столетней давности, поспешные записи, потерявшие за пятьдесят лет всякую срочность. Какие-то акции и прочие бумаги того же рода, которые я отложил в сторону, чтобы мой поверенный взглянул на них и посоветовал, что с ними делать. В голубой папке – забытая и грустная рукопись на арамейском, написанная для меня отцом много лет назад. Запоздалое послание. Если бы только отец узнал, что я расстался с Виал, он наверняка накричал бы на меня и влепил с размаху подзатыльник. В той же папке лежала еще одна такая же одинокая святыня: письмо, которое Исайя Берлин прислал мне благодаря ухищрениям Берната. Спасибо, Бернат, дружище, если все будет хорошо, ты прочтешь эти страницы раньше других и сможешь убрать из них излишества моих чувств.

В углу сейфа лежало что-то еще. Конверт фирмы «Кодак». Я с нетерпением открыл его: в нем лежали фотографии моей Сториони, сделанные в тот день, когда я отдал ее Маттиасу Альпаэртсу. Я и забыл, что спрятал проявленные фотографии в сейф. Я только помнил, что сомневался (и сомневаюсь и по сей день), не совершил ли я ужасную глупость, проникшись историей слишком уж трагической, чтобы оказаться фальшивой. Я проглядел фотографии одну за другой: Виал спереди, сзади, сбоку, завиток и подгрифок, и та фотография, которую я пытался сделать сквозь резонаторное отверстие, – на ней почти не видно написанное внутри *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit*. Я отложил ее и открыл рот от удивления: на следующем снимке была ты, сфотографировавшая себя в зеркале шкафа. Своеобразный автопортрет, быть может сделанный перед тем, как ты стала рисовать себя. Это фото было датировано двумя годами раньше, чем те, которые я только что смотрел. Ты, наверно, забыла про него? Или начала новую пленку и забыла ее в фотоаппарате, намереваясь поначалу доснять ее и отдать проявлять? Там лежала еще пара фотографий, сделанных тобой. У Адриа поплыло в глазах, и ему стоило больших усилий сосредоточиться. На одном из снимков был он, сидевший за столом наклонив голову и писавший что-то. Ты сделала эту фотографию тайком, когда мы уже не разговаривали. Ты сердилась на меня и возмущалась моим поведением, но тайком сфотографировала меня.

Только теперь я понял то, о чем не задумывался как следует: от нашей ссоры больше страдала ты, потому что именно ты ее начала. А что, если инсульт случился с тобой из-за того, что ты так страдала?

На третьем снимке был лист бумаги с рисунками на мольберте в ее мастерской. Я никогда его не видел, и Сара никогда мне о нем не рассказывала. Лист с рисунками, сохранившийся только на фото, потому что она его, видимо, изорвала в клочья. Бедняжка. Я с трудом сдерживал слезы и решил, что, если найду негативы, завтра же отдам увеличить фотографию. Я рассмотрел ее под лупой. На ней было шесть набросков, шесть попыток изобразить одно и то же лицо. Шесть рисунков, каждый следующий подробней предыдущего: лицо младенца вполборота. Трудно сказать, рисовала его Сара с натуры или по памяти пыталась воссоздать личико Клодин. Или со стынувшей в жилах кровью писала портрет своей мертвой дочурки. Все это время фотография лежала в сейфе вместе с остальными. Фотография твоих страданий. Пережив трагедию, ты оказалась способной нарисовать ее; возможно, ты не догадывалась, что это неизбежно. Вспомни Целана. Вспомни Примо Леви. Рисовать, как и писать, то же самое, что заново переживать. Тут, как будто желая поплодировать этой мысли, зазвонил проклятый телефон, и я задрожал, словно мне стало еще хуже, чем было. Но, следуя настоящему совету Далмау, я заставил себя совершить неимоверное усилие и снял трубку:

- Слушаю.
- Привет, Адриа. Это Макс.
- Привет.
- Как дела?
- Хорошо. – И, помолчав секунд пять: – А у тебя?
- Хорошо. Слушай, хочешь поехать на дегустацию в Приорат?
- Ну...
- Дело в том, что я тут сподобился написать книгу... В ней много фотографий, не то что в твоих!
- О чем?
- О процессе дегустации...
- Наверно, непросто выразить на бумаге столь тонкие ощущения...
- Поэтам это удается.
- Сейчас я его спрошу, что он знает о Клодин и о горе Сары.
- Макс Волтес-Эпштейн, поэт, воспевающий вино.
- Соберешься приехать?
- Слушай, я хотел тебя спросить кое о чем... – Адриа провел рукой по облысевшей макушке и вовремя спохватился: – Ну давай. Когда это?

- В эти выходные. В центре Кима Солера.
- Ты за мной заедешь?
- Заметано.

Макс повесил трубку. Я не имел права портить жизнь такому прекрасному человеку, как Макс. А может, он ничего об этом и не знал. Потому что у Сары были секреты от всех. Как жаль – я мог бы помочь тебе пережить это горе. Я слишком самонадеян, конечно. Ну хотя бы немного. Мне бы хотелось стать для тебя прибежищем. Но я не смог этого сделать, да и знал слишком мало. Может, мне и удалось укрыть тебя от нескольких дождевых капель, но от ливня – нет.

Я спросил у Далмау, с какой скоростью развивается процесс, насколько нужно торопиться, как быстро все делать, понимаете? Он сжал губы, чтобы легче было думать.

- Каждый случай – особый.
- Меня, как вы понимаете, интересует мой случай.
- Надо сделать анализы. Пока что у нас есть лишь кое-какие симптомы.
- Процесс действительно необратимый?
- При теперешнем уровне развития медицины – да.
- Хреново дело.
- Увы.

Они замолчали. Доктор Далмау посмотрел на своего друга, который сидел напротив него за столом в кабинете, отказывался прятать голову в песок, торопливо соображал, не смотрел пристально на картину Модильяни в желтых тонах.

- Я по-прежнему работаю. Читаю...
- Вы же сами говорите, что у вас бывают необъяснимые провалы в памяти. Что вы отключаетесь. Что...
- Да, да. Но это бывает у всех стариков.
- Сегодня в шестьдесят два года человек совсем не старик. Но у вас было много «звоночков». А вы на них не обращали внимания.
- Это, скажем так, третье предупреждение. – Адриа помолчал. – Вы мне можете назвать точный срок?
- Я его не знаю. Точной даты нет. Есть процесс, который идет со своей скоростью, и она у каждого человека разная. Вы будете под наблюдением. Но вам надо будет... – Далмау замолчал.
- Надо будет что?
- Сделать распоряжения.

- Что вы имеете в виду?
- Привести все... в порядок.
- Вы хотите сказать – составить завещание?
- Мм... Не знаю как... У вас ведь никого нет?
- Как же нет? У меня есть друзья!
- У вас нет никого, Адриа. Поэтому нужно все оставить в порядке.
- Ужас какой!
- И нужно нанять кого-нибудь, чтобы как можно меньше времени оставаться в одиночестве.
- Ну, это когда подойдет срок.
- Хорошо. Только приходите ко мне раз в две недели.
- Заметано, – сказал он, совсем как Макс.

Вот тогда-то я и созрел до того, что начало смутно бродить у меня в голове в ту дождливую ночь в Валькарке. Я положил перед собой три сотни листов, над которыми корпел зазря, пытаюсь написать о зле, потому что оно – я уже понял – невыразимо словами и загадочно, как и вера, и на оборотной стороне страниц, словно это был своего рода палимпсест, стал сочинять письмо, подходящее нынче, как мне кажется, к концу, ибо я добрался до *hic et nunc*^[414]. Несмотря на все усилия Льюренса, я так и не воспользовался компьютером, он пылится в сторонке на письменном столе. Эта рукопись – не что иное, как хаотичные каждодневные записи, сделанные слезами с небольшой примесью чернил.

Все эти месяцы я писал с лихорадочной скоростью, глядя на твой автопортрет и два пейзажа, подаренные тобой: твое представление о моей Аркадии и крохотная апсида церкви Сан-Пере дел Бургал. Я без конца разглядывал их и теперь помню наизусть все детали, все черточки, все тени. И все истории, которые родились благодаря им во мне. Я сидел перед этим своеобразным алтарем из твоих рисунков и писал без устали, словно бродя туда и обратно между памятью и забвением, которое станет моей первой смертью. Я писал не раздумывая, выплескивая на бумагу все, что поддается описанию, и надеясь, что когда-нибудь кто-нибудь увлекающийся палеонтологией – скажем, Бернат, если ему захочется, – расшифрует это, чтобы отдать бог знает кому. Возможно, это мое завещание. Беспорядочное, но – завещание.

Я начал письмо так: «Только вчерашней ночью, шагая по влажным улицам Валькарки, я понял, что родиться в этой семье было непростительной ошибкой». И, едва написав это, сразу понял, что начать надо с самого начала. В начале всегда было слово. Поэтому сейчас я снова

перечитал эту фразу: «Только вчерашней ночью, шагая по влажным улицам Валькарки, я понял, что родиться в этой семье было непростительной ошибкой». Сколько времени прошло с тех пор, как я это пережил... Сколько времени утекло с тех пор, как я это написал... Сегодня другой день. Сегодня – это завтра.

После многочисленных хлопот с нотариусами и адвокатами, после того как Бернат три или четыре раза обращался к двоюродным братьям Адриа в Тоне, которые не знали, как благодарить его за проявленный интерес и за хлопоты, принятые им на себя ради их родственника, Бернат отправился к некой Лауре Байлине, проживавшей в Упсале.

– Вот несчастье! Бедный Адриа!

– Да уж.

– Простите, но я не могу не плакать.

– Плачьте, плачьте.

– Нет... А что это за распоряжение Адриа?

Пока она пила очень горячий чай, дую на него, чтобы остудить, Бернат объяснил ей касавшиеся ее подробности завещания.

– Пейзаж Уржеля? Тот, что висит в столовой?

– Так вы его знаете?

– Да, я была у него дома несколько раз.

Сколько всего ты от нас скрывал, Адриа! До сих пор я ничего про Лауру толком не знал. Сколько же всего скрывают друзья друг от друга, подумал Бернат.

Лаура Байлина была красивая блондинка, невысокого роста, очень приятная. Она сказала, что подумает, принимать ей картину в наследство или нет. Бернат сказал, что это подарок и никакого подвоха тут нет.

– Дело в налогах. Я не знаю, смогу ли заплатить налоги за вступление в наследство этой картиной. Или как там это называется официально. Здесь, в Швеции, я должна буду сначала взять кредит, вступить в наследство, заплатить налоги и продать картину, чтобы погасить кредит.

Оставив Лауру с еще дымящимся чаем размышлять о том, как поступить с наследством, Бернат Пленса вернулся в Барселону как раз вовремя, чтобы попросить разрешения отсутствовать на паре репетиций по семейным обстоятельствам. Он хладнокровно воспринял недовольный вид администратора оркестра и сел на самолет до Брюсселя, второй раз за последние два месяца.

Дом престарелых в Антверпене. Обратившись в регистратуру, он улыбнулся полной женщине, которая одновременно разговаривала по телефону и работала на компьютере, дождался, когда она повесит трубку, и, изобразив на лице еще более широкую улыбку, спросил: английский или французский? Женщина ответила: английский, и Бернат поинтересовался, можно ли видеть господина Альпаэртса. Она посмотрела на него с любопытством. Скорее, даже изучающе. По крайней мере, так он почувствовал: его внимательно изучают.

– Кто, вы говорите, вас интересует?

– Господин Маттиас Альпаэртс.

Дама задумалась на секунду. Потом посмотрела в компьютере. Некоторое время она что-то искала. Пару раз позвонила по телефону и опять стала что-то искать в компьютере. Наконец воскликнула: ну как же, Альпаэртс! Нажала на клавишу, взглянула на экран, а потом на Берната:

– Господин Альпаэртс скончался в тысяча девятьсот девяносто седьмом году.

– Вот как... А я...

Бернат уже собрался уходить, как вдруг ему в голову пришла безумная идея:

– Нельзя ли мне взглянуть на его карту?

– Вы ведь не родственник?

– Нет, мадам.

– Могу я поинтересоваться, по какому поводу вы...

– Я хотел купить у него скрипку.

– Вот теперь я поняла, кто вы такой! – воскликнула она с глубоким облегчением.

– Я?

– Вторая скрипка квартета «Антигона».

На мгновение Бернат искупался в лучах своей славы. Он улыбнулся, польщенный.

– Какая у вас память! – сказал он, чтобы что-то сказать в ответ.

– У меня отличная память на лица, – сказала женщина, – к тому же вы такой высокий... – И добавила немного смущенно: – Только я не помню, как вас зовут.

– Бернат Пленса.

– Бернат Пленса... – Она протянула ему руку. – Лилиана Моор. Я слушала вас в Генте пару месяцев назад. Мендельсон. Шуберт. Шостакович.

– Ну да... Я...
– Я люблю сидеть в первом ряду, поближе к музыкантам.
– Вы сами играете?
– Нет. Я только меломан. А зачем вам информация о господине Альпаэртсе?

– Я по поводу скрипки... – Бернат немного помялся. – Я только хотел взглянуть на его фотографию. – И он улыбнулся. – Будьте добры... Лилиана.

Госпожа Моор задумалась на несколько секунд и ради квартета «Антигона» развернула монитор так, чтобы Бернату было видно. Вместо худого старика со слезящимися глазами, седыми волосами и большими оттопыренными ушами – чье присутствие поразило Берната, как удар током, во время той минутной встречи в кабинете Адриа, когда он принес другу компьютер, – с экрана на него смотрел человек грустный, но полный и лысый, с круглыми глазами цвета эбена, как волосы у какой-то из его дочерей, он не помнил точно какой. Вот ведь сволочи!

Женщина повернула экран обратно, Берната прошиб пот от досады. На всякий случай он повторил: знаете, я хотел купить у него скрипку.

– У господина Альпаэртса никогда не было скрипки.
– Сколько лет он провел здесь?
– Пять или шесть. – Она посмотрела в компьютер и поправилась: – Семь.

– Вы уверены, что на этой фотографии именно Маттиас Альпаэртс?
– Абсолютно уверена. Я работаю здесь двадцать лет. – И добавила с гордостью: – Я помню все лица. Другое дело – фамилии...

– Может, кто-то из его родственников...
– У господина Альпаэртса не было родственников.
– Ну, может, какой-нибудь очень дальний родственник...
– У него никого не было. Всю его семью убили во время войны. Они были евреи. Выжил он один.

– И не осталось совсем никакой родни?
– Он, несчастный, без конца рассказывал свою трагическую историю. Мне кажется, в конце концов он совсем свихнулся. Все рассказывал и рассказывал, потому что...

– Чувствовал себя виноватым.
– Да. Постоянно. Всем вокруг. Этот рассказ стал смыслом его жизни. Он жил, чтобы рассказывать, что у него было две дочери...
– Три.
– Три? Ну, значит, три, их звали так-то, так-то и так-то...

– Амельете с волосами черными, как эбен, Тру с волосами цвета благородного дуба и солнечно-рыжая малышка Жульет.

– Так вы его знали? – удивленно спросила женщина, широко открыв глаза.

– В некотором смысле. А много людей знает эту историю?

– Из здешних обитателей – многие. Те, что еще живы, конечно. Он ведь уже несколько лет как умер.

– Да, понятно.

– Лучшее всех его изображал Боб.

– А кто это?

– Его сосед по комнате.

– Он жив?

– Более чем. У нас из-за него вечно проблемы. – Она понизила голос и доверительно сообщила второй скрипке квартета «Антигона», высоченному как каланча: – Устраивает старикам тайные турниры по домино.

– А я мог бы...

– Да. Хотя это против всех правил...

– Во имя музыки.

– Именно! Во имя музыки!

вермеер

В комнате для посетителей лежало несколько газет на голландском языке и одна на французском. На стене висела дешевая репродукция картины Вермеера ^[415] : женщина, стоявшая у окна, с удивлением смотрела на Берната, словно тот только что вошел в комнату, изображенную на полотне.

Старик появился через пять минут. Худой, со слезящимися глазами и густой седой шевелюрой. Судя по его поведению, он не узнал Берната.

– Английский или французский?

– Английский.

– Добрый день.

Перед Бернатом был тот самый человек, который тогда убедил Адриа... Я ведь говорил тебе, Адриа, подумал Бернат. Ловко они рассчитали твою реакцию. Но вместо того чтобы сразу прижать старика к стенке, Бернат опять широко улыбнулся и спросил: вы когда-нибудь слышали о скрипке Сториони, которая называется Виал?

Не успев сесть, старик устремился к выходу. Бернат не дал ему

выйти, встав между ним и дверью и полностью загородив ее своим большим телом.

– Вы украли эту скрипку.

– Можно узнать, кто вы?

– Я из полиции.

Бернат достал удостоверение члена Барселонского симфонического оркестра и Национального оркестра Каталонии и добавил:

– Интерпол.

– Боже мой, – произнес старик. И сел, ошарашенный. Потом сказал, что сделал это не ради денег.

– Сколько вам заплатили?

– Пятьдесят тысяч франков.

– Ничего себе!

– Я сделал это не ради денег. К тому же мне заплатили бельгийскими франками.

– А почему же вы это сделали?

– Я с Маттиасом Альпаэртсом пять лет провел в одной комнате, он у меня в печенках сидел. Каждый день он рассказывал о своих треклятых дочках и больной теще. Он говорил о них каждый день, глядя в окно и не видя меня. Каждый божий день. Он просто сошел с ума. И тут пришли эти два человека.

– Кто они?

– Не знаю. Они были из Берселоны. Один худой, постарше, второй молодой. Они сказали: нам говорили, ты отлично его изображаешь.

– Я актер. Хотя и на пенсии, но актер. Играю на аккордеоне и на саксофоне. И немного на рояле.

– Ну-ка, посмотрим, так ли хорошо ты его изображаешь!

Они отвели его в ресторан, накормили и напоили белым и красным вином. Он посмотрел на них с удивлением и спросил: почему бы вам не поговорить с самим Альпаэртсом?

– Он совсем на ладан дышит. Вот-вот умрет.

– Слава богу, больше не придется слушать его рассказ про больную тещу!

– А вам не жаль беднягу?

– Маттиас говорит, что уже шестьдесят лет как хочет умереть. Что же мне жалеть, что он наконец умрет?

– Ну ладно, Боб, покажи, на что ты способен!

И Боб Мортельманс принялся говорить: вообрази, что ты обедаешь с твоей Бертой, с больной тещей и с тремя ясными солнышками –

Амелией, старшей, которой в тот день исполнилось семь лет, Тру, средней, с темно-русыми волосами цвета благородного дуба, и Жульет, самой младшей, солнечно-рыжей. И вдруг ни с того ни с сего распахивается дверь и вваливаются солдаты с криками *gaus, gaus*, а Амельете спрашивает: что значит *gaus*, папа? А я не смог ничего сделать и даже не попытался защитить их.

– Отлично. Достаточно.

– О, я могу еще много чего...

– Я сказал – отлично. Хочешь деньжат подзаработать?

Я ответил да, и меня посадили в самолет, а в Барселоне мы порепетировали пару раз, чтобы отработать разные варианты. Но так, чтобы это всегда оставалось историей зануды Маттиаса.

– А ваш друг тем временем лежал больной в кровати.

– Он не был моим другом. Он был заезженной пластинкой. Когда я вернулся в Антверпен, он уже умер. – И старик добавил, как будто освоившись с этим высоким полицейским: – Словно он скучал по мне, понимаете?

Бернат сидел молча. И Боб Мортельманс попытался подобраться к двери. Но Бернат, не вставая и не меняясь в лице, сказал только: попробуйте удрать и я вас прикончу. Понятно?

– Д-да. Понятно.

– Вы – мерзавец. Вы украли у него скрипку.

– Но Маттиас даже не знал, что она у кого-то...

– Вы – мерзавец! Вы продались за сто тысяч франков.

– Я сделал это не ради денег. К тому же мне дали пятьдесят тысяч.

И бельгийских.

– А кроме того, вы обокрали несчастного Адриа Ардевола.

– Кто это такой?

– Тот господин из Барселоны, которого вы обманули.

– Я вам клянусь, что сделал это не ради денег.

Бернат посмотрел на него с любопытством. И кивнул, словно приглашая продолжить. Но старик молчал.

– Так зачем же вы это сделали?

– Это... это была такая возможность... Это... была главная роль в моей жизни. Поэтому я и согласился.

– К тому же за нее отлично заплатили.

– Разумеется. Но сыграл я филигранно. К тому же мне пришлось импровизировать, потому что тот парень вступил со мной в разговор, и я должен был не только произносить монолог, но и поддерживать беседу.

– И что же?

– Я справился. – И он с гордостью заметил: – Я сумел до конца вжиться в своего персонажа.

Сейчас я его придушу, подумал Бернат. И огляделся, чтобы посмотреть, нет ли свидетелей. Тем временем Боб Мортельманс вернулся к своей излюбленной роли, вдохновленный молчанием полицейского. И заговорил, слегка утрируя:

– Быть может, я дожил до сегодняшнего дня и рассказываю вам все это потому, что струсил в день рождения Амельете. Или потому, что в дождливую субботу в бараке украл плесневелый сухарь у старого Мойши из Вильнюса. Или потому, что отступил на шаг, когда блокфюрер решил нас проучить и стал бить прикладом всех подряд, и удар, который предназначался мне, убил паренька, чье имя...

– Хватит!

Бернат встал, и Боб Мортельманс подумал, что сейчас он его огреет. Он съезжился на стуле, готовый и дальше отвечать на вопросы агента Интерпола.

Бернат сказал: открой рот. И Адриа послушался, а Бернат положил ему ложку супа в рот, как годовалому Льюренсу, и сказал: ой какой вкусный суп, да? Адриа посмотрел на Берната, но промолчал.

– О чем ты думаешь?

– Я?

– Да.

– Не знаю.

– А кто я?

– Этот самый.

– Ну, давай еще ложечку. Открывай рот, это последняя. Вот так, молодец.

Он снял крышку с тарелки со вторым и сказал: о, как здорово! Отварная курица. Тебе нравится?

Адриа уставился в стену с полным безразличием.

– Я люблю тебя, Адриа. И не буду рассказывать про скрипку.

Адриа посмотрел на него взглядом Гертруды или взглядом, которым, как виделось Адриа, Сара смотрела на него, как Гертруда. Или взглядом, которым, как думал Бернат, Сара смотрела на Адриа, как Гертруда.

– Я люблю тебя, – повторил Бернат. Взял жалкую куриную ногу и сказал: ой как вкусно! Как вкусно! Открой рот, Льюренс.

Когда они закончили ужинать, Джонатан пришел забрать поднос

и спросил: Адриа, хочешь спать?

– Я уложу его, если не возражаете.

– Хорошо. Позовите меня, если что.

Когда Джонатан вышел, Адриа почесал затылок и вздохнул. Потом уставился на стену пустым взглядом. Бернат покопался в портфеле и достал оттуда книгу.

– «Проблема зла», – прочитал он на обложке. – Адриа Ардевол.

Адриа посмотрел ему в глаза, потом взглянул на обложку и зевнул.

– Знаешь, что это такое?

– Я?

– Да. Это написал ты. Ты просил меня не публиковать, но в университете меня убедили, что эту рукопись непременно надо издать. Помнишь ее?

Адриа молчал. Ему было неловко. Бернат взял друга за руку и почувствовал, как тот успокаивается. Тогда он рассказал ему, что подготовку к изданию взяла на себя профессор Парера.

– Мне кажется, она отлично справилась с работой. Ей помогал Йоханнес Каменек, он, как мне показалось, работает больше двадцати четырех часов в сутки. И очень тебя любит.

Бернат погладил Адриа по руке, и тот улыбнулся. Так они сидели довольно долго в тишине, как влюбленные. Адриа без всякого интереса скользнул взглядом по обложке книги и зевнул.

– Я отправил несколько экземпляров твоим кузенам в Тону. Они очень обрадовались. На Новый год они приедут тебя навестить.

– Очень хорошо. А кто это?

– Щеви, Роза и... не помню, как зовут третьего.

– А...

– Ты помнишь их?

Как и каждый раз, когда Бернат ему задавал этот вопрос, Адриа замкнулся, словно он был рассержен или обижен.

– Не знаю, – признался он, смущаясь.

– А я кто? – спросил Бернат в третий раз за этот вечер.

– Ты.

– А как меня зовут?

– Этот самый. Вилсон. Я устал.

– Ну ладно, давай ложиться. Уже поздно. Оставляю тебе твою книгу на тумбочке.

– Очень хорошо.

Бернат подкатил кресло к кровати. Адриа обернулся, слегка

испуганный. И робко спросил:

– Я не знаю... мне нужно спать в кресле или на кровати. Или на окне.

– Ну конечно в кровати. Так тебе будет удобней.

– Нет, нет, нет, мне кажется, нужно на окне.

– Как тебе захочется, дорогой, – сказал Бернат, поставив стул у кровати. И прибавил: – Прости меня, прости меня, прости меня.

Его разбудил холод, который проникал в щели окна. Еще не рассвело. Он долго выбивал камнем искру, пока наконец не зажег фитиль свечи. Надел сутану, поверх нее накидку с капюшоном и вышел в узкий коридор. В одной из келий, с той стороны, что выходила на холм Святой Варвары, мерцал огонь. Дрожа от холода и горя, он двинулся в сторону церкви. Большая свеча, которая должна была освещать гроб с телом фра Жузепа де Сан-Бартумеу, догорела. Он поставил на ее место свою свечку. Птицы, чувствуя приближение утра, начали щебетать, несмотря на холод. Он проникновенно прочел «Отче наш», думая о спасении души доброго отца настоятеля. От всполохов света его свечи фрески в апсиде выглядели странно. Святой Петр, святой Павел и... и... и другие апостолы, и Богоматерь, и строгий Пантократор, казалось, двигались на стене в молчаливом и размеренном танце.

Зяблики, зеленушки, дрозды, воробьи и малиновки заливались во славу нового дня так же, как веками монахи возносили хвалу Господу Богу. Зяблики, зеленушки, дрозды, воробьи и малиновки, казалось, радовались известию о смерти отца настоятеля монастыря Сан-Пере дел Бургал. А может, они пели от счастья, зная, что он в раю, ибо был хорошим человеком. А может, птичкам божьим все это вообще невдомек и они... распевали, потому что ничего другого не умеют делать. Где я? Пять месяцев я живу в тумане, и только временами появляется огонек, который напоминает мне, что ты существуешь.

– Брат Адриа, – услышал он у себя за спиной. Брат Жулиа встал рядом с мерцающей свечой в руке. – Нам надо похоронить его сразу после заутрени, – сказал он.

– Да, конечно. Люди из Эскало уже прибыли?

– Пока что нет.

Он поднялся и, стоя рядом с братом Жулиа, посмотрел на алтарь. Где я? Он спрятал руки, от холода покрытые трещинами, в широкие рукава сутаны. Они не зяблики, не зеленушки, не дрозды, не воробьи и не малиновки, а два монаха, печальные оттого, что это последний день их монашеской жизни в монастыре после стольких лет его непрерывного существования. Уже многие месяцы они не пели. Только читали молитвы,

предоставляя птицам петь и предаваться беззаботной радости. Прикрыв веки, Адриа прошептал слова, которые веками нарушали ночную тишину:

– Domine, labia mea aperies.

– Et proclamabo laudem tuam^[416], – отозвался брат Жулиа, тоже шепотом.

В эту Рождественскую ночь, когда впервые не было Missa in nocte^[417], братья смогли лишь прочитать заутренние молитвы. Deus, in adiutorium meum, intende^[418]. Это была самая грустная заутренняя молитва, которая звучала в стенах монастыря Сан-Пере дел Бургал за все столетия его существования. Domine, ad adiuvandum me festina^[419].

Разговор с Тито Карбонелем прошел на удивление спокойно. Пока они заказывали еду, он сказал, что должен признаться, что он трус и больше года не навещал дядю Адриано в больнице.

– Ну так навести его.

– Мне это тяжело. И у меня не так много времени, как у вас. – Он взял в руки меню и жестом подозвал официанта. – Я вам благодарен за то, что вы уделяете ему столько времени и сил.

– Я полагаю, друзья обязаны это делать.

Тито Карбонель, хорошо знавший меню ресторана, посоветовал Бернату, что взять, они сделали заказ и съели первое блюдо почти молча. Когда тарелки почти опустели, молчание стало неловким. Наконец Тито решился прервать его:

– Так что именно вы хотели?

– Поговорить о Виале.

– О Виале? О скрипке дяди Адриано?

– Да. Несколько месяцев назад я ездил в дом престарелых в Антверпене повидать Боба Мортельманса.

Тито весело засмеялся в ответ на эти слова:

– Я уж думал, вы со мной об этом никогда не станете говорить. Так что же вы хотите от меня узнать?

Они подождали, когда официант подаст второе блюдо, и, так как Бернат продолжал молчать, Тито, глядя ему в глаза, сказал:

– Да, да. Это была моя идея. Согласитесь, блестящая? Я хорошо знаю дядю Адриано и был уверен, что с помощью господина Мортельманса все окажется проще. – Он поднял вверх нож. – И не ошибся!

Бернат ел, глядя на Тито и не произнося ни слова. Тот продолжал:

– Да, да, сеньор Беренгер продал Сториони очень выгодно. Да, мы

неплохо заработали. Как вам эта треска? Вряд ли вы где-нибудь ели вкуснее. Право, грустно было знать, что такая прекрасная скрипка лежит без дела. Знаете, кто ее купил?

– Кто? – Вопрос вырвался из самого нутра Берната, словно неудержимая икота.

– Джошуа Мак. – Тито ждал, как прореагирует на это Бернат, который из последних сил пытался сдерживаться. – Видите? В конце концов скрипка снова оказалась в руках у еврея. – И он засмеялся. – Мы восстановили справедливость, не так ли?

Бернат сосчитал до десяти, чтобы не сорваться. Чтобы хоть как-то выплеснуть ярость, он сказал: вы мне отвратительны. Тито Кабонель ничуть не смутился:

– Мне все равно, что Мак будет делать со скрипкой. Признаюсь, в данном случае меня интересовали только деньги.

– Я заявлю на вас в полицию, – сказал Бернат, глядя ему в глаза с неустойчивой злобой. – И не думайте, что от меня можно откупиться.

Тито не спеша прожевал, вытер губы салфеткой, сделал небольшой глоток вина и улыбнулся:

– Откупиться? Мне? От вас? – Он презрительно причмокнул губами. – Я и ломаного гроша не дам за ваше молчание.

– А я бы от вас ничего и не взял. Я это делаю в память о моем друге.

– Я вам не советую много говорить об этом, сеньор Пленса.

– А вас раздражает, что я не изменяю принципам?

– Ну что вы! Быть принципиальным так прекрасно! Но вам следует знать, что я знаю то, что мне следует знать.

Бернат посмотрел ему в глаза. Тито снова улыбнулся и сказал:

– Я тоже не сидел сложа руки.

– Я вас не понимаю.

– Вот уже месяц, как ваш издатель готовит к выходу вашу новую книгу.

– Боюсь, что вы тут ни при чем.

– Как же ни при чем! Ведь я в ней фигурирую. Под другим именем и как второстепенный персонаж, но фигурирую.

– Откуда вам известно, что...

Тито Карбонель придвинулся поближе к Бернату, чтобы их лица оказались совсем рядом, и спросил: это роман или автобиография? Если ее написал дядя Адриано, то автобиография, если вы – то роман. Я так понял, что там почти ничего не переделано... Жаль, что вы изменили все имена. Будет сложно понять, кто есть кто. Ведь единственный, кому вы

оставили его собственное имя, – это Адриа. Любопытно. Но поскольку вы имели наглость присвоить себе весь текст, мы должны признать, что это роман. И он погрузился, словно расстроился.

– Выходит, что все мы – придуманные. Даже я! – Он ощупал себя, помотал головой. – Что я могу вам на это сказать? Меня это злит...

Он положил салфетку на стол и сказал неожиданно серьезным тоном:

– В общем, не вам говорить мне о принципах...

У Берната кусок трески застрял в горле и во рту пересохло. Он услышал, как Тито говорит: я получил половину стоимости скрипки, а вы присвоили себе всю рукопись от начала и до конца. Всю жизнь дяди Адриано от начала и до конца.

Тито Карбонель отодвинулся вместе со стулом назад, внимательно наблюдая за Бернатом. И продолжал:

– Я знаю, что книга, которая выйдет под вашим именем, должна появиться через пару месяцев. Вам решать, устроим ли мы пресс-конференцию или оставим все как есть.

И Тито развел руками, приглашая Берната принять решение. Так как Бернат даже не пошевелился, он спросил:

– Хотите десерт? – И, щелкнув пальцами в сторону официанта, добавил: – Тут делают потрясающий флан.

Бернат вошел в палату номер *cinquantaquattro* как раз в тот момент, когда Вилсон завязывал шнурки на новых кроссовках Адриа, сидевшего в инвалидном кресле.

– Смотрите, какой он у нас красавец!

– Еще какой красавец! Спасибо, Вилсон. Здравствуй, Адриа.

Адриа их как будто не слышал. Казалось, он улыбается. В палате ничего не изменилось, хотя Бернат очень давно здесь не был.

– Вот что я тебе принес.

И Бернат протянул ему толстую книгу. Адриа взял ее с некоторым страхом и посмотрел на Берната, не зная толком, что с ней делать.

– Это я написал, – сказал Бернат. – Она еще пахнет типографской краской.

– О, как хорошо, – произнес Адриа.

– Можешь оставить ее себе. Прости меня, прости меня, прости.

Адриа, видя, что незнакомец потупил голову и вот-вот расплачется, расплакался сам.

– Это я виноват?

– Нет, ну что ты... Я плачу из-за... есть причины.

– Простите. – Адриа посмотрел на него с беспокойством. – Ну не плачьте, пожалуйста.

Бернат достал из кармана чехол для компакт-диска, вынул из него диск и поставил в музыкальный центр. Взял за руки Адриа и сказал: послушай, Адриа, это твоя скрипка. Прокофьев. Второй концерт. Раздались рыдания, которые Джошуа Мак извлекал из Сториони Адриа. Так Бернат с Адриа просидели двадцать семь минут: взявшись за руки, слушая аплодисменты и все шумы прямой записи из концертного зала.

– Я дарю тебе этот диск. Скажи Вилсону, что он твой.

– Вилсон!

– Нет, не сейчас. Я сам ему скажу.

– Вилсон! – настойчиво повторил Адриа.

Словно карауля под дверью, Вилсон тут же заглянул в палату:

– В чем дело? У тебя все в порядке?

– Да, просто... я тут принес ему диск и книгу. Я их оставлю.

– Я хочу спать.

– Золотой мой, ты ведь только что встал.

– Я хочу по-большому.

– Ох ты боже мой! – И Вилсон повернулся к Бернату. – Вы не подождете? Всего пять минут.

Бернат вышел в коридор, захватив книгу. Он вышел на террасу и полистал ее. Рядом с ним легла чья-то тень.

– Вот хорошо! – Доктор Вальс указывал на книгу. – Это ведь его, да?

– Я вам ее...

– Ой, – прервал его Вальс, – у меня нет времени читать. – И почти с угрозой сказал: – Но я даю вам слово, что когда-нибудь ее обязательно прочитаю. – И добавил шутливо: – Я ничего не смыслю в литературе, но обещаю быть суровым критиком.

С этой стороны нам ничего не грозит, подумал Бернат, глядя вслед уходящему доктору Вальсу. Зазвонил мобильник. Бернат отошел подальше в угол террасы – в клинике не разрешалось пользоваться мобильными телефонами.

– Я слушаю.

– Ты где?

– В больнице.

– Хочешь, я туда приеду?

– Нет-нет, – сказал он, быть может, чересчур поспешно. – В два я буду у тебя.

- Ты правда не хочешь, чтобы я приехала?
- Нет, нет, правда, не стоит.
- Бернат!
- Что?
- Я горжусь тобой.
- Я... Почему?
- Я только что дочитала книгу. Тебе удалось передать, насколько я могу судить, то, как жил и чувствовал твой друг...
- Ну-у... спасибо! Большое спасибо! – И, спохватившись: – В два я буду у тебя.
- Я без тебя не буду ставить рис.
- Отлично, Ксения. Я больше не могу говорить.
- Поцелуй его за меня.

В то же мгновение, когда он закончил разговор и, потрясенный, размышлял о невероятной форме бутылки Клейна ^[420], Вилсон выкатил Адриа в инвалидном кресле на террасу. Адриа приложил ко лбу руку козырьком, как будто светило яркое солнце.

– Привет, – сказал Бернат. И обратился к Вилсону: – Я отвезу его в уголок с глициниями.

Вилсон пожал плечами, и Бернат повез Адриа к глициниям. Оттуда виднелся большой кусок Барселоны, а за ним море. Скульптура Клейна. Бернат сел, открыл книгу на последних страницах. И начал читать: столько времени прошло с тех пор, как я это пережил... Столько времени утекло с тех пор, как я это написал... Сегодня – другой день. Сегодня – это завтра.

А для чего я все это рассказал? Ведь если бы фра Микела не мучили угрызения совести из-за жестокости святого инквизитора, он бы не бежал и не превратился в брата Жулиа, того самого, что носил в кармане семена клена, а Гийом-Франсуа Виал не продал бы по сумасшедшей цене свою Сториони семейству Аркан.

- Это Сториони.
- Я такого имени не знаю.
- Только не говорите, что вы никогда не слышали о Лоране Сториони!
- Никогда!
- Поставщик дворов Баварии и Веймара, – не растерялся он.
- Первый раз о таком слышу. А у вас нет ничего от Черути ^[421] или от Прессенды? ^[422]
- Господи боже ты мой! – воскликнул месье Виал, пожалуй слишком

уж возмущенно. – Да ведь Прессенда обучался мастерству вместе со Сториони!

– А от Штайнера?^[423]

– Сейчас – ничего. – Он указал на скрипку, лежавшую на столе. – Попробуйте поиграйте. Столько, сколько хотите, герр Аркан.

Николя Аркан снял парик и взял в руки скрипку с выражением то ли отвращения, то ли презрения на лице, но умирая от желания сыграть на ней. Он начал что-то наигрывать своим обычным смычком. Пальцы его были необыкновенно ловкими, но положение рук – странное. Однако почти с самой первой ноты он извлек необыкновенный звук. Гийому-Франсуа Виалу пришлось слушать, как фламандский скрипач наизусть играет сонаты его ненавистного дядюшки Леклера, но он не выдал своих чувств, потому что на кону стояла продажа скрипки. Через час после того, как лысина и лоб у Николя Аркана покрылись потом, он вернул скрипку Гийому Франсуа Виалу, который готов был дать голову на отсечение, что Аркан купит инструмент.

– Нет. Мне она не нравится, – заявил скрипач.

– Пятнадцать тысяч флоринов.

– Я не собираюсь ее покупать.

Месье Виал поднялся и взял инструмент. Он аккуратно убрал его в футляр, на котором виднелось темное пятно неизвестного происхождения.

– У меня есть еще покупатель в полутора часах езды от Антверпена. Вы простите меня, если я уеду, не поприветствовав госпожу Аркан?

– Десять тысяч.

– Пятнадцать тысяч.

– Тринадцать.

– Четырнадцать тысяч.

– По рукам, месье Виал. – И когда цена уже была обговорена, Аркан добавил негромко: – Исключительное звучание.

Виал снова положил футляр на стол и открыл его. Он увидел вожделенный взгляд скрипача. Тот прошептал себе под нос:

– Если я хоть что-то смыслю, этот инструмент принесет много радости.

Николя Аркан состарился подле своей скрипки и завещал ее дочери, игравшей на клавесине, а та – своему племяннику Нестору, сочинителю знаменитых «Эстампов», он – своему сыну, сын – племяннику, и так до тех пор, пока Жюль Аркан не совершил несколько крупных промахов на бирже и не вынужден был расстаться с семейной ценностью. А больная теща

жила, как и Аркан, в Антверпене. Скрипка с прекрасным звучанием и пропорциями, чудесная на ощупь, великолепной формы... Настоящее произведение кремонских мастеров. И если бы у отца была совесть, если бы Фойгт был честным человеком и не выказал интереса к скрипке, если бы... я бы не рассказывал тебе все это. Если бы у меня не было Сториони, я бы не подружился с Бернатом. И не познакомился с тобой на концерте в Париже. Я был бы другим и не говорил бы сейчас с тобой. Я знаю: я рассказывал беспорядочно, но ведь у меня в голове уже туман. Я дошел до этого места, не имея возможности перечитать то, что написал. У меня не хватает духу взглянуть назад. Во-первых, потому, что когда я писал, то часто плакал, а во-вторых, потому, что с каждым днем я сквозь туман вижу все хуже. Я превращаюсь в персонажа с картины Хоппера, смотрящего в окно и на жизнь невидящим взором, а во рту у него гадкий привкус от виски и табака.

Бернат посмотрел на Адриа, которого, казалось, занимал листок глицинии у его головы. Он не сразу решился спросить:

– Тебе ничего не напоминает то, что я читаю?

Адриа, помолчав какое-то время, с виноватым видом ответил:

– А вы думаете, что должно?

– Почему ты говоришь со мной на «вы»? Я – Бернат.

– Бернат.

Но листок глицинии был интересней. И Бернат снова принялся читать с того места, на котором остановился и где Адриа говорил: я хочу тебе сказать, любимая, об одной вещи, которая не дает мне покоя, – я провел всю свою жизнь, размышляя о культурной истории человечества и пытаюсь научиться хорошо играть на инструменте, на котором нельзя играть, и теперь хочу сказать тебе, что все мы, со всеми нашими пристрастиями и страстями, в сущности, не более чем ссучья случайность. И что факты, поступки и события путаются между собой, а мы, люди, сталкиваемся друг с другом, находим, теряем или упускаем друг друга тоже по чистой случайности. Случай правит всем, а может быть, ничто не случайно, точнее сказать – все предрешиено заранее. Я не знаю, какое утверждение принять, потому что оба справедливы. И если уж я не верю в Бога, то как я могу поверить в предопределенность, как ее ни назови – хоть судьбой, хоть еще как.

Любимая, уже поздно, глубокая ночь. Я пишу, сидя перед твоим автопортретом, который хранит твою душу – ведь ты сумела ее передать. И перед двумя самыми важными в моей жизни пейзажами. Кто-то из соседей, кажется Карререс с четвертого этажа – такой русский и высокий,

помнишь? – захлопнул дверь лифта слишком громко для такого позднего часа. Прощай, Карререс. Все эти месяцы я писал на оборотках рукописи, в которой безуспешно пытался рассуждать о зле. Только впустую потратил время. Теперь бумага исписана с двух сторон. С одной – неудавшиеся размышления. С другой – рассказ о событиях моей жизни и моих страхах. Я смог рассказать тебе о моей жизни кучу вещей – может, и неточно, но это истинная правда. И я могу тебе говорить, строить догадки или что-то сочинять о жизни моих родителей, которых я ненавидел, осуждал, презирал и по которым я теперь немного скучаю.

Этот рассказ для тебя, чтобы ты жила где бы то ни было, пусть хотя бы в моем повествовании. Но я рассказываю не для себя – я не дотяну и до завтра. Я чувствую себя, как Аниций Манлий Торкват Северин Боэций^[424], который родился в Риме около четырехста семьдесят пятого года и прославился как знаток античной философии. Я защитил докторскую диссертацию в тысяча девятьсот семьдесят шестом году в Тюбингенском университете, а затем работал в Барселонском университете, в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Я опубликовал много работ, родившихся из размышлений вслух в университетских аудиториях. Я занимал важные государственные должности, чем заслужил почет, но потом впал в немилость и был заключен в тюрьму Агер Кавентианус в Павии, которая тогда еще не называлась Павией. Я с нетерпением жду, когда судьи вынесут приговор, хотя знаю, что меня приговорят к смерти. Вот почему я останавливаю время, сочиняя *De consolatione philosophiae*^[425], покуда жду конца и пишу для тебя эти воспоминания, которые иначе и не назовешь. Моя смерть будет долгой, совсем не как у Боэция. Моего императора-убийцу зовут не Теодорих, а Альцгеймер Великий.

За мои грехи, за мои грехи, за мои великие грехи, как учили меня в школе, хотя я, кажется, даже не крещеный. И сдабривали все это невероятной историей о первородном грехе. На мне лежит вина за все; если нужно, буду виноват во всех случавшихся на земле пожарах, землетрясениях и наводнениях. Я не знаю, где Бог. Твой, мой, Бог Эпштейнов. Чувство одиночества мучит меня, любимая моя, любимейшая Сара.

Грешнику не дано искупления. Самое большее – прощение жертвы. Но часто, даже получив прощение, он не может жить. Мюсс решил исправлять содеянное зло, не дожидаясь прощения ни от кого, в том числе и от Бога. Я чувствую, что виноват во многом, но попытался жить дальше.

Confiteor. Я пишу с большим трудом, я устал и часто путаюсь, потому что у меня уже бывают нехорошие провалы в памяти. Как я понял из разговоров с врачом, когда эти листки будут изданы, любимая, я уже стану овощем, не способным никого попросить, чтобы – не из любви, но хотя бы из сострадания – мне помогли уйти из жизни.

Бернат взглянул на своего друга, и тот молча тоже посмотрел на него. На мгновение Бернат испугался, потому что ему привиделся взгляд Гертруды. Но, несмотря ни на что, он продолжал читать: я писал все это в безнадежной попытке удержать тебя, я сошел в ад своей памяти, и боги позволили мне забрать тебя с одним невыполнимым условием. Теперь я понимаю жену Лота, обернувшуюся в ненужный момент. Я клянусь, что обернулся, чтобы поддержать тебя на неровной ступеньке лестницы. Безжалостные боги Гадеса вернули тебя в ад смерти. Я не смог тебя возродить, дорогая Эвридика.

– Эвридика.

– Что?

– Ничего. Извините.

Бернат несколько минут молчал. Он покрылся холодным потом. От страха.

– Ты меня понимаешь?

– Что?

– Ты знаешь, что я читаю?

– Нет.

– Вилсон!

– Одну минуту! – решился Бернат. – Я сейчас приду. – И добавил без капли иронии: – Ты никуда не уходи. И не зови Вилсона, я сейчас вернусь.

– Вилсон!

Перепуганный Бернат, у которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, не спрашивая разрешения, ворвался в кабинет врача и крикнул: доктор Вальс, он у меня исправил неправильное ударение!

Врач оторвал взгляд от какой-то бумаги. Несколько секунд он осмыслил услышанное, как будто заразился медлительностью у своих больных.

– Это рефлекторное. – Он взглянул в свои бумаги, а потом опять на Берната. – Сеньор Ардевол не может ничего вспомнить. Теперь уже не может. Это у него получилось случайно. К глубокому сожалению для всех нас.

– Но он сказал «Эвридика», когда я произнес «Эвридика».

– Это случайно. Уверяю вас, это случайно.

Бернат вернулся к своему другу в уголок с глициниями и сказал: прости, Адриа, я очень беспокоюсь, потому что...

Адриа смотрел на него несколько секунд, а потом спросил:

– Это хорошо или плохо?

Бернат подумал: бедный ты мой друг, ты всю жизнь размышлял и рассуждал, а теперь можешь только спросить, хорошо это или плохо. Как будто жизнь сводится только к одному – поступать плохо или не поступать. А может, так и есть. Не знаю.

Они посидели еще какое-то время молча, пока наконец Бернат не продолжил громко и четко читать: теперь я уже подобрался к концу. Я несколько месяцев писал не переставая, заново проживая всю свою жизнь; я успел закончить рассказ, но у меня не остается сил привести его в порядок, как того требуют правила. Врач объяснил мне, что разум мой будет угасать постепенно, со скоростью, которую предугадать невозможно, потому что каждый случай – особый. Мы договорились, что, пока я остаюсь самим собой, эта самая... ну как ее... в общем, что она будет у меня круглосуточно, потому что за мной надо присматривать. А скоро надо будет нанять еще двух человек, чтобы со мной всегда кто-то был... Видишь, на что я трачу деньги от продажи магазина? Я решил, что, покуда во мне теплится ясное сознание, я не расстанусь с книгами. А когда оно меня совсем покинет, мне будет все равно. Так как тебя нет рядом, чтобы заботиться обо мне, а Лола Маленькая поспешила уйти из жизни много лет назад... мне приходится все продумывать самому. В лечебнице Кольсерола, около моей любимой Барселоны, будут ухаживать за моим телом, когда я уже отправлюсь в мир, который уж не знаю, состоит ли из теней. Меня уверяют, что читать мне там не захочется. Разве это не насмешка судьбы, что я, живший всю жизнь так, чтобы осознавать предпринятые мной шаги, и всю жизнь считавший себя виноватым во множестве проступков, в том числе и тех, которые совершило все человечество, уйду из жизни, даже не понимая, что я ухожу. Прощай, Адриа. Я говорю себе это сейчас на всякий случай. Я оглядываю кабинет, где провел столько часов. «Еще на мгновение посмотрим на родные берега, на все те предметы, которых мы больше никогда не увидим... И постараемся войти в смерть с открытыми глазами»^[426], – говорит император Адриан перед смертью. Милая душа моя, Сара. Душа нежная и зыбкая, спутница моего тела, ты первой сошла в те блеклые, мрачные и голые места^[427]. Как же это ужасно. Я перестаю писать и снимаю телефонную трубку. Набираю номер

мобильника моего друга: я уже много месяцев ничего о нем не знаю, сижу в своем кабинете и пишу.

– Привет, это Адриа. Как дела? Черт, ты уже спал? Нет, а который час? Что? Четыре утра?.. Ой, извини!.. Да... Я хотел тебя кое о чем попросить и кое-что тебе рассказать. Да, да. Нет, если можешь прийти завтра... точнее, сегодня. Слушай, лучше, если придешь ты. Да. Когда тебе удобнее. Я весь день дома. Да, да. Спасибо.

Я заканчиваю писать *hic et nunc* о том, что переживаю. Я должен был писать по сю пору, к моему глубокому сожалению. Я уже в самом конце моей рукописи. На улице розовоперстая заря начинает окрашивать темное небо. Мои пальцы окоченели от холода. Я складываю исписанные листы и письменный прибор и смотрю в окно. Какой холод, какое одиночество! Братья из монастыря Жерри поднимутся по тропинке, которую мои глаза различат, когда заря окончательно одолеет мрак. Я смотрю на дарохранительницу и думаю, что нет ничего печальнее, чем оставлять пустым монастырь, где веками возносили хвалу Господу. Я не могу не чувствовать своей вины в этом ужасном событии, любимая. Да, знаю. Мы все когда-нибудь умрем... Но ты усилиями моего благородного друга, который терпел меня столько лет, ты будешь продолжать жить и дальше – каждый раз, когда кто-нибудь будет читать эти строки. Однажды, как мне говорят, мое тело тоже исчезнет. Прости меня, но я, как и Орфей, не смог совершить чудо. Воскресение – удел богов. *Confiteor*, любимая. *Leshana Haba'ah B'Ierushalayim*^[428]. Сегодня – это завтра.

Длинное письмо, которое я писал тебе, заканчивается. *Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte*^[429]. После стольких напряженных дней наступил отдых. Начало осени. Итог подведен, и настало утро. Я включил телевизор: там заспанный диктор объявлял погоду; он меня уверял, что в ближайшие часы наступит резкое похолодание и пройдут ливневые дожди. Он напомнил мне Виславу Шимборскую^[430], которая говорила, что, хотя завтрашний день обещает быть солнечным, тем, кому жить дальше, не помешает зонтик. Ко мне это не относится, мне зонт уже не понадобится.

В палате, соседней с cinquantaquattro, тоненькие детские голоса спели Fum, fum, fum ^[431], потом раздалась нарочито громкие аплодисменты,

и женский голос сказал:

– С Рождеством, папа! – Молчание в ответ. – Дети, скажите дедушке: «С Рождеством!»

В это самое время и начался переполох. Кто-то, может быть Джонатан, вышел из *cinquantaquattro* перепуганный:

– Вилсон!

– Да?

– Где сеньор Ардевол?

– В *cinquantaquattro*, где ж еще?

– Так вот нет, его там нет.

– Господи боже, как нет?

Вилсон открыл дверь в палату с нехорошим предчувствием, говоря: дорогой, золотой наш. Но ни дорогого, ни золотого там не было. Ни в кровати, ни в инвалидном кресле, ни у стены, которая колется. Вилсон, Джонатан, Ольга, Рамос, Майте, доктор Вальс, доктор Роуре, а через четверть часа доктор Далмау, Бернат Пленса и весь персонал лечебницы, который не был на дежурстве, стояли на ушах, разыскивая Адриа на террасах, в ванных комнатах, во всех палатах и служебных помещениях, в ординаторских, в кабинетах врачей и во всех шкафах. Господи, господа, господа боже ты мой, как это может быть, если бедняга практически не ходит? *Ónde estás?* ^[432] Позвонили даже Катерине Фаргес – а вдруг ей придет в голову, где он может быть... Затем, когда за дело взялись полицейские, стали смотреть и вокруг лечебницы, прочесали парк Кольсерола, ища за деревьями, у родника в густой роще и, не приведи господа, на дне озера. А Бернат думал: *Teno medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teno medo á desgracia traidora que ven-e que nunca se sabe ónde ven* ^[433]. *Adria, ónde estas?* Потому что один Бернат мог знать правду.

В тот день, похоронив отца настоятеля, они должны были навсегда уйти из монастыря, оставив его пустым, отдав на съедение лесным крысам, которые, невзирая на монахов, хозяйничали в священном месте испокон веков, хотя и не носили бенедиктинской сутаны. Вместе с летучими мышами, поселившимися в алтаре часовенки Сан-Микел, которая возвышалась над графской могилой. А всего через несколько дней до монастыря доберутся и лесные гады, и они ничего не смогут с этим поделать.

– Брат Адриа...

– Да?

– У вас совсем плохой вид.

Он огляделся. Они были одни в церкви. Дверь открыта. Только что, еще затемно, люди из Эскало похоронили настоятеля. Он посмотрел на свои ладони и тут же счел этот жест неуместным. Потом покосился на брата Жулиа и спросил тихо: что я тут делаю?

– То же, что и я. Мы готовимся запереть Бургал.

– Нет, нет... Я живу... Я здесь не живу.

– Не понимаю, о чем вы говорите.

– Что? Как?

– Садитесь, брат Адриа. К сожалению, мы не торопимся. – Брат Жулиа взял его за руку и усадил на скамью. – Садитесь, – повторил он, хотя тот уже сидел.

Снаружи розовоперстая заря уже окрашивала темное небо, и птицы радостно защибетали. К их веселому щебету присоединился даже какой-то петух из Эскало.

– Адриа, золотой, куда же ты спрятался? – И шепот: – А вдруг его выкрали?

– Не говори глупостей!

– И что нам теперь делать?

Брат Жулиа с удивлением посмотрел на монаха. И промолчал, обеспокоенный. Адриа еще раз настойчиво спросил: что же делать, а?

– Ну... подготовить дарохранительницу, закрыть монастырь, забрать ключ и молиться, чтобы Господь простил нас. – И добавил, промолчав целую вечность: – И дожидаться братьев из Санта-Марии де Жерри. – Он вновь с удивлением посмотрел на Адриа. – Почему вы об этом спрашиваете?

– Бегите!

– Что вы сказали?

– Я сказал – бегите!

– Я?

– Вы. Они придут убить вас.

– Брат Адриа...

– Где я?

– Я принесу вам воды.

Брат Жулиа исчез в проеме двери, которая вела в небольшой внутренний двор. Снаружи птицы и смерть. Внутри смерть и догоревшая свеча. Брат Адриа укрывался в молельне, пока свет не утвердился на Земле, которая вновь стала плоской, с загадочными недостижимыми краями.

– *Опросите всех его знакомых. И если я говорю всех, то это значит всех.*

– *Так точно.*

– *И не думайте, что розыскная операция закончена. Расширьте площадь поиска до всей горы. Обыщите Тибидабо. И территорию аттракционов.*

– *Этот господин был малоподвижен.*

– *Какая разница! Обыщите всю гору!*

– *Так точно.*

Тогда он тряхнул головой, точно очнувшись от глубокого сна, поднялся и пошел в келью за дарохранильницей и за ключом, которым тридцать лет подряд закрывал ворота монастыря после вечерни. Тридцать лет пробыл он ключником в Бургале. Он обошел все кельи, трапезную, кухню. Зашел в церковь, в крохотную капитулярную залу. И почувствовал: он, и только он повинен в том, что монастырь Сан-Пере дел Бургал закрывается. Он ударил себя в грудь рукой и сказал: Confiteor, Dominus. Confiteor: mea culpa. Это первое Рождество без Missa in Nocte и без заутрени.

Он взял мешочек с семенами ели и клена – скромное подношение несчастной, которая надеялась с его помощью получить прощение за то, что покончила с собой, вместо того чтобы препоручить себя Господу. Он смотрел несколько секунд на мешочек, вспоминая бедную несчастную жену Косого, прошептал краткую молитву за упокой ее души, если только может упокоиться душа отчаявшегося, и спрятал мешочек глубоко в карман сутаны. Потом взял дарохранильницу и ключ и вышел в узкий коридор. Он не мог не поддаться искушению еще раз пройти по монастырю в полном одиночестве. Звук его шагов раздавался под сводами коридора, келий, капитулярной залы, во внутреннем дворе... Он завершил обход, заглянув в небольшую трапезную. Одна скамья, стоявшая слишком близко к стене, портила несвежую известку. Он машинально отодвинул ее. И не смог сдержать слез. Вытерев их рукой, вышел за ворота монастыря. Закрыв их и запер на замок, повернув два раза ключ, его скрип эхом отозвался у него в душе. Он опустил ключ в дарохранильницу и сел дожидаться братьев, которые поднимались утомленные, хотя и переночевали в Соле. Боже Милостивый, что я здесь делаю, если...

Бернат подумал: этого не может быть, но я не представляю, как иначе это можно объяснить. Прости меня, Адриа. Это моя вина, я знаю, но никак не могу отказаться от книги. Confiteor. Mea culpa.

Не дожидаясь, когда события грянут, Адриа встал, оправил сутану

и направился вниз по тропке, крепко держа в руках дарохранительницу. Навстречу ему шли трое монахов. Он оглянулся со слезами на глазах, навсегда прощаясь с монастырем, и стал спускаться дальше, чтобы не заставлять братьев подниматься на самый верх склона. Сколько воспоминаний умирало, пока он шел вниз! Где я? Прощайте, леса и горы. Прощайте, ущелья, прощай, журчание любимого ключа. Прощайте, братья монахи, прощайте, века песнопений и молитв.

– Братья, да пребудет с вами мир в сей день Рождества Господня!

– Мир Господа нашего да будет и с тобой!

Все трое были ему незнакомы. Самый высокий откинул капюшон с благородного лба:

– Кто представился?

– Жузеп де Сан-БартOMEу, настоятель.

– Хвала Господу Богу! А ты, стало быть, Адриа Ардевол?

– Ну, я... – И кивнул: – Да.

– Так умри же!

– Я давно уже мертв.

– Нет, ты умрешь сейчас!

Лезвие кинжала блеснуло в слабом свете утра, прежде чем вонзиться ему в душу. Пламя его свечи угасло, и он ничего больше не увидел и не почувствовал. Ничего. Не смог даже спросить, где я, потому что уже не был нигде.

Матадепера, 2003–2011

Действующие лица

Адриа Ардевол-и-Боск
Сара Волтес-Эпштейн
Бернат Пленса-и-Пунсода
Черный Орел, храбрый вождь арапахо
шериф Карсон, из Рокленда
Феликс Ардевол-и-Гитерес – отец Адриа Ардевола
Карме Боск – мать Адриа Ардевола
Адриа Боск – дед Адриа Ардевола
Висента Палау – бабка Адриа Ардевола
Лола Маленькая (Дулорс Каррьо-и-Солежибер) – наперсница Карме Боск
Лола Большая – мать Лолы Маленькой
Катерина
Анжелета – швея в доме Ардеволов
Сесилия – продавщица в магазине Феликса Ардевола
сеньор Беренгер – управляющий магазином Феликса Ардевола
синьор Фаленьями / Циммерманн – консьерж в Ufficio della Giustizia e della Pace
профессор Прунес и сеньора Прунес – гости в доме Ардеволов
Текла – жена Берната Пленсы
Льуренс – сын Берната Пленсы
Ксения – журналистка и подруга Берната Пленсы
Трульолс – учительница скрипки Адриа Ардевола и Берната Пленсы
маэстро Манлеу – преподаватель скрипки Адриа Ардевола
герр Казалс, герр Оливерес, герр Ромеу, мистер Пратс, синьор Симоне, профессор Гумбрень – преподаватели иностранных языков Адриа Ардевола
падре Англада, падре Бартрина, сеньор Бадиа, брат Климен – учителя Адриа Ардевола в иезуитской школе
Эстебан, Щеви, Кико, Руль, Педро, Массана, Риера, Торрес, Эскайола, Пужол, Буррель – одноклассники Адриа Ардевола в иезуитской школе
сеньор Кастельс и Антония Мари – пианисты-аккомпаниаторы
дядя Синто, из Тоны – брат Феликса Ардевола
тетя Лео – жена Синто Ардевола
Роза, Щеви и Кико – кузены Адриа Ардевола
Эухенио Косериу – лингвист, преподаватель Тюбингенского

университета

Йоханнес Каменек – преподаватель Тюбингенского университета

профессор Шотт – преподаватель Тюбингенского университета

Корнелия Брендель – подруга Адриа Ардевола в Тюбингенском университете

Сагрера – адвокат

Калаф – нотариус

Муррал – книготорговец на рынке Сан-Антони

Катерина Фаргес – преемница Лолы Маленькой

Женсана – товарищ Адриа Ардевола по университету

Лаура Байлина – преподаватель Барселонского университета, подруга Адриа Ардевола

Эулалия Парера, Тодо, профессор Бассас, профессор Казалс, Умедес – преподаватели Барселонского университета

Эрибер Бауса – издатель

Мирейя Грасия – ведущая презентации одной из книг Берната Пленсы

Саверио Носеке – эксперт по скрипкам в Риме

Даниэла Амато – дочь Каролины Амато

Албер Карбонель – муж Даниэлы Амато

Тито Карбонель Амато – сын Даниэлы Амато и Албера Карбонеля

Яша Хейфец – всемирно известный скрипач

маэстро Эдуард Толдра – композитор и дирижер Муниципального оркестра Барселоны

Рахель Эпштейн – мать Сары Волтес-Эпштейн

Пау Волтес – отец Сары Волтес-Эпштейн

Макс Волтес-Эпштейн – брат Сары Волтес-Эпштейн

Джорджио – друг Макса Волтес-Эпштейна

Франц-Пауль Деккер – дирижер Барселонского симфонического оркестра (БСО)

Ромэн Гинцбург – трубач БСО

Исайя Берлин – философ и историк идей

Алина Гинцбург – супруга Исая Берлина

Пау Ульястрес – барселонский лютье

доктор Далмау – врач и друг Адриа Ардевола

доктор Вальс

доктор Реал

Джонатан и Вилсон – санитары

Дора – медсестра

Пласида – домработница Адриа Ардевола

Эдуард Бадиа – директор галереи «Артипелаг»
Боб Мортельманс – сосед по комнате Маттиаса Альпаэртса
Гертруда – женщина, попавшая в автокатастрофу
Александр Роч – муж Гертруды
Элена и Агата – подруги Доры
Освальд Сикемяз – брат Гертруды
Ааду Мююр – бывший возлюбленный Агаты
Ойген Мюсс – врач в Бебенбелеке
Туру Мбулака – африканский вождь
Элм Гонзага – детектив

ВИК И РИМ, 1914–1918 гг.

Жузеп Торрас-и-Бажес – епископ Вика
Феликс Морлен, из Льежа – однокашник Феликса Ардевола
Драго Градник, из Любляны – однокашник Феликса Ардевола
Фалуба, Пьер Блан, Левински, Даниэль д’Анжело – преподаватели
Феликса Ардевола в Папском Григорианском университете
Каролина Амато
Саверио Амато – отец Каролины Амато
Сандро – дядя Каролины Амато
Муньюс – епископ Вика
моссен Айатс – секретарь епископа

БАРСЕЛОНА, 1940–1950 гг.

комиссар Пласенсия
инспектор Оканья
Рамис – лучший в мире детектив
Фелипе Аседо Колунга – гражданский губернатор Барселоны
Абелярдо – клиент Феликса Ардевола
Ансельмо Табоада Искьердо – подполковник
Венсеслао Гонсалес Оливерес – губернатор Барселоны

ЖИРОНА, САНТА-МАРИЯ ДЕ ЖЕРРИ, САН-ПЕРЕ ДЕЛ БУРГАЛ (XIV–XV вв.)

Николау Эймерик – Великий инквизитор
Микел де Сускеда – секретарь инквизитора
Рамон де Нолья – наемник инквизитора
Жулиа де Сау – монах в Сан-Пере дел Бургал
Косой из Салта
Косая из Салта – жена Косого из Салта
братья Маур и Матеу – монахи в Санта-Марии де Жерри
Жузеп Щаром, из Жироны – врач-еврей
Долса Щаром – дочь Жузепа Щарома
Эммануил Мейр, из Варны – потомок Долсы Щаром
близнецы

ПАРДАК, КРЕМОНА, ПАРИЖ (XVII–XVIII вв.)

Иаким Муредда – знаток древесины
Агно, Йенн, Макс, Гермес, Йозеф, Теодор и Микура – братья Иакима Муреды
Ильза, Эрика, Катарина, Матильда, Гретхен и Беттина – сестры Иакима Муреды
Булхани Броча – толстяк из Моэны
семья Броча из Моэны – недруги семьи Муредда из Пардака
брат Габриэль – монах из бенедиктинского аббатства в Лаграссе
Блонд из Казильяка – помощник Иакима Муреды
Антонио Страдивари – лютье
Омобони Страдивари – сын Антонио Страдивари
Зосимо Бергонци – лютье, ученик Антонио Страдивари
Лоренцо Сториони – лютье, ученик Зосимо Бергонци
Мария Бергонци – дочь Зосимо Бергонци
месье Ла Гит – торговец музыкальными инструментами
Жан-Мари Леклер Старший – скрипач и композитор
Гийом Франсуа Виал – племянник Жан-Мари Леклера
ювелир-еврей

АЛЬ-ХИСВА

Амани Альфалати
Азизаде Альфалати – отец Амани

жена Азиззаде
Али Бахр – торговец
почтенный кади
близнецы

ВРЕМЕНА НАЦИЗМА И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Рудольф Хёсс – оберштурмбаннфюрер (подполковник) СС, начальник
Освенцима

Хедвиг Хёсс – супруга Рудольфа Хёсса

Ариберт Фойгт – штурмбаннфюрер (майор) СС, врач

Конрад Будден – оберштурмфюрер (обер-лейтенант) СС, врач

брат Роберт – novice в монастыре бенедиктинского устава в Ахеле

Бруно Любке – солдат СС

Матхойс – роттенфюрер СС

дядя Хаим Эпштейн – дядя Рахели Эпштейн

Гаврилов – депортированный

Генрих Гиммлер – рейхсфюрер СС

Елизавета Мейрева – заключенная № 615428

Хенш – ефрейтор СС

Бараббас – обершарфюрер (сержант) СС

Маттиас Альпаэртс, из Антверпена

Берта Альпаэртс – жена Маттиаса Альпаэртса

Нетье де Бук – больная теща Маттиаса Альпаэртса

Амелия (Амельете), Труде (Тру) и Жульет Альпаэртс – дочери
Маттиаса Альпаэртса

Франц Грюббе, из Тюбингена – оберштурмфюрер (обер-лейтенант) 2-й
танковой дивизии СС «Дас Рейх»

Лотар Грюббе – отец Франца Грюббе

Анна Грюббе – жена Лотара Грюббе

Герта Ландау, из Бебенхаузена – кузина Конрада Буддена и Франца
Грюббе

Владо Владич – сербский партизан

Данило Яничек – партизан

Тимотеус Шааф – хауптштурмфюрер (капитан) 2-й танковой
дивизии СС «Дас Рейх»

близнецы

Этот роман был окончательно закончен 27 января 2011 года, в день годовщины освобождения Освенцима. Долгие годы, пока роман зрел в моей душе, я спрашивал мнения и просил помощи у многих людей. Вас столько и я пристаю к вам уже столько лет, что боюсь, я кого-нибудь забуду назвать. Полагаясь на ваше великодушие, я решил выразить благодарность всем сразу и надеюсь, что каждый отнесет ее на свой счет. Я всем вам бесконечно признателен.

notes

СНОСКИ

С головы (*лат.*). Часть выражения *a capite usque ad calcem* – «с головы до пят», иногда употребляемого в значении «от начала до конца». – *Здесь и далее примеч. перев.*

Валькарка – район Барселоны.

Дом – обращение к духовному лицу, принятое в Средние века в монастырях ордена бенедиктинцев.

«Погребенный светильник. Легенда» (нем.). Новелла Стефана Цвейга.

«Сборник упражнений на скорость» (*порт.*).

Моссен – обращение к священнику, принятое у каталонцев.

«Латинское красноречие» (*лат.*).

Известные каталонские философы и теологи XIX в., деятели т. н. Каталонского Возрождения.

«Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода» (*лат.*). Цит. по Вульгате.

Пятьдесят четыре (*ut.*).

S. J. (*um.* *Societatis Jesu*) – мужской монашеский орден Римско-католической церкви. Был основан святым Игнатием Лойолой и одобрен папой Павлом III в 1540 г.

Лев XIII (1810–1903) – римский папа с 1878 по 1903 г. Среди выпускников Григорианского университета – 20 святых, 29 блаженных и 14 римских пап.

Мариология – раздел теологии, касающийся Девы Марии.

Демотический язык – одна из форм египетского письма, применявшаяся для записи текстов с VII в. до н. э. до V в. н. э.

Ерунда! (*ит.*)

Арапахо – индейский народ, живущий в штатах Оклахома и Вайоминг.

Сотериология – богословское учение об искуплении и спасении человека.

Теодицея – теологическая доктрина, согласующая сосуществование благого, мудрого и могущественного Бога и зла в мире.

Обычай в каноническом праве (*лат.*).

Библиотека, созданная в 1701 г. под патронажем кардинала Джироламо Казанате в доминиканском монастыре Санта-Мария sopra Минерва.

Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг., по которому Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она подвергнется нападению Франции. Договор возобновлялся в 1887, 1891, 1902 и 1912 гг.

Речь идет о Лондонском пакте – секретном соглашении между Италией и странами Антанты, подписанном в Лондоне 26 апреля 1915 г. представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Оно определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. В результате Италия должна была получить Тироль (что включает современные итальянские провинции Тренто и Больцано), Истрию, Северную Далмацию и ряд других территорий.

Битва при Капоретто (24 октября – декабрь 1917 г.). Одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, когда австро-германские войска осуществили широкомасштабное наступление на позиции итальянской армии и вытеснили ее за реку Пьява.

Битва при Витторио-Венето – наступательная операция войск Антанты на реке Пьява, проведенная 25 октября – 3 ноября 1918 г. В итоге союзные войска вынудили австро-венгерскую армию капитулировать. Перемирие было подписано 3 ноября 1918 г. на Вилла-Джусти (Падуя).

Королевство сербов, хорватов и словенцев – государственное образование, созданное 29 октября 1918 г. после распада Австро-Венгрии.

Поскольку Италия в результате Парижской мирной конференции не получила значительной части тех территорий, которые были ей обещаны Лондонским пактом 1915 г., то чувствовала себя, по распространенному тогда выражению, «побежденной в лагере победителей».

Истина и факт соответствуют друг другу или сходятся (*лат.*).

Площадь Святого Петра (*ит.*).

Добрый вечер! (*вт.*)

1 Ансельм Кентерберийский в 1078 г. предложил т. н. онтологическое доказательство бытия Божия.

2 Героиня поэмы «Граф Арнау» классика каталонской литературы Жуана Марагаля (1860–1911).

Тебе больно? (*ит.*)

Спасибо, большое спасибо, падре (*ит.*).

Как тебя зовут? (*ит.*)

Каролина, падре. Спасибо (*ит.*).

Тебе все еще больно, Каролина? (*ит.*)

В 1916 г. Шарден написал свое первое эссе «La vie cosmique» («Космическая жизнь») – философские и научные размышления о мистике и духовной жизни.

Сокровище из Африки (*ит.*).

Невмы – знаки для записи мелодии в системе средневековой вокальной нотации.

«Ангел Господень возвестил Марии» (*лат.*) – первая строчка молитвы «Ангел Господень».

Комедия «Мандрагора» Н. Макиавелли.

Возвещаю вам великую радость! (*лат.*) – начальные строки латинской формулы, объявляющей о том, что избран новый папа римский.

Елизавета (*лат.*).

Война закончилась (*ит.*).

Из детства (лат.).

Скво – женщина (на языке североамериканских индейцев).

Я требую свои комиссионные! Это мое право. Вы работаете на меня, месье Беренгер. Да, конечно, но у меня есть чувство собственного достоинства! (*фр.*)

Одному Богу ведомо, где мой малыш Адриен! *(фр.)*

Пауни – индейское племя, жившее на территории современных штатов Небраска и Канзас.

– Не сомневаюсь в этом, – сказала мама. – Вопрос в том, насколько он хороший педагог, этот Гомеу.

– Конечно, я получил все необходимые рекомендации, которые свидетельствуют, что он исключительно одарен в немецком языке (*фр.*).

Немецкий (фр.).

Немецкий (*ит. с французским окончанием*).

И в сфере преподавания этого языка. Я думаю... (фр.)

Midi-Pyrénées – регион на юге Франции (главный город – Тулуза).

Энид Блайтон (1897–1968) – известная британская писательница, автор книг для детей и подростков.

Тибидабо – гора, район Барселоны, где расположен парк аттракционов.

Мигель Примо де Ривера (1870–1930) – испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 гг. председатель правительства Испании. В 1923 г. совершил государственный переворот, в результате которого было приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент, введена цензура.

Имеется в виду 2-я Испанская республика, провозглашенная в 1931 г. и просуществовавшая до установления диктатуры Франсиско Франко в 1939 г.

Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.

На этой улице находилось главное полицейское управление Барселоны.

У испанцев и каталонцев двойная фамилия, которая состоит из фамилии отца и фамилии матери.

Хосе Антонио Примо де Ривера (1903–1936) – сын генерала Мигеля Примо де Риверы, основатель партии «Испанская фаланга».

«Полуденный отдых фавна» (*фр.*). Стихотворение Стефана Малларме, написанное в 1865 г., однако впервые изданное только в 1876 г.

Иоанн II Безверный (1398–1479) – с 1458 г. король Арагона, Валенсии, Майорки, Сицилии и Наварры, граф Барселонский.

Эшампле – престижный район Барселоны.

Один арагонский вассал, / Вы знаете, кто он, / Его зовут Амфос
де Барбастре, / Я сейчас вам расскажу, какая ужасная история / Случилась
с ним из-за ревности (*оксит.*).

Наказание ревнивцам (*оксит.*).

Ревнивый (*оксит.*).

Фолио 132 из рукописного сборника старопровансальской поэзии из библиотеки Карлсруэ.

Фискорн – каталонский духовой инструмент типа трубы.

Спинет – разновидность клавесина.

Серпент – европейский духовой инструмент, известный с XVI в.

Карл Фридрих Май – автор популярных приключенческих романов в жанре вестерна.

Φρα – брат (кат.).

Каюсь, Господи. Каюсь, моя вина (*лат.*).

Николау Эймерик – каталонский инквизитор (ок. 1320–1399), доминиканский монах. В 1356 г. был назначен Великим инквизитором Арагонского королевства. Король Иоанн Арагонский изгнал Эймерика из своих владений за чрезмерную жестокость.

Аббатство Святой Марии в Лагресе – бенедиктинский монастырь на юге Франции, известный с VIII в.

Господи, я недостоин (*лат.*) – «...чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя» – молитва перед причастием во время мессы.

Новиций – в католичестве: человек, готовящийся к принятию монашества.

Я потерял перо в саду своей тети (фр.).

Французский лицей (фр.).

Нуууу, в сущности, хорошо (*нем.*).

Слабые глаголы (нем.).

Гимны (нем.).

Адриа (*ит.* Adria) – город в Италии, расположен в регионе Венето. В древности это был самый значительный порт на севере Адриатики, который дал имя всему морю.

«Лаурентиус Сториони Кремонезь меня сделал 1764» (лат.). *Лоренцо Сториони* (1744–1816) – один из последних представителей кремонской школы скрипичных мастеров, ученик Гварнери дель Джезу.

Люте – мастер по изготовлению всех струнных музыкальных инструментов.

«*Барселона*» (Futbol Club Barcelona) – каталонский футбольный клуб, основанный в 1899 г.

«*Эспаньол*» (Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona) – испанский спортивный клуб, основанный в 1900 г.

«Ferrari D50», на которой выступал один из лучших гонщиков «Формулы-1» – Хуан Мануэль Фанхио.

Амати – знаменитая семья кремонских лютье. Николо Амати был учителем Гварнери и Страдивари.

До введения евро в Испании один ду́ро равнялся пяти песетам.

Все хорошо (*англ.*).

Жуаким Вайреда (1843–1894) – один из наиболее известных каталонских художников-пейзажистов XIX в.

Абрахам Миньон (1640–1679) – голландский живописец, рисовавший в основном натюрморты, среди которых множество ваз с цветами на темном фоне.

Не знаю (*фр.*).

Отакар Шевчик (1852–1934) – чешский скрипач и педагог, автор учебника «Школа скрипичной техники».

Праздник поклонения волхвов широко отмечается в Испании 6 января. По библейской легенде, три царя-волхва – Мельхиор, Гаспар и Бальтасар – явились поклониться младенцу Иисусу и принесли дары – золото, ладан и мирру. В испанской и каталонской традиции именно волхвы, а не Санта-Клаус или Дед Мороз отвечают за зимние детские подарки. Непослушных детей пугают тем, что им вместо подарка достанется уголь.

Да, конечно (*фр.*).

Атенеу – старейший и крупнейший культурный центр Барселоны.

Барселонета – старый портовый район Барселоны, который был уже за чертой города.

Рамбла – главный барселонский бульвар, ведущий от площади Каталонии к морю. Традиционно – место прогулки горожан.

«Пирастро» – одна из старейших фирм, производящая струны, канифоль и средства для чистки деревянных струнных щипковых и смычковых инструментов. Основана в 1798 г. в Германии.

«*Эспаза*» – издательство, основанное в 1860 г. в Барселоне, специализирующееся на издании энциклопедий, словарей, учебников, справочников.

Парафраз строки «день Господень так придет, как тать ночью» (1 Сол. 5: 2).

Паническая дpожь (*фр.*).

Эдвард Хоппер (1882–1967) – американский художник-урбанист, мастер жанровой живописи.

Магдалена Жиралт – супруга генерала Жузепа Морагеса-и-Маса, каталонского национального героя Войны за испанское наследство, оказывавшего сопротивление центральной власти Испании. Он был схвачен и 27 марта 1715 г. жестоко казнен: сначала повешен, затем обезглавлен и четвертован. Его голова была вывешена в клетке над Морскими воротами в Барселоне, где провисела до 1727 г., несмотря на прошения и ходатайства вдовы генерала.

Каудильо – в 1939–1975 гг. официальный титул главы государства в Испании – генералиссимуса Ф. Франко.

«Записки о галльской войне» (*лат.*) – сочинение Гая Юлия Цезаря, ставшее неременным чтением для изучающих латынь.

Паррамон – фамилия известного дома лютье в Барселоне, работающего с 1897 г.

Педик (*исп.*).

Базилика Святой Сабины – главная церковь ордена доминиканцев в Риме.

Папский совет по вопросам справедливости и мира (*ut.*).

Николо Гальяно (1740–1780) – представитель семьи известных скрипичных мастеров в Неаполе.

Доктор (*um.*).

Жан-Мари Леклер (1697–1764) – скрипач и композитор, считающийся основоположником французской скрипичной школы.

Мой дорогой дядюшка! (*фр.*)

Речь идет о скрипке Страдивари, созданной им в 1716 г. Инструмент оставался в его мастерской до смерти мастера в 1737 г. Имя этой скрипке дал французский музыкант Жан-Дельфен Аляр, сказавший: «Этот инструмент похож на Мессию: Его явления всегда ждут, но Он никак не появляется». Ныне Мессия находится в коллекции Эшмоловского музея искусства и археологии (Оксфорд) и считается самой сохранной скрипкой Страдивари, на которой мало играли.

Дорогой доктор (*ит.*).

Как дела? (*ит.*)

123

Хорошо (*ит.*).

Пока! (*um.*)

Макс Брух (1838–1920) – немецкий композитор. Знаменит, в частности, своими скрипичными концертами. Первый концерт (Ор. 26, 1868) входит в стандартный скрипичный репертуар.

Для портаменто (*ut.*).

Бела Барток (1881–1945) – венгерский композитор и пианист.

Муренета (Черная Дева из Монтсеррата) – скульптура Девы Марии, хранимая в каталонском монастыре Монтсеррат. Лицо и руки у нее черного цвета.

Уже давно ваш муж вел двойную жизнь, мадам Ардевол. Два публичных (или правильно – «два публичные»?) дома, где он объединил (собрал?) для работы... где он использовал девочек пятнадцати-шестнадцати лет. Я сожалею, что вынужден рассказывать вам все это (*фр.*).

Дергаться снова (*фр.*).

Олд Шаттерхенд, Виннету – персонажи ряда книг Карла Мая.

Место или дом, служащее логовом для людей дурного образа жизни
(исп.).

Место или дом, которому не хватает внешнего приличия из-за шума и беспорядка (*исп.*).

Casal del Metge (Дом Медика) – здание на виа Лаэтана, 31, построенное в 1931 г. Там расположен актовый зал на 320 мест, где проходили концерты, спектакли, публичные лекции.

Вот и весь разговор (*исп.*).

Страх артиста перед публикой (*исп.*).

Палау-де-ла-Музика (Дворец музыки) – концертный зал, построенный знаменитым каталонским архитектором Л. Думенек-и-Мунтанером в 1905–1908 гг. Входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пау (Пабло) *Казалс* (1876–1973) – знаменитый каталонский виолончелист, дирижер, композитор.

И в Аркадии я (*лат.*) – крылатое латинское выражение, много раз обыгрывавшееся в европейской культуре. Часто трактуется как обращение Смерти к людям: даже в Аркадии я есть. Другая интерпретация этого выражения – обращение умершего к живущим («И я был в Аркадии»), напоминание о бренности жизни и преходящности человеческого счастья.

Жуан Массиа-и-Пратс (1890–1969) – известный каталонский скрипач, композитор и педагог.

В Мирекуре в XVIII–XX вв. работала мастерская известных мастеров-лютье семьи Тувенель.

Борн – старый квартал в центре Барселоны.

Укол, туше́ (фр.).

Туше еще раз (*фр.*).

Евреи – вон! (*исп. – нем.*)

Давайте рассредоточьтесь, нечего толпиться, давайте расходитесь
(исп.).

Бетховен. Coriolan-Ouverture, Op. 62.

С. Прокофьев. Sonata for Violin and Piano No. 1 in F minor, Op. 80: I.
Andante assai.

Иди прочь (*лат.*) – выражение восходит к словам Иисуса в пустыне: «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана» (Мф. 4: 10). В Вульгате это звучит как «Vade retro, Satana».

Хватит (*фр., нем., ит.*).

Произведение И.-С. Баха для скрипки соло.

День святого Стефана – 26 декабря, второй день рождественских праздников.

Одно из крупнейших американских высших музыкальных учебных заведений, основанное в Нью-Йорке в 1926 г.

Tu quoque, Brute, fili mi! (И ты, Брут, сын мой! – лат.) – последние слова Юлия Цезаря, обращенные к его убийце.

Иегуди Менухин (1916–1999) – выдающийся американский скрипач и дирижер.

«Второй сборник сонат» (*фр.*).

Муниципальная музыкальная консерватория города Барселоны – создана в 1886 г. С 1928 г. находится на углу улиц Брук и Валенсия.

Кадакес – город недалеко от Жироны, место отдыха состоятельных людей и художественной элиты во второй половине XX в.

Орчата – популярный в Испании и Каталонии напиток, приготовленный из толченых клубней земляного миндаля (чуфы), воды и сахара.

С пробелами (*ит.*).

Дорогой Адриа, ты ведь знаешь, кто я? (*ит.*)

Это правда (*ит.*).

Жасинт Вердагер (1845–1902) – один из классиков каталонской литературы. Национальный каталонский поэт, автор эпических поэм «Атлантида» и «Каниго». Был священником, окончил семинарию в Вике.

Извини (*ut.*).

Мой тезка! Верно? (*ит.*)

Литания – длинная молитва, состоящая из коротких повторяющихся воззваний или прошений.

Два миллиона (*ит.*).

Санта-Мария дел Барри – церковь XII в. в Тоне.

Плана-де-Вик – долина, расположенная на середине пути между Барселоной и Пиренеями.

Вертеп (*um.*).

Башня мавров – главная башня замка в Тоне, датируется IX–X вв.

Берлинский театр – театр, известный своими опереттами.

Аушвиц, Аушвиц-Биркенау – немецкие названия концентрационного лагеря и лагеря смерти Освенцим, использовавшиеся нацистской администрацией.

Он врач, господин обер-лейтенант (нем.).

Марк Рожавелди (Мордехай Розенталь; 1789–1848) – венгерский композитор и скрипач.

Дранси – нацистский концентрационный лагерь в окрестностях Парижа, промежуточный пункт перед отправкой в Освенцим.

Вильгельм Нестле (1865–1959) – немецкий философ и филолог.

Цитадель – парк в центре Барселоны.

«История греческого духа» (*нем.*), труд философа В. Нестле.

Ныне и присно (*лат.*).

«Новые листы» (*галис.*) – название сборника 1880 г. испанской поэтессы Росалии де Кастро (1837–1885).

Что происходит вокруг меня? Что происходит со мной, а я не знаю?
(галис.) – первые строки одного из стихотворений Р. де Кастро из сборника «Новые листы».

Несколько измененные строки народного каталонского романса «Завещание Амелии», в котором рассказывается о том, как мать отравила дочь из ревности.

Цитата из «Завещания Амелии».

Я боюсь того, что живет, но не видно глазу. Боюсь предательского несчастья: оно придет, но чего коснется – знать нельзя (*галис.*) – последние строки одного из стихотворений Р. де Кастро из сборника «Новые листы».

Сара, где ты (*галис.*).

Цитата из «Завещания Амелии».

Высшая школа искусств Барселоны изначально располагалась в здании Морской биржи.

Эуджен Косериу (более известен как Эухенио Косериу; 1921–2002) – румынский филолог, специалист по общему и романскому языкознанию. С 1963 г. – профессор Тюбингенского университета.

Если хочешь, можешь играть на Сториони (*нем.*).

До свидания (*нем.*).

Палимпсест (*лат.*).

Мишель Турнье (р. 1924) – французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. Цитата из романа «Лесной царь» дана по переводу И. Я. Волевич и А. Д. Давыдова.

Николау Эймерик (ок. 1320–1399) – Великий инквизитор Арагонского королевства (1357–1360 и с 1366); был в конфликте с королем Петром III Церемонным, который дважды высылал Эймерика и запрещал его проповеди в Барселоне, и с 1388 г. – с его преемником Иоанном I Охотником. Был гонителем идей и последователей философа и богослова Рамона Льюля (ок. 1235–1315).

Очевидно, имеется в виду один из вариантов латинского перевода («Arbor philosophica (sic) amoris») написанного на каталанском языке произведения Р. Льюля «Arbre de filosofia d'amor», досл.: «Древо философии любви».

Гостия – пресный хлеб, использующийся в католицизме латинского обряда во время литургии для совершения таинства евхаристии.

Адонай – одно из имен Бога в иудаизме.

Верую во единого Бога (*лат.*) – начало и название католической молитвы («Кредо»), аналогичной Символу веры в православии.

Отче наш (лат.).

Тер – река в Каталонии с истоком в Пиренеях, впадающая в Средиземное море.

Блистательная Порта – принятое в истории дипломатии название правительства Османской империи.

Разрешаю тебя от твоих грехов, во имя Отца и Сына и Святого Духа
(лат.).

Аминь (лат.).

Стóла – деталь литургического облачения католического священника.

Ноам Хомский (р. 1928) – американский лингвист, создатель теории генеративной грамматики.

Брехтбау – один из корпусов Тюбингенского университета, в котором находится филологический факультет. Назван в честь Бертольта Брехта.

Бурзе – один из корпусов Тюбингенского университета, в котором проводятся семинары по философии и истории искусства.

Башня на берегу реки Некар, в которой с 1807 г. жил и работал немецкий поэт-романтик Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин (1770–1843).

Каюсь (*лат.*). Слова из католической покаянной молитвы.

Слово «текла» (tecla) также обозначает по-каталански «клавиша».

Гидон Кремер (р. 1947) – советский и латвийский скрипач и дирижер.
Ицхак Перлман (р. 1945) – американский и еврейский скрипач и дирижер.
Айзек Стерн (Исаак Штерн; 1920–2001) – американский и еврейский скрипач и дирижер.

Сезар Франк (1822–1890) – бельгийский и французский композитор и органист.

Романс австрийского композитора Франца Шуберта (1797–1828) на стихи немецкого поэта и философа Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832).

Феликс Ардевол, улица Валенсия, 283, Барселона, Испания (*кат. и словен.*).

Парá – разменная монета в Югославии, равная одной сотой части динара.

Анте Павелич (1889–1959) – основатель и лидер хорватской фашистской организации усташей.

Экзегетика – раздел богословия, связанный с толкованием библейских текстов.

Удивительно (нем.).

219

Название немецкой газеты.

Леонард Блумфилд (1887–1949) – американский языковед.

«Язык и сознание» (*англ.*), труд Н. Хомского.

«Миф реинтеграции» (рум.), труд румынского философа Мирчи Элиаде (1907–1986).

Глупости (*лат.*).

Санта-Мария делле Грацие – церковь в Милане, в трапезной которой находится фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Модест Уржель (1839–1919) – каталонский художник и драматург.

От (ок. 1065–1122) – епископ Уржельский, католический святой.

Конверз — в католичестве — человек, живущий в монастыре и принадлежащий к монашескому ордену, но принявший только часть монашеских обетов и занятый главным образом физическим трудом.

Досл.: «Собрание» (*кат.*).

Досл.: «На всех парусах» (*кат.*) – основанная в 1928 г. серия барселонского издательства «Ргоа» («Форштевень»), в которой публикуются романы на каталанском языке (как написанные по-каталански, так и переводные).

«Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» (*фр.*) – философский трактат Рене Декарта.

«Диоптрика», «Метеоры» и «Геометрия» (*фр.*) – труды Р. Декарта.

Имеется в виду роман французского писателя М. Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени» («À la recherche du temps perdu», *фр.*).

«Мертвые» (*англ.*) – последняя повесть из сборника ирландского писателя Дж. Джойса (1882–1941) «Дублинцы».

Успиталет – город в Каталонии, соседний с Барселоной.

Иаков III Смелый (1315–1349) – король Майорки в 1324–1344 гг.

Томас Шератон (1751–1806) – выдающийся английский дизайнер мебели.

Дочь торговца фруктами Амато (*ит.*).

Приятно познакомиться (*ит.*).

Вилафранка – город в Каталонии.

240

Отлично (*ut.*).

«Моисей» – статуя работы Микеланджело.

Хиджра – переселение основателя ислама пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (622), от которого ведется мусульманское летосчисление.

Вариант имени Моисея в исламской традиции.

Перикл (ок. 494–429 до н. э.) – афинский государственный деятель.

«Песочные часы» (*серб.*) – роман выдающегося югославского писателя Д. Киша (1972). Название романа на сербском языке – «Пешчаник», однако Ж. Кабре называет его в своем тексте синонимом этого слова – «пешчани сат». При переводе мы сочли необходимым исправить ошибку Ж. Кабре.

Эмилио Карло Сальгари (1862–1911) – итальянский писатель, автор исторических и приключенческих романов.

«Приключения Тинтина» – серия комиксов бельгийского художника Эрже (Жоржа Проспера Реми), издававшаяся с 1930 по 1986 г.

Магазин деликатесов в Барселоне, основанный Ж. Муррией.

Классификация, которая используется для систематизации информации о письменных документах.

Интермеццо из оперы французского композитора Ж. Массне «Таис» (1893–1894).

Четвертая симфония австрийского композитора Антона Брукнера (1824–1896).

252

Восьмой округ, улица Лаборд, сорок восемь (*фр.*).

Шестой этаж (*фр.*).

Свет ($\phi p.$).

«Об общественном благоденствии» (*ит.*) – сочинение итальянского философа Л. А. Муратори (1672–1750).

«Антверпенская газета» (*нидерл.*).

Трапписты (или орден цистерцианцев строгого соблюдения) – католический монашеский орден, являющийся ответвлением ордена бенедиктинцев.

Приор – в католичестве: титул настоятеля небольшого мужского монастыря или (зд.) старшего после настоятеля члена монашеской общины.

Тонгелрееп – река в Бельгии и Нидерландах, приток Доммеля.

Досл.: «Божественное чтение» (*лат.*) – молитвенное чтение Священного Писания.

Богослужебные часы не совпадают со светскими. Приблизительное соответствие богослужебных и светских часов (в католичестве): утренняя – 00.00, хваления – 3.00, первый час – 6.00, третий час – 9.00, шестой час – 12.00, девятый час – 15.00, вечерня – 18.00, комплеторий – 21.00.

Комплеторий – в католицизме: молитвы суточного богослужебного круга, совершаемые перед отходом ко сну.

Теодор Адорно (1903–1969) – немецкий философ.

Георг Филипп Телеманн (1681–1767) – немецкий композитор.

Жюль де Гонкур (1830–1870) и *Эдмон де Гонкур* (1822–1896) – французские писатели, братья.

Джордж Оруэлл (1903–1950) – английский писатель; *Олдос Хаксли* (1894–1963) – английский писатель; *Чезарио Павезе* (1908–1950) – итальянский писатель, поэт и переводчик.

Досл.: «Ремесло жить» (*ит.*).

Ренато Гуттузо (1911–1987) – итальянский художник.

Джузеппе Унгаретти (1888–1970) – итальянский поэт.

«Солдаты», «Сан-Мартино-дель-Карсо» (*ит.*).

Досл.: «Наиболее пострадавшая страна – это мое сердце» (*ит.*).

«Рождение трагедии» (нем.).

Пабло Сарасате (1844–1908) – испанский скрипач и композитор.

Концертино – группа солирующих инструментов в оркестре.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – немецкий философ и ученый.

Дитрих Букстехуде (ок. 1637–1707) – датско-немецкий органист и композитор.

Камник – город в Словении.

Исповедуюсь (*лат.*).

В. Лубурич – хорватский фашист, комендант созданных по его идее в окрестностях города Ясеновац (современная Хорватия) лагерей смерти для уничтожения прежде всего сербского, цыганского и еврейского населения, а также хорватов-коммунистов (1941–1945).

От нем. Abwehr («оборона») – орган военной разведки и контрразведки фашистской Германии.

Речь идет о «Кольце нибелунга» – цикле из четырех опер немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883), основанных на германских преданиях.

Ребек – старинный смычковый струнный инструмент.

Опера Р. Вагнера, завершающая тетралогию «Кольцо нибелунга».

«Формы содержания» (*ит.*) – эссе итальянского философа и писателя У. Эко (р. 1932).

Имена героев романа И.-В. Гёте «Избирательное сродство». Название романа – старинный химический термин.

Избирательное сродство (*лат.*).

«Масса и власть» (нем.).

«В Аркадии Адриана» (*лат.*).

Прощальные выражения на разных языках: кат., ит., фр., исп., нем., лат., нидерл., англ., греч., рус., рум., венг., эстон., иврит, порт. (браз.), араб., арам.

Слава богу (*лат.*).

Зд.: наконец-то (*фр.*).

Моя бедная мама (*фр.*).

Важнейшие иудейские праздники; праздник совершеннолетия.

Новый год по еврейскому календарю; праздник, напоминающий о блуждании евреев по пустыне (Праздник кущей).

Вишисты – французские коллаборационисты.

Пастис – крепкий алкогольный напиток на анисе.

Досл.: «катастрофа» (*ивр.*), обозначение действий нацистов по уничтожению еврейского народа.

Джордже Энеску (1881–1955) – румынский композитор, скрипач и дирижер.

Kano – привилегированный заключенный концлагеря, работающий на администрацию; надзиратель.

300

Спасибо (венг.).

Унтершарфюрер – звание унтер-офицера в СС.

Бедная старушка, бедная бабушка (венг.).

Пурро – традиционный для Каталонии и Арагона конический сосуд с находящимся у основания длинным носиком, из которого пьют вино, запрокинув голову, держа наклоненный сосуд на вытянутой руке и направляя струю в рот.

«Полковнику никто не пишет» (*исп.*) – повесть колумбийского писателя Г. Гарсии Маркеса (перевод на рус. Ю. В. Ванникова).

Бедняжка (*ит.*).

Мастер обмана (*ит.*).

Наивная и невинная, как ангел (*ит.*).

Предатель (*ut.*).

Сострадательная (*ut.*).

310

Лжец, обманщик, притворщик (*ит.*).

311

Презренный (*ut.*).

Сострадательная и наивная (*ит.*).

Персонаж одноименного фильма 1971 г. с Клинтом Иствудом в главной роли.

Эрнест Хемингуэй (1899–1961) – американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 г.; *Хорхе Луис Борхес* (1899–1986) – аргентинский писатель; *Хуан Рульфо* (1917–1986) – мексиканский писатель; *Пере Калдерс-и-Руссиньол* (1912–1994) – каталонский писатель и график.

Кумьолс – небольшая горная система в предгорьях Пиренеев.

Это словосочетание может переводиться с латинского языка и как «обустроенная жизнь», и как «тайная жизнь».

Дан Пагис (1930–1986) – еврейский поэт, филолог и переводчик.

Монтеверди-хор – немецкий хоровой коллектив.

Рогир ван дер Вейден (1399/1400–1464) – нидерландский живописец; *Клод Моне* (1840–1926) – французский живописец; *Пабло Пикассо* (1881–1973) – испанский художник; *Микел Барселó* (р. 1957) – испанский художник.

Вальторта – ущелье в Испании, в северной части Валенсийского сообщества, где были найдены доисторические наскальные рисунки.

Эпическая поэма английского писателя и мыслителя Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 г.

Хайль Гитлер. Алло... Да, слушаю! *(нем.)*

323

Голландский? (нем.)

Отче, Отче, Отче (*литов.*).

325

Почему (нидерл.).

Почему... почему... почему, Боже мой (*нидерл. и нем.*).

Узедом – остров в Балтийском море, напротив устья реки Одер.

Катары – последователи объявленного еретическим христианского религиозного движения в средневековой Европе.

Энрике Гранадоc (1867–1916) – испанский композитор и пианист.

Весело, не слишком быстро (*нем.*).

331

Очень приятно (*фр.*).

Госпел – жанр негриянской христианской музыки.

333

Тысяча семьсот шестьдесят четыре (*ит.*).

Так-так... (*um.*)

Недостойн (*лат.*).

Квашеная капуста (*нем.*).

Моя величайшая вина (*лат.*).

Скорблю, моя вина (*лат.*).

Личные впечатления (*англ.*).

История европейской мысли (нем.).

Рамин Яханбеглоо (р. 1956) – иранский философ.

Майкл Грант Игнатъев (Михаил Георгиевич Игнатъев, р. 1947) – канадский историк, философ, публицист и политик. Опубликовал биографию Исайи Берлина в 1998 г.

Что вам угодно? (нем.)

344

Да (нем.).

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) – английский и ирландский писатель, ученый и богослов. Известен своими работами по средневековой литературе и христианской апологетике, а также художественными произведениями в жанре фэнтези.

Ханна Арендт (1906–1975) – известный немецко-американский философ, политолог и историк, основоположница теории тоталитаризма. Автор книги «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме» (1963).

Зухр – полуденная молитва у мусульман.

Кади – судья в мусульманских странах.

Здесь и далее цитируются начальные строфы первой оды четвертой книги од Горация. Перевод А. А. Фета:

Суровая зима от вешних уст слетела,
Рычаг уперся в бок сухого корабля,
Нет стойла у скота, огня у земледела,
И белым инеем не устланы поля.
Венера при луне уж хороводы водит,
И скромно грации и нимфы в землю бьют
Ногой искусною, пока Вулкан разводит
Огни, сулящие циклопам новый труд...

350

Чудесно (фр.).

Цитата из пятой оды первой книги од Горация.

ВМС – внутриматочная спираль.

353

Моя госпожа (*лат.*).

Приорат – область Каталонии, в которой производятся известные и дорогие вина.

Конга – зажигательный кубинский танец.

356

Стукач, подлец (*фр.*).

«Боже Милосердный», еврейская заупокойная молитва.

Тетя Алина (*фр.*).

Знаменитое эссе И. Берлина.

360

Тоже (*лат.*).

Тетя, дорогая, как дела?.. Да... Да... Дааа... Дааааа (фр.).

362

Хватит (*ит.*).

«Эстетическая воля» (нем.).

Увертюра к одноименной опере Бетховена, где солирует фанфара.

Роберто Герхард (1896–1970) – каталонский и английский композитор, музыковед, педагог.

Французские поэты-символисты были окрещены современниками «про́клятыми поэтами».

Обечайки – полоски дерева, соединяющие верхнюю и нижнюю деку скрипки.

Тысяча семьсот шестьдесят четвертого года (*ит.*).

То есть... Сто девяносто три года (*ит.*).

Дель Джезу (Джузеппе Гварнери; 1698–1744) – знаменитый итальянский изготовитель смычковых инструментов.

Четвертая часть Партиты номер один И.-С. Баха.

Грасия – один из центральных районов Барселоны.

Жорди Корнуделья (р. 1962) – современный каталонский писатель, литературный критик и эссеист.

Жузен Карне (1884–1970) – один из крупнейших каталонских поэтов XX в.

375

В пятьдесят четвертую (*ит.*).

Фелипе Педрель (1841–1922) – испанский композитор и музыкант.

Морис Утрилло (1883–1955) – французский живописец-пейзажист.

Сантьяго Русиньол (1861–1931) – один из основателей каталонского модернизма, писатель и художник.

Дишдаш – белая длинная рубашка, являющаяся частью традиционного арабского мужского костюма.

Мечеть Омейядов (или Большая мечеть Дамаска) – одна из старейших мечетей мира, где покоится голова Иоанна Крестителя и находится могила Салах-ад-Дина.

Одни из городских ворот старого Дамаска.

Маулид ан-Наби – мусульманский праздник, который знаменует день рождения пророка Мухаммеда. Празднуется в январе.

Монжуик – район Барселоны, расположенный на горе у моря.

В Каталонии захоронения производятся не в землю, а в ниши, расположенные друг над другом, которые напоминают систему, принятую в крематориях.

Тимоти Маквей (1968–2001) – резервист армии США, ветеран войны в Персидском заливе, организатор самого крупного (до событий 11 сентября 2001 г.) террористического акта в истории Америки – взрыва в федеральном здании им. Альфреда Марра в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 г.

386

Где ты? *(лат.)*

Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (*др.-евр.*) – слова Иисуса на кресте (Мк. 15: 34; Мф. 27: 46).

Стояла Мать (*лат.*) – название средневековой секвенции, описывающей страдания Богоматери при распятии Христа. Полное название – «Stabat Mater dolorosa» («Стояла Мать скорбящая»).

Элен Сиксу (р. 1937) – французская писательница, философ, феминистка.

Эдвард Карр (1892–1982) – британский историк, противник эмпиризма в историографии.

391

Господин (*голл.*).

Антиминс – плат с частицей мощей, лежащий в алтаре на престоле.

Быстро, вон (*нем.*).

Вот и все (*нидерл.*).

Сетриль – особый сосуд для оливкового масла, которым обычно пользуются в Каталонии.

Спасибо, господин Ардефол (*нидерл.*).

К вящей славе рейха (*лат.*).

Примо Леви (1919–1987) – итальянский писатель еврейского происхождения, попавший в Освенцим за антифашистскую деятельность и освобожденный в 1945 г.

Пауль Целан (1920–1970) – немецкоязычный поэт и переводчик, бывший узником фашистского концлагеря Бузэу на территории Румынии.

Ты не спрашивай, знать нельзя, какой мне, какой тебе / Конец боги дали, Левконоя, и на вавилонских / Не гадай числах (Гораций. Оды, 1, XI. Перевод С. В. Шервинского).

BCO – Барселонский симфонический оркестр.

Жузеп Висенс Фоц-и-Мас (1893–1987) – один из крупнейших каталонских поэтов XX в.

Здесь и далее стихотворение Фоща в переводе В. Михайлова.

Жузе́п-Ма́рия де Сага́рра (1894–1961) – один из самых выдающихся каталонских поэтов XX в.

Четырнадцатого июля (*фр.*).

«Врачи мира» (*лат.*) – международная организация по сотрудничеству в области здравоохранения.

Тиберия в Тибр! (*лат.*) – крики, которыми плебс встретил известие о смерти римского императора Тиберия (14–37), о чем рассказывает римский историк Светоний.

Смерть его вызвала в народе ликование. При первом же известии одни бросились бегать, крича: «Тиберия в Тибр!» (перевод М. Л. Гаспарова).

Фома Кемпийский (1379–1471) – средневековый писатель-мистик, основатель течения «Братство общей жизни».

Душа Адриана (*лат.*).

Начальная строка самого известного стихотворения Жузепа-Марии де Сагарра (перевод С. Гончаренко). Положено на музыку популярнейшим представителем каталонской авторской песни Льюисом Льяком.

До пят (*лат.*). Часть выражения «a capite usque ad calcem» («с головы до пят»), употребляемого в значении «от начала до конца».

Маргерит Юрсенар (1903–1987) – французская писательница, автор исторического романа «Воспоминания Адриана» (1951), написанного от лица римского императора Публия Элия Адриана. Здесь цитируется последняя фраза романа (в переводе М. Ваксмахера).

Здесь и сейчас (*лат.*).

Ян Вермеер (1632–1675) – голландский живописец, крупнейший мастер нидерландской жанровой и пейзажной живописи.

Господи, отверзи уста мои. – И я вознесу хвалу Тебе (*лат.*).

Ночная рождественская служба.

Боже, приди мне на помощь (*лат.*).

Господи, поспеши на помощь мне (*лат.*).

Бутылка Клейна – неориентируемая (односторонняя) поверхность, впервые описанная в 1882 г. немецким математиком Ф. Клейном. По форме отдаленно напоминает бутылку, но не имеет внутренней и внешней поверхности. Та поверхность, которая кажется наружной, непрерывно переходит в ту, которая кажется внутренней, как переходят друг в друга две на первый взгляд различные «стороны» ленты Мёбиуса.

Джованни Баттиста Черути (1756–1817) – итальянский лютье, представитель кремонской школы.

Джованни Франческо Прессенда (1777–1854) – итальянский лютье, один из наиболее выдающихся мастеров туринской школы.

Якоб Штайнер (1617–1683) – первый известный австрийский лютье, наиболее знаменитый представитель тирольской школы. Учился в Кремоне и в Венеции.

Аниций Манлий Торкват Северин Бозций (ок. 475–524/525) – философ-неоплатоник, теоретик музыки, государственный деятель. Занимал высокие посты при остготском короле Теодорихе Великом. Был обвинен в государственной измене и казнен. Свое самое знаменитое сочинение – трактат «Об утешении философией» написал в тюрьме в ожидании казни.

«Об утешении философией» (лат.).

Здесь цитируются заключительные фразы романа М. Юрсенар «Воспоминания Адриана» (в переводе М. Ваксмахера).

Слегка измененная цитата из того же романа.

«В следующем году в Иерусалиме» (*иврит*). Во время празднования Песаха – годовщины Исхода евреев из Египта – семья собирается вокруг стола и читает Агаду, рассказ об этом событии, заканчивая пожеланием встретить следующий Песах в Иерусалиме.

Я не написал более пространное письмо только потому, что мне было недосуг писать короче (*фр.*). Блез Паскаль. Письма к провинциалу. Письмо 16-е от 4 декабря 1656 г.

Вислава Шимборская (1923–2012) – польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии 1996 г. Здесь цитируется стихотворение «Назавтра без нас» (перевод А. Эппеля).

Каталонская рождественская песня.

432

Где ты? (*галис.*)

Я боюсь того, что живет, но не видно глазу. Боюсь предательского несчастья: оно придет, но чего коснется, знать нельзя (*галис.*) – заключительные строки одного из стихотворений Розалии де Кастро из сборника «Новые листы».